

ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ



QUO VADIS



## Annotation

Культовый роман Генрика Сенкевича «Quo vadis» принес автору мировую славу, а впоследствии — Нобелевскую премию 1905 года.

Эта невероятно увлекательная книга повествует об одном из самых драматичных эпизодов мировой истории — гонениях первых христиан в Римской империи. Достоверные исторические события в ней переплетаются с захватывающей историей любви. Грандиозные картины пиров и казней, знаменитого римского пожара, страстей и гонений подарят незабываемое эстетическое наслаждение читателям.

Роман был переведен более чем на 50 языков мира и является, без сомнения, лучшим историческим романом о событиях последних годов правления жестокого императора Нерона.

- 
- [Генрик Сенкевич](#)
    - [Часть первая](#)
      - [I](#)
      - [II](#)
      - [III](#)
      - [IV](#)
      - [V](#)
      - [VI](#)
      - [VII](#)
      - [VIII](#)
      - [IX](#)
      - [X](#)
      - [XI](#)
      - [XII](#)
      - [XIII](#)
      - [XIV](#)
      - [XV](#)
      - [XVI](#)
      - [XVII](#)
      - [XVIII](#)
      - [XIX](#)
      - [XX](#)
      - [XXI](#)

- [XXII](#)
- [Часть вторая](#)
  - [I](#)
  - [II](#)
  - [III](#)
  - [IV](#)
  - [V](#)
  - [VI](#)
  - [VII](#)
  - [VIII](#)
  - [IX](#)
  - [X](#)
  - [XI](#)
  - [XII](#)
  - [XIII](#)
  - [XIV](#)
  - [XV](#)
  - [XVI](#)
  - [XVII](#)
  - [XVIII](#)
  - [XIX](#)
  - [XX](#)
  - [XXI](#)
- [Часть третья](#)
  - [I](#)
  - [II](#)
  - [III](#)
  - [IV](#)
  - [V](#)
  - [VI](#)
  - [VII](#)
  - [VIII](#)
  - [IX](#)
  - [X](#)
  - [XI](#)
  - [XII](#)
  - [XIII](#)
  - [XIV](#)
  - [XV](#)

- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [XXVIII](#)
- [XXIX](#)
- [XXX](#)
- [XXXI](#)
- [ЭПИЛОГ](#)

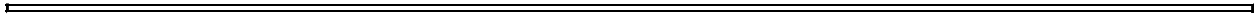
- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)



- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)

- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)



**Генрик Сенкевич**  
**Quo vadis**

# Часть первая



Петроний проснулся около полудня и, как всегда, чувствовал себя очень усталым. Накануне он был у Нерона на пиру, затянувшемся далеко за полночь. За последнее время здоровье его стало ухудшаться. Он замечал сам, что по утрам просыпается изнуренный и не в силах собрать мысли. Но утренняя ванна и тщательный массаж всего тела при помощи приученных к этому рабов постепенно возвращали ленивой его крови жизнь, и она быстрее текла по его жилам, будила его, придавала бодрость и силу, — так что после натирания благовонным маслом, последней стадии утреннего туалета, он словно воскресал окончательно; глаза его блестели остроумием и весельем, он молодец, исполненный жизни, изящный и несравненный, так что сам Оттон не мог соперничать с ним, — словом, он был подлинный, как его называли, «arbiter elegantiarum».<sup>[1]</sup>

В общественных банях он бывал редко: лишь в том случае, если там выступал какой-нибудь удивительный ритор, о котором все говорили в городе, или когда в эфебеях происходили исключительно интересные состязания. В его доме были свои бани, которые знаменитый Целер, товарищ Севера, перестроил для него, расширил и отделал с таким вкусом, что даже сам Нерон признавал их превосходство над цезарскими, хотя те и были значительно больше и несравненно пышнее.

И вот после пира, на котором он, заскучав от шутовских выходок Ватиния, затеял беседу с Нероном, Сенекой и Луканом о том, имеет ли женщина душу, — теперь поздно встал и принимал обычную утреннюю ванну. Потом два сильных банщика положили его на кипарисном столе, покрытом белой египетской тканью, и, смочив руки в благовонном масле, стали растирать его холеное тело. С закрытыми глазами лежал он и ждал, пока теплота масла и горячих ладоней рабов не перейдет в него и не развеет усталости.

Немного спустя он заговорил, открыв глаза, и стал расспрашивать про погоду, потом о геммах, которые ювелир Идомен обещал прислать сегодня к нему на дом для осмотра...

Оказалось — погода прекрасная при легком ветре с Альбанских гор, а геммы не присланы еще. Петроний снова закрыл глаза и велел перенести себя в тепидарий;<sup>[2]</sup> из-за занавеса показался раб и доложил, что молодой Марк Виниций, только что прибывший из Малой Азии, желает видеть его.

Петроний велел провести гостя в тепидарий, куда был перенесен и

сам. Виниций был сын его старшей сестры, вышедшей за Марка Виниция, консулария времен Тиберия. Молодой Марк служил в настоящее время под начальством Корбулона и воевал против парфян, и теперь, после окончания войны, вернулся в Рим. Петроний чувствовал к нему некоторую слабость, похожую на любовь, — Марк был красивый, атлетически сложенный юноша, и в то же время он умел сохранять известную эстетическую меру в проявлениях римской испорченности, а это Петроний ценил выше всего.

— Привет Петронию! — сказал молодой человек, легкими шагами входя в тепидарий. — Пусть все боги будут благосклонны к тебе, а в особенности Асклепий и Киприда, — под их двойной опекой ничто дурное не может тебя встретить.

— Привет тебе в Риме, и пусть будет сладок твой отдых после войны, — ответил Петроний, протягивая руку из складок мягкой ткани, в которую был завернут. — Что слышно в Армении? Живя в Азии, не побывал ли ты в Вифинии?

Петроний был когда-то правителем этого города и, что удивительно, правил умело, энергично и справедливо. Это было в противоречии с характером человека, известного своей изнеженностью и любовью к роскоши. Потому-то он любил вспоминать те времена, что его успешное управление служило показателем, чем он мог бы и сумел бы стать, если бы ему этого захотелось.

— Мне случилось побывать в Гераклее, — ответил Виниций. — После меня Корбулон собирал там вспомогательные войска.

— А, Гераклея!.. Я знал там девушку из Колхиды, за которую отдал бы всех здешних разведенных жен, не исключая Пoppей. Но это старые истории. Скажи лучше, что слышно у парфян? Мне надоели, сказать правду, все эти Вологезы, Тиридаты, Тиграны и прочие варвары, которые, по уверению молодого Арулена, ходят у себя дома на четвереньках и лишь в нашем присутствии стараются быть похожими на людей. Теперь о них много говорят в Риме, хотя бы потому, что говорить о чем другом опасно.

— Война идет без успеха, и если бы не Корбулон — легко могла бы стать нашим поражением.

— Корбулон! Клянусь Вакхом, он подлинный бог войны, настоящий Марс: великий полководец, дикий, вспыльчивый и глупый. Люблю его хотя бы за то, что Нерон боится его.

— Корбулон — не глупый человек.

— Может быть, ты и прав, а впрочем, это безразлично. Глупость, говорит Пиррон, несколько не хуже мудрости и ничем не отличается от нее.

Виниций стал рассказывать о войне, но, заметив, что Петроний закрыл

глаза, молодой человек переменял тотчас тему разговора и, видя перед собой усталое осунувшееся лицо друга, стал с беспокойством расспрашивать его о здоровье.

Петроний снова открыл глаза.

Здоровье?.. Плохо. Он не чувствует себя здоровым. Правда, он не дошел до состояния, в каком находится молодой Сиссен, который до такой степени перестал ощущать окружающее, что, когда его переносят в баню, он спрашивает: «Я сижу или лежу?» Но Петроний все же чувствует себя больным. Виниций отдал его под покровительство Асклепия и Киприды. Но он не верит в Асклепия. Неизвестно даже, чьим он был сыном, этот Асклепий — Арсиной или Корониды? А если нельзя точно назвать матери, то что же говорить об отце! Кто в настоящее время может быть уверен даже в своем отце!

Петроний засмеялся и продолжал:

— Правда, два года тому назад я послал в Эпидавр щедрый дар, но знаешь, почему я сделал это? Я сказал себе: поможет, не поможет, — во всяком случае, не повредит. Если вообще люди приносят еще жертвы, то, думаю, они рассуждают так же, как я. Все, за исключением разве погонщиков мулов, которые поджидают путешественников у Капенских ворот! Кроме Асклепия я имел также дело и с его жрецами, когда в прошлом году у меня разболелся мочевого пузырь. Они совершили инкубацию<sup>[3]</sup> ради моего выздоровления, я же, хотя и знал, что они обманщики, говорил себе: разве это мне повредит? Мир стоит на обмане, жизнь — пустое самообольщение. Такое же самообольщение и наша душа. Но нужно иметь настолько ума, чтобы отличить обольщение приятное от неприятного. В моей уборной я велю жечь кедровые дрова, посыпая их амброй, потому что предпочитаю благоухание вони. Что касается Киприды, которой ты поручил меня, то я достаточно почувствовал на себе ее покровительство, испытывая стрельбу в правой ноге. Впрочем, эта богиня не злая! Думаю, что и ты рано или поздно отнесешь к ее алтарю белых голубей.

— Да, — сказал Виниций, — меня не достали стрелы парфян, но неожиданно ранил дротик Амура, и это случилось недалеко от ворот Рима.

— Клянусь белыми ножками харит, что ты расскажешь мне об этом на досуге, — сказал Петроний.

— Я пришел, чтобы просить у тебя совета, — ответил Марк.

В это время вошли банщики, которые и занялись Петронием, а Марк, следуя приглашению Петрония, сбросил с себя тунику и погрузился в теплую ванну.

— Я даже не спрашиваю, пользуешься ли ты взаимностью, — говорил Петроний, разглядывая мододое, словно высеченное из мрамора, тело Виниция. — Если бы тебя увидел Лисипп, то ты украшал бы теперь ворота Палатина в качестве статуи юного Геркулеса.

Молодой человек улыбнулся и, довольный, стал плескаться в ванне, разбрызгивая желтую воду по мозаике, изображавшей Геру в то мгновение, когда она просит Морфея усыпить Зевса. Петроний рассматривал его восхищенным взором художника.

Когда Марк кончил купаться и перешел в распоряжение банщиков, вошел чтец с бронзовым ящиком, наполненным свитками.

— Хочешь послушать? — спросил Петроний.

— Если это твое произведение, то охотно, — ответил Виниций, — если же нет, то предпочитаю беседовать. Поэты ловят теперь слушателей на всех перекрестках.

— Да, да! Нельзя пройти мимо базилики, мимо бань, библиотеки или книжной лавки, чтобы не увидеть жестикулирующего, как обезьяна, поэта. Агриппа, приехавший с востока, принял их за сумасшедших. Но теперь такое время. Цезарь пишет стихи, поэтому все делают это. Но нельзя писать стихов лучших, чем пишет цезарь, поэтому я немного боюсь за Лукана... Но я пишу прозой, которой не угощаю, впрочем, ни себя ни других. Чтец должен был читать записки бедняги Фабриция Вейентона.

— Почему «бедняги»?

— Потому что ему велено сидеть в Одиссе и не возвращаться к домашнему очагу впредь до нового распоряжения. Эта «одиссея» будет ему лишь постольку легче, чем настоящему Одиссею, поскольку жена его не похожа на Пенелопу. Не нужно говорить тебе, что все это очень глупо. Но здесь никто не задумывается глубоко. Это довольно посредственная и скучная книга, которую стали жадно читать тогда лишь, когда автор был изгнан. Теперь отовсюду слышится: «Скандал! Скандал!» — возможно, что Вейентон кое-что приврал, но я хорошо знаю наших отцов и наших женщин и уверяю тебя, что все это бледнее, чем в действительности. Каждый ищет со страхом себя в этих записках и с тайной радостью — своих друзей. В книжной лавке Авируна сто писцов пишут под диктовку — успех книги обеспечен!

— На тебя намеки там есть?

— Да, но автор промахнулся, потому что я в одно и то же время и хуже и менее пошл, чем он представил меня. Мы здесь давно потеряли сознание того, что хорошо и что дурно, — и мне порой, право же, кажется, что между этими понятиями вообще нет разницы, хотя Сенека, Музоний и

Трасей притворяются, что видят ее. Мне это безразлично. Клянусь Геркулесом, я говорю, что думаю! Но я сохранил за собой одно преимущество, я знаю, что безобразно и что красиво, а этого хотя бы наш меднобородый поэт, наездник, певец, танцор и лицедей не понимает.

— Мне жаль Фабриция! Он был прекрасный товарищ.

— Его погубило самолюбие. Все его подозревали, но никто не знал наверняка, а он сам не мог удержаться и говорил всем о своем авторстве под величайшим секретом. Ты слышал об истории Руфина?

— Нет.

— Перейдем в прохладную комнату, мы там остынем, и я расскажу ее тебе. Посреди фригидариума<sup>[4]</sup> светло-розовый фонтан разносил запах фиалок.

Усевшись в нишах на шелковых простынях, они остывали. Некоторое время молчали. Виниций задумчиво смотрел на бронзового фавна, который, перегнув к себе через плечо нимфу, жадно искал губами ее губ. Потом он сказал:

— Этот фавн прав. Вот лучшее в жизни.

— Приблизительно! Но ведь кроме этого ты любишь еще войну, которой я не люблю, потому что в походных шатрах ногти ломаются и перестают быть розовыми. Впрочем, у каждого свое пристрастие. Меднобородый<sup>[5]</sup> любит пение, особенно свое собственное, а старый Скавр — свою коринфскую вазу, которую он целует, если не может заснуть. Края этой вазы уже лоснятся от его поцелуев. Скажи, ты не пишешь стихов?

— Нет, я не написал ни одного гекзаметра.

— И не играешь на лютне? Не поешь?

— Нет.

— На колеснице ездешь?

— Когда-то состязался в Антиохии, но без особого успеха.

— Тогда я спокоен за тебя. К какой партии принадлежишь в цирке?

— К зеленым.

— В таком случае я могу окончательно успокоиться. Хотя у тебя большое состояние, но все же ты не так богат, как Сенека и Палладий. Потому что у нас теперь хорошо: писать стихи, петь под аккомпанемент лютни, декламировать и состязаться в цирке, но еще лучше и, главное, безопаснее: не писать, не петь, не состязаться. Лучше всего удивляться, как искусно все это делает Меднобородый. Ты красив, и тебе может быть опасной Поппея, если влюбится в тебя. Но она слишком опытна в этом. Достаточно узнала любовь, будучи два раза замужем; в третьем браке ее

интересует нечто иное. Знаешь, этот глупый Оттон безумно влюблен в нее до сих пор... Бродит в Испании по скалам и тяжело вздыхает; утратил свои старые привычки и перестал заботиться о своей наружности настолько, что теперь у него на прическу уходит лишь три часа в день. Кто бы мог ожидать этого от Оттона?

— Я понимаю его, — ответил Виниций. — Но на его месте я сделал бы нечто иное.

— Что же именно?

— Собрал бы верные себе легионы из тамошних горцев. Иберийцы — великолепные солдаты!

— Виниций, Виниций! Мне думается, что ты не был бы способен на это. И знаешь почему? Потому что такие вещи делают, но о них не говорят, даже условно. А я на его месте смеялся бы над Поппеей, смеялся бы над Меднобородым и собирал бы легионы не иберийцев, а ибериек. Самое большее — писал бы эпиграммы, которых, впрочем, не читал бы никому, как это делал бедный Руфин.

— Ты хотел мне рассказать о нем.

— Расскажу в унктуарии.<sup>[6]</sup>

Но и там внимание Виниция было отвлечено прекрасными рабынями, которые ожидали их. Две из них, негритянки, похожие на великолепные статуи из черного дерева, стали натирать тела патрициев аравийскими благовониями, другие, искусные фригийки, держали в мягких и гибких, как змеи, руках полированные стальные зеркала и гребни; две божественно прекрасные гречанки ждали минуты, когда они смогут правильно сложить складки на тогах своих господ.

— Клянусь Зевсом Громовержцем, — воскликнул Марк Виниций, — у тебя великолепный выбор.

— Я предпочитаю качество количеству, — ответил Петроний. — Моя «фамилия» в Риме не превышает четырех сотен голов, и я полагаю, что для личных услуг только выскочки нуждаются в большем числе.

— Более прекрасных девушек не имеет даже Меднобородый, — раздувая ноздри, говорил Виниций.

На это Петроний добродушно сказал:

— Ведь ты мой родственник, кроме того, я и не так истаскан, как Басе, и не такой педант, как Авл Плавтий.

Виниций, услышав последнее имя, забыл тотчас о прекрасных гречанках и оживленно спросил:

— Почему тебе пришел на ум Авл Плавтий? Знаешь, я повредил себе руку недалеко от Рима и принужден был провести несколько дней в его

доме. Случайно он приехал туда и, видя мои страдания, оставил меня у себя, а его раб Мерион, врач, вылечил мою руку. Я об этом и хотел поговорить с тобой.

— О чем же? Уж не влюбился ли ты в Помпонию? В таком случае мне жаль тебя: она немолода и добродетельна! Не представляю себе худшего сочетания. Брр...

— Увы! Не в Помпонию! — ответил Виниций.

— В кого же?

— О если бы я знал! Я даже хорошо не знаю, как ее зовут: Лигия или Каллина. В доме ее зовут Лигией, потому что она родом лигийка, но ее варварское имя — Каллина. Странный дом Плавтиев. Людей много, и тихо, как в рощах Субиакума. В продолжение нескольких дней я даже не подозревал, что живет там богиня. Однажды на рассвете увидел я ее, когда она мылась у фонтана в саду. Клянусь той пеной, из которой вышла Афродита, что свет зари пронизывал ее тело насквозь. И я подумал, что, когда солнце взойдет, она растает в лучах, как тает утренняя заря. Потом я видел ее два раза, и с тех пор не знаю покоя, нет у меня другого желания, не хочу смотреть на Рим, не хочу женщин, золота, коринфской бронзы, янтаря, жемчугов, вина, пиров, ничего, — хочу лишь ее одну: Лигию. Я говорю тебе искренне, Петроний, что тоскую по ней, как тосковал изображенный на мозаике в твоей бане Морфей по Пасифее... Я тоскую по ней и днем и ночью...

— Если она рабыня, то купи ее.

— Нет, она не рабыня.

— Кто же? Вольноотпущенница?

— Не была рабыней — как может она быть вольноотпущенницей?

— Кто же?

— Не знаю: царская дочь или что-то в этом роде.

— Ты возбуждаешь мое любопытство, Виниций!

— Если хочешь выслушать меня, я тотчас удовлетворю его. История не слишком длинная. Ты, вероятно, знал Ванния, изгнанного короля свевов, <sup>[7]</sup> который долго жил в Риме и стал даже знаменит своей счастливой игрой в кости и богатством. Цезарь Друз вернул ему трон. Ванний был человек сильный, сначала правил хорошо, удачно воевал, но потом стал драть шкуру не только с соседей, но и со своих свевов. Тогда Вангий и Сидон, его племянники, сыновья Вибилия, царя германдуров, <sup>[8]</sup> решили принудить его снова отправиться в Рим... испытывать счастье в игре в кости.

— Помню, помню, это было недавно, во времена Клавдия.



— Да! Вспыхнула война. Ванний призвал на помощь язигов,<sup>[9]</sup> а его племянники — лигийцев, которые, услышав о богатстве Ванния, жадные до добычи, прибыли в таком громадном количестве, что сам цезарь Клавдий стал беспокоиться за целостность своих границ. Цезарь не хотел вмешиваться в борьбу варваров, однако он написал Ателию Гистру, вождю дунайских легионов, чтобы тот внимательно следил за ходом войны и не допустил нарушения мира у нас. Тогда Гистр потребовал от лигийцев обещания не переходить наших границ, на что те согласились и даже дали заложников, в числе которых были жена и дочь их вождя... Ты ведь знаешь, что варвары берут с собой в поход своих жен и детей... Так вот моя Лигия и есть дочь этого вождя.

— Откуда ты все это знаешь?

— Мне рассказал об этом сам Авл Плавтий. Лигийцы действительно тогда не перешли границы, но ведь варвары налетают как ураган и так же быстро исчезают. Исчезли и лигийцы со своими турьими рогами на шлемах. Разбили полчища Ванния, и свевов и язигов, но в битве погиб их царь, а потом ушли с добычей, оставив заложников у Гистра. Мать вскоре умерла, а дочь была отослана к правителю Германии Помпонию, так как Гистр не знал, что ему с ней делать. Помпоний после окончания войны с коттами<sup>[10]</sup> вернулся в Рим, где Клавдий, как тебе известно, позволил ему устроить триумф. Девушка шла за колесницей вождя, но после окончания торжества, так как заложницу нельзя было считать пленницей, и Помпоний, в свою очередь, недоумевал, что ему с ней делать; в конце концов, он поручил ее Помпоний Грецине, своей сестре, жене Плавтия. В доме, где все, начиная с господ и кончая цыплятами в курятнике, добродетельны, девушка стала — увы — такой же, как сама Помпония, и столь прекрасной, что даже Поппея в сравнении с нею кажется осенней фигой при гесперидском яблоке.

— Итак, что же?

— Повторяю, что с мгновения, когда я увидел, как свет зари проник в ее тело насквозь, я влюбился в нее без памяти.

— Значит, она так же прозрачна, как молодая сардинка?

— Не шути, Петроний, и если тебя удивляет та легкость, с которой я говорю тебе о своем чувстве, то знай, что часто яркая одежда прикрывает глубокие раны. Должен тебе еще сказать, что, возвращаясь из Азии, я провел одну ночь в храме Мопса, чтобы увидеть вещий сон. И вот мне в сновидении явился сам Мопс и сказал, что в жизни моей произойдет большая перемена благодаря любви.

— Я слышал, как Плиний говорил, что он не верит в богов, но верит снам, — и, может быть, он прав. Мои насмешки не мешают мне иногда думать, что в самом деле существует некое единое божество, вечное, всемогущее и творческое, — Венера-Родительница. Она родит души, родит тела, родит весь видимый мир. Эрос вывел мир из хаоса. Хорошо это или плохо, но мы должны признать его могущество, хотя бы и не благословляли его...

— Ах, Петроний, легче в жизни услышать философию, чем добрый совет.

— Скажи мне, чего ты, собственно, хочешь?

— Хочу обладать Лигией. Хочу, чтобы мои руки, которые теперь обнимают воздух, обняли бы ее и могли прижать к груди. Хочу дышать ее дыханием. Если бы она была невольницей, я дал бы за нее Авлу сто девушек с ногами, выбеленными мелом, в знак того, что их в первый раз вывели на продажу. Хочу иметь ее в своем доме до тех пор, пока моя голова не станет такой же белой, как вершина горы зимой.

— Она не рабыня, но все-таки принадлежит к дому Плавтия, а так как у нее нет родных, то ее можно считать невольницей. Плавтий мог бы уступить ее тебе, если бы захотел.

— Значит, ты не знаешь Помпонию Грецины. Впрочем, оба они привязались к ней как к собственной дочери.

— Помпонию я знаю. Подлинный кипарис. Если бы не была женой Авла, была бы великолепной похоронной плакальщицей. После смерти Юлии не снимает черных одежд, вообще у нее такой вид, словно при жизни она ходит по полям, покрытым асфоделями.<sup>[11]</sup> Кроме того, она «imivira» — женщина, имевшая только одного мужа, — и между нашими матронами, побывавшими в браке раз пять, может сойти за феникса. Кстати, слышал ли ты, говорят, феникс в самом деле возродился где-то в Верхнем Египте, что случается не чаще как один раз в пятьсот лет?

— Петроний, Петроний! Мы поговорим о фениксе когда-нибудь в другой раз.

— Что мне сказать тебе, мой Марк? Я знаю Авла Плавтия, который, хотя и бранит мой образ жизни, все же питает ко мне некую слабость, может быть, даже уважает больше, чем других, потому что знает, что я не способен быть доносчиком, подобно Домицию Афру, Тигеллину и всей шайке друзей Агенобарба. Не выдавая себя за стойка, я, однако, не раз морщился от таких выходок Меднобородого, на которые Сенека и Бурр смотрели сквозь пальцы. Если ты думаешь, что я могу быть тебе чем-нибудь полезен у Авла, — я весь к твоим услугам.

— Думаю, что можешь. Ты имеешь влияние на него, твой ум необыкновенно остер. Если бы ты вник в положение, поговорил с Плавтием...

— У тебя преувеличенное мнение о моем влиянии и уме, но, если дело лишь за этим, я охотно поговорю с ним, как только они переедут в город.

— Они переехали два дня тому назад.

— В таком случае пойдем в триклиний,<sup>[12]</sup> где нас ждет завтрак, а потом велим себя отнести к Плавтию.

— Ты всегда был мне мил, — с живостью заговорил Виниций, — но теперь я велю поставить твоё изображение среди моих домашних лар,<sup>[13]</sup> вот такое прекрасное, как это, и буду приносить ему жертвы.

И с этими словами он повернулся к стене, у которой стояли статуи, и показал рукой на изображение Петрония в виде Гермеса с посохом в руке. Потом он прибавил:

— Клянусь светом Гелиоса, что божественный Парис был похож на тебя, поэтому нечего удивляться Елене.

И в этом возгласе слышалась неподдельная искренность, потому что Петроний хотя был старше и менее мускулист, но казался красивее Виниция. Женщины в Риме удивлялись не только его гибкому уму и вкусу, что давало Петронию право называться «*arbiter elegantiarum*», но также и телу его. И этот удивленный восторг отразился на лицах гречанок, которые приводили в порядок складки его тоги; одна из них, по имени Евника, была тайно влюблена в него и смотрела на него с обожанием и любовью.

Но он не обратил на это внимания и с улыбкой стал цитировать в ответ Виницию слова Сенеки о женщинах:

«*Animal impudens*»,<sup>[14]</sup> — и т. д.

Потом, обняв его, он повел Виниция в триклиний.

В бане гречанки, фригийки и негритянки стали убирать сосуды с благовониями. Но в ту же минуту из-за занавеса показались головы банщиков и раздалось тихое: «Псс!..» На этот призыв одна из гречанок, фригийки и обе негритянки тотчас исчезли за занавесом. В банях была минута полной свободы и разврата, чему не мешал надсмотрщик, и сам не раз принимавший участие в подобных похождениях. Догадывался об этом и Петроний, но как человек великодушный и не любивший прибегать к наказаниям смотрел на все сквозь пальцы.

В комнате осталась одна Евника. Некоторое время она прислушивалась к удалявшимся голосам и смеху, потом, подняв инкрустированную янтарем и слоновою костью скамью, на которой только

что сидел Петроний, осторожно поставила ее перед его статуей.

Комната была залита солнечным светом, переливавшимся на многоцветном мраморе, которым были выложены стены.

Евника встала на скамью и вдруг закинула руки вокруг шеи статуи, отбросив назад золотые свои волосы, — прижимаясь розовым телом к белому мрамору, она с волнением прижала свои губы к каменным губам Петрония.

## II

После трапезы, которая называлась завтраком и за которую два друга сели тогда, когда простые смертные давно уже пообедали, Петроний предложил немного вздремнуть. По его мнению, рано было идти в гости. Есть люди, которые навещают своих знакомых тотчас после восхода солнца, считая это старым римским обычаем. Но он, Петроний, считает это варварством. Наиболее удобно послеобеденное время, когда солнце перейдет в сторону храма Юпитера Капитолийского и станет сбоку взирать на Форум. Осенью бывает еще очень жарко, и люди охотно спят после еды. Приятно послушать журчанье фонтана в атриуме<sup>[15]</sup> и после обязательной тысячи шагов подремать в багряной тени, под наполовину затянутым пурпурным велариумом.

Виниций признал правоту слов Петрония, и они стали прохаживаться, ведя легкий разговор о том, что слышно нового на Палатине и в городе, и немного философствуя о жизни. После этого Петроний отправился в спальню, но спал недолго. Через полчаса он вышел и, велев принести вербену, стал нюхать ее и натирать себе руки и виски.

— Не поверишь, — сказал он, — как это освежает... Теперь я готов.

Лектика — носилки — давно ждала их. Они сели и приказали отнести себя на улицу Патрициев в дом Авла Плавтия. Инсула Петрония лежала на южном склоне Палатина, поэтому кратчайшая дорога проходила ниже Форума, но так как Петроний хотел побывать у ювелира Идомена, то приказал нести себя через Форум, в сторону Злодейской улицы, где было множество всякого рода таверн.

Огромные негры подняли лектику и понесли ее, имея впереди расчищавших дорогу рабов. Петроний время от времени молча подносил к лицу свои руки, пахнущие вербеной, и, казалось, о чем-то глубоко размышлял. Потом он сказал:

— Мне приходит в голову, что если твоя лесная богиня не невольница, то она могла бы покинуть дом Плавтия и перейти в твой. Ты окружил бы ее любовью и богатством, как я свою божественную Хризотемиду, которая, говоря между нами, надоела мне так же, как и я ей.

Марк покачал головой.

— Нет? — спросил Петроний. — В худшем случае дело дошло бы до цезаря, и можешь быть уверен, что наш Меднобородый, хотя бы вследствие моего влияния, был бы на твоей стороне.

— Ты не знаешь Лигии! — ответил Виниций.

— Тогда позволь мне спросить. Знаешь ли ты ее? Говорил ли ты с ней? Признался ли в своей любви?

— Я увидел ее впервые у фонтана, потом встречался с ней два раза. Вспомни, что во время моего пребывания в доме Авла я жил в боковом помещении для гостей и, страдая от боли в руке, не мог принимать участия в общей трапезе. И лишь накануне своего отъезда я встретил Лигию за ужином — и не мог сказать ей ни слова. Пришлось слушать Авла, который рассказывал о своих победах в Британии, потом об упадке мелких хозяйств в Италии, против которого боролся еще Лициний Столон. Вообще, я не знаю, может ли Авл говорить о чем-нибудь другом, и ты не думай, что мы сумеем избежать этого, разве только ты захочешь слушать его жалобы на нынешнее безвременье и упадок нравов. У них фазаны в птичнике, но они их не едят, полагая, что каждый съеденный фазан приближает нас к концу римского могущества. Во второй раз я встретил ее около цистерны в саду с тростником в руке, который она погружала в воду и брызгала растущие вокруг ирисы. Посмотри на мои колени. Клянусь щитом Геракла, что они не дрожали, когда на наши манипулы<sup>[16]</sup> шли с воем тучи парфян, но они дрожали около этой цистерны. Смущенный, как мальчик, который носит еще буллу<sup>[17]</sup> на шее, я одними глазами молил о ласке, не будучи в состоянии вымолвить ни слова.

Петроний посмотрел на него с завистью.

— Счастливый! Пусть мир и жизнь будут злыми, одно в них останется вечным благом — молодость!

Потом он спросил:

— Ты заговорил с ней?

— Да. Придя немного в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что в дороге повредил себе руку и очень страдал, но в ту минуту, когда мне приходится покинуть этот гостеприимный кров, я вижу, что страдания здесь стоят гораздо больше, чем наслаждение в другом месте, болезнь лучше, чем где-либо здоровье. Она слушала меня также смущенная, с опущенной головой, чертя тростником что-то на песке. Потом она подняла глаза, посмотрела еще раз на знаки на песке, потом снова на меня, словно желая о чем-то спросить, и вдруг убежала, как дриада от глуповатого фавна.

— У нее, должно быть, красивые глаза.

— Как море, и я утонул в них, как в море. Поверь, что Архипелаг<sup>[18]</sup> не такой голубой. Потом прибежал маленький Плавтий и стал меня о чем-то

расспрашивать. Но я ничего не понимал, ничего не слышал.

— О Афина! — воскликнул Петроний. — Сними этому юноше повязку с глаз, которую надел ему Эрот, потому что он рискует разбить себе голову о колонну храма Венеры.

Потом он обратился к Виницию:

— Ты — весенняя почка на дереве жизни, ты — первый зеленый побег виноградной лозы! Тебя следовало бы вместо Плавтиев отнести в дом Гелоция, где обучают неопытных в жизни мальчиков.

— Что ты, собственно, хочешь сказать?

— Что она чертила на песке? Не имя ли Амура, не сердце ли, пронзенное его стрелой? И разве нельзя по этому узнать, что сатиры уже нашептали этой нимфе на ухо разные тайны жизни? Как можно было не рассмотреть этих знаков.

— Я надел тогу раньше, чем ты думаешь, — ответил Виниций, — и прежде чем прибежал маленький Авл, я внимательно рассмотрел знаки. Я ведь знаю, что и в Греции и в Риме девушки часто чертят на песке признания, которых не в силах произнести уста... И угадай, что она начертила?

— Если не то, что я сказал, — не угадаю.

— Рыбу.

— Как ты говоришь?

— Говорю: рыбу! Значит ли это, что в жилах ее пока течет холодная кровь, — не знаю! Но ты, назвавший меня весенней почкой на дереве жизни, ты, наверное, лучше меня разгадаешь этот знак.

— Мой милый, об этом спроси лучше Плиния. Он понимает толк в рыбах. Если бы жив был старый Апиций, он также, вероятно, сумел бы рассказать тебе это, потому что в продолжение своей жизни съел столько рыбы, сколько не сможет вместить в себя Неаполитанский залив.

Дальнейшая беседа была прервана, потому что их вынесли на людную улицу, где мешал громкий говор прохожих. Через Аполлонову улицу они свернули на Форум, на котором в ясные дни перед закатом солнца сновали толпы праздного народа, разгуливали у колонн, передавали друг другу новости и сплетни, глазели на знаменитых людей, которых проносили в лектиках, наконец, заглядывали в ювелирные и книжные лавки, толпились около менял — всего этого было очень много в части рынка, расположенного против Капитолия. Половина Форума была в тени, тогда как колонны и крыши лежащих выше храмов сияли в солнце и лазури. Стоявшие ниже колонны отбрасывали длинные тени на мраморные плиты, повсюду их было так много, что взор терялся среди них, как в лесу.



Казалось, что зданиям и колоннам здесь очень тесно. Громоздились одно над другим, бежали вправо и влево, вздымались кверху, прижимались к крепостной стене или одно к другому; колонны были похожи на большие и малые, толстые и тонкие, золотистые и белые стволы деревьев, расцветших под архитравами цветами аканта, скрученных в ионийские рога или увенчанных простым дорийским квадратом. Над этим лесом разноцветные триглифы, из тимпанов виднелись изваянные изображения богов, а на крышах крылатые золотые квадриги, казалось, готовы были улететь в воздух, в эту лазурь, которая спокойно распростерлась над тесным городом храмов. По середине рынка и по краям струился поток людей: римляне гуляли под сводами базилики Юлия Цезаря, иные сидели на ступенях храма Кастора и Поллукса, иные ходили вокруг небольшого храма Весты, похожие на этом огромном мраморном фоне на разноцветных бабочек или жуков. Сверху, по ступеням от храма, посвященного «Jovi Optimo Maximo», [19] наплывали новые толпы; около роств слушали каких-то ораторов; повсюду слышались крики продавцов фруктов, вина или воды, подслащенной фиговым соком; сновали лекаря, предлагавшие чудодейственные снадобья, гадалщики, толкователи снов. Среди громких разговоров и криков слышались порой звуки систра, греческой флейты или египетского самбука. Больные, богомольцы или люди, впавшие в несчастье, несли жертвы в храм. Среди людей виднелись на каменных плитах жадные, похожие на подвижные синие пятна, стаи голубей, то взлетающие с шумом вверх, то снова опускающиеся на свободное место. Иногда толпа расступалась перед лектикой, в которой виднелось красивое женское лицо или патрицианская голова сенатора. Разноязычная толпа громко называла их имена, сопровождая их прозвищами, насмешками или похвалами. Между беспорядочными толпами народа иногда проходили сомкнутым строем солдаты или стража, наблюдающая за уличным порядком. Греческий язык слышался повсюду так же часто, как и латинский.

Виниций, давно не бывший в Риме, с любопытством рассматривал разноплеменную толпу и Форум, царивший над миром и в то же время полоненный его многообразием. Петроний, угадав мысль Виниция, назвал его «гнездом квиритов без квиритов». [20] В самом деле римская стихия растворилась здесь, в этой толпе, состоявшей из представителей самых разнообразных народов и рас. Здесь были эфиопы, светловолосые великаны севера, бритты, галлы и германцы, косоглазые жители Серикума, [21] люди с Евфрата и из Индии, с красными крашеными бородами, сирийцы с берегов Оронта, с лукавыми черными глазами; худощавые и

гибкие сыны аравийских пустынь; египтяне с вечной равнодушной улыбкой на лице, нумидийцы, афры; греки из Эллады, которые вместе с римлянами владычествовали над городом, но власть их заключалась в знании, искусстве, уме и ловкости; греки с островов, из Малой Азии, из Египта, Италии, Галлии. В толпе рабов с проколотыми ушами было немало свободных бездельников, которых цезарь кормил, развлекал, даже навещал, много было здесь и пришельцев, которые искали в огромном городе легкой жизни и счастья; множество торговцев, жрецов Сераписа с пальмовыми ветвями в руках, жрецов Изиды, к алтарям которой приносилось больше жертв, чем в храм капитолийского Юпитера; жрецов Кибеллы, державших в руках золотистые кисти риса, бродячих жрецов, восточных танцовщиц в ярких шляпах; продавцов амулетов, укротителей змей; халдейских магов, людей всевозможных занятий, которые еженедельно осаждали склады хлеба на Тибре, дрались из-за билетов у цирка, проводили ночи в развалинах домов по ту сторону Тибра, а солнечные и теплые дни под портиками Форума, в грязных тавернах Субурры, на мосту Мильвия или перед домами знатных людей, где им время от времени бросали крохи со стола рабов.

Петроний был известен этой толпе. До слуха Виниция все время долетало имя Петрония и крики: «Вот он!» Его любили за щедрость, особенно же популярность Петрония возросла с того времени, когда стало известно, что он упросил цезаря отменить смертный приговор всей фамилии, то есть без различия пола и возраста рабам префекта Педания Секунда за то, что один из них убил в минуту отчаяния своего жестокого господина. Правда, Петроний уверял, что ему это дело совершенно безразлично и что он говорил с цезарем как частный человек, как *arbiter elegantiarum*, эстетическое чувство которого было возмущено предполагавшейся варварской бойней, достойной каких-либо скифов, а не римлян. И все-таки простой народ, поднявший волнение по поводу приговора, с той поры полюбил Петрония.

Но тот мало заботился об этом. Он помнил, что этот народ любил также Британика, которого Нерон отравил, и Агриппину, которую велел убить, и Октавию, задушенную на Пандатарии после того, как предварительно ей были открыты жилы в горячей ванне, и Рубелия Плавта, который был изгнан, и Трасея, которому каждый день мог быть днем казни. Любовь народа служила скорее дурным знаком, а скептик Петроний был все-таки немного суеверен. Толпу он презирал вдвойне и как аристократ и как художник. Люди, от которых пахнет жареными бобами, спрятанными за пазухой, охрипшие и вечно потные от игры в свайку на перекрестках и

перистилиях,<sup>[22]</sup> не заслуживали в его глазах имени людей.

Не отвечая на приветствия и посылаемые некоторыми поклонниками воздушные поцелуи, он рассказывал Марку дело Педания, смеясь над предательством уличной сволочи, которая на другой день после бурного возмущения уже рукоплескала Нерону, проезжавшему в храм Юпитера Статора. У книжной лавки Авирна он велел рабам остановиться и, выйдя из лектики, купил прекрасно оправленную рукопись, которую подал Марку.

— Это мой подарок тебе.

— Благодарю! — ответил Виниций. Взглянув на титул, он спросил: «Сатирикон»? Это новость. Чье это?

— Мое. Но я не хочу следовать ни примеру Руфина, историю которого собирался тебе рассказать, ни Фабриция Вейентона, — поэтому никто об этом не знает, и ты никому не говори.

— Ты говорил, что не пишешь стихов, — сказал Виниций, заглянув в середину рукописи, — а я вижу, что твоя проза сплошь пересыпана ими.

— Когда будешь читать, обрати внимание на пир Тримальхиона. Что касается стихов, то они мне стали противны с того времени, как Нерон занялся эпосом. Вителий, желая вызвать тошноту, употребляет палочку из слоновой кости, которую засовывает себе в горло; иные пользуются перьями фламинго, смоченными оливковым маслом или отваром душицы, — а я читаю стихотворения Нерона, и результат следует немедленно. Потом я могу хвалить их если не с чистой совестью, то, по крайней мере, с очищенным желудком.

Сказав это, он снова велел рабам остановиться у ювелира Идомена и, заказав несколько гемм, приказал нести лектику в дом Авла Плавтия.

— Я расскажу тебе историю Руфина, чтобы наглядно показать, что такое авторское самолюбие, — сказал он.

Но прежде чем он успел начать, они свернули на улицу Патрициев и скоро очутились перед домом Авла.

Молодой, сильный привратник открыл перед ними дверь, ведущую в остиум; сорока, висевшая в клетке над дверью, хрипло приветствовала их резким криком: «Salve!»<sup>[23]</sup>

Когда они шли из остиума собственно в атриум, Виниций сказал Петронию:

— Заметил ли ты, что здесь привратник не закован в цепи.

— Это какой-то странный дом, — вполголоса ответил Петроний. — Тебе, должно быть, известно, что Помпонию Грецину подозревали в принадлежности к какой-то восточной суеверной секте, основанной на

почитании некоего Христа. Кажется, этому слуху она обязана Криспинилле, которая не может простить Помпонию, что та удовольствовалась одним мужем в продолжение всей своей жизни. Univira!.. В Риме немного найдется таких. Ее судили семейным судом...

— Ты прав, это действительно странный дом. Я потом расскажу тебе, что здесь слышал и видел.

Они вошли в атриум. Был послан раб, чтобы возвестить приход гостей, которым другие рабы придвинули кресла и скамейки под ноги. Петроний, полагая, что в этом суровом доме царит вечная печаль, никогда не бывал здесь, — и теперь он с удивлением и словно разочарованием осматривал атриум, который производил скорее веселое впечатление. Сверху падал сноп солнечного света, преломляющийся тысячей искр в фонтане. Квадратный бассейн с фонтаном посередине, предназначенный для собирания дождевой воды и называемый имплювиум, был окружен анемонами и лилиями. По-видимому, в доме особенно любили лилии — их было множество, белых, красных; много было и голубых ирисов, нежные лепестки которых серебрила водяная пыль. Среди мокрого мха, в котором были скрыты горшки с лилиями, среди густой зелени видны были бронзовые статуэтки, изображавшие детей и птиц. А в одном углу бронзовая лань склонила свою зеленую от сырости голову к воде, словно хотела пить. Пол атриума был украшен мозаикой; стены отчасти облицованы розовым мрамором, отчасти расписаны изображениями деревьев, рыб, птиц и грифов. Яркие краски радовали глаз. Двери в соседние комнаты были отделаны черепахой и даже слоновой костью, по стенам, между дверями, стояли статуи предков Авла. Повсюду виден был спокойный достаток, далекий от излишеств, но благородный и уверенный в себе.

Петроний, который жил пышнее и роскошнее, не нашел, однако, ни одной вещи, которая показалась бы ему безвкусицей, и он сказал об этом Виницию как раз в ту минуту, когда раб-веларий открыл завесу, отделявшую атриум от таблинума,<sup>[24]</sup> и в глубине дома показался быстро идущий к гостям Авл Плавтий.

Это был человек преклонного уже возраста, с поседевшей головой, но еще крепкий, с энергичным лицом, немного, правда, маленьким, похожим на голову орла. И на этом лице было написано легкое изумление и даже беспокойство по поводу неожиданного посещения Неронова друга, товарища и советника.

Но Петроний был слишком светским и умным человеком, чтобы не заметить этого, и потому с первых же слов, после приветствия,

непринужденно и со свойственной ему любезностью сказал, что приходит сюда поблагодарить за попечение и заботы, которые были оказаны в этом доме сыну его сестры, и что исключительно желание засвидетельствовать свою благодарность является причиной его посещения, которому, впрочем, благоприятствует и старинное знакомство с Авлом.

Авл стал со своей стороны уверять, что радуется его приходу, а что до благодарности, то он, Авл, сам испытывает это чувство, хотя, вероятно, Петроний и не подозревает причины.

Петроний действительно не догадывался. Напрасно, подняв темные глаза, он старался вспомнить услугу, которую мог оказать Авлу или кому другому. Не вспомнил ни одной, кроме разве той, о которой хотел рассказать Виницию. Это, конечно, могло случиться, но лишь невольно.

— Я люблю и очень уважаю Веспасиана, которому ты спас жизнь, — сказал Авл, — когда тот имел несчастье однажды уснуть при чтении стихов цезарем.

— Наоборот, он был счастлив, потому что не слышал их, — ответил Петроний. — Но я не стану отрицать, что дело могло кончиться плохо. Меднобородый непременно хотел послать к нему центуриона с дружеским советом вскрыть себе вины.

— А ты, Петроний, осмеял его.

— Да, вернее, не его: я сказал цезарю, что если Орфей умел песней усыплять диких зверей, то его триумф равен, потому что он сумел усыпить Веспасиана. Меднобородому можно говорить дерзости при условии, чтобы в небольшой дерзости была большая лесть. Наша всемилостивейшая Августа Поппея понимает это прекрасно.

— Увы! Такие теперь времена, — сказал Авл. — У меня недостает спереди двух зубов, которые выбил мне камень, брошенный рукой британца, — потому-то я говорю со свистом, и однако счастливейшие минуты моей жизни я провел в Британии...

— Потому что это были минуты победы, — прибавил Виниций.

Но Петроний, испугавшись, что старый солдат станет рассказывать о своих давних походах, переменял тему разговора. Он стал говорить о том, что где-то в окрестностях жители нашли мертвого волчонка с двумя головами; что во время недавней бури молния ударила в крышу храма Луны, а это, принимая в расчет позднюю осень, вещь совершенно невероятная. Передававший ему это некий Котта прибавлял, что жрецы названного храма предсказывают по этому поводу гибель города или по крайней мере какого-нибудь большого дома, которой можно избежать лишь очень обильными жертвоприношениями.

Авл, выслушав рассказ, высказал мнение, что такими предзнаменованиями не следует пренебрегать. Боги могут быть разгневаны чрезмерными преступлениями — в этом нет ничего удивительного. Поэтому умиловительные жертвы в данном случае вполне уместны.

На это Петроний возразил:

— Твой дом, Плавтий, не так уж велик, хотя и живет в нем великий человек; мой дом, правда, слишком просторен для такого бездельника, как я, но все же не так уж велик и он. И если дело касается гибели большого дома, такого, например, как дворец, то стоит ли нам приносить жертвы, чтобы отвратить его гибель?

Плавтий ничего не ответил на этот вопрос, и такая осторожность задела Петрония, потому что при всем своем безразличии к доброму и злему он никогда не был наушником и разговаривать с ним можно было вполне откровенно. Он снова переменял тему и стал расхваливать жилище Плавтия и хороший вкус хозяина.

— Это — старое гнездо, — сказал Авл, — в котором я ничего не изменил после того, как получил его в наследство.

Когда была отдернута завеса, отделявшая атриум от таблинума, дом стал виден во всю длину; через перистиль и лежащий за ним зал взор достигал сада, который издали казался светлой картиной, заключенной в темную раму. Веселые молодые голоса долетали оттуда до атриума.

— Позволь нам, Авл, — сказал Петроний, — послушать вблизи этот искренний смех, теперь его так редко приходится слышать.

— Охотно, — ответил, вставая, Плавтий. — Это мой маленький Авл и Лития играют в мяч. А что касается смеха, то ведь вся твоя жизнь, Петроний, проходит в нем.

— Жизнь смешна, потому я и смеюсь. Но здесь смех звучит иначе.

— Петроний не смеется в течение целого дня, — прибавил Виниций, — он посвящает этому ночи.

Так, разговаривая, они прошли вдоль всего дома и очутились в саду, где Лигия и Авл играли в мяч, причем рабыни, называемые сферистками, поднимали мячи и подавали играющим. Петроний бросил быстрый и беглый взгляд на Лигию. Авл, увидев Виниция, подбежал к нему, а тот склонился перед прекрасной девушкой, которая стояла с мячом в руке, раздумывая, немного запыхавшаяся, с слегка растрепавшимися волосами.

В триклиниуме, затененном виноградом, плющом и другими вьющимися растениями, сидела Помпония Грецина, и гости пошли приветствовать ее. Петроний, хотя и не бывал у Плавтиев, встречался с ней

у Антистии, дочери Рубелия Плавта, кроме того, в доме Сенеки и у Полиона. И он не мог не удивляться, глядя на это печальное и в то же время ласковое лицо, на благородство ее фигуры, жестов, слов. Помпония до такой степени путала все его представления о женщинах, что этот испорченный до мозга костей и уверенный в себе, как никто в Риме, человек не только чувствовал к ней нечто похожее на уважение, но даже и терял свою обычную самоуверенность. И теперь, благодаря ее заботы о Виниций, он невольно употребил слово «domina» — госпожа, которого никогда не сказал бы в разговоре, например, с Кальвией, Криспиниллой, Скрибонией, Валерией, Солиной и другими женщинами из большого света. После приветствия и благодарности он стал упрекать Помпонию, что она теперь нигде не показывается, что ее нельзя встретить ни в цирке, ни в амфитеатре, на что она спокойно ответила, положив свою руку на руку мужа:

— Мы стареем, и оба все больше и больше любим свой тихий дом.

Петроний хотел спорить, но Авл Плавтий прибавил своим свистящим голосом:

— Мы чувствуем себя чужими среди людей, которые даже наших римских богов называют греческими именами.

— Боги давно уже стали чем-то вроде риторических фигур, — небрежно бросил Петроний, — а так как риторике нас обучают греки, то мне самому легче, например, сказать Гера, чем Юнона.

Сказав это, он посмотрел на Помпонию, словно давая понять, что в ее присутствии иное божество не могло прийти ему в голову. Потом он стал спорить против ее слов о старости: «Правда, люди скоро стареют, но лишь те, которые ведут совсем иной образ жизни; кроме того, есть лица, о которых забыл, кажется, Сатурн». Петроний говорил это искренне, потому что Помпония Грецина, хотя и не была молодой, сохранила, однако, необыкновенную свежесть лица, и, несмотря на серьезность, печаль и темную одежду, казалась молодой еще женщиной.

Маленький Авл, который очень подружился с Виницием во время пребывания последнего в доме, подбежал, чтобы пригласить его принять участие в игре. За мальчиком следом вошла и Лигия. Под кружевом плюща, с солнечными кружками на лице, она показалась теперь Петронию красивее, чем на первый взгляд, — и действительно, она была похожа на какую-то нимфу. А так как он не успел приветствовать ее раньше, то теперь, поднявшись, он вместо обычных слов стал цитировать обращение Одиссея к Навсикае:



Не знаю, кто ты: дитя ли богов или девушка смертных.  
Но коль жилицу земли повстречать судили мне боги,  
Благословен будь отец твой с матерью благородной,  
Благословенны и братья...

Даже Помпонию понравилась изысканная любезность этого светского человека. Лигия выслушала приветствие смущенная и раздумывая, не смея поднять глаз. Но постепенно смелость вернулась к ней, в уголках рта задрожала улыбка, на лице боролось девичье смущение с желанием ответить — и, по-видимому, это желание пересилило, потому что, быстро взглянув на Петронию, она ответила ему словами Навсикаи, произнеся стих отчасти как затверженный урок:

Но и ты не простец и, видно, знатного рода...

После чего, повернувшись, она убежала как испуганная птица.

Теперь для Петронии наступила очередь удивиться — он не надеялся услышать гомеровский стих из уст девушки, относительно варварского происхождения которой был предупрежден Виницием. Он вопросительно посмотрел на Помпонию, но та не могла ответить ему, потому что в эту минуту она с улыбкой глядела на радостную гордость, отразившуюся на лице старого Авла.

Он не мог скрыть своей гордости. Во-первых, он привязался к Лигии, как к собственному ребенку, во-вторых, несмотря на свое староримское предубеждение, которое велело ему метать громы против распространенной моды на все греческое, он все же считал знание греческого языка главным признаком образованности и хорошего воспитания. Сам он никогда не мог хорошо изучить его, от чего тайно страдал, поэтому теперь был рад, что такому изысканному римлянину, к тому же еще и писателю, который готов был считать дом Авла варварским, ответили здесь подлинным стихом Гомера.

— Есть у меня в доме наставник-грек, — сказал Авл, обращаясь к Петронии, — который занят обучением мальчика, а девушка любит присутствовать на уроках. Еще совсем ребенок, но милый ребенок, к ней мы оба очень привязались.

Петроний смотрел сквозь сетку плюща и каприфоля в сад на играющих. Виниций сбросил тогу и, оставшись в одной тунике, бросал

вверх мяч, который, протянув руки, старалась поймать Лигия. Девушка на первый взгляд не произвела на Петрония сильного впечатления; она показалась ему слишком худощавой. Но когда в триклиниуме он ближе рассмотрел ее, то ему пришло в голову, что такой можно было бы изобразить утреннюю зарю, — и в качестве знатока он понял, что в ней есть что-то необычное. Все заметил и все оценил: и румяное нежное лицо, и губы, словно готовые к поцелую, и голубые, как лазурь морей, глаза, и алебастровую белизну лба, и волны темных волос, отсвечивающих янтарем или коринфской медью, и стройную шею, и божественный изгиб плеч, и всю ее фигуру, гибкую и стройную, молодую молодостью мая и только что распустившихся цветов. В нем проснулся художник и ценитель прекрасного, и он подумал, что под скульптурным изображением этой девушки можно было бы написать: «Весна». И вдруг ему вспомнилась Хризотемида — и он мысленно расхохотался. Она показалась ему, несмотря на золотую пудру в волосах и подведенные брови, необыкновенно жалкой, увядшей, похожей на пожелтевшую, роняющую лепестки розу. И однако весь Рим завидовал ему. Потом вспомнилась Поппея, — но и прославленная Поппея была похожа лишь на восковую маску. А в этой девушке с танагрскими формами была не только весна — была и лучистая Психея, просвечивающая сквозь тело, как пламя просвечивает сквозь занавес.

«Виниций прав, — подумал он, — а моя Хризотемида стара, стара... как Троя».

И он обратился к Помпонии Грецине. Показав ей на сад, он сказал:

— Теперь я понимаю, *domina*,<sup>[25]</sup> что, имея таких двоих детей, вы избегаете пиров на Палатине и цирка.

— Да, — ответила она и повернулась в сторону Авла и Лигии.

А старик стал рассказывать историю девушки и то, что слышал от Ателия Гистра о живущем на далеком севере народе лигийцев.

Молодежь кончила игру, и некоторое время все трое гуляли по саду, выделяясь на черном фоне мирт и кипарисов белыми пятнами своих одежд. Лигия держала маленького Авла за руку. Потом они сели на скамье подле большого аквариума, занимавшего середину сада. Но скоро Авл подбежал к воде, чтобы пугать рыбок в прозрачной воде, а Виниций продолжал разговор, начатый во время прогулки.

— Да, — говорил он тихим взволнованным голосом, — не успел я сбросить претексту, как меня уж послали в азиатские легионы. Рима я не знал, не знал ни жизни, ни любви. Помню наизусть немного из Анакреона и Горация, но не смогу, как Петроний, говорить стихами тогда, когда ум

немее от удивления и не находит слов выразить его. Мальчиком ходил я в школу Музония, который говорил нам, что счастье заключается в том, чтобы желать, чего желают боги, и, следовательно, зависит от нашей воли. Однако я думаю, что есть иное, большее счастье, которое не зависит от воли, потому что дать его может только любовь. Сами боги ищут этого счастья, поэтому и я, о Лигия, я, который до сих пор не знал любви, следуя богам, ищу той, которая бы могла дать мне счастье...

Он замолчал, и некоторое время слышен был лишь легкий плеск воды, в которую маленький Авл бросал камешки, пугая рыб. Потом Виниций заговорил снова, еще тише и взволнованнее:

— Ты, вероятно, знаешь Тита, сына Веспасиана? Говорят, что еще юношей он так полюбил Беренику, что тоска по возлюбленной едва не лишила его жизни... Так и я мог бы полюбить, Лигия!.. Богатство, слава, власть — пустой дым, суета! Богач встретит более богатого, чем он, славного затмит чужая большая слава, властного осилит более могучий... Но разве сам цезарь, разве какой-нибудь бог сможет быть более счастливым, сможет испытать большее упоение, чем простой смертный в то мгновение, когда у его груди дышит другая грудь или когда он целует любимые уста... Любовь равняет нас с богами, Лигия!..

Она слушала Виниция с беспокойством, удивлением и вместе с тем так, словно это были звуки греческой флейты или кифары. Иногда ей казалось, что Виниций поет какую-то дивную песнь, которая проникает ей в уши, проникает в кровь, заставляет сердце замереть от страха и непонятной радости... Ей также казалось, что он говорит о чем-то таком, что было уже в ней раньше, но в чем она не умела отдать себе отчета. Чувствовала, что он разбудил в ней то, что дремало до сих пор, и теперь туманный сон принимает все более ясные, милые, прекрасные формы.

Солнце давно уже перешло за Тибр и теперь низко опустилось над Яникульским холмом. На неподвижные кипарисы падал красный свет, и весь воздух был насыщен им. Лигия подняла голубые, словно пробудившиеся от сна, глаза, посмотрела на Виниция — и вдруг он в отблесках вечерней зари, склонившийся к ней с мольбой во взоре показался ей прекраснейшим из людей, лучше всех тех римских и греческих богов, статуи которых она видела на фронтонах храмов. А он, слегка коснувшись пальцами ее руки немного выше кисти, спросил:

— Неужели ты не догадываешься, Лигия, почему я говорю тебе все это?

— Нет! — ответила она так тихо, что Виниций с трудом услышал ее.

Но не поверил ей и, привлекая к себе ее руку, готов был прижать ее к

своему сердцу, которое громко стучало под влиянием страсти, разбуженной в нем этой чудесной девушкой. Он готов был высказать ей свое пламенное признание, если бы в эту минуту на дорожке, обрамленной миртами, не показался старый Авл Плавтий, который, подойдя к ним, сказал:

— Солнце заходит, поэтому берегитесь вечерней прохлады и не шутите с Либитиной... [26]

— Нет, — ответил Виниций, — я до сих пор не надел тоги, но холода не ощущаю.

— Вот уже только половина солнечного диска видна за холмами, — говорил старый воин. — О, если бы здесь был нежный климат Сицилии, где по вечерам народ собирается на площадях, чтобы хоровым пением проститься с заходящим Фебом.

И, забыв, что перед этим остерегал их от Либитины, стал рассказывать о Сицилии, где у него была земля и большое хозяйство, в которое он был влюблен. Он сказал, что не раз ему приходило в голову переехать в Сицилию и там спокойно кончить свою жизнь. Довольно зимней стужи человеку, которому зимы убелили голову. Пока еще листья не опадают с деревьев и над городом улыбается ласковое голубое небо, но, когда листва пожелтеет и выпадет снег на Альбанских горах, а пронизывающий ветер навестит Кампанью, тогда, кто знает, может быть, он со всем домом переселится в свою тихую сельскую усадьбу.

— Ты хотел бы покинуть Рим, Плавтий? — спросил с внезапным волнением Виниций.

— Да, я давно уже собираюсь, — ответил старик. — Тихо там и безопасно. Он снова стал расхваливать свои сады, стада, дом, окруженный зеленью, пригорки, поросшие тмином и клевером, над которыми жужжат роями пчелы. Но Виниций не слушал этой буколической поэмы — и, думая о том, что может потерять Лигию, смотрел в ту сторону, где был Петроний, словно он один мог спасти его.

Петроний, сидя около Помпони, любовался видом заходящего солнца, красивого сада, стоящих у аквариума людей. Их белые одежды на темном фоне мирт отсвечивали золотом при закатном блеске. На небе заря из пурпурной переходила в фиолетовую и играла, как опал. Край неба был лиловый. Черные контуры кипарисов стали отчетливее, чем при солнце, а в людях, деревьях и всем саду воцарилось вечернее тихое успокоение.

Петрония поразило это успокоение — и особенно в людях. В лицах Помпони, старого Авла, их мальчика и Лигии было нечто чего он не видел в лицах, которые окружали его ежедневно, вернее — еженочно: был какой-то свет, покой, мир, исходившие из той жизни, какой жили здесь все. И с

некоторым удивлением он подумал, что может, однако, существовать красота и радость, которых он, искушенный в столь многом, не знает. Он не сумел скрыть этой мысли и, обратившись к Помпонии, сказал:

— Я раздумываю о том, как отличается ваш мир от того мира, которым владеет Нерон.

Она подняла свое маленькое лицо и, глядя на вечернюю зарю, просто ответила:

— Миром владеет не Нерон, а Бог.

Наступило молчание. Слышались шаги приближавшихся к триклиниуму Авла, Виниция, Лигии и мальчика, но, прежде чем они вошли, Петроний спросил:

— Значит, ты веруешь в богов, Помпония?

— Верую в Бога, единого, справедливого и всемогущего, — ответила жена Авла Плавтия.

### III

— Верую в Бога, единого, справедливого и всемогущего, — повторил Петроний, когда снова очутился с Виницием в лектике. — Если ее Бог всемогущ, то он правит жизнью и смертью; если он справедлив, то не посылает смерти напрасно. Почему же в таком случае Помпония носит траур по Юлии? Тоскуя по Юлии, она осуждает своего Бога. Это мое рассуждение я должен повторить перед меднобородой обезьяной, ибо думаю, что в диалектике я равен Сократу. Что касается женщин, то я готов согласиться, что у каждой из них по три или четыре души, но нет ни одной души разумной. Пусть Помпония потолкует с Сенекой и Корнутом о том, что такое их Логос... Пусть они вместе вызовут тени Ксенофана, Парменида, Зенона и Платона, которые томятся где-то на Кимерийских полях, как чижи в клетке. Мне хотелось поговорить с ней и с Плавтием о другом. Клянусь священным чревом египетской Изиды, если бы я им просто сказал, зачем, собственно, мы пришли, то, по всей вероятности, их добродетель загудела бы, как медный щит, по которому ударили палкой. И я не решился! Поверишь ли, Виниций, я не посмел! Павлины — прекрасные птицы, но слишком пронзительно кричат. И я убоился крика. Но должен похвалить твой выбор. Воистину «розоперстая Аврора»... И знаешь, кем еще она мне показалась? Весной! Не нашей итальянской, где лишь яблоня немного зацветет да сереют оливки, а той, которую я когда-то видел в Гельвеции, — молодой, свежей, ярко-зеленой! Клянусь этой бледной Селеной, я нисколько не удивляюсь тебе, Марк, но знай, что ты влюблен в Диану и Авл с Помпоницей готовы тебя растерзать, как некогда собаки растерзали Актеона.

Виниций не поднимал головы и молчал некоторое время. Потом заговорил голосом, прерывающимся от страсти:

— Я желал ее и раньше, а теперь желаю еще сильнее. Когда я коснулся ее руки, меня обжег пламень... Я должен обладать ею. Если бы я был Зевсом, я окутал бы ее тучей, как Ио, я упал бы на нее золотым дождем, как на Данаю. Я хотел бы до боли целовать ее уста! Я хотел бы услышать ее крик в моих объятиях. Я убил бы Авла и Помпонию, а ее схватил бы и унес на руках к себе в дом. Сегодня я не усну. Я велю истязать одного из рабов и буду слушать его стоны...

— Успокойся, — сказал Петроний, — у тебя страсть плотника из Сабурры.

— Мне все равно. Я должен обладать ею. Я обратился к тебе за советом, но если ты не дашь мне его, то я сам решу... Авл считает Лигию дочерью, почему же мне смотреть на нее, как на рабу? Если нет иного пути, то пусть она запрядет шерстью двери моего дома, помажет их волчьим салом и пусть сядет, как жена, при моем очаге, как того требует брачный обряд.

— Успокойся, безумный потомок консулов. Не за тем мы привязываем веревками к нашим колесницам варваров, чтобы потом брать себе в жены их дочерей. Берегись крайностей. Попытайся простыми и честными средствами добиться своего и дай мне и себе время подумать. Хризотемида также казалась мне дочерью Зевса, однако я не женился на ней, равно как Нерон не женился на Актее, хотя она и считалась дочерью царя Атгала... Успокойся... Ведь если она захочет ради тебя покинуть Плавтиев, они не вправе удерживать ее. Кроме того, знай, что горишь не ты один, — и в ней Эрот раздул пламя... Я заметил это, а мне можно поверить... Все можно устроить, но сегодня я и так много думал, а это меня утомляет. Обещаю, что завтра еще подумаю о твоей любви, и только разве Петроний перестал быть Петронием, если я не придумаю действительного средства...

Снова оба замолчали. Потом Виниций заговорил спокойнее:

— Спасибо, и пусть Фортуна будет щедрой к тебе.

— Будь терпелив.

— Куда ты велел нести себя?

— К Хризотемиде...

— Счастливцев, ты обладаешь той, которую любишь!

— Я? Знаешь, что меня забавляет в Хризотемиде? Она изменяет мне с моим собственным вольноотпущенником, лютнистом Теоклом, и думает, что я не вижу этого. Когда-то я любил ее, теперь меня лишь забавляет ее ложь и глупость. Пойдем со мной к ней. Если она начнет кружить тебе голову и писать буквы на столе пальцем, омоченным в вине, то знай, что я не ревнив.

И они отправились оба к Хризотемиде.

Но у дверей Петроний положил руку на плечо Виницию и сказал:

— Стой, мне кажется, я придумал средство.

— Пусть боги наградят тебя...

— Да! Полагаю, что это удастся. Знаешь, Марк...

— Я внимаю тебе, моя Афина...

— Через несколько дней божественная Лигия проглотит в твоём доме зерно Деметры.

— Ты более велик, чем цезарь! — воскликнул взволнованный

Виниций.



## IV

Петроний исполнил обещание.

На другой день после посещения Хризотемиды он, правда, проспал весь день, и лишь с наступлением вечера велел отнести себя на Палатин, где имел с Нероном дружескую беседу. Следствием этой беседы было то, что два дня спустя к дому Плавтия пришел центурион во главе небольшого преторианского отряда.

Времена были опасные и страшные. Такого рода гости чаще всего являлись вестниками смерти. Поэтому, когда центурион постучал молотком в дверь дома и слуги известили Авла, что в прихожей преторианцы, ужас охватил весь дом. Семья окружила старика, никто не сомневался, что опасность грозит прежде всего ему. Помпония, охватив руками его шею, прижалась к нему, и посиневшие губы ее шептали какие-то тихие, нежные слова; Лигия, побледневшая как полотно, целовала его руки; маленький Авл держался за его тогу. Из коридоров, из верхних комнат, из бани, кухни, из подвальных помещений — со всего дома сбежались толпы рабов и рабынь. Слышались крики: «Увы! Горе нам!» Женщины громко плакали; некоторые уже царапали себе щеки и покрывали головы платками.

И только старик, давно привыкший смотреть смерти прямо в глаза, оставался спокойным. И лишь его маленькое орлиное лицо стало словно каменным. Через минуту, запретив рабыням шуметь и приказав всем разойтись, он проговорил:

— Пусти меня, Помпония! Если пришел мой час, то будет еще время попрощаться.

И он слегка отодвинул ее. Она сказала:

— О, если бы твоя судьба была бы и моей судьбой, Авл!

Потом, упав на колени, она стала молиться с такой силой, какую может дать лишь страх за любимого человека.

Авл пошел в атриум, где его ждал центурион. Это был старый Кай Гаста, служивший под его началом, товарищ по британской войне.

— Здравствуй, вождь, — сказал тот. — Приношу тебе повеление и привет цезаря. Вот таблички и знак, что я пришел от его имени.

— Я благодарен цезарю за привет, а повеление его выполню, — ответил Авл. — Здравствуй и ты, Гаста. Скажи, с каким поручением ты приходишь ко мне.

— Авл Плавтий! Цезарю стало известно, что в доме твоём пребывает

дочь лигийского царя, которую отец ее еще во времена божественного Клавдия отдал в качестве заложницы, чтобы заверить римлян, что границы империи не будут нарушены народом лигийским. Божественный Нерон благодарен тебе, вождь, за то, что ты оказывал ей в течение стольких лет гостеприимство в своем доме, но, полагая, что девушка в качестве заложницы должна находиться на попечении самого цезаря и сената, он повелевает тебе выдать ее сейчас мне.

Авл был слишком хорошим солдатом и закаленным человеком, чтобы позволить себе показать огорчение и говорить напрасные слова и жалобы. Однако складка от боли и внезапного гнева появилась на его челе. Перед такой складкой над бровью дрожали некогда британские легионы, и даже теперь на лице старого Гасты отразился страх. Но в настоящую минуту Авл Плавтий считал себя бессильным что-либо сделать. Он некоторое время смотрел на таблички, потом, подняв глаза на старого центуриона, сказал спокойным голосом:

— Подожди, Гаста, здесь, в атриуме, заложница будет выдана тебе.

Сказав это, он пошел в другой конец дома, где Помпония Грецина, Лигия и маленький Авл ждали его в страхе и тревоге.

— Никому не угрожает ни смерть, ни изгнание, — сказал он, — однако центурион явился вестником несчастья. Дело касается Лигии.

— Лигии? — воскликнула изумленная Помпония.

— Да! — ответил Авл.

И, обратившись к девушке, он стал говорить:

— Лигия, ты была воспитана в нашем доме как родное дитя, и оба мы, я и Помпония, любим тебя как дочь. Но ты знаешь ведь о том, что ты не наша дочь. Ты заложница, данная римлянам твоим народом, и попечение о тебе принадлежит цезарю. И вот цезарь берет тебя из нашего дома.

Старик говорил спокойно, но каким-то странным, необыкновенным голосом. Лигия слушала его, моргала глазами, словно не понимала в чем дело; Помпония побледнела; в дверях снова показались испуганные лица рабынь.

— Воля цезаря должна быть выполнена, — сказал Авл.

— Авл! — воскликнула Помпония, обнимая девушку, словно желая защитить ее. — Для нее лучше было бы умереть.

Лигия, прижимаясь к ее груди, повторяла: «Мать моя! Мать!», не будучи в силах произнести среди рыданий иных слов.

На лице Авла снова появилось выражение боли и гнева.

— Если бы я был один на свете, — сказал он с печалью, — живой я не отдал бы Лигию и наши родственники могли бы сегодня же принести за

нас жертвы богам... Но я не имею права губить тебя и нашего мальчика, который может дожить до более счастливых времен... Сегодня же я пойду к цезарю и буду умолять его, чтобы он отменил свое повеление. Выслушает ли он меня — не знаю. Пока прощай, Лигия, и знай, что и я и Помпония всегда благословляли тот день, когда ты впервые села у нашего очага.

Сказав это, Авл положил руку ей на голову; хотя он и старался сохранить спокойствие, однако в ту минуту, когда Лигия подняла на него глаза, полные слез, а потом схватила его руку и стала покрывать ее поцелуями, в голосе его послышалось глубокое отцовское горе.

— Прощай, радость наша и свет очей наших, — сказал он.

И быстро вышел обратно в атриум, чтобы не дать овладеть собой недостойному римлянина и старого солдата волнению.

Помпония увела Лигию в спальню и стала успокаивать ее, утешать, ободрять и говорила при этом слова, которые странно звучали в этом доме, где стоял еще ларарий<sup>[27]</sup> и очаг, на котором Авл Плавтий, верный старым обычаям, приносил жертвы домашним богам. Час испытания пришел. Некогда Виргиний пронзил грудь собственной дочери, чтобы спасти ее от Аппия; еще раньше Лукреция добровольно лишила себя жизни, чтобы избежать бесчестия. Дом цезаря — притон разврата, зла, преступления. «Но мы, Лигия, знаем, почему не имеем права поднять на себя руку!..» Да! То право, которым живут они обе, — иное, более святое; оно позволяет, однако, защищать себя от зла и позора, хотя бы за эту защиту пришлось заплатить жизнью и мучением. Кто выходит чистым из вертепа зла, тот большую имеет заслугу. Земля и есть такой вертеп, но, к счастью, жизнь — одно лишь короткое мгновение, а воскреснуть можно только из гроба, за которым властвует не Нерон, а Милосердие, где вместо боли — радость, вместо слез — веселье.

Потом она стала говорить о себе. Да! Она спокойна, но и в ее груди есть раны. На глазах ее Авла все еще лежит бельмо, не узрел он еще света истины. Она не может также воспитать своего сына в истине. Когда она подумает о том, что так может быть до конца ее жизни и что может прийти час разлуки с ними, гораздо более страшной разлуки, чем эта временная, над которой они обе так горько теперь плачут, — она не может даже представить себе и понять, как будет, даже в небе, счастлива без них. Много ночей она проплакала, провела в молитве, умоляя о милости и благодати. Свою боль она приносит в жертву Богу и ждет и надеется. И когда теперь ее постигает новый удар, когда повеление насильника отнимает у нее дорогого человека, кого Авл назвал светом очей своих, она верит еще больше, зная, что есть власть большая, чем власть Нерона, и милосердие

более сильное, чем его злоба.

Она крепче прижала к своей груди голову девушки; Лигия склонилась к ее коленям, спрятала лицо в складках ее пеплума,<sup>[28]</sup> оставаясь так некоторое время в глубоком молчании, и когда поднялась наконец, то на лице ее появилось более спокойное выражение.

— Мне жаль тебя, мать, и отца, и брата, но я знаю, что сопротивление ни к чему не приведет и погубит вас всех. Но я обещаю, что никогда не забуду в доме цезаря сказанного тобою.

Она еще раз обняла Помпонию, а потом, когда они вышли из спальни, Лигия стала прощаться с маленьким Плавтием, со стариком-греком, их учителем, со своей нянькой, когда-то ходившей за ней, и со всеми рабами.

Один из них, высокий плечистый лигиец, которого в доме звали Урсом и который в свое время в числе других слуг прибыл в лагерь римлян с матерью Лигии, склонился теперь к ногам девушки и, обратившись к Помпонии, сказал:

— Domina, позволь мне идти с моей госпожой, чтобы служить ей и защищать ее в доме цезаря.

— Ты не наш, ты слуга Лигии, — ответила Помпония Грецина, — не пустят ли тебя в дом цезаря? И как ты сможешь защищать ее?

— Не знаю, domina, но ведь железо ломается в моих руках, как дерево...

Авл Плавтий, вошедший в эту минуту, узнав, в чем дело, не только не воспротивился желанию Урса, но даже подтвердил, что они не имеют права удерживать его. Они выдают Лигию как заложницу, которую требует цезарь, они обязаны выдать вместе с ней и ее слуг, которые вместе с ней переходят на попечение цезаря. И он шепнул Помпонии, что она может отпустить с Лигией столько рабынь, сколько сочтет необходимым, потому что центурион не вправе отказаться принять их.

Для Лигии это было некоторым утешением, а Помпония порадовалась, что может дать ей служанок по своему выбору. Кроме Урса она приставила к ней старую няньку, двух девушек с Кипра, искусных в расчесывании волос, и двух банных девушек-германок. Ее выбор пал исключительно на обращенных в новую веру, и Урс исповедовал ее уже несколько лет, поэтому Помпония могла рассчитывать на верность этих слуг, а кроме того, порадоваться, что зерна новой правды будут посеяны и в доме цезаря.

Она написала несколько слов вольноотпущеннице Нерона Актее, поручая ей Лигию. Правда, Помпония не встречала ее на собраниях приверженцев новой веры, но она слышала от многих, что Актея никогда не отказывает им в помощи и жадно читает письма Павла из Тарса. Ей

было известно также, что молодая вольноотпущенница живет в вечной печали, что она отличается от прочих женщин в доме Нерона и что вообще она является добрым гением дворца.

Гаста взялся лично вручить письмо Актее. Считая вещь совершенно естественной, что царская дочь должна иметь собственных слуг, он не препятствовал им отправиться вместе с ней, скорее удивился их малому числу. Но он просил поторопиться, опасаясь, что его обвинят в медлительности исполнения приказа. Час разлуки наступил. Глаза Помпони и Лигии снова наполнились слезами; Авл еще раз возложил руки на голову девушки, и через минуту солдаты, провожаемые плачем маленького Авла, который, защищая сестру, грозил им своими кулачками, увели Лигию в дом цезаря.

Старый вождь велел приготовить для него лектику и, оставшись наедине с Помпонией в пинакотеке — картинной галерее, сказал ей:

— Послушай, Помпония. Я иду к цезарю, хотя знаю, что напрасно, и кроме того, пусть слово Сенеки уже ничего не значит для Нерона, я побываю и у Сенеки. Сегодня более влиятельны Софоний, Тигеллин, Петроний или Ватиний... Что касается цезаря, то, вероятно, он никогда и не слышал о народе лигийцев, и если теперь потребовал выдачи Лигии как заложницы, то потому, что его кто-то подучил сделать это, и нетрудно догадаться, кто именно.

Она подняла на него глаза и быстро произнесла:

— Петроний?..

— Да.

Они помолчали, потом Авл продолжал:

— Вот что значит пустить в свой дом кого-нибудь из людей без чести и совести. Пусть проклят будет тот час, когда Виниций переступил порог нашего дома! Он привел к нам Петрония. Горе Лигии! Им не заложница нужна, они хотят сделать ее наложницей.

Его речь от гнева, от бессильного бешенства на похитителей девушки стала еще более свистящей, чем всегда. Некоторое время он боролся с собой, и лишь сжатые кулаки показывали, как трудна для него эта внутренняя борьба.

— Я почитал до сих пор богов, — сказал он, — но теперь думаю, что нет их в мире и что есть только один, злой, бешеный, отвратительный, имя которому — Нерон.

— Авл! — воскликнула Помпония. — Ведь Нерон лишь горсть праха в сравнении с Богом.

Старик ходил большими шагами по мозаичному полу галереи. В

жизни его были великие дела, но не было великих несчастий, поэтому он не привык к ним. Старый воин привязался к Лигии больше, чем думал, и теперь не мог примириться с мыслью, что потерял ее. Кроме того, он чувствовал себя раздавленным. Над ним простерлась десница, которую он презирал и в то же время чувствовал, что его сила в сравнении с мощностью этой десницы — ничто.

Когда он подавил наконец в себе гнев, который мешал ему думать, он сказал:

— Полагаю, что Петроний отнял у нас Лигию не для цезаря, он не решился бы навлечь на себя гнев Поппеи. Значит, или для себя, или для Виниция... Я сегодня же узнаю об этом.

Через несколько минут его несли на лектике в сторону Палатина. Оставшись одна, Помпония пошла к маленькому Авлу, который не переставал плакать о сестре и грозил цезарю.

Авл был прав, говоря, что его не допустят к цезарю. Ему было заявлено, что Нерон занят пением с лютнистом Терпосом и что он вообще не принимает тех, кого не позвал сам. Другими словами это означало, что Авл не должен и в будущем делать попыток увидеться с цезарем.

Зато Сенека, хотя и был болен лихорадкой, принял старого вождя с надлежащим почетом. Но когда внимательно выслушал в чем дело, горько улыбнулся и сказал:

— Могу оказать тебе лишь одну услугу, благородный Плавтий, а именно: я никогда не покажу цезарю, что сердце мое сочувствует твоей боли и что я хотел бы помочь тебе, потому что, если бы у цезаря возникло на этот счет малейшее подозрение, знай, что он не отдал бы тебе Лигии, хотя бы у него не было для этого никаких иных поводов, кроме одного — сделать мне назло.

Он не советовал обращаться ни к Тигеллину, ни к Ватинию, ни к Вителию. При помощи денег, может быть, с ними и удалось бы что-нибудь сделать, пожалуй, они готовы были бы поступить назло Петронию, под которого стараются подкопаться, но вероятнее всего они обнаружили бы перед цезарем, что Лигия бесконечно дорога Плавтию, — и тогда цезарь тем более не отдал бы ее. Старый мудрец стал говорить с горькой иронией, обращенной на самого себя:

— Ты молчал, Плавтий, молчал целые годы, а цезарь не любит тех, кто молчит! Как мог ты не восторгаться его красотой, добродетелью, голосом, декламацией, ездой, управлением колесницей и стихами? Как мог ты не прославлять смерти Британика, не произнести хвалебной речи в честь матереубийцы и не поздравить его по случаю удушения Октавии? У тебя не хватает такта, Авл, — такта, которым в достаточной степени обладаем мы, счастливо живущие при дворе.

Говоря это, он взял кубок, который носил у пояса, зачерпнул воды из водоема, смочил воспаленные уста и продолжал:

— О, у Нерона благодарное сердце! Он любит тебя, потому что ты служил Риму и прославил его имя в далеких краях; любит он и меня, ибо я был его наставником в юности. Поэтому я знаю, что эта вода не отравлена, и я пью ее спокойно. Относительно вина в моем доме я менее уверен, но если тебя мучит жажда, то смело испей этой воды. Водопровод доставляет ее с Альбанских гор, и, желая отравить ее, пришлось бы отравить все

водоемы Рима. Поэтому, как видишь, можно чувствовать себя в безопасности в этом мире и надеяться на покойную старость. Правда, я болен, но это скорее болезнь души, чем тела.

Это была правда. Сенеке не доставало той душевной силы, какой обладает, например, Корнут или Трасей, поэтому жизнь его была рядом уступок. Он сам понимал это, чувствовал, что последователь Зенона должен был идти другой дорогой, и от этого он страдал больше, чем от страха смерти.

Но вождь прервал его горестные размышления.

— Благородный Анний, — сказал Плавтий, — я знаю, как заплатил тебе цезарь за заботы, которыми ты окружал его в юные годы. Но виновником похищения нашей девочки является Петроний. Скажи мне, как можно повлиять на него, и подействуй сам на этого человека, помня о нашей старой дружбе.

— Петроний и я, — ответил Сенека, — мы люди противоположных лагерей. Как влиять на него — не знаю, он не поддается ничьим влияниям. Возможно, что при всей своей испорченности он все же лучше тех негодяев, которыми окружил себя за последнее время Нерон. Но доказывать ему, что он совершил дурной поступок, значит терять напрасно время. Петроний давно утратил способность отличать доброе от дурного. Докажи, что его поступок некрасив, тогда ему станет стыдно. Когда я увижусь с ним, я скажу: «Твой поступок достоин вольноотпущенника». Если это не поможет — не поможет ничто.

— Спасибо и за это, — сказал Авл.

Он велел отнести себя к Виницию, которого застал фехтующим с домашним фехтовальщиком-рабом. При виде молодого человека, спокойно отдающего упражнениям в то время, когда совершено покушение на Лигию, старый Авл ужасно рассердился, и, когда раб был отослан, Виницию пришлось выслушать поток оскорблений и упреков. Но Виниций, узнав, что Лигия уведена, так смертельно побледнел, что даже Авл ни на минуту после этого не мог считать его соучастником покушения. Капли пота покрыли лоб юноши; кровь, на мгновение отлившая в сердце багровой волной, снова прилила к лицу, глаза метали молнии, губы растерянно шептали вопросы. Ревность и бешенство охватили его, как вихрь. Ему казалось, что Лигия, переступив порог дома цезаря, потеряна для него навсегда; когда же Авл произнес имя Петрония, подозрение словно молния озарило мозг молодого солдата. Петроний зло подшутил над ним и захотел либо добиться новых милостей у цезаря, подарив ему Лигию, либо оставить ее для себя. То, что кто-нибудь, увидев Лигию, мог не пожелать



ее, не помещалось в голове Виниция.

Гнев, свойственный его роду, подобно бешеному коню, мчал его теперь неведомо куда, отнимая способность думать.

— Возвращайся домой, вождь, и жди меня... Знай, что, если бы Петроний даже был мне отцом, я отомстил бы ему за обиду Лигии. Возвращайся к себе и жди. Ни Петроний, ни цезарь не получают ее.

Потом, протянув руки к восковым маскам предков, он воскликнул:

— Клянусь этими масками смерти, раньше я убью и ее и себя!

Сказав это, он бросил Авлу еще раз: «жди меня», и выбежал, как безумный, из атриума. Он отправился к Петронию, расталкивая по дороге прохожих.

Авл вернулся домой немного успокоенный. Если Петроний, рассуждал он, подговорил цезаря вытребовать Лигию, чтобы отдать ее Виницию, то Виниций отведет ее обратно в их дом. Немало утешила его мысль, что Лигия, если спасение ее станет невозможно, будет защищена от бесчестия смертью. Авл верил, что Виниций выполнит все, что обещал. Видел его бешенство и знал силу гнева, свойственную роду Марка. Он сам, хотя и любил Лигию, как отец, предпочел бы убить ее, чем отдать цезарю; и если бы не сын, последний отпрыск рода, он не колеблясь сделал бы это. Авл был солдатом, о стойках знал лишь понаслышке, но по характеру своему был близок им; к его понятиям, к его гордости смерть больше подходила, чем бесчестие.

Вернувшись домой, он успокоил Помпонию, и оба они, утешенные, стали ждать вести от Виниция. Когда в атриуме слышались шаги одного из слуг, они думали, что это Виниций ведет к ним их милую девушку, и готовы были в глубине души благословить их обоих. Но время шло, и никто не приносил желанной вести. И лишь вечером раздался удар молотка у ворот.

Вошел раб и подал Авлу письмо. Старый вождь хотя и гордился своим самообладанием, однако взял послание слегка дрожащими руками и стал читать с таким волнением, словно дело касалось судьбы его дома.

И вдруг по лицу его скользнула тень — так скользит тень от проплывающей тучи.

— Прочти, — сказал он, обращаясь к Помпонию. Помпония взяла письмо и прочла следующее:

«Марк Виниций приветствует Авла Плавтия. То, что произошло, — произошло по воле цезаря, перед которой склоните головы, как склонили я и Петроний».

Наступило долгое молчание.

## VI

Петроний был дома. Привратник не посмел удержать Виниция, который ворвался в атриум как ураган и, узнав, что хозяина можно найти в библиотеке, так же стремительно бросился туда. Застав Петрония за писанием, он вырвал из его рук тростник, сломал его, бросил на землю, потом впился пальцами в плечо Петрония и, приблизив свое лицо к его лицу, стал задавать вопросы хриплым голосом:

— Что ты с ней сделал? Где она?

И вдруг произошло нечто неожиданное. Изнеженный и слабый Петроний схватил вдруг впившуюся в плечо руку молодого атлета, поймал затем и другую и, держа обе в своей с силой железных клещей, сказал:

— Я вял лишь по утрам, вечером ко мне возвращается моя сила. Попробуй вырваться. Гимнастике обучал тебя, по-видимому, ткач, а вежливости — кузнец.

На его лице не было даже гнева, и только в глазах светился тихий огонек силы и смелости. Через минуту он выпустил руки Виниция, который стоял перед ним покорный и пристыженный.

— У тебя стальная десница, — сказал он, — но клянусь тебе богами Аида, что, если ты предал меня, я воткну нож в твое горло даже в доме цезаря.

— Поговорим спокойно, — ответил Петроний. — Как видишь, сталь крепче железа, поэтому, хотя из одной твоей руки и можно сделать две моих, все-таки мне не приходится бояться тебя. Но я огорчен твоей грубостью, и если бы меня могла удивлять человеческая неблагодарность, то я удивился бы твоей.

— Где же Лигия?

— В лупанарии, <sup>[29]</sup> то есть в доме цезаря.

— Петроний!

— Успокойся и сядь. Я просил у цезаря две вещи, которые он мне и обещал: во-первых, потребовать Лигию у Авла и, во-вторых, отдать ее тебе. Не прячешь ли ты нож в складках своей тоги? Может быть, ты ранишь меня! Но я советую тебе подождать несколько дней, потому что тебя посадят в тюрьму и Лигии одной придется скучать в твоём доме.

Наступило молчание. Виниций смотрел на Петрония изумленными глазами, потом сказал:

— Прости меня. Я люблю, и любовь делает меня безумным.

— Ты можешь негодовать, Марк. Вчера я сказал цезарю: мой племянник Виниций так влюбился в худощавую девчонку, живущую у Плавтия, что его дом обратился в горячую баню от вздохов. Ты, цезарь, и я, мы ведь знаем, что такое подлинная красота, мы не дали бы за нее и тысячи сестерций, но этот юноша всегда был глуп, как треножник, а теперь поглупел еще больше.

— Петроний!

— Если ты не понимаешь, что я сказал это ради безопасности Лигии, то, пожалуй, я готов подумать, что сказал цезарю правду. Я убедил Меднобородого, что такой эстет, как он, не может считать подобную девушку красивой, — и Нерон, смотрящий на все до сих пор моими глазами, не найдет ее красивой, а потому и не пожелает ее. Нужно было обезопасить себя от этой обезьяны и привязать ее. Лигию оценит теперь не он, а Поппея, и она, конечно, постарается поскорее удалить девушку из дворца. И я небрежно говорил Меднобородому: «Возьми Лигию и отдай ее Виницию! Ты вправе сделать это, потому что она заложница, и, поступив таким образом, ты очень разобидишь Авла». Он согласился. Не было ни малейшей причины отказать, тем более что я дал ему случай причинить неприятность порядочному человеку. Тебя назначат государственным попечителем заложницы, отдадут тебе на руки это лигийское сокровище, а ты, как союзник храбрых лигийцев и вместе с тем верный слуга цезаря, не только не растратишь ничего из этого сокровища, но постарайся даже приумножить его. Цезарь, чтобы соблюсти приличие, подержит ее несколько дней в своем доме, а потом отошлет ее тебе, счастливцец!

— Неужели это правда? Не грозит ли ей что-нибудь в доме цезаря?

— Если бы она поселилась там навсегда, Поппея поговорила бы о ней с Локустой, но в течение нескольких дней ей ничто не угрожает. Возможно, что Нерон совсем не увидит ее, тем более что он все дело поручил мне. Несколько минут тому назад у меня был центурион, сказавший, что он отвел Лигию во дворец и сдал ее на руки Актее. Актеея — добрая душа, потому-то я и велел поручить ей Лигию. Помпония Грецина держится, по видимому, того же мнения, потому что послала ей письмо. Завтра у Нерона пир. Я оставил за тобой место рядом с Лигией.

— Прости, Кай, мою горячность, — сказал Виниций. — Я думал, что ты увел ее из дома Авла для себя или для цезаря.

— Я могу простить горячность, но труднее простить грубые жесты, дикие крики и хриплый голос, словно у игрока в свайку. Этого я не люблю, Марк, и ты избегай подобных вещей. Знай, что поставщиком цезаря является Тигеллин, а если бы я вздумал взять себе эту девушку, то теперь,

смотря прямо тебе в глаза, сказал бы следующее:

— Виниций, я отнимаю у тебя Лигию и буду держать ее при себе до тех пор, пока она мне не наскучит.

Говоря это, он смотрел своими холодными и гордыми глазами на юношу, так что тот окончательно был смущен.

— Я кругом виноват, — сказал он. — Ты добрый и честный, и я благодарен тебе до глубины души. Позволь мне задать тебе еще один вопрос. Почему ты не велел отослать Лигию прямо в мой дом?

— Потому что цезарь любит соблюдать приличия. В Риме будут говорить об этом, а так как Лигия — заложница, то пока будут говорить, она останется в доме цезаря. Потом ее отошлют к тебе — и делу конец. Меднобородый труслив как собака. Знает, что власть его безгранична, и все-таки старается каждому своему поступку придать законный вид. Достаточно ли ты успокоился, чтобы немного пофилософствовать? Мне не раз приходил в голову вопрос, почему преступление, даже если оно сильно, как цезарь, и, как он, уверено в своей безнаказанности, все-таки всегда старается облечь себя формой справедливости, закона, добродетели?.. Зачем ему этот труд? Я думаю, что убить брата, жену, мать — все это дела, достойные азиатского царька, а не римского цезаря; но, если бы со мной случилось подобное, я не писал бы оправдывающихся писем сенату... А Нерон пишет, Нерон старается соблюдать приличия, Нерон — трус. Тиверий не был трусом, однако и он старался оправдать каждое свое преступление. Почему это так? Что это за невольная странная почтительность зла перед добром? И знаешь, что я думаю? Это происходит оттого, что преступление безобразно, а добродетель красива. Следовательно, истинный любитель красоты в то же время является добродетельным человеком. Я должен сегодня плеснуть из чаши немного вина теньям Протагора, Продика и Горгия. Оказывается, что и софисты могут пригодиться. Слушай, я буду говорить дальше. Я отнял Лигию у Плавтиев, чтобы отдать тебе. Прекрасно. Но ведь Лизипп создал бы из вас обоих чудесную группу. Вы оба прекрасны, следовательно, и мой поступок прекрасен, а если он прекрасен, то не может быть дурным. Смотри, Марк, перед тобой сидит добродетель, воплощенная в лице Петрония. Если бы Аристид был жив, он должен был бы прийти ко мне и заплатить сто мин <sup>[30]</sup> за краткий урок добродетели.

Но Виниций, которого действительность интересовала больше, чем уроки добродетели, сказал:

— Завтра увижу Лигию, а потом буду видеть ее ежедневно в своем доме до самой смерти.

— У тебя будет Лигия, а у меня на шее Авл. Он накличет на меня месть всех подземных богов. И хоть поучился бы, животное, раньше у хорошего учителя декламации... Он будет так ругаться, как ругался с моими клиентами старый привратник, отосланный за это мной в деревню на тяжелую работу.

— Авл был у меня. И я обещал ему прислать известие о Лигии.

— Напиши, что воля «божественного» цезаря есть высший закон и что твой первенец будет носить имя Авла. Нужно немного утешить старика. Я готов просить Меднобородого, чтобы он пригласил его на завтрашний пир. Пусть бы он увидел в триклиниуме тебя рядом с Лигией.

— Не делай этого, — сказал Виниций. — Мне жаль их, особенно Помпонию.

И он сел писать то письмо, которое отняло у старого вождя последнюю надежду.

## VII

Перед Актеей, прежней подругой Нерона, склонялись некогда головы наиболее гордых римлян. Но и тогда она не хотела мешаться в государственные дела и если когда и употребляла свое влияние на молодого владыку, то лишь для того, чтобы выпросить кому-нибудь помилование. Тихая и спокойная, она снискала благодарность многих и никого не сделала своим врагом. Не смогла возненавидеть ее даже Октавия. Ревнивым она казалась слишком малоопасной. Знали, что она любит Нерона любовью печальной и болезненной, которая живет уже не надеждой, а лишь воспоминаниями тех дней, когда Нерон был не только более молодым и любящим, но и лучшим человеком. Знали, что от этих воспоминаний она не может оторвать своих мыслей, но ничего не ждет от будущего; никто не боялся, что цезарь вернется к ней, поэтому смотрели на нее, как на существо совершенно безвредное, и оставили ее в покое. Поппея имела в ее лице покорную служанку, столь неопасную, что даже не понадобилось отослать ее из дворца.

Но так как цезарь любил ее когда-то и покинул без гнева, спокойно и даже дружелюбно, то с ней немного считались. Дав ей свободу, Нерон отвел ей помещение во дворце и дал несколько прислужниц. В свое время вольноотпущенники Клавдия, Нарцисс и Паллас, не только принимали участие в пирах, но даже в качестве приближенных цезаря занимали лучшие места, поэтому и Актею иногда приглашали к столу цезаря. Делали это, может быть, и потому, что ее прекрасный облик был подлинным украшением стола. Впрочем, цезарь в выборе общества давно перестал руководиться какими бы то ни было соображениями. За его стол садилась самая разнообразная смесь людей всевозможного положения и происхождения. Были сенаторы, но преимущественно те из них, которые в то же время могли служить шутами. Были патриции, старые и молодые, жадные до роскоши, блеска и пышности. Были женщины, носившие громкие имена, но не стеснявшиеся по ночам надевать рыжий парик и искать веселых приключений на темных улицах. Бывали жрецы, которые за полными чашами сами рады были посмеяться над своими богами, а рядом с ними всякого рода проходимцы — певцы, мимы, музыканты, танцовщики и плясуньи, поэты, которые, декламируя стихи, думали о сестерциях, которые могли им быть пожалованы за лестные отзывы о стихах цезаря; голодные философы, жадными глазами смотревшие на подаваемые блюда;

наконец, известные наездники, фокусники, лекари, шуты самые разнообразные, благодаря моде и глупости, однодневные знаменитости, шарлатаны, среди которых было немало таких, которые длинными волосами прикрывали свои проколотые уши рабов.

Более знаменитые из них садились за стол, другие развлекали пирующих во время еды, ожидая минуты, когда им позволено будет наброситься на остатки кушаний и напитков. Такого рода гостей доставляли Тигеллин, Ватиний и Вителий, которым приходилось часто заботиться и о подобающей покоям цезаря одежде для приглашенных; впрочем, цезарь любил подобное общество, чувствуя себя в нем наиболее свободным. Роскошь двора все украшала и всему придавала блеск. Великие и малые, потомки знатных родов и люди с мостовой, знаменитые художники и жалкие подражатели — все теснились у дворца, чтобы насытить ослепленные взоры пышностью и блеском, превосходящим человеческие понятия, и приблизиться к источнику милостей, богатства и всяких благ, одно слово которого могло, правда, унижить, но могло и вознести выше меры.

Лигия должна была принять участие в подобном пире. Страх, неуверенность, растерянность, неувидительные в подобных обстоятельствах, боролись в ней с желанием оказать сопротивление. Она боялась цезаря, боялась людей, боялась дворца, оживление которого смущало ее, боялась пиров, о бесстыдстве которых слышала от Авла, Помпонии и их друзей. Будучи молодой девушкой, она многое знала, потому что знания дурных сторон жизни в те времена не могли избежать даже дети. Поэтому она знала, что в этом дворце ей грозит гибель, о которой, впрочем, говорила ей Помпония в минуту расставания. Но ее молодая душа, которой не коснулась еще испорченность и в которую были уже посеяны семена нового учения ее приемной матерью, готова была оказать сопротивление этой гибели. Она дала обещание матери, себе и тому Божественному Учителю, в которого не только верила, но и возлюбила своим детским сердцем за сладость учения, за горечь смерти и за славу воскресения.

Она знала, что теперь ни Авл, ни Помпония Грецина не будут ответственны за ее поступки, поэтому не лучше ли будет, думала она, отказаться от участия в пире? С одной стороны, в душе ее говорили страх и беспокойство, с другой — рождалось желание показать себя смелой, решительной, готовой пойти на муку и смерть. Ведь так велел Божественный Учитель. Ведь он нам подал пример. Помпония рассказывала ей о тех ревностных последователях нового учения, которые

жаждут от всей души подобного испытания и просят его. Лигия, живя в доме Авла, испытывала иногда подобное желание. Она представляла себя мученицей, с ранами на руках и ногах, белой как снег, исполненной неземной красоты, и белые ангелы уносили ее в лазурь. Ее воображение тешило себя подобными образами. Много было в этом детского, но было и самолюбование, за которое осуждала ее Помпония. Теперь, когда неповиновение цезарю могло повлечь за собой какую-нибудь жестокую кару, когда знакомые воображению муки могли стать действительностью, к прекрасным образам ее фантазии присоединилось смешанное со страхом любопытство, какой каре будет подвергнута она, какой род мучений придумают для нее.

И так колебалась ее юная душа. Актея, узнав об этих колебаниях, посмотрела на нее с таким удивлением, словно девушка говорила об этом в бреду. Не повиноваться цезарю? Навлечь на себя в первый же день его гнев? Для этого нужно быть ребенком, который не понимает, что говорит. Из собственных слов Лигии следует, что она не заложница, а девушка, забытая своим народом. Ее не защищает никакой закон, а если бы и защищал, то цезарь слишком могуч, чтобы нарушить его в минуту гнева. Цезарю захотелось взять ее — и она в его власти. С этой минуты нет над ней иной воли, кроме его.

— Да. И я читала, — говорила Актея, — письма Павла из Тарса, и я знаю, что в небе есть Бог и есть Сын Божий, который воскрес, — но на земле есть лишь цезарь. Помни об этом, Лигия! Знаю, что учение не позволяет тебе быть тем, чем была я, и что вам, как стоикам, о которых рассказывал мне Эпиктет, можно выбрать лишь смерть, когда придется выбирать между нею и бесчестием. Но можешь ли ты быть уверена, что тебя ждет смерть, а не бесчестие? Разве не слышала ты о дочери Сеяна, которая, будучи маленькой девочкой, должна была по приказанию Тиверия ради соблюдения закона, запрещавшего предавать смертной казни девушек, перед смертью пережить страшное насилие? Лигия, Лигия, не дразни цезаря! Когда наступит решительная минута и тебе придется выбирать между бесчестием и смертью, поступи так, как велит тебе твоя правда, но не ищи добровольно гибели, не дразни по пустому поводу земного, и притом жестокого, бога.

Актея говорила с великой жалостью и даже с волнением. Будучи от природы близорукой, она приблизила свое нежное лицо к лицу Лигии, словно желая убедиться, какое ее слова производят на ту впечатление.

Лигия, доверчиво обняв ее шею, сказала:

— Ты добрая, Актея!



Актея, растроганная похвалой и доверчивостью, прижала ее к своей груди, а потом, освободившись из объятий девушки, сказала:

— Мое счастье миновало, и радость миновала, но я не злая.

Потом она стала ходить по комнате и говорить, словно была одна:

— Нет, и он не был злым. Сам думал тогда, что добрый, и хотел быть добрым. Об этом я знаю лучше всех. Это все пришло потом... Когда он перестал любить... Другие сделали его таким, какой он сейчас, другие... и Поппея!

Глаза ее наполнились слезами. Лигия следила за ней своими голубыми глазами и наконец сказала:

— Тебе жаль его, Актея?

— Жаль! — глухо ответила гречанка.

И снова она стала ходить со сжатыми, словно от боли, руками, с лицом, на котором видно было отчаяние.

Лигия несмело спросила:

— Ты его еще любишь, Актея?

— Люблю...

И тотчас прибавила:

— Его никто, кроме меня, не любит...

Наступило молчание, во время которого Актея постаралась вернуть себе смущенное воспоминаниями спокойствие, и когда наконец лицо ее приняло выражение обычной тихой печали, она сказала:

— Поговорим о тебе, Лигия! Ты и не думай сопротивляться воле цезаря. Это было бы безумием. Успокойся... Я хорошо знаю этот дом и думаю, что со стороны цезаря тебе не грозит ничего дурного. Если бы цезарь хотел тебя взять для себя, он не поселил бы тебя на Палатине. Здесь царствует Поппея, а Нерон, с того времени как у нее родилась дочь, еще больше подчинился ей... Нет. Правда, Нерон велел, чтобы ты присутствовала на пиру, но он до сих пор не видел тебя, не спросил о тебе: ему нет до тебя дела... Может быть, он отнял тебя у Авла и Помпонию для того только, чтобы позлить их... Петроний написал мне, чтобы я позаботилась о тебе; об этом же просит и Помпония; может быть, он делает это по ее просьбе. Если это так, если и Петроний примет в тебе участие по просьбе Помпонию, тебе не грозит здесь ни малейшей опасности, — и кто знает, может быть, Нерон по его совету отошлет тебя обратно к Авлу. Я не знаю, любит ли его Нерон, но он редко решается быть другого мнения, чем Петроний.

— Ах, Актея! — воскликнула Лигия. — Петроний был у нас накануне, и моя мать уверена, что Нерон потребовал меня по его совету.

— Это было бы плохо, — сказала Лигия. Подумав немного, она продолжила:

— Но возможно, что Петроний проболтался за ужином, что видел у Авла заложницу лигийцев, и Нерон, ревнивый к своей власти, потребовал тебя лишь потому, что заложницы принадлежат цезарю. Он к тому же не любит Авла и Помпонию... Я не думаю, чтобы Петроний, желая отнять тебя у Авла, прибег к такому способу... Не знаю, лучше ли Петроний тех людей, которые окружают цезаря, но он во всяком случае не похож на них... Может быть, кроме него ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы просить за тебя? Не видел ли тебя у Авла близкий к цезарю человек?

— У нас бывали Веспасиан и Тит...

— Цезарь не любит их.

— Сенека...

— Достаточно Сенеке посоветовать что-нибудь, и цезарь поступит как раз наоборот.

Бледное лицо Лигии слегка раздурмянилось.

— И Виниций...

— Я не знаю его.

— Племянник Петрония, вернувшийся недавно из Армении...

— Ты думаешь, что цезарь рад его видеть?

— Виниция все любят.

— И он мог бы просить за тебя?

— Да.

Актея улыбнулась и сказала:

— Ты, вероятно, увидишь его на пиру. Ты должна присутствовать на нем непременно. Только такой ребенок, как ты, мог подумать иначе. Если хочешь вернуться в дом Авла, ищи случая попросить Петрония и Виниция, чтобы они своим влиянием выхлопотали тебе право возвращения. Если бы они были здесь сейчас, оба сказали бы тебе то же, что и я: безумие и гибель оказывать неповиновение. Правда, цезарь мог бы не заметить твоего отсутствия, но если бы он заметил и подумал, что ты противишься его воле, то для тебя не было бы спасения. Иди, Лигия... Слышишь шум в доме? Солнце садится, и гости скоро начнут собираться.

— Ты права, Актея, — ответила Лигия, — я последую твоему совету.

Сколько в этом решении было желания увидеться с Виницием и Петронием, сколько женского любопытства хоть раз в жизни увидеть пир, на нем самого цезаря, двор, знаменитую Поппею и других красавиц и всю неслыханную пышность, о которой рассказывали в Риме чудеса, — сама Лигия, вероятно, не сумела бы ясно отдать себе отчета. Но Актея была

права, и девушка понимала это. Идти на пир было необходимо, а раз необходимость и рассудок поддерживали тайное искушение, Лигия перестала колебаться.

Актея отвела Лигию в свою комнату, чтобы одеть ее, и хотя в доме цезаря не было недостатка в рабынях и у Актеи их было достаточное число для личных услуг, она из сочувствия к девушке, невинность и красота которой глубоко растрогали ее, решила лично заняться ее туалетом. И тотчас оказалось, что в молодой дочери Греции, несмотря на ее печаль и внимательное чтение писем Павла из Тарса, много еще осталось старой эллинской души, для которой красота тела говорит сильнее, чем все другое на свете. Раздев Лигию и увидев формы ее тела, словно вылитые из жемчуга и роз, полные и стройные, она не могла удержаться от крика удивления, и, отступив на несколько шагов, с восторгом смотрела на эту несравненную весеннюю красоту.

— Лигия! — воскликнула она наконец. — Ты в сто раз красивее Поппеи!

Девушка, воспитанная в строгом доме Помпони, где скромность была обязательна даже в присутствии одних женщин, стояла чудесная, как сновидение, гармоничная, как произведение Праксителя, как воплощенная песнь, но смущенная, розовая, со сжатыми коленями, с руками на груди, с опущенными вниз глазами. Потом, вдруг подняв к голове руки и вынув шпильки, поддерживающие волосы, она тряхнула головой и мгновенно покрылась ими, как плащом.

Актея подошла к ней ближе и сказала:

— Какие волосы!.. Я не осыплю их золотой пудрой, они сами отливают золотом... Разве чуть-чуть, чтобы заставить их сиять, как отблеск солнца... Чудесный ваш край лигийский, где рождаются такие девушки.

— Я не помню родины, — ответила Лигия. — Урс говорит, что у нас только леса, леса и леса...

— А в лесах цветут такие цветы, — сказала Актея, макая руки в сосуд с вербеной и увлажняя ими волосы Лигии.

Потом она стала слегка натирать тело девушки благовонными аравийскими мазями, после чего одела ее в золотистую тунику без рукавов, на которую потом Лигия должна была надеть белоснежный пеплум. Но раньше нужно было причесать волосы, поэтому она закутала девушку широким покрывалом и, усадив в кресло, поручила ее рабыням, чтобы самой издали наблюдать за причесыванием. Две рабыни тем временем надевали на ноги Лигии белые, шитые пурпуром сандалии, переплетая накрест золотые тесемки. Когда прическа была закончена, на Лигию надели

пеплум, легкие складки которого были старательно уложены, после чего Актея застегнула жемчужное ожерелье на шее девушки и слегка попудрила ей волосы. Затем она велела одевать себя, не спуская все время восхищенных глаз с Лигии.

Она скоро была готова, и когда у главных ворот стали появляться первые лектики, <sup>[31]</sup> они вошли в боковой портик, откуда виден был главный вход, внутренние галереи и двор, окруженный колоннадой из нумидийского мрамора.

Все больше и больше гостей проходило в высокие ворота, над которыми великолепная квадрига Лизия, казалось, уносила в воздух Аполлона и Диану. Лигия была изумлена пышностью, о которой не мог ей дать понятия скромный дом Авла. Был закат, и последние лучи солнца падали на желтый нумидийский мрамор колонн, отливавший золотом и в то же время отражавший розовый блеск зари. Под колоннами возле белых статуй Данаид, богов и героев проходили толпы народа, мужчин и женщин, похожих на оживленные статуи, закутанных в тоги, пеплумы и столы, мягкими складками спадающие книзу, на которых также догорал блеск заходящего солнца. Огромный Геркулес, с головой, освещенной солнцем, и грудью, погруженной в тень, падающую от колонны, смотрел сверху на эту толпу. Актея показывала Лигии сенаторов в тогах с широкими полосами, цветных туниках и с полумесяцем на обуви; военачальников, знаменитых художников, знатных женщин, одетых по-римски, по-гречески или же в фантастические восточные наряды, женщин с прическами в виде башни, пирамиды или с низкими, наподобие причесок мраморных богинь, увенчанных цветами. Многих мужчин и женщин называла Актея по имени, рассказывая о них краткие и подчас ужасные истории, от которых Лигия испытывала страх и удивление. Это был для нее странный мир, красотой которого упивался ее взор, но противоречий которого не мог понять ее девичий разум. В вечерней заре, в лесе недвижных колонн, уходивших вдаль, в людях, похожих на статуи, — во всем этом был некий великий покой; казалось, что здесь должны жить какие-то чуждые забот, спокойные и счастливые полубоги, между тем как тихий голос Актеи раскрывал одну за другой страшные тайны и этого дворца, и этих людей. Вот там издали виден портик, на колоннах которого и на полу еще не стерлись пятна крови, которой обагрил белоснежный мрамор Калигула, павший от ножа Кассия Хереи; там была убита его жена; там был разбит о камни ребенок; а под тем крылом скрыто подземелье, в котором грыз себе руки заморенный голодом младший Друз; там отравили старшего Друза, там извивался в судорогах Гемелл, там умирал Клавдий, там Германик, — всюду эти стены слышали

стоны и хрипенье умирающих; а те люди, которые теперь спешат на пир, в тогах, разноцветных туниках, украшенные цветами и драгоценностями, завтра, может быть, будут осуждены на смерть. Не на одном лице под улыбкой таится страх, волнение, неуверенность в завтрашнем дне; ненависть, жадность, зависть таятся на сердце этих с виду беззаботных, увенчанных полубогов. Взволнованная мысль Лигии не успевала следить за словами Актеи, и в то время, как этот чудесный мир привлекал с все возрастающей силой взоры, в душе ее вдруг возникла несказанная, безмерная тоска по любимой Помпони и спокойном доме Авла, где царила любовь, а не преступление.

Прибывали все новые волны гостей. У ворот раздавались крики и говор клиентов, провожавших своих покровителей. Двор и колоннады наполнились множеством рабов и рабынь цезаря, детей и преторианцев, державших караул во дворце. Среди белых или бронзовых лиц иногда мелькало негритянское черное, в шлеме, украшенном перьями, и с золотыми серьгами в ушах. Несли лютни, кифары, корзины цветов, несмотря на позднюю осень, светильники золотые, серебряные и медные. Громкие разговоры смешивались с плеском водометов, розовые от вечерних блесков струи которых, падая сверху на розовый мрамор, разбивались с шумом, похожим на рыдание.

Актея перестала рассказывать, но Лигия не отрываясь смотрела на толпу, словно искала кого-то. И вдруг лицо ее вспыхнуло. Из-за колонн показались Виниций и Петроний; они шли к большому триклинию, прекрасные, важные, в своих тогах похожие на беломраморных богов. Когда Лигия увидела среди чужих людей эти два знакомых дружеских лица, особенно когда увидела Виниция, она сразу почувствовала в душе большое облегчение. Она была не одинока. Безмерная тоска по дому, Помпони и Авлу, волновавшая минуту назад, перестала мучить ее. Искушение увидеть Виниция и говорить с ним заглушило иные голоса. Напрасно она вспоминала все дурное, что слышала о доме цезаря, и рассказ Актеи, и слова Помпони, — несмотря на эти слова и рассказы, она вдруг почувствовала, что не только должна быть на пиру, но и хочет присутствовать на нем. При мысли, что через минуту услышит милый, любимый голос, который твердил ей о любви и счастье, достойном богов, и который до сих пор звучит в ее душе, как песня, Лигию охватила радость.

И вдруг она испугалась этой своей радости. Ей показалось, что она изменила чистому учению, в котором была воспитана, изменила Помпони и самой себе. Далекое не одно и то же — идти на пир по принуждению или радоваться необходимости присутствовать на нем. Лигия почувствовала

себя виноватой, недостойной, погибшей. Ее охватило отчаяние, она готова была разрыдаться. Если бы она была одна, она опустилась бы на колени и, ударяя себя в грудь, покаянно шептала бы: «Помилуй меня, грешную, помилуй!» Но Актея взяла ее за руку и повела внутренними покоями в триклиний, где должен был состояться пир. У Лигии потемнело в глазах от волнения и душевной борьбы, шумело в ушах, захватывало дыхание, сжималось сердце. Словно во сне она увидела тысячи светильников на стенах, столах, услышала крик, которым гости приветствовали цезаря, сквозь туман увидела его самого. Крик оглушил ее, блеск ослепил, от ароматов кружилась голова, и она потеряла остаток самообладания. Актея, поместив ее у стола, возлегла с ней рядом.

Через несколько минут низкий знакомый голос прозвучал около нее с другой стороны:

— Привет тебе, прекраснейшая из земных девушек и звезд небесных! Здравствуй, божественная Каллина!

Лигия, придя в себя, оглянулась: рядом с ней возлежал Виниций.

Он был без тоги: ради удобства обычаи требовал, чтобы тогу снимали во время пира. На нем была ярко-красная туника без рукавов, расшитая серебром. Обнаженные руки по восточному обычаю украшены были двумя широкими золотыми запястьями выше локтей; а ниже они были гладкие, очищенные от растительности, сильные, мускулистые, как у настоящего воина, словно нарочно созданные для меча и щита. Голова была увенчана розами. С бровями, тесно сходящимися на переносице, прекрасными глазами и смуглым лицом, Марк был воплощением молодости и силы, он показался Лигии до такой степени красивым, что она, хотя ее первое волнение и прошло, едва смогла ответить:

— И мой привет тебе, Марк!

Он говорил:

— Счастливы глаза мои, увидевшие тебя; счастливы уши, которые слышат голос твой, более милый для меня, чем звуки флейт и кифары. Если бы мне дано было выбрать, кто будет возлежать со мной рядом на этом пиру, ты или Венера, я выбрал бы тебя, божественная Лигия!

И он жадно смотрел на нее, словно хотел насытиться ее видом, и сжигал ее своим взором. Его глаза скользили по ее лицу, шее, обнаженным рукам, он любовался прекрасными формами, ласкал ее своим взглядом, и кроме страсти светилось в нем также счастье, и чистая любовь, и восторг без границ.

— Я знал, что мы встретимся в доме цезаря, — говорил он, — но при виде тебя душа моя испытала такую радость, словно на мою долю выпало

нечаянное счастье.

Лигия, придя в себя и чувствуя, что в этой чужой толпе, в этом доме Виниций — единственный близкий ей человек, стала говорить с ним и расспрашивать его обо всем, что было ей непонятно и что вселяло в нее страх. Откуда он узнал, что встретит ее в доме цезаря, и почему она здесь? Зачем цезарь разлучил ее с Помпонией? Лигии страшно здесь, и она хочет вернуться к матери. Она умерла бы от тоски и страха, если бы не надежда, что Петроний и он попросят за нее цезаря.

Виниций сказал, что обо всем он узнал от Авла. Почему она здесь, он не знает. Цезарь никому не дает отчета в своих делах и повелениях. Но пусть она не боится. Ведь он, Виниций, около нее и останется с ней. Он предпочел бы ослепнуть, чем не видеть ее, потерять жизнь, чем покинуть Лигию. Она — его душа, и он будет беречь ее, как душу. Он поставит ей в своем доме алтарь, как своему божеству, на котором будет приносить жертвы — мирру и алоэ, а весной — молодой цвет яблони... Если она боится оставаться в доме цезаря, то он обещает ей, что она здесь не останется.

И хотя он говорил двусмысленно и порою лгал, в голосе звучала искренность, потому что искренни были его чувства. Его охватила жалость к ней, и слова ее глубоко проникали в его душу, когда она стала благодарить его, говоря, что Помпония полюбит его за добрые чувства, а сама она будет всю жизнь благодарна ему; он едва совладал с своим волнением, и ему казалось, что никогда в жизни он не сможет отказать ей в просьбе. Сердце его стало смягчаться. Красота пленила его душу, он жаждал ее и в то же время чувствовал, что Лигия дорога ему и что он действительно способен молиться на нее, как на божество; он чувствовал неодолимую потребность говорить о ее красоте и о своей любви, и, так как шум в триклиниуме значительно усилился, он подвинулся к ней ближе и стал нашептывать ласковые, идущие из глубины души признания, звучные, как музыка, и пьянящие, как вино.

И он опьянял Лигию. Среди чужих людей, которые окружали ее, он казался ей близким, милым, на него можно было положиться, он был предан ей всей душой. Он успокоил ее, обещал вырвать из дома цезаря, обещал не покидать и всегда служить ей. Кроме того, раньше он говорил с ней в доме Авла лишь вообще о любви и о том счастье, какое она может дать, а теперь он определенно признался, что любит ее, что она ему милей и дороже всех женщин. Лигия впервые слышала такие слова из уст мужчины, и по мере того как слушала их, ей казалось, что в душе ее что-то просыпается, ее охватывает какое-то счастье, в котором безмерная радость

смешана со странной тревогой. Ее щеки горели, сердце стучало, губы полуоткрылись, словно от удивления. Ей было страшно слушать такие вещи, и в то же время она боялась упустить хоть одно слово. Иногда она опускала глаза и снова поднимала на Виниция лучистый взор, испуганный и в то же время вопрошающий, словно хотела сказать ему: «Говори, говори еще!» Говор, музыка, благоухание цветов и аравийских курений снова стали кружить ей голову. В Риме был обычай возлежать на пирах, но дома она обычно занимала место между Помпонией и маленьким Авлом, теперь же рядом с ней был Виниций, молодой, сильный, влюбленный, пылкий, и она, чувствуя жар, исходивший от него, чувствовала одновременно и стыд и наслаждение. Ею овладело сладостное изнеможение, какое-то забытие, ее клонило ко сну.

Но близость стала действовать и на Виниция. Лицо его побледнело, ноздри раздувались, как у арабского коня. Сердце стучало под его алой туникой, дыхание стало быстрым, губы шептали нежные признания. И он впервые был так близок к ней. Мысли его путались; в крови он чувствовал огонь, который напрасно пытался залить вином. Не вино его пьянило, а ее чудесное лицо, ее нежные руки, ее девичий стан, закутанный в белоснежный пеплум. Он взял ее за руку, как тогда, в доме Авла, и, привлекая к себе, стал шептать дрожащими губами:

— Я люблю тебя, божественная Каллина!

— Пусти, Марк, — прошептала она.

А он говорил с затуманенными глазами:

— Божественная! Полюби меня!..

В эту минуту послышался голос Актеи, которая возлежала около Лигии с другой стороны:

— Цезарь смотрит на вас.

Виниция охватил гнев и на цезаря и на Актею. Ее слова развеяли очарование. Юноше даже голос друга показался бы в эту минуту назойливым; кроме того, он был уверен, что Актея хочет помешать его нежной беседе с Лигией.

Подняв голову и посмотрев на молодую вольноотпущенницу через плечо Лигии, он зло сказал:

— Миновало время, когда ты, Актея, возлежала рядом с цезарем, и говорят, что тебе грозит слепота, как же можешь ты видеть его?

Она ответила с печалью:

— И все-таки вижу... У него тоже слабое зрение, и он смотрит на вас сквозь изумруд.

Все, что делал Нерон, заставляло настораживаться даже самых



близких ему людей, поэтому Виниций заволновался, пришел в себя и незаметно стал поглядывать в сторону цезаря. Лигия, в начале пира от волнения видевшая цезаря словно сквозь туман, а потом, взволнованная разговором и близостью Виниция, не смотревшая на него совсем, теперь также обратила на него свой робкий и вместе с тем любопытный взгляд.

Актея сказала правду. Цезарь, склонившись на стол и закрыв один глаз, держал у другого глаза круглый отшлифованный изумруд и смотрел на них. На мгновение взор его встретился с глазами девушки, — и сердце Лигии сжалось от страха. Когда, будучи ребенком, она жила в сицилийском имени Авла, старая рабыня-египтянка рассказывала ей о драконах, живущих в горных ущельях, и вот теперь ей вдруг показалось, что на нее глядит зеленый глаз такого чудовища. Она схватила Виниция за руку, как испуганное дитя, а в голове путались быстрые мысли и впечатления. Так вот он какой! Страшный и всемогущий! До сих пор она не видала его и думала, что он другой. Ей представлялось чудовище с выражением застывшей злобы на лице; теперь она увидела крупную голову на широких плечах, действительно страшную, но и немного смешную, потому что издали она была похожа на голову ребенка. Голубая туника, запрещенная для простых смертных, бросала синеватый отблеск на широкое и короткое лицо. Волосы у него были темные, завитые в четыре ряда локонами по моде, введенной Оттоном. Бороды не было, потому что он недавно посвятил ее Юпитеру, за что весь Рим принес ему благодарность, хотя злые языки и шептали, что он сделал это потому, что борода обещала быть как и у всей его семьи — рыжей. В его сильно выступавшем вперед лбу было, однако, что-то олимпийское. В сдвинутых бровях чувствовалось сознание своего могущества; но под челом титана было лицо обезьяны, пьяницы и шута, пустое, исполненное дурных страстей, несмотря на молодые годы ожиревшее, болезненное и обрюзгшее. Лигии он показался злобным и отвратительным.

Он опустил изумруд и перестал смотреть на них. Тогда она увидела его большие голубые глаза, щурившиеся от сильного освещения, стеклянные, бессмысленные, как у мертвеца.

Обратившись к Петронии, цезарь сказал:

— Это и есть заложница, в которую влюбился Виниций?

— Да, это она, — ответил Петроний.

— Как называется этот народ?

— Лигийцы.

— Виниций считает ее красивой?

— Одень гнилой оливковый ствол в женский пеплум, и Виниций будет

считать его красивым. Но на твоём лице, несравненный знаток, я прочёл твой приговор относительно её. Ты можешь не произносить его. Да! Слишком худа, головка мака на тонком стебле, а ты, божественный эстет, ценишь в женщине прежде всего стебель, и ты трижды, четырежды прав! Одно лицо — ничто. Я многому научился у тебя, но такого меткого глаза у меня нет ещё... И я готов побиться об заклад с Тултием Сенецием на его любовницу, что хотя во время пира, когда все лежат, трудно судить о всей фигуре, ты уже сказал себе: «Слишком узка в бедрах».

— Слишком узка в бедрах, — проговорил Нерон, щуря глаза.

На губах Петрония появилась чуть заметная усмешка, а Туллий Сенеций, который занят был разговором с Вестином и подшучивал над его верой в сны, повернулся к Петронию и, не имея понятия, о чем шла речь, заявил:

— Ты ошибаешься. Я держусь мнения цезаря.

— Прекрасно! — ответил Петроний. — Я только что утверждал, что у тебя большой ум, а цезарь сказал, что ты осел.

— Habet!<sup>[32]</sup> — засмеялся Нерон, опуская вниз палец; этот жест был обычен в цирке, когда гладиатор терпел поражение и его должны были добить.

Вестин, полагая, что говорят о значении снов, воскликнул:

— А я верю в сны, да и Сенека говорил мне недавно, что тоже верит.

— Прощлой ночью приснилось мне, что я стала весталкой, — сказала с другого конца стола Кальвия Криспинилла.

Нерон стал аплодировать, окружающие тотчас поддержали его, и скоро все хлопали в ладоши: Криспинилла, переменившая нескольких мужей, была известна всему Риму своим сказочным разворотом.

Она, несколько не смущаясь, продолжала:

— Что же! Все они стары и безобразны. Одна лишь Рубрия похожа на человека; нас было бы две, — хотя и Рубрия, впрочем, летом бывает в веснушках.

— Пречистая Кальвия, — сказал Петроний, — но ведь весталкой ты могла бы быть лишь во сне.

— А если бы приказал цезарь?

— Тогда я поверил бы, что исполняются самые невероятные сны.

— Конечно, исполняются, — сказал Вестин, — я ещё понимаю людей, которые не верят в богов, но как можно не верить в сны?

— А гаданье? — спросил Нерон. — Мне как-то было предсказано, что Рим перестанет существовать, а я буду владыкой всего Востока.

— Гаданье и сон имеют много общего, — сказал Вестин. — Однажды

некий проконсул, человек неверующий, послал в храм Мопса своего раба с запечатанным письмом, которое не велел вскрывать, чтобы, таким образом, испытать, сможет ли божок дать ответ на вопрос, заключенный в этом письме. Невольник проспал ночь в храме, чтобы увидеть вещий сон, после чего он вернулся к своему господину и сказал следующее: мне приснился юноша, светлый, как солнце, который сказал мне одно лишь слово: «черного». Услышав это, проконсул побледнел, и, обратившись к своим гостям, равно неверующим, спросил: «Знаете ли вы, что было написано в письме?»

Вестин замолчал и, поднеся ко рту чашу с вином, стал пить.

— Что же было в письме?

— В письме заключался вопрос: «Какого быка я должен принести в жертву — белого или черного?..»

Но рассказ был прерван Вителием, который пришел на пир уже достаточно подвыпившим и теперь вдруг без всякого повода разразился громким бессмысленным смехом.

— Чего хохочет эта бочка сала? — спросил Нерон.

— Смех отличает людей от животных, — сказал Петроний, — и у него нет иного способа показать, что он не свинья.

Вителий прервал свой смех и, шевеля своими жирными, лоснящимися от пищи губами, стал рассматривать всех присутствующих с таким удивлением, словно видел их в первый раз.

Потом он поднял свою похожую на подушку руку и сказал хриплым голосом:

— Я уронил с пальца патрицианский перстень, доставшийся мне от отца...

— Который был сапожником, — прибавил Нерон.

Но Вителий снова бессмысленно захохотал и стал искать свой перстень в пеплуме Кальвии Криспиниллы.

Ватиний стал подражать крику испуганной женщины, а Нигидия, подруга Кальвии, молодая вдова с лицом девочки и глазами блудницы, громко сказала:

— Ищет, чего не потерял...

— И что ему не понадобится, если бы и нашел, — прибавил поэт Лукан.

Пир оживлялся. Толпа рабов разносила все новые кушанья; из огромных ваз, наполненных снегом и увитых плющом, вынимались сосуды с различными сортами вин. Все много пили. Сверху на пирующих падали розы.

Петроний стал просить цезаря, чтобы он, прежде чем гости перепьются, осчастливил пир своим пением. Хор голосов поддержал просьбу, но Нерон стал отказываться. Дело не в смелости, хотя он и чувствовал всегда ее недостаток... Боги знают, как дорого обходятся ему публичные выступления... Правда, он не отказывается от них, потому что нужно же делать что-нибудь для искусства, и наконец, если Аполлон дал ему голос, то не следует пренебрегать даром богов. Он понимает, что это есть его долг перед государством. Но сегодня он немного охрип. Ночью он клал себе на грудь оловянные гири, но и это не помогло... Он даже намерен поехать в Анциум, чтобы подышать морским воздухом.

Но Лукан стал умолять его во имя искусства и человечества. Все знают, что божественный поэт и певец сочинил новый гимн Венере, в сравнении с которым Лукрецийев гимн — вой годовалого волчонка. Пусть же этот пир будет действительно пиром. Владыка, столь милостивый, не должен причинять мук своим подданным: «Не будь жестоким, цезарь!»

— Не будь жестоким! — повторили все окружающие.

Нерон развел руками в знак того, что принужден уступить. Тогда на всех лицах появилось выражение благодарности; глаза гостей обратились на него. Но раньше он велел известить Поппею, что будет петь, а присутствующим сказал, что она, чувствуя себя не совсем здоровой, не пришла на пир, но так как ни одно лекарство не может принести ей такого облегчения, как его пение, то ему жаль лишить ее этого целебного средства.

Вскоре пришла Поппея. Она обращалась с Нероном, как с рабом, однако знала, что когда дело касалось его самолюбия, как певца, наездника или поэта, то раздражать это самолюбие было вещью опасной. Вошла, прекрасная, как божество, одетая в аметистового цвета, как и у Нерона, одежду, с ожерельем из огромных жемчужин на шее, отнятом когда-то у Масиниссы, золотоволосая, нежная, и хотя уже два раза меняла мужей, все же лицо ее казалось девичьим.

Ее встретили приветственными кликами, называли «божественной августой». Никогда в жизни Лигия не видела ничего более прекрасного и теперь не верила собственным глазам, потому что ей было известно, что Поппея Сабина — одна из самых развратных в Риме женщин. Она знала от Помпони, что Поппея довела цезаря до убийства матери и первой жены, много слышала рассказов о ней от гостей и слуг в доме Авла; слышала, что ее мраморные изображения разбивались по ночам в Риме; слышала о надписях, которые ежедневно появлялись на городских стенах, хотя уличенных в этом ждало суровое наказание. И вот теперь, при виде этой

Поппеи, которую последователи Христа считали воплощением зла и преступления, она подумала, что такой вид должны иметь ангелы или другие небесные духи. Она не могла оторвать глаз от Поппеи, а губы ее прошептали невольный вопрос:

— Ах, Марк, неужели это возможно?

Он, возбужденный от выпитого вина и словно раздраженный, что ее внимание отвлекается от него и его признаний, сказал:

— Да, она прекрасна, но ты прекраснее во сто крат. Ты не знаешь себя, потому ты и не влюбилась в себя, как Нарцисс... Она купается в молоке ослиц, а тебя искупала в своем молоке Венера. Ты не знаешь себя!.. Не смотри на нее. Взгляни на меня!.. Коснись губами этой чаши с вином, чтобы я мог потом прижать свои к этому же месту...

Он все ближе придвигался к ней, она же старалась отодвинуться к Актее. Но вот все смолкли, цезарь встал. Певец Диодор подал ему кифару, которую обычно называли дельтой; второй, Терпнос, аккомпанировавший ему, приблизился со своим инструментом — наблиумом.<sup>[33]</sup> Оперев дельту на стол и подняв кверху глаза, Нерон ждал, когда в триклиниуме установится полная тишина. С тихим шелестом сыпались на гостей с потолка розы.

Нерон начал петь, вернее, декламировать, певуче и ритмично, при звуках двух кифар, свой гимн Венере. Ни голос, несколько глухой, ни стихи не были плохи, так что бедную Лигию снова стали мучить укоры совести: гимн, прославляющий языческое божество, показался ей очень красивым, да и сам цезарь, с лавровым венком на челе, с поднятыми кверху глазами, гораздо менее страшным и не таким отвратительным, как в начале пира.

Гости разразились громом рукоплесканий. Возгласы: «Божественный голос!» раздавались отовсюду; некоторые женщины, подняв кверху руки, так и остались, показывая этим свой восторг от пения, даже когда оно было закончено; другие вытирали заплаканные глаза; зал гудел, как рой пчел. Поппея, склонив золотистую головку, прижала к своим губам руку цезаря и долго держала ее так в молчании; молодой Пифагор, грек необыкновенной красоты, с которым впоследствии наполовину сумасшедший Нерон велел жрецам совершить брачный обряд, склонился теперь к ногам певца.

Но цезарь внимательно смотрел на Петрония, похвалы которого ему были всегда особенно приятны; тот сказал:

— Что касается музыки, то Орфей должен сейчас стать таким же желтым от зависти, как присутствующий здесь Лукан; а стихи — я жалею, что они не хуже, потому что, может быть, я и нашел бы тогда соответствующие выражения, чтобы хвалить их.

Лукан не рассердился за слова Петрония о зависти, наоборот, он с благодарностью посмотрел на него и, делая смущенное лицо, проворчал:

— Проклятая судьба, заставившая меня жить в одно время с таким поэтом. Можно было бы остаться в памяти людей и на Парнасе, а теперь приходится померкнуть, как светильник при солнце.

Петроний, обладавший изумительной памятью, стал цитировать отрывки из гимна, приводить отдельные стихи, расхваливая выражения и слова. Лукан, словно забыв о зависти под обаянием подлинной поэзии, присоединил к словам Петрония свои восторги. На лице Нерона было написано довольство и невероятное тщеславие, не только похожее на глупость, но и бывшее ею на самом деле. Он сам подсказывал выражения, которые считал наиболее удачными, потом стал утешать Лукана, говоря, чтобы тот не отчаивался, потому что каждый одарен лишь теми талантами, какие дала ему природа, и поклонение Юпитеру, свойственное людям, не исключает почитания и других богов.

Потом он встал, чтобы проводить Поппею, которая была больна в самом деле и теперь хотела удалиться к себе. Своим собеседникам он велел остаться на местах и ждать его возвращения. Скоро он действительно вернулся, чтобы вдыхать фимиам лестии и смотреть на забавы, которые он сам, Петроний и Тигеллин приготовили для этого пира.

Снова читались стихи, произносились диалоги, в которых остроумие было заменено шутовством. Знаменитый мим Парис представил приключения Ионы, дочери Инаха. Гостям, особенно же Лигии, непривычной к подобным зрелищам, казалось, что они видят чудеса и колдовство. Движениями рук и тела Парис умел выражать такие вещи, которые, казалось, было совершенно невозможно выразить в танце. Он сделал несколько жестов, и под его руками как бы возникло светлое облако, живое, вздрагивающее, сладострастное, принявшее формы отдавшейся страсти женщины. Это была картина, а не танец, картина, обнажившая тайны любви — бесстыдная и очаровательная. После ее окончания вошли корибанты<sup>[34]</sup> и под звуки кифар, флейт, кимвалов и бубнов стали плясать с сирийскими девушками вакханалию, исполненную диких криков и еще более дикого разврата. Лигии казалось, что ее сожжет огонь, что молния должна ударить в этот дом, что потолок рухнет на головы пирующих.

Но из златотканой сети, укрепленной под потолком, сыпались только розы. Опьяненный Виниций говорил ей:

— Я видел тебя в доме Авла у бассейна, и я полюбил. Было утро, и ты думала, что никто на тебя не смотрит, но я видел... Я и сейчас вижу тебя такой, хотя и закутана ты в пеплум. Сбрось его, как сделала Криспинилла.

И боги и люди жаждут любви. Кроме нее, нет ничего на свете! Положи свою голову мне на грудь и закрой глаза.

Сердце Лигии громко стучало. Ей казалось, что она падает в какую-то бездонную пропасть, и тот Вениций, который казался ей раньше близким и преданным, вместо того чтобы спасти, толкает ее туда. Ей было больно. Тревога и страх вернулись к ней — она боялась и этого пира, и Вениция, и себя самое. Голос, похожий на голос Помпони, говорил в ее душе: «Лигия, спасайся!» Но другой голос шептал, что уже поздно, и если кого опалил подобный пламень, если кто видел все, происходившее на этом пиру, если у кого так билось сердце, как у нее, когда она внимала словам Вениция, если кто волновался так, как она, от прикосновений Вениция, — то такой человек погиб, погиб без возврата. Она чувствовала слабость. Казалось, она упадет в обморок, и после этого произойдет нечто ужасное. Она знала, что ей грозит гнев цезаря, если она уйдет раньше, чем встанет он, но если бы она и решилась, то уже не могла бы сделать этого.

До конца пира было еще далеко. Слуги приносили новые кушанья и все время подливали в чаши вино. Появились атлеты, чтобы дать возможность полюбоваться борьбой.

Борьба началась. Мускулистые, лоснящиеся от жира тела слились в одну массу, кости трещали в железных объятиях, сквозь сжатые зубы вырывалось враждебное рычание. Иногда слышалось тяжелое, глухое топание их ног об пол, усыпанный перед тем шафраном, то снова они становились неподвижными, утихали, и зрителям казалось, что перед ними группа, изваянная из мрамора. Римляне с наслаждением смотрели на игру их невероятно напряженных мускулов, на изогнутые спины, железные икры и плечи. Но борьба не была долгой, потому что Кратон, главный учитель в школе гладиаторов, по справедливости считался самым сильным человеком в государстве. Его противник стал быстро дышать, потом захрипел, лицо его посинело, наконец, кровь полилась из горла, и он бессильно повис в железных объятиях Кратона.

Гром рукоплесканий знаменовал конец борьбы, Кратон встал на плечи повергнутого противника, скрестил на груди свои мощные руки и обвел торжествующим взглядом зал.

Потом пришли звукоподражатели, шуты, жонглеры, но на них мало смотрели, потому что вино туманило взоры пирующих. Пир постепенно перешел в пьяную и развратную оргию. Сирийки, перед тем плясавшие вакхический танец, теперь смешались с гостями. Музыка сменилась диким и бессмысленным воем труб, рожков, флейт, египетских систров, бряцанием кимвалов и кифар; когда пирующим захотелось разговаривать,

то на музыкантов стали кричать и гнать их вон. Воздух был насыщен одуряющим запахом цветов, благовоний, которыми красивые мальчики во время пира кропили ноги гостей, шафраном и человеческим потом. Было душно, светильники горели тускло, венки на головах сбились на сторону, лица побледнели и покрылись каплями пота.

Вителий свалился под стол. Нигидия, наполовину обнаженная, склонила свою пьяную детскую головку на грудь Лукана, а он, тоже пьяный, стал сдувать золотую пудру с ее волос, закатывая при этом глаза. Вестин с упорством пьяницы в десятый раз повторял ответ Мопса на вопрос проконсула, а Туллий, смеявшийся над богами, говорил тягучим голосом, прерываемым икотой:

— Если Сферос Ксенофана кругл, то такого бога можно катить перед собой, как бочку.

Но Домиций Афр, старый вор и доносчик, был возмущен такими речами и от негодования облил всю свою тунику фалернским вином. Он всегда верил в богов. Говорят, что Рим погибнет, и есть даже такие, которые утверждают, что он уже гибнет. И верно!.. Но если это наступит, то случится лишь потому, что у молодежи нет веры, а без веры не может быть добродетели. Забыты чистые старые обычаи, никому не приходит в голову, что эпикурейцы не будут в состоянии оказать сопротивление напору варваров. Он сожалеет, что дожил до таких времен, и принужден в наслаждениях искать утешения от огорчений, которые в противном случае замучили бы его окончательно.

Сказав это, он привлек к себе молодую сирийскую девушку и беззубым ртом стал целовать ее шею и руки. Глядя на них, консул Меммий Регул захохотал и, подняв лысую голову, украшенную съехавшим набок розовым венком, сказал:

— Кто говорит, что Рим гибнет?.. Вздор!.. Я, консул, знаю хорошо... Тридцать легионов берегут наш римский мир... *рах гомана!*<sup>[35]</sup>

И, подняв руки, он стал вопить на весь зал:

— Тридцать легионов!.. Тридцать легионов!.. От Британии до пределов парфянских...

Вдруг замолчал, задумался и, приложив палец ко лбу, добавил:

— А, пожалуй, будет тридцать два...

И свалился под стол, через минуту раздался его храп.

Но Домиция не успокоило число легионов, которые охраняют мир: «Нет! Нет! Рим должен погибнуть, потому что погибла вера в богов и приверженность к древним обычаям! Рим должен погибнуть... А жаль, потому что жизнь прекрасна, цезарь добр, вино хорошее... Жаль! Жаль! —



И, спрятав голову на груди сирийки, он расплакался: — Какое мне дело до будущей жизни!.. Ахилл был прав, говоря, что лучше быть поденщиком в подсолнечном мире, чем царем в кимерийских краях. Да и то вопрос — существуют ли боги, хотя безверие так губительно для молодежи».

Лукан тем временем сдул всю пудру с волос Нигидии, которая, окончательно опьянев, заснула. Он снял с вазы обвивавший ее плющ и опутал им спящую. Сделав это, он стал смотреть на присутствующих радостно и вопрошающе.

Потом он и себя опутал плющом, повторяя с глубоким убеждением:

— Я не человек, я — фавн.

Петроний не был пьян, а Нерон, вначале бывший умеренным ради своего «божественного» голоса, под конец пил чашу за чашей и опьянел. Хотел было еще декламировать свои стихи, теперь уже греческие, но сбился, забыл и по ошибке спел песенку Анакреона. Ему вторили Пифагор, Диодор и Терпнос, но так как и у них дело не пошло на лад, то бросили и они. Нерон стал восторгаться, как знаток и любитель красоты, фигурой Пифагора и от восторга целовал его руки. Такие красивые руки он видел когда-то... У кого?..

Приложив руку к мокрому лбу, он стал вспоминать. Наконец вспомнил, и на пьяном лице его отразился вдруг ужас:

— Да, да, у матери, у Агриппины!

Им овладели мрачные мысли.

— Говорят, — сказал он, — что по ночам она ходит при свете луны по морю около Байев... Ходит, ходит, словно чего-то ищет. Приблизится к лодке, внимательно посмотрит — и отойдет... Но рыбак, на которого она взглянет, умирает.

— Недурная тема, — заметил Петроний.

Вестин вытянул шею, как журавль, и таинственно шептал:

— Не верю в богов, но в духов верю!

Нерон, не обращая внимания на их слова, продолжал:

— Ведь я выполнил все нужные обряды. Я не хочу ее видеть! Я должен, должен был казнить ее, потому что она подслала убийцу, и если бы я не опередил ее, вам не пришлось бы слышать моего пенья...

— Спасибо, цезарь, от имени города и мира! — воскликнул Домиций Афр.

— Вина! И пусть ударят в тимпаны!

Шум поднялся снова. Лукан, увитый плющом, желая всех перекричать, встал и начал вопить:

— Я не человек! Я — фавн и живу в лесу. Э... хо... ооо!..

Наконец цезарь опьянел совершенно, опьянели мужчины и женщины. Виниций был пьян не менее чем другие, и кроме страсти в нем проснулось желание ссоры, что случалось каждый раз, когда он выпивал лишнее. Лицо его побледнело, язык путался, и он кричал раздраженно и повелительно:

— Дай мне твои губы! Сегодня, завтра — все равно!.. Довольно!.. Цезарь взял тебя у Авла, чтобы подарить мне... Понимаешь?.. Цезарь обещал мне тебя прежде, чем взял сюда... Ты должна быть моей. Дай мне губы!.. Я не хочу ждать до завтра!.. Скорее дай мне губы!..

Он обнял ее, но за нее вступилась Актея, да и сама Лигия защищалась из последних сил, чувствуя, что гибнет. Напрасно, однако, она силилась оттолкнуть его мускулистую руку, напрасно голосом, звучавшим жалобой и страхом. Умоляла его не быть таким и пожалеть ее. Насыщенное запахом вина дыхание было совсем близко, она увидела его лицо над собой. И это не был прежний добрый и дорогой Виниций, а пьяный злой сатир, который заставил ее почувствовать страх и отвращение.

Силы готовы были покинуть ее окончательно. Напрасно, откинувшись, она отворачивала лицо, чтобы уклониться от поцелуев, — он поднял ее, схватил обеими руками и, прижав ее голову к своей груди, прижал свои горячие губы к ее судорожно сжатому рту.

Но в эту минуту какая-то страшная сила разжала его руки, охватившие шею девушки, с такой легкостью, словно это были руки ребенка, и отодвинула всего его в сторону, как сухую ветку или увядший лист. Что случилось? Виниций протер изумленные глаза и вдруг увидел над собой гиганта-лигийца, которого звали Урсом и которого он видел в доме Авла.

Урс стоял спокойный и смотрел на Виниция голубыми глазами так странно, что у молодого человека кровь застыла в жилах. Потом он взял на руки свою царевну и ровным, спокойным шагом вышел из триклиниума.

Актея тотчас ушла следом за ним.

Виниций на мгновение остолбенел, потом вскочил и бросился к выходу.

— Лигия! Лигия!..

Но страсть, изумление, бешенство и вино сделали его бессильным. Он покачнулся раз, другой, потом схватил голые руки одной из вакханок и стал спрашивать ее, моргая глазами:

— Что случилось?

Она же, взяв чашу с вином, подала ему и с улыбкой в затуманенных глазах сказала:

— Пей!

Виниций выпил и свалился.

Большая часть гостей лежала под столом; иные, шатаясь, бродили по триклинию, иные спали на пиршественных ложах, храпели и стонали... И на пьяных консулов и сенаторов, военачальников, философов, поэтов, на танцовщиц и патрицианок — на весь этот мир, еще всемогущий, но уже лишенный души, увенчанный и разнузданный, уже угасающий — из золотой сети у потолка сыпались одна за другой розы.

На дворе стало светать...

## VIII

Урса никто не остановил, никто даже не спросил, что он делает. Те из гостей, кто не лежал еще под столом, переходили с места на место, и поэтому слуги, видя великана, несущего на руках участвовавшую в пире девушку, могли подумать, что какой-то раб уносит свою опьяневшую госпожу. Наконец, за ними шла Актея, и это устраняло все подозрения.

Таким образом, они вышли из триклиниума в прилегавший зал, оттуда на галерею, ведущую к покоям Актеи.

Лигия была так обессилена, что лежала, как мертвая, в руках Урса. Когда обвеял ее холодный и чистый утренний воздух, она открыла глаза. Было совсем светло. Они прошли колоннаду и свернули в боковой портик, выходящий не на двор, а в дворцовые сады, в которых вершины кипарисов и пиний уже румянились от утренней зари. В этой части дворца было пусто, сюда еле долетали звуки музыки и пьяный гомон гостей. Лигии казалось, что ее вырвали из ада и вынесли на свет Божий. Было, значит, еще что-то, кроме этого отвратительного триклиниума. Было небо, заря, свет и тишина. Девушка вдруг заплакала и, прижимаясь к груди великана, стала повторять сквозь рыдания:

— Домой, Урс, домой! Домой, к Авлу!..

— Пойдем, — ответил Урс.

Они очутились, однако, в небольшом атриуме жилища Актеи. Урс посадил девушку на мраморной скамье близ фонтана, Актея стала успокаивать ее и уговаривать лечь, уверяя, что пока ей не угрожает ничто, так как пьяные гости будут спать теперь до вечера. Но Лигия долго не могла успокоиться и, сжав руками голову, повторяла, как ребенок:

— Домой! Домой!..

Урс готов был увести Лигию. Правда, при воротах стояли преторианцы, но они смогут пройти. Солдаты не останавливают уходящих. Там кишит множество лектик. Гости станут выходить группами. Их никто не заметит. Выйдут с толпой и направятся к дому. Впрочем, как царевна хочет, так и будет. За тем он здесь. Лигия повторяла:

— Да, да, Урс, уйдем!

Актее пришлось долго уговаривать обоих. Уйдут! Да! Никто их не задержит. Но из дома цезаря уходить нельзя, и кто сделает это, виновен в оскорблении величества. Уйдут, но к вечеру центурион с отрядом солдат принесет смертный приговор Авлу и Помпонию, а Лигию уведет обратно во

дворец — и тогда не будет ей спасения. Если Плавтии примут ее в свой дом — смерть ждет их наверное.

У Лигии опустились руки. Делать было нечего. Она должна выбирать между гибелью Плавтиев и своей собственной. Отправляясь на пир, она питала надежду, что Виниций и Петроний выпросят у цезаря разрешение вернуться к Помпонию, — теперь она знала, что именно они и подговорили цезаря вытребовать ее от Авла. Делать нечего. Только чудо может спасти ее. Чудо и всемогущество Божье.

— Актея, — сказала она с отчаянием, — слышала ли ты, что сказал Виниций? Цезарь подарил меня ему, — сегодня вечером он придет за мной своих рабов и возьмет в свой дом.

— Да, я слышала, — ответила Актея.

И, раскинув руки, она умолкла. Отчаяние Лигии не находило в ней отзвука. Ведь она сама была любовницей Нерона. Сердце ее, хотя и доброе, не умело почувствовать позорность таких отношений. Рабыня, она сжилась с правами рабства, а кроме того, она до сих пор любила Нерона. Если бы он захотел вернуться к ней, она протянула бы руки навстречу, как к высшему счастью. Понимая прекрасно, что Лигия или должна сделаться любовницей молодого и прекрасного Виниция, или подвергнуть себя и Авла с женой гибели, она просто не могла понять, как могла девушка колебаться.

— В доме цезаря, — сказала она немного спустя, — ты не в большей безопасности, чем у Виниция.

Ей и не пришлось в голову, что, хотя она и сказала правду, слова ее значили: «Покорись судьбе и будь наложницей Виниция». Но Лигия, еще чувствуя на губах его полные животной страсти и горячие как уголь поцелуи, застыдилась и покраснела от одного лишь воспоминания об этом.

— Никогда! — с отчаянием воскликнула она. — Я не останусь здесь и не буду у Виниция! Никогда!

Актея удивилась:

— Неужели Виниций столь ненавистен тебе?

Лигия не ответила, потому что снова залилась слезами. Актея приласкала ее и стала успокаивать. Урс тяжело дышал и сжимал свои огромные кулаки. Преданный как собака своей царевне, он не мог выносить ее слез. В его лигийском полудиком сердце явилось желание вернуться в зал и задушить Виниция, а если понадобится, то и самого цезаря. Но он не решился предложить это своей госпоже, не будучи уверен, соответствовал ли этот план, на первый взгляд столь простой, учению распятого Агнца.

Актея, прижав к себе Лигию, снова спросила:

— Неужели он так ненавистен тебе?

— Нет, — ответила Лигия, — я не имею права его ненавидеть: я — христианка.

— Знаю. Знаю также из писем Павла, что вам нельзя страшиться смерти больше чем греха, но ответь мне: позволяет ли ваше учение убивать?

— Нет.

— Тогда как же ты можешь вызывать месть цезаря на голову Авла?

Наступило молчание. Снова бездонная пропасть разверзлась перед Лигией.

— Я спрашиваю потому, что мне жаль милой Помпони, старика Авла, их ребенка. Я давно живу в этом доме и знаю, что такое гнев цезаря. Нет. Вы не можете уйти отсюда. Остается одно: умолять Виниция, чтобы он вернул тебя Помпони.

Но Лигия опустилась на колени, чтобы умолять кого-то другого. Урс также встал на колени, и на утренней заре оба стали молиться в доме цезаря.

Актея впервые видела подобную молитву и не могла оторвать взора от Лигии, которая, повернувшись к ней профилем, с поднятой головой и протянутыми руками, смотрела на небо, словно оттуда ожидая спасения. Заря освещала ее темные волосы и белый пеплум, отражалась в глазах — и девушка, вся в сиянии, сама казалась источником света. В ее побледневшем лице, в полуоткрытых губах, в поднятых глазах и простертых вперед руках чувствовался какой-то неземной восторг. И теперь Актея поняла, почему Лигия не может стать ничьей любовницей. Перед покинутой возлюбленной Нерона словно открылся край завесы, за которой таилась иная жизнь, иной мир, совсем не такой, к которому она привыкла. Ее изумила эта молитва в доме преступлений и позора. Минуту тому назад ей казалось, что для Лигии нет спасения, теперь она стала верить, что возможно нечто необыкновенное, что помощь явится, и помощь эта будет столь могущественной, что даже сам цезарь не в силах будет бороться с ней, — с неба в защиту девушки сойдет крылатое воинство или солнце подстелет ей под ноги свои лучи, чтобы вознести к себе. Она слышала о многих чудесах у христиан и теперь подумала, что, должно быть, все это правда, раз Лигия может так молиться.

Наконец Лигия встала с лицом, озаренным надеждой. Урс также встал и, прислонившись к скамье, смотрел на свою госпожу, ожидая ее слов.

Глаза девушки затуманились, и две крупные слезы медленно покатались по лицу.

— Да благословит Господь Помпонию и Авла! — сказала она. — Нельзя мне губить их, поэтому я больше не увижу их никогда.

Потом, обратившись к Урсу, она стала говорить, что он один остался у нее теперь на свете и должен стать ее отцом и опекуном. Нельзя идти в дом Авла, чтобы не навлечь на него гнев цезаря. Но нельзя также оставаться ни у цезаря, ни у Виниция. Пусть поэтому Урс уведет ее из города, скроет где-нибудь, чтобы не могли найти ее Виниций и его слуги. Она пойдет за ним хоть за море, хоть за горы, к варварам, где неведомо имя римлян и куда не простирается власть цезаря. Пусть он возьмет ее и спасет, потому что один он остался у нее.

Лигиец был согласен и в знак повиновения склонился и обнял ее ноги. На лице Актеи, ожидавшей чуда, отразилось разочарование. Столько лишь могла сделать молитва? Убежать из дома цезаря — значит совершить преступление, оскорбить величество, и это будет отмщено: если даже Лигии удастся бежать, то цезарь выместит свой гнев на Авле. Если уж она непременно хочет бежать, пусть бежит из дома Виниция. Тогда цезарь, который не любит заниматься чужими делами, может быть, не захочет даже помогать Виницию в розысках, и уж во всяком случае тогда это не будет носить характера оскорбления достоинства цезаря.

Но Лигия так и думала сделать. Плавтии не будут даже знать, где она, даже Помпония... Но убежит она не из дома Виниция, а с дороги. Опьяневший, он признался, что вечером пришлет за ней своих рабов. Наверно, он сказал правду, чего не сделал бы, если бы был трезв. По-видимому, он сам, а может быть, и оба они с Петронием, перед пиром повидались с цезарем и добились обещания, что он выдаст Лигию на другой день вечером. Если сегодня они об этом забыли, то пришлют за ней завтра. Но Урс спасет ее. Он подойдет, возьмет ее из лектики и унесет, как унес из триклиниума — и они скроются. Никто не сможет оказать сопротивления Урсу. С ним не сладил бы даже тот ужасный силач, который вчера боролся на пиру. Но так как Виниций может прислать большое количество рабов, то Урс отправится сейчас к епископу Линну, чтобы попросить совета и помощи. Епископ сжалится над ней, не оставит во власти Виниция и велит христианам пойти с Урсом ей на помощь. Они отобьют ее и спрячут, потом Урс сумеет унести ее из города и скрыть где-нибудь.

Лицо Лигии разумянилось и озарилось улыбкой. Надежда снова вернулась, словно план спасения уж стал действительностью. Она вдруг бросилась на шею Актее и, прижав губы к ее уху, прошептала:

— Ведь ты не выдашь нас? Не правда ли?

— Клянусь тенью матери, — ответила та, — я буду молчать, а ты проси своего Бога помочь Урсу отбить тебя.

Голубые детские глаза великана светились счастьем. Он не сумел ничего придумать, хотя долго ломал голову, но это-то он сумеет сделать. Днем ли, ночью — ему все равно... Пойдет к епископу, тот хорошо знает, что нужно делать, чего не нужно. Христиан он мог бы и сам собрать. Разве мало у него знакомых рабов, и гладиаторов, и свободных людей, на Субурре и за рекой. Он наберет их тысячу, две... И отобьет свою госпожу, уведет из города, пойдет с ней хоть на край света, хоть на свою родину, где никто даже не слышал о римлянах.

Он поднял голубые глаза, словно увидел перед собой отдаленное прошлое. Потом сказал:

— Уйдем в леса! Гей, какие там леса, какие леса!

Но тотчас прервал свои мечты:

Сейчас он отправится к епископу, а вечером с сотней людей будет поджидать ее лектику. И пусть даже ее сопровождают не простые рабы, а преторианцы! Лучше будет не соваться ему под руку даже человеку, закованному в железные доспехи... Разве это железо такое уж крепкое! Если посильнее ударить по шлему, то голова под ним, наверное, не выдержит.

Но Лигия с великой и вместе с тем детской серьезностью подняла палец вверх:

— Урс, «не убий!», — сказала она.

Лигиец в замешательстве стал почесывать затылок своей огромной рукой: да ведь он должен выручить ее... «свое солнышко»... Ведь она же сама сказала, что теперь его черед заботиться о ней... Он постарается, насколько окажется это возможным. Но если случится невольнo?.. Ведь должен он отбить ее! Если уж это произойдет, то он покается и будет так просить прощения у Невинного Агнца, что Распятый сжалится наконец над ним, бедным... Он не хочет ведь оскорбить Агнца, да рука у него такая уж тяжелая...

Большое волнение отражалось на его лице, но он, чтобы скрыть его, низко поклонился и сказал:

— Так я отправлюсь к святому отцу.

Актея обняла Лигию и заплакала. Она еще раз поняла, что есть какой-то другой мир, где даже в страданиях больше счастья, чем во всей роскоши и пышности дома цезаря; еще раз раскрылись перед ней какие-то светлые двери, но вместе с тем она почувствовала, что недостойна войти в эти двери.



Лигии жаль было Помпонию Грецину, которую она любила от всей души, жаль было дом старого Авла, однако отчаяние ее прошло. Ей даже легко было при мысли, что ради своей правды она жертвует достатком и удобствами и начинает скитальческую, полную лишений жизнь. Может быть, в этом и было немного детского любопытства — какой будет эта жизнь в далеких краях, среди варваров и диких зверей, но еще больше было глубокой и цельной веры, что она поступает так, как повелел великий Учитель, что теперь Он сам будет заботиться о ней, как о послушном и верном ребенке. И в таком случае какое зло может встретить ее? Придут ли страдания — она перенесет их во имя Его. Придет ли нежданная смерть — значит, Он призовет ее к Себе, а когда умрет и Помпония, они будут навсегда вместе. Не раз в доме Авла она думала о том, что, будучи христианкой, ничего не может сделать для Распятого, о котором с таким волнением говорил Урс. Но теперь настал час. Лигия чувствовала себя почти счастливой и стала говорить о своем счастье Актее, которая, однако, не могла понять его. Бросить все, бросить дом, богатство, город, сады, храмы, портики — все, что есть прекрасного, бросить солнечную страну и близких людей — и для чего? Чтобы избежать любви молодого и красивого военачальника!.. В голове Актеи это не могло поместиться. Иногда она чувствовала, что есть в этом какая-то правда, может быть, даже таинственное большое счастье, но не могла ясно отдать себе отчета, особенно потому, что ведь Лигию ждала большая опасность, — дело с ее побегом могло плохо кончиться. Лигия рисковала головой. Актея была по природе боязливой и со страхом думала о том, что мог принести сегодняшней вечер. Но она не хотела говорить о своих опасениях Лигии.

Наступил день, солнце заглянуло в атриум. Актея стала уговаривать Лигию отдохнуть после бессонно проведенной ночи. Лигия согласилась, и они ушли в спальню, большую и пышную... Там легли они рядом, но Актея, несмотря на усталость, не могла уснуть. Она давно была печальной и несчастной, но теперь ее охватила такая тревога, какой никогда прежде она не знала. До сих пор жизнь казалась ей тяжелой и лишенной будущего, теперь вдруг она стала для нее совершенно пустой.

Ее мысли окончательно спутались. Светлые двери снова то раскрывались, то закрывались. Но в минуты, когда они были раскрыты, свет ослеплял ее настолько, что она ничего не видела. Она угадывала, что в

этом свете таится некое счастье, безмерное и настолько ни с чем не сравнимое, что если бы, например, цезарь отослал Поппею и вернулся снова к ней, Актея, то и это было бы ничем. Ей пришла в голову мысль, что цезарь, которого она любила и невольно считала полубогом, так же ничтожен, как и любой раб, а этот дворец с колоннами из нумидийского мрамора ничем не лучше груды камней. Но под конец эти мысли, в которых она не могла дать себе ясного отчета, стали мучить ее. Она хотела уснуть, но от волнения и тревоги не могла.

Думая, что и Лигия, которой угрожало столько опасностей и горя, также не спит, она повернулась к ней, чтобы поговорить о вчерашнем пире. Но Лигия спокойно спала. В темную спальню сквозь неплотно задвинутые занавески, врывалось несколько солнечных полосок, в которых кружилась золотая пыль. Актея смотрела на нежное лицо Лигии, лежавшее на обнаженной руке, на закрытые глаза и приоткрытые губы. Она ровно дышала, как дышат спокойно спящие люди.

«Она спит!.. Она может спать! — подумала Актея. — Дитя!»

Но тотчас ей пришло в голову, что, однако, это дитя предпочитает бежать, но не стать любовницей Виниция, предпочитает нищету позору, скитание — роскошному дому, нарядам, драгоценностям, пирам, звуку флейт и кифар.

«Почему?»

И она смотрела на Лигию, словно хотела прочесть ответ на лице спящей девушки. Она смотрела на красивый лоб, на изгиб спокойных бровей, на темные ресницы, на мягкие губы, на спокойно дышащую девичью грудь. И снова подумала: «Она совсем не такая, как я!»

Лигия казалась ей чудом, божественным видением, любимицей богов, в сто крат прекраснейшей всех цветов в садах цезаря, всех статуй в его дворце. Но в сердце гречанки не было зависти. Наоборот, вспомнив о грозивших девушке опасностях, она от души пожалела ее. В ней проснулось нечто вроде чувства матери. Лигия казалась ей не только прекрасной, как светлый сон, но и любимой. И, склонив к ней свое лицо, она стала целовать девушку.

Лигия спала спокойно, как будто дома, у Помпонию Грецины. И спала долго. Миновал полдень, когда она открыла свои голубые глаза и с большим удивлением стала озиаться в незнакомой спальне.

Удивилась, что она не в доме Авла.

— Это ты, Актея? — спросила она наконец, увидев в полутьме лицо гречанки.

— Я, Лигия.

— Разве уж вечер?

— Нет, дитя, но полдень уже прошел.

— Урс еще не вернулся?

— Он не говорил, что вернется; ведь он будет с христианами поджидать лектику вечером по дороге к Виницию.

— Да, да!

Они вышли из спальни и отправились в баню; Актея, искупав Лигию, повела ее завтракать, потом они пошли гулять по саду, где им не могла грозить никакая опасная встреча, потому что цезарь и его приближенные еще спали. Лигия первый раз в жизни видела эти великолепные сады, множество кипарисов, пиний, дубов, олив и мирт, среди которых жило целое племя мраморных статуй, блистали спокойные зеркала прудов, цвело множество роз, орошаемых влажной пылью фонтанов; вход в пещеры и гроты был обрамлен плющом и виноградом, на воде плавали серебристые лебеди, а среди мрамора и деревьев бродили стройные газели из африканской пустыни и летали красивые птицы, привезенные сюда со всех концов земли.

Сады были пусты, и лишь в некоторых местах работали рабы, вполголоса напевая что-то; иные, которым позволено было немного отдохнуть, сидели у прудов или в тени деревьев, пестрые от дрожавших на них солнечных кружочков; некоторые поливали розы и бледные цветы шафрана. Довольно долго гуляли Актея и Лигия, любуясь великолепием садов, и хотя мысли Лигии были заняты совсем другим, она не могла, однако, будучи слишком юной, противостоять любопытству и внешней занимательности. Ей даже пришло в голову, что, если бы цезарь был добрым, он мог бы в таких садах также быть и очень счастливым.

Утомившись наконец, они сели на скамье, скрытой среди кипарисов, и стали беседовать о том, что больше всего волновало обеих, — о побеге Лигии сегодня вечером. Актея гораздо меньше Лигии верила в успех этого плана. Иногда ей даже казалось, что это — безумие, которое не может кончиться удачей. Она все больше жалела Лигию. Ей приходило в голову, что гораздо безопаснее было бы попытаться уговорить Виниция. Она стала спрашивать Лигию, давно ли та знает Виниция и не думает ли, что его можно упротить вернуть ее Помпонию.

Но Лигия печально покачала своей темной головкой:

— Нет. В доме Авла Виниций был другим — очень добрым, но со вчерашнего вечера я боюсь его и предпочитаю бежать к лигийцам.

Актея спросила:

— Но в доме Авла он был тебе мил?

— Да, — ответила девушка, пряча лицо.

— Но ведь ты не рабыня, как была я прежде, — сказала, немного подумав, Актея. — Виниций мог бы взять тебя в жены. Ведь ты заложница и дочь царя. Авл любит тебя, как дочь, и я уверена, что они могли бы усыновить тебя. Виниций может жениться на тебе, Лигия.

Но девушка ответила тихо и печально:

— Нет, лучше бежать к лигийцам.

— Лигия, хочешь, я пойду сейчас к Виницию, разбужу его, если он спит еще, и скажу ему все, что только что говорила тебе? Да, моя дорогая, я пойду и скажу ему: «Виниций, она царевна и приемная дочь славного Авла; если ты любишь, верни ее Авлу, а потом введи женой в свой дом».

Но девушка ответила голосом настолько тихим, что Актея с трудом услышала ее:

— Нет, лучше к лигийцам...

И две слезы повисли на ее опущенных ресницах.

Дальнейший разговор был прерван шумом приближающихся шагов, и прежде чем Актея успела посмотреть, кто идет, к скамье подошла Сабина Поппея с небольшой толпой служанок. Две рабыни держали над ее головой опахало из страусовых перьев, которым они оведали ее и вместе с тем защищали от жаркого, хотя и осеннего уже, солнца, а впереди шла черная как уголь эфиопка с большими, казалось, переполненными молоком грудями и несла на руках ребенка, завернутого в пурпур, расшитый золотом. Актея и Лигия встали, думая, что Поппея пройдет мимо, не обратив на них внимания, но она остановилась и сказала:

— Актея, бубенцы, которые ты пришивала к кукле, оказались плохо пришитыми: дитя оторвало один из них и понесло в рот; к счастью, Лигия заметила это вовремя.

— Прости, божественная, — ответила Актея, скрестив на груди руки и склонив голову.

Поппея посмотрела на Лигию.

— Чья эта рабыня? — спросила она.

— Эта не рабыня, божественная Августа, а воспитанница Помпонию Грецины и дочь лигийского царя, данная самим царем в качестве заложницы римлянам.

— Она пришла навестить тебя?

— Нет, Августа. Со вчерашнего дня она живет во дворце.

— Была вчера на пиру?

— Была, божественная.

— По чьему приказанию?

— По приказанию цезаря...

Поппея еще внимательнее стала рассматривать Лигию, которая стояла перед ней опустив голову, то поднимая на нее свои светившиеся любопытством глаза, то прикрывая их ресницами. На лице Августы меж бровей легла складка. Ревнивая к своей красоте и власти, она жила в вечной тревоге, чтобы какая-нибудь счастливая соперница не погубила ее так же, как она погубила Октавию. Поэтому каждое красивое лицо во дворце будило ее подозрение. Взором знатока она сразу увидела красоту тела Лигии, оценила каждую черточку ее лица и испугалась. «Это нимфа, — подумала она. — Ее родила Венера». И ей неожиданно пришла в голову мысль, никогда не приходившая раньше, когда ей случалось встречать красивое лицо, что она, Поппея, старше. В ней зашевелилось уязвленное самолюбие, охватил страх, разные опасения промелькнули быстро в ее душе. «Может быть, Нерон не видел ее или не оценил, рассматривая ее в изумруд. Но что будет, если он встретит ее днем при солнце, такую прекрасную? Кроме того, она не рабыня, она дочь царя, правда — варвара, — а все же царская дочь!.. Бессмертные боги!.. Она так же хороша, как и я, но моложе!» И складка меж бровей стала больше, а глаза из-под золотых ресниц светились холодным блеском.

Обратившись к Лигии, она с притворным спокойствием спросила:

— Ты разговаривала с цезарем?

— Нет, Августа.

— Почему предпочитаешь быть здесь, а не у Авла?

— Я не предпочитаю этого. Петроний подговорил цезаря отнять меня у Помпонию, я здесь не по своей воле, о госпожа!..

— Ты хотела бы вернуться к Помпонию?

Последний вопрос Поппея задала более мягким и ласковым голосом, поэтому в сердце Лигии вдруг появилась надежда.

— Госпожа, — сказала она, протягивая руки, — цезарь обещал отдать меня, как рабыню, Виницию, но ты заступись за меня и верни Помпонию.

— Значит, Петроний уговорил цезаря взять тебя у Авла и отдать Виницию?

— Да, госпожа. Виниций сегодня же хочет прислать за мной, но ты, добрая, сжался надо мной.

Сказав это, она склонилась и, поймав край платья Поппеи, с бьющимся сердцем ждала ответа. Поппея посмотрела на нее с лицом, на котором появилась вдруг злая улыбка, потом сказала:

— Итак, обещаю, что сегодня же ты станешь рабой Виниция.

И отошла, прекрасная, но злая. До слуха Актеи и Лигии долетел крик

младенца, который неизвестно почему вдруг заплакал.

Глаза Лигии также наполнились слезами, но она превозмогла себя и, взяв руку Актею, сказала:

— Вернемся. Помощи следует ждать лишь оттуда, откуда она может прийти.

Они вернулись в атриум, которого не покидали до вечера. Когда стемнело и слуги принесли большие светильники, обе женщины были очень бледны. Разговор каждую минуту прерывался, обе прислушивались, не идет ли кто-нибудь. Лигия все время повторяла, что хотя ей жаль покидать Актею, но так как Урс ждет ее где-то во мраке, то она предпочитает, чтобы все было кончено сегодня. Но от волнения она дышала чаще и громче. Актея лихорадочно собрала драгоценности и завязала их в угол пеплума, заклиная Лигию, чтобы она не отвергла ее дара, который даст необходимые средства для побега. Томительная тишина обманывала слух. Обоим казалось, что они слышат чей-то шепот за шторой, то плач ребенка, то лай собак.

Вдруг штора бесшумно раздвинулась, и, как дух, в атриуме появился высокий черный человек с лицом, изрытым оспой. Лигия тотчас узнала Атакина, вольноотпущенника Виниция, который приходил в дом Авла.

Актея вскрикнула, но Атакин низко поклонился и сказал:

— Божественной Лигии от Марка Виниция привет! Он ждет ее с ужином в своем доме, украшенном зеленью.

Губы девушки совершенно побелели.

— Иду, — сказала она.

И обняла, прощаясь, Актею.

Дом Виниция действительно был украшен миртами и плющом, из которых были свиты гирлянды по стенам и над входом. Колонны были увиты виноградом. В атриуме от холода была сверху протянута шерстяная пурпурная штора и горело множество светильников, имевших самую разнообразную форму — зверей, деревьев, птиц, человеческих фигур, поддерживающих лампу, наполненную ароматным маслом; были светильники из алебастра, мрамора, позолоченной коринфской меди, — не столь роскошные, как тот знаменитый светильник из храма Аполлона, которым пользовался Нерон, но все же прекрасные и принадлежавшие резцу известных скульпторов. Некоторые светильники были прикрыты александрийским стеклом или заслонены прозрачными индийскими материями, красной, голубой, желтой, фиолетовой, так что весь атриум сверкал разноцветными огнями. Чувствовался сильный запах нарда, к которому Виниций привык на Востоке и очень любил. В глубине дома, где сновали мужские и женские фигуры рабов, было также светло. В триклиниуме стол был приготовлен для четверых, потому что кроме Виниция и Лигии в пиршестве должны были принять участие Петроний и Хризотемида.

Виниций во всем следовал словам Петрония, который советовал ему не ходить лично за Лигией, а послать Атакина с полученным от цезаря разрешением, самому же принять ее в доме, и принять приветливо, выказывая ей даже знаки уважения.

— Вчера ты был пьян, — говорил Петроний. — Я все видел, ты вел себя с ней как каменщик с Альбанских гор. Не будь слишком стремителен и помни, что хорошее вино следует пить медленно. Знай также, что сладостно — желать, но еще сладостнее — быть желанным.

Хризотемида держалась относительно этого другого мнения, но Петроний, называя ее своей весталкой и голубкой, стал ей объяснять разницу между опытным цирковым возницей и мальчиком, который в первый раз взошел на квадригу. Потом, обратившись к Виницию, продолжал:

— Добейся ее доверия, утешь ее, будь с ней великодушным. Мне не хотелось бы участвовать в печальном пиршестве. Поклянись Аидом, что вернешь ее в дом Помпонию, — и она будет вся твоя, завтра она предпочтет остаться, чем вернуться к Авлу.

Потом, указывая на Хризотемиду, прибавил:

— В продолжение пяти лет я во всем поступаю приблизительно таким образом с этой робкой девушкой и не могу пожаловаться на ее строгость...

Хризотемида ударила его веером из павлиньих перьев и сказала:

— Разве я не сопротивлялась, сатир?

— Считаюсь с моим предшественником...

— Разве ты не был у моих ног?

— Чтобы надевать на их пальцы золотые кольца.

Хризотемида невольно взглянула на свои ноги — на пальцах действительно сверкали драгоценные камни; оба стали смеяться. Но Виниций не слушал их спора. Сердце его беспокойно билось под пестрой одеждой сирийского жреца, которую он надел ради прихода Лигии.

— Они уже должны выйти из дворца, — сказал он, словно разговаривая сам с собой.

— Да, — ответил Петроний. — Тем временем, может быть, тебе рассказать о колдовстве Аполлония Тианского или историю Руфина, которую я как-то начал рассказывать и не знаю почему не кончил.

Но Виниция равно мало интересовали и Аполлоний Тианский и Руфин. Мысль его была прикована к Лигии, и хоть он чувствовал, что красивее было принять ее в своем доме, чем идти в качестве палача во дворец, однако он все-таки жалел, что не пошел сам за ней, — тогда бы он раньше увидел ее и сидел бы теперь рядом с ней в полутемной лектике.

Рабы внесли треножник, на котором была укреплена бронзовая чаша с горячими угольями, на которые они стали сыпать щепотки мирры и нарда.

— Они теперь повернули к Каринам, — снова сказал Виниций.

— Он не выдержит, побежит навстречу и, чего доброго, разойдется с ними, — воскликнула Хризотемида.

Виниций рассеянно улыбался.

— Нет, нет! Я выдержу.

Он тяжело дышал и явно волновался; видя это, Петроний пожал плечами.

— Нет в нем философа ни на одну сестерцию, — сказал он. — Никогда не сумею я из этого сына Марса сделать человека.

Виниций ничего не слышал.

— Теперь они на Каринах!..

Действительно, в эту минуту они свернули к Каринам. Рабы, называемые лампадарии, шли со светильниками впереди, другие, педисеквы, окружали лектику. Атакин шел сзади и смотрел за порядком.

Продвигались медленно, потому что светильники слабо освещали



погруженную в мрак улицу. Ближайшие переулки были пустынные, лишь иногда пробирался одинокий прохожий с фонариком; но по мере того как шествие подвигалось вперед, улица оживала, из темных переулков выходили люди, по двое, по четыре, без фонарей, в темных плащах. Некоторые шли вместе, смешиваясь с толпой рабов Виниция, иные небольшими группами заходили вперед. Иные шатались, словно пьяные. Становилось тесно, лампадарии принуждены были кричать:

— Дорогу благородному трибуну Марку Виницию!

Сквозь занавески Лигия видела эту темную толпу и трепетала от волнения. Надежда сменялась тревогой, и наоборот. «Это он! Это Урс с христианами! Сейчас начнется, — шептала она дрожащими губами. — О, Христос, помоги! О, Христос, помоги!»

Атакин, не обращавший до сих пор внимания, теперь стал беспокоиться при виде напиравшей толпы и необыкновенного оживления улицы. Происходило нечто странное. Лампадарии все чаще принуждены были кричать: «Дорогу лектике благородного трибуна!» С боков незнакомцы теснили лектику настолько, что Атакин приказал отгонять их палками.

Вдруг внезапный крик раздался впереди, и все светильники сразу погасли. Вокруг лектики произошла свалка.

Атакин понял: это было нападение.

И, поняв, он похолодел. Все знали о том, что цезарь ради забавы часто разбойничает с толпой приближенных на Субурре и в других частях города. Известно было, что иногда он возвращался во дворец с синяками, — но тот, кто защищался, будь он даже сенатором, был обречен на смерть. Казарма вигилей,<sup>[36]</sup> обязанность которых была наблюдать за порядком в городе, находится недалеко, но стража в подобных случаях делала вид, что ничего не видит и не слышит. Около лектики кипела борьба; люди били друг друга, толкали, падали; Атакин подумал, что прежде всего необходимо спасти Лигию и себя, бросив остальных на произвол судьбы. Вытащив Лигию из лектики, он схватил ее на руки и пытался скрыться в темноте.

Но Лигия стала кричать:

— Урс! Урс!

Она была в белом, поэтому ее легко можно было заметить. Свободной рукой Атакин стал кутать ее в свой плащ, как вдруг страшные клещи сжали его руку, а на голову словно камень обрушилась какая-то сокрушающая глыба.

Он рухнул на землю, как вол, которого ударили обухом перед жертвенником Юпитера.

Рабы почти все лежали на земле, иные спасались, попрятавшись в темноте за углами домов. На месте осталась поломанная в свалке лектика. Урс уносил Лигию к Субурре, его товарищи поспешали за ними, постепенно исчезая вдали.

Уцелевшие рабы стали собираться перед домом Виниция и совещаться. Не решались войти. Вернулись снова к месту свалки, на котором нашли несколько мертвых тел и среди них Атакина. Он еще вздрагивал, но после недолгой агонии выпрямился и застыл.

Тогда они взяли его тело и, вернувшись, снова остановились у входа в дом.

— Пусть Гулон войдет первым, — раздалось несколько голосов, — он весь в крови, и господин его любит, — ему менее опасно, чем нам.

Германец Гулон, старый раб, вынянчивший некогда Виниция, достался ему от матери, сестры Петрония. Он сказал:

— Хорошо, я буду говорить, но войдем все вместе. Пусть не на меня одного обрушится его гнев.

Виниций выходил из себя от нетерпения. Хризотемида и Петроний подсмеивались над ним, а он ходил по атриуму крупными шагами взад и вперед, повторяя:

— Они должны сейчас войти в дом!

И хотел бежать навстречу, а те удерживали его.

Вдруг раздался топот, и в атриум вбежала толпа рабов; упав около стены, они подняли руки кверху и завывали дикими голосами:

— Ааа!.. Ааа!

Виниций кинулся к ним:

— Где Лигия? — закричал он страшным, изменившимся голосом.

— Ааааа!..

Вдруг Гулон выдвинулся вперед со своим окровавленным лицом и жалобно воскликнул:

— Вот кровь, господин! Мы защищались! Вот кровь! Вот кровь!..

Он не успел кончить, Виниций схватил бронзовый светильник и одним ударом раскроил череп старого раба, потом схватил себя за голову обеими руками, прохрипев:

— Увы, мне! Горе мне, несчастному!

Его лицо посинело, глаза закатились, пена появилась на губах.

— Розог! — завопил он нечеловеческим голосом.

— Господин! Аааа! Аа! Сжался! — стонали рабы.

Петроний встал с выражением гадливости на лице.

— Пойдем, Хризотемида! — сказал он. — Если тебе хочется смотреть

на мясо, то я велю открыть лавку мясника на Каринах.

И он вышел из атриума.

А в доме, украшенном зеленью плюща и мирт и убранном для пира, через минуту раздались вопли и стоны рабов и свист розог, которые слышны были почти до утра.

Этой ночью Виниций не спал совсем. После ухода Петрония, когда стоны истязаемых рабов не могли утишить его боли и бешенства, он взял толпу других рабов и во главе ее поздней ночью отправился на поиски Лигии. Он был на Эсквилине, потом на Субурре, на Злодейской улице и по всем прилегавшим переулкам. Обойдя вокруг Капитолий, через мост Фабриция он прошел на остров, потом побывал в части города за Тибром. Но это была бесцельная погоня, и у него самого не было надежды вернуть Лигию, — если он искал ее, то лишь затем, чтобы чем-нибудь заполнить эту страшную ночь. Когда под утро он возвращался домой, на улицах появились повозки продавцов зелени, запряженные мулами, а пекари открыли свои лавки. Он велел убрать тело Гулона, к которому никто не решался прикоснуться до его прихода, распорядился отослать рабов, у которых была отбита Лигия, на тяжелые работы в деревню, а это наказание было для них страшнее смерти, — наконец, бросившись на ложе в атриуме, он стал думать, как и где он может найти и вернуть себе Лигию.

Отказаться, потерять ее, не видеть ее больше — ему это казалось невозможным, и при одной мысли об этом он впадал в бешенство. Своевольная натура молодого воина первый раз в жизни встретила сопротивление, встретила иную сильную волю, и он просто не мог понять, как могло произойти, что кто-то смеет поступать против его страстного желания.

Виниций предпочел бы, чтобы мир и город обратились в развалины, чем самому отказаться от того, чего он хотел. У него отнята была чаша наслаждения, которую он поднес было к своим губам, поэтому он думал, что произошло нечто неслыханное, взывавшее к отмщению по законам божеским и человеческим.

Но прежде всего он не хотел и не мог помириться с судьбой, потому что ничего в жизни не желал до сих пор так страстно, как обладать Лигией. Ему казалось, что он не сможет существовать без нее. Он не умел себе ответить, что будет делать завтра, как проведет дальнейшие дни. Иногда его охватывал гнев, граничивший с безумием. Он готов был мучить ее, истязать, тащить за волосы в спальню, издеваться над ней. И вдруг его охватывала тоска по ней, по ее голосу, глазам, и он чувствовал, что готов лежать у ее ног. Звал ее, грыз ногти, хватался руками за голову. Старался заставить себя думать спокойно о том, как найти ее, и не мог. Являлись

тысячи средств и планов, безумных и невыполнимых. Наконец ему пришло в голову, что ее мог отбить Авл, и никто другой. В худшем случае Авл должен знать, где она спрятана.

Он вскочил, чтобы бежать к Авлу. Если они не отдадут ее, если не побоятся его угроз, он пойдет к цезарю, обвинит старого вождя в неповиновении, добьется смертного приговора, — но раньше он добудет у них признание, где Лигия. Если даже они отдадут ее добровольно, он все-таки отомстит. Правда, они взяли его к себе в дом раненого, ухаживали за ним. Но такая обида освобождает его от всякой благодарности. Мстительная и упрямая душа его стала лелеять мысль о мести и радоваться отчаянию Помпонию Грецины, когда центурион принесет старому Авлу смертный приговор. Он почти был уверен, что добьется этого приговора. Ему поможет Петроний. Впрочем, цезарь никогда не отказывает своим приближенным, если только причиной отказа не является личная неприязнь к просителю.

И вдруг сердце его сжалось от страшной загадки:

А ну как сам цезарь отбил Лигию?

Он знал, что цезарь искал в ночных разбоях развлечения от скуки. Даже Петроний принимал участие в таких похождениях: главной их целью было, правда, похищение женщин и подбрасывание их на солдатском плаще до обморока. Однако сам Нерон называл подобные приключения «ловлей жемчуга», потому что случалось на окраинах, где ютилась беднота, находить подлинные жемчужины красоты и молодости. Тогда «sagatio» (так называлось подбрасывание на плаще) не имело места, и «жемчужину» отсылали или в Палатин, или на одну из бесчисленных вилл цезаря, или, наконец, Нерон уступал ее одному из своих друзей. То же могло случиться и с Лигией. Цезарь присматривался к ней во время пира, и Виниций ни на минуту не сомневался, что она должна была показаться самой прекрасной из женщин, каких до сих пор ему приходилось видеть. Разве могло быть иначе! Правда, она была на Палатине, и цезарь мог ее беспрепятственно оставить для себя, но ведь Петроний справедливо утверждает, что у цезаря нет смелости для преступления, и, даже имея возможность действовать открыто, он всегда предпочитает тайный образ действий. На этот раз он мог бояться Поппеи. Виницию пришло в голову, что Авл не посмел бы отбить девушку, подаренную ему цезарем. Да и кто посмел бы? Может быть, этот великан-лигиец с голубыми глазами, который осмелился войти в триклиний и унести ее на руках? Но куда он может спрятать ее? Где скрыться? Нет, раб не решился бы на это. Значит, никто иной, кроме цезаря.

При этой мысли у Виниция потемнело в глазах, и капли пота

выступили на лбу. В таком случае Лигия потеряна для него навсегда. Ее можно было бы вырвать у всех, но не из рук цезаря. Теперь он с большим правом мог хвататься за голову и вопить: «Горе мне, — увы!» Воображение представляло Лигию в объятиях Нерона, и он впервые в жизни понял, что есть мысли, которых не может выдержать мозг. И только теперь он понял, как полюбил ее. Подобно тому, как перед духовным взором тонущего мгновенно проносится вся его жизнь, так перед душой Виниция пронеслась Лигия. Он видел ее, слышал каждое ее слово. Видел ее у водомета, видел у Авла и на пиру, в доме цезаря. Чувствовал ее близ себя, обонял запах ее волос, теплоту ее тела, сладость поцелуев, которыми он на пиру покрыл ее невинные губы. Она казалась ему еще прекраснее, желаннее, нежнее, его единственной, избранной среди всех смертных и богов. Когда он подумал, что все ставшее его душой и жизнью теперь во власти цезаря, — его сердце сжалось от почти физической боли — такой страшной, что юноша готов был разбить себе голову о стены атриума. Чувствовал, что может сойти с ума, и, вероятно, это случилось бы, если бы у него не осталось мысли о мести. Как прежде у него явилась мысль, что он не сможет жить, если не найдет Лигии, так теперь он думал, что не умрет, пока не отомстит за нее. И это принесло ему некоторое облегчение. «Я буду твоим Кассием», — шептал он, думая о Нероне. Схватив горсть земли из вазы с цветами, он произнес страшную клятву Гекате и домашним богам, что отомстит.

Стало легче. По крайней мере, теперь было для чего жить, чем заполнить дни и ночи. Отказавшись от мысли идти к Авлу, он велел нести себя на Палатин. По дороге думал, что если его не допустят к цезарю или обыщут, нет ли у него оружия, — значит, Лигию действительно похитил цезарь. Однако он не взял с собой оружия. Вообще, он не помнил ни о чем, как люди, одержимые одной мыслью, и думал лишь о мести. Он не хотел, чтобы она была выполнена раньше времени. Кроме того, он главным образом хотел повидаться с Актеей, думая, что от нее может узнать всю правду. Иногда мелькала мысль, что увидит Лигию, и при этой мысли он начинал дрожать. Может быть, цезарь похитил ее, не зная, кого похищает, и сегодня вернет ее Виницию? Но тотчас отбросил эту надежду. Если бы думали вернуть ее, вернули бы вчера. Актеея все могла объяснить, поэтому с ней необходимо было увидеться прежде всего.

Решив так, он велел рабам торопиться и снова вернулся к мыслям о Лигии и о мести. Он слышал, что жрецы какой-то египетской богини умеют накликают болезни, поэтому решил теперь обратиться к ним и узнать, как это нужно сделать. На Востоке он также слышал, что и евреи знают какие-

то заговоры, при помощи которых покрывают тело врагов нарывами и ранами. Среди рабов в его доме было несколько евреев, поэтому он решил, вернувшись домой, пытаться их, пока не узнает тайны. Но с наибольшим наслаждением он думал о коротком римском мече, которым можно нанести такую рану, от которой умер Калигула, оставив несмываемые следы под колоннами в портике. Виниций готов был перебить всех в Риме, и если бы какие-нибудь мстительные боги пообещали ему, что весь мир умрет, кроме него и Лигии, он тотчас согласился бы и на это.

У ворот дворца он пришел в себя и при виде преторианцев подумал, что, если его будут удерживать при входе, значит Лигия по воле цезаря здесь. Но главный центурион приветливо улыбался ему и, подойдя, сказал:

— Здравствуй, благородный трибун. Если ты хочешь приветствовать цезаря, то приходишь невовремя, и я не уверен, сможешь ли ты увидеть его.

— Что случилось? — спросил Виниций.

— Божественная дочь цезаря неожиданно заболела со вчерашнего вечера. Цезарь и Поппея все время при ней вместе с врачами, которых созвали сюда со всего Рима.

Это было большое событие. Когда родилась дочь, цезарь сошел с ума от радости и счастья. Еще раньше сенат посвятил богам чрево Поппеи. Произносились обеты, а в Анциуме, где произошли роды, устроены были пышные празднества, кроме того, построили два храма Фортунам. Нерон, ни в чем не знавший меры, безумно любил малютку, Поппее она также была дорога, потому что делала положение матери более крепким и влияние безграничным. От здоровья и жизни маленькой августы зависели судьбы всей империи, но Виниций так был занят своим делом и своей любовью, что, почти не слушая слов центуриона, сказал:

— Я хочу видеть Актею!

И вошел.

Но Актея также была у колыбели ребенка, поэтому Виницию пришлось долго ждать. Она пришла лишь в полдень, бледная и измученная; увидев Виниция, она побледнела еще больше.

— Актея! — воскликнул тот, схватив ее за руки и увлекая на середину атриума. — Скажи, где Лигия?

— Я хотела бы спросить об этом у тебя, — ответила она с упреком. Хотя он обещал себе расспросить ее обо всем спокойно, схватился за голову и с лицом, искаженным от боли и гнева, стал повторять:

— Ее нет! Ее схватили по дороге к моему дому! Ее нет!

Он опомнился и, приблизив свое лицо к лицу Актее, стал говорить

сквозь сжатые зубы:

— Актея... Если жизнь дорога тебе, если ты не хочешь стать причиной большого несчастья, которого даже не сумеешь представить себе, ответь мне чистую правду: не цезарь ли отбил ее?

— Цезарь вчера не выходил из дворца.

— Заклинаю тебя тенью матери и всеми богами, — не во дворце ли она?

— Клянусь тенью матери, Марк, нет ее во дворце и не цезарь похитил ее. Вчера заболела маленькая августа, и Нерон не отходил от колыбели.

Виниций вздохнул свободнее. Самое страшное перестало грозить ему.

— Значит, — сказал он, садясь на скамью и сжимая руки, — ее отбил Авл... Горе ему!

— Авл Плавтий был здесь утром. Не мог повидаться со мной, потому что я была при ребенке. Он расспрашивал о Лигии у Эпафродита и у других слуг цезаря, потом сказал, что придет позже повидаться со мной.

— Он хотел отвести от себя подозрение. Если бы не знал, что случилось с Лигией, он пришел бы искать ее ко мне в дом.

— Он оставил мне несколько слов на табличке, из которых ты можешь узнать следующее: ему было известно, что Лигия взята цезарем из его дома по твоему и Петрония желанию, он догадывался, что ее отошлют к тебе, и потому сегодня утром заходил в твой дом, где ему и рассказали, что случилось.

Она пошла в спальню и тотчас вернулась с письмом, оставленным ей Плавтием.

Виниций прочел и замолчал, Актея же, по-видимому, читала мысли на его мрачном лице, потому что сказала:

— Нет, Марк. Произошло то, чего хотела сама Лигия.

— Ты знала, что она хочет бежать? — завопил Виниций.

Она посмотрела на него своим туманным взором почти сурово:

— Я знала, что она не хочет быть твоей наложницей.

— А кем была ты всю свою жизнь?

— Я раньше была рабой.

Виниций не хотел считаться с этим: какое ему дело до того, кто она такая, раз цезарь подарил Лигию ему. Он отыщет ее под землей и сделает с ней все, что захочет. Да! Она будет его наложницей. Он велит сечь ее, если захочет. Когда она прискучит ему, он отдаст девушку последнему из своих рабов или пошлет вертеть жернов в Африку. Он будет искать ее и найдет лишь для того, чтобы смять, унижить, уничтожить.

Возбуждаясь все больше и больше, он наконец потерял всякую меру в



своим гневе, и Актея поняла, что он сулит больше, чем сможет сделать, что говорят в нем боль и гнев. Над болью она готова была сжалиться, но его безумный гнев исчерпал наконец ее терпение, и она спросила, зачем он пришел.

Виниций сразу не нашелся, что ответить. Пришел, потому что хотел, потому что думал узнать от нее что-нибудь, собственно, он шел к цезарю и, не имея возможности повидать его, зашел к ней. Убежав, Лигия преступила волю цезаря, поэтому он будет умолять Нерона, чтобы тот приказал искать ее по всему городу и всей империи, хотя бы для этого пришлось двинуть все легионы и обыскать все дома в государстве. Петроний поддержит его просьбу, и поиски начнутся с сегодняшнего дня.

На это Актея сказала:

— Берегись, чтобы не потерять ее навсегда, когда наконец по приказанию цезаря она будет найдена.

Виниций сдвинул брови:

— Что это значит? — спросил он.

— Слушай, Марк! Вчера мы с Лигией были в саду и встретили Поппею, а с ней маленькую августу, которую несла негритянка Лилит. Вечером дитя заболело, и Лилит утверждает, что девочку сглазили, и сглазила чужеземка, которую встретили в саду. Если ребенок выздоровеет, об этом забудут, если же нет, то Поппея первая обвинит Лигию в колдовстве, и тогда, если ее отыщут, для нее не будет спасения.

Наступило молчание. Потом Виниций сказал:

— Может быть, она действительно сглазила девочку и заколдовала меня!

— Лилит утверждает, что дитя заплакало, когда его пронесли мимо нас. И действительно, девочка заплакала. Должно быть, ее вынесли в сад уже больную. Ищи, Марк, один, ищи где хочешь, но пока маленькая августу не выздоровеет, не говори с цезарем о Лигии, потому что навлечешь на нее месть Поппеи. Достаточно Лигия выплакала свои глаза из-за тебя, пусть теперь боги хранят ее бедную голову.

— Ты ее любишь, Актея? — мрачно спросил Виниций.

На глазах вольноотпущенницы показались слезы:

— Да, я полюбила ее.

— Потому что она не отплатила тебе ненавистью, как мне.

Актея посмотрела на него, словно колеблясь и в то же время желая убедиться, что он говорит искренне... Потом сказала:

— Безумный и слепой человек! Она любила тебя.

Виниций вскочил при этих словах как ужаленный. Неправда! Она

ненавидела его. Откуда Актея может знать это?! В первый же день знакомства Лигия призналась ей в этом? Что это за любовь, которая предпочитает скитанья, позор бедности, неуверенность в завтрашнем дне, а может быть, даже и смерть, — предпочитает все это украшенному зеленью дому, где ждет ее возлюбленный на пир? Ему лучше не слушать подобных вещей, потому что он сойдет с ума. Он не отдал бы эту девушку за все сокровища мира, а она убежала. Что это за любовь, которая бежит наслаждений и родит страдания! Кто поймет это? Кто сможет понять подобную вещь? Если бы не надежда отыскать ее, он бросился бы на меч! Любовь дарят, а не отнимают! Были минуты в доме Авла, когда он верил в близкое счастье, но теперь он знает, что она ненавидела его, ненавидит и умрет с ненавистью в сердце.

Актея, всегда робкая и мягкая, в свою очередь возмутилась: как он старался получить ее? Вместо того чтобы просить ее у Авла и Помпони, он отнял у них предательством любимую дочь. Он хотел сделать ее наложницей, а не женой, ее, воспитанную в патрицианском доме, ее, царскую дочь. Он заставил ее войти в дом преступления и позора, оскорбил ее невинные глаза видом развратного, разнузданного пира; обращался с ней, как с развратницей. Неужели он забыл, что такое дом Авла и кто Помпония Грецина, воспитавшая Лигию? Неужели у него не хватило ума, чтобы отличить этих женщин от Нигидии, Кальвии Криспиниллы, Поппеи и всех, которых он встречал в доме цезаря? Неужели, увидев Лигию, он не понял сразу, что она чистая девушка, которая предпочитает смерть бесчестию? Откуда он знает, каких почитает она богов, — и, может быть, ее боги чище и лучше распутной Венеры или египетской Изиды, которую теперь чтят развратные римлянки? Нет! Лигия не делала ей признания, но она сказала, что ищет спасения от него, от Виниция; она надеялась, что он выпросит у цезаря разрешения вернуться в дом Авла к Помпони, и, говоря это, она вспыхнула, как девушка, которая любит и верит. Ее сердце стучало и рвалось к нему, но он испугал ее, оттолкнул, возмутил, пусть теперь ищет ее с помощью солдат цезаря, но пусть знает, что, если дочь Поппеи умрет, подозрение падет на Лигию и гибель ее неминуема.

Кроме боли и гнева Виниций стал чувствовать также странное волнение. Слова Актеи, что Лигия любила его, потрясли Марка до глубины души. Он вспомнил ее в саду у Авла, когда она слушала его признания с румянцем на щеках и светлыми глазами. Ему казалось, что тогда она действительно начинала любить его, и вдруг при этой мысли его охватило чувство счастья, во сто крат более полного, чем то, на какое он надеялся. Он подумал, что действительно мог бы иметь ее свободной и к тому же

любящей: она повесила бы пряжу на смазанных волчьим салом дверях его дома и сидела бы в качестве супруги на овчине у очага. Он услышал бы из ее уст священные слова: «Где ты, Кай, там и я, Кайя!» И она была бы навсегда его. Почему он не поступил так? Ведь он был готов сделать это. Теперь же ее нет, и он не сможет найти ее, а если и найдет, то погубит. Если бы даже не погубил, то теперь не захотят его ни Авл, ни Помпония, ни Лигия. Гнев снова стал шевелить волосы на голове Виниция, но теперь он обращен был не на Авла и Лигию, а на Петрония. Он во всем виноват. Если бы не он, Лигии не нужно было бы теперь скрываться, она была бы невестой Марка; никакая опасность не грозила бы ее милой головке. Но теперь все кончено, поздно исправлять зло, которое нельзя исправить.

— Поздно!

И ему казалось, что бездна разверзлась под его ногами. Он не знал, что предпринять, как поступить, куда идти. Актая как эхо повторила слово «поздно», и оно в чужих устах прозвучало для Виниция как смертный приговор. Он понимал одну лишь вещь: необходимо отыскать Лигию, потому что в противном случае с ним произойдет нечто ужасное.

И, завернувшись в тогу, он хотел было уйти, даже не простившись с Актеей, как вдруг штора, отделявшая атриум от прихожей, раздвинулась, и он увидел перед собой печальную Помпонию Грецину.

Она также, по-видимому, узнала об исчезновении Лигии и, думая, что ей легче повидаться с Актеей, чем Авлу, пришла к ней, чтобы узнать что-нибудь.

Но, увидев Виниция, она повернула к нему свое бледное лицо и, помолчав, сказала:

— Пусть Бог простит тебе, Марк, обиду, которую ты причинил нам и Лигии.

Он стоял с опущенной головой, с чувством горя и вины, не понимая, какой Бог мог ему простить и почему Помпония говорила о прощении, когда речь могла быть об одной лишь мести.

И он медленно вышел из атриума, с головой, в которой спутанные мысли смешаны были с тоской и удивлением.

На дворе и под колоннадами стояли беспокойные группы людей. Среди дворцовых рабов сновали патриции и сенаторы, которые явились узнать о здоровье маленькой августы и вместе с тем показаться во дворце, свидетельствуя тем о своем беспокойстве хотя бы перед рабами цезаря. Весть о болезни «богини» разнеслась быстро по Риму, приходили все новые люди, у ворот стояла толпа. Некоторые из посетителей, видя, что Виниций только что был во дворце, спрашивали его о здоровье августы, но

он ничего не отвечал и шел прямо, пока наконец Петроний, только что узнавший новость, не столкнулся с ним и не остановил его.

Виниций неминуемо вспылит бы при виде Петрония и натворил бы бед в доме цезаря, если бы не вышел от Актеи совершенно разбитым, подавленным и обессиленным настолько, что его даже покинула обычная вспыльчивость. Он отвернулся и хотел пройти мимо, но Петроний остановил его почти силой.

— Как себя чувствует божественная? — спросил он.

Насилие раздражило Виниция, и он мгновенно вскипел:

— Пусть ад поглотит ее и весь этот дом! — ответил он, стиснув зубы.

— Молчи, несчастный! — сказал Петроний и оглянулся по сторонам. — Если хочешь узнать о Лигии, то иди за мной. Нет. Здесь не скажу! Пойдем, я поделюсь с тобой мыслями, когда мы будем в лектике.

И, обняв рукой молодого человека, он быстро увел его из дворца.

Это и было главной его целью, потому что о Лигии он не знал ничего. Но как человек опытный и, несмотря на вчерашнее возмущение, сочувствующий Виницию, кроме того, чувствующий себя ответственным за все происшедшее, он уже предпринял кое-что со своей стороны. Когда они сели в лектику, он сказал:

— При всех городских воротах я поставил своих рабов, подробно описав им наружность девушки и того великана, который унес ее с пира в доме цезаря, потому что нет сомнения, что именно он отбил ее. Слушай, очень возможно, что Авл захочет спрятать Лигию в одном из своих поместий, и мы узнаем, таким образом, в какую сторону ее поведут. Если же у ворот их не заметят, значит, она осталась в городе, и сегодня же мы начнем розыски.

— Плавтии не знают, где она, — ответил Виниций.

— Уверен ли ты, что это так?

— Да. Я видел Помпонию. Они также ищут ее.

— Вчера она не могла уйти из города, потому что ночью ворота заперты. У каждых ворот ходят два моих раба. Один пойдет за Лигией и великаном, другой тотчас вернется и даст знать об этом. Если они в городе, то мы, несомненно, отыщем их, потому что лигийца легко узнать хотя бы по росту. Счастлив ты, что ее похитил не цезарь, — в этом я могу заверить тебя, потому что на Палатине от меня нет тайн.

Но Виниций еще больше огорчился и дрожащим от волнения голосом стал рассказывать Петронию о том, что слышал от Актеи, и о тех новых опасностях, которые грозят Лигии, — найдя беглецов, придется их снова прятать самым тщательным образом от Поппеи. Потом он стал горько

упрекать Петрония за его советы. Если бы не он, все было бы иначе. Лигия осталась бы у Плавтиев, и он, Виниций, мог бы теперь видеться с ней ежедневно и был бы счастливее самого цезаря. Возбуждаясь по мере того, как говорил, он пришел наконец в такое волнение, что слезы огорчения и бешенства закапали из его глаз.

Петроний, который положительно не подозревал, что молодой человек может так любить и так желать, видя эти слезы отчаяния, с удивлением подумал: «О могучая владычица Киприда! Ты одна царишь над богами и людьми!»

## XII

Дома Петронию сказали, что ни один из рабов, поставленных у ворот, не вернулся. Заведующий атриумом послал им пищу и новый приказ, чтобы, под угрозой розог, они внимательно следили за всеми, кто выходит из города.

— Вот видишь, — сказал Петроний Виницию, — они, несомненно, в городе, и мы в таком случае разыщем их. Но и ты, со своей стороны, пошли рабов к воротам, особенно тех, которые сопровождали Лигию: они легче узнают ее.

— Я их велел отправить на тяжелые работы в деревню, — ответил Виниций, — но тотчас отменю приказание, пусть идут к воротам.

И, написав несколько слов на вощенной дощечке, он подал ее Петронию, который тотчас велел отнести ее в дом Виниция.

Они вошли во внутренний портик и там, сев на мраморной скамье, стали беседовать.

Златокудрая Евника с другой рабыней пододвинули им под ноги бронзовые скамейки, потом, поставив перед ними столик и чаши, налили вина из чудесных сосудов с узким горлом.

— Есть ли среди твоих рабов хоть один, который знал бы этого лигийца в лицо? — спросил Петроний.

— Его знали Атакин и Гулон. Но Атакин пал вчера в схватке, а Гулона убил я.

— Мне жаль его. Ведь он носил на руках не только тебя, но и меня также.

— Я хотел отпустить его на свободу, — сказал Виниций. — Но оставим это. Будем говорить о Лигии. Рим — море...

— Именно в море и ловят жемчужины... Может быть, мы не найдем ее сегодня, завтра, но когда-нибудь найдем непременно. Ты обвиняешь меня, что я подал тебе дурной совет, но совет сам по себе был хорош и стал дурным лишь тогда, когда дурно повернулось все дело. Ведь ты сам слышал от Авла, что он собирается со всей семьей переехать в Сицилию. Тогда Лигия была бы от тебя очень далеко.

— Я поехал бы с ними, — ответил Виниций. — Во всяком случае, она была бы в безопасности, теперь же, в случае смерти дочери Нерона, Пoppея и сама поверит и внушит цезарю, что Лигия виновата в этом.

— Да. Это и меня беспокоит. Но эта кукла может выздороветь. Если же

она умрет, мы найдем другое какое-нибудь средство.

Петроний подумал немного, потом сказал:

— Говорят, Поппея исповедует еврейскую религию и верит в злых духов. Цезарь суеверен... Если мы распустим слух, что Лигию похитили злые духи, то слуху могут поверить, потому что если ее отбил не цезарь и не Авл, то исчезла она в самом деле таинственно. Один лигиец сделать этого не мог. Ему должны были помогать, а откуда раб в один день мог бы набрать большое количество людей?

— Рабы поддерживают друг друга во всем Риме.

— И Рим когда-нибудь жестоко поплатится. Да! Они поддерживают друг друга, но не затем, чтобы на твоих рабов заведомо обрушилась за это жестокая кара. Если ты подскажешь им мысль о злых духах, они тотчас подтвердят это, скажут, что видели их собственными глазами, потому что таким образом снимается с них часть вины... Спроси на пробу одного из них, не видел ли он, что Лигия поднялась на воздух, и он тотчас поклянется Эгидой Зевса, что это было именно так.

Виниций, который и сам был суеверен, посмотрел вдруг на Петрония с большим страхом.

— Если Урс не мог иметь помощников и не мог унести Лигию один, то кто же в таком случае похитил ее?

Петроний стал смеяться.

— Вот видишь, непременно поверят, раз ты сам начинаешь верить этому. Таков наш мир, который смеется над богами. Поверят и не станут искать, а мы тем временем спрячем ее в какой-нибудь далекой вилле, твоей или моей.

— Кто же все-таки мог помочь Урсу?

— Его единоверцы, — ответил Петроний.

— Какие? Какому божеству поклоняется она? Я должен бы знать об этом лучше тебя...

— Почти у каждой женщины в Риме есть свое божество. Несомненно, Помпония воспитала Лигию в той религии, какой придерживается сама, а как называется ее религия, я не знаю. Одно достоверно, что никто не видел Помпонии, приносящей жертву нашим богам в каком-нибудь из римских храмов. Подозревают даже, что она христианка, но это вещь невозможная. О христианах говорят, что они не только почитают ослиную голову, но и являются врагами человеческого рода и закоренелыми преступниками. Поэтому Помпония не может быть христианкой, ведь добродетель ее известна всем, и враг человеческого рода не мог бы так обходиться с рабами, как обращается она.

— Нигде с ними не обращаются так, как в доме Авла.

— Вот видишь. Помпония говорила мне о каком-то боге, который един, всемогущ и милосерд. Куда она девала остальных — ее дело, довольно того, что этот ее Логос недостаточно всемогущ, вернее, это было бы совсем жалкое божество, если бы у него насчитывалось лишь две поклонницы: Помпония и Лигия, да прибавь к ним Урса. Их, конечно, должно быть больше, последователей этого бога, — и они-то и помогли Лигии.

— Эта вера велит прощать, — прервал Виниций. — Я встретил у Актеи Помпонию, которая сказала мне: «Пусть Бог простит тебе обиду, которую ты причинил нам и Лигии».

— По-видимому, их бог очень добрый и заботливый. Так пусть он простит тебя в самом деле и в знак прощения пусть вернет девушку!

— Я завтра же принес бы ему в жертву гекатомбу. Я не хочу пищи, бани, сна. Надену желтый плащ и буду бродить по городу. Может быть, найду ее переодетой. Я совсем болен!

Петроний сочувственно посмотрел на него. Глаза у Виниция ввалились и лихорадочно горели; небритое лицо было темным, волосы в беспорядке. Он действительно похож был на больного. Златокудрая Евника и Ирида смотрели на него также с сочувствием, но он, казалось, не видел их, и оба они с Петронием совершенно не обращали внимания на присутствующих рабынь.

— Тебя мучит лихорадка, — сказал Петроний.

— Да.

— Послушай меня... Не знаю, что предписал бы тебе врач, но хорошо знаю, что сделал бы, будучи в твоём положении, я сам. Прежде чем отыщется та, я поискал бы в другой того, чего не хватает мне с исчезновением возлюбленной. Я видел у тебя в доме прекрасные тела. Не спорь... Знаю, что такое любовь, и знаю, что когда хочешь одной какой-нибудь, то никакая другая не может ее заменить. Но в красивой рабыне всегда можно найти хотя минутное наслаждение...

— Не хочу!.. — ответил Виниций.

Но Петроний, питавший к нему слабость и действительно хотевший облегчить страдания юноши, задумался над тем, чем бы можно было помочь ему.

— Может быть, твои не имеют для тебя прелести новизны, — сказал он через минуту и перевел глаза на Ириду, а потом на Евнику, пока наконец не остановился на златовласой гречанке; положив руку на ее бедро, он продолжал: — Но посмотри на эту красавицу. Несколько дней тому назад



молодой Фонтей Капитон предлагал мне за нее трех прекрасных мальчиков из Клазомены, потому что более прекрасного тела не создавал даже Скопас. Не знаю сам почему, я до сих пор остался равнодушен к ней, и меня менее всего удержала бы мысль о Хризотемиде! И вот я дарю ее тебе, возьми!

Златокудрая Евника, услышав это, мгновенно побледнела как полотно и, глядя испуганными глазами на Виниция, затаив дыхание, ждала его ответа.

Но он вдруг вскочил и сжал руками голову, как человек, мучимый невероятной болью. Потом он быстро заговорил:

— Нет! Нет!.. Она мне не нужна! Мне не нужно других!.. Благодарю, но я не хочу! Пойду искать ту по всему городу. Вели мне подать галльский плащ с капюшоном. Пойду за Тибр... Мне бы встретить хоть Урса!..

И он поспешно вышел. Петроний, видя, что Марк действительно не может усидеть на одном месте, не пытался удерживать его. Принимая, однако, отказ Виниция за минутное отвращение ко всякой женщине, которая не была Лигией, и не желая, чтобы великодушие его было впустую, обратившись к рабыне, сказал:

— Евника, вымойся, натришь маслом и оденься — ты отправишься в дом Виниция.

Но она упала к его ногам и, сложив руки, умоляла не отсылать ее. Она не хочет идти к Виницию и предпочитает здесь носить дрова в уборную, чем там быть первой из слуг. Она не хочет, она не может, она умоляет сжалиться над ней! Пусть он велит ее истязать, но пусть не отсылает из дома.

Дрожа как лист от страха и волнения, она протягивала к нему руки с мольбой. Петроний изумился. Рабыня, которая смеет отказываться от повиновения, которая говорит: «Не хочу, не могу», была чем-то настолько неслыханным в Риме, что Петроний сначала не верил своим ушам. Наконец он сдвинул брови. Он был слишком изящным, чтобы быть жестоким. Его рабам, особенно в области разврата, позволено было больше, чем где-либо в другом месте, с тем, однако, условием, чтобы они образцово несли службу и волю господина почитали наравне с волей богов. В случае уклонения от одного из этих условий он умел не жалеть наказаний, каким они подлежали по общему для рабов праву. Кроме того, он не переносил противоречий и всего, что нарушало его спокойствие, поэтому, посмотрев на склоненную рабыню, он сказал:

— Позови Терезия и приди сюда вместе с ним.

Евника встала со слезами на глазах и вышла; она вскоре вернулась со зрителем атриума, критянином Терезием.

— Возьми Евнику, — сказал ему Петроний, — и дай ей двадцать пять ударов, но так, чтобы не испортить кожи.

Сказав это, он пошел в библиотеку и, сев у стола из розового мрамора, углубился в свою работу «Пир Тримальхиона».

Но побег Лигии и болезнь маленькой августы отвлекали его мысли, и он не мог долго работать. Особенно болезнь беспокоила его. Если цезарь поверит, что Лигия сглазила малютку, то ответственность за это может пасть и на Петрония: ведь по его просьбе девушка была доставлена в дом цезаря. Но он рассчитывал при первом же свидании с Нероном доказать ему всю нелепость подобного предположения; он также немного надеялся на слабость, которую питала к нему Поппея, правда, она очень скрывала ее, но не настолько, чтобы он не мог заметить. Он пожал плечами, перестал думать об этой истории и решил пойти в триклиниум, подкрепить себя пищей, а потом, побывав еще раз во дворце, отправиться на Марсово поле и к Хризотемиде.

Но по дороге в триклиниум, в коридоре, предназначенном для слуг, он увидел среди других рабов прижавшуюся к стене стройную фигуру Евники и, вспомнив, что он велел Терезию наказать ее и не сказал, что делать с ней дальше, искал его теперь глазами, нахмутив брови.

Не найдя его среди слуг, он обратился к Евнике:

— Была ли ты наказана?

Она снова упала к его ногам, прижала губы к краю его одежды и сказала:

— Да, господин! Да!

В голосе ее звучала благодарность и радость. По-видимому, она думала, что наказание заменило ей необходимость идти к Виницию и теперь она может спокойно остаться дома. Петрония, который понял это, удивило такое страстное упорство рабыни, но он слишком хорошо знал человеческую природу, чтобы сразу угадать, что только любовь могла быть причиной такого упорства.

— Есть ли у тебя возлюбленный в доме? — спросил он.

Она подняла на него голубые глаза и ответила так тихо, что ее едва можно было услышать:

— Да, господин!..

И с этими глазами, с золотыми локонами, откинутыми назад, с выражением страха и надежды на лице она была столь прекрасна, смотрела на него с такой мольбой, что Петроний, сам в качестве философа славивший силу любви, а в качестве эстета чтущий красоту, почувствовал к ней нечто вроде жалости.

— Который же из них твой любовник? — спросил он, указывая на слуг.

Но ответа не последовало, Евника склонилась к его стопам и осталась неподвижной.

Петроний посмотрел на рабов, среди которых были красивые и стройные юноши, но не прочел ответа ни на одном лице; все они как-то странно улыбались; потом он еще раз взглянул на лежавшую у его ног Евнику и молча пошел в триклиний.

Насытившись, он велел нести себя во дворец, а потом отправился к Хризотемиде, у которой остался до поздней ночи.

Вернувшись домой, Петроний велел позвать Терезию.

— Наказал ли ты Евнику? — спросил он.

— Да, господин. Но ты велел щадить кожу.

— Не сделал ли я какого-нибудь еще распоряжения относительно ее?

— Нет, господин, — ответил тот с тревогой.

— Прекрасно. Кто из рабов ее любовник?

— Никто, господин.

— Что ты знаешь о ней?

Терезий стал говорить неуверенным голосом:

— Евника никогда не покидает ночью спальни, в которой помещается со старой Акризионой и Ифидией; никогда после твоей бани, господин, не остается там с рабами... Другие невольницы смеются над ней и зовут ее Дианой.

— Довольно, — сказал Петроний. — Мой племянник Виниций, которому я сегодня утром подарил Евнику, не принял подарка, поэтому пусть она остается в доме. Можешь идти.

— Можно мне еще сказать об Евнике, господин!

— Я велел тебе говорить все, что знаешь.

— Все слуги говорят о бегстве девушки, которая должна была жить в доме благородного Виниция. После твоего ухода, господин, пришла ко мне Евника и сказала, что знает человека, который сумеет найти беглянку.

— А! Что же это за человек?

— Я не знаю его, но полагал, что должен сказать тебе об этом, господин!

— Хорошо. Пусть завтра он ждет у меня прихода трибуна, которого ты от моего имени попросишь завтра утром навестить меня.

Терезий склонился и отошел.

Петроний невольно стал думать о Евнике. Прежде всего ему показалось совершенно естественным, что молодая невольница хочет,

чтобы Виниций нашел Лигию, главным образом потому, чтобы ей не пришлось идти в дом трибуна. Потом он подумал, что человек, на которого указывает Евника, может быть ее любовником, и эта мысль вдруг показалась Петронию неприятна. Можно было просто узнать всю правду, стоило лишь позвать Евнику, но час был поздний, Петроний чувствовал себя усталым после посещения Хризотемиды, и ему хотелось спать. Проходя в спальню, он неизвестно почему вдруг вспомнил, что сегодня заметил в уголках глаз у Хризотемиды морщинки. Он подумал, что красота ее пользовалась большей славой в Риме, чем заслуживала на самом деле, и что Фонтей Капитон, который предлагал ему трех мальчиков за Евнику, хотел купить ее слишком дешево.

## XIII

На другой день утром, когда Петроний кончал одеваться, пришел приглашенный Терезием Виниций. Он знал уже, что у городских ворот ничего нового, и это известие скорее опечалило его, чем обрадовало. Он боялся, что Урс увел ее из города тотчас после похищения и, значит, раньше, чем рабы Петрония начали караулить у ворот. Правда, осенью, когда дни становились короче, ворота закрывались раньше, но их все-таки открывали для отъезжающих, число которых было велико. Кроме того, выйти из города можно было и другими способами, о которых прекрасно знали рабы, замышлявшие бегство. Виниций послал своих людей также и на дороги, ведущие в провинцию, к вигилям ближайших городков с объявлением о двух бежавших рабах, подробным описанием примет Лигии и Урса и обещанием крупной награды за их задержание. Однако было сомнительно, чтобы это средство могло оказаться действенным и местные власти удовлетвоались частным распоряжением Виниция о задержании беглецов, не скрепленным подписью претора. Выполнить эту формальность не было времени. Весь вчерашний день Виниций в одежде раба искал Лигию в самых глухих закоулках города и не нашел ни малейшего следа, никакого указания. Правда, он видел слуг Авла, но и те, по-видимому, кого-то искали. Это утвердило его в мысли, что не Авл похитил ее и что старый вождь сам не знает, где Лигия и что с ней случилось.

Когда Терезий объявил ему, что есть человек, который берется отыскать Лигию, он поспешил в дом Петрония и, едва успев приветствовать его, стал тотчас же расспрашивать об этом человеке.

— Сейчас мы увидим его, — сказал Петроний. — Он знакомый Евники, которая сейчас придет поправить складки моей тоги и расскажет о нем подробно.

— Та, которую ты вчера хотел мне подарить?

— Та, которую вчера ты отверг, за что, впрочем, я тебе благодарен, потому что она лучшая служанка во всем городе и чудесно оправляет мне тогу.

Она вошла, как только он произнес последние слова, и, взяв тогу, которая лежала на кресле, инкрустированном слоновой костью, развернула ее, чтобы набросить на плечи Петрония. Лицо ее было тихое, светлое, а в глазах сияла радость.

Петроний взглянул на нее, и она показалась ему очень красивой. Обернув его тогой, она стала расправлять складки, и ей приходилось низко нагибаться, выравнивая их сверху и до самого низа. Петроний заметил, что руки ее имеют чудесный светло-розовый цвет, а грудь и плечи прозрачный блеск перламутра и алебастра.

— Евника, — сказал он, — здесь ли человек, о котором ты сказала вчера Терезию?

— Здесь, господин.

— Как зовут его?

— Хилон Хилонид.

— Кто он такой?

— Лекарь, мудрец и гадатель, умеющий читать судьбу людей и предсказывать будущее.

— Предсказал ли он и тебе твоё будущее?

Евника покраснела, так что порозовели даже ее шея и уши.

— Да, господин.

— Что же он наворожил?

— Что встретит меня страдание и счастье.

— Страдание приняла ты вчера от руки Терезия, а значит, должно прийти и счастье.

— Оно пришло, господин.

— Какое же?

Она тихо прошептала:

— Я осталась.

Петроний положил руку на ее золотую голову:

— Ты прекрасно уложила сегодня складки, и я доволен тобой, Евника.

От его прикосновения глаза ее затуманились счастьем.

Петроний и Виниций перешли в атриум, где ждал Хилон Хилонид, отвесивший им низкий поклон. Петроний вспомнил о своей вчерашней догадке, что человек этот может быть любовником Евники, и невольная улыбка появилась на его лице. В странной фигуре грека было что-то и смешное и жалкое. Он не был очень стар: в включенной бороде и растрепанных волосах лишь кое-где серебрилась седина. Грудь впалая, шея согнутая, на первый взгляд он казался горбатым, и над горбом возвышалась огромная голова, лицо обезьяны и лисицы в одно и то же время; острый взгляд. Желтоватая кожа его пестрела от прыщей, а красный нос явно свидетельствовал о его пристрастии к вину; небрежная одежда, состоящая из темной тунки козьей шерсти и такого же дырявого плаща, свидетельствовала о подлинной или притворной бедности. Петронию

вспомнился гомеровский Терсит и, отвечая жестом руки на поклон Хилона, он сказал:

— Здравствуй, божественный Терсит! Как поживают шишки, которые набил тебе Одиссей под Троей, и что он сам поделывает в Елисейских полях?

— Благородный господин! — ответил Хилон Хилонид. — Самый мудрый из мертвых, Одиссей, присылает через меня мудрейшему из живых Петронию привет и просьбу, чтобы он покрыл новым плащом мои шишки.

— Клянусь тройной Гекатой, — воскликнул Петроний, — ответ стоит плаща.

Но дальнейший разговор прервал нетерпеливый Виниций, который прямо спросил:

— Знаешь ли, зачем тебя позвали?

— Если два дома, два самых знаменитых дома, не говорят ни о чем другом, а за ними эту новость повторяет половина Рима, нетрудно знать, — ответил Хилон. — Вчера ночью похищена девица, воспитанная в доме Авла Плавтия, по имени Лигия, собственно Каллина, которую твои рабы, господин, несли из дома цезаря в твой дом, а я берусь отыскать ее в городе, а если она, что мало вероятно, покинула город, то указать тебе, благородный трибун, куда она бежала и где прячется.

— Хорошо, — сказал Виниций, которому нравилась откровенность и точность ответа, — какими же средствами располагаешь ты?

Хилон лукаво улыбнулся:

— Средствами располагаешь ты, господин, а у меня есть один лишь ум.

Петроний тоже улыбнулся; он был очень доволен своим гостем. «Этот человек может отыскать девушку», — подумал он.

Виниций сдвинул густые брови и сказал:

— Негодяй, если ты обманываешь меня ради выгоды, я велю избить тебя палками.

— Я — философ, господин, а философ не может быть жадным до выгоды, особенно такой, какую ты сулишь мне.

— А, ты философ? — спросил Петроний. — Евника говорила мне, что ты и лекарь и гадатель. Откуда ты знаешь Евнику?

— Она приходила ко мне за советом, ибо слава моя дотекла и до ее слуха.

— Что за совет нужен был ей?

— Ей нужно было вылечиться от любви без взаимности.

— И ты ее вылечил?

— Я сделал больше, господин, потому что дал ей амулет, который приносит взаимность. В Пафосе на Кипре есть храм, в котором хранится пояс Венеры. Я дал ей две нитки из этого пояса, спрятанные в скорлупе миндаля...

— И велел хорошо заплатить себе.

— За взаимность никогда нельзя заплатить достаточно щедро, я же, имея двух пальцев на правой руке, собираю на раба-писца, который записывал бы мои мысли и сохранял мое учение для потомства.

— К какой школе принадлежишь ты, божественный мудрец?

— Я циник, господин, потому что у меня дырявый плащ, стоик, ибо терпеливо сношу несчастья, перипатетик, так как не имею лектики и хожу пешком от виноторговца к виноторговцу и по дороге учу тех, которые обещают заплатить за кувшин.

— При кувшине ты становишься ритором?

— Гераклит сказал: «Все течет», и неужели ты будешь спорить, господин, что вино не жидкость?

— Он говорил также, что огонь — божество, следовательно, божество пылает в твоём носу.

— Божественный Диоген утверждал, что сущностью вещей является воздух, и чем теплее воздух, тем совершеннее существо, а из наибольшего тепла получают души мудрецов. А так как осенью наступают холода, то истинный мудрец должен подогреть свою душу вином... Потому что ты ведь не возразишь, господин, что кувшин лучшего вина не разносит тепла по всем косточкам тленного человеческого тела.

— Хилон Хилонид, где твоё отечество?

— Над Понтом Евксинским. Я родом из Мезембрии.

— Хилон, ты велик!

— И знаменит, — меланхолически добавил мудрец.

Однако Виниций стал снова выражать нетерпение. Он хотел, чтобы Хилон немедленно отправился на поиски, и весь этот разговор казался ему напрасной тратой времени, за что он даже зол был на Петрония.

— Когда же начнешь свои поиски? — сказал он, обращаясь к греку.

— Я их уже начал, — ответил Хилон. — И когда я здесь, когда разговариваю с тобой, я тоже ищу. Верь мне, благородный трибун, и знай, что, если бы у тебя пропал ремешок от обуви, я сумел бы найти тебе его и даже человека, кто этот ремешок поднял на улице.

— Исполнял ли ты раньше подобные поручения? — спросил Петроний.

Грек поднял кверху глаза:



— Слишком низко ныне расценивается добродетель и мудрость, чтобы даже философ не постарался найти иных источников для жизни.

— Каковы же твои источники?

— Знать все и приносить новости тем, кто их жаждет.

— И кто за них платит?

— Ах, господин, ведь мне нужен писец. Иначе моя мудрость умрет вместе со мной.

— Если ты не справил себе до сих пор нового плаща, то заслуги твои в этом деле, по-видимому, не столь велики.

— Скромность мешает мне говорить о своих заслугах. Но подумай, господин, ведь теперь нет таких благодетелей, каких много было прежде и которым так же приятно осыпать золотом заслугу, как проглотить устрицу из ПUTEОЛИ. Не заслуги мои малы, а людская благодарность мала. Когда убежит какой-нибудь ценный раб, кто отыщет его, как не единственный сын моего отца? Когда на стенах появятся надписи, поносящие божественную Поппею, — кто укажет виновных? Кто отыщет в книжной лавке стихи на цезаря? Кто донесет, о чем говорят в домах сенаторов и патрициев? Кто передает письма, которых нельзя доверить рабам? Кто слушает новости под дверями виноторговцев и булочников, кому верят рабы, кто сумеет быстро осмотреть весь дом насквозь от атриума до сада? Кто знает все улицы, переулки, тупики, кто знает, о чем говорят в термах, в цирке, на рынке, в фехтовальных школах, среди работорговцев и даже на арене?

— О боги! Довольно, благородный мудрец! — воскликнул Петроний. — Мы, пожалуй, утонем в твоих заслугах, добродетели, мудрости и красноречии. Достаточно! Мы хотели знать, кто ты, и теперь знаем.

Виниций был доволен. Он думал, что этот человек похож на гончую собаку, которая, будучи пущена по следу, не остановится до тех пор, пока не отыщет зверя.

— Прекрасно. Нужны тебе указания?

— Мне нужно оружие.

— Какое? — спросил удивленный Виниций.

Грек раскрыл ладонь, а другой рукой сделал жест, словно отсчитывая деньги.

— Такое теперь время, господин, — сказал он со вздохом.

— Видно, ты будешь ослом, — сказал Петроний, — который берет крепость с помощью мешков золота.

— Я только бедный философ, господин, — ответил покорно Хилон, —

золотом владеете вы.

Виниций бросил кошелек, который грек поймал на лету, хотя действительно на его правой руке не хватало двух пальцев. Потом он поднял голову и стал говорить:

— Господин, я знаю сейчас больше, чем ты думаешь. Не с пустыми руками пришел я. Знаю, что девушку похитили не Плавтии, потому что я переговорил с их рабами. Знаю, что нет ее на Палатине, где все заняты больной дочерью цезаря; кроме того, я, пожалуй, догадался, почему вы предпочитаете искать девушку с моей помощью, а не с помощью вигилей и солдат цезаря. Знаю, что побег устроен с помощью слуги ее, который родом из того же племени, что и она. Ему не могли помочь в таком деле рабы, потому что они поддерживают друг друга и не пошли бы против твоих рабов. Ему могли помочь только его единоверцы.

— Слушай, Виниций, — прервал Петроний, — разве я говорил тебе не то же самое слово в слово!

— Это честь для меня, — сказал Хилон. — Девушка, господин, — продолжал он, обращаясь к Виницию, — конечно, исповедует то же божество, что и лучшая из римлянок, истинная матрона Помпония. Слышал я также и то, что Помпонию судили семейным судом за почитание каких-то чужих богов, но я не мог выведать у слуг, что это за божество и как зовут его почитателей. Если бы я узнал это, я пошел бы к ним, стал самым горячим последователем их, снискал бы их доверие. Ты, господин, провел, как мне известно, в доме благородного Авла несколько дней, не можешь ли дать мне теперь каких-нибудь сведений об этом?

— Не могу, — ответил Виниций.

— Вы долго спрашивали меня о разных вещах, благородные господа, и я отвечал вам на все вопросы, позвольте теперь мне задать вам несколько. Не видел ли ты, трибун, каких-либо статуй, жертвоприношений, амулетов у Помпонии или у божественной Лигии? Не видел ли ты каких-либо знаков, которые они чертили и которые понятны им одним?

— Знаки?.. Пстой!.. Да! Я видел однажды, что Лигия начертила на песке рыбу.

— Рыбу? Аа! Оо! Сделала она это один раз или несколько?

— Один раз.

— Уверен ли ты, господин, что она действительно изобразила... рыбу?

— Да, да! — ответил заинтересованный Виниций. — Знаешь ли ты, что это означает?

— Знаю ли я?! — воскликнул Хилон.

И, сделав глубокий прощальный поклон, прибавил:

— Пусть Фортуна равно рассыплет на вас свои дары, достойные господ!

— Вели подать себе плащ! — сказал ему Петроний.

— Одиссей приносит тебе благодарность за Терсита! — ответил грек. И еще раз поклонившись, вышел.

— Что скажешь об этом благородном мудреце? — спросил Виниция Петроний.

— Скажу, что он найдет Лигию, — воскликнул обрадованный Виниций, — но скажу также, что, если бы существовал бог негодяев, Хилон мог бы быть царем.

— Несомненно. Я должен ближе познакомиться с этим стоиком, но теперь нужно все-таки окурить атриум после его посещения.

Хилон Хилонид, завернувшись в свой новый плащ, подбрасывал на ладони под его складками полученный от Виниция кошелек и равно радовался тяжести его и звуку. Шествуя медленно и постоянно оглядываясь, не идет ли за ним по следам кто-нибудь из дома Петрония, он миновал портик Ливии и, дойдя до угла, свернул на Субурру.

— Необходимо зайти к Спорусу, — говорил он сам с собой, — и сделать небольшое возлияние Фортуне. Наконец я нашел то, чего давно искал. Молод, горяч, щедр, как копи Кипра, и за эту лигийскую маковку готов отдать половину своего богатства. Именно такого я давно ищу. Но с ним необходимо быть очень осторожным: его сдвинутые брови не сулят ничего доброго. Ах! Волчьи щенки владеют теперь миром!.. Я гораздо меньше боюсь Петрония. О боги! Неужели сводничество оплачивается ныне лучше, чем добродетель? Ха! Начертила тебе на песке рыбу? Пусть удавлюсь я куском козьего сыра, если знаю, что это значит! Но я узнаю. Но так как рыба живет в воде, а поиски под водой более трудны, чем на суше, следовательно, за эту рыбу он мне заплатит особо. Еще один такой кошелек — и я смогу бросить суму нищего и купить себе раба... Но что бы сказал ты, Хилон, если бы я посоветовал тебе купить не раба, а рабыню?.. Знаю тебя прекрасно! Конечно, ты согласишься!.. Если она будет такой красивой, как, например, Евника, ты сам при ней помолодел бы, а кроме того, имел бы честный и верный доход. Я продал этой бедной Евнике две нитки из моего дырявого плаща... Дура, но, если бы Петроний подарил ее мне, я бы, пожалуй, взял... Да, да, Хилон сын Хилона!.. Ты потерял отца и мать... Ты остался сиротой, купи себе в утешение хоть рабыню. Нужно будет ей где-нибудь жить, поэтому Виниций наймет для нее помещение, в котором приютишься и ты; нужно ей прилично одеться — Виниций купит наряды; нужно есть — он будет кормить ее. Ох, как тяжела жизнь! Где те времена,

когда за обол можно было взять столько бобов со свининой, сколько помещалось на обеих ладонях, или кусок козьей кишки, налитой кровью, такой длинный, как рука двенадцатилетнего мальчика!.. Но вот и этот вор — Спорус! В кабачке легче всего узнать что-нибудь.

Говоря так, он вошел к виноторговцу и велел подать кувшин «темного». Заметив недоверчивый взгляд хозяина, он вынул из кошелька золотую монету и, положив ее на стол, сказал:

— Я проработал сегодня с Сенекой от рассвета до полудня, и вот чем меня снабдил мой друг на дорогу.

Круглые глаза Споруса при виде золота стали еще круглее, — и вино тотчас очутилось перед Хилоном. Грек помочил палец в вине и начертил им на столе рыбу.

— Знаешь, что это значит?

— Рыба? Рыба значит рыба!

— Дурак, хотя и подливаешь в вино столько воды, что могла бы в ней очутиться и рыба. Это — символ, который на языке философов означает: улыбка Фортуны. Если бы ты угадал его, может быть, она улыбнулась и тебе. Почитай философию, говорю я тебе, потому что в противном случае я переменю виноторговлю, — меня давно уговаривает сделать это мой друг Петроний.

## XIV

Хилон не показывался нигде в течение нескольких дней. С того времени как Виниций узнал от Актеи, что Лигия любила его, ему во сто крат сильнее хотелось найти ее, и потому он предпринял сам поиски, не желая, да и не будучи в состоянии обратиться за помощью к цезарю, погруженному в страх за здоровье маленькой августы.

Не помогли жертвы, которые приносились в храмах, мольбы и обеты, не помогло искусство врачей и всякие знахарские средства, за которые схватились в последнюю минуту. Через неделю ребенок умер. Двор и Рим облеклись в траур. Безумствовавший от радости при рождении дочери, цезарь теперь безумствовал от отчаяния. Он заперся у себя, не принимал в течение двух дней пищи, и хотя дворец кишел толпами сенаторов и приближенных, спешивших выразить свое огорчение и сочувствие, никого не хотел видеть. Сенат на чрезвычайном заседании провозгласил умершую девочку богиней; решено было построить в ее честь храм и назначить особого жреца. В других храмах приносились в честь нового божества жертвы, отливались ее изображения из благородных металлов, а похороны были необыкновенно пышным торжеством. Народ разделял великое горе цезаря, плакал с ним и вместе с тем протягивал руки за подачками, а прежде всего развлекался необычайным зрелищем.

Петрония беспокоила эта смерть. Всему Риму известно было, что Пoppея приписывает смерть дочери чарам. За ней повторяли это и врачи, которые, таким образом, могли оправдать свое бессилие, и жрецы, жертвы которых оказались бесполезными, и знахари, которые дрожали теперь за свою жизнь, и, наконец, весь народ. Петроний был рад, что Лигия бежала; он не желал зла Авлу и желал добра себе и Виницию, поэтому, когда был убран кипарис, увитый белой шерстью и поставленный в знак траура перед дворцом, он отправился на прием сенаторов и приближенных, чтобы убедиться, насколько Нерон поддался слухам о колдовстве, и помешать дурным последствиям, которые могли возникнуть от этого.

Он знал, что хотя Нерон и не верил в чары, однако будет делать вид, что верит, чтобы обмануть свое горе, чтобы отомстить кому-нибудь, наконец, чтобы рассеять подозрения, что боги начинают наказывать его за совершенные преступления. Петроний не думал, что цезарь может искренне и глубоко любить даже своего ребенка, и хотя тот выказывал горячую любовь, Петроний был уверен, что Нерон пересолит в своей

печали. И он не ошибся. Нерон выслушивал утешения и соболезнования сенаторов и патрициев с каменным лицом, с глазами, устремленными в одну точку, и было видно, что если он и страдает, то одновременно думает о том, какое впечатление производит на окружающих; он позировал для Ниобеи и изображая родительское отчаяние, как это сделал бы актер на сцене. Он не сумел даже выдержать роли каменного и немого отчаяния — то делал жесты, словно посыпал пеплом голову, то глухо стонал. Увидев Петронию, он заметался и трагическим голосом завопил так, чтобы его все услышали:

— Горе! Горе!.. И ты виноват в ее смерти! По твоему совету вошел в эти стены злой дух, который одним взглядом высосал жизнь из ее груди... Горе мне! Не смотрели бы глаза мои на свет Гелиоса... Горе мне! Горе! Горе!

И он стал громким криком выражать свое отчаяние, но Петроний решил поставить все на один бросок костей; он протянул руку, быстро сорвал шелковый платок, который Нерон всегда носил на шее, и зажал им рот цезаря.

— Государь, — сказал он серьезно, — сожги Рим и весь мир в своем отчаянии, но сохрани нам свой голос!

Присутствующие изумились, изумился на минуту и сам Нерон, один лишь Петроний остался спокойным. Он хорошо знал, что делает. Помнил, что Терпносу и Диодору было приказано затыкать цезарю рот, когда Нерон слишком возвышал голос, подвергая тем опасности голосовые связки.

— Цезарь, — продолжал Петроний серьезно и печально, — мы понесли тяжелую утрату, пусть нам останется хоть это сокровище в утешение!

Лицо Нерона задергалось, слезы полились из глаз, он протянул руки к Петронию и, спрятав голову на его груди, рыдая говорил:

— Ты один подумал об этом, ты один! Петроний! Ты один!

Тигеллин пожелтел от зависти, а Петроний стал уговаривать цезаря:

— Поезжай в Анциум! Там она увидела свет, там тебя встретила великая радость, там найдешь и утешение. Пусть морской воздух освежит твое божественное горло; пусть грудь твоя вдохнет соленой влаги. Мы, твои верные друзья, поедem повсюду с тобой, и в то время, как мы постараемся усладить твое горе нашей дружбой, ты усладишь нас своим пением.

— Да, да! — жалобно говорил Нерон. — Я напишу в честь ее гимн и сам сочиню музыку.

— Потом поищешь горячего солнца в Байях.

— И забвения в Греции...

— В отчизне поэзии и музыки!

Тяжелое настроение цезаря постепенно таяло, как тают тучи, заволакивающие солнце; началась беседа, исполненная печали, но в то же время говорилось и о подробностях будущего путешествия, строились планы художественных выступлений; обсуждали прием, какой следовало сделать приезжающему в Рим Тиридату, царю Армении. Тигеллин попробовал было напомнить о колдовстве, но Петроний, уверенный в победе, охотно принял вызов.

— Неужели ты думаешь, Тигеллин, что чары могут повредить богам?

— Сам цезарь говорил о чарах, — ответил придворный.

— Говорило горе, а не цезарь... Но ты лично что думаешь об этом?

— Боги слишком могучи, чтобы им можно было повредить чарами.

— Неужели в таком случае ты отказываешь в божественности цезарю и его семье?

— *Peractum est!* — Кончено! — пробормотал стоявший рядом Марцелл, употребляя выражение, принятое в цирке, когда гладиатор поражен так, что его не приходится добивать.

Тигеллин затаил в себе гнев. Давно уже между ним и Петронием возникло соперничество в отношениях с цезарем, и на стороне Тигеллина было то преимущество, что Нерон меньше, вернее, совсем не стеснялся его. Но до сих пор при столкновениях Петроний всегда одерживал верх благодаря ловкости и остроумию.

Так произошло и на этот раз. Тигеллин замолчал и лишь постарался удержать в памяти имена сенаторов и патрициев, которые окружили отошедшего в глубь зала Петрония, думая, что теперь он, конечно, будет первым любимцем цезаря.

Выйдя из дворца, Петроний отправился к Виницию и рассказал ему о встрече с цезарем и стычке с Тигеллином.

— Я не только отвратил опасность для Авла и Помпонию, но и от нас обоих, и даже Лигии, которую не будут искать хотя бы потому, что я уговорил меднобородую обезьяну ехать в Анциум, а оттуда в Неаполь и Байи. Он поедет наверное, потому что в Риме он не смел до сих пор выступить публично в театре, и я знаю, что он давно собирается сделать это в Неаполе. Кроме того, он мечтает о Греции, где хочет петь во всех больших городах, чтобы потом совершить триумфальный въезд в Рим со всеми венками, которые ему поднесут греки. В это время можно спокойно искать Лигию и потом спрятать в безопасном месте. Что же, не был у тебя благородный философ?

— Твой благородный философ — обманщик. Не был, не показывается и не покажется больше!

— Я лучше думаю если не о его честности, то об уме. Он пустил кровь однажды твоей кошеле и наверняка придет, хотя бы ради того, чтобы сделать это еще раз.

— Пусть он побережется, а то я пушу кровь ему самому.

— Не делай этого; потерпи, пока не убедишься окончательно в его обмане. Не давай ему больше денег, но обещай большую награду в будущем, если он принесет тебе верное известие о Лигии. Делаешь ли что-нибудь сам?

— Два моих вольноотпущенника, Нимфидий и Демас, ищут ее во главе шестидесяти людей. Тот из рабов, который откроет местопребывание Лигии, получит обещанную свободу. Кроме того, я послал нарочных по всем дорогам, ведущим из Рима, чтобы они расспрашивали в придорожных селах о лигийце и девушке. Сам я дни и ночи брожу по городу, надеюсь на счастливую случайность.

— Если узнаешь что-нибудь, извести меня, потому что я должен уехать в Анциум.

— Хорошо.

— Когда ты, проснувшись в одно прекрасное утро, скажешь себе, что не стоит мучиться из-за одной девушки и тратить так много сил на поиски, приезжай в Анциум. Там не будет для тебя недостатка ни в женщинах, ни в утешении.

Виниций начал ходить большими шагами по комнате, Петроний смотрел на него некоторое время молча, потом сказал:

— Скажи мне искренне, не как безумец, который возбуждает себя, а как рассудительный человек, который беседует с другом: действительно ли ты все время думаешь об этой девушке?

Виниций остановился, посмотрел на Петрония, словно не видел его раньше, потом снова стал шагать по атриуму. Видно было, что он старается подавить в себе волнение. Наконец на глазах его от чувства собственного бессилия, от боли, гнева и необоримой тоски выступили слезы, которые сказали Петронию больше чем самый красноречивый ответ.

Подумав немного, Петроний сказал:

— Мир держит на плечах не Атлас, а женщина; иногда она играет им, как мячиком.

— Да! — ответил Виниций.

Они стали прощаться. Но в эту минуту раб доложил о приходе Хилона Хилонида, который ждал в прихожей и просил допустить его пред лицо



господина.

Виниций велел впустить его тотчас же, а Петроний сказал:

— Что? Не говорил ли я тебе! Клянусь Геркулесом! Но старайся сохранить спокойствие, потому что в противном случае он будет владеть тобой, а не ты им.

— Привет и честь благородному военному трибуну и тебе, господин! — говорил, входя, Хилон. — Пусть ваше счастье будет равным вашей славе, а слава пусть распространится по всему миру от столпов Геркулеса до арсийских границ!

— Здравствуй, законодатель добродетели и мудрости! — ответил Петроний.

С притворным равнодушием Виниций спросил:

— Что ты приносишь нам нового?

— В первый раз, господин, принес тебе надежду, теперь приношу уверенность, что девушка будет найдена.

— Значит, ты не нашел ее до сих пор?

— Да, господин. Зато я нашел разгадку, что значит тот знак, который она начертила тебе на песке. Я знаю теперь, кто те люди, которые отбили ее, и знаю, среди последователей какого божества нужно искать их.

Виниций хотел вскочить с кресла, на котором сидел до сих пор, но Петроний положил ему руку на плечо и обратился к Хилону:

— Продолжай!

— Уверен ли ты, господин, что девушка начертила на песке рыбу?

— Да, да! — крикнул нетерпеливо Виниций.

— В таком случае она — христианка, и отбили ее христиане.

Наступило молчание.

— Послушай, Хилон, — проговорил наконец Петроний, — мой племянник обещал тебе за розыск девушки большое количество денег, но и не меньшее количество розог в случае обмана. В первом случае ты купишь себе не одного, а трех писцов, во втором — философия всех семи мудрецов, с добавлением твоей собственной, не послужит тебе мазью для заживления кожи.

— Девушка — христианка! — воскликнул грек.

— Подожди, Хилон. Ты человек неглупый. Мы знаем, что Юния Силана и Кальвия Криспинилла обвинили Помпонию Грецину в принадлежности к христианскому суеверию, но мы также знаем, что суд оправдал ее от возводимого обвинения. Неужели ты снова хочешь предъявить его? Как убедишь ты нас, что Помпония, а с нею и Лигия могут принадлежать к числу врагов человеческого рода, отравителей колодцев и

фонтанов, почитателей ослиной головы, — людей, убивающих младенцев и предающихся отвратительнейшему разврату? Подумай, Хилон, ведь тезис, который ты выставляешь, способен отразиться в качестве антитезиса на твоей спине!

Хилон развел руками в знак того, что он здесь не виноват, после чего сказал:

— Господин! Скажи по-гречески следующее: Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель.

— Хорошо... Я говорю!.. И что же?

— А теперь возьми первые буквы каждого слова и сложи их вместе.

— Рыба! — воскликнул изумленный Петроний.

— Вот почему рыба стала символом христиан, — наставительно произнес Хилон.

Все молчали. Но в доказательстве грека было что-то столь убедительное, что оба друга не могли прийти в себя от изумления.

— Виниций, — спросил Петроний, — не ошибаешься ли ты? Действительно ли Лигия нарисовала рыбу?

— Клянусь всеми подземными богами, я сойду с ума! — воскликнул раздраженный Виниций. — Если бы она нарисовала птицу, я сказал бы, что это была птица!

— Значит, она христианка, — повторил Хилон.

— Значит, Помпония и Лигия отравляют колодцы, — воскликнул Петроний, — убивают похищенных на улице детей, предаются разврату! Вздор!! Ты дольше был в их доме, Виниций, я был там мало, но я хорошо знаю Помпонию и Авла, достаточно знаю и Лигию, чтобы сказать: клевета и вздор! Если рыба есть символ христиан, с чем спорить трудно, и если они действительно христиане, то клянусь Прозерпиной, что христиане совсем не такие, какими мы представляем их себе.

— Ты говоришь, как Сократ, — сказал Хилон. — Кто говорил с христианином? Кто знает их учение? Когда я шел три года тому назад из Неаполя в Рим (о, зачем я не остался там!), ко мне присоединился в пути один человек, врач по имени Главк, о котором говорили, что он христианин, и я убедился на деле, что это был добродетельный и честный человек.

— Не от этого ли честного человека ты узнал теперь, что значит рыба?

— Увы! Нет, господин. По дороге в одной гостинице кто-то ткнул этого доброго человека ножом, а жену его и ребенка увели в рабство торговцы невольниками; защищая их, я и потерял оба пальца. Но у христиан, говорят, бывают чудеса, поэтому я надеюсь, что пальцы отрастут и у меня.

— Как? Ты христианин?

— Со вчерашнего дня, господин, со вчерашнего дня. Сделала меня христианином рыба. Какая в ней, однако, сила! Через несколько дней я буду самым ревностным христианином, и меня посвятят во все тайны. Тогда я узнаю, где скрывается девушка. Может быть, мое христианство будет лучше оплачено, чем моя философия. Я обещал также Меркурию, если он поможет мне отыскать беглянку, принести в жертву двух баранов, однолеток и одномерок, которым велю вызолотить рога.

— Твое вчерашнее христианство и твоя старая философия позволяют, значит, верить и в Меркурия?

— Я всегда верю в то, во что мне нужно верить, и в этом моя философия, которая должна, конечно, прийтись по вкусу Меркурию. К несчастью, этот бог так недоверчив! Он не верит обетам даже целомудренных философов и, наверно, предпочел бы получить баранов раньше, между тем это ведь немалый расход. Не каждый среди мудрецов — Сенека, мне это сделать трудно, и если благородный Виниций в счет тех денег, которые обещаны мне, даст... немного...

— Ни одного обола, Хилон, — сказал Петроний, — ни обола! Щедрость Виниция превзойдет меру твоих надежд, но лишь в том случае, если Лигия будет найдена, то есть когда ты укажешь место, где она скрывается. Меркурий должен дать тебе кредит на два барана, хотя я и не удивляюсь, что он делает это неохотно, как бог, не лишенный ума.

— Послушайте меня, достойные господа! Открытие, сделанное мною, велико, потому что хотя я и не отыскал еще девушки, зато нашел дорогу, по которой ее следует искать. Вы разослали по городу и окрестностям множество вольноотпущенников и рабов, но дал ли вам хоть один какое-нибудь указание? Нет! Один я дал вам его. И скажу больше. Между вашими рабами могут быть христиане, о чем вы и не подозреваете; суеверие это распространено повсюду; и эти рабы, вместо того чтобы помогать, будут мешать вам и затруднять поиски. Нехорошо и то, что меня видят здесь, поэтому ты, благородный Петроний, вели молчать своей Евнике, а ты, равно благородный Виниций, пусти слух, что я продаю тебе мазь, намазав которой лошадь, можно быть уверенным в победе на состязании в цирке... Я один буду искать, и я один найду беглецов, а вы верьте мне и знайте, что, если я и получу немного вперед, это будет служить мне поощрением: я всегда буду уверен, что получу больше, и тем больше будет моя надежда, что обещанная награда не минет меня. Да! Как философ, я презираю деньги, хотя их не презирают ни Сенека, ни Музоний, ни Корнут, которые не теряли, однако, пальцев, защищая друзей, и могут писать сами и

оставить имена свои в памяти потомства. Кроме раба, которого я намерен купить, кроме Меркурия, которому я обещал двух баранов (а ведь вы знаете, как подорожал теперь скот), самые поиски требуют больших расходов. Выслушайте меня с терпением. За эти несколько дней на моих ногах появились раны от усиленной ходьбы. Я заходил в кабаки, чтобы поговорить с людьми, к булочникам, мясникам, продавцам оливок, к рыбакам. Я исходил все улицы и переулки; побывал в притонах беглых рабов; проиграл около ста ассов в свайку; был в прачечных и столовых, видел погонщиков мулов и каменщиков; видел людей, которые лечат болезни мочевого пузыря и дергают зубы, говорил с торговцами сушеными фигами, побывал на кладбищах... И знаете зачем? Затем, чтобы повсюду рисовать рыбу, смотреть людям в глаза и слушать, что они мне скажут, увидев этот знак. Долго я ничего не мог заметить, пока не встретил случайно у фонтана старого раба, который черпал воду и плакал. Подойдя, я спросил его о причине слез. Когда мы сели на ступеньке около бассейна, он сказал мне, что всю свою жизнь собирал сестерцию за сестерцией, чтобы выкупить любимого своего сына, но его господин, некий Панса, когда увидел деньги, отнял их, а сына оставил по-прежнему у себя в неволе. «И я плачу, — говорил старик, — и хотя готов повторять: да будет воля Божья, все же, старый грешник, не могу удержать слез». Тогда, толкаемый предчувствием, я омочил палец в воде и нарисовал рыбу, а он сказал мне: «И моя надежда во Христе». Я же спросил: «Ты узнал меня по знаку?» Он ответил: «Да, и пусть будет мир с тобою». Тогда я стал тянуть его за язык, и бедняга разболтал мне все. Его господин, Панса, сам вольноотпущенник великого Пансы, возит по Тибру в Рим камень, который наемные люди и рабы переносят с барж к строящимся домам ночью, чтобы не стеснять уличного движения. Среди них работает много христиан, а также и его сын, но так как эта работа слишком тяжела, старик хотел выкупить своего сына. Панса предпочел удержать и деньги и раба. Рассказав это, он стал плакать, я же смешал с его слезами свои, что мне легко было сделать, во-первых, потому, что у меня доброе сердце, во-вторых, от боли в натруженных ходьбой ногах. При этом я жаловался, что, придя несколько дней тому назад из Неаполя, никого не знаю из братии, не знаю, где они собираются для совместной молитвы. Он удивился, что братья в Неаполе не дали мне писем к римским братьям, но я уверил его, что меня обокрали по дороге. Тогда он сказал, чтобы я пришел ночью на реку, он познакомит меня с братьями, а те доведут до дома молитвы и к старшим, которые управляют христианской общиной. Услышав все это, я так обрадовался, что дал ему сумму, необходимую для выкупа сына, в

надежде, что щедрый Виниций вернет мне ее вдвойне...

— Послушай, Хилон, — прервал его Петроний, — в твоём рассказе ложь плавает по поверхности правды, как масло по воде. Я не спорю, ты принес важные известия. Я даже думаю, что по пути розыска Лигии сделан большой шаг вперед, но не порть своих новостей ложью. Как зовут старика, от которого ты выведал, что христиане узнают друг друга при помощи знака рыбы?

— Еврикий, господин, бедный, несчастный старик! Он напомнил мне лекаря Главка, которого я защищал от убийц, — и этим он особенно растрогал меня.

— Верю, что ты познакомился с ним и сумел использовать это знакомство, но денег ты ему не давал. Ты ему ничего не дал, понимаешь! Ничего! Ни одного асса!

— Но я помог ему тащить ведра и говорил с ним о его сыне с величайшим сочувствием. Да, господин! Разве что-нибудь можно скрыть от пронизательности Петрония? Да, я не дал ему денег, вернее, дал, но в душе, в мысли, что, если бы он был истинным философом, должно было бы удовлетворить его вполне... Я дал ему денег потому, что считал такой поступок нужным и справедливым, потому что подумай, господин, как бы он хорошо настроил ко мне всех христиан, какой легкий доступ к ним представился бы мне, с каким доверием все отнеслись бы ко мне...

— Действительно, — сказал Петроний, — ты должен был поступить так.

— Я затем и прихожу, чтобы сделать это.

Петроний обратился к Виницию:

— Вели отсчитать ему пять тысяч сестерций, но в душе, в мысли...

Виниций сказал:

— Я дам тебе мальчика, который понесет нужную сумму, а ты скажешь Еврикию, что это твой раб, и ты отсчитаешь при нем старику деньги. А так как ты все же принес важное известие, то получи столько же для себя. Приди за мальчиком и за деньгами сегодня вечером.

— Вот истинный цезарь! — воскликнул Хилон. — Позволь, господин, посвятить тебе мой философский труд, но позволь также прийти сегодня вечером за одними деньгами, без мальчика, потому что Еврикий сказал, что все баржи уже разгружены, а новые придут из Остии лишь через несколько дней. Мир да будет с вами! Так прощаются христиане... Куплю себе рабыню, то есть я хотел сказать: раба. Рыбу ловят на приманку, а христиан на рыбу. Рах vobiscu! рах!.. рах!.. рах!.. [\[37\]](#)

Петроний к Виницию:

«С верным рабом посылаю тебе из Анциума это письмо, на которое, хотя рука твоя более привычна к мечу и копьё, чем к стилю, надеюсь, ты ответишь без особой задержки с этим же рабом. Я оставил тебя напавшего на верный след и полного надежды, поэтому думаю, что ты или теперь уже успокоил свои страстные желания в объятиях Лигии, или успокоишь их прежде, чем настоящий зимний ветер подует с вершин на Кампанию. О, мой Виниций! Пусть учительницей твоей будет золотая богиня Киприды, а ты будь учителем этой лигийской утренней зорьки, которая бежит от знойного солнца любви. Запомни раз навсегда, что мрамор сам по себе, хотя бы и самый дорогой, ничто, и лишь тогда становится ценным, когда его претворит в художественное произведение рука скульптора. Будь таким скульптором, *carissime!*<sup>[38]</sup> Любить недостаточно, нужно уметь любить и нужно уметь научить любви. Ведь наслаждение испытывает и чернь, и даже зверь, но настоящий человек тем именно и отличается от них, что претворяет его в некое благородное искусство. Предаваясь наслаждению, он знает об этом, помнит божественное происхождение любви, и таким образом не только питает свое тело, но и душу. Не раз, когда я здесь подумаю о тщете, суеде и скуке нашей жизни, мне приходит в голову, что, может быть, ты избрал благое и что не двор цезаря, а война и любовь — вот ради чего стоит родиться и жить.

Ты был счастлив в войне, будь так же счастлив и в любви. Если тебе интересно, что делается при дворе, я время от времени буду писать об этом. Сейчас мы сидим в Анциуме и лелеем божественный голос, чувствуем ненависть к Риму, на зиму собираемся переехать в Байи, чтобы выступить публично в Неаполе, жители которого — греки, которые сумеют оценить нас лучше, чем волчье племя, населяющее берега Тибра. Стекутся люди из Помпеи, Путеола, из Кум, из Стабий, не будет недостатка в аплодисментах и венках, и все это послужит поощрением к предполагаемой поездке в Ахайю.

Память маленькой августы? Да, мы ее оплакиваем еще. Поем гимны собственного сочинения столь прекрасно, что сирены от зависти попрятались в глубочайших пещерах Амфитриты. Нас, пожалуй, послушали бы дельфины, если бы им не мешал морской шум. Наше страдание и тоска не успокоились до сих пор, поэтому мы показываемся людям во всяких видах и позах, каким учит скульптура, при этом внимательно следя за тем, красивы ли мы и умеют ли люди оценить нашу красоту. Ах, мой друг, мы умрем, как шуты и комедианты.

Здесь все августиане и все августианки, не считая пятисот ослиц, в молоке которых купается Поппея, и десяти тысяч слуг. Иногда бывает весело. Кальвия Криспинилла стареет; говорят, она упростила Поппею позволить ей принимать ванну после августы. Нигидий Лукан дал пощечину, подозревая ее в связи с гладиатором. Спорус проиграл Сенециону в кости свою жену. Торкват Силан предложил мне за Евнику четырех коней, которые в этом году, несомненно, выиграют состязание в цирке. Я не согласился! И тебе благодарен, что ты не принял ее. Что касается Торквата Силана, то бедняга даже не подозревает, что он теперь тень, а не человек. Смерть его решена. И знаешь, в чем его вина? Он — правнук божественного августа. И для него нет спасения. Таков наш мир!

Мы ждали здесь, как тебе известно, Тиридата, между тем от Волгеца получено оскорбительное письмо. Он покорила Армению и требует, чтобы она была отдана Тиридату, если же на это не согласятся, то он все равно не послушает и сделает по-своему. Совершенное издевательство! Поэтому мы решили воевать. Корбулон получит такую власть, какая была у великого Помпея во время войны с морскими разбойниками. Одно время Нерон колебался: боится, по-видимому, славы, какую в случае победы может стяжать Корбулон. Думали даже предложить верховное начальство над легионами нашему Авлу. Но этому воспротивилась Поппея, для которой добродетель Помпони, по-видимому, как бельмо в глазу.

Ватиний обещает нам какие-то особенные игры гладиаторов, которые он собирается устроить в Беневенте. Вот к чему, вопреки пословице: *ne sutor supra crepidam*,<sup>[39]</sup> доходят сапожники в наше время! Вителий потомок сапожника, а Ватиний — родной сын! Может быть, сам еще тянул дратву! Гистрион великолепно вчера

играл Эдипа. Он еврей, и я спросил у него, не одно ли и то же — христиане и евреи? Он мне ответил, что у евреев стародавняя религия, тогда как христиане — новая секта, недавно возникшая в Иудее. Во времена Тиверия распяли там одного человека, число последователей которого растёт с каждым днем, и они считают его богом. Кажется, никаких других богов, особенно наших, они знать не хотят. Не понимаю, каким образом это могло бы им повредить.

Тигеллин проявляет ко мне явную враждебность. До сих пор ничего не может со мной поделаться, но есть у него одно важное преимущество. Он больше дорожит своей жизнью и вместе с тем больший негодяй, чем я, что сближает его с Меднобородым. Эта парочка раньше или позднее споется наконец, и тогда моя песенка спета. Когда это будет — не знаю, но так как это должно случиться непременно, то срок мне безразличен. Пока необходимо развлекаться. Жизнь сама по себе была бы неплохой, если бы не Меднобородый. Из-за него человек иногда становится противен самому себе. Ошибочно считать борьбу из-за его милостей каким-то цирковым состязанием, какой-то игрой, победа в которой льстит самолюбию. Я часто объяснял себе это таким образом, однако порой мне кажется, что я похож на Хилона и несколько не лучше его. Когда он перестанет быть тебе нужным, пришли его ко мне. Я полюбил его острую диалектику. Приветствуй от меня свою божественную христианку и попроси от моего имени, чтобы она не была по отношению к тебе рыбой. Напиши мне о своем здоровье, напиши о любви, умей любить, научи любить и прощай».

Виниций Петронию:

«Лигии нет до сих пор! Если бы не надежда, что я скоро найду ее, ты не получил бы ответа, потому что когда жизнь отвратительна, то и не хочется писать. Я хотел убедиться, не обманывает ли меня Хилон, и в ту ночь, когда он пришел за деньгами для Еврикия, я завернулся в военный плащ и незаметно пошел за ним и за мальчиком, которого послал с ним. Когда они пришли наконец в условленное место, я издали следил, укрывшись за колонной, и убедился, что Еврикий не вымышленная Хилоном личность. Внизу, у реки, несколько



десятков людей разгружали при свете факелов большую баржу и складывали камень на берегу. Я видел, как Хилон подошел к ним и стал говорить с каким-то стариком, который вдруг упал к его ногам. Другие окружили их, издавая крики изумления. На моих глазах мальчик передал мешок Еврикию, который, взяв его, стал молиться, протягивая к небу руки, а рядом с ним опустился на колени еще кто-то, должно быть, его сын. Хилон говорил что-то, чего я не мог расслышать, и благословил стоявших на коленях и всех других, делая в воздухе знаки в виде креста, который они, по-видимому, чтят, потому что все преклоняли при этом колени. Мне очень хотелось сойти к ним и пообещать три таких мешка тому, кто выдал бы мне Лигию, но я побоялся испортить Хилону его работу и, минуто поколебавшись, отошел.

Это произошло дней через двенадцать после твоего отъезда. После он был у меня еще несколько раз. Уверяет, что приобрел большое уважение к себе среди христиан. Не нашел до сих пор Лигии потому, что христиан теперь в Риме великое множество, поэтому не все друг друга знают и не всем известны дела их. Кроме того, они очень осторожные и вообще неразговорчивые люди, но Хилон уверен, что, как только доберется до старших, которые называются пресвитерами, тотчас сумеет выведать все их тайны. С некоторыми познакомился и пытался расспросить, но очень осторожно, чтобы не возбудить подозрения своей поспешностью и тем не испортить дела. И хотя очень тяжело ждать, не хватает терпения, но я чувствую, что он прав, и жду.

Он узнал, что для молитвы они собираются вместе, часто за городскими стенами, в пустых домах, даже в аренах. Там они почитают Христа, поют и пируют. Таких мест много. Хилон думает, что Лигия нарочно ходит не в те места, где бывает Помпония, чтобы та, в случае суда и следствия, могла бы смело поклясться, что не знает ее местопребывания. Может быть, ей посоветовали это пресвитеры. Когда Хилон проникнет в эти места, я буду ходить с ним вместе и, если боги позволят мне увидеть Лигию, клянусь Юпитером, что на этот раз она не уйдет из моих рук.

Я все время думаю об этих местах молитвы. Хилон не хочет, чтобы я ходил с ним. Боится, но я не могу сидеть дома. Я сразу узнаю ее, даже переодетую или под покрывалом. Они собираются там по ночам, но я узнаю и ночью. Узнал бы по голосу и

телодвижениям. Пойду переодетый и буду следить за всеми проходящими. Все время думаю о ней, поэтому узнаю ее легко. Хилон должен явиться завтра, и мы пойдем. Возьму с собой оружие. Некоторые из моих рабов, посланных в окрестности Рима, вернулись ни с чем. Теперь я уверен, что она здесь, в городе, может быть, где-нибудь поблизости. Я обошел множество домов под видом нанимателя. У меня ей будет гораздо лучше, потому что повсюду там царит ужасная нищета. Ведь для нее я ничего не пожалею. Ты пишешь, что я сделал хороший выбор: я же выбрал заботы и огорчения. Сначала мы с Хилоном посетим дома в городе, потом пойдем в места за городскими стенами. Каждое утро приносит мне некоторую надежду, иначе не было бы сил жить. Ты говоришь, что нужно уметь любить, но ведь и я умел говорить с Лигией о любви, теперь же тоскую, жду Хилона, и оставаться дома мне невыносимо. Прощай».

## XVI

Однако Хилон не показывался долгое время, так что Виниций под конец не знал, что об этом думать. Напрасно он повторял себе, что поиски должны вестись медленно, чтобы достигнуть верных и нужных результатов. Но и его кровь, и порывистый характер — равно восставали против голоса рассудка. Ничего не делать, ждать, сидеть со сложенными руками — все это так не отвечало его настроению, что он не в силах был примириться с этим бездействием. Посещение отдаленнейших переулков в темном рабском плаще, потому именно, что было безрезультатным, теперь казалось ему желанием обмануть собственное бездействие и не могло принести успокоения. Его вольноотпущенники, люди в общем ловкие, производившие по его приказанию самостоятельные розыски, оказались во сто крат менее удачливыми, чем Хилон. Одновременно с любовью, которую он питал к Лигии, в нем родился и жил азарт игрока, который хочет выиграть во что бы то ни стало. Виниций всегда был таким. С юных лет он проводил в жизнь все, чего сильно желал, со страстностью человека, который не понимает, что может что-нибудь не удался и что нужно бывает кое от чего отказаться. Военная дисциплина на некоторое время укротила его своеволие, но в то же время привила ему уверенность, что всякое его приказание подчиненным должно быть исполнено во что бы то ни стало; долгое пребывание на Востоке среди мягких и привычных к рабскому повиновению людей утвердило его в вере, что для его «хочу» нет границ. Поэтому теперь очень страдало и его самолюбие. В сопротивлении, в упрямстве, наконец, в самом бегстве Лигии было для него что-то непонятное, какая-то загадка, над разрешением которой он мучительно ломал голову. Он чувствовал, что Актея сказала правду и что он не был безразличен для Лигии. Но если так, то почему она скитанья и нищету предпочла его любви, его ласкам, пребыванию с ним в его роскошном доме? На этот вопрос он не умел найти ответа. Он лишь испытывал какое-то смутное чувство, которое говорило ему, что между ним и Лигией и между их понятиями, между миром его и Петрония и миром Лигии и Помпони Гречины существует какая-то разница, какое-то недоразумение, глубокое как пропасть, которой ничто не сможет заполнить. Тогда ему казалось, что он должен потерять Лигию, и при мысли об этом он окончательно терял равновесие, которое хотел поддержать в нем Петроний. Бывали минуты, когда он сам не знал, любит он Лигию или ненавидит ее,

он понимал одно лишь, что должен ее найти. Он предпочел бы сойти в могилу, чем не увидеть и не обладать Лигией. Силой воображения он представлял ее себе иногда так ясно, словно она живая стояла перед ним; припоминал каждое слово, которое он сказал ей и которое услышал от нее. Чувствовал ее близко; чувствовал ее на груди, на руках своих — и тогда страсть охватывала его как пламя. Любил ее и призывал к себе. А когда думал, что был любим ею и что она могла добровольно исполнить все, чего хотел от нее, — его охватывало отчаяние, тяжелое и необоримое; и огромная печаль заливала его душу как исполинская волна. Но бывали и такие минуты, когда он бледнел от бешенства и тешил себя мыслями о муках и унижении, которым он подвергнет Лигию, когда отыщет ее. Он хотел не только иметь ее, ему нужно было увидеть Лигию приведенной к покорности рабыней; и в то же время он чувствовал, если бы ему был предоставлен выбор: или быть ее рабом, или не увидеть ее больше ни разу в жизни, — он предпочел бы стать ее рабом. Бывали дни, когда он думал о рубцах, которые оставил бы кнут на ее розовом теле, и вместе с тем ему хотелось целовать их. Ему также приходило в голову, что он был бы счастлив, если бы убил ее.

В таком душевном разладе, в усталости, неуверенности и тоске он терял здоровье, терял даже красоту. Стал жестоким и бессердечным. Рабы, даже вольноотпущенники, дрожали в его присутствии, а когда на них стали без счета сыпаться беспричинные, жестокие и несправедливые кары, они даже возненавидели его. Чувствуя это и чувствуя свое одиночество, он мстил им за это еще более жестоко. Он сдерживал себя с одним лишь Хилоном, опасаясь, как бы тот не прекратил поисков; тот понял это и становился более уверенным в себе и требовательным. Сначала он уверял Виниция, что дело пойдет легко и быстро, теперь же начал сам выдумывать затруднения и, не переставая уверять в конечном успехе своих поисков, не скрывал, однако, что они будут довольно продолжительны.

После долгого отсутствия он явился наконец, но с таким пасмурным лицом, что Виниций побледнел, увидев его, и, подбежав к нему, едва нашел в себе силы спросить:

— Ее нет между христианами?

— Не в том дело, господин, — ответил Хилон, — но я нашел среди них Главка, лекаря.

— О чем ты говоришь и что это за человек?

— Ты забыл, видно, господин, о старике, с которым я шел из Неаполя в Рим и, защищая которого, потерял вот эти два пальца, отсутствие которых мешает мне держать перо в руке. Разбойники, уведшие его жену и детей,

пырнули его ножом. Я покинул его умирающего в гостинице под Минтурной и долго оплакивал старика! Увы, я убедился, что он до сих пор жив и принадлежит к общине христиан в Риме.

Виниций, который не мог понять, в чем здесь дело, понял одно: этот Главк является каким-то препятствием в деле поисков Лигии, поэтому, подавив в себе поднимающийся гнев, сказал:

— Если ты защищал его, то он должен чувствовать к тебе благодарность и помочь.

— Ах, благородный трибун, ведь даже боги не всегда бывают благодарными, что же тогда и говорить про людей. Да! Он должен быть мне благодарен! К несчастью, это — слабоумный старик, согбенный годами и горем, а потому он не только не чувствует ко мне благодарности, как я узнал от его единоверцев, он даже обвиняет меня, будто бы я сговорился с разбойниками и что я виновник всех его несчастий. Вот мне и награда за два моих пальца!

— Я уверен, негодяй, что дело так и было, как он говорит! — сказал Виниций.

— В таком случае ты знаешь больше, чем он, господин, — с достоинством сказал Хилон, — потому что он лишь предполагает, что дело произошло так. Это ему не помешало бы, однако, обратиться к христианам и жестоко отомстить мне. И он сделал бы это непременно, и они, конечно, помогли бы ему. К счастью, он не знает моего имени, а в доме молитвы, где мы встретились, он не заметил меня. Но я сразу узнал его и в первую минуту хотел было броситься ему на шею. Но меня удержала осторожность и обыкновение тщательно обдумывать каждый шаг, который я намерен сделать. И после, когда мы вышли из дома молитвы, я стал расспрашивать о нем, и те, кто знал его, сказали мне, что это человек, которого предал его товарищ по путешествию из Неаполя... Иначе ведь я не мог узнать, что он про меня рассказывает.

— Какое мне до всего этого дело! Говори, что ты видел в доме молитвы?

— Для тебя это не дело, господин, а для меня — такое же, как и моя собственная шкура. Так как я хочу, чтобы учение мое пережило меня, то лучше мне отказаться от награды, обещанной тобою, чем подвергать опасности жизнь ради ничтожной мамоны, без которой, как истинный философ, я и жить и искать божественную истину, конечно, сумею.

Виниций подошел к нему вплотную и с искаженным лицом глухо проговорил:

— А кто сказал тебе, что скорее встретит тебя смерть от руки Главка,

чем от моей? Откуда знаешь ты, собака, что я не велю сейчас зарыть тебя живым в землю в моем саду?

Хилон был труслив; взглянув на Виниция, он сразу понял, что одно неосторожное слово — и он погиб.

— Я буду искать ее, господин, и непременно найду! — воскликнул он. Наступило молчание. Слышно лишь было, как тяжело дышал взволнованный Виниций и вдали пели рабы, работавшие в саду.

Заметив, что молодой патриций немного успокоился, грек стал говорить:

— Смерть была около, но я смотрел на нее так же спокойно, как Сократ... Нет, господин! Я не сказал, что отказываюсь от поисков, я лишь хотел объяснить, какой опасностью грозят мне теперь эти поиски. В свое время ты сомневался, существует ли на свете Еврикий, и хотя собственные глаза убедили тебя, что сын моего отца говорил правду, ты теперь снова думаешь, что я выдумал Главка. Увы! Если бы он был выдумкой, я в полной безопасности мог бы ходить к христианам, как ходил раньше: ради этого я готов был бы отказаться от бедной, старой рабыни, которую купил три дня тому назад, чтобы она ходила за мной, старым калекой. Но Главк существует, и если бы он меня хоть раз увидел, ты, господин, не увидел бы меня больше, а в таком случае кто бы тебе отыскал девицу?

Он умолк и стал утирать слезы. Потом сказал:

— Пока Главк живет, как мне искать ее? Каждую минуту я могу встретиться с ним, а встретившись, погибнуть, а вместе со мной погибнут и мои поиски.

— К чему ты клонишь, что нужно сделать и что ты намерен предпринять?

— Аристотель учит нас, господин, что меньшим нужно жертвовать ради большего, а царь Приам часто говорил, что старость — тяжкое бремя! И вот бремя старости и несчастий давно гнетет Главка, и столь тяжело, что смерть была бы для него благодеянием. Ибо что есть смерть, по словам Сенеки, как не освобождение?..

— Остри с Петронием, а не со мной. Говори, что тебе нужно?

— Если добродетель есть острота, пусть боги позволят мне остаться остроумным всю жизнь. Я хочу, господин, устранить Главка, потому что, пока он жив, и моя жизнь, и мои поиски находятся в вечной опасности.

— Найми людей, которые забьют его палками, а я заплачу им.

— Они сдерут с тебя, господин, а после будут тянуть за сохранение тайны. Негодяев в Риме столько, сколько песку на арене, но они невероятно дорожатся, когда честному человеку приходится обратиться к ним за чем-

нибудь. Нет, достойный трибун! А что, если вигили поймают их на месте преступления? Те, несомненно, признаются и назовут того, кто их нанял, и у тебя будет много хлопот. Меня же они не назовут, потому что я не скажу им своего имени. Плохо делаешь, что не доверяешь мне, ибо, не говоря уж о моей честности, помни, что здесь дело идет о двух вещах: о моей шкуре и о награде, которую ты посулил мне.

— Сколько нужно?

— Мне нужна тысяча сестерций, потому что, господин, прими во внимание: я должен нанять честных негодяев, таких, которые, взяв задаток, не скрылись бы с ним. А за хорошую работу — хорошая плата! Пригодилось бы немного и для меня, чтобы осушить слезы, которые я пролью по случаю смерти Главка. Призываю богов в свидетели, что я любил его. Если сегодня я получу тысячу сестерций, то через два дня душа его будет в Аиде — и только там, если душа вообще сохраняет память и дар мысли, он поймет, как я любил его. Нужных людей я найду сегодня же и заявлю им, что с завтрашнего вечера буду вычитать по сто сестерций за день промедления. Кроме того, у меня готов план, который мне кажется несомненным.

Виниций еще раз пообещал ему требуемую сумму и, запретив больше говорить о Главке, спросил, какие новости принес он еще, где был за это время, что видел и что узнал. Но Хилон мог сказать немного нового. Он был еще в двух домах молитвы и внимательно следил за всеми, особенно за женщинами, но не заметил ни одной, похожей на Лигию. Христиане считают его своим, а с того времени, как он дал деньги на выкуп сына Еврикия, очень уважают его, как человека, который вступает на дорогу Христа. Он узнал от них, что великий учитель их, некий Павел из Тарса, находится сейчас в Риме и сидит в тюрьме вследствие жалобы, поданной евреями. Хилон решил познакомиться с ним. Но особенно обрадовало его известие, что главный жрец всей секты, который был учеником Христа и которому Христос поручил власть над христианами всего мира, должен в скором времени прибыть в Рим. Конечно, все христиане захотят увидеть его и услышать слова поучения. Будут большие собрания, на которые и он, Хилон, пойдет, и, главное, в многолюдной толпе он сможет незаметно провести с собой и Виниция. Тогда они наверняка встретят Лигию. Если Главка удастся устранить, то это не будет даже особенно опасно. Отомстить, конечно, могут и христиане, но в общем это спокойный народ.

С удивлением Хилон стал говорить о том, что он не заметил, чтобы они предавались разврату, отравляли колодцы и фонтаны, чтобы они были врагами рода человеческого, почитали осла или питались мясом детей. Нет!

Он не видел ничего этого. Наверное, и среди них найдутся такие, которые за деньги согласятся убрать Главка, но их учение, насколько ему известно, не поощряет преступлений и даже, наоборот, велит прощать обиды.

Виниций вспомнил, что сказала ему у Актеи Помпония Грецина, и радостно выслушал рассказ Хилона. Хотя чувство его к Лигии и принимало характер ненависти, он почувствовал облегчение, услышав, что учение, которое исповедовали и она и Помпония, не было ни преступным, ни отвратительным. Но в нем явилось некое смутное предчувствие, что именно это учение, это таинственное и непонятное ему почитание Христа и разделило их, Лигию и его, поэтому он начал в одно время и бояться этого учения и ненавидеть его.



## XVII

Хилону действительно нужно было устранить Главка, человека немолодого, но далеко не беспомощного старца. В том, что Хилон рассказал Виницию, было много правды. Он знаком был с Главком, предал его, продал разбойникам, лишил семьи и имущества. Память об этих событиях не мучила его, потому что он покинул его умирающим не в гостинице, а на поле около Минтурны, и лишь одного не предусмотрел он, что Главк залечит свои раны и придет в Рим. Поэтому, увидев его в доме молитвы, он действительно был поражен и в первую минуту решил было отказаться от поисков Лигии. Но Виниций, в свою очередь, поразил его не менее. Хилон понял, что должен выбирать между страхом перед Главком и мстью и преследованием со стороны могущественного патриция, которому, несомненно, пришел бы на помощь другой, еще более могущественный, — Петроний, и Хилон перестал колебаться. Он подумал, что лучше иметь маленьких врагов, чем больших, и хотя трусливая душа его содрогалась от кровавых мер, он решил убить Главка, чужими, впрочем, руками.

Все дело было в выборе людей, и относительно их был у него план, о котором упомянул он Виницию. Проводя ночи в кабаках среди бездомных людей, лишенных чести и веры, он легко мог найти таких, которые охотно взялись бы за подобную работу; но еще легче они могли бы, получив деньги, начать свою работу с него первого или, взяв задаток, вынудить у него всю сумму угрозой выдать его в руки вигилей. Впрочем, за последнее время Хилон почувствовал отвращение к черни, к грязным и вместе с тем страшным личностям, которые гнездились в подозрительных домах на Субурре или за Тибром. Меряя все собственной мерой, неглубоко воспринимая христиан и их учение, он думал, что и среди них найдутся нужные ему люди, а так как он считал их честнее прочих, то и решился обратиться к ним, представив все дело в таком свете, чтобы они взялись за него не только из-за денег, но и ради торжества справедливости.

С этой целью он пошел вечером к Еврикию. Хилон знал, что тот предан ему всей душой и сделает все, чтобы помочь. Будучи, однако, по природе осторожным, он и не думал довериться ему вполне и раскрыть свои намерения, которые, кроме того, стали бы в явное противоречие с представлением старца о добродетели и богобоязненности Хилона. Он хотел иметь готовых на все людей и с ними договориться таким образом,

чтобы ради самих себя они оставили все дело в вечной тайне. Старик Еврикий, выкупив сына, нанял одну из тех маленьких лавочек, которых было множество около цирка, чтобы продавать там оливки, бобы, хлеб и подслащенную медом воду посетителям цирковых состязаний. Хилон застал его дома устраивающимся в новом помещении и после приветствия во имя Христа стал говорить о деле, которое привело его к старику. Оказывая им услугу, Хилон рассчитывал на их благодарность. Ему нужны два или три сильных и смелых человека для того, чтобы устранить опасность, которая грозит не только ему, но и всем христианам. Он теперь небогат, потому что почти все, что у него было, он отдал Еврикию, однако этим людям он заплатил бы за их услугу под тем условием, чтобы ему безусловно верили и сделали все, что он велит им сделать.

Еврикий и сын его Кварт слушали Хилона, как своего благодетеля, чуть ли не на коленях. Оба они заявили, что сами готовы сделать все, что он прикажет, веря, что столь святой человек не потребует от них того, что не согласно с учением Христа.

Хилон уверил их, что это так, и, подняв глаза к небу, казалось, молился, а на самом деле он раздумывал, не будет ли лучше принять их предложение, которое могло сохранить для него тысячу сестерций. Подумав хорошенько, он отказался от этого. Еврикий был стариком, не столько, может быть, летами, сколько от огорчений и болезней, а Кварту всего лишь шестнадцать лет, тогда как Хилону нужны люди крепкие и, главное, сильные. Что касается тысячи сестерций, то он надеялся, что во всяком случае сумеет значительную часть этих денег сохранить для себя.

Они некоторое время настаивали, но, когда он решительно отказал, покорились. Тогда Кварт сказал:

— Я знаю пекаря Дема, господин, у которого на мельнице работают рабы и наемники. Один из этих наемников так силен, что стоит не двоих даже, а четырех людей, потому что я видел собственными глазами, как он поднял камень, который четыре человека не могли сдвинуть с места.

— Если это человек богобоязненный и способный сделать что-нибудь для братьев, то познакомь меня с ним, — сказал Хилон.

— Он христианин, — ответил Кварт, — на мельнице по большей части работают христиане. Есть там рабочие дневные и ночные, он — ночной. Если мы пойдем туда сейчас, то придем к их ужину, и ты, господин, свободно мог бы побеседовать с ним. Дем живет около Эмпориума.

Хилон охотно согласился. Эмпориум находился у подошвы Авентинского холма, недалеко от Большого цирка. Можно было пройти туда, не поднимаясь на гору, по берегу реки, через портик Эмилия, что

значительно сокращало путь.

— Стар я, — сказал Хилон, когда они вошли под колоннаду, — иногда плохо работает память. Да! Ведь наш Христос был предан одним из своих учеников. Но имени изменника я не могу сейчас вспомнить...

— Иуда, господин, который потом повесился, — ответил Кварт, немного удивленный, как можно забыть это имя...

— Ах, да! Иуда! Благодарю, — сказал Хилон.

Некоторое время шли молча. Дойдя до Эмпориума, склады которого были уже запорты, они миновали хлебные склады, из которых выдавался хлеб народу, свернули налево и, пройдя улицу, остановились перед постройкой, из которой доносился стук жерновов. Кварт вошел внутрь, а Хилон, не любивший показываться перед большим числом людей и вечно опасавшийся, что судьба может столкнуть его с Главком, остался снаружи.

«Что это за Геракл, который служит у мельника? — думал Хилон, глядя на светлый месяц, — если негодяй и человек умный, он мне будет немного стоить; если же добродетельный христианин, да к тому же дурак, он сделает даром все, чего я от него ни потребую».

Дальнейшие размышления прервал Кварт, который вышел из дома с другим человеком, одетым в одну тунику, скроенную так, что правая рука и половина груди оставались обнаженными. Такую одежду, совершенно не стеснявшую свободу движений, носили обычно рабочие. Взглянув на пришедшего, Хилон остался очень доволен, потому что в жизни не видел такой руки и такой груди.

— Вот он, господин, — сказал Кварт, — брат, которого ты хотел видеть.

— Да будет мир Христов с тобою, — отозвался Хилон, — а ты, Кварт, скажи брату, стою ли я доверия и уважения, а потом возвращайся домой во имя Божье, потому что ты не должен оставлять в одиночестве своего старого отца.

— Это святой человек, — сказал Кварт, — который отдал все, что у него было, чтобы выкупить меня из рабства, — меня, которого он не знал совсем. Пусть ему Господь наш и Спаситель уготовит за это награду в небе!

Исполин-рабочий, услышав это, склонился и поцеловал руку Хилона.

— Как тебя зовут, брат? — спросил грек.

— На святом крещении, отец, мне дано имя Урбан.

— Урбан, брат мой, есть ли у тебя время поговорить со мной?

— Работа наша начинается в полночь, теперь же нам готовят ужин.

— Времени достаточно, пойдем на реку, там ты выслушаешь меня.

Пошли и сели на каменной набережной, в тишине, нарушаемой лишь

отдаленным стуком жерновов и плеском текущей внизу воды. Там Хилон внимательно всмотрелся в лицо рабочего, которое, несмотря на грозное и суровое выражение, свойственное лицам варваров, живущих в Риме, показалось, однако, ему искренним и добрым.

«Да! — сказал он себе. — Это человек добрый и глупый, он даром убьет Главка».

И он спросил:

— Урбан, любишь ли ты Христа?

— Люблю от всей души, — ответил рабочий.

— Тогда да будет мир с тобою.

— И с тобою, отец.

Вдали грохотали жернова, внизу плескалась река.

Хилон всматривался в тихое сияние месяца и тихим, сдавленным голосом рассказывал о смерти Христа. Говорил он словно не Урбану, а самому себе, размышляя об этой смерти, или же поверял сонному городу великую ее тайну.

Было в этом что-то необыкновенно трогательное и вместе с тем торжественное. Рабочий плакал, а когда Хилон стал стонать и горевать над тем, что в минуту смерти Спасителя не было никого, кто бы защитил его если не от распятия, то хоть от оскорблений солдат и евреев, огромные кулаки варвара стали сжиматься от горя и бешенства. Самая смерть его растрогала, но при мысли о толпе, которая издевалась над распятым на кресте Агнцем, душа простеца возмутилась и его охватила дикая жажда мести.

Хилон вдруг спросил:

— Урбан, знаешь ли ты, кто был Иуда?

— Знаю, знаю! Но ведь он повесился! — воскликнул рабочий.

И в его голосе слышалось словно сожаление, что предатель сам определил меру своей кары и не может попасть в его руки. Хилон продолжал:

— А если бы он не повесился и если бы кто-нибудь из христиан встретил его на суше или на море, — неужели он не должен был бы отомстить предателю за муку, кровь и смерть Спасителя?

— Кто бы мог не отомстить, отец?

— Мир тебе, верный слуга Агнца. Да! Можно прощать свои обиды, но кто вправе простить обиду, причиненную Богу? Но как змея родит змею, как злоба порождает злобу, а измена — измену, так из яда Иуды родился другой предатель, и как тот предал евреям и римским воинам Спасителя, так этот, живущий среди нас, хочет выдать волкам овечек Христовых, и

если никто не помешает предательству, если никто вовремя не сотрет главу змея, всех нас ждет гибель, а с нами вместе погибнет и честь Агнца.

Великан смотрел на Хилона с огромным волнением, словно не отдавал себе отчета в том, что слышал, а грек, покрыв голову краем плаща, говорил голосом, как бы раздающимся из-под земли:

— Горе вам, слуги истинного Бога, горе вам, христиане и христианки!

Наступило молчание, снова слышался шум жерновов, глухое пение работников и плеск речных струй.

— Отец, — спросил наконец рабочий, — кто этот предатель?

Хилон опустил голову.

— Кто предатель? Сын Иуды, сын его яда, который притворяется христианином и ходит в дома молитвы лишь для того, чтобы обвинять братьев перед цезарем, будто они не хотят признавать цезаря богом, будто они отравляют колодцы, убивают детей и хотят уничтожить город, чтобы не осталось от него камня на камне. Через несколько дней преторианцам будет приказано схватить старцев, женщин и детей и предать их мучительной казни, как было поступлено с рабами Педания Секунда. И все сделал этот второй Иуда. Но если никто не покарал первого Иуду, никто не отомстил ему, если никто не защитил Христа в годину муки, то кто захочет покарать этого, кто раздавит змея, прежде чем его выслушает цезарь, кто защитит от гибели братьев и веру Христову?

Урбан, сидевший до сих пор на камнях, встал и сказал:

— Я это сделаю, отец!

Хилон также встал, посмотрел на лицо великана, освещенное сиянием луны, потом протянул руку и медленно опустил ее на голову склонившегося Урбана.

— Пойди к христианам, — говорил он торжественным голосом, — пойди в дома молитвы и спрашивай у братьев о Главке, лекаре, и когда его покажут тебе, то во имя Христа убей его!

— Главк? — повторил рабочий, желая укрепить в памяти это имя.

— Знаешь ли ты его?

— Нет, не знаю. Христиан в Риме тысячи, и не все знают друг друга. Но завтра в Остриануме соберутся братья и сестры, все до одного, потому что прибыл великий апостол Христов, который будет поучать, — там братья покажут мне Главка.

— В Остриануме? — переспросил Хилон. — Но ведь это за городскими стенами! Братья и все сестры? Ночью? За воротами в Остриануме?

— Да, отец. Там наше кладбище, между Саларийской дорогой и

Номентанской. Разве тебе неизвестно, что там будет учить великий апостол?

— Я не был два дня дома, а потому и не получил от него письма; не знаю, где Острианум, так как недавно прибыл сюда из Коринфа, там я управляю христианской общиной... Да будет! И если Христос вразумил тебя, то пойдя ночью в Острианум, найди там среди братии Главка и убей его на обратном пути в город, за что тебе простятся все твои грехи. А теперь да будет мир с тобою...

— Отец...

— Я слушаю тебя, слуга Агнца.

Лицо рабочего выражало озабоченность. Вот недавно он убил человека, а может быть, и двух, тогда как учение Христа запрещает убивать. Он убил их не в целях самозащиты, хотя и это запрещено! Не убил их и ради выгоды — храни от этого Христос!.. Епископ дал ему братьев на помощь, но запретил убивать, он же невольно убил, потому что Бог наказал его великой силой... И теперь он несет тяжкое покаяние... Другие поют за работой, а он, несчастный, думает о своем грехе, о том, что оскорбил Агнца! И до сих пор он не искупил еще своей вины... А теперь снова обещал убить предателя... И хорошо! Свои только обиды нужно прощать, поэтому он убьет его хотя бы на глазах у всех братьев и сестер, которые завтра соберутся на молитву. Но пусть Главка прежде судят старшие братья, или епископ, или апостол. Убить нетрудно, убить предателя даже приятно, как волка или медведя, но если Главк будет убит безвинно? Как брат на свою совесть новое убийство, новый грех, новое оскорбление Агнца?

— Для суда нет времени, мой сын, — ответил Хилон, — предатель прямо из Острианума поедет к цезарю в Анциум или укроется в доме одного патриция, у которого служит. Но вот тебе знак, который ты можешь показать после убийства Главка епископу или апостолу, и те благословят тебя и твой поступок.

Сказав это, он достал монету, поискал за поясом нож и, начертив острием на сестерции знак креста, подал ее рабочему.

— Вот приговор Главка и знак для тебя. Когда после убийства покажешь его епископу, он простит тебе и то убийство, которое ты совершил невольно.

Великан протянул руку за монетой, но, слишком хорошо помня первое убийство, он испытывал нечто вроде страха.

— Отец, — сказал он с мольбою, — берешь ли ты на свою совесть этот поступок, и сам ли ты слышал, что Главк предает братьев?

Хилон понял, что нужны доказательства, нужно назвать несколько

имен, иначе в сердце великана может закрасться подозрение. И вдруг счастливая мысль блеснула в его голове.

— Послушай, Урбан, — сказал он, — я живу в Коринфе, но родом я из Коса и здесь, в Риме, учу Христовой вере одну мою землячку, имя которой — Евника. Она служит в доме друга цезаря, некоего Петрония. И вот в его доме я сам слышал, как Главк взялся выдать христиан, кроме того, он обещал другому приближенному цезаря, Виницию, что отыщет среди христиан девицу...

Он умолк и с удивлением смотрел на великана, глаза которого вдруг засверкали, как глаза зверя, а лицо приняло выражение дикого бешеного гнева.

— Что с тобой? — спросил он почти со страхом.

— Ничего, отец. Завтра я убью Главка!..

Грек замолчал; потом, взяв рабочего за руку, он повернул его к свету, так что сияние месяца падало прямо на лицо великана, и стал внимательно смотреть на него. По-видимому, Хилон колебался, спрашивать ли его больше и выяснить все или же на этот раз удовольствоваться тем, что успел узнать и о чем догадался.

Однако присущая его характеру осторожность взяла вверх. Он глубоко вздохнул раз и другой, потом, положив руку на голову рабочего, спросил торжественным голосом:

— Ведь на святом крещении тебе дано имя Урбан?

— Да, отец.

— Так иди с миром, Урбан!

## XVIII

Петроний Виницию:

«Плохо тебе, *carissime!* По-видимому, Венера смутила твою душу, отняла разум, память и дар мысли о чем-либо ином, кроме любви. Перечти когда-нибудь то, что ты написал в ответ на мое письмо, и ты увидишь, что душа твоя стала равнодушной ко всему, что не есть Лигия: ею лишь ты занят, к ней все время возвращаешься, кружишь над ней, словно ястреб над своей жертвой. Клянусь Поллуксом, ты должен скорее найти ее! Иначе, если пламя любви не обратит тебя в пепел, ты станешь египетским сфинксом, который, влюбившись в бледную Изиду, ко всему, говорят, стал глух и равнодушен и ждет лишь ночи, чтобы смотреть на свою возлюбленную каменными глазами.

Броди по вечерам переодетый по городу, посещай со своим философом молитвенные дома христиан. Все, что дает надежду и убивает время, достойно похвалы. Но ради дружбы со мной сделай одну вещь: так как Урс, слуга Лигии, по-видимому, человек необыкновенной силы, то найми Кротона, и втроем отправляйтесь на поиски. Так будет безопаснее и умнее. Христиане, коль скоро к числу их принадлежат Помпония Грецина и Лигия, по-видимому, не такие уж негодяи, за каких принимают их, — однако похищением Лигии доказали, что, когда дело касается овечки из их стада, они умеют не шутить. Когда ты увидишь Лигию, знаю, что не сможешь удержаться и тотчас захочешь увести ее с собой, — но как ты сделаешь это с одним Хилоном? А Кротон справится и с десятком таких, как Урс, защитников Лигии. Не давай Хилону обманывать себя, но на Кротона денег не жалея. Из советов, какие могу дать тебе, это — лучший.

Здесь перестали говорить о маленькой августе и о том, что она умерла от колдовства. Вспоминает о ней иногда Поппея, но ум цезаря теперь занят другим; впрочем, если верно, что божественная августа снова в интересном положении, то и в ней память о том ребенке скоро развеется без следа. Теперь мы недалеко от Неаполя — в Байях. Если бы ты способен был



интересоваться чем-нибудь, то эхо нашего пребывания здесь дошло бы, конечно, до твоего слуха, потому что, наверное, Рим не говорит теперь ни о чем другом, кроме этого. Мы приехали в Байи, где прежде всего нас обступили воспоминания о матери и укоры совести. И знаешь, до чего дошел Меднобородый? Даже убийство матери для него лишь тема для стихов и повод разыграть шутовские трагические сцены. Прежде он действительно испытывал муки совести, постольку, конечно, поскольку он трус. Теперь, убедившись, что мир существует так же, как существовал раньше, и никакой бог не мстит ему, он притворяется, чтобы люди были тронуты его судьбой. Иногда он вскакивает по ночам, уверяя, что его преследуют фурии, будит всех нас, принимает позы актера, играющего роль Ореста, и плохого актера к тому же, декламирует греческие стихи и смотрит, любимы ли мы им. А мы действительно любимы, и вместо того, чтобы сказать: «Иди спать, комедиант!» — настраиваем себя в тон трагедии и защищаем великого артиста от фурии. Клянусь Кастором, что до тебя дошла уже весть о его решении выступить публично в Неаполе. Согнали всю греческую чернь из Неаполя и окрестностей, которая наполнила театр таким невыносимым запахом чеснока и пота, что я благодарил богов за то, что не пришлось сидеть в первых рядах, а быть с Меднобородым за сценой. И поверишь ли, он боялся! Боялся действительно! Хватал мою руку, прижимал к сердцу, которое в самом деле громко стучало. Учащенное дыхание, а когда нужно было выходить на сцену, бледность и капли пота на лбу! Он знал, что повсюду на местах сидят вооруженные палками преторианцы, которые должны были в нужное время поддержать энтузиазм. Нужды в них не оказалось. Стадо обезьян из окрестностей Карфагена не сумело бы так ужасно выть, как выла эта грязная толпа. Я уверяю тебя, что запах чеснока долетал до сцены, а Нерон раскланивался, прижимал руку к сердцу, посылал воздушные поцелуи и плакал. Потом выбежал к нам за сцену, словно пьяный, с воплем: «Что все мои триумфы в сравнении с этим триумфом!» А толпа выла, и рукоплескала чернь, зная, что рукоплещет милостям, подаркам, лотерейным билетам и новым выступлениям цезаря-шута! Я даже не удивляюсь, что они рукоплескали, потому что до сих пор ничего подобного не случалось видеть. А он твердил каждую минуту: «Вот каковы

греки! Вот каковы греки!» И мне кажется, что в эти минуты его ненависть к Риму усилилась еще больше. В Рим были посланы нарочные с известием о триумфе, и на этих днях мы надеемся получить благодарность сената. Тотчас после выступления цезаря произошел здесь странный случай. Театр рухнул, когда зрители уже покинули его. Я был на месте катастрофы и не видел ни одного извлеченного из-под развалин трупа. Многие даже среди греков считают это гневом богов за унижение царской власти, цезарь, наоборот, утверждает, что это милость богов, которые, очевидно, покровительствуют ему и его слушателям. Благодарственные жертвоприношения совершены были во всех храмах, а для него это лишний повод ехать в Ахайю. Несколько дней тому назад он признался мне, что боится, как отнесется к этому римский народ и не поднимет ли возмущения из любви к своему цезарю и из опасения, что долгое отсутствие цезаря отдалит срок раздачи хлеба и игр.

Едем все-таки в Беневент посмотреть, на что дерзнет изобретательность сапожника — Ватиния, оттуда, под божественным покровительством братьев Елены, — в Грецию. Что касается меня, то я сделал одно наблюдение: когда человек живет с сумасшедшими, он сам становится безумным и, главное, находит наслаждение в своем безумии. Греция, тысячи кифар, триумфальное шествие Вакха среди увенчанных плющом и диким виноградом нимф и вакханок, колесницы, запряженные тиграми, цветы, тирсы, клики «эвое!», музыка, поэзия и классическая Эллада — все это прекрасно, но мы здесь лелеем еще более смелые замыслы. Нам хочется создать какую-то сказочную восточную империю, царство пальм, солнца, поэзии, действительности, претворенной в сон, и жизни, ставшей наслаждением. Мы хотим забыть Рим, а центр мира утвердить где-то между Грецией, Азией и Египтом, жить жизнью не людей, а богов, не знать, что такое повседневность, плавать на золоченых галерах под пурпуровыми парусами по Архипелагу, быть Аполлоном, Озирисом и Ваалом одновременно, розоветь с утренней зарей, золотиться с солнцем, серебриться с луной, властвовать, петь, грезить... И согласишься ли, я, у которого есть еще на сестерцию ума и на асс вкуса, поддаюсь этим фантазиям, и поддаюсь потому, что если они невозможны, то по крайней мере велики и необычны... Такая сказочная империя была бы

чем-то, что через много веков показалось бы людям волшебным сном, грезой. Поскольку Венера не воплотит себя в такой Лигии или хотя бы в рабыне Евнике, поскольку искусство не приукрасит жизни, — сама жизнь ничтожна и часто имеет лик обезьяны. Меднобородый не сумеет воплотить своих грез хотя бы потому, что в сказочном царстве поэзии и Востока не должны иметь места предательство, подлость и убийство. А в нем под маской поэта сидит скверный актер, глупый наездник и мелкий тиран. И вот пока мы душим людей, которые нам почему-либо мешают. Бедняга Таркват Силан уже стал тенью. Он вскрыл себе вены несколько дней тому назад. Леканий и Лициний со страхом приняли звание консулов, старый Тразей не избежит смерти, потому что смеет быть честным. Тигеллин до сих пор не может добиться указа, чтобы я вскрыл себе вены. Я пока еще нужен не только как *elegantiae arbiter*, но и как человек, без советов и вкуса которого поездка в Ахайю могла бы провалиться. Я не раз думал, что раньше или позже так должно кончиться, и знаешь ли, что для меня было бы в таком случае очень важно: чтобы Меднобородому не досталась моя смиренская чаша, которую ты знаешь и ценишь. Если в час моей смерти ты будешь со мной, я отдам ее тебе, если далеко — разобью. Теперь нам предстоит сапожнический Беневент, олимпийская Греция и Судьба, которая готовит каждому неведомую и нежданную долю. Будь здоров и найми Кротона, иначе у тебя снова отобьют Лигию. Хилонида, когда он будет не нужен, пришли ко мне, где бы я ни был. Может быть, сделаю из него второго Ватиния — и консулы, и сенаторы, может быть, будут дрожать перед ним, как дрожат перед патрицием Дратвой. Стоило бы посмотреть подобное зрелище! Когда найдешь Лигию, дай мне знать, чтобы я мог принести в жертву двух белых голубей и двух лебедей в здешнем круглом храме Венеры. Я видел как-то во сне Лигию, которая сидела на твоих коленях и искала твоих поцелуев. Постарайся, чтобы сон был пророческим. Пусть на твоем небе не будет облаков, а если и будут, то пусть они имеют цвет и запах розы. Будь здоров и прощай!»

## XIX

Когда Винипий кончил читать письмо, в библиотеку неожиданно проскользнул неоповещенный Хилон, потому что слугам было приказано пропускать его без доклада во всякое время дня и ночи.

— Пусть божественная мать твоего великодушного предка Энея, — сказал он, — будет милостива к тебе, господин, как был милостив ко мне божественный сын Майи.

— В чем дело?.. — спросил Виниций, вскакивая с кресла, на котором сидел. Хилон закинул голову вверх и сказал:

— Эврика!

Молодой патриций был так взволнован, что долго не мог сказать ни слова.

— Ты видел ее? — спросил он наконец.

— Я видел Урса, господин, и я говорил с ним.

— И ты знаешь, где они скрываются?

— Нет, господин. Другой на моем месте из самолюбия дал бы понять лигийцу, что угадал, кто он такой, иной старался бы выпытать, где он живет, и, наверное, получил бы в ответ либо удар кулаком — после чего все мирские дела стали бы ему безразличны, либо возбудил подозрение великана, и для девицы поискали бы той же ночью какого-нибудь еще более скрытого убежища. Я поступил не так, господин. С меня достаточно знать, что Урс работает у мельника Дема близ хлебных складов, потому что теперь любой из твоих верных рабов может утром пойти за ним и открыть их тайное убежище. Я приношу тебе, господин, уверенность, что если Урс здесь, то и божественная Лигия в Риме, а кроме того, известие, что сегодня ночью она, наверное, будет в Остриануме...

— В Остриануме? Где же это?

— Старые катакомбы между Саларийской и Номентанской дорогами. Верховный жрец христиан, о котором я уже говорил тебе, господин, и которого ожидали значительно позже, приехал и сегодня ночью будет крестить и поучать на этом кладбище. Они скрывают свое учение, потому что, хотя и нет эдиктов, запрещающих его, население их ненавидит, и потому они должны быть осторожны. Сам Урс говорил мне, что все без исключения христиане соберутся сегодня в Остриануме, потому что каждый хочет видеть и слышать того, кто был первым учеником Христа и которого они зовут Его посланником. Так как у них и женщины и мужчины

вместе слушают поучение, то из женщин не будет, пожалуй, одна лишь Помпония, потому что ей нечем было бы оправдаться перед Авлом, который придерживается старых римских обычаев, требующих, чтобы женщина не покидала ночью своего дома. Но Лигия, которая находится на попечении Урса и старейшин общины, пойдет, конечно, вместе с другими женщинами.

Виниций, который жил в последнее время лихорадочной надеждой, теперь, когда надежда, казалось, осуществилась, почувствовал вдруг такую слабость, какую чувствует человек после чрезмерно тяжелого путешествия у самой почти цели. Хилон заметил и решил воспользоваться этим.

— У ворот стоят твои люди, господин, и христиане знают об этом. Но им и не нужны ворота. Они пройдут по берегу Тибра, и, хотя это значительно дальше, желание видеть великого апостола заставит их сделать лишний кусок дороги. У них тысячи способов проникнуть за стены. В Остриануме ты, господин, найдешь Лигию, если же, паче чаяния, она не придет, то, наверное, будет Урс, потому что он обещал мне убить там Главка. Он сам сказал мне, что совершит это, — слышишь ли, благородный трибун? И вот ты пойдешь за ним следом и узнаешь, где живет Лигия, или же велишь схватить его своим людям, как убийцу, и вынудишь у него признание, где скрыл он Лигию. Я свое сделал. Другой на моем месте сказал бы тебе, господин, что выпил с Урсом десять бочонков лучшего вина, прежде чем выведал у него тайну; иной уверял бы, что проиграл ему тысячу сестерций в кости или же купил у него это известие за две тысячи сестерций... Знаю, что ты вернул бы мне это вдвойне, но, несмотря на все это, раз в жизни... я хотел сказать, как всегда в жизни, я буду честным, так как верю, что, по словам великодушного Петрония, все мои расходы и надежды твоя щедрость превзойдет во сто крат.

Виниций, который был солдатом, привык не только принимать быстрые решения, но и действовать, тотчас овладел собой, поборол минутную слабость и сказал:

— Ты не ошибешься в моей щедрости, но прежде пойдешь со мной в Острианум.

— Я? Пойду туда? — Хилон не имел ни малейшей охоты идти с Виницием. — Я обещал тебе, благородный трибун, указать, где находится Лигия, но не брался похищать ее... Подумай, господин, что со мной будет, если этот лигийский медведь, убив Главка, догадается наконец, что убил его напрасно? Не сочтет ли он меня (совершенно, впрочем, неправильно) виновником совершенного преступления? Помни, господин, что чем больше человек философ, тем труднее ему отвечать на глупые вопросы

простаков. Что же сказал бы я ему, если бы он спросил меня, зачем я оклеветал Главка? Однако если ты думаешь, что я обманываю тебя, то вот что я скажу: заплати мне лишь тогда, когда я укажу тебе дом, в котором живет Лигия, а сегодня дай мне небольшую часть от твоей щедрости, чтобы в случае (от чего да хранят тебя боги!), если с тобой произойдет что-нибудь, я не остался бы совсем без награды. Сердце твое никогда не было бы спокойно в таком случае.

Виниций подошел к ящику, стоящему на мраморном пьедестале, называемому «агеа», и, достав оттуда кошелек, швырнул его Хилону.

— Это скрупулы, — сказал он, — когда же Лигия будет у меня в доме, ты получишь такой же, наполненный денариями.

— О Юпитер! — завопил Хилон.

Но Виниций сдвинул брови.

— Ты получишь здесь пищу, после чего можешь отдохнуть. До вечера отсюда не выйдешь; когда наступит ночь, ты поведешь меня в катакомбы.

На лице Хилона некоторое время написан был страх и колебание, потом он успокоился немного и сказал:

— Кто может противиться тебе, господин! Прими слова эти как доброе предсказание, как принял их наш великий герой в храме Аммона. А меня эти скрупулы (он помахал кошельком) несколько утешили, не говоря уж о том, что придется провести время в твоём обществе, которое для меня является источником счастья и радости...

Виниций прервал его с нетерпением и стал расспрашивать о подробностях разговора с Урсом. Для него стало ясно: или сегодня ночью будет наконец открыто местопребывание Лигии, или же ее самое можно будет захватить на обратной дороге из Острианума. При мысли об этом Виниция охватывала безумная радость. Теперь, когда он был почти уверен, что найдет Лигию, гнев против нее, который жил в его душе, исчез. За эту радость он готов был простить всю ее вину. Думал лишь о ней одной, как о дорогом и желанном существе, и у него было такое чувство, что она возвращается после долгого путешествия. Ему хотелось призвать рабов и велеть им убрать дом зеленью. В эту минуту он не сердился даже на Урса. Готов был все всем простить. Хилон, к которому, несмотря на его услуги, чувствовал до сих пор отвращение, впервые показался ему человеком забавным и непохожим на других. Дом стал уютнее, у Виниция просветлели глаза, прояснилось лицо. Снова почувствовал он молодость и радость жизни. Мрачное страдание мешало ему осознать, как велика любовь его к Лигии. Он понял это лишь теперь, когда явилась надежда найти ее. Просыпалась любовь к ней, как просыпается земля весной,

пригретая солнцем, но теперь страсть его была менее слепой и дикой, а потому радостной и нежной. Он чувствовал в себе безграничную энергию, он был убежден, что стоит увидеть Лигию собственными глазами, и тогда ее не отнимут больше у него все христиане всего мира и даже сам цезарь.

Хилон, к которому вернулась смелость при виде радости Виниция, снова заговорил и стал давать советы. По его мнению, дело еще не следовало считать выигранным и нужно соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не погубить и того, что было сделано. Он умолял Виниция не похищать Лигии в Остриануме. Они должны отправиться туда с капюшонами на головах, с закрытыми лицами и удовольствоваться осторожным наблюдением из какого-нибудь темного угла. Когда увидят Лигию, самое лучшее издали следовать за ней, посмотреть, в какой дом войдет она, и лишь на другой день утром явиться с большим числом рабов, окружить дом и взять ее. Так как она — заложница и, собственно говоря, принадлежит цезарю, то можно сделать это без нарушения закона. В случае, если они не увидят ее в Остриануме, то они пойдут за Урсом и результат будет тот же. В катакомбы явиться с большим числом рабов невозможно, потому что они легко могли бы обратить на себя внимание, и тогда христианам стоило лишь погасить светильники, как они и сделали при похищении Лигии, чтобы все успели попрятаться в темноте и одним из известных скрытых тайников. Теперь им нужно вооружиться, а еще лучше — взять с собой двух верных и сильных рабов, чтобы они в случае нужды могли оказать помощь и защиту.

Виниций вполне согласился с мнением Хилона и, вспомнив также совет Петрония, велел своим рабам разыскать и привести к нему борца Кротона. Услышав имя известного всему Риму атлета, Хилон значительно успокоился; он не раз удивлялся силе его в цирке и теперь решительно заявил, что идет с Виницием в Острианум. Кошелек, наполненный золотыми денариями, казался ему гораздо более достижимым при помощи Кротона.

В хорошем настроении он сел за стол, когда заведующий атриумом раб пригласил его к трапезе и за едой рассказывал рабам и слугам Виниция, какую волшебную мазь доставляет он их господину; достаточно помазать ею копыта самых плохих лошадей, чтобы они тотчас оставили далеко за собой всех других во время состязания. Приготовлять эту мазь научил его один христианин, потому что старейшины христиан гораздо более сведущи в волшебстве и колдовстве, чем, например, фессалийцы, а ведь Фессалия славится своими колдуньями. Христиане очень уважают его, а почему уважают, об этом догадается каждый, кто знает, что такое рыба.

Разговаривая таким образом, он внимательно всматривался в лица рабов, в надежде открыть среди них христианина и донести об этом Виницию. Когда из этого ничего не вышло, он стал необыкновенно жадно есть и пить, не жалея похвал повару и уверяя, что постарается купить его у Виниция. Его веселое настроение смущалось немного при мысли, что ночью придется идти в катакомбы, но он утешал себя тем, что он будет переодет, в темноте и в обществе двух людей, из которых один в качестве силача считается божком в Риме, другой — патриций и военный трибун. «Если даже Виниция и узнают, — думал он, — то не посмеют поднять на него руку, а что касается меня, то они будут мудрецами, если увидят хоть кончик моего носа».

Потом он стал вспоминать разговор с великаном, и это воспоминание наполнило душу его бодростью. Он не сомневался, что великан-рабочий был Урс. Из рассказа Виниция и тех, которые сопровождали Лигию из дворца цезаря, он знал о необыкновенной силе этого человека. Так как Хилон просил Еврикия назвать ему самых сильных людей, то нет ничего удивительного, что тот указал именно на Урса. Волнение и гнев великана при упоминании Виниция и Лигии не оставляли сомнений, что эти люди особенно интересуют его; великан говорил о том, что убил человека — Урс действительно убил Атакина; наконец, наружность рабочего совершенно совпадала с тем, как описал Виниций лигийца. Одно лишь измененное имя могло возбуждать сомнение, но Хилон знал, что христиане часто при крещении принимают новое имя.

— Если Урс убьет Главка, — говорил себе Хилон, — будет хорошо, если же нет, то и это хороший знак, потому что покажет, как трудно христианам решиться на убийство. Ведь я представил Главка как родного сына Иуды и предателя христиан; я был так красноречив, что камень мог бы растрогаться и пасть на голову Главка, а этот лигийский медведь едва дал себя уговорить опустить на него свою лапу... Колебался, не хотел, говорил о жалости и своем покаянии. По-видимому, у них это не принято... Свои обиды нужно прощать, а за чужие не очень-то можно мстить, — значит, Хилон, подумай об этом! — Что может угрожать тебе? Главк не может тебе мстить... Урс, если он не убьет Главка за столь большое преступление, как предательство всех христиан, тем более не убьет тебя за столь малое, как предательство по отношению к одному христианину... Впрочем, как только я покажу влюбленному господину гнездо пташки, — умою руки и переберусь обратно в Неаполь. Христиане также говорят о каком-то умывании рук; по-видимому, это способ, когда имеешь с ними какое-нибудь дело, кончить это дело. Какие славные люди эти христиане, и



как дурно о них говорят! О боги! Вот какая справедливость существует в мире! Я люблю это учение за то, что оно не позволяет убивать. Но если запрещает убивать, то, наверное, запрещает и красть, обманывать, лжесвидетельствовать, поэтому не скажу, чтобы оно было легким. По-видимому, оно учит не только честно умирать, чему учат и стоики, но и честно жить. Если я когда-нибудь стану богатым и буду иметь дом, как этот, и столько рабов, может быть, и сделаюсь христианином на такое время, какое мне будет на руку. Потому что человек богатый многое может позволить себе, даже добродетель... Да! Это религия для богатых, и я не понимаю, каким образом среди них столько бедняков. Что они получают от этого и зачем дают добродетели связывать им руки? Я должен когда-нибудь подумать об этом. А пока благодарю тебя, Гермес, что помог ты мне встретить этого барсука... Если ты сделал это ради двух баранов, однолеток с золочеными рогами, то я не узнаю тебя. Стыдись, убийца Арго! Такой умный бог, как ты, и заранее не догадался, что ничего не получишь! Я приношу тебе в жертву свою благодарность, а если ты предпочитаешь ей двух животных, то сам ты третье, и в лучшем случае ты пастух, а не бог! Берегись также, чтобы я в качестве философа не доказал, что тебя нет, потому что тогда все перестали бы приносить тебе жертвы. С философами лучше не ссориться.

Разговаривая так с собой и с Гермесом, он растянулся на скамье, положил себе под голову плащ и, когда рабы унесли все со стола, заснул. Проснулся он, вернее, его разбудили, когда пришел Кротон. Тогда он пошел в атриум и с удовольствием стал рассматривать могучую фигуру атлета, бывшего гладиатора, который, казалось, наполнил собой весь атриум. Кротон уже договорился с Виницием о цене и теперь говорил:

— Клянусь Геркулесом, это прекрасно, что ты пригласил меня сегодня, потому что завтра я еду в Беневент, куда вызвал меня благородный Ватиний, чтобы я боролся в присутствии цезаря с Сифаксом, самым сильным негром, какого породила Африка. Представляешь ли ты себе, господин, как его позвонок хрустнет в моих объятиях, но кроме того, я кулаком размозжу его черный череп.

— Клянусь Поллуксом, — сказал Виниций, — я уверен, что ты сделаешь это.

— И прекрасно сделаешь, Кротон, — прибавил грек. — Да! Кроме этого, размозжи и череп! Это великолепная мысль и достойный тебя подвиг. Я готов биться об заклад, что ты сломаешь ему и челюсть. Но теперь, мой Геркулес, ты намажь себя все-таки маслом и перепояшься, потому что придется иметь дело с подлинным Какусом. Человек, на

попечении которого находится девушка, нужная благородному Виницию, обладает исключительной силой.

Хилон говорил так, чтобы разжечь в Кротоне хвастливость, но Виниций сказал:

— Да, это правда; я не видел, но говорят, что, схватив за рога быка, он может вести его, куда захочет.

— Ой! — воскликнул Хилон, который не знал, что лигиец так силен.

Кротон презрительно улыбнулся.

— Я берусь, достойный господин, — сказал он, — вот этой рукой схватить каждого, кого ты мне укажешь, а этой — отбиться от семи таких лигийцев и принести девушку к тебе в дом, хотя бы все римские христиане гнались за мной, как калабрийские волки. Если не выполню этого, то вели меня избить плетью у этого водомета.

— Не позволяй ему этого, господин! — воскликнул Хилон. — Начнут в нас бросать камнями, — тогда что может помочь его сила? Не лучше ли захватить девушку в доме, не подвергая ни ее, ни себя опасности?

— Так и будет, Кротон! — сказал Виниций.

— Твои деньги — твоя и воля! Но помни, господин, что завтра еду в Беневент.

— У меня пятьсот рабов в городе, — ответил Виниций.

Он сделал знак, чтобы они вышли, пошел в библиотеку и, сев за стол, написал Петронию следующее:

«Хилон нашел Лигию. Сегодня вечером отправлюсь с ним и с Кротоном в Острианум и захвачу ее сегодня или завтра утром. Да будут боги милостивы к тебе. Будь здоров, *carissime*, радость не позволяет мне писать больше».

Положив тростник, он стал быстро ходить по комнате, потому что кроме радости, которая наполняла душу, его трясла лихорадка. Он говорил себе, что завтра Лигия будет у него в этом доме. Он не знал, как поступит с нею, но чувствовал, что если она захочет любить его, то он будет ее рабом. Вспомнил уверения Актеи, что он был любим, и растрогался до глубины души. Значит, дело лишь за преодолением какой-то девичьей стыдливости, каких-то обещаний, которых, по-видимому, требует христианское учение. Если так, то Лигия, очутившись в его доме и поддавшись уговорам или силе, должна будет сказать себе: «Свершилось» — и тогда станет покорной и любящей.

Приход Хилона прервал его сладкие размышления.

— Господин, вот что пришло мне сейчас в голову: а ну как христиане имеют какие-нибудь условные знаки, без которых никто не будет допущен

в Острианум? Знаю, что так бывает в домах молитвы, и такой знак я получил однажды от Еврикия; позволь мне пойти к нему, хорошенько расспросить его и получить знак, если он необходим.

— Прекрасно, благородный мудрец, — весело ответил Виниций, — ты говоришь, как человек предусмотрительный, и тебя надлежит за это похвалить. Сходи к Еврикию или куда найдешь нужным, но для верности оставь на этом столе тот кошелек, который ты получил от меня.

Хилон, всегда неохотно расстававшийся с деньгами, поморщился, однако повиновался и ушел. До цирка было недалеко, поэтому он скоро вернулся из лавочки Еврикия.

— Вот знаки, господин. Без них нас не пустили бы. Я хорошо расспросил про дорогу, кроме того, сказал Еврикию, что знаки нужны для моих друзей, сам же я не пойду, слишком далеко это для меня, старика, кроме того, завтра увижусь с великим апостолом, который повторит мне лучшие отрывки из своей проповеди.

— Как не будешь? Ты должен идти! — сказал Виниций.

— Знаю, что должен, но пойду под капюшоном и вам советую сделать то же, иначе можем спугнуть птичку.

Стали собираться в путь, потому что наступил вечер. Взяли галльские плащи с капюшонами, взяли фонарики; кроме того, Виниций вооружился сам и дал товарищам короткие кривые ножи. Хилон надел парик, который добыл где-то по дороге от Еврикия, и они вышли, причем торопились поскорее дойти до далеких Номентанских ворот, пока их не запрут на ночь.

Они шли вдоль Виминала к старым Виминальским воротам, около плоскогорья, на котором впоследствии Диоклетиан построил роскошные бани. Они миновали развалины стен Сервия Туллия и по пустынным местам прошли к Номентанской дороге, откуда, свернув налево, пошли к Сахарийской дороге, среди холмов, где было много песчаных ям и кое-где кладбища. Стало совсем темно, луна еще не восходила, и трудно было бы найти дорогу, если бы ее не указывали, как и предвидел Хилон, сами христиане. Направо, налево и впереди виднелись темные фигуры, поспешавшие к песчаным ямам. Некоторые из них несли фонарики, прикрывая их, насколько возможно, плащами, иные, лучше знавшие дорогу, шли в темноте. Зоркие солдатские глаза Виниция сразу по движениям отличали молодых мужчин от старцев, тащившихся, опираясь на палки, и от женщин, закутанных в длинные столы. Редкие прохожие и окрестные жители, уезжающие из города, принимали их, по-видимому, за рабочих, спешивших в аренарии,<sup>[40]</sup> или за похоронные братства, члены которых устраивали иногда ночные бдения на кладбищах. По мере того как молодой патриций и его спутники подвигались вперед, вокруг было все больше и больше фонариков и увеличивалось число людей. Некоторые из них тихими голосами пели какие-то песни, показавшиеся Виницию очень печальными. Иногда ухо его ловило отдельные слова и выражения вроде: «Восстань, спящий» или «Воскрес из мертвых», причем имя Христа повторяли уста и женщин и мужчин. Но Виниций мало обращал внимания на слова, потому что ему казалось, что среди этих темных фигур должна быть и его Лигия. Некоторые, проходя близко, говорили: «Мир вам» или «Слава Христу», и Виницием овладевала тревога, сердце билось чаще, ему казалось, что он слышит голос Лигии. Подобные фигуры и движения проходивших все время обманывали его в темноте, и лишь после того, как несколько раз убедился в своей ошибке, он перестал доверять глазам.

Дорога показалась ему очень длинной. Он хорошо знал окрестные места, но в темноте ничего не было видно. Каждую минуту перед ними возникали какие-то узкие проходы, части развалившейся стены, какие-то постройки, которых он не помнил. Наконец из-за нагроможденных облаков показался край луны и осветил местность лучше, чем то делали тусклые фонари. Что-то вдали засветилось, словно пламя факела или небольшого костра. Виниций наклонился к Хилону и спросил, не это ли Острианум.

— Не знаю, господин, — ответил Хилон. И ночной мрак, и удаленность места, и эти фигуры, похожие на привидения, — все это, по видимому, производило на него удручающее впечатление. В голосе его звучала неуверенность. — Не знаю, я никогда там не был. Но славить своего Христа они могли бы и где-нибудь поближе к городу.

Чувствуя потребность в разговоре, с целью несколько ободрить себя, он, помолчав, сказал:

— Собираются, как убийцы, а ведь им запрещено убивать; но, может быть, меня этот негодный лигиец обманул?

Виниций, мысли которого все время были заняты Лигией, также удивился таинственности и осторожности, с какой ее единоверцы собираются на поучение их самого большого священника. Поэтому он сказал:

— Как все религии, и эта имеет среди нас своих сторонников. Но христиане — еврейская секта. Зачем же они собираются здесь, раз за Тибром стоят большие еврейские храмы, в которых евреи приносят жертвы среди белого дня?

— Нет, господин. Евреи — их заклятые враги. Мне говорили, что в правление предыдущего цезаря между христианами и евреями едва не вспыхнула война. Цезарю Клавдию так наскучили их раздоры, что он выгнал всех евреев, но теперь этот эдикт отменен. Христиане прячутся от евреев и от населения, которое, как известно, приписывает им всевозможные преступления и ненавидит их.

Некоторое время шли молча, потом Хилон, страх которого возрастал по мере удаления от городских ворот, сказал:

— Возвращаясь от Еврикия, я взял у одного цирюльника парик, а в нос себе я запихал две горошины. Меня не должны узнать. Но если и узнают, то не убьют. Это не плохие люди! Это даже честные люди, которых я люблю и ценю.

— Не пытайся задобрить их слишком рано своими похвалами, — ответил Виниций.

Они вошли в узкий проход между двух высоких насыпей, над которыми в одном месте проходил водопровод. Луна между тем вышла из-за облаков, и в конце оврага они увидели стену, увитую серебрящимся под луной густым плющом.

Это и был Острианум.

У Виниция сильно стучало сердце.

У ворот два человека отбирали знаки. Виниций и его спутники очутились в довольно просторном месте, окруженном со всех сторон

стеной. Кое-где стояли могильные памятники, в середине виднелся собственно гипогей, или крипта, род пещеры, уходившей под землю, где и находились могилы; у входа в катакомбы шумел водомет. Было очевидно, что столь большое количество пришедших не поместилось бы в самом гипогее, поэтому Виниций сразу догадался, что обряд будет происходить под открытым небом, во дворе, на котором вскоре и собралась очень большая толпа верующих. Куда ни устремлялся глаз, всюду светились фонари, хотя много народа пришло сюда без огня. За исключением нескольких голов, которые обнажились, все из опасения предателей или холода остались в капюшонах, и молодой патриций с тревогой подумал, что если так будет все время, то он не в состоянии увидеть Лигию.

Вдруг у входа в крипту вспыхнуло несколько факелов, которые были сложены в небольшой костер. Стало светлее. Толпа начала петь, сначала тихо, потом громче, какой-то странный гимн. Никогда Виниций не слышал подобного пения. Та же печаль, которая поразила его в песнях, вполголоса напеваемых отдельными людьми по дороге на кладбище, была теперь и в этом гимне, но выражалась она гораздо сильнее и определеннее; в конце она стала такой великой и могучей, словно печаль людей слилась с печалью этого мрачного места, холмов, оврага и всей окрестности. Казалось, в ней был какой-то призыв к ночи, покорная мольба о спасении среди бездорожья и мрака. Лица, поднятые горе, казалось, видели кого-то там, на высотах, а руки были простерты, словно просили кого-то сойти на землю. Когда песнь стихла, то наступило какое-то ожидание, столь волнующее, что Виниций и его спутники невольно смотрели на небо, словно ожидая чего-то необыкновенного: что кто-нибудь действительно мог сойти к ним на землю. В Египте, в Малой Азии, в самом Риме Виниций видел множество разных храмов, узнал много религий и слышал много песен, но здесь впервые перед ним были люди, призывавшие божество песнью не потому, что хотели выполнить лишь обряд, а от глубины сердца, в глубокой любви к своему Богу, какую могут иметь дети к отцу или матери. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что эти люди не только почитали своего Бога, но и любили Его от всей души, и этого Виниций не наблюдал нигде до сих пор, ни в храмах Рима, ни в святынях Востока. В Риме и в Греции почитавшие богов делали это ради того, чтобы получить помощь, или из страха, и никому не приходило в голову, что богов можно любить.

Хотя мысли его были заняты Лигией, а внимание — отыскиванием ее среди громадной толпы, он не мог не видеть тех странных и необычных вещей, которые происходили вокруг. Но вот в костер было брошено еще несколько факелов, красный свет залил кладбище, и в эту минуту из

гипогея<sup>[41]</sup> вышел старик, одетый в плащ с капюшоном, не закрывавшим, однако, головы. Он встал на камень, лежавший близко от костра.

Толпа заволновалась при виде старца. Виниций услышал поблизости шепот: «Петр! Петр!..» Некоторые встали на колени и протягивали к нему руки. Наступила такая тишина, что слышался треск угольев в костре, отдаленный стук колес по Номентанской дороге и шум ветра в пиниях, растущих около кладбища.

Хилон наклонился к Виницию и шепнул:

— Вот он — первый ученик Христа, рыбак!

Старец поднял руку и благословил знаком креста собравшихся, которые теперь все опустили на колени. Виниций с товарищами, чтобы не выдать себя, последовали примеру других. Молодой человек не мог разобраться в своих впечатлениях; ему казалось, что человек, стоявший на камне, — и очень прост, и в то же время необыкновенен, и главное, необыкновенность его вытекает из простоты. На голове старика не было митры, не было дубового венца на челе, не было ни пальмы в руке, ни золотой таблицы на груди, не было ни белых одежд, ни усеянной звездами ризы — словом, ничего, что отличало жрецов Востока, египтян, греков или римских фламинов. Виниция снова поразила эта печальная простота, как и в пении христиан. Этот «рыбак» совсем не был похож на верховного жреца, опытного в обрядах, — он казался достойным веры, простым, искренним свидетелем, который пришел издалека, чтобы поведать людям какую-то правду, которую он видел воочию, которой касался, в которую уверовал, как верят в действительность, и полюбил именно потому, что уверовал. В лице его была такая сила убеждения, какой обладает сама истина. И хотя Виниций был скептик и не хотел поддаваться этому обаянию старца, он все же поддался какому-то лихорадочному любопытству услышать, что скажет товарищ таинственного Христа и в чем заключается учение, исповедуемое Лигией и Помпонией Грециной.

Петр начал говорить. Сначала он говорил, как отец, который наставляет детей и учит, как им следует жить. Он советовал отречься от роскоши и богатства и любить нищету, истину, чистоту нравов, терпеть обиды и преследования, слушать старших и повиноваться властям, беречь себя от измены, суесловия, оговоров и давать пример правильной жизни не только друг другу, но и язычникам. Виниций, для которого добром было лишь то, что возвращало ему Лигию, а злом все, что вставало между ними как препятствие, задела и раздражили некоторые из этих советов; ему казалось, что, наказывая чистоту и борьбу со страстями, старец этим не только дерзает осудить его любовь, но и восстанавливает Лигию против него

и укрепляет ее в упорстве. Он понимал, что если она находится здесь и слышит эти слова, то, принимая их к сердцу, она в настоящую минуту должна думать о Виниций, как о враге этого учения и человеке злом. При этой мысли он почувствовал злобу: «Что нового узнал я? — говорил он в душе. — Так вот оно, новое учение! Каждый слышал это, каждый знает. Нищету и малые потребности советуют и циники, добродетели учил Сократ, как вещи старой, но доброй; любой стоик, хотя бы Сенека, у которого пятьсот столов лимонного дерева, советует умеренность, говорит о правде, терпении в бедах, стойкости в несчастьях, — и все это как старый хлеб, который едят мыши, но не хотят есть люди, потому что он испортился от времени!» И наряду с гневом Виниций почувствовал разочарование, он ждал каких-то волшебных, неведомых таинств, думал, что услышит замечательного своим красноречием риторы, — и вот пришлось ему теперь услышать такие простые, лишенные пышной красоты слова. Его удивляли тишина и глубокое внимание, с каким слушала старика толпа. А старик продолжал говорить этим людям о том, что они должны быть добрыми, тихими, справедливыми, нищими и чистыми не для того, чтобы вести спокойную жизнь здесь, на земле, но чтобы после смерти вечно жить с Христом, в великой радости, великой славе, каких никто не имел на земле. И здесь Виниций, хотя и был только что настроен враждебно к словам старца, не мог не признать, что есть разница между этим учением и доктриной стоиков, циников и других философов, потому что те проповедывали добро, как нечто разумное и полезное в жизни, а старец обещал за добро на земле бессмертие, к тому же не жалкое бессмертие под землей, скучное, пустое, — а великолепное, равное жизни богов. Он говорил о нем как о чем-то несомненном, поэтому добродетель приобретала необыкновенно большое значение, горести жизни казались чем-то ничтожным, — потому что временно страдать ради великого счастья — это совсем не похоже на страдание, которое является лишь законом природы. Старец говорил дальше, что добродетель и правду следует любить ради их самих, потому что высшим вечным благом и высшей добродетелью является Бог, — кто их любит, любит Бога и через это становится его возлюбленным сыном. Виниций не совсем понимал это, но он знал раньше, из слов Помпонию Грецины к Петронию, что Бог, по мнению христиан, един и всемогущ, поэтому, услышав теперь, что он есть также высшее добро и высшая истина, он невольно подумал, что в сравнении с таким Демиургом Юпитер, Сатурн, Аполлон, Юнона, Веста и Венера — какая-то жалкая крикливая шайка, в которой каждый заботится лишь о себе и своей выгоде. Великое изумление охватило юношу, когда



старец стал поучать, что Бог является также и высшей любовью, поэтому кто любит людей, тот исполняет первую заповедь Божью. И недостаточно любить лишь своих соплеменников, ибо Богочеловек пролил кровь за всех людей и даже среди язычников нашел таких избранных, как Корнелий-центурион; недостаточно любить лишь тех, кто творит нам добро, ибо Христос простил евреям, которые предали Его на смерть, и римским воинам, которые распяли Его, — поэтому нужно не только прощать причинившим нам злое, но любить их и платить добром за зло; недостаточно любить добрых, нужно любить и злых, ибо любовью лишь возможно устранить зло. При этих словах Хилон подумал про себя, что его работа пропала и Урс ни за что не решится убить Главка ни в сегодняшнюю ночь, ни в какую-либо другую. Но его тотчас утешила мысль, что и Главк не убьет его, хотя бы и узнал при встрече. Виниций не думал теперь, что в словах старца нет ничего нового; он с изумлением спрашивал себя: что это за Бог? Что это за учение? Что это за народ? Все услышанное не умещалось в его голове. Новый мир понятий раскрылся перед ним. Он чувствовал, что, прими он это учение, и пришлось бы отказаться от своего мышления, привычек, характера, всей своей природы, все это сжечь на костре, исполниться новой жизнью и совсем новой душой. Учение, велевшее любить парфян, сирийцев, греков, египтян, галлов, британцев, прощать врагам, платить им добром за зло, любить их, показалось ему безумным; и в то же время казалось, что в самом безумии есть что-то более могущественное, чем во всех философских системах старого мира. Он думал, что учение это неприменимо к жизни, а потому является божественным. Он отвергал его и чувствовал, что оно исполнено благоухания, как луг, покрытый цветами, и кто раз вздохнул этот аромат, должен забыть обо всем другом и всю жизнь тосковать по нему. Не было в нем ничего реального, и вместе с тем реальность в сравнении с ним кажется чем-то жалким, на чем не стоит останавливать мысли. Его окружали какие-то неизмеримые пространства, какие-то громады, какие-то тучи, кладбище это казалось убежищем безумцев, но вместе с тем и таинственным и страшным местом, где словно на мистическом ложе рождается нечто, чего до сих пор не было в мире. Он представил себе ясно, что говорил старец о жизни, истине, любви, Боге, — и мысли его ослепли от блеска, как слепнут глаза от непрерывно сверкающих молний. Как всегда у людей, для которых жизнь обратилась в одну страсть, он думал о всем этом применительно к своей любви, и при блеске молний он ясно понял одно: если Лигия присутствует на этом собрании, если она исповедует это учение, слушает и понимает старца, она никогда не будет

его любовницей. В первый раз он почувствовал, что, если даже отыщет ее, все же она для него потеряна. Ничего подобного не приходило ему в голову до сих пор, да и теперь он не мог себе объяснить этого, потому что не была это определенная мысль, а какое-то смутное чувство невозвратной утраты и несчастья. Его тревога тотчас сменилась гневом против христиан вообще, и особенно против старика. Этот рыбак, которого он считал по первому впечатлению за простеца, внушал теперь Веницию страх, казался таинственным роком, решающим неумолимо и трагически судьбу трибуна.

В костер было брошено еще несколько факелов, ветер перестал шуметь в пиниях, пламя возносилось легко вверх, тонким острием, к искрящимся в чистом небе звездам, а старец, вспомнив о смерти Христа, говорил теперь только о Нем. Все затаили дыхание, и наступила такая тишина, что почти можно было слышать биение сердец. Этот человек видел и рассказывал теперь, и каждое мгновение запечатлелось в его памяти так сильно, что, закрыв глаза, он, казалось, продолжал созерцать действительность. Он рассказывал, как, вернувшись с Голгофы, они просидели с Иоанном два дня без сна и пищи, убитые печалью, тревогой, страхом, сомнениями, размышляя о том, что Он умер. О, как тяжело было, как тяжело! Наступил день третий, и день осветил стены, а они вдвоем с Иоанном сидели у стены без совета и надежды. Клонило ко сну (потому что они не спали и в ту памятную ночь), но они снова начинали плакать и горевать. Когда взошло солнце, прибежала Мария из Магдалы, задыхаясь, с распущенными волосами, и крикнула им: «Взяли Учителя!» Услышав, они вскочили и побежали к гробу. Молодой Иоанн прибежал первым, но боялся войти. И лишь когда их было трое у входа, он, рассказывающий, вошел внутрь и увидел на камне пелены, но тела не нашел.

Тогда страх охватил их, думали, что Христа похитили священники, и вернулись они домой в еще большем горе. Потом пришли другие ученики, и все стали плакать, то вместе, то порознь, чтобы услышал их Господь Саваоф. Они надеялись, что Учитель спасет Израиля, но вот третий день как Он умер, и они не понимали, почему Отец покинул Сына, и готовы были не видеть дневного света и умереть, — так велико было их горе.

Воспоминание об этих страшных минутах вызвало слезы на глазах старца, и видно было при свете костра, как они текли по седой бороде. Старая, лишенная волос голова тряслась, и голос замер в груди. Вениций подумал: «Этот человек говорит правду и плачет искренне!» Люди с простым сердцем также рыдали. Не раз слышали они о муке Христа и знали, что великая радость наступит после страданий, но так как рассказывал апостол, который видел все сам, то окружающие рыдали, били

себя в грудь, заламывали руки.

Понемногу успокоились, потому что желание слушать дальнейший рассказ превозмогло. Старец закрыл глаза, словно хотел лучше увидеть давние дни, и продолжал:

— Когда мы так плакали, снова вбежала к нам Мария, говоря, что видела Господа. В ярком солнечном свете она не разглядела Его, думала — садовник, а Он сказал: «Мария!» Тогда она воскликнула: «Раббони!» — и упала к Его ногам, а он велел ей идти к ученикам и исчез. Они, ученики, не поверили ей, и когда она плакала от радости, иные осуждали ее, иные думали, что горе лишило ее рассудка, потому что она говорила еще, что видела ангелов в гробнице, они же, прибежав туда во второй раз, нашли гробницу пустой. Вечером пришел Клеофас, ходивший с товарищем в Эммаус, они прибежали, говоря: «Воистину воскрес Господь!» Они спорили у дверей, запертых от страха перед евреями. И вдруг Он встал среди них, хотя не скрипнула дверь, а когда они испугались, сказал: «Мир вам!»

...

И я видел Его, как видели все, и был Он светом и радостью сердец наших, ибо уверовали мы, что воистину воскрес Господь и что моря высохнут, горы обратятся в прах, а слава Его не минет.

...

А через восемь дней Фома Дидим вложил персты в язвы Его и касался ребер его, а потом упал к ногам и воскликнул: «Господи мой, Боже мой!» И сказал Учитель: «Ты увидел Меня и уверовал. Благословенны, которые не видели и уверовали». И слова эти мы слышали, и глаза наши видели Его, ибо Он был среди нас.

Виниций слушал, и в душе его происходило что-то странное. Он на минуту забыл, где он, стал терять ощущение действительности и способность рассуждать. Не мог поверить словам старика, но чувствовал, что нужно быть слепым и глупым, чтобы допустить ложь со стороны человека, который говорил: «Я видел». Было в его волнении, в слезах, во всей его фигуре и в подробностях события, о котором он рассказывал, что-то, делавшее совершенно невозможным какое-либо сомнение. Виницию казалось, что он видит сон. Но вокруг была затихшая толпа; копоть ламп в фонарях долетала до его ноздрей; вдали пылал костер, а рядом человек, стоявший на камне, с трясущейся головой свидетельствовал, повторяя: «Я видел».

Старик продолжал рассказ. Иногда он останавливался, отдыхал, потому что говорил с многими подробностями, и чувствовалось, что

каждая подробность глубоко врезалась в его память. Слушателей охватил восторг. Они сбросили капюшоны, чтобы лучше слышать и не пропустить ни слова. Казалось, какая-то сверхчеловеческая сила перенесла их в Галилею, что они бродят вместе с учениками по тамошним полям и у вод, что кладбище превратилось в озеро, на берегу которого в утреннем тумане стоит Христос, как некогда стоял Он и увидел Его Иоанн с лодки, а Петр бросился вплавь, чтобы поскорее припасть к ногам Господа. На лицах отразился восторг, забвение жизни, бесконечная радость, великая любовь. По-видимому во время долгого рассказа у многих были видения. Когда Петр стал говорить, как в час вознесения облака собрались к стопам Спасителя и понемногу закрывали его от взоров апостолов, головы слушателей невольно поднялись кверху, и настала минута ожидания, словно у этих людей была надежда увидеть Его, словно они верили, что сойдет он с высот небесных, чтобы посмотреть, как старый апостол пасет порученных ему овец, и благословить его и его стадо.

Для этих людей не было теперь Рима, не было безумного цезаря, не было капищ, богов, язычников, был только один Христос, который наполнил землю, море, небо, мир.

В далеких жилищах по Номентанской дороге стали петь петухи, знаменуя полночь. И в эту минуту Хилон потянул Виниция за плащ и прошептал:

— Господин, там, около старца, я вижу Урбана, а рядом какую-то девицу.

Виниций вздрогнул, словно пробудившись от сна, и, повернувшись в сторону, указанную греком, увидел Лигию.

Кровь закипела в молодом патриции при виде девушки. Он забыл о толпе, о старце, о своем изумлении от столь непонятных вещей, какие слышал здесь, и видел только одну ее. Наконец, после стольких усилий, после многих дней тревоги, мучений, страданий — он увидел ее! Первый раз в жизни он почувствовал, что радость может как дикий зверь броситься на грудь, смять ее, лишит дыхания. Он, думавший до сих пор, что Фортуна обязана выполнять все его желания, теперь едва верил своим глазам и своему счастью. Если бы не это, порывистая натура толкнула бы его на какой-нибудь неосторожный шаг, — он хотел раньше убедиться, не продолжение ли это чудес, которыми наполнена была его голова от рассказа старика, и не грезит ли он. Но сомнений не было: он видел Лигию, их разделяло несколько десятков шагов. Она была освещена, и он мог наслаждаться созерцанием ее. Капюшон откинулся с ее головы, волосы разметались, рот был полуоткрыт, глаза устремлены на апостола, лицо восторженно. Она была одета в плащ из темной шерсти, как девушка из народа, однако Виниций никогда не видел ее столь красивой, и, несмотря на волнение, овладевшее им, его поразили контраст простой рабской одежды и благородной головы патрицианки. Любовь восхитила его, как пламя, — великая любовь, исполненная странного чувства печали, поклонения, уважения и желаний. Он чувствовал упоение от одного того, что видит ее, он упивался видом ее, как живительной влагой после долгой жажды. Стоя около великана-лигийца, она выглядела меньше, чем раньше, почти девочкой; Виниций заметил, что она похудела. Лицо было почти прозрачно, она казалась одухотворенным цветком. И тем более он жаждал владеть ею, столь непохожей на других женщин, каких он встречал на Востоке и в Риме. Он чувствовал, что готов за нее отдать всех их, а с ними вместе и Рим и весь мир.

Он смотрел бы без конца, забыв обо всем, если бы не Хилон, который снова дергал его за край плаща, боясь, что Виниций не сдержит своего волнения и выдаст себя чем-нибудь. Христиане стали молиться и петь. Потом великий апостол стал крестить у фонтана тех, кого подводили к нему пресвитеры в качестве подготовленных к принятию крещения. Виницию казалось, что эта ночь бесконечна. Теперь он хотел идти вслед за Лигией и схватить ее по дороге или в ее жилище.

Некоторые стали уходить; Хилон шепнул Виницию:

— Выйдем, господин, потому что мы не сняли капюшонов и люди смотрят на нас.

Действительно, когда многие опустили капюшоны, чтобы лучше слышать апостола, они не сделали этого. Хилон был прав. Стоя у ворот, они могли наблюдать за всеми выходящими, и Урса легко можно было узнать по его росту.

— Пойдем за ними, — сказал Хилон, — увидим, куда они войдут, а завтра, вернее, сегодня же утром, ты окружишь дом и займешь все выходы из дома своими людьми и возьмешь ее.

— Нет! — сказал Виниций.

— Что ты хочешь сделать, господин?

— Войдем за ней в дом и схватим ее тотчас же: ведь ты взялся за это, Кротон?

— Да, — ответил борец, — и я пойду в рабство к тебе, если не сломаю шею буйволу, который сторожит ее.

Хилон убеждал не делать этого и заклинал их всеми богами. Ведь Кротон был взят ради охраны, на случай, если их узнают, а не для похищения девушки. Вдвоем они подвергают себя опасности и, главное, могут упустить ее; тогда она скроется в другом месте или покинет Рим совсем. Зачем не действовать наверняка, зачем подвергать себя ненужной опасности, зачем рисковать успехом всего предприятия?

Несмотря на то что Виницию стоило больших усилий не броситься на Лигию на самом кладбище, он чувствовал, что грек прав, и, может быть, последовал бы его совету, если бы не Кротон, которому важно было получить награду.

— Господин, вели замолчать этой старой сове, — сказал он, — или позволь мне опустить кулак на его голову. Однажды на меня напало семь пьяных гладиаторов — ни один не ушел с целыми ребрами. Я не говорю, что девушку можно схватить сейчас в этой толпе, потому что они могут бросать камни, но, когда они войдут в дом, я схвачу ее и отнесу, куда прикажете.

Виниций рад был слышать это и сказал:

— Клянусь Геркулесом, так и будет! Завтра мы можем случайно не застать ее в доме...

— Лигиец мне кажется страшно сильным! — застонал Хилон.

— Да ведь не тебе велят держать его за руки, — ответил Кротон.

Ждать пришлось довольно долго, петухи стали петать на рассвете, когда они увидели выходящего из ворот Урса, а с ним Лигию. Их сопровождало несколько человек. Хилону показалось, что среди них он узнал великого

апостола, рядом с которым шел другой старик, значительно ниже ростом, две старые женщины и мальчик с фонарем в руках. За ними шла толпа человек в двести. Виниций, Хилон и Кротон смешались с этой толпой.

— Да, господин, — шепнул Хилон, — твоя девица находится под сильной защитой. С ней идет он, великий апостол, потому что, посмотри, как склоняют перед ним колени идущие впереди.

Действительно, люди склонялись, пропуская мимо старца, но Виниций не смотрел на них. Не упуская ни на минуту из глаз Лигии, он думал лишь о похищении. Привыкнув на войне ко всякого рода хитростям, он теперь обдумывал с солдатской точностью весь план похищения. Понимал, что шаг, на который он решался, безумно смел, но он хорошо знал, что такие шаги обыкновенно ведут к удаче.

Путь был продолжителен, поэтому он возвращался мысленно к той пропасти, которая раскрылась между ним и Лигией, к разделявшему их учению, которое она исповедовала. Теперь он понял все, что произошло, и понял также, почему произошло. Для этого он был достаточно проницателен. До сих пор он не знал Лигии. Видел в ней чудесную девушку, к которой обращены были все его чувства, а теперь он понял, что учение сделало ее совсем непохожей на других женщин, и надежда привлечь ее страстью, богатством, наслаждениями — тщетна. Он понял, наконец, то, чего они с Петронием не понимали раньше, что эта новая религия прививала душе нечто неизвестное миру, в котором они жили, и что Лигия, даже если бы любила его, не поступит ради него ни одной из своих христианских истин; если для нее существует наслаждение, то оно совсем непохоже на то, за каким гонится он, Петроний, двор цезаря, весь Рим. Всякая другая женщина могла стать его любовницей, эта христианка могла быть лишь его жертвой.

Думая так, он испытывал боль и гнев, но чувствовал, что гнев его бессилен. Похищение Лигии казалось возможным, он был уверен в удаче, но он был равно уверен и в том, что он сам, его храбрость, его сила — ничто в сравнении с этим учением и с этим он ничего не может сделать. Римлянин, военный трибун, уверенный, что сила десницы и меча всегда будет владеть миром, впервые увидел, что есть и еще какая-то другая сила, и с изумлением спрашивал себя: что это такое?

Он не умел ответить себе на этот вопрос. Вспоминалось кладбище, огромная толпа, Лигия, всей душой внимавшая старцу, рассказ о муке, смерти и воскресении Богочеловека, который искупил мир и обещал блаженство по другую сторону Стикса.

И эти мысли хаотически мешались в его голове.

Вывел его из задумчивости Хилон, который стал жаловаться на свою судьбу: его пригласили, чтобы найти Лигию, он искал ее, подвергая жизнь опасности, и нашел. Чего же еще хотят от него? Разве он брался похищать ее и кто может требовать этого от калеки, лишенного двух пальцев, человека старого, преданного размышлениям, науке и добродетели? Что будет, если такой достойный господин, как Виниций, потерпит неожиданное поражение при похищении этой девицы? Боги должны, конечно, бодрствовать над достойными людьми, но разве не случаются неожиданные вещи, когда боги заняты игрой в кости, вместо того чтобы следить за делами смертных? Фортуна имеет, как известно, повязку на глазах, она слепа даже днем, что же и говорить о ночи! Случись что-нибудь, брось этот лигийский медведь жерновом в благородного Виниция, бочкой вина или, что еще хуже, воды, — и разве бедному Хилону достанется обещанная награда? Он, нищий мудрец, привязался к благородному Виницию, как Аристотель к Александру Великому, и если бы по крайней мере благородный трибун отдал ему кошелек, который при нем засунул себе за пояс, выходя из дому, было бы чем, в случае несчастья, заплатить за немедленную помощь или подкупить христиан. О! Почему не хотят послушать советов старика, которые диктует благоразумие и опыт? Виниций, услышав это, достал кошелек и бросил его Хилону.

— Возьми и молчи!

Грек почувствовал, что кошелек очень тяжелый, и несколько ободрился.

— Вся моя надежда держится на том, что Тезей или Геркулес совершали еще более трудные подвиги, а кто такой мой личный близкий друг Кротон, как не Геркулес? Тебя, достойный господин, я не называю полубогом, потому что ты целый бог, но ты и впредь не забудешь своего хотя и нищего, но верного слугу, который нуждается в тщательном уходе, ибо, углубившись в книги, он забывает обо всем в мире... Небольшой садик и дом с небольшим портиком для тени летом был бы вполне достойным даром для такого щедрого господина. Я буду издали следить за вашими подвигами, удивляться им, призывать на помощь Юпитера, а в случае нужды подниму такой крик, что пол-Рима сбежится вам на помощь... Какая трудная и неровная дорога! Масло выгорело в моем фонаре, и если бы Кротон, столь же благородный, сколь и сильный, захотел взять меня на руки и донести до ворот, я, во-первых, убедился бы окончательно в том, что он может унести на руках девицу, а во-вторых, он поступил бы как Эней и привлек бы себе благодарность и помощь всех богов до такой степени, что за успех нашего предприятия я был бы вполне



спокоен.

— Я предпочел бы нести дохлую овцу, околевшую больше месяца тому назад при дороге, — ответил атлет, — но если ты отдашь мне кошелек, который бросил тебе достойный трибун, я, пожалуй, донесу тебя до ворот.

— Ах, чтобы сломался большой палец на твоей ноге! — воскликнул грек. — Так-то ты усвоил поучение почтенного старца, который провозгласил нищету и любовь главными добродетелями?.. Разве не велел он тебе определенно любить меня и жалеть? Вижу, что никогда не сделаю из тебя даже плохого христианина и что легче солнцу проникнуть сквозь стены Мамертинской тюрьмы, чем истине в твой череп гиппопотама.

Кротон, кроме своей звериной силы не обладавший никакими человеческими чувствами, сказал:

— Не бойся! Христианином не сделаюсь! Я не хочу терять куска хлеба.

— Да, но если бы у тебя были хотя бы начальные сведения из философии, ты знал бы, что золото — суета.

— Ты проходи со своей философией, а я дам тебе один лишь удар головой в живот, и мы посмотрим, кто из нас будет прав.

— Это же мог сказать Аристотелю бык, — ответил Хилон.

Рассвело. Заря окрасила бледным румянцем городские стены. Придорожные деревья, строения и разбросанные повсюду могильные памятники стали показываться из мрака. Дорога не была теперь совершенно пустой. Торговцы зеленью спешили в город, ведя ослов и мулов, нагруженных овощами; скрипели телеги, на которых везли мясо и дичь. По обеим сторонам дороги висел легкий утренний туман, обещавший хороший день. Люди издали казались в этом тумане духами. Виниций всматривался в стройную фигуру Лигии, которая, по мере того как светало, становилась все более серебристой.

— Господин, — обратился Хилон к Виницию, — я оскорбил бы тебя, если бы сказал, что есть предел твоей щедрости, но теперь, когда ты заплатил мне, ты не можешь сказать, что мной руководит одна лишь корысть. И вот, я советую тебе еще раз, узнав, где живет божественная Лигия, вернуться домой за рабами и лектикой и не слушать этого слонового хобота, Кротона, который потому лишь хочет один схватить Лигию, чтобы выжать твою кошину, как мешок с творогом.

— Ты получишь от меня удар кулаком меж лопаток, что равно твоей гибели, — сказал Кротон.

— Ты получишь от меня бочонок кефалонского вина, что равно моему

спасению, — ответил Хилон.

Виниций ничего не ответил, потому что они подходили к городским воротам. И здесь они увидели странное зрелище. Два римских солдата опустили на колени, когда проходил апостол, а он, положив им на железные шлемы свои руки и подержав недолго, благословил потом склонившихся знаком креста. Молодому патрицию никогда до сих пор не приходило в голову, что и между солдатами могут быть христиане. И он с удивлением подумал, что подобно охватывающему новые дома пожару в городе это учение воспламеняет все новые и новые души и распространяется с невероятной силой. Поразило его и то, что если бы Лигия хотела бежать из города, то нашлись бы солдаты, которые облегчили бы ее бегство. И он благодарил богов за то, что этого не случилось.

Пройдя незастроенные кварталы, толпа христиан стала расходиться в разные стороны. Теперь приходилось издали следить за Лигией, чтобы не обратить на себя внимания. Хилон жаловался на раны на ногах и усталость и все больше и больше отставал, чему Виниций не противился, полагая, что трусливый и слабый грек теперь им не нужен. Он отпустил бы его даже совсем; но честного мудреца удерживала осторожность и толкало вперед любопытство, поэтому он шел все время за ними, иногда даже шел рядом, повторяя свои советы, и даже строил догадки, что спутник апостола, если бы не его слишком низкий рост, мог бы быть Главком.

Так шли они долго, перешли Тибр, и солнце всходило, когда люди, шедшие с Лигией, разделились. Апостол, старая женщина и мальчик пошли вдоль реки дальше, а низкий старик, Урс и Лигия свернули в узкую улицу и, пройдя шагов сто, вошли в ворота дома, где было две лавочки: в одной продавали оливки, в другой — птиц.

Хилон, шедший сзади, остановился как вкопанный и, прижавшись к стене, стал делать знаки, чтобы они вернулись.

Они подошли, чтобы окончательно сговориться.

— Пойди, — сказал Виниций, — и посмотри, не выходит ли этот дом на другую улицу.

Хилон, несмотря на то что жаловался только что на израненные ноги, побежал так быстро, словно у его ступней были крылышки Меркурия, и тотчас вернулся.

— Нет, — сказал он, — дом имеет один лишь вход.

Потом сложил руки:

— Заклинаю тебя, господин, Юпитером, Аполлоном, Вестой, Кибелой, Изидой и Озирисом, Митрой, Ваалом и всеми богами Востока и Запада, умоляю отказаться от своего намерения... Выслушай меня...

Он замолчал, увидев, что лицо Виниция побледнело от волнения, а глаза сверкали, как у волка. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, что никакая сила в мире не удержит его теперь. Кротон глубоко вдохнул в свою исполинскую грудь воздух, повернул свой каменный череп направо и налево, как делают медведи, запертые в клетку. На лице его не было ни малейшего страха...

— Я войду первый, — сказал он.

— Ты пойдешь за мной, — решительно заявил Виниций. И оба исчезли в воротах.

Хилон отбежал к ближайшему переулку и стал выглядывать из-за угла, ожидая, что произойдет.

Виниций, войдя во двор, понял всю трудность предприятия. Дом был большой, в несколько этажей, каких множество строили в Риме из-за тесноты города, причем строились они на скорую руку и так плохо, что каждый год несколько таких домов рушилось на головы живущих. Это были ульи, высокие и узкие, с множеством каморок и закоулков, в которых гнездилась городская беднота. В городе много улиц не имело названия, дома не были пронумерованы, владельцы, поручая собирание платы своим рабам, часто не знали имен жильцов. Найти кого-нибудь в таком доме было очень трудно, почти невозможно, особенно если у ворот не было сторожа.

Через длинный коридор Виниций и Кротон прошли во внутренний, застроенный со всех сторон, дворик, образующий нечто вроде атриума, общего для всего дома, с фонтаном посередине, струя которого падала в большую каменную чашу. Со всех сторон по стенам вились наружные лестницы, частью каменные, частью деревянные, ведущие на галереи, с которых был вход в квартиры. Внизу также были квартиры, некоторые имели деревянные двери, прочие отделялись от двора шерстяными истрепанными занавесками.

Час был ранний, на дворе ни души. По-видимому, все еще спали в доме, за исключением вернувшихся из Острианума.

— Что же нам делать, господин? — спросил, остановившись, Кротон.

— Подождем здесь, может быть, кто-нибудь появится, — сказал Виниций, — не нужно, чтобы нас видели во дворе.

И он подумал, что Хилон был прав. Если бы в распоряжении Виниция было несколько десятков рабов, можно было бы закрыть ворота и устроить повальный обыск в доме, а теперь необходимо было проникнуть непосредственно в жилище Лигии, потому что христиане, которых в доме, по всей вероятности, живет много, могут предупредить, что ее ищут. Потому же опасно расспрашивать других жильцов. Виниций раздумывал, не пойти ли за рабами, как вдруг одна из занавесок раздвинулась, и из-за нее показался человек с плоской корзиной в руках. Он направился к фонтану.

Молодой человек сразу узнал Урса.

— Это лигиец! — шепнул Виниций.

— Должен ли я немедленно поломать ему кости?

— Подожди.

Урс не видел их — они стояли в тени коридора; он стал спокойно мыть в воде овощи, которыми наполнена была корзина. По-видимому, после ночи, проведенной на кладбище, он хотел теперь приготовить завтрак. Окончив свою работу, он взял корзинку и исчез за занавеской. Кротон и Виниций пошли за ним, думая попасть прямо в жилище Лигии.

Каково же было их удивление, когда они увидели, что занавеска отделяет от двора не квартиру, а длинный темный коридор, в конце которого виднелся садик, состоящий из нескольких кипарисов и миртовых кустов, и маленький домик, прилепившийся к задней стене соседнего дома.

Оба тотчас поняли, что это для них выгодно. На двор могли выскочить жильцы, а уединенность домика значительно облегчала задачу. Они быстро справятся с защитниками, собственно с одним Урсом, схватят Лигию и выскользнут в ворота на улицу, а там уж сумеют довести дело до конца. Вероятнее всего, их никто не остановит, а если кто и остановит, то они скажут, что дело идет о беглой заложнице цезаря, и в таком случае Виниций назовет свое имя и потребует помощи.

Урс входил в домик, когда шум шагов привлек его внимание; он остановился, увидев двух людей, положил корзину на балюстраду и спросил:

— Кого вы здесь ищете?

— Тебя! — ответил Виниций.

Потом, обернувшись к Кротону, он тихо сказал:

— Убей!

Как тигр бросился на лигийца Кротон и, прежде чем тот успел опомниться и узнать своих врагов, схватил его в свои железные объятия.

Виниций слишком был уверен в сверхчеловеческой силе атлета, чтобы ждать конца борьбы, поэтому он пробежал мимо них, к двери домика, толкнул ее и очутился в полутемной комнате, освещенной пылавшим очагом. И свет очага падал прямо на лицо Лигии. Вторым человеком, находившимся в комнате и сидевшим у огня, был тот старик, который шел с Урсом и Лигией с кладбища.

Виниций вбежал так быстро, что Лигия не успела узнать его, когда он схватил ее и, подняв, бросился обратно к двери. Старик пытался загородить ему дорогу, но Виниций, прижав девушку одной рукой к груди, оттолкнул его другой. Капюшон его откинулся назад, и при виде знакомого, но в эту минуту такого страшного лица Лигия помертвела от страха и голос замер в ее горле. Хотела звать на помощь — и не могла. Напрасно пыталась она схватиться за притолоку, чтобы этим оказать сопротивление. Пальцы ее скользнули по камню, и она готова была лишиться сознания, если бы не

страшная картина, которая представилась ее взору, когда Виниций выбежал с нею в садик.

Урс держал в руках какого-то человека, совершенно свесившегося назад с запрокинутой головой и с окровавленными губами. Увидев Лигию, он еще раз ударил человека кулаком по голове и с быстротой молнии, как разъяренный зверь, бросился на Виниция.

«Смерть!» — подумал молодой патриций.

Потом он слышал словно сквозь сон крик Лигии: «Не убивай!», потом почувствовал, как что-то обессилило вдруг его руки, которыми он держал девушку, земля зашаталась под ним, и дневной свет угас в его глазах.

Хилон, укрывшись за углом, ждал, что произойдет, и любопытство боролось в нем со страхом. Он думал: если Виницию удастся похитить Лигию, то хорошо быть около него. Урбана он не опасался, слишком уверенный в том, что Кротон убьет его. Он рассчитывал на то, что в случае возникновения шума и сопротивления христиан, которые попытаются ставить препятствия Виницию, он будет говорить с ними как представитель власти и исполнитель воли цезаря, и в таком случае Хилон позовет вигилей на помощь трибуну против уличной черни и тем заслужит себе новые блага. Он решил в душе, что поступок Виниция неразумен и может удалиться лишь в расчете на страшную силу Кротона. «Если им придется плохо, трибун сам понесет девушку, а Кротон проложит ему дорогу». Но время шло; его начинала беспокоить тишина в воротах, с которых он не спускал глаз.

— Если они не проникнут в ее жилье, а только натворят шуму, они спугнут девушку.

И мысль об этом не была неприятна ему, потому что он понимал, что в таком случае он снова будет нужен Виницию и снова сможет выжать у трибуна круглую сумму сестерций.

— Что бы они ни сделали, все будут делать для меня, хотя ни один об этом не догадывается... О боги, боги, дайте мне только...

Он умолк. Ему показалось, что кто-то выглянул из ворот. Прижавшись к стене, Хилон смотрел, затаив дыхание.

Он не ошибся, показалась чья-то голова, которая внимательно осмотрела улицу.

Потом исчезла.

«Это Виниций или Кротон, — думал грек, — но если они взяли девку, почему она не кричит и зачем они высматривают улицу? Ведь людей им все равно придется встретить, — прежде чем успеют дойти до дома, начнется уличное движение. Что это?! О бессмертные боги!..»

Редкие волосы на голове грека поднялись дыбом.

В воротах показался Урс с телом мертвого Кротона на руках и, оглядевшись по сторонам, поспешно устремился с ним по пустынной улице к реке.

Хилон прижался к стене и стал плоским, как штукатурка.

«Пропал, если он увидит меня!» — подумал грек.

Но Урс быстро пробежал мимо соглядатая и исчез за соседним домом, а Хилон, не ожидая больше, стуча зубами от ужаса, побежал по поперечной улице, с легкостью и быстротой, какой позавидовал бы юноша.

— Если, возвращаясь, он увидит меня издали, то догонит и убьет! Спаси меня, Зевс! Спаси, Аполлон! Спаси, Гермес! Спаси, Боже, христианский! Покину Рим, вернусь в Мезембрию, но спасите меня теперь от руки этого демона!

Лигиец, убивший Кротона, казался ему сейчас действительно нечеловеческим существом. Уж не бог ли это какой-нибудь, принявший вид варвара? В эту минуту Хилон верил во всех богов мира и во все мифы, над которыми обычно смеялся. Он думал также, что Кротона мог убить христианский Бог, и волосы поднялись на его голове при мысли, что он оскорбил его. Пробежав несколько улиц и переулков и увидев издали приближающихся навстречу рабочих, он немного успокоился. В груди сперло дыхание, поэтому он присел на пороге чьего-то дома и углом плаща стал вытирать потный лоб.

— Стар я, покой мне нужен, — сказал он.

Приблизившиеся люди свернули в какой-то боковой переулок, и снова стало пустынно. Город еще спал. По утрам движение начиналось раньше в более зажиточных частях города, где рабы богачей принуждены были подниматься до света; в тех же кварталах, где ютилась беднота, жившая подачками государства и поэтому ничего не делавшая, вставали, особенно зимою, довольно поздно. Посидев немного, Хилон почувствовал пронизывающий холод, поэтому встал и, убедившись в целости кошелька, полученного от Виниция, более спокойным шагом направился к реке.

«Может быть, увижу тело Кротона, — подумал он. — О боги! Этот лигиец, если только он человек, в течение одного года мог бы заработать миллион сестерций, потому что если Кротона удушил как щенка, то кто сможет устоять против него? За каждое выступление его на арене он мог бы получать столько золота, сколько весит сам. Он лучше сторожит эту девку, чем Цербер ад. Но пусть его и поглотит ад! Я не желаю иметь с ним дела. Слишком крепкие у него кости. Но что же, однако, делать? Произошла ужасная вещь. Если он поломал кости Кротону, то, наверное, и

душа Виниция плачет теперь над этим проклятым домом, ожидая похорон. Клянусь Кастором! Ведь это патриций, друг цезаря, племянник Петрония, известный всему Риму военный трибун. Смерть его не пройдет им даром... Если бы я пошел, например, к преторианцам или обратился бы к вигилям?..

Он замолчал, минуту подумал, потом снова стал говорить:

— Горе мне! Кто привел его к этому дому, как не я?.. Его вольноотпущенники и рабы знают, что я приходил к нему, а некоторые и догадываются, с какой целью. Что будет, если меня обвинят в том, что я нарочно привел трибуна в дом, где ждала его смерть? Пусть было бы доказано на суде, что я не хотел ее, все равно скажут, что я причина... Ведь он патриций, это не пройдет мне даром. Но если бы я тотчас покинул Рим и убежал куда-нибудь далеко, то уж наверное на меня падет подозрение.

И так плохо, и так нехорошо. Дело лишь в том, чтобы выбрать меньшее зло. Рим был огромным городом, однако Хилон почувствовал, что Рим может оказаться ему тесен. Всякий другой мог пойти к префекту вигилей, рассказать, что произошло, и хотя на него могло пасть подозрение, спокойно ждать следствия. Но все прошлое Хилона было такого рода, что всякое ближайшее знакомство с городским префектом или с префектом вигилей должно было доставить ему лишние хлопоты и кроме того, обосновать многие подозрения, какие могут возникнуть в голове чиновников.

Но с другой стороны, бежать — значит оставить Петрония в уверенности, что Виниций предан и убит при участии Хилона. А Петроний — человек могущественный, к его услугам полиция всего государства, и уж, конечно, он поставил бы ее на ноги, чтобы найти виновников убийства хоть на краю света. И Хилон подумал, не отправиться ли ему прямо к Петронию и не рассказать ли ему все, как было. Да! Это лучше всего! Петроний человек спокойный и по крайней мере выслушает до конца. Кроме того, Петроний был посвящен в дело и скорее поверил бы в невиновность Хилона, чем префекты.

Но чтобы отправиться к Петронию, нужно знать наверное, что с Виницием, а Хилон не знал. Он видел лигийца, бежавшего к реке с телом Кротона, и больше ничего. Виниций мог быть убит, мог быть ранен, мог, наконец, быть спрятанным. Теперь только пришло Хилону на ум, что христиане не решились бы убить столь могущественного человека, приближенного цезаря и военного трибуна, потому что подобное преступление могло навлечь на всех христиан гонения и общее преследование. Вероятнее всего, они силой задержали его, чтобы дать время Лигии уйти и скрыться в новом месте.



Мысль эта исполнила Хилона надеждой.

— Если лигийский дракон не разорвал его в первую минуту, то он жив, а если жив, то сам будет свидетельствовать, что я не предавал его, и тогда мне не только ничего не грозит, но и (О, Гермес, снова считай за мной двух баранов!) открывается передо мной новое поле... Могу сказать одному из вольноотпущенников, где находится его господин, а пойдет он к префекту или не пойдет, это его дело, лишь бы мне не ходить... Могу также пойти к Петронию и рассчитывать на награду... Искал Лигию, теперь буду искать Виниция, потом опять Лигию... Но прежде нужно узнать — жив он или убит?

Ему пришло в голову: не пойти ли ночью к мельнице Дема и спросить об этом Урса. Но он тотчас отказался от такой мысли. Лучше с Урсом дела не иметь. Хилон справедливо полагал, что, если Урс не убил Главка, значит, его образумил кто-нибудь из старших христиан, которому он поведал о своем намерении, сказав, что это дело нечистое и что какой-то предатель хотел подговорить его к совершению убийства. При одном воспоминании об Урсе мороз пробежал по коже Хилона. Он решил, что вечером пошлет Еврикия за новостями в дом, где произошло событие. А пока он должен поесть, вымыться и отдохнуть.

Бессонная ночь, путешествие в Острианум и обратно, наконец, поспешное бегство в последние минуты действительно очень изнурили его.

Одно утешало: при нем два кошелька, один Виниций дал ему дома, другой по дороге с кладбища. Принимая во внимание это счастливое обстоятельство, равно как и вследствие пережитых волнений, он решил поесть поплотнее и выпить лучшего, чем обычно, вина.

Когда настал час открытия кабачков, Хилон выполнил свое решение в такой степени, что забыл про необходимость вымыться. Ему прежде всего хотелось спать; обессиленный, он, шатаясь, пришел к себе, в свое жилище на Субурре, где ждала его купленная на деньги Виниция рабыня.

Войдя в темную, как лисья нора, спальню, он бросился на постель и заснул мертвым сном в ту же минуту.

Проснулся он вечером, собственно, его разбудила рабыня, говоря, что кто-то спрашивает его и хочет увидеть по очень важному делу.

Хилон мигом пришел в себя, накинул плащ с капюшоном и, приказав рабыне уйти, осторожно выглянул за порог. И помертвел от ужаса! У дверей спальни он увидел исполинскую фигуру Урса.

Увидев лигийца, он почувствовал, что ноги и руки у него похолодели, сердце замерло в груди, по телу пробежал мороз... Он долго не в силах был вымолвить ни слова и лишь потом, стуча зубами, сказал, вернее простонал:

— Меня нет... Меня нет... Я не знаю... не знаю этого... доброго человека...

— Я сказала ему, что ты спишь, господин, — ответила девушка, — но он потребовал, чтобы я разбудила тебя...

— О боги!.. Я приказываю тебе...

Урс, которому надоело ждать, подошел к дверям спальни и, нагнувшись, просунул туда голову.

— Хилон Хилонид! — позвал он.

— Рах тесум! Рах! Рах!<sup>[42]</sup> — лепетал Хилон. — О, лучший из христиан! Да, я Хилон, но это ошибка... Я не знаю тебя!

— Хилон Хилонид, — повторил Урс, — господин твой Виниций зовет тебя и приказывает идти к нему сейчас со мной.

## **Часть вторая**

Виниций проснулся от острой боли. В первую минуту не мог понять, где он и что с ним происходит. В голове он чувствовал шум, глаза заволакивала мгла. Но понемногу возвращалось сознание, и наконец сквозь туман он увидел склоненных над ним трех человек. Двоих сразу узнал: один — Урс, другой — старик, которого он оттолкнул, унося Лигию. Третий, которого Виниций видел впервые, держал его за левую руку и нажимал ее пальцами от локтя до плеча, причиняя ту ужасную боль, которая разбудила молодого человека. Думая, что его подвергают чему-то вроде пытки, Виниций прошептал сквозь сжатые зубы:

— Убейте меня.

Но они, казалось, не обращали внимания на его слова, не слышали их или приняли за обычный стон от нестерпимой боли. Урс, с озабоченным и вместе с тем грозным видом варвара, держал в руках кипу белого полотна, разорванного на длинные полосы; старец обратился к человеку, который мял руку и плечо Виниция, и сказал:

— Уверен ли ты, Главк, что рана на голове не смертельна?

— Да, честнейший Крисп, — ответил Главк, — прослужив рабом во флоте, а потом живя в Неаполе, я залечил множество ран и благодаря доходу, какой приносило мне это занятие, смог выкупить наконец себя и свою семью... Рана на голове легкая. Когда этот человек (он указал на Урса) отнял у молодого человека девушку и толкнул его к стене, тот, по-видимому, заслонился рукой и, падая, сломал ее и вывихнул, но благодаря этому сохранил голову и жизнь.

— Ты выходил многих братьев, — сказал Крисп, — и славишься своим врачеванием, поэтому я и послал за тобой Урса.

— Который по дороге признался мне, что вчера еще хотел меня убить.

— Но раньше он рассказал о своем намерении мне, а я, зная тебя и твою любовь к Христу, объяснил ему, что не ты предатель, а тот неизвестный, который пытался подговорить его на совершение убийства.

— Это был злой дух, а я принял его за ангела, — со вздохом сказал Урс.

— Когда-нибудь ты расскажешь мне об этом, — прервал его Главк, — теперь мы должны заняться раненым.

И он начал вправлять руку Виниция, который все время впадал в забытие, несмотря на то, что Крисп брызгал на его лицо холодную воду.

Виниций почти ничего не чувствовал, когда врач вправил затем ему ногу и забинтовал сломанную руку, зажав ее между двух небольших выгнутых досок и быстро и крепко замотав тесьмой, чтобы сделать их неподвижными.

После окончания операции Виниций снова пришел в себя и увидел Лигию.

Она стояла рядом и держала в руках медное ведро с водой, в которое, время от времени, Главк погружал губку и мочил голову раненого.

Виниций смотрел и не верил своим глазам. Ему казалось, что сон или больной бред создали дорогое видение, и лишь после долгого молчания он смог прошептать:

— Лигия...

Ведро задрожало в ее руках, она посмотрела на Виниция глазами, исполненными печали.

— Мир тебе! — ответила она тихо.

И стояла с простертыми вперед руками, с лицом сочувствующим и нежным.

Он смотрел на нее, словно хотел наполнить глаза свои ее видом так, чтобы, закрыв их, продолжать видеть ее перед собой. Смотрел на ее лицо, бледное и похудевшее, на жгуты темных волос, на скромную одежду работницы; он так упорно всматривался в нее, что под пристальным его взором белоснежный лоб девушки стал розоветь... И он думал о том, что любит ее по-прежнему, о том, что бледность ее и убогий наряд — по его вине: он выгнал девушку из дому, где ее любили, где ее окружал достаток и богатство, толкнул сюда, в эту жалкую лачугу, одел в нищенский плащ из темной шерсти.

Но ведь он хотел одеть ее в драгоценные одежды, во все сокровища мира, — и его охватило изумление, тревога, жалость: в великой печали он готов был упасть к ее ногам, если бы мог пошевелиться.

— Лигия, — сказал он, — ты не позволила меня убить.

Она же нежно ответила:

— Пусть Бог возвратит тебе здоровье.

Для Виниция, который понимал, какую обиду причинил он ей раньше и какую снова пытался только что причинить, слова Лигии были целительным бальзамом. Он забыл, что в эту минуту ее устами может говорить христианское учение, он лишь чувствовал, что говорит любимая женщина, в ответе которой слышится особая нежность и такая сверхчеловеческая доброта, которая способна потрясти душу. Как перед этим от боли, теперь он ослаб от волнения. Его охватила какая-то

беспомощность, великая и сладостная. Словно он упал в пропасть и в то же время чувствует, что ему хорошо, — и он счастлив. И в эту минуту большой слабости ему грезилось, что над его ложем стоит божество.

Главк окончил промывание раны на голове Виниция и наложил повязку с целительной мазью. Урс принял от Лигии ведро, она же, взяв со стола чашу с вином, разбавленным водой, поднесла ее к губам раненого. Виниций жадно выпил, после чего ему стало гораздо легче. После операции и перевязок боль почти прекратилась. Раны и ушибы стали подсыхать. Вернулось сознание и память.

— Дай мне еще пить, — попросил он.

Лигия взяла чашу и вышла в соседнюю комнату. Обменявшись несколькими словами с Главком, Крисп подошел к ложу и сказал:

— Виниций! Бог не допустил тебя совершить злое дело и сохранил тебе жизнь, чтобы ты опомнился в душе своей. Тот, в сравнении с которым человек — прах, безоружным предал тебя в наши руки, но Христос, в Которого мы веруем, повелел любить даже врагов. Поэтому мы перевязали твои раны и, как сказала Лигия, будем молиться, чтобы Бог вернул тебе здоровье. Но дольше ходить за тобой мы не можем. Оставайся в мире и подумай, достойно ли преследовать Лигию, которую ты оторвал от семьи и лишил крова, — и нас, которые отплатили тебе добром за зло?

— Вы хотите покинуть меня? — спросил Виниций.

— Мы хотим покинуть этот дом, где нас может настигнуть преследование городского префекта. Твой спутник убит, а ты, человек влиятельный, лежишь раненый. Это произошло не по нашей вине, и все же на нас падет тяжесть закона...

— Преследования не бойтесь, — прервал Виниций. — Я защищу вас.

Крисп не хотел сказать ему прямо, что дело здесь не только в префекте, но и в том, чтобы обезопасить Лигию от дальнейших покушений человека, которому они не имеют оснований доверять.

— Господин, — сказал он, — твоя правая рука здорова. Вот таблички и стиль: напиши своим слугам, чтобы они пришли сегодня вечером с лектикой и отнесли тебя домой; там удобнее будет лежать, чем здесь, в нашей нищенской обстановке. Мы живем у бедной вдовы, которая вскоре придет со своим сыном, — мальчик отнесет твое письмо... А нам придется поискать иного убежища.

Виниций побледнел. Он понял, что его хотят разлучить с Лигией, а если теперь он потеряет ее, то никогда больше не увидит... Между ним и ею произошло нечто значительное, и теперь, чтобы обладать Лигией, он должен искать иных путей, о которых у него не было еще времени

подумать. Что бы он ни сказал этим людям, даже если бы поклялся вернуть Лигию Помпонию Грецине, они вправе были не принять этого на веру, — и они не поверят. Он мог это сделать раньше: вместо того чтобы преследовать Лигию, он мог пойти к Помпонию — дать ей слово, что отказывается от своего намерения, и тогда сама Помпония отыскала бы девушку и взяла ее снова домой. Нет! Он чувствовал, что подобные обещания не смогут удержать их и никакие торжественные клятвы не будут ими приняты; не будучи христианином, он должен был клясться бессмертными богами, в которых сам не очень верил и которых эти люди считали злыми духами.

В отчаянии он хотел как-нибудь убедить и Лигию, и ее защитников, — но для этого нужно было время. Кроме того, ему нужно было хоть несколько дней побыть близ нее. Как тонущему обломок доски или весла кажется спасением, так и ему казалось, что в эти несколько дней он сумеет сказать ей нечто такое, что сблизит их, сможет обдумать свое положение, использовать какое-нибудь благоприятное обстоятельство.

Собравшись с мыслями, он сказал:

— Послушайте меня, христиане. Вчера вместе с вами я был на кладбище и слышал ваше учение; но если бы я и не знал его, то по делам вашим могу убедиться, что вы люди честные и добрые. Скажите вдове, живущей в этом доме, чтобы она оставалась здесь, останьтесь сами и мне позвольте остаться. Пусть он (Виниций посмотрел на Главка), врач или просто опытный в деле ухода за больными человек, скажет вам, можно ли меня переносить куда-нибудь сегодня. Я болен, у меня сломана рука, которая в течение нескольких дней должна оставаться неподвижной. Я решительно говорю вам, что останусь здесь, — неужели вы захотите применить ко мне силу?

Он замолчал; в разбитой груди не хватало дыхания. Крисп сказал:

— Нет, господин, мы не прибегнем к насилию над тобой, мы лишь сами постараемся унести отсюда свои головы.

Не привыкший к возражениям молодой человек сдвинул брови и сказал:

— Позволь мне отдохнуть.

Немного помолчав, он снова стал говорить:

— О Кротоне, которого убил Урс, никто не спросит; сегодня он должен был уехать в Беневент, куда вызвал его Ватиний, поэтому все будут думать, что он уехал. Когда я с Кротонем входил в этот дом, нас не видел никто, кроме одного грека, бывшего также в Остриануме. Я скажу, где он живет, вызовите его сюда. Человек этот получает от меня деньги, поэтому я велю

ему молчать. Домой напишу письмо, что я поехал в Беневент. Если грек успел известить префекта, то сделаю заявление, что Кротона убил я сам и что он сломал мне руку. Я сделаю все это, в чем клянусь теньями матери и отца! Поэтому вы можете оставаться здесь, ибо волос не упадет с вашей головы. Позовите ко мне скорее грека, которого зовут Хилон Хилонид!

— Главк останется при тебе, господин, — сказал Крисп, — и вместе с вдовой будет ходить за тобой.

Виниций еще больше сдвинул брови.

— Послушай, старый человек, что я скажу. Я благодарен тебе, и ты мне кажешься добрым и честным человеком, — но ты не говоришь того, что таится у тебя на дне души. Ты опасаясь, что я позову своих рабов и велю им схватить Лигию? Ведь так?

— Да! — серьезно и решительно ответил Крисп.

— Подумай о том, что с Хилоном я буду говорить при вас, при вас напишу домой письмо о своем отъезде, помимо вас я не смогу послать никакого распоряжения... Подумай об этом и не дразни меня больше.

Виниций взволновался, лицо его исказилось от гнева, и он раздраженно продолжал:

— Неужели ты думаешь, что я стану запираюсь в своем желании остаться здесь ради нее?.. Глупец угадает это, даже если бы я отрицал. Но силой брать ее не буду больше... Тебе же вот что скажу: если она не останется здесь, то здоровой рукой я сорву все повязки, не стану принимать пищи и питья, — и пусть смерть моя падет на тебя и на твоих братьев. Зачем ты лечишь меня, зачем не убил сразу?

Он побледнел от гнева и слабости. Лигия, слышавшая весь разговор из соседней комнаты, была уверена, что Виниций сделает все, что говорит, и потому испугалась его слов. Она не хотела, чтобы он умер. Раненый и безоружный, он возбуждал в ней сожаление, а не страх. Со времени своего бегства, живя среди людей, погруженных в постоянное религиозное горение, думающих только о жертвах и безграничном милосердии, она сама прониклась этим новым настроением до такой степени, что оно заменило ей дом, семью, утраченное счастье и сделало ее одной из христианских девушек-подвижниц, которые впоследствии совершенно преобразили душевный строй человечества. Виниций сыграл слишком большую роль в ее судьбе, чтобы она могла забыть его. Думала о нем все время и не раз молила Бога о часе, в который могла бы, следуя учению, отплатить ему добром за зло, милосердием за жестокость, сломить его, привести к Христовой правде, спасти. И теперь ей казалось, что желанный час наступил и молитва ее услышана.



Она подошла к Криспу и с вдохновенным лицом стала говорить так, словно ее устами вещал некий иной голос:

— Крисп, пусть он останется среди нас, и мы останемся с ним, пока Христос не вернет ему здоровье.

Старый пресвитер, привыкший во всем искать божественных влияний, увидев ее экзальтацию, тотчас подумал, что, может быть, через нее говорит высшая воля, и со смягченным сердцем склонил голову.

— Пусть будет так, как ты говоришь! — сказал он.

На Виниция, который все время не спускал глаз с Лигии, эта покорность Криспа произвела странное и потрясающее впечатление. Ему казалось, что среди христиан Лигия является какой-то Сивиллой или жрицей, окруженной почетом и уважением. И он невольно также проникся этим уважением. К любви, которую питал он, присоединился теперь какой-то страх, и самая любовь казалась ему теперь чем-то дерзостным. Он не мог привыкнуть к мысли, что их отношения изменились, что теперь не она от него, а он от нее зависит, он покорствуется ее воле, лежит больной, израненный, перестал быть насильником и завоевателем и превратился в беззащитного ребенка, отданного на ее попечение. Для его гордого и своевольного нрава прежде подобное отношение казалось бы унижительным, теперь же он не только не чувствовал унижения, но был благодарен ей, как своей владычице. Это были совершенно новые чувства, которые накануне не могли бы поместиться в его сознании и которые изумили бы теперь его самого, если бы он способен был отдать себе во всем ясный отчет. Но он не спрашивал, почему это так, словно это было совершенно естественно. Он чувствовал себя счастливым, что может остаться здесь.

Ему хотелось благодарить ее, и благодарность смешивалась с каким-то чувством, которого он не понимал, которому не знал имени, которое было похоже на полную покорность. Но волнение так ослабило его, что он не мог говорить и лишь смотрел на нее благодарными глазами, в которых светилась радость. Он был счастлив, что остался здесь и сможет смотреть на нее сегодня, завтра и, может быть, долго еще. И радость смешивалась со страхом, что он может снова потерять то, что нашел. Когда Лигия подала ему питье, Виниций хотел было взять ее за руку — и не решился сделать это, боялся... И это был тот Виниций, который на пиру у цезаря насильно целовал ее губы, а потом уверял себя, что будет таскать ее за волосы в своей спальне или велит сечь ее!

## II

Виниций боялся, что напрасно вызванная кем-нибудь помощь помешает его радости. Хилон мог известить об его исчезновении префекта или вольноотпущенников — в таком случае появление вигилей было вполне возможным. У него мелькнула мысль, что тогда он мог бы дать приказ схватить Лигию и увести ее к себе домой, но сразу почувствовал, что этого делать не должен и не сможет. Он был своенравен, самоуверен, достаточно испорчен, порой неумолим и жесток, но не был все-таки ни Тигеллином, ни Нероном. Военная жизнь привила ему чувство справедливости, веры и совести, он понимал, что такой поступок был бы чудовищной подлостью. Может быть, он и сделал бы это в припадке бешенства и здоровый, но теперь он был болен и растроган, теперь ему было важно одно: чтобы никто не вставал между ним и Лигией.

С удивлением он заметил, что с минуты, как Лигия стала на его сторону, ни сама она, ни Крисп не требуют от него никаких заверений, словно они твердо верят, что в случае нужды их защитит какая-то сверхъестественная сила. После того как Виниций побывал в Остриануме и слышал поучение и рассказ апостола, в его голове спуталась и стерлась разница между вещами возможными и невозможными, поэтому он был недалек от мысли, что появление такой силы вполне допустимо. Но, относясь к делу более трезво, он сам напомнил им о греке и снова потребовал, чтобы к нему привели Хилона.

Крисп согласился и решил послать за ним Урса. Виниций в последнее время часто, хотя и безрезультатно, посылавший к Хилону своих рабов, рассказал Урсу подробно, где находится жилище грека, потом написал несколько слов на табличке и, обратившись к Криспу, сказал:

— Я даю письмо, потому что это человек хитрый и трусливый, часто, когда я звал его к себе, он велел говорить моим людям, что его нет дома, делая это потому, что, не имея для меня хороших вестей, боялся моего гнева.

— Мне только бы увидеть его, а тогда, хочет или не хочет, он придет со мной, — сказал Урс.

И, накинув плащ, лигиец поспешно вышел.

Найти кого-нибудь в Риме не так-то легко было в то время, даже имея самые точные указания, но Урсу помог его инстинкт человека, привыкшего находить дорогу в лесу, и, кроме того, хорошее знание города. Скоро он

был у дверей жилища Хилона.

Однако он не узнал грека, так как видел его всего лишь раз, да и то ночью. Наконец, тот мудрый и уверенный в себе старец, поручавший ему убить Главка, не похож был на согнутого вдвое от страха старика, — никто не сказал бы, что это один и тот же человек. Хилон, заметив, что Урс смотрит на него, как на незнакомого, немного оправился от страха. Письмо Виниция еще больше успокоило его. Теперь по крайней мере греку не грозило подозрение, что он привел патриция в ловушку. Кроме того, он подумал, что христиане не убили Виниция потому, что не решились поднять руку на столь могущественного человека.

«Значит, Виниций и меня сможет защитить, — подумал он, — не затем же он вызывает меня, чтобы убить».

Немного ободрившись, он спросил:

— Добрый человек, скажи, неужели мой добрый друг Виниций не прислал за мной лектики? Ноги у меня распухли, и так далеко идти я не в силах.

— Нет, — ответил Урс, — мы отправимся пешком.

— А если я откажусь?

— Не делай этого, ты должен идти.

— И пойду, но по своему желанию. Меня никто не может принудить, я человек свободный и друг городского префекта. Как мудрец, я также располагаю силой — умею превращать людей в деревья и животных. Но я пойду... пойду! Надену лишь более теплый плащ и накину на голову капюшон, а то меня узнают рабы в этой части города и все время будут останавливать нас, чтобы целовать мне руку.

Сказав это, он надел другой плащ, а голову закрыл большим галльским капюшоном, боясь, что Урс узнает его, когда они выйдут на освещенную солнцем улицу.

— Куда ты ведешь меня? — спросил он Урса по дороге.

— За Тибр.

— Я недавно в Риме и никогда не бывал в той стороне, но, вероятно, и там живут люди, почитающие добродетель.

Урс был наивен. Он слышал от Виниция, что грек был с ними в Остриануме, а потом видел, как они вместе с Кротонем входили в дом, где жила Лигия, — поэтому он приостановился на мгновение и сказал:

— Не лги, старый человек, ибо ты был сегодня с Виницием в Остриануме, а потом у ворот нашего дома.

— Ах, так это ваш дом стоит за Тибром? Я ведь недавно в Риме и не знаю, как называются здесь улицы. Да, да, мой друг! Я был у ваших ворот и

умолял Виниция во имя добродетели не входить в них. Я был и в Остриануме. Знаешь зачем? Потому что некоторое время тружусь над обращением Виниция и хотел, чтобы он услышал старшего из апостолов. Пусть истина осветит его и твою душу! Ведь ты христианин и хочешь, чтобы правда восторжествовала над ложью?

— Да, — покорно ответил Урс.

Хилон окончательно обнаглел.

— Виниций — могущественный человек и друг цезаря. Он часто слушает еще, что ему нашептывает злой дух, и если волос упадет с головы его, цезарь отомстит всем христианам.

— Нас охраняет высшая сила.

— Правильно, правильно! Но что вы хотите сделать с Виницием? — спросил обеспокоенный Хилон.

— Не знаю. Христос велел быть милосердными.

— Как ты хорошо сказал. Помни это всегда, иначе будешь жариться в аду, как колбаса на сковороде.

Урс вздохнул, а Хилон подумал, что с этим страшным в минуту гнева человеком он мог бы сделать все что угодно.

Желая узнать, что произошло при покушении на Лигию, он стал допрашивать Урса тоном сурового судьи:

— Что вы сделали с Кротонем? Говори правду и не лги!

Урс снова вздохнул:

— Об этом скажет тебе Виниций.

— Значит, ты пронзил его ножом или убил палкой?

— Я был безоружен.

Грек не мог представить себе сверхчеловеческой силы этого варвара.

— Пусть Плутон... То есть я хотел сказать: пусть Христос простит тебя!

Некоторое время шли молча. Потом грек сказал:

— Я не выдам тебя, но берегись вигилей.

— Я боюсь Христа, а не вигилей.

— И правильно. Нет большего греха, чем убийство. Я буду молиться за тебя, но не знаю, дойдет ли моя молитва, если ты не поклянешься мне, что никого больше никогда не тронешь пальцем.

— Я и так не убивал намеренно, — ответил Урс.

Однако Хилон, желавший обезопасить себя на будущее, не переставал упрекать Урса и требовал клятвенного обещания. Расспрашивал также и про Виниция, но лигиец отвечал неохотно, повторяя, что от самого Виниция он услышит все, что должен услышать. Разговаривая таким

образом, они прошли весь длинный путь от жилища грека до большого дома за Тибром. У Хилона беспокойно застучало сердце. От страха ему показалось, что Урс поглядывает на него кровожадными глазами. «Малое мне будет утешение в том, убьет он меня намеренно или ненамеренно; во всяком случае, для меня было бы лучше, если бы его разбил паралич, а вместе с ним и всех лигийцев, что соделай, о Зевс, если можешь!» Он плотно закутался в свой галльский плащ, повторяя, что боится холода. Когда они прошли ворота и первый двор и очутились в коридоре, ведущем во второй дворик, он вдруг остановился и сказал:

— Дай мне передохнуть, иначе я не смогу разговаривать с Виницием и дать ему ряд спасительных советов.

Сказав это, он прислонился к стене, убеждая себя, что ему не грозит никакая опасность. Но при мысли, что он сейчас очутится среди таинственных людей, которых видел в Остриануме, у него снова стали трястись ноги.

До его слуха долетело пение, которое звучало в домике.

— Что это? — спросил он.

— Говоришь, что ты христианин, и не знаешь, что у нас есть обычай после трапезы славить Спасителя гимнами, — ответил Урс. — Должно быть, Мириам с сыном вернулись домой, а может быть, и апостол там, потому что он ежедневно навещает вдову и Криспа.

— Веди меня прямо к Виницию.

— Он в той же комнате, где и все. У нас только одна комната большая, остальные все маленькие, темные, туда мы уходим на ночь. Войдем, ты отдохнешь там.

Вошли. В комнате был полумрак, наступил пасмурный, зимний вечер, пламя очага слабо боролось с темнотой. Виниций скорее угадал, чем узнал в закутанном человеке Хилона, а тот, увидя ложе в углу комнаты и на нем Виниция, направился прямо к нему, не глядя на присутствующих, по-видимому, надеялся, что около патриция он будет в наибольшей безопасности.

— О господин, зачем ты не послушал моих советов! — воскликнул он, протягивая руки.

— Молчи, — сказал Виниций, — и слушай!

Он стал пристально смотреть на Хилона и медленно говорить отчетливым голосом, словно хотел, чтобы каждое слово его навсегда врезалось в память грека:

— Кротон напал на меня, чтобы убить и ограбить — понимаешь? Тогда я убил его, а эти люди перевязали мне раны, полученные в борьбе.

Хилон сразу понял, что Виниций говорит так, придя к какому-то соглашению с христианами, и потому хочет, чтобы ему верили. Это же прочел он на лице трибуна и потому тотчас, не выражая сомнений и удивления, поднял кверху глаза и воскликнул:

— Это был подлый негодяй! Я предупреждал, чтобы ты не доверял ему. Все мои наставления отскакивали от его головы как горох. Во всем Аиде нет для него достаточных мучений. Кто не может быть честным человеком, тот должен стать разбойником; а кому труднее всего стать честным, как не разбойнику? Напасть на своего благодетеля и столь великодушного господина... О боги!..

Вспомнил, что по дороге называл себя христианином, и замолчал. Виниций сказал:

— Если бы не короткий меч, который был со мной, он убил бы меня.

— Я благословляю ту минуту, когда посоветовал тебе захватить оружие.

Виниций испытующе посмотрел на грека и спросил:

— Что ты делал сегодня?

— Как? Разве я не сказал еще, что приносил жертвы за твое здоровье?

— И больше ничего?

— И как раз собирался навестить тебя, когда пришел этот добрый человек и сказал, что ты зовешь меня.

— Вот письмо. Пойди с ним ко мне в дом, найди там вольноотпущенника и вручи ему. Здесь написано, что я уехал в Беневент. Скажи Дему от себя, что я уехал утром, вызванный спешным письмом от Петрония.

И он повторил с ударением:

— Уехал в Беневент... Понимаешь?

— Как же, уехал, уехал! Я простился с тобой рано утром у Капенских ворот, и с минуты твоего отъезда овладела мной такая тоска и печаль, что, если бы не твоя щедрость и великодушие, я зачирикал бы и засвистел, как жена Зефа, превратившаяся в соловья от тоски по мужу.

Виниций, хотя был болен и привык к суесловию грека, не мог, однако, удержаться от улыбки. Кроме того, он был доволен, что Хилон сразу понял его.

— Хорошо, я припишу, чтобы тебе отерли слезы. Подай светильник.

Совершенно успокоившийся Хилон встал, подошел к очагу и снял один из горевших светильников.

Капюшон при этом откинулся назад, и свет упал прямо на лицо грека. Главк встал со скамьи и, быстро подойдя к греку, спросил:

— Не узнаешь меня, Кефас?

И в голосе его было что-то страшное, и все присутствующие невольно задрожали.

Хилон поднял светильник и тотчас уронил его на землю. Он согнулся вдвое и начал стонать:

— Это не я!.. Это не я!.. Сжался!..

Обратившись к присутствующим, Главк сказал:

— Вот человек, который предал и погубил меня и мою семью!..

История его была известна всем христианам и Виницию, который не догадался, кто такой Главк, только потому, что, впадая в забвение во время перевязок, не расслышал его имени. Но для Урса эта минута стала откровением. Узнав Хилона, он подскочил к нему, схватил за плечи и воскликнул:

— Вот человек, который уговаривал меня убить Главка.

— Сжальтесь! — стонал Хилон. — Я вам отдам... Господин! — метнулся он к Виницию. — Господин, спаси меня! Тебе я доверился, заступись за меня!.. Письмо твое отнесу... Господин! Господин!..

Виниций равнодушно смотрел на все происходившее, во-первых, потому, что ему были известны все проделки грека, во-вторых, сердце его не знало, что такое жалость. Он сказал:

— Заройте его в саду, а письмо отнесет кто-нибудь другой.

Эти слова показались Хилону приговором. Он весь трепетал в мощных руках Урса, глаза закатились от слез и боли.

— Заклинаю вас вашим Богом! Сжальтесь! — восклицал он. — Я христианин! Мир вам! Я христианин, а если не верите, то окрестите меня еще раз, два раза, десять! Главк, это ошибка! Дайте мне сказать! Возьмите меня в рабство... Не убивайте! Сжальтесь!..

Голос его слабел от боли. Тогда поднялся со своего места апостол Петр, покачал седой бородой, закрыл глаза, потом открыл и сказал среди наступившей тишины:

— Спаситель сказал нам: если брат твой согрешил против тебя, то упрекни его; если пожалеет о том, то прости. И если он семь раз провинится и семь раз покается, тоже прости!

После этого наступила еще большая тишина.

Долго стоял Главк, закрыв лицо руками, потом опустил их и сказал:

— Кефас, пусть Бог простит тебе обиды, а я прощаю их во имя Христа!

Выпустив плечо грека, Урс добавил:

— Пусть Спаситель будет милостив ко мне, а я тоже прощаю тебя.

Грек упал на землю и метался как зверь, попавший в западню, оглядываясь по сторонам и ожидая неминуемой смерти. Не верил глазам своим и ушам, не смел надеяться на прощение.

Но понемногу стал приходить в себя, только посиневшие губы дрожали еще от пережитого страха.

Апостол сказал:

— Иди с миром!

Хилон встал, но не мог выговорить ни слова. Прильнул к ложу Виниция, словно искал у него покровительства. У него не было времени сообразить, что тот, хотя и пользовался его услугами и был как бы соучастником, осудил его, тогда как те люди, против которых он действовал, простили. Мысль эта пришла значительно позже. Теперь в его взоре было лишь изумление и недоверие. Хотя он и понял, что ему простили, все-таки считал более безопасным унести поскорее ноги отсюда, из среды непонятных людей, доброта которых поражала его больше, чем поразила бы жестокость. Ему казалось, что, если он останется дольше, может снова случиться что-нибудь неожиданное. Поэтому, склонившись к Виницию, он залепетал:

— Дай письмо, господин! Дай письмо!

Схватив табличку, которую передал ему Виниций, он низко поклонился сначала христианам, потом больному и, согнувшись, прижимаясь к стене, скользнул к двери.

В садике было темно, страх сжал его сердце, он был уверен, что Урс выбежит следом за ним и убьет его в ночном мраке. Он бежал бы изо всех сил, но ноги отказывались служить ему; он окончательно обомлел, когда Урс действительно вышел к нему.

Хилон упал лицом на землю и начал стонать:

— Урбан!.. Во имя Христа!..

Урс сказал:

— Не бойся! Апостол велел проводить тебя до ворот, чтобы ты не заблудился во мраке, а если у тебя не хватит сил, то и отвести домой.

Хилон поднял голову.

— Что ты говоришь? Значит, не убьешь меня?

— Нет, нет! А если я слишком больно схватил тебя за плечо и причинил боль, то прости мне.

— Помоги мне подняться, — сказал Хилон. — Не убьешь? Да? Выведи на улицу, дальше пойду один.

Урс поднял его, как перышко, поставил на ноги, а потом провел по длинному коридору на другой двор, а оттуда на улицу.



В коридоре Хилон снова повторял в душе: «Пропал! Пропал!» — и только когда они очутились на улице, успокоился и сказал:

— Дальше я пойду один.

— Мир да будет с тобою.

— И с тобой... и с тобой... Дай мне передохнуть.

После ухода Урса он вздохнул наконец полной грудью. Ощупал себя всего руками, чтобы убедиться, что жив, и поспешно стал удаляться. Отойдя на несколько десятков шагов, он остановился и сказал:

— Почему, однако, они не убили меня?!

И, несмотря на то, что разговаривал о христианском учении с Еврикием, несмотря на то, что говорил с Урсом и слушал проповедь в Остриануме, он все-таки не мог найти ответа на свой вопрос.

### III

Виниций также не мог отдать себе ясного отчета в том, что произошло, и в глубине души недоумевал не менее Хилона. То, что с ним эти люди поступили так и, вместо того чтобы мстить и мучить его, заботливо перевязали раны, он приписывал отчасти учению, которое они исповедовали, гораздо больше Лигии и немного своему высокому положению. Но обращение с Хилоном превосходило все его понятия о способности людей прощать. И у него невольно возник вопрос: почему они не убили грека? Ведь могли сделать это безнаказанно.

Урс зарыл бы его в саду или же бросил ночью в Тибр, который в те времена, после разбоев, чинимых самим цезарем, часто выбрасывал по утрам трупы, относительно которых никому не пришло бы в голову допытываться, откуда они взялись. Кроме того, христиане, по мнению Виниция, не только могли, но и должны были убить Хилона. Жалость не была совершенно чуждой тому миру, в котором жил Виниций. Афиняне поставили ей алтарь и долгое время сопротивлялись устройству в Афинах гладиаторских игр. Случалось, что и в Риме побежденные получали жизнь: например, Каликрат, царь бретонцев, взятый в плен Клавдием и щедро награжденный, который свободно жил в Риме. Но месть за личные обиды казалась Виницию, как и всем, законной и справедливой. Прощение обид было совершенно чуждо его душе. Он слышал в Остриануме, что нужно любить даже врагов, но считал это теорией, не имеющей применения в жизни. И теперь ему даже приходило в голову, что христиане не убили Хилона по случаю какого-нибудь праздника или положения луны, когда христианам воспрещено убивать. Он слышал, что бывают такие дни, когда некоторым племенам нельзя начинать войны. Но почему в таком случае не отдали грека в руки правосудия, почему апостол говорил, что семь раз согрешившему семь раз нужно простить, почему Главк сказал Хилону: «Пусть Бог простит, как я тебя прощаю»? Ведь Хилон причинил ему величайшее зло, какое может сделать человек человеку, и в Виниций при одной лишь мысли, как поступил бы он с тем, кто, например, убил бы Лигию, сжалось судорожно сердце: не было бы таких мучений, каких он не применил бы! А этот человек простил! И Урс также простил, хотя мог бы убить в Риме кого захотел, совершенно безнаказанно, стоило лишь после этого убить «Неморенского царя» и самому стать царем, заняв его место. Неужели человек, осиливший Кротона, не осилил бы гладиатора, носящего

этот громкий титул, который можно было получить, лишь убив предыдущего «царя»? Один был ответ на все эти вопросы. Они не убивали благодаря доброте — столь великой, что подобной не знал до сих пор мир, благодаря безграничной любви к людям, которая заставляла забыть о себе, о своих обидах, о своем счастье и горе и жить для других. Какую награду должны были они получить за это, Виниций слышал в Остриануме, но это не помещалось в его голове. Он чувствовал, что земная жизнь, которая обязана отречься от всего радостного и обильного в пользу других, должна казаться жалкой. Поэтому в том, что он думал относительно христиан, наряду с изумлением была и жалость, и даже легкое презрение. Ему казалось, что все они — овцы, которые рано или поздно должны быть съедены волками, и его гордость римлянина не способна была уважать тех, которые позволяют себя съесть. Его поразила особенно одна вещь. После ухода Хилона на лицах всех присутствующих появилась какая-то светлая радость. Апостол подошел к Главку и, положив руку на его голову, сказал:

— Христос победил в тебе!

А тот поднял к небу глаза, полные веры и радости, словно осенило его великое нечаянное счастье. Виниций, который мог бы понять счастье от удачно завершённой мести, смотрел на него широко раскрытыми лихорадочными глазами, как смотрят на сумасшедших. Потом он увидел — и возмутился до глубины души, — как подошла к нему Лигия и прижала свои царственные губы к руке человека, по виду похожего на раба. Виницию казалось, что строй современного мира переживает какие-то странные перемены.

Пришел Урс и стал рассказывать, как он провожал Хилона и как попросил у грека прощения за причиненную боль. Апостол благословил и его, а Крисп заявил, что этот день был днем великой победы. Слова о какой-то победе окончательно поставили все вверх дном в голове Виниция.

Когда Лигия поднесла ему снова чашу с питьем, он задержал ее руку и спросил:

— Так ты и меня простила?

— Мы христиане, нам нельзя таить в сердце гнев.

— Лигия, — сказал он, — кто бы ни был твой бог, я почту его гекатомбой потому только, что он твой...

Она же ответила:

— Ты почтешь Бога в сердце, когда полюбишь Его.

— Потому только, что он твой... — слабым голосом повторил Виниций.

И закрыл глаза, потому что вернулась слабость. Лигия отошла, но

через минуту вернулась и, подойдя к ложу, наклонилась, чтобы убедиться, что Виниций заснул. Почувствовав ее близость, он открыл глаза и улыбнулся, она же легко коснулась его лба рукой, словно желала усыпить его. Он почувствовал безмерную радость и в то же время понял, как сильно он болен. Так действительно и было. Наступила ночь и принесла с собой сильную лихорадку. Он не мог уснуть и провожал Лигию глазами, куда бы она ни пошла. Порою впадал в полусон: видел и слышал все, что происходило вокруг, но действительность смешивалась с лихорадочным бредом. Ему грезилось, что на каком-то старом покинутом кладбище возвышается храм в виде башни и Лигия — жрица в этом храме. Он не спускал с нее глаз, видел ее на вершине башни, с лютней в руках, озаренную светом, похожую на жриц, которые по ночам пели гимны в честь луны, которых он видел на Востоке. Он взбирался с большим трудом по крутым и узким лестницам, чтобы похитить ее, а за ним полз Хилон, щелкая от страха зубами и повторяя: «Не делай этого, господин, она ведь жрица, и Он отомстит за нее!..» Виниций не знал, кто был Он, но понимал, что идет святотатствовать, и также испытывал великий страх. Когда он добрался до балюстрады, окружающей вершину башни, около Лигии вдруг встал апостол с серебряной бородой и сказал: «Не поднимай на нее руки, ибо она принадлежит мне». Сказав это, он пошел с ней по воздушной дороге лунного света, прямо к небу, а он, Виниций, протягивая руки, умолял их взять его с собой.

Он проснулся, пришел в себя и стал смотреть на комнату. Пламя в очаге пылало слабее, но все же отбрасывало на окружающих красные блики; христиане же сидели и грелись, потому что ночь была холодной. Виниций видел их дыхание, выходящее изо рта в виде пара. Посредине сидел апостол, у его ног на низкой скамейке — Лигия, дальше — Главк, Крисп, Мириам, а по краям с одной стороны — Урс, с другой — Назарий, сын Мириам, молодой юноша с прекрасным лицом и длинными черными волосами, которые падали на плечи.

Лигия слушала, подняв глаза апостола, все также смотрели на него, а он вполголоса говорил что-то. Виниций стал смотреть на него с суеверным страхом, пожалуй, не меньшим, чем в лихорадочном бреду. Ему пришло в голову, что во сне он видел правду, что этот старик с далеких берегов действительно отнимает у него Лигию и ведет ее куда-то по неведомой дороге. Он был уверен, что старик говорит о нем, советует ей расстаться с ним. Виниций не мог себе представить, чтобы люди думали о чем-нибудь другом, кроме его любви к Лигии. Напрягая слух, он старался уловить слова Петра.

Но Виниций ошибся. Апостол снова говорил о Христе.  
«Они живут лишь этим именем!» — подумал Виниций.

Старец рассказывал о том, как схватили Христа. Пришли солдаты и слуги первосвященника, чтобы взять Его. Когда Спаситель спросил, кого они ищут, ему ответили: «Иисуса Назореянина!» Он сказал им: «Это я!» — они же пали ниц и не смели поднять на него руки, и лишь после того, как еще раз спросили, Он был взят ими.

Апостол помолчал, потом протянул руки к огню и сказал:

— Ночь была холодная, как сегодня, но вскипело во мне сердце, обнажил я меч, чтобы защитить Его, и отсекаю ухо слуге первосвященника. И я защищал бы Его и положил бы за Него жизнь свою, но Он сказал: «Вложи меч свой в ножны. Неужели чаши, какую посылает Мне Отец, не выпью?..» Тогда они схватили Его и связали...

Сказав это, он закрыл лицо руками, словно хотел побороть волнение от нахлынувших воспоминаний. Урс не выдержал, вскочил, поправил железной палкой дрова в очаге, так что искры посыпались золотым дождем и ярче вспыхнул огонь, потом сел и воскликнул:

— Эх, если бы моя была воля... Гей!

Он замолчал, потому что Лигия приложила палец к губам. Было видно, что он возмущается до глубины души, и хотя готов всегда целовать стопы апостола, но этого одного поступка он не может простить ему, потому что если бы при нем кто-нибудь поднял руку на Спасителя, будь он там в ту памятную ночь, ой, что было бы тогда со всеми этими солдатами и слугами первосвященника... Слезы выступили у него на глазах при мысли об этом, а также от мучительного душевного разлада: с одной стороны, Урс готов был не только лично защищать Спасителя, но и кликнуть на помощь лигийцев, молодцов на подбор; с другой — если бы он сделал это, то выказал бы неповиновение Спасителю и помешал бы искуплению мира.

Потому он и не мог удержаться от слез.

Отняв от лица руки, Петр стал рассказывать дальше, но Виниций снова впал в забытие. То, что слышал он сейчас, смешалась с рассказом Петра в Остриануме о появлении Христа на берегу озера. Он видел перед собой широкий водный простор и рыбацью лодку, а в ней — Петра и Лигию. Он плыл за ними, напрягая все силы, но боль в сломанном плече мешала ему догнать их. Бурные волны хлестали ему в лицо, он стал тонуть, умоляющим голосом призывая помощь. Тогда Лигия опустила на колени перед апостолом, и тот повернул лодку и протянул утопавшему весло; Виниций схватился за него, при их помощи выбрался из воды и упал на дно лодки.

Потом, казалось, он увидел множество людей, плывущих за лодкой. Волны бросали пену на их головы; от некоторых виднелись лишь руки, протягивавшиеся из пучины, но Петр спасал всех утопавших и брал их в свою лодку, которая чудесным образом увеличивалась. Вскоре ее наполнила огромная толпа, какая была в Остриануме, а потом еще большая. Виниций удивлялся, как все они могли поместиться в небольшой лодке, он боялся, что все они пойдут ко дну. Но Лигия стала успокаивать его и показала ему на какой-то свет на далеком берегу, куда они плыли. Здесь снова в голове Виниция всплыли слышанные в Остриануме слова апостола о явлении Христа над озером. Он увидел теперь в озарении света, к которому направлял ладью Петр, какую-то фигуру. По мере того как они приближались к ней, погода становилась все более тихой, поверхность на озере более гладкой, свет — ярче. Толпа запела сладостный гимн, воздух наполнился запахом нарда; вода отливала радужными красками, словно на дне озера цвели лилии и розы; наконец лодка мягко коснулась прибрежного песка. Тогда Лигия взяла его за руку и сказала: «Встань, я поведу тебя». И они пошли к яркому свету.

...

Виниций снова проснулся, но его греза таяла медленно, и он не сразу вернулся к действительности. Некоторое время ему казалось, что он все еще находится около озера и окружен громадной толпой, среди которой, сам не зная почему, он стал искать Петрония и удивился, что не может его найти. Свет очага, вокруг которого теперь не было никого, вернул его к действительности. Сучья олив лениво тлели под розовым пеплом, зато поленья пиний, по-видимому только что брошенные в очаг, ярко пылали, и в трепетном свете Виниций увидел Лигию, сидящую недалеко от его ложа.

Вид ее тронул его до глубины души. Он вспомнил, что прошлую ночь провела она в Остриануме, потом целый день помогала Главку, и теперь, когда все ушли спать, она одна бодрствовала у его ложа. Легко было догадаться, что она устала, хотя бы потому, что она сидела неподвижно, закрыв глаза. Виниций не знал, спит она или погружена в мысли. Смотрел на ее профиль, на опущенные веки, на сложенные на коленях руки, и в языческой его душе с большим напряжением стала рождаться мысль, что наряду с гордой своими формами, уверенной в себе, обнаженной греческой и римской красотой есть на свете еще и другая — новая, чистая, одухотворенная красота.

Он еще не решался назвать эту красоту христианской, но, думая о Лигии, не мог отделить ее от учения, которое она исповедовала. Он понимал, что если все ушли на покой, а Лигия одна бодрствовала около

него — она, которую он так обидел, — то и здесь причиной учение, повелевающее поступать именно так. Но эта мысль, внушающая уважение к новому учению, была в то же время неприятной ему. Он предпочел бы, чтобы Лигия поступала так из любви к нему, его лицу, глазам, мощным формам его тела — словом, из любви ко всему тому, ради чего не раз обвивались вокруг его шеи нежные руки римлянок и гречанок.

И вдруг он понял, что, если бы она была такой, как другие женщины, в ней чего-то недоставало бы для него. Он изумился и сам не понимал теперь, что в нем происходит, он чувствовал, что и в нем рождаются какие-то новые чувства и новые желания, чуждые миру, в котором жил до сих пор.

Лигия открыла глаза и, увидев, что Виниций не спит и смотрит на нее, подошла к нему и сказала:

— Я здесь, около тебя.

А он ответил:

— Я видел во сне твою душу.

## IV

Наутро он проснулся хотя и слабый, но со свежей головой. Лихорадки не было. Ему показалось, что разбудил его шепот беседы, но, когда открыл глаза, увидел, что Лигии нет в комнате. Склоненный у очага Урс разгребал седой пепел и, найдя уголек, стал раздувать его, причем казалось, что дует он не ртом, а кузнечными мехами. Виниций вспомнил, что этот человек сокрушил вчера Кротона, и теперь стал разглядывать великана, как любитель цирка, его исполинскую спину, подобную спине циклопа, и могучие, как колонны, ноги.

«Благодарю Меркурия за то, что этот великан не сломал мне шеи, — подумал он. — Клянусь Поллуксом, если все лигийцы похожи на него, то нашим легионам придется когда-нибудь иметь с ними много хлопот!»

И он окликнул его:

— Эй, раб!

Урс поднял голову и, улыбаясь почти дружелюбно, сказал:

— Пошли тебе Бог добрый день, господин, и доброе здоровье, но я человек свободный — не раб.

Виницию, который хотел расспросить Урса про родину Лигии, приятен был этот ответ, потому что разговор со свободным человеком, хотя и простым, меньше унижал его римскую патрицианскую гордость, чем беседа с рабом, в котором ни право, ни обычай не признавали человека.

— Разве ты не принадлежишь Авлу?

— Нет, господин. Я служу Каллине, как служил ее матери, но по доброй воле.

Он снова склонил голову над очагом, чтобы раздуть угли, на которые положил новых дров; потом он сказал:

— У нас нет рабов.

Виниций спросил:

— А где Лигия?

— Только что ушла, и я должен сварить тебе пищу, господин. Она ходила за тобой всю ночь.

— Почему ты не сменил ее?

— Она хотела так, мое дело повиноваться. — Он нахмурил брови и прибавил: — Если бы я не повиновался ей, ты, господин, не жил бы на свете.

— Что же, ты жалеешь, что не убил меня?



— Нет, господин. Христос не велел убивать.

— А Кротон? Атакин?

— Я не мог поступить иначе, — проворчал Урс.

И словно с сожалением он стал разглядывать свои руки, которые, по видимому, остались языческими, хотя душа и приняла крещение.

Он поставил горшок на таган и, присев на корточки у очага, смотрел мечтательными глазами на пламя.

— Ты сам виноват, господин. Зачем поднял руку на царскую дочь?!

Виниций в первую минуту рассердился. Как смеет этот простолюдин и варвар разговаривать с ним так свободно, да к тому же и упрекать! К необыкновенным и невероятным вещам, которые он пережил с памятной ночи, прибавилась еще одна. Но, будучи слабым и не имея в своем распоряжении рабов, он сдержал себя — слишком сильно было желание узнать некоторые подробности, касающиеся Лигии.

Поэтому, успокоившись, он стал расспрашивать про войну лигийцев с Ванием и свевами. Урс охотно начал рассказывать, но он мало мог прибавить нового к тому, что в свое время Виниций слышал от Авла. Урс не принимал участия в битве — сопровождал заложниц в лагерь Ателия Гистра. Он знал, что лигийцы разбили свевов и язигов, но вождь их и царь был убит стрелой язига. Лигийцы получили известие, что семноны<sup>[43]</sup> подожгли леса в их области, поэтому они быстро вернулись обратно, чтобы отомстить; заложницы остались у Ателия, который вначале велел отдавать им царские почести. Умерла мать Лигии. Римский военачальник не знал, что делать с ребенком. Урс хотел было вернуться домой с девочкой, но путь был далек и опасен — через области диких варваров; когда пришло известие, что у Помпония находится какое-то лигийское посольство, предлагающее помощь против маркоманов, Гистр отослал их к Помпонию. Прибыв к нему, они, однако, узнали, что никаких лигийских послов там не было. Таким образом они остались в лагере, потом Помпоний привез их в Рим и после триумфа отдал царскую дочь Помпонии Грецине.

Хотя Виницию в этом рассказе неизвестны были лишь мелкие подробности, он слушал его с удовольствием, потому что его патрицианскую гордость приятно щекотало свидетельство очевидца, что Лигия действительно принадлежала к царскому роду. Царская дочь — она могла занять положение при дворе цезаря наравне с дочерьми первейших родов, тем более что народ, царем которого был ее отец, никогда не воевал с Римом, и хотя лигийцы были варварами, народ этот мог оказаться грозным противником, ибо, по свидетельству того же Ателия Гистра, обладал неисчислимым количеством воинов.

Урс подтвердил это свидетельство; на вопрос Виниция о лигийцах он ответил.

— Мы сидим в лесах, а земли у нас столько, что никто не знает, где край ее, и людей у нас множество. Есть у нас деревянные города, славные богатством, потому что мы отнимаем всю добычу семнонов, маркоманов, вандалов и квадов;<sup>[44]</sup> они не смеют идти против нас, но, когда ветер с их стороны — они жгут наши леса. Мы не боимся ни их, ни римского цезаря.

— Боги дали римлянам власть над миром, — строго сказал Виниций.

— Боги — злые духи, — просто ответил Урс, — а где нет римлян, там нет и их власти.

Он поправил огонь в очаге и продолжал, словно беседуя с собой:

— Когда цезарь взял Каллину в свой дом, я подумал, что там могут ее обидеть, и хотел идти в свои леса, чтобы привести лигийцев на выручку царевны. Лигийцы пошли бы на Дунай, потому что они народ добрый, хотя и язычники. О! Я принес бы им «благую весть»! Когда Каллина вернется к Помпонии, я поклонюсь ей и отпрошусь к своим, потому что Христос родился далеко, они еще и не слышали о Нем... Конечно, Он лучше знал, где Ему родиться, но, если бы Он пришел на свет у нас в пуще, мы уж наверное не замучили бы Его, стали бы воспитывать Младенца, позаботились бы о том, чтобы всего было вдоволь — и дичи, и грибов, и бобровых мехов, и янтаря. И все, что награбили бы у свевов или маркоманов, — все отдавали бы Ему, чтобы жил Он в достатке и славе.

Он поставил на огонь горшок с похлебкой, приготовленной для Виниция, и умолк. По-видимому, мысль его блуждала по лигийским пущам, и лишь когда жидкость стала кипеть, он очнулся, вылил похлебку в плоскую чашку, остудил и сказал:

— Главк советует тебе делать как можно меньше движений, даже той рукой, которая здорова, поэтому Каллина приказала мне кормить тебя.

Лигия приказала! На это не могло быть возражения. Виницию не пришло в голову противиться ее воле, словно это была дочь цезаря или богиня, поэтому он не возражал. Урс, сев около ложа, стал черпать похлебку из чаши маленьким кубком и подносить Виницию. Делал он это заботливо, с нежной улыбкой своих добрых голубых глаз, так что Виниций глазам своим не верил: неужели это тот же самый страшный титан, который вчера, убив Кротона, бросился, как ураган, и если бы не милосердие Лигии, конечно, убил бы и его. Молодой патриций впервые в жизни стал останавливать свое внимание на том, что может происходить в душе простеца, слуги и варвара.

Но Урс оказался сиделкой столь же неловкой, сколь и заботливой.

Кубок совершенно терялся в его геркулесовой руке, так что не оставалось места для губ Виниция. После нескольких неудачных попыток великан окончательно растерялся и сказал:

— Эх, легче было бы зубра поймать за рога...

Виниция забавляла неловкость лигийца, но и не менее заинтересовали его последние слова. Он видел в цирке страшных зубров, привезенных из северных лесов, за которыми с опаской охотились опытнейшие бестиарии<sup>[45]</sup> и которые лишь слонам уступали в величине и силе.

— Неужели ты брал этого зверя за рога?

— До двадцати лет боялся делать это, — ответил Урс, — а потом случилось!

Он снова попытался кормить Виниция, но еще более неудачно.

— Придется позвать Мириам или Назария, — сказал он. И вдруг из-за завесы показалась головка Лигии.

— Сейчас я помогу, — сказала она.

Через минуту она вышла из спальни, где, по-видимому, готовилась ко сну, потому что одета была в узкую тунику и распустила волосы. Виниций, сердце которого забилось сильнее при виде ее, стал упрекать ее, почему она не подумала раньше об отдыхе, Лигия же весело ответила ему:

— Я хотела сейчас лечь отдохнуть и сделаю это, но раньше помогу Урсу.

Она присела на край ложа и стала кормить Виниция, который чувствовал себя покорным и счастливым. Когда она наклонялась, он ощущал тепло ее тела, распущенные волосы падали ему на грудь, и Виниций бледнел от нахлынувших чувств, но в своей страсти и желании не забыл, что эта женщина — самый дорогой и наиболее любимый человек и в сравнении с ней весь мир для него — ничто. Прежде он только желал, теперь он любил ее от всего сердца. Прежде, как в жизни, так и в чувстве, он был не лучше своих современников — эгоистом, который думал лишь о себе. Теперь он задумывался и о ней. Он сказал, что больше не хочет есть, и хотя ее присутствие несказанно радовало его, решительно заявил:

— Довольно. Иди отдохнуть, моя божественная.

— Не зови меня так, — ответила она, — мне не пристало слышать это.

Но она улыбнулась ему. Потом сказала, что ей спать не хочется, усталости не чувствует и будет ждать прихода Главка. Ее слова звучали для Виниция как музыка, а сердце было охвачено восторгом и благодарностью, но он не знал, как выразить свои чувства словами.

— Лигия, — сказал он наконец, — раньше я не знал тебя. Но теперь я понял, что стремился к тебе ложной дорогой, поэтому слушай, что я скажу

тебе: вернись к Помпонию Грецине и будь уверена, что отныне я не буду действовать против тебя насильем.

Лицо Лигии стало печальным.

— Я была бы счастлива хоть издали увидеть ее, но вернуться к ней не могу.

— Почему? — спросил удивленный Виниций.

— Мы, христиане, знаем от Актеи, что происходит на Палатине. Разве ты не слышал, что вскоре после моего бегства, перед отъездом в Неаполь, цезарь вызывал к себе Авла и Помпонию и, думая, что они помогали мне, грозил им своим гневом. К счастью, Авл мог ответить ему: «Ты знаешь, государь, что ложь никогда не выходила из моих уст; клянусь, что мы не только не помогали ей бежать, но даже не знаем, как и ты не знаешь, что с ней случилось». Цезарь поверил и скоро забыл. По совету старших, я ни разу не писала матери и не сообщила ей, где я живу, чтобы она могла с чистой совестью поклясться, что не знает ничего обо мне. Может быть, ты, Виниций, и не поймешь этого, но нам нельзя лгать, даже если бы дело шло о жизни и смерти. Таково наше учение, которому мы предаем свои сердца, поэтому я не видела Помпонию с того дня, когда покинула ее дом, а до нее доходили лишь отдаленные слухи, что я жива и нахожусь в безопасности.

Она опечалилась, на глаза набежали слезы. Но скоро овладела собой и сказала:

— Знаю, что и Помпония тоскует по мне, но у нас есть утешение, какого не знают другие.

— Да, — сказал Виниций, — ваше утешение — Христос, но я не понимаю этого.

— Посмотри на нас: нет для нас разлуки, нет страданий и мук, а если и приходят они к нам, то становятся источником радости. И даже смерть, которая для вас является концом жизни, для нас — лишь начало, лишь перемена худшего счастья на лучшее, менее спокойного на более твердое и вечное. Подумай, каким должно быть учение, которое требует милосердия даже к врагам, запрещает ложь, очищает души наши от злобы и обещает после смерти ничем не омрачаемое счастье.

— Я слышал это в Остриануме, я видел, как вы поступили со мной и с Хилоном, но, когда я думаю об этом, мне и теперь кажется, что все это — сон и я не должен верить ушам и глазам своим. Ответь мне на другой вопрос: счастлива ли ты?

— Да, — ответила Лигия. — Исповедуя Христа, не могу быть несчастной.

Виниций посмотрел на нее внимательно, то, что она говорила,

выходило за пределы человеческого разума.

— И ты не хотела бы вернуться к Помпонию?

— Хотела бы от всей души — и вернусь, когда на то будет воля Божья.

— Так говорю тебе: вернись, а я клянусь своими ларами, что не буду преследовать тебя.

Лигия призадумалась, а потом сказала:

— Нет. Я не могу подвергать опасности близких мне людей. Цезарь не любит рода Плавтиев. Если бы я вернулась — ты ведь знаешь, как быстро распространяется всякая новость в Риме через рабов, — мое возвращение стало бы известно всем в городе, и Нерон, несомненно, узнал бы о нем. Тогда он обрушился бы на Авла, а меня снова взял бы к себе.

— Да, это могло бы случиться, — нахмурился Виниций. — Он поступил бы так, хотя бы ради того, чтобы показать, что его воля должна быть выполнена. Правда, он забыл про тебя или не хочет больше заниматься этим делом, полагая, что не ему, а мне причинен ущерб. Но может быть... взяв тебя снова у Авла... отдал бы мне, а я верну тебя Помпонию.

Лигия печально спросила:

— Виниций, неужели ты снова хотел бы увидеть меня на Палатине?

Он стиснул зубы и ответил:

— Нет. Ты права. Я говорил как глупец! Нет!

И он увидел непреодолимую бездну перед собой. Патриций, военный трибун, влиятельный человек, но он весь во власти сумасшедшего человека, ни воли, ни злобы которого нельзя предусмотреть. Не считаться с Нероном, не бояться его могли лишь такие люди, как христиане, для которых весь этот мир, страдания, муки, сама смерть были ничем. Все другие должны трепетать перед цезарем. Грозное время, в какое жили они, впервые предстало перед Виницием во всей своей отвратительной чудовищности. Он не мог бы вернуть Лигию Помпонию из опасения, что чудовище вспомнило бы о ней и обратило бы на девушку свой гнев. И если бы теперь Виниций взял ее себе в жены, он подверг бы опасности ее, себя и Авлов. Достаточно было минуты раздражения, чтобы все они погибли. Первый раз в жизни Виниций задумался над тем, что или мир должен погибнуть и возродиться обновленным, или жизнь станет совершенно невозможной. Понял он также и то, что недавно не было ему ясно: одни лишь христиане могли быть счастливы в такую эпоху.

Он почувствовал искреннее огорчение при мысли, что сам он спутал все в своей жизни и жизни Лигии и не было выхода из-за этой путаницы. Под этим впечатлением он сказал ей:

— Знаешь ли о том, что ты гораздо счастливее меня? В нищете, среди простых людей, живя в этой убогой комнате, у тебя есть твоё учение и твой Христос. А у меня — одна лишь ты, и когда я потерял тебя, я превратился в нищего, без крова над головой, без куска хлеба. Ты мне дороже всего мира. Я искал тебя потому, что не мог жить без тебя. Мне не нужны стали пиры, я потерял сон. Если бы не надежда отыскать тебя, я бросился бы на меч и умер. Но я боюсь смерти, потому что не смогу тогда видеть тебя. Говорю чистую правду, не смогу жить без тебя — и до сих пор я жил лишь надеждой, что найду тебя и увижу. Помнишь ли наши беседы в доме Авла? Однажды ты начертила на песке рыбу, и я не знал, что это значит. Помнишь, как мы играли в мяч? Я любил тебя тогда больше жизни, и ты стала догадываться о моей любви... Пришел Авл, напугал нас Либитиной и прервал беседу, Помпония сказала на прощанье Петронию, что Бог един, всемогущ и милосерд, но нам не пришло даже в голову, что ваш Бог — Христос. Пусть Он отдаст тебя мне, и я возлюблю Его, хотя Он и кажется мне Богом рабов, чужестранцев и нищих. Ты сидишь около меня, а думаешь лишь о Нем. Подумай и обо мне, иначе я возненавижу Его. Для меня ты — божество. Благословен отец твой и мать, благословенна земля, породившая тебя. Я хотел бы обнять твои ноги и молиться тебе; тебе воздавать честь, тебе — жертвы, тебе — поклонение! Ты божественна трижды! Ты не знаешь, ты не можешь знать, как я люблю тебя...

Говоря так, он провел рукой по бледному лбу и закрыл глаза. Природа его не знала удержу ни в гневе, ни в любви. Он говорил с волнением, как человек, переставший владеть собой, не желающий считаться ни с какой мерой в словах и в преклонении. Говорил он от глубины своих чувств и совершенно искренне. Боль, восторг, страсть, благоговение, скопившись в душе его, вырвались вдруг неудержимым потоком слов. И эти слова показались Лигии кощунственными, но сердце ее билось чаще, словно хотело разорвать стеснявшую тунику. Она не могла не жалеть его, не могла не сочувствовать его мукам. Ее растрогало благоговение, с которым он относился к ней. Чувствовала, что любима и боготворима, чувствовала, что этот непреклонный и опасный человек предан ей всей душой и телом, как раб, и сознание его безграничной покорности и своей силы наполнило сердце радостью. Воспоминания мгновенно обступили ее. Он снова стал для нее великолепным и прекрасным, как языческий бог, Виницием, который говорил ей в доме Авла о своей любви и словно будил от сна ее девичье сердце; поцелуи которого она еще ощущала на своих губах; из объятий которого тогда, на пиру у цезаря, ее вырвал Урс и словно вынес из пламени. Но теперь он был взволнован иначе: с страданием на орлином

лице, с бледным лбом и умоляющим взглядом, раненый, убитый горем и любовью; любящий, боготворящий и покорный, таким она хотела видеть его тогда и такого она полюбила бы всей душой. Поэтому он ей был в эту минуту дороже и ближе, чем когда-либо.

И вдруг она поняла, что может прийти минута, когда любовь охватит ее и унесет, как буря; почувствовав это, она ощутила то же, что ощутил он только что: она стояла на краю пропасти. Для этого ли она покинула дом Авла, искала спасения в бегстве, пряталась в нищенских кварталах города? Кто был Виниций? Августинин, солдат, приближенный цезаря! Он принимал участие в разврате Нерона и его безумствах, чему примером был тот пир, которого не могла забыть Лигия. Он ходил вместе с другими в языческие храмы, чтобы приносить там жертвы богам, в которых, может быть, и не верил даже, однако воздавал им надлежащие почести. Преследовал ее, чтобы сделать своей рабыней и наложницей и вместе с тем толкнуть в мир роскоши, пресыщения, преступлений, бесчинств, вопиющих к небу об отмщении. Правда, он казался ей несколько изменившимся, но ведь только что он сам говорил ей, что если она будет думать о Христе больше, чем о нем, то он возненавидит Христа. Лигии казалось, что мысль о какой-нибудь иной любви, кроме любви ко Христу, есть грех против Него и против Его учения; и когда она почувствовала, что в глубине ее души готовы вспыхнуть иные желания и мечты, она испытала страх за свое будущее, за свое собственное сердце.

В минуту этого душевного ее разлада пришел Главк, чтобы осмотреть больного. На лице Виниция отразился гнев и нетерпение. Он был зол, что помешали разговору с Лигией, и когда Главк стал задавать ему вопросы, он отвечал почти презрительно. Правда, он вскоре умерил свое неудовольствие, но если у Лигии была хоть какая-нибудь надежда на то, что слышанное им в Остриануме могло благотельно повлиять на него, то теперь эта надежда должна была развеяться. Он переменялся только по отношению к ней, во всем же остальном осталось неизменным его суровое и самолюбивое, истинно римское и вместе с тем волчье сердце, неспособное воспринять не только сладостного учения христиан, но и простой благодарности.

Она отошла, исполненная тоски и печали. Она раньше принесла в жертву Христу свое тихое и воистину чистое, как слеза, сердце. Теперь оно было смущено. Внутри цветка проникло ядовитое насекомое и стало там жужжать. И даже сон, несмотря на две бессонные ночи, не принес ей успокоения. Ей грезилось, что на Остриануме Нерон во главе разнузданной толпы вакханок, корибантов, гладиаторов и августинан на колесницах,

украшенных розами, давит толпу христиан, а Виниций хватает ее за руки, тащит на свою квадригу и, прижимая к груди, шепчет: «Пойдем с нами!»



С этой минуты Лигия реже показывалась в общей комнате и реже подходила к его ложу. Но спокойствие не возвращалось. Она видела, что Виниций провожает ее умоляющими глазами, ждет ее слова, как величайшей милости, страдает и не смеет жаловаться, чтобы не оттолкнуть ее, что она одна — его здоровье и радость... И сердце ее исполнялось жалости к нему. Скоро она заметила, что, чем больше избегает его, тем сильнее он страдает и тем более нежные чувства к нему просыпаются в ее душе. Ее покинуло спокойствие. Порой девушка говорила себе, что теперь именно она и должна быть все время около него, во-первых, потому, что божественное учение велит платить за зло добром, во-вторых, разговаривая с ним, она могла бы привлечь его к Христу. Но совесть тотчас говорила ей, что она обманывает самое себя, что ее привлекает не что иное, как его любовь и красота. Так жила она в душевном разладе, который увеличивался с каждым днем. Иногда ей казалось, что ее опутывает какая-то сеть и она, желая вырваться из нее, запутывается еще больше. Лигия должна была в душе сознаться, что присутствие его становится ей с каждым днем все необходимее, голос — милее, и ей приходится бороться всеми силами с желанием целыми днями сидеть у ложа больного. Когда она приближалась, он сиял, а в сердце ее также светилась радость. Однажды она заметила следы слез на его ресницах, и первый раз в жизни ей пришла странная мысль: ведь их можно осушить поцелуями. Испуганная этой мыслью и полная презрения к себе, она проплакала всю ночь.

Он был терпелив, словно дал обет терпения. Когда глаза его вдруг вспыхивали гневом и нетерпением, он тотчас гасил эти взрывы и смотрел на нее с тревогой, словно просил прощения. Ее это трогало до слез. Ей не приходилось раньше быть столь любимой, и когда она думала об этом, то чувствовала себя виноватой и счастливой. Виниций действительно сильно изменился. Меньше было гордости в его разговорах с Главком. Ему часто приходило в голову, что и этот бедный лекарь-раб, и чужеземка-старуха Мириам, окружившая его заботой, и Крисп, которого он видел всегда погруженным в молитву, все они — люди. Удивлялся подобным мыслям, и все-таки они приходили. Полюбил Урса и теперь разговаривал с ним по целым дням, потому что мог без конца беседовать с ним о Лигии, а великан был неутомим в рассказах и, оказывая больному самые простые услуги, стал к нему чувствовать нечто вроде привязанности. Лигия всегда была для

Виниция существом иного порядка, в сто раз выше всех окружающих; но он стал присматриваться к жизни простых и бедных людей, чего никогда не делал раньше, и в них стал теперь находить достойные внимания качества, о существовании которых прежде и не подозревал.

И только Назария он не мог выносить: ему казалось, что мальчик осмеливается любить Лигию. Долгое время он удерживался и не обнаруживал своего раздражения, но, когда однажды тот принес девушке двух перепелов, купленных на собственные заработанные деньги, в Виниций проснулся потомок квиритов, для которого чужестранец значил меньше чем червяк. Услышав, что Лигия благодарит его, Виниций побледнел и, когда Назарий вышел из комнаты за водой для птиц, сказал:

— Лигия, неужели ты можешь принимать от него подарки? Разве ты не знаешь, что людей его народа греки зовут еврейскими собаками?

— Не знаю, как называют их греки, — ответила девушка, — но знаю, что Назарий — христианин и мой брат.

Сказав это, она с удивлением и печалью посмотрела на Виниция, потому что она отвыкла за последнее время от подобных вспышек. А он стиснул зубы, чтобы не сказать ей, что такого ее брата он приказал бы насмерть засечь плетью или сослал бы в деревню, чтобы тот в цепях копал землю на его сицилийских виноградниках...

Но он сдержался, подавил в себе гнев и, помолчав, сказал:

— Прости, Лигия. Ведь ты для меня царевна и приемная дочь Плавтиев.

Он настолько поборол себя, что, когда Назарий снова появился в комнате, он посулил, когда поправится и переедет в свой дом, подарить мальчику пару павлинов или фламинго, которых у него было множество в садах.

Лигия поняла, как дорого ему стоят подобные победы над собой. И чем чаще он одерживал их, тем больше склонялось ее сердце к нему. Но его заслуга по отношению к Назарию была меньше, чем она думала. Виниций мог на минуту рассердиться на него, но не мог его ревновать к Лигии. Сын Мириам в его глазах был ничтожнее собаки; кроме того, он был мальчик и если любил Лигию, то любовь эта была несознательна. Большую борьбу должен был выдержать молодой трибун, примирившись, хотя и молчаливо, с тем благоговением, которым среди этих людей было окружено имя Христа и Его учение. В этом отношении с Виницием происходила странная вещь. Как бы то ни было, это было учение, которое исповедовала Лигия, поэтому он готов был принять его. По мере того как возвращалось здоровье и Виниций яснее вспоминал все события, происшедшие с той памятной

ночи в Остриануме, и уяснил себе ряд новых понятий, которые с того времени стали ему известны, — он тем более поражался сверхчеловеческой силой учения, способного совершенно переродить человеческую душу. Понимал, что есть в нем нечто сверхъестественное, чего не было до сих пор, и чувствовал, что если бы это учение охватило весь мир, привило бы ему свою любовь и свое милосердие, то, пожалуй, наступила бы эпоха, похожая на ту, когда не Юпитер правил миром, а Сатурн. Он не дерзал сомневаться в сверхъестественном происхождении Христа, в Его воскресении, в Его чудесах. Свидетели-очевидцы, утверждавшие это, достойны были веры и слишком презирали ложь, чтобы он мог хоть на минуту допустить, что они рассказывают про несуществующие события. Римский скептицизм позволял не верить в богов, но верил в чудеса. Перед Виницием была странная загадка, разрешить которую он не умел. Но, с другой стороны, все это учение казалось ему столь противоречащим существующему порядку вещей, столь невероятным в смысле проведения в жизнь, и столь безумным, как никакое другое. По его мнению, люди и в Риме и на целом свете могли быть злы, но порядок вещей был добрым. Если бы, например, цезарь был честным человеком, если бы сенат составляли не развратники, а такие люди, как Трасей, — чего бы тогда желать лучшего? Ведь римский мир и римское владычество были вещью доброй, деление людей — правильным и справедливым. Между тем это учение, как понимал его Виниций, должно было разрушить всякий порядок, владычество Рима, стереть все противоречия. Что тогда было бы с Римом и его мировой властью? Разве римляне могут отказаться от владычества или признать массу покоренных народов за равных себе? Это не могло поместиться в голове патриция. Кроме того, учение это было противно всем его личным пристрастиям, вкусам и привычкам, его характеру и жизненным взглядам. Он совершенно не мог представить себе, как стал бы жить, приняв это учение. Боялся и удивлялся ему, но при мысли о принятии его возмущалась вся природа Виниция; наконец, он ясно понимал, что оно лишь одно разделяет их с Лигией, и когда думал об этом, то ненавидел его от всей души.

Но он отдавал себе отчет также и в том, что это учение сделало Лигию невыразимо и исключительно прекрасной, благодаря чему в душе его кроме любви возникло также благоговение, кроме страсти — преклонение, и сама Лигия стала для него самым дорогим существом в мире. И тогда ему хотелось полюбить Христа. Он понимал, что или должен возлюбить Его, или возненавидеть, — равнодушным остаться не может. Его увлекали две встречные волны, он колебался, не мог выбрать, но он преклонял голову и

воздавал молча честь непонятному Богу, потому что это был Бог Лигии.

Лигия видела, что в нем происходит, как он борется с собой, как природа его отвергала это учение, и если, с одной стороны, она огорчалась этим, то с другой — сожаление, сочувствие и благодарность за его молчаливое признание Христа склоняли к нему с необоримой силой ее сердце. Она вспоминала Авла Плавтия и Помпонию Грецину. Для Помпонию источником постоянной печали и никогда не просыхающих слез была мысль, что она после смерти не найдет своего Авла. Лигия теперь поняла эту горечь и боль. И она нашла дорогое существо, с которым ей грозила вечная разлука. Иногда она надеялась, что душа его откроется Христовой правде, но надеждам не суждено исполниться. Она знала и понимала Виниция слишком хорошо. Виниций — христианин! Эти два понятия, даже в ее неопытной головке, не могли поместиться рядом. Если рассудительный и спокойный Авл не стал христианином под влиянием мудрой и совершенной Помпонию, как мог им сделаться Виниций? На это не было ответа, а если и был, то лишь один: нет для него ни надежды, ни спасения.

Лигия со страхом видела, что губительный приговор, висевший над ним, вместо того чтобы оттолкнуть от него, делает его для нее еще более дорогим и достойным сожаления. Иногда ей хотелось искренне поговорить с ним о его темном прошлом, но, когда она села однажды около него и сказала, что вне христианской веры нет жизни, он приподнялся на здоровой руке и вдруг положил голову ей на колени, говоря: «Ты — моя жизнь!» И тогда дыхание замерло в ее груди, она забыла, что с ней происходит, упоительная дрожь пробежала по всему ее телу. Взяв за виски, она пыталась поднять голову Виниция, но при этом сама наклонилась к нему, так что невольно коснулась губами его волос, и несколько мгновений они сладостно боролись с собой и с любовью, которая толкала их друг к другу.

Наконец Лигия не выдержала, встала и убежала, почувствовав огонь в крови и кружение головы. И это была капля, которая окончательно переполнила чашу. Виниций не догадывался, как дорого придется ему заплатить за мгновение счастья, но Лигия поняла теперь, что ей самой нужно подумать о спасении. Эту ночь она провела без сна, в слезах и в молитве, с чувством, что недостойна молиться и не может быть услышана. Утром она рано вышла из спальни и, вызвав Криспа в садовую беседку, увитую плющом и увядшими цветами, открыла ему всю свою душу, умоляя, чтобы он позволил ей покинуть дом старой Мириам, ибо она не может больше полагаться на себя и превозмочь в сердце своем любовь к Виницию.

Крисп, человек старый, суровый, погруженный в думы и молитвы, одобрил ее намерение покинуть дом Мириам, но не нашел слов прощения для греховной, по его понятиям, любви. Он был глубоко возмущен при одной лишь мысли о том, что та Лигия, о которой он заботился со дня ее бегства, которую полюбил, утвердил в вере и на которую смотрел до сих пор, как на белую лилию, расцветшую на почве христианской науки, которой не коснулось тлетворное дыхание земли, — могла найти в своей душе место иной любви, кроме небесной. До сих пор он верил, что нигде в целом мире не билось столь чистое сердце во славу Христа. Он хотел принести ее в жертву Христу, как жемчужину, как сокровище, как дело своих рук, — поэтому сознание, что он обманулся в своих надеждах, привело его в недоумение и очень огорчило.

— Иди и проси Бога, чтобы он простил тебе вину, — мрачно сказал он. — Беги, пока злой дух, опутавший тебя, не погубил тебя окончательно и не отторг от Спасителя. Бог умер ради тебя на кресте, чтобы кровью своей искупить твою душу, но ты предпочла полюбить того, кто хотел тебя сделать своей наложницей. Бог чудом спас тебя от руки этого человека, а ты открыла сердце свое нечистой страсти и полюбила сына мрака. Кто он такой? Друг и слуга антихриста, соучастник разврата и преступлений. Куда поведет он тебя, кроме бездны и содома, в котором сам живет и который будет уничтожен пламенем Божьего гнева? И я говорю тебе: лучше бы тебе умереть, лучше стенам этого дома обрушиться на твою голову раньше, чем этот змей вполз в твое сердце и отравил его ядом своего греха.

Он возмущался и негодовал; вина Лигии исполнила его не только гневом, но также отвращением и презрением к человеческой природе вообще, а в особенности к женщине, которую даже Христово учение не может сохранить от слабостей Евы. Для него было неважно, что девушка осталась чистой, что она хотела бежать от этой любви и что исповедалась в ней с сокрушением и раскаянием. Крисп хотел превратить ее в ангела и вознести на высоту, на которой существовала только любовь к Христу, а она полюбила приближенного цезаря! Самая мысль об этом наполняла его сердце горечью, усиленной чувством разочарования. Нет! Этого он не мог ей простить! Горькие слова жгли его губы, как раскаленные угли; он боролся с собой, чтобы не произносить их, и потрясал над головой смущенной девушки своими худыми руками. Лигия чувствовала себя виновной, но не до такой степени виновной. Она думала даже, что уход из дома Мириам будет для нее победой над искушением и уменьшением вины. Крисп растоптал ее, показал всю греховность и ничтожество ее души, чего она не подозревала до сих пор. Она надеялась, что старый пресвитер,

который со дня ее бегства был для нее вторым отцом, будет к ней снисходителен, пожалеет ее, утешит, ободрит, укрепит.

— Богу предаю свою обманутую надежду и боль, — говорил он, — но ты обманула и Спасителя, потому что сошла в болото, испарения которого отравили тебе душу. Ты могла ее предать Христу, как драгоценный сосуд, и сказать ему: «Наполни его, Господи, благодатью!» Но ты предпочла отдать его слуге злого духа. Пусть Бог простит тебя и сжалится над тобой, но пока ты не извергнешь змея из своего сердца... я, который считал тебя избранницей...

Он вдруг умолк, заметив, что они не одни.

Сквозь увядшую зелень и плющ, одинаково зеленый и зимой и летом, он увидел двух людей, из которых один был апостол Петр. Другого он не мог сразу разглядеть, потому что грубый плащ закрывал часть его лица.

Криспу даже на одно мгновение показалось, что это был Хилон.

Услышав взволнованный голос Криспа, они вошли в беседку и сели на каменную скамью. Спутник Петра открыл свое худое лицо с почти голым черепом, покрытым на висках курчавыми волосами, с покрасневшими веками и с кривым носом, — некрасивое и вдохновенное. Крисп сразу узнал Павла из Тарса.

Лигия опустилась на колени, с отчаянием обняла ноги Петра и, прижав опечаленное лицо к складкам его плаща, осталась в таком положении, не произнося ни слова.

Петр сказал:

— Мир душам вашим.

Видя девушку склоненной у своих ног, он спросил, что случилось. Тогда Крисп стал рассказывать про все, в чем призналась ему Лигия: про ее грешную любовь, про желание бежать из дома Мириам, и свое огорчение, что душа, которую он хотел принести Христу чистой, как слеза, загрязнила себя земной страстью к соучастнику всех преступлений, в которых погряз языческий мир и которые вопили к небу об отмщении.

Во время его речи Лигия сильнее прижималась к ногам апостола, словно желая у него найти прибежище и вымолить хоть немного жалости.

Апостол, выслушав до конца, наклонился, положил свою старческую руку на голову девушки, потом поднял глаза на старого пресвитера и сказал:

— Крисп, разве ты не слышал, что наш возлюбленный Учитель был в Кане на свадьбе и благословил любовь жены и мужа?

У Криспа опустились руки, и он с изумлением смотрел на вопрошавшего, не в силах выговорить ни слова. А тот, помолчав минуту,

снова спросил:

— Крисп, неужели ты думаешь, что Христос, позволивший Марии из Магдалы лежать у ног своих и простивший явной грешнице, отвратился бы от этого ребенка, чистого, как полевая лилия?

Лигия с рыданием прижалась еще крепче к ногам Петра, поняв, что не напрасно искала у него защиты. Апостол, приподняв ее залитое слезами лицо, сказал ей:

— Пока глаза того, кого ты любишь, не увидят света истины, избегай его, чтобы не довел он тебя до греха, но молись за него и знай, что нет вины в любви твоей. А если хочешь бежать искушения, то эта заслуга зачтется тебе. Не огорчайся и не плачь, ибо говорю тебе, что благодать Спасителя не оставит тебя, и молитвы твои будут услышаны, а после печалей настанут дни радости.

Сказав так, он положил обе руки на ее голову и, подняв к небу глаза, благословил ее. Лицо его сияло неземной добротой.

Уничтоженный Крисп стал сокрушенно оправдываться:

— Согрешил я против милосердия, но ведь я думал, что, допустив в сердце земную любовь, она отреклась от Христа...

Петр же сказал:

— Трижды я отрекся от него, и однако он простил меня и велел пасти своих овец.

— ...Кроме того, — продолжал Крисп, — Виниций — друг цезаря...

— Христос смягчал и более жесткие сердца, — ответил Петр.

На это Павел, который до сих пор молчал, приложив палец к груди и указывая на себя, сказал:

— Вот я, который преследовал и предавал смерти слуг Христовых. Я во время избияния камнями Стефана сторожил одежды избивавших; я хотел истребить правду Христову на всей земле, населенной людьми, и однако меня избрал Господь, чтобы я проповедал эту правду по всей земле. И я проповедал в Иудее, в Греции, на островах и в этом безбожном городе, когда впервые попал сюда в темницу. А теперь, когда призвал меня Петр, мой владыка, я войду в дом этот, чтобы склонить эту буйную голову к стопам Христовым и бросить зерно на каменистую почву, которую смягчит Господь, чтобы дала она богатые всходы.

И он встал. Этот маленький, сгорбленный человек показался Криспу тем, чем он был в самом деле, то есть исполином, который потрясет мир до основания и просветит народы и земли.

Петроний к Виницию:

«Помилуй, дорогой, и не подражай в своих письмах ни лакедемонянам, ни Юлию Цезарю. Если бы по крайней мере, как он, ты мог бы написать: *veni, vidi, vici* — пришел, увидел, победил! — я понял бы такой лаконизм. Но твое письмо означает в конце концов: *veni, vidi, fugi* — пришел, увидел, побежал; но так как подобное окончание дела совершенно противно твоей природе, так как ты был ранен и так как происходили с тобой, по-видимому, необыкновенные вещи, то и письмо твое требует более пространных объяснений. Я глазам своим не верил, читая, что лигиец так же легко удушил Кротона, как каледонский пес душит волка в ущельях Гибернии. Этот человек стоит столько золота, сколько весит его тело, и от него самого зависит стать любимцем цезаря. Когда вернусь в Рим, ближе познакомлюсь с ним и велю отлить с него бронзовую статую. Меднобородый лопнет от зависти и любопытства, когда я скажу ему, что это с натуры. Подлинно атлетические тела теперь очень редки и в Италии и в Греции; о Востоке и говорить нечего, а у германцев, хотя они и крупны, мускулы покрыты жиром и больше в них внушительности, чем силы. Узнай у лигийца, что он — исключение или есть среди его соплеменников много таких экземпляров? Что если тебе или мне по обязанности придется устроить игры, ведь хорошо было бы знать, где искать хорошее тело.

Но слава богам — восточным и западным, что ты ушел живым из этих рук. По-видимому, уцелел потому, что ты патриций и сын консулария, но все случившееся с тобой меня приводит в изумление до последней степени: и это кладбище, на котором ты очутился среди христиан, и они сами, и образ их действий по отношению к тебе, и последнее бегство Лигии, и, наконец, печаль и тревога, которыми веет от краткого твоего письма. Объясни, потому что многих вещей я не понимаю; и если хочешь знать правду, то скажу откровенно, что я не понимаю: ни христиан, ни тебя, ни Лигии. И не удивляйся, что я, которого



немногое интересуется, кроме своей личной особы, допытываюсь обо всем так настойчиво. Я принял участие во всем происшедшем, поэтому считаю это дело пока что своим личным. Пиши скорее, потому что я не могу сказать, когда мы увидимся. В голове Меднобородого планы меняются ежеминутно, как весенний ветер. Сейчас, сидя в Беневенте, он хочет ехать в Грецию и не возвращаться в Рим. Тигеллин, однако, советует вернуться хотя бы на короткое время, потому что народ, скучающий без его особы (читай: без игр и дарового хлеба), может взбунтоваться. Я не знаю, что в конце концов будет. Если Ахайя удовлетворит нас, то, может быть, захотим ехать в Египет. Я очень настаиваю, чтобы ты приехал сюда, думаю, что в твоём положении путешествие и наши развлечения послужили бы тебе лекарством, — но не знаю, застанешь ли нас здесь. Подумай также, не лучше ли тебе отдохнуть от своих волнений в своём имении на Сицилии, а не сидеть в Риме. Пиши о себе подробнее — и прощай. Никаких пожеланий, кроме здоровья, на этот раз не присоединяю, потому что, клянусь Поллуксом, не знаю, чего тебе пожелать».

Виниций, получив это письмо, сначала не чувствовал желания отвечать. Ему казалось, что отвечать не стоит, это будет бесполезно, ничего не выяснит и ничего не разрешит. Его охватило разочарование и мысли о тщете жизни. Кроме того, ему казалось, что Петроний ни в каком случае не поймет его, что с их разлукой произошло и какое-то охлаждение между ними. Но он не мог прийти к согласию и с самим собой. Вернувшись из-за Тибра в свой роскошный дом на Каринах, он был слаб, измучен и в первые дни радовался отдыху, удобствам и богатству, которое окружало его. Но радость эта была короткой. Вскоре он почувствовал, что все представлявшее до сих пор интерес в жизни или совсем для него не существует, или уменьшилось до невероятно малых размеров. У него было такое чувство, что в душе разорваны струны, соединявшие его с жизнью, и не натянуты новые. При мысли, что он мог бы поехать в Беневент, а потом в Ахайю, чтобы погрузиться в роскошную жизнь, полную безумных выдумок, он почувствовал тщету всего этого. «Зачем? Что это все даст мне?» Вот первые вопросы, которые мелькнули в его голове. И он подумал, что теперь разговор Петрония, его остроумие, блеск, изысканность мысли и яркость словесных

форм — утомляли бы его.

Но, с другой стороны, ему становилось тягостным и одиночество. Все его друзья были с цезарем в Беневенте, поэтому приходилось сидеть дома, с головой полной мыслью и сердцем полным чувств, в которых он не мог разобраться. Ему даже казалось порой, что если бы удалось поговорить с кем-нибудь обо всем, что происходит в его душе, то, может быть, он сумел бы понять, осмыслить, разобраться в своем положении. С этой надеждой после нескольких дней колебания он решил все-таки ответить Петронию и, хотя не был уверен, пошлет ли в Беневент свое письмо, написал его, однако, в следующих выражениях:

«Ты хочешь, чтобы я написал подробнее, — хорошо; сумею ли написать яснее, не знаю, потому что сам не могу развязать многих узлов. Я написал тебе о своем пребывании у христиан, о их обращении с врагами, к которым они вправе были причислить меня и Хилона, о заботливом уходе, какой я нашел там, и о исчезновении Лигии. Нет, дорогой, не потому пощадили меня, что я сын консулария. Подобных соображений для них не существует, потому что простили же они Хилону, хотя я сам предложил им убить его и зарыть в саду. Это люди, каких не знал мир, и учение, какого мир до сих пор не слышал. Ничего другого сказать тебе не сумею, и всякий, кто захочет мерить их нашей меркой, ошибется. Но скажу одно: если бы я лежал со сломанной рукой у себя в доме и если бы за мной ухаживали мои слуги или родственники, я, наверное, пользовался бы большими удобствами, но не встретил бы и половины той заботливости, какую нашел у них. Знай, что и Лигия такая же, как они. Если бы она была моей сестрой или женой, она не сделала бы большего. Не раз сердце мое исполнялось радости, и я думал, что одна лишь любовь может руководить ею. Не раз я читал это на лице ее и в глазах, и тогда, поверишь ли, среди этих простых людей, в убогой хижине, которая служила им кухней и триклинием, я чувствовал себя счастливее, чем когда-либо. Нет, я не был чужим для нее, и даже до сих пор мне кажется немыслимым думать иначе. И, однако, Лигия тайно от меня покинула дом Мириам. Я сижу по целым дням и размышляю: почему она так поступила? Писал ли я тебе, что сам предлагал ей вернуться к Авлу? Она ответила, что это невозможно и потому, что они уехали в Сицилию, и потому, что всякие новости, переходя через рабов из

дома в дом, доходят до Палатина. Цезарь мог снова взять ее у Авла. Это правда! Она, однако, знала, что я не стану больше преследовать ее, отказываюсь от насилия; продолжая любить ее и не представляя без нее жизни, я введу ее в дом как жену через украшенные зеленью двери и посажу на священной шкуре у очага... И все-таки она бежала! Почему? Ей больше не грозило ничто. Если она не любила меня, могла просто отказаться. Днем раньше я узнал там странного человека, Павла из Тарса, который беседовал со мной о Христе и его учении и говорил очень сильно; мне казалось, что каждое слово помимо его воли обращает в прах все основы нашего мира. Этот человек посетил меня после ее исчезновения и сказал: «Когда Бог откроет глаза твои и снимет с них бельмо, как снял с моих, — ты поймешь, что она поступила правильно, и, может быть, найдешь ее». И вот я ломаю голову над этими словами, словно услышал их из уст Пифии в Дельфах. Иногда мне кажется, что я начинаю понимать. Они из любви к людям являются врагами нашей жизни, наших богов и... наших преступлений; поэтому она бежала от меня, как от человека, принадлежащего к этому миру, с которым ей пришлось бы разделить жизнь, по понятиям христиан преступную. Ты скажешь, что раз она могла просто отвергнуть меня, то незачем было ей бежать? В таком случае она бежала от любви. При одной мысли об этом мне хочется разослать своих рабов по всем закоулкам Рима, чтобы они повсюду кричали: «Вернись, Лигия!» Но я не понимаю, почему она поступила так. Ведь я не мешал бы ей верить во Христа и даже поставил бы ему алтарь в атриуме. Что мешало бы и мне поверить в одного нового бога — мне, который и в старых-то не очень верит? Знаю наверное, что христиане никогда не лгут, — а они утверждают, что он воскрес. Человек этого не мог бы сделать. Этот Павел — римский гражданин и как еврей знает старые еврейские книги. Он говорил мне, что приход Христа был предсказан за тысячи лет раньше пророками. Все это вещи необыкновенные, сверхъестественные, но разве сверхъестественное не окружает нас со всех сторон? Ведь еще не перестали говорить об Аполлонии Тианском. Утверждение Павла, что нет толпы богов, а есть лишь один бог, кажется мне разумным. Говорят, и Сенека держится того же мнения, да и раньше многие думали так же. Христос существовал, дал распять себя ради спасения мира и воскрес. Все

это совершенно достоверно, и потому я не вижу причины упорствовать в противоположном мнении или не поставить ему алтаря, раз я готов был поставить алтарь, например, Серапису. Мне нетрудно было бы отказаться от всех других богов, потому что более разумные люди и так не верят в них. Но, кажется, все это для христиан еще недостаточно. Недостаточно почитать Христа — нужно жить согласно его учению; и здесь словно я поставлен на берегу моря, которое заставляют меня перейти пешком. Если бы я обещал им это, они сами почувствовали бы, что слова мои пустой звук. Павел откровенно сказал мне об этом. Ты знаешь, как я люблю Лигию, и знаешь, что нет ничего в мире, чего бы я не сделал для нее. Но ведь не могу же я по ее просьбе поднять на руках Везувий или поместить на ладони Тразименское озеро, не могу мои черные глаза сделать голубыми, как у лигийцев. Если бы она потребовала, я, конечно, хотел бы выполнить и это, но ведь подобные вещи не в моих силах. Я не философ, но и не такой глупец, каким, может быть, не раз казался тебе. И вот я говорю: не знаю, как христиане смотрят вообще на жизнь, но ясно вижу, что там, где начинается их учение, кончается владычество Рима, гибнет Рим, прекращается жизнь, уничтожается разница между побежденным и победителем, богатым и бедным, господином и рабом, кончается государственный строй, цезарь, право и мировой порядок и вместо всего этого приходит Христос и какое-то милосердие, какого до сих пор не было, какая-то доброта, противная нашим римским и общечеловеческим инстинктам. Правда, меня больше интересует Лигия, чем Рим и его владычество, — и пусть погибнет мир, лишь бы она вошла в мой дом. Но это другое дело. Для них, христиан, недостаточно признать что-нибудь на словах, они считают необходимостью чувствовать, что данная вещь есть добро, и чтобы в душе не было ничего иного. А я — клянусь богами! — не могу так. Понимаешь, что это значит? Есть что-то в моей природе, что отвращается от этого учения, и хотя бы уста мои славил его, хотя бы я точно держался его предписаний, мой ум и моя душа сказали бы мне, что я делаю это ради Лигии, ради любви к ней, и если бы не она, ничто в мире не было бы мне столь противно, как именно это учение. И что удивительнее всего, это понимает Павел из Тарса, понимает, несмотря на всю свою простоту и низкое происхождение, и этот старейший апостол,

самый главный среди них, Петр, который был учеником Христа. И ты знаешь, что они делают? Они молятся за меня и просят ниспослания чего-то, что называют благодатью! А на меня нисходит лишь тревога и еще большая тоска по Лигии.

Я писал тебе о том, что она ушла тайно, но, уходя, оставила мне крест, сделанный собственноручно из веточек букса. Проснувшись, я нашел его около своего ложа. Он теперь у меня в ларариуме, — и я сам не понимаю, почему смотрю на него, как на что-то божественное, с чувством благоговения и трепетом. Люблю его потому, что он сделан ее руками, и ненавижу потому, что он разделяет нас. Иногда мне кажется, что во всем этом какое-то колдовство и что теург Петр, хотя и называет себя простым рыбаком, на самом деле больше и Аполлония и всех других, какие были раньше его, и это он опутал всех: Лигию, Помпонию и меня самого.

Ты пишешь, что в письме моем чувствуется тревога и печаль. Печаль должна быть, потому что я снова потерял ее, а тревога оттого, что во мне произошла какая-то перемена. Говорю искренне, что нет ничего более чуждого моей природе, как это учение, и однако с того времени, как я узнал его, не узнаю себя... Колдовство или любовь?.. Цирцея своим прикосновением изменяла тела людей, а у меня изменена душа. Это могла сделать одна лишь Лигия, вернее, через Лигию, то странное учение, которое она исповедует.

Когда я вернулся к себе домой, меня там совсем не ждали. Думали, что я в Беневенте и вернусь не скоро. Дома я застал беспорядок и пьяных рабов, пирующих в моем триклиниуме. Они больше ждали смерти, чем меня, и меньше испугались бы ее прихода. Ты знаешь, как строго держу я свой дом, поэтому все упали на колени, а некоторые обмерли со страха. И знаешь, как я поступил? В первую минуту хотел было потребовать розог и раскаленного железа, но вдруг чего-то устыдился, и — поверишь ли? — мне стало жаль несчастных... Есть среди них старики, которых привел еще дед мой Марк Виниций из-за Рейна. Я заперся один в библиотеке, и там мне пришли еще более странные мысли, а именно: после всего, что я слышал и видел у христиан, не следует поступать с рабами так, как поступал я до сих пор, и что они тоже люди. Несколько дней они ходили в смертельном страхе, полагая, что я медлю ради того, чтобы

обдумать какое-нибудь особенно жестокое наказание, но я не наказывал их, и не наказал потому, что не смог! Призвав их на третий день, сказал: я прощаю вас, а вы постарайтесь загладить вину верной службой! Они упали на колени, заливаясь слезами, протягивали ко мне руки, называли господином и отцом, а я — признаюсь тебе со стыдом! — был равно растроган. Мне казалось, что в эту минуту я вижу нежное лицо Лигии и глаза ее, полные слез и благодарные. И я почувствовал, что и у меня глаза стали влажными... Я признаюсь тебе: я не могу жить без нее, худо мне в одиночестве, я несчастен, и моя печаль больше, чем ты предполагаешь... Что касается моих рабов — вот на что я обратил внимание. Прощение, полученное ими, не распустило их и не ослабило дисциплины; никогда страх не побуждал их так добросовестно работать, как чувство благодарности. Они не только хорошо служат, но словно стараются угадать все мои желания. Говорю тебе об этом вот почему: накануне ухода моего от христиан я сказал Павлу, что мир распался бы от его учения, как бочка без обручей, а он мне ответил: «Любовь — более крепкий обруч, чем насилие». Теперь я убедился, что в некоторых случаях положение это может быть верным. Я проверил его и на своих клиентах, узнавших о моем возвращении и собравшихся приветствовать меня. Ты знаешь, что я никогда не был для них скуп, но еще отец мой относился к ним полупрезрительно и меня приучил к такому же отношению. И вот теперь, увидев потертые плащи и голодные лица, я снова почувствовал что-то вроде жалости. Я велел накормить их, кроме того, я разговаривал с ними; некоторых назвал по имени, иных спросил про их жен и детей, и снова я увидел слезы на глазах, и снова мне показалось, что Лигия смотрит на меня, радуется, довольна... Или ум мой начинает затемняться, или любовь путает мои чувства — не знаю, но знаю, знаю наверное, что она смотрит на меня издали, и я боюсь совершить что-нибудь такое, что могло бы огорчить или оскорбить ее. Да, Кай, мне подменили душу, иногда мне хорошо от этого, иногда я мучусь, потому что боюсь, не отнято ли у меня прежнее мужество, энергия, может быть, я теперь неспособен участвовать в совете, судить, пировать и даже воевать. Это явное колдовство! Меня так сильно изменили, что я готов признаться тебе даже в том, что приходило мне в голову во время болезни: если бы Лигия была похожа на Нигидию, Поппею, Криспиниллу

или на других наших разведенных женщин, как и они — развратна, жестока и доступна, то я не любил бы ее так, как люблю. А если я люблю ее как раз за то, что нас разделяет, то ты поймешь, какой хаос родится в моей душе, в каком блуждаю я мраке, не вижу пути и совершенно не знаю, что делать. Если жизнь может быть уподоблена источнику, то в моем источнике течет вместо воды тревога. Живу надеждой увидеть ее, иногда мне кажется, что этому суждено быть... Что будет со мной через год-два, не знаю и не могу угадать. Из Рима не уеду. Я не вынес бы общества августиан; кроме того, единственным утешением в моей печали и тревоге является мысль, что где-то близко живет Лигия, и через Главка, врача, который обещал навещать меня, или через Павла из Тарса я время от времени смогу узнать о ней хоть что-нибудь. Нет! Я не покину Рима, хотя бы мне обещали дать в управление Египет. Знай также, что я заказал скульптору каменный памятник на могилу Гулона, которого убил тогда в гневе. Поздно пришло мне это в голову, а ведь он носил меня на руках и первый научил меня класть стрелу и натягивать тетиву лука. Сам не знаю почему проснулось во мне воспоминание о нем: мне словно чего-то жаль и я чувствую укоры совести... Если тебя удивит все, что я написал, то знай, что я сам не менее твоего удивлен, но пишу тебе все-таки искренне, одну правду. Прощай».

## VII

На это письмо Виниций не получил ответа, — Петроний не писал, по-видимому надеясь, что цезарь каждую минуту может назначить отъезд в Рим. Весть об этом дошла до города и возбудила радость в сердцах римлян, скучавших без игр и раздачи хлеба и оливок, огромные запасы которых были собраны в Остии. Гелий, вольноотпущенник Нерона, объявил наконец сенату о возвращении цезаря. Однако Нерон, сев со своей свитой на корабли у Микен, приближался к Риму очень медленно, заходя в прибрежные города для отдыха или публичных выступлений. В Минтурне, где Нерон пел в театре, провели дней двадцать; он думал даже, не вернуться ли в Неаполь, чтобы встретить там весну, которая в этом году обещала быть ранней и теплой.

Все это время Виниций провел безвыходно в своем доме, думая о Лигии и о новых для него вещах, которые так перевернули его душу, внеся в нее ряд чуждых понятий и мыслей. Он изредка виделся с Главком, каждое посещение которого наполняло его душу радостью, потому что можно было поговорить о Лигии. Главк не знал, где она нашла себе приют, но он уверял, что старшие окружили ее нежной заботой. Однажды, тронутый печалью Виниция, Главк рассказал ему о том, как апостол Петр упрекнул Криспа за то, что тот ставил в вину Лигии ее земную любовь. Молодой патриций, услышав это, побледнел от волнения. Он сам не раз замечал, что небезразличен Лигии, но часто впадал в сомнения и неуверенность; теперь в первый раз он услышал подтверждение своих надежд и желаний из чужих уст и, главное, от христианина. В первую минуту, благодарный, он хотел немедленно бежать к Петру; узнав от Главка, что апостола нет в городе и что он проповедует где-то в окрестностях, он умолял Главка привести его по возвращении, обещая щедро оделить бедняков общины. Ему казалось, что если Лигия его любит, то все препятствия устранены, потому что он готов был каждую минуту принять Христово учение. Хотя Главк и убеждал Виниция креститься, все же не решался утверждать, что Виниций добудет этим Лигию; он говорил, что крещения нужно желать ради самого крещения и любви к Христу, а не для других целей. «Нужно, чтобы и душа стала христианской», — сказал он, и Виниций, которого раньше всякое препятствие выводило из себя, теперь начинал понимать, что христианин Главк говорит, что должен говорить. Сам он не отдавал себе ясного отчета в том, что было главной переменной в нем: прежде он



смотрел на людей и вещи лишь с точки зрения собственного эгоизма, а теперь медленно стал привыкать к мысли, что другие глаза могут иначе смотреть, другое сердце — иначе чувствовать и правда не всегда совпадает с личной выгодой.

Часто ему хотелось повидать Павла, речи которого заинтересовали его и взволновали. Он придумывал доказательства, при помощи которых опровергнет его учение, мысленно оказывал ему сопротивление, но очень хотел увидеть его и услышать. Но Павел уехал из Рима; когда же и Главк стал редко посещать его, Виниция окружало полное одиночество. Тогда он снова начал скитаться по закоулкам Субурры, по узким улочкам за Тибром, в надежде хоть издали увидеть Лигию, но, когда и эта надежда оказалась тщетной, сердцем его овладела скука и нетерпение. Пришло время, когда прежняя природа его еще раз проснулась в нем с такой силой, с какой волна возвращается к берегу, от которого отхлынула. Ему казалось, что он был глупцом, напрасно засорившим свой ум разным вздором, который вогнал его в тоску, — от жизни нужно брать все, что она дает. Решил забыть Лигию или по крайней мере искать наслаждений и радости помимо нее. Но он понимал, что это последняя его попытка, поэтому бросился в водоворот жизни с свойственной ему слепой горячностью и увлечением. И сама жизнь словно поощряла его в этом. Вымерший и опустевший на зиму город стал оживать в надежде на близкий приезд цезаря. Готовилась торжественная встреча. Наступала весна; с Альбанских гор исчезли снега под знойным дыханием африканских ветров, в садах зацвели фиалки, на Форуме и Марсовом полях появились толпы, гревшиеся на солнце. На Аппиевой дороге — месте обычных загородных прогулок — появились богато украшенные колесницы. Совершались поездки в Альбанские горы. Молодые женщины, под предлогом принесения жертв Юноне в Ланувиуме или Диане в Ариции, покидали дома, чтобы за городом искать впечатлений, общества, встреч и наслаждений.

Однажды среди роскошных колесниц Виниций увидел там великолепную повозку Хризотемиды, возлюбленной Петрония. Она была окружена толпой молодежи и старых сенаторов, которых задержали дела в Риме. Хризотемида сама правила четверкой корсиканских лошадок, посылая окружающим улыбки и легкие удары золотым бичом. Увидев Виниция, она остановилась и взяла его в колесницу, а потом увезла к себе домой на пиршество, продолжавшееся всю ночь напролет. Виниций напился на пиру так, что не помнил даже, когда и кто отвез его домой. Однако у него осталось в памяти, что, когда Хризотемида спросила его про Лигию, он рассердился и, будучи уже пьян, вылил ей на голову чашу

фалернского вина. Вспоминая об этом, протрезвившийся Виниций продолжал еще сердиться на нее. На другой день Хризотемида, забыв, по-видимому, об оскорблении, навестила его, взяла с собой на Аппиеву дорогу, потом была на пиру в его доме, где и призналась, что не только Петроний надоел ей, но и его лютнист, и что теперь она скучает и сердце ее свободно. В течение недели они всюду бывали вместе, но отношения не обещали быть прочными. Хотя после случая с фалернским вином имя Лигии не упоминалось совсем, Виниций не мог, однако, не думать о ней. Он все время чувствовал, что глаза ее обращены на него, и это чувство наполняло сердце страхом. Он терзался, не в силах отделаться от мысли, что огорчает Лигию. После первой же сцены ревности, устроенной Хризотемидой по поводу двух сирийских девушек, которых он купил себе, Виниций грубо покинул ее. Он не переставал предаваться разврату, наоборот, делал это словно назло Лигии, но в конце концов понял, что мысль о ней не покидает его ни на минуту, что она одна является побуждением его дурных и добрых поступков и что, собственно говоря, ничто в мире ему не дорого, кроме нее одной. Тогда им овладела скука, разочарование, усталость. Наслаждения опротивели и оставили мутный осадок на душе. Он чувствовал себя несчастным, и это чувство изумило его, потому что прежде он считал счастьем все, что доставляло наслаждение. В конце концов он лишился свободы, уверенности в себе, — пал духом. Его несколько не взволновало известие о приезде цезаря. Ничто его не интересовало, и даже к Петронию он не собрался до тех пор, пока тот не прислал ему приглашения в своей лектике.

Встретившись с ним, радостно приветствуемый другом, Виниций отвечал на вопросы неохотно, пока долго сдерживаемые чувства и мысли не хлынули наконец бурным потоком слов. Он еще раз поведал всю историю поисков Лигии, подробно рассказал о своем пребывании у христиан, обо всем, что видел там и слышал, о чем думал и что перечувствовал. Потом стал жаловаться, что теперь в душе его хаос, что он потерял покой, дар понимания вещей и способность судить о них. Ничто ему не мило, ничто не удовлетворяет его, он не знает, чего держаться и как поступать. Готов почитать Христа, но и преследовать его, понимает величие учения и в то же время чувствует к нему отвращение. Понимает, что если бы и обладал Лигией, то не была бы она его целиком и пришлось бы делиться ею с Христом. Он живет и не живет: без надежды, без веры в счастье, без завтрашнего дня. А вокруг мрак, в котором он бредет на ощупь и не может найти ни пути, ни выхода.

Петроний во время рассказа смотрел на его изменившееся лицо, на

руки, которые он странно протягивал вперед, словно в самом деле искал ощупью выход из мрака. Он вдруг встал и, подойдя к Веницию, стал перебирать пальцами волосы на его висках.

— Знаешь ли ты, что у тебя появились седые волосы? — спросил он.

— Может быть, — ответил Вениций, — я не удивлюсь, если скоро они все побелеют.

Наступило молчание. Петроний был умный человек и много размышлял о человеческой душе и жизни. Но вообще жизнь в том мире, который окружал их, могла быть внешне счастливой или несчастливой, внутренне же она всегда была спокойной. Как удар молнии или землетрясение может разрушить храм, так и несчастье губит жизнь, но сама по себе жизнь состоит из простых и гармонически сложенных линий, чуждых уклонениям. Совершенно другое чувствовалось в словах Вениция, и Петронию впервые пришлось увидеть перед собой человека, чья жизнь превратилась в клубок вопросов, которые до сих пор никто не пытался разрешить. Он был достаточно умен, чтобы понять всю значительность этих вопросов, но при всем своем остроумии не мог найти ответа... После долгого молчания он сказал:

— Это какое-то колдовство.

— И я так думал, — ответил Вениций, — не раз мне казалось, что нас обоих околдовали.

— А если тебе обратиться к жрецам Сераписа? Конечно, среди них, как вообще среди жрецов, есть много обманщиков, но ведь есть и такие, которые постигли глубочайшие тайны.

Но говорил он это без убежденности, равнодушным голосом, потому что понимал сам, что его совет может показаться пустым и даже смешным. Вениций нахмурил брови и сказал:

— Колдовство!.. Я видел колдунов, которые пользовались подземными и небесными силами ради своей выгоды, видел и таких, которые умели делать зло своим врагам! Но христиане живут в нищете, врагам прощают обиды, провозглашают смирение, добродетель и милосердие... Какая им польза от колдовства, зачем оно им?

Петроний начинал сердиться, потому что ум его бессилён был ответить на подобный вопрос; не желая признаться в этом, он сказал, чтобы ответить хоть что-нибудь:

— Это новая секта...

А потом прибавил:

— Клянусь божественной жительницей пафийских дубрав, все это портит жизнь! Ты удивляешься доброте и добродетели этих людей, а я

говорю тебе, что они дурные люди, потому что являются врагами жизни, как болезни и как сама смерть! Довольно с нас и этого! Зачем нам еще христиане! Ты сосчитай: болезни, цезарь, Тигеллин, стихи цезаря, сапожники, которые управляют потомками квиритов, вольноотпущенники, заседающие в сенате... Клянусь Кастором, довольно и этого! Христиане — отвратительная, опасная секта. Пробовал ли ты стряхнуть с себя тоску и насладиться жизнью?

— Пробовал, — ответил Виниций.

Петроний засмеялся и сказал:

— А, предатель! Рабы быстро распространяют новости: ты отбил у меня Хризотемиду!

Виниций с отвращением махнул рукой.

— Но, во всяком случае, я очень благодарен тебе, — говорил Петроний. — Я пошлю ей туфли, расшитые жемчугом, на моем языке это значит: «Уйди». И я дважды благодарен тебе: за то, что ты не принял Евники, и, во-вторых, за то, что освободил меня от Хризотемиды. Послушай: ты видишь перед собой человека, который рано вставал, пировал, обладал Хризотемидой, писал сатиры, иногда пересыпал свою прозу стихами, но который скучал, как цезарь, и часто не умел отогнать от себя мрачных мыслей. И знаешь, почему это было? Потому что я искал далеко то, что было близко... Красивая женщина справедливо ценится на вес золота, но для женщины, которая, кроме того, еще и любит, нет цены. Этого не купишь за все сокровища мира. Теперь говорю себе следующее: я наполнил жизнь счастьем, как чашу лучшим вином на земле, и пью, пока не устанет рука, держащая чашу, и не побледнеют губы. Что будет дальше, об этом я не забочусь. Вот моя новая философия.

— Ты всегда ей следовал. Ничего нового!

— Есть в ней содержание, которого раньше недоставало.

Он позвал Евнику, и та пришла, одетая в белые одежды, златоволосая, теперь уже не рабыня, а словно богиня любви и счастья. Он раскрыл объятия и воскликнул:

— Приди!

Она подбежала к нему и, сев на колени, обняла за шею, прижав головку к груди. Виниций видел, как постепенно щеки ее покрывались румянцем, как глаза туманились от страсти. Они представляли собой чудесное воплощение любви и счастья. Петроний протянул руку к вазе, стоявшей на столе, достал из нее горсть фиалок, осыпал ими голову, грудь и одежду Евники и потом сказал:

— Счастлив, кто, подобно мне, нашел красоту, заключенную в такую

форму... Иногда мне кажется, что мы боги... Посмотри: разве Пракситель, Мирон, Скопас или Лизий создавали столь прекрасные линии? Разве на Паросе или в Нентеликоне существует подобный мрамор — розовый, теплый, дышащий любовью? Есть люди, которые целуют края вазы, но я предпочитаю искать наслаждения там, где его действительно можно найти.

Сказав это, он стал целовать плечи Евники и шею; она дрожала, глаза ее закрывались и снова открывались с невыразимым наслаждением. Петроний поднял свою изящную голову и, обратившись к Виницию, сказал:

— Теперь подумай, что в сравнении с этим твои мрачные христиане? И если ты не понимаешь разницы, то ступай к ним... Но вид такой красоты должен излечить тебя!

Виниций вдыхал аромат фиалок, наполнявший всю комнату; он побледнел при мысли о том, что мог бы сам целовать так плечи Лигии, и это было бы какое-то святотатственное наслаждение, такое прекрасное, что после хоть погибни весь мир. Привыкнув за последнее время быстро отдавать себе отчет в своих мыслях, он заметил, что и в эту минуту думает о Лигии, лишь о ней одной.

Петроний сказал:

— Евника, вели, божественная, приготовить нам венки на голову и завтрак.

Потом, когда она ушла, он обратился к Виницию:

— Я хотел дать ей свободу, и знаешь, что она мне ответила? «Я предпочла бы быть твоей рабой, чем женой цезаря». И не согласилась. Тогда я дал ей вольную без ее ведома. Претор по моей просьбе сделал так, что присутствие ее не было необходимым. Она не знает об этом, как равно не знает, что этот дом и все мои сокровища, за исключением гемм, будут принадлежать ей после моей смерти.

Он прошел несколько раз по комнате, потом сказал:

— Любовь изменяет одних больше, других меньше. И меня она изменила. Когда-то я любил запах вербены, но так как Евника предпочитает фиалки, то и я полюбил их теперь больше всего; с наступлением весны мы только ими и дышим.

Он остановился около Виниция и продолжил:

— А ты все так же любишь нард?

— Оставь меня в покое! — ответил тот.

— Я хотел, чтобы ты присмотрелся к Евнике; говорю тебе о ней потому, что, может быть, у тебя близко есть то, чего ты ищешь далеко. Может быть, и по тебе бьется чье-нибудь девичье сердце в твоём доме,

сердце верное и простое. Приложи такой бальзам к своим ранам. Говоришь, что Лигия любит тебя? Возможно! Но что это за любовь, которая отрекается? Разве не значит это, что есть нечто более сильное, чем она? Нет, дорогой мой, Лигия — не Евника.

На это Виниций ответил:

— Все это мука для меня. Я смотрел на тебя, когда ты целовал плечи Евники, и думал, что если бы мне Лигия открыла свои, то пусть бы потом земля разверзлась под нами! Но при одной мысли об этом меня охватил страх, словно я оскорбил весталку или совершил святотатство... Лигия — не Евника, но я иначе понимаю эту разницу, чем ты. Тебе любовь изменила обоняние, поэтому предпочитаешь фиалки вербене, а мне — душу, поэтому, несмотря на свое несчастье и страсть, я предпочитаю видеть Лигию такой, какая она есть, а не похожей на других женщин.

Петроний пожал плечами.

— В таком случае ты не должен страдать. Но я этого не понимаю.

Виниций с жаром ответил:

— Да, да!.. Мы больше не можем понять друг друга.

Снова наступило молчание. Потом Петроний сказал:

— Пусть Аид поглотит твоих христиан! Они наполнили тебя тревогой и уничтожили смысл жизни. Пусть их поглотит Аид! Ошибаешься, думая, что это добродетельное учение, — добродетель есть то, что дает людям счастье, то есть красоту, любовь, силу, они же называют все это суетой; ошибаешься, считая их справедливыми, потому что если за зло мы будем платить добром, то чем заплатим за добро? Если за то и за другое плата одинакова, то зачем людям быть добрыми?

— Нет, плата неодинакова, но ее получают, согласно этому учению, лишь после смерти, в будущей жизни.

— Я этого не касаюсь, это мы увидим в будущем, если можно увидеть... без глаз. Христиане — люди бездарные. Урс задушил Кротона, потому что члены его из стали, но они глупцы; а будущее не может принадлежать глупцам.

— Жизнь начинается для них тотчас после смерти.

— Это похоже, если бы кто сказал: день начинается, когда наступает ночь... Скажи, намерен ли ты отнять у них Лигию?

— Нет. Я не могу платить ей злом за добро; я поклялся, что не сделаю этого.

— Намерен ты принять учение Христа?

— Я хочу этого, но моя природа противится.

— Сумеешь забыть Лигию?

— Нет.

— Отправляйся в далекое путешествие.

Раб доложил, что завтрак готов, но Петроний, которому показалось, что он напал на счастливую мысль, продолжал говорить, пока они шли в триклиний:

— Ты посетил много стран, но как солдат, который спешит к месту назначения и не задерживается по дороге. Поезжай с нами в Ахайю. Цезарь до сих пор не отказался от намерения путешествовать. Он будет останавливаться всюду по дороге, петь, принимать подношения и венки, грабить храмы и вернется наконец в Рим как триумфатор. Это будет чем-то вроде шествия Вакха и Аполлона в одном лице. Августiane, августiane, тысячи кифар — клянусь Поллуксом! Это стоит увидеть, потому что мир не видел до сих пор ничего подобного.

Он лег на ложе у стола, рядом с Евникой, и в то время когда раб возлагал на его голову венок из анемонов, продолжал:

— Что ты видел, служа под началом Корбулона? Ничего. Посещал ли ты греческие храмы, как делал это я, который более двух лет переходил от одного проводника к другому? Был ли ты на Родосе, чтобы осмотреть место, где стоял колосс? Видел ли ты в Панопе, в Фокиде, глину, из которой Прометей лепил людей, и в Спарте яйца, снесенные Ледой, или в Афинах знаменитый сарматский панцирь, сделанный из конских копыт, или на Евбее корабль Агамемнона, или чашу, для которой формой служила левая грудь Елены? Видел ли ты Александрию, Мемфис, пирамиды, волос Изиды, который она вырвала, плача об Озирисе? Слышал ли ты стон Мемнона? Мир широк, но не все кончается за Тибром! Я буду сопровождать цезаря, а потом, при возвращении, покину его и поеду на Кипр, потому что вот эта златокудрая богиня хочет, чтобы в Пафосе мы вместе принесли в жертву Киприде голубей, а нужно тебе знать, что все, чего она ни захочет, исполняется.

— Я раба твоя, — сказала Евника.

Он положил увенчанную свою голову ей на грудь и сказал с улыбкой:

— Значит, я раб рабыни. Я боготворю тебя, божественная, с ног до головы.

И он обратился к Виницию:

— Поезжай с нами на Кипр. Но помни, что ты должен повидаться с цезарем. Плохо, что до сих пор ты не был у него; Тигеллин охотно использует это тебе во вред. Нет у него особой враждебности к тебе, но он не может тебя любить хотя бы потому, что ты мой племянник... Мы скажем, что ты был нездоров. Нужно обдумать, что хочешь ответить, если

он спросит про Лигию. Лучше всего махни рукой и скажи, что она была у тебя, пока не надоела. Он это понимает. Скажи ему также, что болезнь удержала тебя дома, что лихорадка усилилась от огорчения при мысли о невозможности быть в Неаполе и слышать его пение; вылечила тебя единственно надежда, что теперь ты можешь услышать это пение. Не бойся преувеличить. Тигеллин обещает придумать для цезаря нечто великое и изумляющее... Боюсь, как бы он не подсадил меня. Боюсь также и твоих настроений...

— Знаешь ли ты, — сказал Виниций, — что есть люди, которые не боятся цезаря и живут так спокойно, словно его и на свете нет?

— Знаю, о ком говоришь: о христианах.

— Да, они одни... А наша жизнь — что такое, как не вечный страх?

— Оставь меня в покое со своими христианами. Не боятся цезаря, потому что он о них, может быть, ничего не слышал, во всяком случае, ничего о них не знает, и они его интересуют, как опавшие листья. А я скажу тебе, что они люди бездарные, и ты сам понимаешь это! И если твоя натура не приемлет их учения, то лишь потому, что ты чувствуешь их бездарность. Ты сделан из другой глины, и потому оставь меня и себя в покое и не возись с ними. Мы сумеем жить и умереть, а что они сумеют — неизвестно.

Виниция поразили эти слова, и, вернувшись домой, он стал размышлять о том, что, может быть, доброта и милосердие доказывают лишь их малодушие. Ему казалось, что люди сильные и закаленные не умели бы так прощать. Он подумал, что действительно это обстоятельство может быть причиной отвращения, какое испытывает его римская душа от этого учения: «Мы сумеем жить и умереть!» — говорил Петроний. А они? Они умеют лишь прощать, но не понимают ни истинной любви, ни истинной ненависти.



## VIII

Цезарь, вернувшись в Рим, был зол, что вернулся, и через несколько дней снова загорелся желанием поездки в Ахайю. Он даже издал эдикт, в котором заявлял, что отсутствие его не будет продолжительным и что общественные дела от этого не потерпят никакого ущерба. Затем в сопровождении августианцев, среди которых находился и Виниций, он отправился на Капитолий, чтобы принести богам жертвы за счастливое путешествие. Но на второй день, когда по очереди он посетил храм Весты, произошел случай, изменивший все планы. Нерон не верил в богов, но боялся их, и особенно таинственная Веста так волновала его, что при виде божества и священного огня волосы вдруг зашевелились на его голове от страха, сжались зубы, по всему телу пробежала дрожь, и он рухнул на руки Виниция, случайно стоявшего рядом. Его тотчас вынесли из храма и отнесли на Палатин, где он, хотя тотчас же пришел в себя, пролежал в постели целый день. Он заявил, к великому изумлению присутствующих, что поездку откладывает на неопределенное время, ибо божество предостерегло его от немедленного отъезда. Через час было объявлено римскому народу, что цезарь, увидев печальные лица граждан, из любви к ним, любви отца к детям, остается дома, чтобы делить с ними и радости и горе. Обрадованный этим решением народ теперь был уверен, что не минуют его ни игры, ни раздача хлеба; толпа, собравшаяся перед воротами дворца, славилась кликами божественного цезаря, а он, прервав игру в кости, сказал своим приближенным:

— Да, пришлось отложить. Египет и владычество над Востоком, согласно предсказанию, не минуют меня, значит, не пропадет и Ахайя. Велю прорыть Коринфский перешеек, а в Египте мы возведем такие памятники, при которых пирамиды покажутся детской забавой. Велю построить сфинкса, в семь раз большего, чем в Мемфисе, и велю сделать ему мое лицо. Следующие века будут говорить о нем и обо мне.

— Ты воздвиг себе памятник своими стихами, не в семь, а в трижды семь раз больший, чем пирамида Хеопса, — сказал Петроний.

— А пением? — спросил Нерон.

— Увы! Если бы тебе сумели поставить такой памятник, как статуя Мемнона, который пел бы при восходе солнца твоим голосом, — моря, прилегающие к Египту, кишели бы кораблями, на которых народы трех частей света слушали бы твои песни.

— Увы! Кто сумел бы сделать это? — сказал Нерон.

— Но ты можешь заказать изваять из базальта свое изображение: Нерон, управляющий квадригой.

— Верно! Я сделаю это.

— Ты сделаешь подарок человечеству.

— В Египте я возьму себе в супруги Луну, которая теперь вдова, и тогда действительно стану богом.

— А нам дашь в жены звезды, так что мы образуем новое созвездие, которое будет называться созвездием Нерона. Вителия жени на Ниле, пусть он плодит гиппопотамов. Тигеллину подари пустыню, он будет тогда царем шакалов...

— А мне что предназначаешь? — спросил Ватиний.

— Да благословит тебя Апис! Ты дал нам великолепные игры в Беневенте, тебе я не пожелаю малого: сделай пару сапог для сфинкса, у которого зябнут лапы по ночам; потом ты будешь шить обувь для колоссов перед храмами. Каждый найдет подходящее занятие. Домиций Афр будет казначеем, как человек, известный своей честностью. Я люблю, о цезарь, когда ты грезишь о Египте, и меня печалит, что ты отложил свою поездку.

Нерон сказал:

— Ваши смертные глаза ничего не видели, потому что божество может быть невидимым, когда этого хочет. Знайте: когда я был в храме Весты, она сама явилась мне и сказала на ухо: «Отложи путешествие». Это произошло так неожиданно, что я был изумлен и потрясен... За столь явную опеку богов надо мной я должен быть им благодарен.

— Мы все были потрясены, — сказал Тигеллин, — а весталка Рубрия упала в обморок.

— Рубрия! — воскликнул Нерон. — О, какая у нее белоснежная шея!

— Но она краснеет в твоем присутствии, божественный цезарь...

— Да, я заметил это! Странно! Весталка! Есть что-то божественное в каждой весталке, а Рубрия особенно красива.

Он задумался, потом спросил:

— Скажите, почему люди боятся Весты больше, чем других богов? Что в этом такое? Меня охватил невероятный страх, хотя я сам — высший жрец. Помню, что я упал навзничь и рухнул бы на землю, если бы меня не поддержал кто-то. Кто меня поддержал?

— Я, — ответил Виниций.

— Ах, это ты, «суровый Марс»? Почему не был в Беневенте? Мне говорили, что ты болен, и действительно ты изменился. Я слышал, что Кротон хотел убить тебя. Правда ли это?

— Да, и он сломал мне руку, но я защитился.

— Сломанной рукой?

— Мне помог один варвар, который был сильнее Кротона.

Нерон посмотрел на него с удивлением.

— Сильнее Кротона? Ты шутишь? Кротон был самый сильный человек на свете, а теперь — Сифакт из Эфиопии.

— Уверяю, цезарь, я видел это собственными глазами.

— Где же эта жемчужина? Не сделался ли он царем Неморенским?

— Не знаю, цезарь. Я потерял его из вида.

— И ты не знаешь, к какому народу принадлежал он?

— У меня была сломана рука, я не мог много говорить с ним.

— Поищи его для меня и найди.

Тигеллин сказал на это:

— Я займусь этим делом.

Нерон продолжал беседу с Виницием.

— Спасибо, что поддержал меня. Я мог, падая, разбить себе голову. Ты был прежде хорошим товарищем, но со времени войны и службы у Корбулона ты одичал, тебя редко видно.

Помолчав, он прибавил:

— Как поживает та девушка... слишком узкая в бедрах... ты был влюблен, и я отнял ее для тебя у Авла?

Виниций смешался, но Петроний тотчас пришел ему на помощь:

— Готов побиться об заклад, государь, — сказал он, — что он забыл о ней. Видишь, как он смутился? Спроси его лучше о том, сколько их переменилось с того времени, и я не поручусь, что он сможет точно сказать число. Виниции — прекрасные солдаты, но еще лучшие петухи. Для них нужны стада. Накажи его за это, государь, и не пригласи на пир, который собирается устроить нам на острове Агриппы Тигеллин.

— Нет, я не сделаю этого. Верю Тигеллину, что там именно не будет недостатка в стаде.

— Разве может быть недостаток в Харитах там, где будет сам Амур? — ответил Тигеллин.

Нерон сказал:

— Меня гложет скука! По милости богини я остался в Риме, но Рим для меня невыносим. Уеду в Анциум. Я задыхаюсь на этих тесных улицах, среди разваливающихся домов, среди грязных переулков. Зловонный воздух долетает сюда, в мой дом и в мои сады. О, если бы землетрясение уничтожило город, если бы какой-нибудь разгневанный бог сровнял его с землей! Я показал бы вам тогда, как нужно строить город, который является

владыкой мира и моей столицей.

— Цезарь, — ответил Тигеллин, — ты сказал: «Если бы разгневанный бог уничтожил город», — не так ли?

— Да. И что же?

— Но разве ты не бог?

Нерон утомленно и со скукой махнул рукой и сказал:

— Посмотрим, что ты устроишь нам на острове Агриппы. Потом я поеду в Анциум. Вы все — люди малые, вы не понимаете, что мне нужны великие дела.

Сказав это, он закрыл глаза, давая таким образом понять присутствующим, что нуждается в отдыхе. Приближенные стали расходиться. Петроний вышел с Виницием.

— Итак, ты приглашен на пир. Меднобородый отказался от путешествия, но будет безумствовать больше, чем прежде, и распоряжаться в Риме, как у себя дома. Постарайся и ты найти в его безумствах развлечение и забвение. Мы покорили мир и имеем право развлекаться. Ты, Марк, красивый юноша, и этому я приписываю слабость, какую чувствую к тебе. Клянусь Дианой Эфесской! Если бы ты мог видеть свои густые сросшиеся брови и свое лицо, в котором видны черты старых квиритов! Другие при тебе кажутся вольноотпущенниками. Да! Если бы не дикое учение Христа, Лигия была бы сегодня в твоём доме. Попробуй теперь мне доказать, что они не враги людей... Они хорошо обошлись с тобой — будь им за это благодарен, но на твоём месте я возненавидел бы это учение и поискал бы наслаждения там, где его можно найти. Ты красив, повторяю, а в Риме так много разведенных женщин.

— Я удивляюсь, как тебе все это не надоело? — ответил Виниций.

— Кто сказал тебе это? Мне давно надоело, но у меня нет твоей молодости. Люблю книги, которых ты не любишь, люблю поэзию, которая нагоняет на тебя скуку, люблю вазы, геммы и множество вещей, на которые ты не хочешь смотреть, у меня боли в пояснице — неизвестные тебе, наконец, я нашел Евнику, а ты ничего подобного не находил... Мне хорошо дома, среди произведений искусства, а из тебя я никогда не сделаю любителя красоты. Я знаю, что в жизни ничего больше не найду сверх того, что нашел, а ты бессознательно ищешь и надеешься на что-то. Если бы к тебе пришла смерть, то ты, несмотря на свою храбрость, был бы изумлен, что она пришла так скоро и что нужно умирать. А я принял бы ее как необходимость, с уверенностью и убеждением, что нет на свете таких ягод, которых бы я не отведал. Не спешу умирать, но и не избегаю смерти, я лишь постараюсь быть веселым до последней минуты жизни. Ведь есть же

на свете такие веселые скептики! По-моему, стоики глупы, но стоицизм по крайней мере закаляет человека, а твои христиане наводят скуку и печаль, которые в жизни являются тем же, чем в природе — дождь... Знаешь, что я слышал? Во время празднества, которое устраивает Тигеллин, на берегу пруда Агриппы будут построены лупанарии, и в них будут собраны женщины знаменитейших римских родов. Неужели не найдется ни одной достаточно красивой, чтобы утешить тебя? Будут девушки, впервые появляющиеся в свете в качестве... нимф. Такова наша римская империя... Тепло! Южный ветер согреет воздух и не заставит зябнуть нагое тело. И ты, Нарцисс, знай, что не найдется ни одной, которая устояла бы пред тобой, ни одной — будь она даже весталка.

Виниций потер лоб, как человек, вечно думающий об одном.

— Ведь нужно было случиться такому несчастью, что я встретился как раз с такой единственной...

— А кто тому причиной, как не христиане!.. Люди, символом которых является крест, не могут быть иными. Послушай меня: Греция была прекрасна и создала мировую мудрость, мы создали силу, а что может создать это Учение? Если знаешь, объясни мне, потому что, клянусь Поллуксом, я не могу догадаться.

Виниций пожал плечами.

— Мне кажется, что ты боишься, как бы я не сделался христианином.

— Боюсь, чтобы ты не испортил себе жизнь. Если не можешь быть эллином, будь римлянином: властвуй и наслаждайся! Наши безумства имеют известный смысл, потому что в них заключена именно эта мысль. Меднобородого презираю, потому что он греческий шут. Если бы он считал себя римлянином, я признал бы, что он прав, позволяя себе безумствовать. Обещай мне: если, вернувшись домой, застанешь там какого-нибудь христианина, то покажешь ему язык. Если это будет лекарь Главк, он даже не удивится. До свидания на пруду Агриппы.

## IX

Преторианцы оцепили рощи, окружающие пруд Агриппы, чтобы слишком большая толпа зрителей не мешала цезарю и его гостям. Говорили, что на этот праздник были приглашены все, кто выделялся богатством, умом или красотой, и что подобного торжества не было в Риме с самого основания города. Тигеллин хотел возместить цезарю отложенную поездку в Ахайю и в то же время превзойти всех, кто развлекал цезаря; он хотел доказать, что никто не сумеет так угодить ему. С этой целью в Неаполе, а потом в Беневенте он делал приготовления, посылал приказы, чтобы из отдаленнейших мест империи были присланы звери, птицы, редкие рыбы и растения, а кроме того, утварь и ковры, которые должны были украсить пир. Доходы целых провинций шли на исполнение безумных замыслов, но могущественный любимец цезаря не смущался этим. Его влияние росло с каждым днем. Тигеллин, может быть, не был еще самым близким другом цезаря, но он становился все более и более необходим ему. Петроний превосходил его светским лоском, умом, остротой и в разговорах лучше умел развлечь Нерона, но, к несчастью, он превосходил во всем этом и самого цезаря, вследствие чего будил к себе чувство зависти. Он не умел быть во всем послушным орудием, и цезарь боялся его мнений, когда дело касалось вкуса, а с Тигеллином он чувствовал себя свободно. Прозвище *arbiter elegantiarum*, данное Петронию, раздражало Нерона и уязвляло самолюбие, потому что кто же, как не сам он, должен был носить это прозвище. Но Тигеллин был настолько умен, что отдавал себе ясный отчет в своих слабых сторонах; поэтому, не чувствуя себя в силах соперничать ни с Петронием, ни с Луканом, ни с другими, которые превосходили его родовитостью, талантом или ученостью, он решил превзойти их своей услужливостью и, главное, таким мотовством, чтобы даже воображение Нерона было изумлено им.

Пир должен был происходить на огромном плоту из позолоченных бревен. Борта его были украшены великолепными раковинами, выловленными в Красном море и в Индийском океане, отливающими перламутром и цветами радуги. По бокам поставлены были пальмы, рошницы лотосов и цветущих роз, среди которых были скрыты водометы, распространявшие благовонную свежесть, статуи богов и золотые или серебряные клетки с разноцветными птицами. Посредине возвышался огромный шатер, вернее один лишь верх шатра, чтобы не закрывать вид на

окрестности, из сирийского пурпура, поддерживаемый серебряными колонками; под ним блистали приготовленные для пирующих столы, на которых сверкало александрийское стекло, хрусталь и бесценная утварь, награбленная в Италии, Греции и Малой Азии. Плот, имевший благодаря нагроможденным растениям вид острова и сада, был соединен шнурами из золота и пурпура с лодками в форме рыб, лебедей, фламинго, а в них сидели с разноцветными веслами в руках нагие гребцы и женщины необыкновенной красоты, с волосами, по-восточному завитыми или заключенными в золотые сетки. Когда Нерон с Поппеей и августианами взошел на плот и сел под пурпурным шатром, тогда лодки тронулись, весла стали погружаться в воду, золотые канаты натянулись, и плот с пирующими поплыл по пруду. Его окружали лодки и меньшие плоты, на которых сидели женщины с кифарами и арфами; их розовые тела на фоне голубого неба и воды вместе с золотом музыкальных инструментов, казалось, пропитались лазурью и золотыми отблесками и расцветали под солнцем как великолепные цветы.

В прибрежных рощах, из замысловатых построек, возведенных ради этого торжества и спрятанных в зелени, раздались также звуки музыки и песни. Запели окрестности, запели леса, эхо разносило звуки рогов и труб. Цезарь, около которого с одной стороны сидела Поппея, с другой — Пифагор, пришел в изумление, а когда в воде между лодками стали плавать и плескаться молодые рабыни, переодетые сиренами, покрытые зеленоватой сеткой, похожей на чешую, он не жалел слов, расхваливая Тигеллина. По привычке он поглядывал на Петрония, желая узнать мнение «арбитра», но тот сохранял равнодушие, и лишь когда цезарь обратился к нему с прямым вопросом, ответил:

— Я думаю, государь, что десять тысяч обнаженных девушек производят меньшее впечатление, чем одна.

Цезарю, однако, понравился пир на воде — в этом было что-то новое. Кроме того, подавались такие изысканнейшие кушанья, что даже и воображение Апиция было бы поражено при виде их, а вин было столько сортов, что Оттон, имевший их до восьмидесяти, утопился бы со стыда, увидев этот пир. За столом кроме женщин сидели исключительно августианцы, среди которых выделялся своей красотой Виниций. Прежде фигура его и лицо слишком выдавали солдата по профессии, теперь душевный разлад и болезнь, которую перенес он, отразились на его лице, словно его коснулся тонкий резец ваятеля. Кожа потеряла прежнюю грубость, но остался на ней золотистый отблеск нумидийского мрамора. Глаза стали больше и печальнее. Только торс его сохранил прежнюю силу,

словно это был панцирь, и над этим панцирем видна была голова греческого бога или, по крайней мере, изысканного патриция — изящная и великолепная. Петроний, говоря, что ни одна женщина не устоит перед ним и не захочет устоять, говорил как человек опытный. На него смотрели теперь все, не исключая Поппей и весталки Рубрии, которую цезарь изъявил желание видеть на этом пиру.

Вино, замороженное в горном снеге, скоро разгорячило сердца и головы пирующих. Из прибрежных зарослей выплывали новые лодки самых причудливых форм. Голубое зеркало пруда казалось как бы покрытым цветами, которые разбросала чья-то рука. Над лодками носились привязанные к мачтам серебряными и голубыми нитями голуби и другие птицы из Индии и Африки. Солнце прошло большую половину дневного пути, но так как было начало мая, день был теплый, почти жаркий. Пруд вздрагивал под ударами весел, которые погружались в воду в такт музыке, в воздухе не было ни малейшего ветра, и деревья на берегу стояли неподвижные, словно засмотрелись и слушали то, что происходило на воде. Плот кружил все время по пруду, катая все более пьяневших гостей. Далеко еще было до конца пира, но уже нарушили порядок, в каком сидели в начале, — сам цезарь подал этому пример, приказав Виницию уступить ему свое место подле весталки Рубрии, перешел туда и стал что-то нашептывать ей на ухо. Виниций очутился рядом с Поппей, которая протянула ему руку, прося застегнуть запястье; когда он сделал это немного дрожащими руками, она бросила на него из-под своих длинных ресниц словно смущенный взгляд и тряхнула золотистой головкой, точно отрицала что-то. Солнечный диск стал больше, багровее и медленно опускался за гущей леса; гости по большей части были пьяны. Плот плавал теперь близко от берега, на котором среди чащи деревьев и цветов виднелись группы людей, наряженных фавнами или сатирами, играющих на флейтах и свирелях, а также девушек, представляющих собой нимф, дриад и гамадриад. Настали сумерки среди пьяных возгласов в честь луны, доносившихся из шатра... И вдруг лес озарили тысячи светильников. Лупанарии на берегу также засверкали огнями: на террасах показались новые группы, также обнаженные, среди которых можно было узнать жен и дочерей римской знати. Кликами и бесстыдными жестами они стали зазывать пирующих. Наконец плот пристал к берегу, цезарь и августианцы бросились в рощу, рассыпались по лупанариям, шатрам, скрытым в чаще, гротам, искусно устроенным подле источников и водометов. Общее безумие охватило всех; никто не знал, куда девался цезарь, кто сенатор, кто простой музыкант. Сатиры и фавны с криком стали гоняться за нимфами.



Тирсами старались погасить светильники. Часть роши погрузилась в мрак. Но повсюду слышались клики, смех, шепот, тяжелое дыхание людей. Рим воистину ничего подобного не видел до сих пор.

Виниций не был пьян, как на том пиру во дворце цезаря, когда там присутствовала Лигия, но и его ослепил и увлек вид всего происходившего, пока наконец им не овладела лихорадочная жажда наслаждения. Бросившись в лес, он побежал вместе с другими, выбирая наиболее красивую из дриад. Каждую минуту мимо проносились толпы женщин с песнями и криками, а за ними гнались фавны, сатиры, сенаторы, патриции. Увидев группу девушек, предводительствуемых Дианой, он подбежал к ним, желая посмотреть на богиню, и вдруг сердце его сжалось в груди. Ему показалось, что в богине с полумесяцем на голове он узнает Лигию!

Девушки окружили Виниция бешеным хороводом, а потом, желая, чтобы он догонял их, они вдруг метнулись в чащу, как стадо диких коз. Но он остался на месте, с бьющимся сердцем, затаив дыхание: хотя он и убедился, что Диана не была Лигией, а вблизи совсем даже и не похожа на нее, — слишком сильное впечатление лишило его сил. Его охватила тоска по Лигии, невыразимая тоска, какой он не испытывал раньше, и любовь широким потоком вновь хлынула в его сердце. Никогда не казалась она ему столь желанной, чистой и любимой, как именно в этой дубраве безумий и разврата. Он только что сам хотел пить из этой чаши, принять участие в разнузданной вакханалии, но теперь почувствовал стыд и отвращение. Его грудь хотела чистого воздуха, а глаза — звезд, не закрытых листвой деревьев этого страшного леса, и Виниций решил бежать. Когда он тронулся с места, перед ним вдруг выросла женская фигура, с лицом под покрывалом; она протянула к нему руки, прильнула и стала шептать на ухо, овеивая своим знойным дыханием лицо Марка:

— Люблю тебя!.. Приди! Никто нас не увидит! Скорей!

Виниций пришел в себя, словно пробужденный от сна.

— Кто ты?

— Скорей! Здесь никого нет, и я люблю тебя.

— Кто ты? — повторил Виниций.

— Угадай!..

И она прильнула губами к его губам, привлекая к себе голову Виниция, пока наконец, задыхаясь, не оторвала своих губ от его лица.

— Ночь любви!.. Ночь забвенья! — шептала она, жадно глотая воздух. — Сегодня можно!.. Целуй меня!

Виниция обжег этот поцелуй и наполнил новым отвращением. Душа и сердце его были не здесь, и во всем мире для него не существовало ничего,

кроме Лигии.

Отстранив рукой женщину, он сказал:

— Кто бы ты ни была, я люблю другую и не хочу тебя.

Она наклонилась к нему:

— Подними покрывало!..

Но в это мгновение зашелестела листва мирт; женщина исчезла, как сновидение, лишь издали донесся какой-то странный и враждебный смех. Петроний стоял перед Виницием.

— Я слышал все и видел, — сказал он.

Виниций ответил:

— Пойдем отсюда!..

Они миновали сверкавшие огнями лупанарии, роццу, цепь конных преторианцев и отыскивали свои лектики.

— Я отправлюсь к тебе, — сказал Петроний.

Сели вместе. Но всю дорогу оба молчали. И лишь когда очутились в атриуме у Виниция, Петроний сказал:

— Знаешь ли, кто это была?

— Рубрия? — спросил Виниций, смущенный мыслью, что это могла быть весталка.

— Нет.

— Кто же?

Петроний сказал шепотом:

— Священный огонь Весты опозорен, Рубрия была с цезарем... А с тобой разговаривала...

Он кончил совсем тихо:

— Божественная Августа.

Наступило молчание.

— Цезарь, — сказал Петроний, — не мог скрыть от нее своей страсти к Рубрии, поэтому, может быть, она хотела отомстить. И я помешал вам потому, что если бы ты узнал Августу и отказал ей, то наверняка погибли бы: ты, Лигия и, вероятно, также и я.

Виниций возмущенно воскликнул:

— Довольно с меня Рима, цезаря, пиров, Поппеи, Тигеллина и всех вас! Я задыхаюсь! Не могу так жить, не могу! Понимаешь меня?

— Ты потерял голову, способность рассуждать, меру! Виниций, опомнись!

— Ее одну люблю я!

— И что же?

— И я не хочу иной любви, не хочу вашей жизни, ваших пиров и

праздников, вашего бесстыдства, ваших преступлений!

— Что с тобой происходит? Уж не христианин ли ты?

Молодой трибун схватился руками за голову и с отчаянием повторил несколько раз:

— Пока еще нет! Еще нет! Еще нет.

Петроний ушел домой, пожимая плечами, сильно раздосадованный. Теперь и он заметил, что они с Виницием перестали понимать друг друга, что души их совершенно разошлись. Прежде Петроний имел огромное влияние на Виниция. Служил для него во всем образцом, и часто достаточно было с его стороны нескольких иронических слов, чтобы удержать Виниция от какого-нибудь шага или побудить его сделать что-нибудь. Теперь ничего не осталось от прежнего. Петроний не пытался прибегать к прежнему методу, понимая, что его остроумие и ирония скользнут, не задев, по новым понятиям, какие дала душе Виниция любовь и встреча с непонятным христианским миром. Убежденный и опытный скептик, Петроний понимал, что ключ от души Виниция потерян. Это наполнило его душу досадой и опасениями, которые усилились после событий памятной ночи.

«Если это со стороны Поппеи не случайный каприз, а более основательная страсть, — думал Петроний, — то произойдет одно из двух: или Виниций не будет сопротивляться, и тогда малейшая случайность может погубить его, или, что на него похоже, окажет сопротивление и в таком случае погибнет наверное, а с ним могу погибнуть и я, хотя бы потому, что он мой родственник, и Поппея, перенеся и на меня свой гнев, склонится на сторону Тигеллина»... И так и иначе — плохо. Петроний был человеком смелым и смерти не боялся, но, не ожидая от нее ничего, не хотел вызывать ее раньше срока. После долгих размышлений он решил, что лучше всего и безопаснее — отправить Виниция из Рима путешествовать. О, если бы он мог дать ему в спутницы Лигию, то охотно сделал бы это. Но и так он надеялся без особого труда уговорить Виниция. Тогда он распустил бы на Палатине слух о болезни племянника и опасность была бы устранена и для него и для Виниция. Поппея не уверена, что Виниций узнал ее, таким образом самолюбие ее, может быть, и не пострадало. Иначе могло быть в будущем, и это следовало предусмотреть. Петронию важно было выиграть время, потому что, когда цезарь решит ехать в Ахайю, Тигеллин, ничего не понимающий в искусстве, естественно, отойдет на второй план и потеряет влияние. В Греции Петроний, конечно, взял бы верх над всеми своими соперниками.

Пока он решил наблюдать за Виницием и уговорить его ехать путешествовать. В течение нескольких дней он обдумывал даже

следующий план: если ему удастся добиться у цезаря издания эдикта, изгоняющего христиан из Рима, то Лигии вместе с ее единоверцами пришлось бы покинуть город, а за ней уехал бы и Виниций. Тогда не пришлось бы возиться с ним. План этот был вполне возможен. Ведь не так давно, когда евреи устраивали погромы христианам, цезарь Клавдий, не умея отличить их друг от друга, изгнал из Рима евреев. Почему же Нерону не изгнать христиан? В Риме стало бы просторней. Петроний после памятного «пира на воде» ежедневно виделся с Нероном и на Палатине и в других местах. Подсказать ему подобную мысль не стоило труда, тем более что цезарь никогда не отказывал в подобных просьбах, приносящих кому-нибудь вред и обиду. Размышляя об этом, Петроний предусмотрел каждую мелочь. Решил устроить у себя на дому пир и на нем склонить цезаря издать эдикт. Он был уверен, что Нерон именно ему поручит выполнение эдикта. Тогда он выслал бы Лигию со всеми ее прелестями и красотой, например, в Байи, и пусть бы они там тешились любовью и христианством сколько угодно.

Он часто навещал Виниция, во-первых, потому, что при всем своем римском эгоизме любил племянника, во-вторых, чтобы заставить его уехать. Виниций сказался больным и не бывал на Палатине, где каждый день возникали новые планы. Однажды Петроний узнал от самого Нерона, что тот непременно уедет в Анциум через три дня. На другой же день утром он пошел сказать об этом Виницию.

Тот показал Петронию список лиц, приглашенных в Анциум, который доставил ему сегодня утром вольноотпущенник цезаря.

— Здесь есть и мое имя и твое, — сказал он. — Вернувшись, ты найдешь дома такой же список.

— Если бы меня не было в числе приглашенных, — ответил Петроний, — это значило бы, что я должен умереть. Но я не думаю, что это может случиться раньше поездки в Грецию, где Нерон будет во мне очень нуждаться.

Просмотрев список, он сказал:

— Только что вернулись в Рим, и снова приходится покинуть дом и тащиться куда-то. Но это необходимо! Потому что это не только приглашение, но и приказ.

— А если кто-нибудь не поедет?

— Тогда он получит иного рода приглашение: придется отправиться в более далекое путешествие, откуда обычно не возвращаются. Как жаль, что ты не послушал моего совета и не уехал раньше, пока было время. Теперь ты должен ехать в Анциум.

— Я должен ехать... В какое время живем мы и какие мы подлые рабы!

— Ты это только сейчас заметил?

— Нет. Помнишь, ты доказывал мне, что христианское учение — враг жизни, потому что надевает на нее путы. Но могут ли быть более тягостные путы, чем те, которые мы носим? Ты говорил: Греция создала красоту и мудрость, а Рим — силу. Но где же наша сила?

— Позови Хилона. Сегодня у меня нет охоты философствовать. Клянусь Геркулесом, не я создал наше время, не мне за него и отвечать. Давай говорить об Анциуме. Знай, что тебя ждет там большая опасность, и для тебя, пожалуй, лучше было бы побороться с Урсом, задушившим Кротона, чем ехать туда, — однако ты не можешь не ехать.

Виниций небрежно махнул рукой:

— Опасность! Мы все время ходим над мраком смерти, и каждую минуту чья-нибудь голова погружается в этот мрак.

— Ты хочешь, чтобы я перечислил тебе тех людей, которые имели немного ума и потому пережили времена Тиберия, Калигулы, Клавдия, Нерона и дожили до восьмидесяти или девяноста лет? Пусть тебе послужит примером хотя бы Домиций Афр. Он дожил до глубокой старости, хотя всю жизнь был вором и негодяем.

— Может быть, потому и дожил! Именно поэтому! — ответил Виниций.

Он взял список и стал читать:

— Тигеллин, Ватиний, Секст Африкан, Аквиллин Регул, Суллий Нерулин, Эприй Марцелл и так далее! Какое собрание негодяев!.. И эти люди правят миром!.. Не лучше ли им было бы возить по городам сирийского или египетского идола, бряцать на систрах и зарабатывать себе на хлеб гаданием или плясками?..

— Или показывать ученых обезьян, умеющих считать собак, или играющего на флейте осла? — прибавил Петроний. — Все это правда, но поговорим о более важном. Выслушай меня внимательно. Я говорил на Палатине, что ты болен и не выходишь из дома, между тем имя твое значится в списке. Значит, кто-то не поверил моим словам и сделал это нарочно. Нерону в данном случае все равно, потому что ты для него солдат, с которым меньше всего приходится говорить о состязаниях в цирке и который ничего не смыслит в поэзии и музыке. О том, чтобы имя твое попало в список, позаботилась Поппея, а это значит, что ее страсть к тебе не была случайным капризом и что она хочет покорить тебя.

— Смелая женщина!

— Воистину так, потому что может погубить тебя. О, если бы Венера вдохновила ее сейчас на какую-нибудь другую любовь, но пока она хочет тебя и ты должен быть очень осторожен. Меднобородому она начинает надоедать, сейчас он предпочитает Рубрию или Пифагора, но из одного самолюбия он жестоко отомстил бы вам.

— В роце ведь я не знал, что это она говорила со мной, но ведь ты слышал нас и знаешь мой ответ: я люблю другую и не хочу ее.

— А я заклинаю тебя всеми подземными богами — не теряй остатка разума, которого не успели отнять у тебя христиане. Как можно колебаться, выбирая между опасностью и верной гибелью? Разве я не сказал тебе, что, оскорбив самолюбие Августы, ты обрекаешь себя на смерть? Клянусь Аидом! Если тебе надоела жизнь, вскрой себе вены или бросься на меч, потому что, оскорбив Поппею, умрешь худшей смертью. Прежде с тобой приятнее было беседовать! Чего ты, собственно, хочешь? Убудет тебя, что ли? Помешает это любить тебе твою Лигию? Вспомни, ведь Поппея видела ее на Палатине, и ей нетрудно будет догадаться, ради кого ты отвергаешь августейшие ласки. Тогда она раздобудет ее хоть из-под земли. Погубишь не только себя, но и Лигию, — понимаешь?

Виниций слушал, думая о чем-то другом, потом сказал:

— Я должен видеть ее.

— Кого? Лигию?

— Да.

— Знаешь, где она?

— Нет.

— Значит, снова начнешь искать ее по старым кладбищам и закоулкам за Тибром?

— Не знаю. Но я должен повидаться с ней.

— Прекрасно. Хотя она и христианка, но, может быть, окажется благоразумнее тебя, если не захочет твоей гибели.

Виниций пожал плечами.

— Она спасла меня от Урса.

— В таком случае торопись, потому что Меднобородый не будет медлить с отъездом. А смертный приговор он может послать и из Анциума.

Виниций не слушал его. Его занимала одна мысль: повидаться с Лигией, и он думал, как это сделать.

Но произошло одно событие, которое могло устранить все затруднения: на другой день утром неожиданно к нему пришел Хилон.

Нищий, оборванный, с изголодавшимся лицом, весь в лохмотьях, он был жалок. Но слуги, получившие раньше приказание пускать его во всякое

время дня и ночи, не решились задержать его, и он вошел прямо в атриум. Подойдя к Виницию, он сказал:

— Пусть боги дадут тебе бессмертие и поделятся с тобой властью над миром.

В первую минуту Виниций хотел вышвырнуть его за дверь. Но ему пришло в голову, что, может быть, грек знает что-нибудь о Лигии, и любопытство пересилило отвращение.

— А, это ты! — сказал он. — Что с тобой?

— Плохо, сын Юпитера, — ответил Хилон. — Истинная добродетель — товар, который нынче никому не нужен. Истинный мудрец должен радоваться, если раз в пять дней сможет купить у мясника голову барана, которую и грызет у себя в каморке, запивая слезами. Ах, господин! Все, что ты дал мне, я истратил на книги, а потом меня обокрали и разорили; рабыня, которая должна была записывать мою философскую систему, убежала, захватив с собой все, чем твое великодушие и щедрость одарили меня. Я нищ, но подумай: к кому же мне и обратиться, как не к тебе, Серапис, которого я люблю, боготворю и ради которого рисковал жизнью!

— Зачем ты пришел и что принес?

— Пришел за помощью, о Ваал, а принес свою нищету, свои слезы, свою любовь и, кроме того, новости, которые раздобыл из любви к тебе. Помнишь, господин, что я говорил в свое время о рабыне божественного Петрония? Я продал ей нитку из пояса Венеры в Пафосе... Я узнавал, помогла ли ей нитка, и ты, сын солнца, знающий также, что делается в том доме, понимаешь, какое место заняла там Евника. Есть у меня еще одна нитка. Я сберег ее для тебя, господин.

Он замолчал, увидев гнев на лице Виниция, и, желая предупредить взрыв, быстро сказал:

— Знаю, где живет божественная Лигия, укажу тебе, господин, дом и переулок.

Виниций поборол волнение, в которое пришел от этого известия, и спросил:

— Где же она?

— У Лина, старшего священника христиан. Она там вместе с Урсом, и он по-прежнему ходит на работу к мельнику, которого зовут так же, как и твоего вольноотпущенника, — Дем... Да, Дем!.. Урс работает по ночам, поэтому, окружив ночью дом, нет опасности найти его там... Лин — старик... Кроме него в доме живут только две старухи...

— Откуда ты знаешь все это?

— Помнишь, господин, как я оказался в руках у христиан и они меня



помиловали? Главк, конечно, ошибается, считая меня причиной своих несчастий, но поверил в это бедняга и до сих пор верит, и все-таки помиловал меня! Поэтому не удивляйся, господин, что благодарностью исполнилось мое сердце. Я человек прежних, лучших времен. Поэтому я подумал: неужели забуду моих друзей и благодетелей? Разве не было бы жестоко не узнать про них, не выведать, как и где живут, здоровы ли? Клянусь Кибеллой, я неспособен на это! Сначала я опасался, чтобы они не поняли дурно моих намерений. Но любовь, какую я питаю к ним, пересилила страх, особенно меня ободрила та легкость, с которой они прощают обиды. Но прежде всего я подумал о тебе, господин. Последнее наше предприятие окончилось поражением, а разве такой сын Фортуны, как ты, может примириться с этой мыслью? Поэтому я готовлю тебе победу. Дом стоит особняком. Ты можешь окружить его так, что мышь не проскользнет. О господин, от тебя зависит, чтобы сегодня же ночью великодушная Царевна очутилась в твоём доме. И если произойдет это, то не забудь, господин, что поработал для этого очень бедный и очень голодный сын моего отца.

Кровь прилила к голове Виниция. Искушение еще раз потрясло все его существо. Да! Это был способ, и на этот раз верный способ! Раз Лигия будет в его доме, кто сможет отнять ее? Если он насильно сделает ее своей любовницей, что ей останется, как смириться с этим? И тогда пусть погибнут все религии! Что для него будут тогда все эти христиане с их милосердием и мрачным учением? Не пора ли стряхнуть с себя все это? Не пора ли начать жить, как живут все? Что потом сделает Лигия, как примирит свое положение с учением, которое исповедует, — это все вещи второстепенные! Совершенные пустяки! Прежде всего она будет его, и не далее как сегодня! И вопрос, останется ли место в ее душе для учения, когда она попадет в новый для нее мир наслаждений, роскоши, которые должна будет разделить с ним. И главное, все это может произойти сегодня же. Достаточно задержать Хилона и вечером сделать нужные распоряжения. И потом — радость без конца! «Чем была моя жизнь? — думал Виниций. — Страданием, неудовлетворенной страстью, вечными вопросами без ответа». И теперь он может кончить все это. Он вспомнил, что обещал не поднимать на нее руки. Но кем он клялся? Не богами же, в которых не верил, и не Христом, в которого еще не уверовал. Впрочем, если она будет считать себя обиженной, возьмет ее в жены и таким образом искупит обиду. Да, это он считает себя обязанным сделать, потому что благодаря ей сохранил жизнь. Он вспомнил то утро, когда с Кротонем проник в ее жилище; вспомнил поднятую над собой руку Урса и все, что

произошло потом. Увидел ее, наклоненную над ложем, одетую в платье рабыни, прекрасную, как божество, добрую и любимую... Глаза его невольно обратились к ларам, на тот крестик, который она оставила ему, уходя. Неужели за все это он заплатит ей новым покушением? Неужели будет таскать ее за волосы по спальне, как рабыню? Как сможет он сделать это, раз не только страстно желает ее, но и любит, — любит именно за то, что она такая, а не иная? И он почувствовал, что недостаточно иметь ее в доме, недостаточно насильно сжать в своих объятиях, что его любовь жаждет большего, то есть: ее согласия, ее любви, ее души. Благословенна кровля его дома, если она войдет сюда по своей воле, благословенны мгновения, благословен день, благословенна жизнь! Тогда счастье обоих будет как море неисчерпаемо и светло, как солнце. Но взять ее силою значило бы убить навеки такое счастье и вместе с тем уничтожить, испачкать, втоптать в грязь самое дорогое и единственно любимое в жизни.

Гнев охватил его при одной мысли об этом. Он посмотрел на Хилона, который пытливо смотрел на него, сунув руку под свои лохмотья и беспокойно почесываясь. Виниция охватило невероятное отвращение и желание растоптать своего прежнего приспешника, как топчут отвратительных насекомых или ядовитых змей. Он тотчас решил, что нужно сделать. Не зная меры ни в чем, следуя лишь влечениям своего сурового римского характера, он обратился к Хилону:

— Я не сделаю того, что ты мне советуешь, но, чтобы не уйти тебе без заслуженной награды, я велю дать тебе триста розог в уборной.

Хилон побледнел. На красивом лице Виниция было столько холодной жестокости, что он и на миг не обольщал себя надеждой, чтобы обещанная награда была лишь жестокой шуткой.

Он бросился на колени и, припав к земле, застонал прерывающимся голосом:

— За что же, царь персидский? За что?.. Пирамида благодати! Колосс милосердия! За что?.. Я старый, голодный нищий... Я служил тебе... Так-то ты хочешь отблагодарить меня?..

— Как ты христиан, — ответил Виниций и позвал раба.

Но Хилон судорожно схватил за ноги Виниция и вопил с лицом, покрытым мертвенной бледностью:

— Господин!.. Господин!.. Я старик... Дай пятьдесят, а не триста... Пятьдесят довольно!.. Ну сто, а не триста! Сжался, сжался!..

Виниций оттолкнул его и дал приказание. Тотчас вбежало еще два сильных раба, которые схватили Хилона за остатки шевелюры, окутали голову его же плащом и потащили.

— Во имя Христа!.. — завопил грек в дверях.

Виниций остался один. Отданное распоряжение возбудило его и оживило. Он стал приводить в порядок мысли. Чувствовал большое облегчение и победу, одержанную над собой, и это наполнило его душу надеждой. Ему казалось, что он стал намного ближе к Лигии, что его должна за это ждать награда. Ему даже не пришло сначала в голову, что он поступил несправедливо с Хилоном, что велел сечь его за то, за что раньше награждал. Он был слишком римлянином для того, чтобы болеть чужой болью и обращать внимание на какого-то нищего грека. Если бы даже и подумал об этом, то решил бы, что поступил правильно, наказав негодяя. Но он думал о Лигии и говорил ей: не заплачу тебе злом за добро, и когда ты впоследствии узнаешь, как я поступил с человеком, уговаривавшим меня совершить над тобой насилие, то будешь благодарна мне за это. И только теперь он задал себе вопрос: одобрила ли бы Лигия его поступок по отношению к Хилону? Ведь учение, которое она исповедует, требует прощать; ведь христиане простили этого негодяя, хотя имели больше поводов для мести. И ему вспомнился вопль грека: «Во имя Христа!» Вспомнив, что этим возгласом Хилон избавился от руки лигийца, Виниций решил простить его.

Он хотел позвать раба, ведавшего наказаниями, но тот явился без зова.

— Господин, старик потерял сознание, может быть, умер. Должен ли я продолжать сечь его?

— Привести в чувство и позвать его ко мне.

Раб исчез за завесой. Но привести в чувство грека было, по-видимому, не так-то легко, Виницию долго пришлось ждать; он стал раздражаться от нетерпения, когда наконец рабы ввели Хилона и по знаку Виниция исчезли.

Хилон был бледен как полотно, по ногам стекали на мозаичный пол струи крови. Он упал на колени и протянул к Виницию руки:

— Благодарю, господин! Ты велик и милосерд!

— Собака, — сказал Виниций, — знай, что я прощаю тебя ради того Христа, которому и сам обязан жизнью.

— Я буду служить, господин, ему и тебе.

— Молчи и слушай. Встань! Пойдешь со мной и покажешь мне дом, где живет Лигия.

Хилон поднялся, но едва очутился на ногах, как побледнел еще сильнее и сказал слабым голосом:

— Господин, я в самом деле голоден... Пойду, господин, пойду, но у меня нет сил!.. Вели мне дать хоть остатки из горшка твоего пса, и я пойду!..

Виниций велел накормить его, дать золота и плащ. Но Хилон, которого ослабили голод и наказание, идти сам не мог, хотя страх шевелил ему волосы на голове, как бы Виниций не принял слабости за сопротивление и не велел его снова высечь.

— Пусть вино согреет меня, — говорил он, щелкая зубами, — и я смогу пойти пешком хоть в Великую Грецию.

Когда через некоторое время Хилон немного оправился, они вышли из дома. Путь был долгий, потому что Лин жил, как и большая часть христиан, за Тибром, недалеко от дома Мириам. Наконец Хилон показал Виницию небольшой дом, окруженный стеной, которую густо покрывал плющ, и сказал:

— Здесь, господин.

— Хорошо. Теперь ступай прочь, но раньше выслушай, что я скажу тебе: забудь, что ты служил мне; забудь, где живут Петр, Мириам и Главк; забудь также и об этом доме, и о всех христианах. Раз в месяц ты приходи в мой дом, где мой вольноотпущенник Дем будет выдавать тебе два золотых. Но если ты и впредь будешь следить за христианами, я велю засечь тебя или отдам в руки городского префекта.

Хилон поклонился и сказал:

— Забуду, господин.

Когда Виниций исчез за поворотом переулка, грек протянул ему вслед руки и, грозя кулаком, воскликнул:

— Клянусь Атой и Фурией, не забуду!

И силы покинули его.

Виниций пошел в тот дом, где жила Мириам; у ворот он встретил Назария, который смутился, увидев Виниция, но тот приветливо поздоровался с ним и велел отвести себя к матери.

В домике он кроме Мириам застал Петра, Главка, Криспа, а также Павла из Тарса, который только что вернулся в Рим из Фрегеллы. При виде молодого трибуна удивление отразилось на лицах всех присутствующих. Виниций сказал:

— Приветствую вас во имя Христа, которого почитаете.

— Пусть имя его будет прославлено во веки веков.

— Я видел вашу добродетель и испытал на себе ваше милосердие, поэтому прихожу как друг.

— И мы приветствуем тебя как друга, — ответил Петр. — Садись, господин, и раздели с нами трапезу, как гость наш.

— Сяду и буду есть с вами, но раньше выслушайте меня, ты, Петр, и ты, Павел, чтобы знали вы искренность мою. Знаю, где Лигия; прихожу от порога дома Лина, который живет здесь поблизости. У меня есть право на нее, дарованное мне цезарем. У меня в городе, в домах моих, около пятисот рабов; я мог бы окружить убежище и захватить Лигию, однако я не сделал этого и не сделаю.

— Благословение Господне да будет на тебе, и очистится сердце твое, — сказал Петр.

— Благодарю тебя, но выслушайте меня дальше: я не сделал этого, хотя живу в тоске и муке. До того как узнал вас, я, конечно, схватил бы девушку и удержал ее у себя силой, но ваша добродетель и ваше учение, хотя я и не исповедую его, изменили что-то в душе моей, и я не решаюсь теперь на насилие. Сам не понимаю, почему это случилось, но это так! И вот я прихожу к вам, потому что Лигии вы заменяете отца и мать, и говорю: дайте мне ее в жены, а я поклянусь вам, что не только не буду мешать ей верить в Христа, но и сам буду вникать в его учение.

Говорил он это с поднятой головой, решительным голосом, но был сильно взволнован, ноги его дрожали под полосатым плащом; когда после его слов наступило молчание, он, словно желая предупредить неблагоприятный ответ, стал говорить дальше:

— Знаю, что существуют препятствия, но я люблю ее, как зеницу ока, и хотя еще не христианин, все же я не враг ни вам, ни Христу. Хочу

говорить вам одну правду, чтобы вы поверили мне. Дело касается жизни моей, но я буду искренен и правдив. Другой сказал бы: окрестите меня, я говорю: просветите мою душу! Верю, что Христос воскрес, потому что это свидетельствуют живущие правдой люди, которые видели его после смерти. Верю, потому что сам видел, как ваше учение плодит добродетель, справедливость и милосердие, а не преступления, в которых вас обвиняют. Я знаю немного: лишь по вашим делам и от Лигии да по беседам с вами. Но я повторяю, что и во мне что-то изменилось. Железной рукой держал я свой дом, а теперь не могу. Не знал жалости, теперь знаю. Любил наслаждения, а теперь бежал с пруда Агриппы, потому что задыхался от отвращения. Прежде верил в насилие, теперь отрекаюсь от него. Сам не узнаю себя, но мне отвратительны пиры, вино, песни, кифары и венки, отвратителен двор цезаря, нагие тела и все безобразия. А когда подумаю, что Лигия чиста, как снег в горах, то люблю ее еще сильнее; когда подумаю, что она такая благодаря вашему учению, то люблю и его и хочу узнать его! Но я не понимаю его, не знаю, смогу ли жить в нем, примет ли его моя природа, поэтому мучаюсь, не знаю, что делать, не вижу выхода, словно я брошен в темницу...

Его густые брови сдвинулись в болезненную складку, лицо покраснело, но он продолжал говорить с возрастающим волнением:

— Видите: я страдаю и от любви, и от мрака. Мне говорили, что ваше учение отвергает и жизнь, и человеческую радость, и счастье, и право и порядок, и начальство, и владычество Рима. Неужели это правда? Мне говорили, что вы безумны; скажите, что вы несете людям? Разве грех любить? Разве грех чувствовать радость? Разве грех желать счастья? Разве вы враги жизни? Неужели христианин должен быть нищим? Неужели я должен был бы отказаться от Лигии? В чем ваша правда? Ваши дела и слова ваши прозрачны, как ключевая вода, но что скрывается на дне, под водой? Видите, я говорю искренне. Осветите мрак! Потому что мне сказали еще вот что: Греция создала красоту и мудрость, Рим — мощь, а что создадут христиане? Так скажите, что вы несете миру? Если за дверями вашими есть свет, то откройте их для меня!

— Мы несем любовь, — сказал Петр.

А Павел прибавил:

— Если бы ты говорил языком людей и ангелов, а любви не имел бы, то ты был бы как медь звенящая...

Сердце старого апостола было тронато муками этой души, которая, словно птица в клетке, рвалась на простор, к солнцу, и он протянул Веницию руки и сказал:

— Кто стучит, тому будет открыто. Благодать Господа над тобою, поэтому благословляю тебя, твою душу и твою любовь во имя Спасителя мира.

Виниций, сильно взволнованный во время своей речи, теперь, услышав слова благословения, приблизился к Петру. И произошла совершенно невероятная вещь. Потомок квиритов, недавно еще не признававший в чужестранце человека, схватил руку старого галилеянина и с благодарностью прижал ее к своим губам.

Петр был обрадован, он понял, что зерно упало на жирную землю, что его рыбацья сеть захватила еще одну душу.

Присутствующие, не менее растроганные этим знаком благоговения перед Христовым апостолом, воскликнули в один голос:

— Слава в вышних Богу!

Виниций поднял свое просветлевшее лицо и сказал:

— Вижу, что счастье может жить среди вас, потому что чувствую себя счастливым, думаю, что и в другом вы меня также убедите. Но должен вам сказать, что это произойдет не в Риме: цезарь едет в Анциум, и я получил приказ ехать с ним. Вы знаете, что ждет за непослушание — смерть. Но если я заслужил ваше доверие и расположение, то поезжайте со мной, чтобы учить меня вашей правде. Вы будете там в большей безопасности, чем я сам; в этой огромной толпе вы сможете проповедовать ваше учение при дворе самого цезаря. Говорят, Актея — христианка, да и между преторианцами есть христиане, потому что я сам видел, как солдаты вставали перед тобой на колени у Номентанских ворот. В Анциуме у меня своя вилла, где мы будем собираться, чтобы в близком соседстве с дворцом Нерона слушать ваши проповеди. Главк говорил мне, что вы ради одной души готовы идти на край света, так сделайте и для меня то, что сделали для тех, ради которых пришли из далекой Иудеи, и не покидайте моей души!

Услышав это, христиане стали советоваться, радуясь победе своей правды и тому значению, какое будет иметь для языческого мира обращение августианца и потомка одного из самых древних римских родов. Они действительно готовы были идти на край света ради одной человеческой души, а после смерти Учителя ничего другого и не делали, — поэтому возможность отказа не пришла им даже в голову. Петр был занят в настоящую минуту своей паствой и ехать не мог, но Павел, недавно посетивший Арицию и Фрегеллу, собирался снова в далекое путешествие на восток, чтобы посетить тамошние церкви и оживить их духом рвения; поэтому он охотно согласился ехать с молодым трибуном в Анциум; там он

легко мог найти корабль, идущий в греческие моря.

Виниций, хотя и опечалился, что Петр, которому он многим был обязан, не поедет с ним, очень благодарил Павла, а потом обратился к старому апостолу с последней просьбой:

— Зная жилище Лигии, — сказал он, — я мог бы один пойти к ней и спросить, хочет ли она быть моей женой, если душа моя станет христианской, но я предпочитаю просить тебя, апостол: позволь мне повидаться с ней, но сведи меня сам к Лигии. Я не знаю, как долго придется мне прожить в Анциуме, кроме того, помните, что при цезаре никто не может быть уверен в завтрашнем дне. Мне уже говорил Петроний, что там я буду не совсем в безопасности. Так пусть увижу ее перед этим, пусть насытятся глаза мои ее видом, и я спрошу ее, забудет ли она зло, причиненное мной, и разделит ли со мной добро.

А Петр, улыбаясь добродушно, сказал:

— Кто бы отказал тебе в этой заслуженной радости, сын мой?

Виниций снова припал к его руке, он немог успокоить своего растроганного и взволнованного сердца. Апостол поднял его голову и сказал:

— А ты цезаря не бойся... Говорю тебе: волос не упадет с головы твоей...

Потом он послал Мириам за Лигией, наказав не говорить, кого она застанет здесь, чтобы тем больше обрадована была девушка.

Лин жил недалеко, поэтому скоро присутствующие увидели среди мирт садика приближавшуюся Мириам, которая вела за руку Лигию.

Виниций хотел бежать навстречу, но при виде возлюбленной счастье обессилило его, он стоял с бьющимся сердцем, затаив дыхание, еле держась на ногах, гораздо более взволнованный, чем в ту минуту, когда впервые услышал над своей головой певучую парфянскую стрелу.

Лигия вбежала, не подозревая ничего, и при виде его встала как вкопанная. Лицо ее покраснело и тотчас побледнело, испуганными и изумленными глазами она обвела присутствующих.

Но вокруг увидела ясные, радостные лица. Апостол Петр подошел к ней и спросил:

— Лигия, любишь ли ты его до сих пор?

Наступило молчание. Ее губы дрожали, как у ребенка, который собирается плакать, который чувствует, что виноват и что, однако, должен признаться в своей вине.

— Ответь, — сказал апостол.

Тогда покорно и со страхом в голосе она прошептала, опускаясь к



ногам Петра:

— Да...

Виниций опустился с ней рядом на колени, а Петр, возложив руки им на головы, сказал:

— Любите в Господе и во славу его, ибо нет греха в любви вашей.

Гуляя по садику, Виниций рассказывал Лигии в словах, идущих из глубины души, все то, в чем исповедовался апостолам: о тревоге своей души, о переменах, происшедших в нем, и, наконец, о той невероятной тоске, которая овладела им после того, как он покинул дом Мириам. Признался Лигии, что хотел забыть ее и не мог. Думал о ней днем и ночью. Ему напоминал о ней тот крестик, сделанный из веточек букса, который она оставила ему, — он поставил его среди своих лар и невольно почитал, как нечто божественное. Он тосковал по ней все сильнее, потому что любовь была сильнее его и уже в доме Авла заполонила целиком его душу... Другим прядут нить жизни Парки, ему же — любовь, тоска и печаль. Его поступки были злы, но вытекали из любви. Он любил ее в доме Авла и на Палатине, и когда увидел ее в Остриануме, слушающей проповедь Петра, и когда шел похищать ее с Кротоном, и когда она ухаживала за ним на ложе болезни, и когда она покинула его. Но вот пришел Хилон, открывший ее местопребывание, и советовал устроить похищение, но он велел высечь Хилона и предпочел пойти к апостолам просить истины и Лигии... И пусть будет благословен тот час, когда мысль эта пришла ему в голову, потому что теперь он с ней и она ведь не будет больше прятаться от него, как в последний раз, когда убежала от Мириам?

— Я не от тебя бежала, — сказала Лигия.

— Почему же ты сделала это?

Она подняла на него свои голубые глаза, а потом, наклонив стыдливо голову, ответила:

— Ты сам знаешь...

Виниций замолчал на минуту от чувства неизмеримой радости, а потом снова стал говорить, как мало-помалу открывались глаза его, как не похожа она ни на одну из римлянок и можно сравнить ее с одной лишь Помпонией. Он не умел выразить ясно свою мысль, потому что сам не разбирался в нахлынувших чувствах. Ему хотелось сказать, что с ней приходит в мир новая красота, какой до сих пор не было и которая является не только формой, но и содержанием. Но он сказал, что любит ее даже за то, что она убежала от него, и что она будет для него святой у домашнего очага.

Потом схватил ее руку и не мог говорить больше, а лишь смотрел на нее с восторгом, как на свое обретенное счастье, и повторял ее имя, словно

желая Увериться, что снова нашел ее:

— О Лигия! Лигия!..

Он стал спрашивать, что происходило в ее душе, и она призналась, что полюбила его еще в доме Авла, и если бы он отвел ее из Палатина обратно к ним, она призналась бы в своей любви и постаралась смягчить их гнев.

— Клянусь, — сказал Виниций, — что у меня и мысли не было отнимать тебя у Плавтиев; Петроний когда-нибудь подтвердит тебе, что я тогда еще говорил ему о любви к тебе и желании жениться. Я сказал ему: пусть она помажет волчьим салом двери моего дома и пусть сядет у моего очага! Но он высмеял меня и подал цезарю мысль потребовать тебя у Авла как заложницу и отдать мне. Сколько раз проклинал я его за это, но, может быть, в этом счастливая судьба, потому что иначе я не узнал бы христиан и не понял бы тебя...

— Поверь, Марк, — ответила Лигия, — Христос избрал для тебя этот путь.

Виниций с удивлением поднял голову.

— Правда! — оживленно ответил он. — Все складывалось так странно: разыскивая тебя, я встретился с христианами... В Остриануме с изумлением я слушал апостола, потому что таких речей раньше мне не приходилось слышать. Значит, ты молилась за меня?

— Да, — ответила Лигия.

Они прошли мимо беседки, увитой плющом, и приблизились к месту, где Урс, задушив Кротона, бросился на Виниция.

— Здесь, — сказал молодой трибун, — если бы не ты, я бы погиб.

— Не вспоминай! — ответила Лигия. — И не имей злых чувств к Урсу.

— Разве я могу сердиться на него за то, что он защищал тебя? Будь он рабом, я давно подарил бы ему свободу.

— Если бы он был рабом, Авлы давно бы отпустили его.

— Помнишь, как я хотел вернуть тебя в дом Авла? Но ты мне ответила, что цезарь мог бы узнать об этом и мстить им. Теперь ты можешь видаться с ними сколько угодно.

— Почему, Марк?

— Говорю: «теперь», а думаю, что ты можешь безопасно видаться с ними, когда станешь моей женой. Да!.. Если цезарь спросит меня, что я сделал с заложницей, которую он доверил мне, скажу: я взял ее в жены и к Авлам она ходит с моего согласия. В Анциуме цезарь долго не проживет, ему хочется ехать в Ахайю, а если и останется на более долгий срок, то ведь мне нет нужды видаться с ним ежедневно. Когда Павел научит меня

вашей правде, я тотчас приму крещение и вернусь в Рим, помирюсь с Авлами, которые на днях должны вернуться в город, и тогда не будет препятствий. Тогда я введу тебя в свой дом и посажу у очага. O carissima! Carissima!

Сказав это, он протянул руки, словно призывая небо в свидетели своей любви, а Лигия, подняв на него сияющие глаза, прошептала:

— И тогда я скажу: «Где ты, Кай, там и я, Кайя».

— О Лигия, — воскликнул Виниций, — клянусь, что ни одна женщина не будет в такой чести у своего мужа, как ты в моем доме!

Они шли некоторое время молча, не в силах удержать в груди счастья, влюбленные, похожие на богов и прекрасные, словно их вместе с цветами принесла в мир весна. Наконец они остановились у кипариса, около входа в домик. Лигия прислонилась к стволу, а Виниций снова заговорил растроганным голосом:

— Вели Урсу сходить в дом Авла, взять твои вещи и детские игрушки и перенести все ко мне.

Она, вспыхнув, как роза, ответила:

— Обычай требует другого...

— Я знаю. Их обычно относит пронуба<sup>[46]</sup> вслед за невестой, но сделай это для меня. Я увезу их на свою виллу в Анциум и буду вспоминать тебя, глядя на эти вещи.

Он сложил руки и начал просить ее, как ребенок:

— Помпония вернется на днях, поэтому исполни мою просьбу, carissima, прошу тебя!

— Пусть Помпония сделает, как найдет нужным, — ответила Лигия, вспыхнув еще сильнее при слове «пронуба».

Они снова умолкли, потому что дыхание стеснилось в их груди. Лигия опиралась плечом на кипарис, лицо ее белело в тени, как цветок, а грудь волновалась под туникой; Виниций менялся в лице и бледнел. В полуденной тишине они слышали биение своих сердец, и кипарис, мирты и плющ беседки стали для них в эту минуту сладостным садом любви.

Но в дверях появилась Мириам и позвала их завтракать. Тогда они сели среди апостолов за трапезу, а те смотрели на них с радостью, как на молодое поколение, которое после смерти стариков должно было сохранить и сеять дальше зерна великого учения. Петр преломил хлеб и благословил его; на всех лицах была тишина и мир, и какое-то огромное счастье, казалось, наполняло этот бедный домик.

— Вот видишь, — сказал наконец Павел, обращаясь к Виницию, — неужели мы враги жизни и радости?

И тот ответил:

— Знаю, что воистину так, ибо никогда я не был так счастлив, как среди вас.

## XIII

Вечером в тот же день, проходя через Форум домой, Виниций встретил золоченую лектику Петрония, которую несли восемь рослых рабов. Сделав им знак остановиться, он подошел к лектике.

— Да будет тебе сон твой сладок и приятен! — воскликнул он с улыбкой при виде задремавшего Петрония.

— А, это ты! — сказал проснувшийся Петроний. — Да, я задремал после бессонной ночи на Палатине. Я купил несколько книг, чтобы прочесть их в Анциуме... Что слышно?

— Ты ходишь по книжным лавкам? — спросил Виниций.

— Да. Не хочу разорять своей библиотеки, поэтому в путешествие беру новый запас. Говорят, вышли новые вещи Музония и Сенеки. Я разыскиваю также Персия и одно издание эклога<sup>[47]</sup> Вергилия, которого нет у меня. О, как я устал от перебирания рукописей... Потому что, когда попадаешь в книжную лавку, разгорается любопытство посмотреть и то и другое. Я побывал у пяти книготорговцев. Клянусь Кастором! Мне очень хочется спать!..

— Ты был на Палатине, поэтому можешь сказать, что там слышно? Знаешь, отошли лектику и коробки с книгами домой и пойдём ко мне. Поговорим об Анциуме и ещё кое о чём.

— Хорошо, — сказал Петроний, выходя из лектики. — Ты, вероятно, знаешь, что послезавтра мы выезжаем.

— Откуда мне было знать это?

— Где ты живешь? Значит, я первый сообщаю тебе эту новость? Да, будь готов послезавтра утром. Горох на оливковом масле не помог, платок на жирной шее не помог — и Меднобородый охрип. Поэтому не может быть разговоров о промедлении. Он клянет Рим и здешний воздух, готов сровнять город с землей или сжечь, ругается на чем свет стоит и хочет поскорее дышать морем. Говорит, что вонь, которую ветер приносит во дворец из узких улиц города, может уморить его. Сегодня во всех храмах приносились торжественные жертвы, чтобы боги вернули ему голос, — и горе Риму, в особенности сенату, если голос не вернется.

— Тогда незачем было бы и ехать в Ахайю.

— Да разве у божественного цезаря один лишь этот талант? — ответил со смехом Петроний. — Он выступил бы на олимпийских играх как поэт со своими стихами о пожаре Трои, как музыкант, как наездник, как атлет,

наконец, как танцор, и уж во всяком случае стяжал бы себе все венки, предназначенные для победителей. Знаешь, почему эта обезьяна охрипла? Вчера ему захотелось соперничать в танце с нашим Парисом, он плясал перед нами миф о Леде, вспотел и простудился. Весь был мокрый и липкий, как только что вынутый из воды угорь. Менял маску за маской, вертелся как веретено, размахивал руками, словно пьяный матрос, и было очень противно видеть его огромный живот и тонкие ноги. Парис обучал его в течение двух недель, но ты представь себе Агенобарба в роли Леды или бога-лебедя. Вот так лебедь! Нечего сказать! Но он намерен публично выступить в этой пантомиме сначала в Анциуме, а потом в Риме.

— Его осуждали за то, что он пел перед публикой, но подумать только: римский цезарь, выступающий в качестве мима! Нет, этого не вынесет Рим!

— Мой дорогой! Рим все вынесет, а сенат принесет благодарность «отцу отечества».

И прибавил:

— А чернь будет даже польщена, что цезарь служит для нее шутком.

— Скажи, можно ли еще ниже пасть?

Петроний пожал плечами.

— Ты живешь в своем доме, погружен в мысли о Лигии, о христианах, поэтому, вероятно, не знаешь событий последних дней. Ведь Нерон публично женился на Пифагоре. Выступил в качестве невесты. Казалось бы, мера безумия превзойдена, не правда ли? И что же: пришли вызванные жрецы и торжественно сочетали их браком. Я присутствовал на церемонии. Со многим мирюсь, однако должен сознаться, что подумал: если боги существуют, они должны как-нибудь отозваться на кощунство... Но цезарь не верит в богов — и прав.

— Следовательно, он в одном лице и верховный жрец, и бог, и атеист, — заметил Виниций.

Петроний стал смеяться.

— Ты прав! Мне не приходило в голову такое сочетание, какого мир до сих пор не знал.

Помолчав, он прибавил:

— Нужно еще сказать, что этот верховный жрец, не верящий в богов, и этот бог, смеющийся над ними, боится их, как атеист.

— Доказательством чего служит событие в храме Весты.

— Что за мир!

— Каков мир, таков и цезарь! Но это долго продолжаться не может.

Разговаривая так, они вошли в дом Виниция, который весело распорядился подать ужин, а потом, обратившись к Петронию, сказал:

— Нет, дорогой мой, мир должен переродиться.

— Мы его возродим, — ответил Петроний, — хотя бы потому, что в эпоху Нерона человек похож на мотылька: живет в солнце милостей и при первом холодном дуновении гибнет... хотя бы и не хотел этого! Не раз задавал я себе вопрос, каким чудом такой Луций Сатурнин мог дотянуть до девяноста трех лет, пережить Тиберия, Калигулу, Клавдия?.. Но это все пустяки. Позволь мне послать твою лектику за Евникой. У меня пропал сон, и мне хочется веселиться. Вели позвать на пир музыканта, а потом мы побеседуем об Анциуме. Об этом нужно подумать, особенно тебе.

Виниций приказал послать за Евникой; но заявил, что над поездкой в Анциум он не намерен ломать головы. Пусть об этом думают люди, не умеющие жить иначе, как в лучах милости цезаря. Свет не кончается на Палатине, в особенности для тех, которые имеют нечто другое на сердце и в душе.

Он говорил это небрежным тоном, оживленный и веселый, — это удивило Петрония, и, посмотрев на него пристально, он сказал:

— Что с тобой? Сегодня ты такой, каким был в дни ранней юности.

— Я счастлив, — ответил Виниций. — Я затем и позвал тебя, чтобы сказать это.

— Что случилось?

— Нечто, чего я не променял бы за всю римскую империю.

Сказав это, он сел, облокотившись на ручку кресла, и стал говорить с сияющим лицом и светлыми глазами:

— Помнишь, как мы были вместе в доме Авла Плавтия и как там впервые ты увидел божественную девушку, которую сам ты назвал зарей и весной? Помнишь ту Психею, несравненную, прекраснейшую из дев и всех ваших богинь?

Петроний смотрел на него с изумлением, словно желал убедиться, в порядке ли голова его племянника.

— Как ты выражаешься! — сказал он наконец. — Конечно, я помню Лигию.

Виниций сказал:

— Я жених ее.

— Что?..

Виниций вскочил и позвал главного раба.

— Пусть рабы придут сюда все до одного! Живо!

— Ты жених? — повторил Петроний.

Но прежде чем он успел прийти в себя от изумления, огромный атриум наполнился множеством людей. Бежали запыхавшиеся старики, мужчины,



женщины, мальчики и девушки. Входили все новые и новые, и с каждой минутой атриум наполнялся; издали слышались голоса, зовущие товарищей на всех языках мира. Наконец все они столпились плотной стеной у стен и колонн. Виниций подошел к фонтану и, обратившись к вольноотпущеннику Дему, громко сказал:

— Все, кто прослужил в доме двадцать лет, завтра должны отправиться к претору, где получают вольную; кто служил меньше, получает три золотых и двойную порцию пищи в течение недели. В деревни послать приказ, что наказания отменяются: снять с провинившихся цепи и кормить их вдоволь. Знайте, что настал для меня счастливый день, и я хочу, чтобы радостно было в доме.

Рабы стояли некоторое время молча, словно не верили ушам своим, потом руки всех протянулись к нему, и они в один голос завывали:

— А-а-а! Господин! А-а-а-а!

Виниций отпустил их мановением руки; хотя всем им хотелось благодарить своего господина еще и склоняться к его ногам, но, повинувшись, они спешно покинули атриум, наполняя дом криками радости.

— Завтра, — сказал Виниций, — велю им собраться в саду и чертить на песке знаки, какие им захочется. Тем, которые начертят рыбу, даст свободу Лигия.

Но Петроний, который ничему долго не удивлялся, был спокоен и спросил:

— Рыбу?.. Ах, помню, что рассказывал Хилон: рыба — символ христиан. — И, протянув руку Виницию, прибавил:

— Счастье живет там, где человек его видит. Пусть Флора сыплет вам под ноги цветы в течение долгих лет. Желаю тебе всего того, чего сам себе желаешь.

— Благодарю. А я думал, что ты станешь отговаривать меня. Это была бы лишь напрасная потеря времени.

— Я стал бы отговаривать? Никогда. Наоборот, я скажу, что ты поступаешь прекрасно.

— А, непостоянный! — весело воскликнул Виниций. — Разве ты забыл, что говорил мне, когда мы шли из дома Помпонию?

Петроний спокойно ответил:

— Нет, не забыл! Но я переменял мнение.

И, помолчав, стал говорить:

— Мой милый! В Риме все меняется. Мужья меняют жен, жены — мужей, почему же мне не менять мнений? Нерон хотел жениться на Актее, которой ради этого сочинили царскую родословную. И что же? Он имел бы

честную жену, а мы честную Августу. Клянусь Протеем, и я буду всегда менять мнения, когда сочту это нужным или выгодным. Что касается Лигии, ее царское происхождение более достоверно, чем пергамские предки Актеи. Но ты берегись в Анциуме Поппеи, которая умеет мстить.

— И не подумай! Волос не упадет с моей головы в Анциуме.

— Если думаешь удивить меня еще раз, то ошибаешься. Но откуда ты знаешь это?

— Мне так сказал апостол Петр.

— А, тебе сказал Петр! Против этого ничего не возразишь. Но позволь мне посоветовать тебе некоторые меры предосторожности, хотя бы для того, чтобы Петр не оказался ложным пророком, потому что если апостол случайно ошибся, то может потерять твое доверие, которое, вероятно, будет ему полезно и в будущем.

— Делай, что хочешь, но я верю ему. И если надеешься оттолкнуть меня от него, повторяя с ироническим ударением его имя, то ошибаешься.

— Еще один вопрос: ты сделался христианином?

— Пока еще нет, но апостол Павел едет со мной, чтобы объяснить мне Христово учение, потом я крещусь, потому что все, что ты мне говорил о них, как о врагах жизни и радости, — неправда.

— Тем лучше и для тебя и для Лигии, — ответил Петроний.

Пожав плечами, он сказал, не обращаясь к Виницию:

— Странное дело, как эти люди умеют вербовать своих сторонников и как растет эта секта.

Виниций сказал ему с волнением, словно принял уже крещение:

— Да! Тысячи и десятки тысяч христиан в Риме, в городах Италии, в Греции и Азии. Есть христиане и в легионах, и среди преторианцев, и во дворце цезаря. Исповедуют эту религию рабы и свободные граждане, нищие и богачи, простой народ и знать. Знаешь ли ты, что некоторые из Корнелиев христиане? Христианка — Помпония Грецина; была ею, говорят, Октавия, и Актея также. Да, это учение полонило мир, и одно оно может возродить людей. Не пожимай плечами, потому что кто может поручиться, что через месяц или через год ты сам не примешь его.

— Я? Нет, клянусь Летой,<sup>[48]</sup> я не приму его, хотя бы в нем была истина и мудрость равно божественная, как и человеческая... Это требует работы, а я не люблю работать... Нужно отказаться от многого, а я не люблю отказывать себе ни в чем. С твоим пламенным характером ты мог, конечно, увлечься этим, но я... У меня есть мои геммы, мои камеи, мои вазы и моя Евника. В Олимп я не верю и устраиваю его для себя на земле, — я буду цвести, пока меня не поразят стрелы божественного

лучника или пока цезарь не велит мне открыть жил. Я люблю запах фиалок и удобный триклиниум. Люблю даже наших богов... как риторические фигуры, и Ахайю, куда собираюсь с нашим жирным, тонконогим, несравненным, божественным цезарем, Августом, Геркулесом... Нероном!

Он пришел в веселое настроение от одной лишь мысли, что мог бы принять веру галилейских рыбаков, и вполголоса стал напевать:

Я в зелень мирт запрячу ясный меч мой  
Вослед Гармодия и Аристогета...

Но он прервал пение, потому что раб возвестил о прибытии Евники.

Тотчас был подан ужин, во время которого, после нескольких песен, исполненных кифаредом, Виниций рассказал Петронию о приходе Хилона и о том, как у Виниция явилась мысль обратиться прямо к апостолам во время порки Хилона.

На это Петроний, которого снова стала одолевать сонливость, приложив руку к лбу, сказал:

— Мысль хороша, если последствия ее оказались хорошими. А что касается Хилона, то я на твоём месте дал бы ему пять золотых, а если бы вздумал сечь, то довел бы дело до конца. Потому что, кто знает, не будут ли ему со временем низко кланяться сенаторы, как сегодня кланяются нашему патрицию Дратва-Ватинию. Спокойной ночи.

Сняв венки, он и Евника стали собираться домой.

После их ухода Виниций пошел в библиотеку и написал Лигии следующее: «Хочу, чтобы тебе, божественная, когда ты откроешь свои прекрасные глаза, это письмо сказало: с добрым утром! Поэтому пишу сегодня, хотя мы и увидимся завтра. Цезарь едет послезавтра в Анциум, и я — увы! — должен сопровождать его. Я говорил тебе, что не послушать — значит лишиться жизни, а я теперь не хотел бы умереть. Но если ты хочешь, чтобы я остался, скажи одно слово, и я останусь. Пусть Петроний как хочет спасает меня. Сегодня, в день радости, я наградил всех своих рабов, а прослуживших в доме двадцать лет отведу завтра к претору и дам им вольную. Ты, дорогая, должна одобрить это, потому что мне кажется такой поступок согласным с сладостным учением, которое ты исповедуешь; кроме того, я сделал это ради тебя. Завтра я скажу, что они обязаны этим тебе, и они будут благодарить и славить твоё имя. Зато я сам иду в рабство счастливо и тебе и никогда не захочу вольной. Пусть будет проклято это путешествие с Меднобородым. Трижды, четырежды счастлив

я, что не так учен, как Петроний, потому что тогда пришлось бы ехать и в Ахайю. Наша короткая разлука сделает сладостной память о тебе. Когда смогу вырваться, сяду на коня и прискачу в Рим, чтобы обрадовать глаза твоим видом, утешить слух твоим нежным голосом. Если не смогу уехать, пошлю раба с письмом к тебе. Приветствую тебя, божественная, и склоняюсь к ногам твоим. Не сердись, что зову тебя божественной. Если запретишь, послушаюсь, но сегодня не могу иначе. Приветствую тебя из будущего твоего дома — от всей души».

## XIV

В Риме стало известно, что цезарь по дороге намерен посетить Остию, чтобы осмотреть там величайший в мире корабль, который только что прибыл с хлебом из Александрии, и оттуда проедет береговой дорогой в Анциум. Приказ был дан несколько дней тому назад, поэтому с утра в порту Остии стали собираться толпы местной разноплеменной черни, чтобы поглазеть на императорский кортеж, — римский народ всегда был жаден до зрелищ. Дорога в Анциум не была трудной, а в самом городе находилось много прекрасно обставленных дворцов и вилл, в которых можно было найти все удобства и даже изысканную роскошь. Но цезарь имел обыкновение брать с собой все вещи, которые любил, начиная с музыкальных инструментов и домашней утвари и кончая статуями и мозаиками, которые извлекались из ящиков даже во время самых непродолжительных остановок в пути. Поэтому его сопровождало огромное количество слуг, не считая преторианских отрядов и августианцев, из которых каждый имел множество личных слуг.

Ранним утром в этот день пастухи из Кампаньи, одетые в шкуры, с опаленными солнцем лицами, погнали через ворота пятьсот ослиц, чтобы на другой день утром в Анциуме Поппея могла принять свою обычную молочную ванну. Чернь со смехом и удовольствием смотрела на болтавшиеся в клубах пыли уши ослиц и радостно слушала свист бичей и дикие крики погонщиков. После того как стадо удалилось, дорога была очищена и посыпана цветами и зеленью пиний. В толпе с чувством гордости передавали, что весь путь до Анциума будет усыпан цветами, которые были доставлены владельцами близлежащих садов и куплены за большие деньги у цветочных торговцев. Толпа увеличивалась с каждой минутой. Некоторые приходили целыми семьями и, чтобы не скучать, располагались у дороги на камнях, предназначенных для постройки нового храма Циреры. Здесь же под открытым небом они ели свой завтрак. Собирались в кружки, разговаривали о поездке цезаря, о его будущих путешествиях. Матросы и старые солдаты рассказывали всякие чудеса про страны, о которых слышали во время былых походов и где не ступала еще нога римлянина. Горожане, не бывавшие нигде дальше Аппиевой дороги, с изумлением слушали рассказы про Индию и Аравию, про далекие моря, окружающие Британию, где на одном из островов Бриарий заковал спящего Сатурна и где жили духи, о стране Гиперборейской, о замерзших морях, о

шуме и столах океана, когда в его глубины погружается солнце. Подобным рассказам охотно верила чернь, верили даже такие люди, как Плиний и Тацит. Много рассказывали о корабле, который хотел осмотреть цезарь: груз его состоял из запаса пшеницы на два года, на нем приехало четыреста человек путешественников, столько же матросов и множество диких зверей для предстоящих летом игр. Все это делало популярным цезаря, который не только кормил, но и забавлял народ. Готовились к торжественной и восторженной встрече.

Но вот показался отряд нумидийской конницы, входившей в состав преторианских войск. Одеты они были в желтую одежду с красными поясами, с золотыми серьгами, бросавшими отблеск на их черные лица. Острия их бамбуковых пик блистали на солнце. За ними следовал кортеж. Толпа теснилась, чтобы лучше рассмотреть шествие, но отряд пеших преторианцев составил цепи по обеим сторонам ворот и очистил дорогу. Впереди двигались колесницы с пурпуровыми шатрами, красными, фиолетовыми, белоснежными из бисса, затканного золотыми нитями, с восточными коврами, мозаиками, с домашней и кухонной утварью; клетки с птицами, привезенными с Востока, Юга и Запада, мозги и языки которых должны были подаваться к столу цезаря, амфоры с вином, корзины с плодами. Вещи, которые боялись согнуть или разбить при перевозке, несли на руках пешие рабы. Проходили сотни людей с посудой, дорогими вазами, небольшими статуями из коринфской меди; одни несли этрусские вазы, другие — греческие, третьи — сосуды золотые, серебряные или из александрийского стекла. Их отделяли друг от друга небольшие отряды преторианцев, пеших и конных, кроме того, за рабами зорко следили надсмотрщики с кнутами в руках. Шествие людей, бережно несущих разные предметы, похоже было на религиозную процессию, и сходство это особенно усилилось, когда показались рабы с музыкальными инструментами цезаря в руках. Арфы, греческие лютни, еврейские и египетские гусли, лиры, форминги, кифары, трубы, флейты, изогнутые рожки и кимвалы. Глядя на множество инструментов, сверкавших золотом, драгоценными камнями, бронзой и перламутром, можно было подумать, что Аполлон или Вакх предприняли кругосветное путешествие. Потом показались великолепные повозки, на которых сидели плясуны, плясуньи, мимы — в красивых позах с тирсами в руках. За ними следовали рабы, не исполнявшие работ, которых держали ради развлечения: мальчики и девочки, набранные в Греции и Малой Азии, длинноволосые или кудрявые, с золотыми сетками на головах, похожие на амуров, с красивыми лицами, покрытыми толстым слоем косметики, чтобы ветер Кампаньи не испортил

им кожи.

Снова отряд преторианцев — исполинов сикамбров, бородатых, светловолосых, голубоглазых. Перед ними знаменосцы несли римских орлов, таблицы с надписями, небольшие статуи германских и римских богов, изображения и бюсты цезаря. Из-под шкур и панцирей солдат виднелись сильные загорелые руки, словно военные машины, способные владеть тяжелым оружием. Под их ногами, казалось, дрожала земля, и они шли ровным шагом, уверенные в своей силе, которую могли противопоставить даже римским цезарям. Они презрительно смотрели на городскую чернь, забыв о том, что многие пришли в этот город закованными в цепи. Но их было немного, потому что главные силы преторианцев оставались в городском лагере, чтобы держать в повиновении город. За ними вели упряжных тигров и львов Нерона, на случай, если он пожелает уподобиться Дионису. Индусы и арабы вели их на стальных цепях, увитых цветочными гирляндами. Прирученные опытным бестиариями, звери смотрели на толпу своими зелеными, сонными глазами, иногда поднимали огромные головы и втягивали в себя воздух, облизывая пасти длинными языками.

Дальше двигались колесницы цезаря, его лектики, большие и малые, золотые, пурпурные, инкрустированные слоновой костью, перламутром, сверкающие драгоценными камнями; за ними небольшой отряд преторианцев в римском вооружении, состоящий исключительно из жителей Италии. Еще великий Август освободил жителей полуострова от военной службы, почему так называемая италийская когорта, обычно стоявшая в Малой Азии, составлялась из охотников; таким образом в преторианском войске кроме варваров служили исключительно добровольцы.

За толпой нарядных слуг, рабов и мальчиков показался наконец цезарь, приближение которого возвестили издали крики народа.

В толпе находился и апостол Петр, который хотел увидеть цезаря хоть раз в жизни. С ним была Лигия, закрывшая лицо покрывалом, и Урс, сила которого могла пригодиться девушке среди разнузданной и грубой толпы. Лигиец взял один из огромных камней, предназначенных для постройки храма, и принес его апостолу, чтобы тот мог лучше увидеть шествие. В толпе стали ворчать на Урса, пролагавшего себе дорогу подобно судну, рассекающему волны, но, когда тот поднял и понес камень, которого не могли бы поднять четверо сильных людей, недовольство сменилось удивлением и вокруг раздался обычный в цирке крик одобрения: «Масте!»<sup>[49]</sup>

Показался цезарь. Он ехал в колеснице, имеющей вид шатра, в которую была запряжена шестерка идумейских жеребцов с золотыми подковами. Шелковые завесы шатра были раздвинуты, чтобы народ мог видеть цезаря. На колеснице могло поместиться несколько человек, но Нерон пожелал ехать через город один, чтобы внимание народа было всецело сосредоточено на нем. У ног его сидели два уродо-карлика. Он был в белой тунике и тоге аметистового цвета, которая бросала голубой отсвет на его лицо. На голове был лавровый венок. Со времени путешествия в Неаполь цезарь очень растолстел. Лицо обрюзгло; заметен был двойной подбородок, поэтому казалось, что рот начинается тотчас под носом. Толстая шея была обернута шелковым платком, который он поправлял каждую минуту белой жирной рукой, поросшей рыжими волосами; он не позволил удалять по обычаю эти волосы, потому что его уверили, что от этого будут дрожать руки и это помешает его игре на лютне. Безграничное тщеславие было написано на лице его в соединении с усталостью и скукой. Вообще лицо это казалось одновременно ужасным и шутовским. Он поворачивал голову направо и налево, щурил глаза и внимательно слушал, как его приветствуют. Вокруг раздавались аплодисменты и крики: «Здравствуй, божественный! Цезарь! Император! Здравствуй! Несравненный сын Аполлона! Аполлон!» Он улыбался, но иногда по лицу его пробегала тень беспокойства: римская толпа была насмешлива и, пользуясь своей многочисленностью, позволяла не раз выкрикивать дерзости и отпускать злые шутки по адресу даже тех великих триумфаторов, которых действительно любила и уважала. Известно, что некогда при въезде Юлия Цезаря в Рим раздавались крики: «Граждане, берегите жен, едет лысый развратник!» Но чудовищное самолюбие Нерона не выносило насмешек, шуток и намеков. В толпе слышались возгласы: «Меднобородый!.. Меднобородый, куда везешь свою огненную бороду? Не боишься ли, что Рим загорится от нее?» Кричавшие это не знали, что шутка их таит в себе страшное пророчество. Цезаря не очень сердили эти возгласы, потому что бороды он не носил, после того как в золотом ларце принес ее в жертву Юпитеру Капитолийскому. Но были и такие, которые, спрятавшись среди камней и около строящегося храма, кричали: «Матереубийца! Орест! Алкмеон!» Иные выкрикивали: «Где Октавия?! Сними пурпур!», а едущую за Нероном Поппею обзывали бранными прозвищами. Тонкий слух Нерона улавливал такие крики, и он подносил тогда к глазам свой отшлифованный изумруд, словно хотел увидеть и запомнить крикунов. Таким образом случайно его взор остановился на возвышавшемся над толпой апостоле Петре. На мгновение взоры этих людей встретились, и никому из пышной



свиты цезаря и многочисленной толпы народа не пришло в голову, что в эту минуту смотрят друг на друга два властелина мира, из которых один скоро исчезнет, как кровавый сон, а другой, старик, одетый в грубый плащ, примет в вечное владение и мир и Рим.

Проехал цезарь, а за ним восемь негров пронесли великолепную лектику, в которой сидела нелюбимая народом Поппея. Одета, как и Нерон, в аметистового цвета пеплум, с толстым слоем белил на лице, неподвижная, равнодушная, погруженная в мысли, она казалась изображением богини, прекрасной и злой, которую несли в процессии. За ней следовало множество мужской и женской прислуги и колесницы с нарядами. Солнце было высоко, когда показались августианцы — вереница фигур пышных, ярких, изменчивых протянулась до бесконечности. Ленивый Петроний, радостно приветствуемый толпой, велел нести себя с прекрасной, похожей на богиню, рабыней в лектике; Тигеллин ехал в колеснице, запряженной небольшими лошадками, которые были украшены белыми и красными перьями. Видели, как он вставал и вытягивал шею, чтобы посмотреть, не зовет ли его Цезарь к себе. Среди других толпа приветствовала аплодисментами Пизона, смехом Вителлия, свистом Ватиния. К Лицинию и Леканию, консулам, отнеслись равнодушно, но Туллий Сенеций, которого любили неизвестно за что, равно как и Вестин, были встречены аплодисментами черни. Двор был очень многочислен. Казалось, все, кто богат и знаменит, эмигрируют из Рима в Анциум. Нерон никогда не путешествовал иначе, и количество спутников его обычно превосходило число солдат в легионе, — а в то время легион состоял более чем из двенадцати тысяч человек. Проехали Домиций Афр и престарелый Луций Сатурнин; проехал Веспасиан, который еще не отправился в поход на Иудею, откуда впоследствии вернулся за венцом цезаря, и с ним сыновья его, юный Нерва и Лукан; Анний Галлон, Квинтиниан и множество женщин, известных богатством, красотой, роскошью и развратом. Глаза зрителей перебегали с знакомых лиц на колесницы, лошадей, вычурные одежды разноплеменных слуг. В этом потоке роскоши и величия не знали, на что смотреть, на чем остановиться, и не только глаза, но и мысль была ослеплена блеском золота, багровыми и фиолетовыми красками, сверканием драгоценных камней, бисера, перламутра и слоновой кости. Казалось, солнечные лучи таяли в этом пышном избытке. И хотя среди толпы достаточно было бедняков с подтянутыми животами и голодными глазами, вид этого богатства не только будил в них зависть и желание иметь столько же, но и наполнял сердца гордостью, напоминая о мощи Рима, перед которой склонился покорно весь мир. И никто не смел подумать, что

эта сила может быть изжита и что-нибудь в мире способно устоять перед ней.

Виниций, ехавший в конце, при виде апостола и Лигии, которую не надеялся увидеть здесь, сошел с колесницы и подбежал к ним с приветствием. Лицо его сияло, и он быстро заговорил, как человек, который не может терять времени:

— Ты пришла?.. Я не знаю, как мне благодарить тебя, о Лигия!.. Бог не мог мне послать лучшей приметы! Прощай еще раз, но прощай ненадолго. Я оставлю по дороге парфянских коней, и как только выпадет свободный день, прискачу к тебе, пока не выхлопочу себе право вернуться совсем. Будь здорова!

— Будь здоров, Марк! — ответила Лигия и прибавила тише: — Пусть Христос ведет тебя и откроет душу для слов Павла.

Он обрадовался, что она хочет скорее увидеть его христианином, и сказав:

— *Ocelle mi!* Да будет по слову твоему. Павел захотел ехать с моими слугами, но он со мной и будет моим учителем и товарищем... Подыми покрывало, моя радость, чтобы я еще раз посмотрел на тебя перед разлукой. Зачем ты закрылась?

Она приподняла покрывало и посмотрела на него улыбающимися глазами на прекрасном лице.

— Разве это плохо?

В ее улыбке было немного девичьего лукавства, поэтому, глядя на нее с восторгом, Виниций ответил:

— Плохо для глаз моих, которые готовы до смерти глядеть на тебя одну.

Потом, обратившись к Урсу, сказал:

— Урс, береги ее как зеницу ока, потому что она не только твоя, но и моя госпожа!

Сказав это, он схватил ее руку и прижал к своим губам, к великому изумлению толпы, которая не могла понять такого почтения со стороны пышного августианца к девушке, одетой в простые одежды, почти рабыни...

— Будь здорова...

И он быстро побежал, потому что колесница его отъехала далеко. Апостол Петр незаметно благословил его знаком креста, а добряк Урс стал хвалить его, довольный, что молодая девушка жадно слушает его слова и благодарно смотрит на него.

Шествие уходило вдаль, окутавшись клубами золотой пыли, но они

долго смотрели ему вслед, пока не подошел Дем, мельник, у которого по ночам работал Урс.

Поцеловав руку апостола, он стал просить его зайти к нему подкрепиться, уверяя, что жилище его близко отсюда, а они устали и голодны, потому что провели здесь почти целый день.

Они согласились, зашли в его дом, отдохнули, поели и уже под вечер возвращались к себе за Тибр. Собираясь перейти реку по мосту Эмилия, они шли серединой Авентинского холма между храмами Дианы и Меркурия. Апостол Петр смотрел с вершины на окружавшие его и на терявшиеся вдаль громады. Погруженный в молчание, он размышлял над величием и силой этого города; куда пришел возвестить слово Божье. До сих пор он видел римлян и их легионы лишь на далеких окраинах империи, по которым скитался, но это были лишь отдельные члены той мощи, воплощение и олицетворение которой он увидел сегодня в первый раз в особе цезаря. Огромный, хищный, жадный и вместе с тем разнузданный город, испорченный до мозга костей и непоколебимый в своей сверхчеловеческой мощи; цезарь — братоубийца, матереубийца, женоубийца, за которым тащился не меньший, чем его свита, рой кровавых видений; развратник и шут, он — вождь тридцати легионов и благодаря им владыка мира. Его приближенные, покрытые золотом и пурпуром, не уверены в завтрашнем дне и в то же время правят народами как цари, — все это вместе взятое показалось Петру каким-то адским царством зла и неправды. Он удивился своим простым сердцем, как Бог может давать столь великую власть дьяволу, как может отдать ему землю, чтобы он терзал ее, топтал, выжимал слезы и кровь, разрушал, как буря, палил, как огонь. И от мыслей этих смутилось его старое сердце, и он в душе так стал говорить Учителю:

«Господи, что могу я сделать в городе, куда Ты послал меня? Моря и суша, звери на земле и гады водные, царства, города и тридцать легионов, охраняющих эти богатства, — все это принадлежит ему. А я, Господи, я — бедный рыбак! Что сделаю я? И как осилю злобу его?»

И он поднял свою старую трясущуюся голову к небу, молясь и призывая из глубины сердца Божественного Учителя, исполненный печали и тревоги.

Вдруг молитва его была прервана восклицанием Лигии:

— Город словно в огне...

Действительно, в этот день был странный закат. Огромный солнечный щит наполовину скрылся уже за Яникульским холмом, и все небо залито было багровым заревом. С того места, где они стояли, открывались

большие пространства. Направо были видны стены Большого цирка, над ним возвышался дворец на Палатине, прямо перед ними Форум и вершина Капитолия с храмом Юпитера. Стены, колонны и крыши храмов — все багровело и отливало золотом в этом странном освещении. Видневшаяся вдали река казалась кровавой, и по мере того как солнце опускалось ниже, освещение все больше походило на зарево пожара, и это зарево ширилось, усиливалось, пока не охватило всех семи холмов, с которых, казалось, стекало на окрестности.

— Город весь в огне! — повторила Лигия.

А Петр прикрыл глаза рукой и сказал:

— Гнев Божий над этим городом.

Виниций Лигии:

«Раб Флегон, с которым посылаю тебе это письмо, — христианин и потому получит свободу из твоих рук, моя дорогая. Это старый слуга нашего дома, поэтому могу писать спокойно, не боясь, что письмо попадет в чьи-нибудь руки, кроме твоих. Пишу из Лаврента, где мы задержались по случаю жары. Оттон владел здесь великолепной виллой, которую в свое время подарил Поппее, а та, разведясь с ним, сочла за лучшее удержаться за собой прекрасный подарок... Когда я думаю об окружающих меня здесь женщинах и о тебе, мне кажется, что из камней Девкалиона должны были возникнуть различные, совершенно не похожие одна на другую породы людей, и что ты принадлежишь к той породе, которая создана из хрусталя. Благоговею перед тобой и люблю от всей души, и мне хотелось бы писать лишь о тебе одной, поэтому я должен принудить себя написать о путешествии, о том, что со мной происходит, и о новостях при дворе цезаря. Итак, Нерон в гостях у Поппеи, которая приготовила ему здесь великолепный прием. Немногие августианцы присутствовали на нем, но и Петроний и я получили приглашение. После завтрака мы катались на золоченых лодках по морю, которое было очень тихим и казалось уснувшим и таким голубым, как твои глаза, божественная! Гребли мы сами; по-видимому, Августе льстило, что везут ее патриции и их сыновья. Цезарь, стоя у руля в пурпурной тоге, пел гимн в честь моря, сочиненный им накануне ночью и положенный на музыку вместе с Диодором. На других лодках пели рабы из Индии, которые умеют играть на морских раковинах, а вокруг плескались дельфины, словно в самом деле были привлечены музыкой из глубин Амфитриты. И знаешь, что я делал в это время? Я думал о тебе, и мне хотелось взять это море, это солнце эту музыку и отдать тебе. Хочешь, мы поселимся когда-нибудь на берегу моря подальше от Рима? У меня есть в Сицилии земля, на которой рощи миндальных деревьев, которые весной покрыты розовыми цветами и ветви которых свешиваются над водой. Там я буду

любить тебя и исповедывать веру, которой научит меня Павел, — теперь я знаю, что она не противится счастью и радости. Хочешь?.. Но прежде чем услышу ответ из твоих любимых уст, буду писать дальше о том, что случилось на лодке. Когда берег остался далеко за нами, мы увидели на горизонте парус, и тотчас начался спор о том, обыкновенная ли это рыбацья лодка или корабль из Остии. Увидел я первый, и тогда Августа сказала, что для моих глаз, по-видимому, нет ничего скрытого, и, опустив вдруг на лицо покрывало, спросила, неужели я и так узнал бы ее? Петроний тотчас вставил, что за тучей и солнца не видно, но она, словно шутя, говорила, что такое острое зрение может ослепить одна лишь любовь; она стала называть разных женщин, стала спрашивать и угадывать, кого я люблю. Я отвечал спокойно, но в конце она назвала и твое имя. Говоря о тебе, она подняла покрывало и стала смотреть на меня злыми и пытливыми глазами. Я очень благодарен Петронию, который накренил в эту минуту лодку, и общее внимание было отвлечено от меня. Если бы я услышал недоброжелательное или насмешливое замечание о тебе, я не смог бы скрыть гнева и мне пришлось бы бороться с желанием ударить веслом эту хитрую и злую женщину... Помнишь, что я рассказывал тебе накануне отъезда в саду Лина о случае на пруду Агриппы? Петроний боится за меня и сегодня умолял, чтобы я не дразнил самолюбивую Августу. Но Петроний не понимает меня и не знает, что, кроме тебя, нет мне ни радости, ни красоты, ни любви и что Поппея будит во мне лишь отвращение и презрение. Ты изменила мою душу настолько, что к прежней жизни я уж не сумел бы вернуться. Но не бойся, со мной не случится ничего дурного. Поппея не любит меня, потому что она вообще неспособна любить, и ее капризы являются следствием гнева на цезаря, который все еще находится под ее влиянием и который, может быть, и любит ее, но перестал стесняться и не скрывает от нее своего разврата и преступлений. Скажу еще одну вещь, которая должна успокоить тебя: Петр сказал мне перед отъездом, чтобы я не боялся цезаря, ибо волос не упадет с моей головы, и я верю ему. Какой-то голос говорит моей душе, что каждое слово апостола должно исполниться, и так как он благословил нашу любовь, то ни цезарь, ни все силы Аида, ни даже фатум не в силах отнять тебя, о Лигия! Когда я думаю об этом, я счастлив, как небо, которое одно спокойно и счастливо.

Но тебя, христианку, может быть, оскорбляют мои слова о фатуме и небе? В таком случае прости, я грешу невольно. Крещение не омыло еще меня, но сердце мое как пустая чаша, которую Павел должен наполнить вашим сладостным учением, тем более сладостным для меня, что оно — твое. Ты, божественная, поставь мне в заслугу то, что я вылил содержимое этой чаши, наполнявшее ее раньше, и я протягиваю ее, как человек, чувствующий жажду и стоящий у чистого источника. Будь снисходительна ко мне. В Анциуме дни и ночи я буду слушать Павла, который в первый же день среди моих людей приобрел такую любовь, что они постоянно окружают его и видят в нем не только проповедника, но и сверхъестественное существо. Вчера я заметил радость на его лице, и когда я спросил, что он делает, то Павел ответил мне: «Сею». Петроний знает, что он едет со мной, и хочет повидаться с ним, а так же как и Сенека, который слышал о нем от Галлона. Звезды гаснут на небе, Лигия, и утренняя звезда горит ярче. Скоро заря окрасит море — кругом все спят, я лишь один думаю о тебе и люблю тебя. Здравствуй вместе с зарей, sponsa mea!»<sup>[50]</sup>

Виниций Лигии:

«Была ли когда-нибудь с Авлами в Анциуме, моя дорогая? Если нет, я буду рад показать тебе этот город. От Лаврента по берегу тянутся виллы одна за другой, а сам Анциум — бесконечный ряд дворцов и портиков, колонны которых глядятся в спокойную воду. Моя вилла на самом берегу с оливковой рощицей и леском кипарисов сзади, и когда я подумаю, что этот уголок будет со временем твоим, мне кажется белее мрамор, зеленее сад, лазурнее море. О Лигия, как хорошо жить и любить! Старый Меникл, управляющий виллами, посадил на лужайках под миртами множество ирисов; увидев их, я вспомнил дом Авла, ваш фонтан, ваш сад, в котором я гулял с тобой. И тебе эти ирисы будут напоминать родной дом, поэтому я уверен, что ты полюбишь Анциум и эту виллу. Тотчас по приезде мы долго беседовали с Павлом за завтраком. Сначала мы говорили о тебе, потом он стал поучать, а я слушал его долго, и скажу тебе одно: если бы я умел так хорошо владеть пером, как Петроний, я не смог бы передать все то, что вошло мне в сердце и душу. Я и не подозревал, что может быть на свете такое счастье, красота и мир, о которых люди до сих пор не знают. Но все это я берегу для беседы с тобой, когда в первый свободный день прискачу в Рим. Скажи, как может земля носить в одно время таких людей, как апостол Петр, Павел — и цезарь! Я спрашиваю потому, что вечером, после поучения Павла, я был у Нерона, и знаешь, что я там услышал? Сначала он читал свою поэму о гибели Трои, потом стал жаловаться, что никогда не видел горящего города. Он завидовал Приаму и называл его счастливым человеком именно за то, что тот мог видеть пожар и гибель родного города. На это Тигеллин сказал: «Молви слово, божественный, я возьму факел, и прежде чем кончится ночь, ты увидишь пылающий Анциум». Но цезарь назвал его глупцом. «Куда же я стал бы приезжать дышать свежим воздухом и беречь тот голос, который мне подарили боги и который я должен сохранить ради блага людей? Разве не Рим губит меня, разве не ядовитые испарения Субурры и Эсквилина



заставляют меня хрипеть, и разве горящий Рим не представил бы в сто крат более великолепного и трагического вида, чем Анциум?» Все стали говорить о том, какой неслыханной трагедией был бы пожар города, покорившего себе весь мир и обращенного в кучи серого пепла. Цезарь заявил, что тогда его поэма была бы значительнее поэм Гомера, а потом стал говорить, как он отстроил бы город и как потомство удивлялось бы его произведению, перед которым показались бы ничтожны все человеческие дела. Тогда пьяные собеседники стали кричать: «Сделай это! Сделай!», а он ответил: «Мне нужны для этого верные и более преданные друзья». Признаюсь, услышав это, я встревожился, потому что в Риме ты, *carissima*. Теперь я сам смеюсь над своей тревогой и думаю, что цезарь и августианцы, хотя они и безумны, не решились бы допустить подобного безумия... И вот как человек, боящийся за любимое существо, я все-таки предпочел бы, чтобы дом Лина не стоял в узком переулке за Тибром, в части города, населенной по большей части чужестранцами, с которыми в данном случае меньше пришлось бы считаться. Палатинские дворцы не были бы достойным тебя жилищем, но я все-таки не хотел бы видеть тебя лишенной удобств и богатства, к которым ты привыкла с детства. Перейди в дом Авла, моя дорогая. Я много об этом думал здесь. Если бы цезарь был *se* в Риме, весть о твоём возвращении действительно могла бы дойти через рабю до Палатина, обратить на тебя внимание и вызвать преследование за то, что ты посмела поступить наперекор воле цезаря. Но он долго проживет в Анциуме, и, прежде чем вернется, рабы перестанут говорить об этом. Впрочем, я живу надеждой, что, прежде чем Палатин увидит цезаря, ты, моя дорогая, будешь жить в собственном доме на Каринах. Благословен день, час и мгновение, когда ты переступишь порог моего дома, и если Христос, которого я готовлюсь познать, сделает это, да будет благословенно и его имя. Я буду служить ему и отдам за него жизнь и кровь. Вернее: мы оба будем служить ему, пока хватит нам жизни. Люблю тебя и приветствую от всей души».

## XVII

Урс черпал воду из колодца и тянул веревку с двойной амфорой, напевал вполголоса странную лигийскую песенку. Радостный взор бросал он время от времени на Виниция и Лигию, чьи фигуры белели под кипарисами в садике Лина, как две статуи. Ветер не шевелил их одежд. Наступал золотисто-лиловый вечер, и они в тишине разговаривали, держа друг друга за руки.

— Не случится ли с тобою беда, Марк, за то, что ты покинул Анциум без ведома цезаря? — спрашивала Лигия.

— Нет, моя дорогая, — ответил Виниций. — Цезарь сказал, что запретя на два дня с Терпносом и будет сочинять новую поэму. Он часто делает это, и тогда ни о чем не знает и не помнит. Впрочем, что мне цезарь, когда я с торбой и смотрю на тебя. Я очень скучал без тебя, а в последнее время меня покинул сон. Не раз, засыпая от усталости, я вдруг просыпался с таким чувством, словно тебе грозит какая-то опасность; иногда мне снилось, что украдены лошади, оставленные мной по дороге, которые должны были домчать меня в Рим, — на них я прискакал теперь в город с такой быстротой, с какой не сумеет проехать ни один гонец цезаря. И я не мог выдержать дольше! Слишком люблю тебя, моя дорогая!

— Я знала, что ты приедешь. Два раза Урс по моей просьбе ходил на Карины и спрашивал о тебе в доме. Лин смеялся надо мной и Урс тоже.

Видно было, что она действительно ждала его: вместо обычной темной одежды на ней была мягкая белая стола, в красивых складках которой ее лицо и руки казались распустившимися подснежниками. Несколько розовых анемонов украшали прическу.

Виниций прижал губы к ее руке, потом они сели на каменную скамью под диким виноградом и, прижавшись друг к другу, молчали, глядя на зарю, последние блески которой отражались в их глазах.

Очарование тихого вечера овладело ими.

— Как здесь тихо и как прекрасен мир, — сказал тихим голосом Виниций. — Наступает чудесная ночь. Я чувствую себя счастливым, как никогда в жизни. Скажи, Лигия, что это такое? Я никогда не думал, что может существовать такая любовь. Предполагал, что это огонь в крови и страсть, а теперь вижу, что можно любить каждой каплей крови и каждым дыханием и вместе с тем чувствовать сладостное и неизмеримое спокойствие, словно душу убаюкали сон и смерть. Это ново для меня.

Смотрю на тишину этих деревьев, и мне кажется, что она во мне. Теперь только я понял, что может существовать счастье, о котором люди и не подозревали. Я понял, почему ты и Помпония Грецина такие тихие и спокойные... Да!.. Это дает Христос...

Она положила голову на его плечо и сказала:

— Мой милый Марк...

И не могла говорить больше. Радость, благодарность и чувство, что теперь ей можно любить, лишили ее голоса и тотчас наполнили глаза слезами. Виниций обнял ее стройное тело, прижал к себе и сказал:

— Лигия! Да будет благословенна минута, когда я в первый раз услышал его имя.

Она ответила шепотом:

— Люблю тебя, Марк...

Они умолкли, не в силах говорить от волнения. На кипарисах угасли последние лиловые отсветы, и сад засеребрился от лунного серпа. Потом Виниций заговорил:

— Я знаю... Едва я вошел сюда, едва успел поцеловать милые руки, я тотчас прочел в глазах твоих вопрос, понял ли я божественное учение, которое ты исповедуешь, и крещен ли я? Нет! Я еще не крестился, но знаешь, мой нежный цветок, почему нет? Мне Павел сказал: «Я доказал тебе и убедил, что Бог пришел в мир и дал распять себя ради спасения мира, но пусть в благодати омоет тебя Петр, который первый простер над тобой руки и благословил тебя». Да и я хотел, чтобы ты видела мое крещение и чтобы Помпония была моей матерью. Поэтому пока я не крещен, хотя и верю в Спасителя и его сладостное учение. Павел убедил меня и обратил, да и могло ли быть иначе? Как мог я не поверить, что Христос пришел в мир, если об этом свидетельствует Петр, который был его учеником, и Павел, которому Он явился? Как мог я не поверить, что он — Бог, коль он воскрес? Видели его и в городе, и над озером, и на горе — и видели люди, уста которых не знают лжи. Я верил в это с того времени, когда слушал Петра в Остриануме, потому что тогда еще сказал себе: всякий другой мог бы солгать, но не этот человек, свидетельствующий: «Я видел». Но я боялся вашего учения. Мне казалось, что оно отнимает у меня мою Лигию. Я думал, что нет в нем ни мудрости, ни красоты, ни счастья. Теперь же, когда узнал его, что за человек был бы я, если бы не хотел царства правды на земле вместо лжи, любви — вместо ненависти, милосердия — вместо мести? Кто не предпочел бы добра и не желал бы его? И всему этому учит ваша вера. Другие религии тоже ищут справедливости, но одна эта делает сердце справедливым. Кроме того,

делает его чистым, как твое сердце и Помпони, и верным, как ваши сердца. Я был бы слеп, если бы не видел этого. А если притом Христос обещал жизнь вечную и счастье столь большое, какое только может дать всемогущество Божье, а чего желать человеку больше? Если бы я спросил Сенеку, почему он советует быть добродетельными, если отсутствие добродетели приносит больше счастья, он не сумел бы мне ответить разумно. А я знаю теперь, почему должен быть добродетельным: потому, что добро и любовь исходят от Христа затем, чтобы найти жизнь вечную, когда смерть закроет мне глаза, найти счастье, найти самого себя и тебя, моя дорогая... Как не полюбить и как не принять учения, которое дает истину и уничтожает смерть? Кто не поставит добро выше, чем зло? Я думал, что это учение противится счастью, но Павел убедил меня, что оно не только ничего не отнимает, но даже прибавляет. Все это с трудом помешается в моей голове, но я чувствую, что это так, потому что никогда я не был так счастлив и не мог быть, хоть бы и взял тебя силою и держал в своем доме. Ты мне сказала только что: «Люблю тебя!» — а ведь этих слов я не смог бы вырвать у тебя, обладая мощью Рима. О Лигия! Ум говорит, что это учение божественно, сердце чувствует это, а таким двум силам кто сможет противиться?

Лигия слушала, устремив на него свои голубые глаза, при свете месяца похожие на мистические цветы и, как цветы, орошенные слезами.

— Да, Марк! Правда! — сказала она, сильнее прижимаясь к его плечу.

В эту минуту они оба чувствовали себя безмерно счастливыми, потому что кроме любви соединяла их еще какая-то сила, сладостная и непреодолимая, чрез которую сама любовь становилась чем-то крепким, не поддающимся перемене, обману, разочарованию и даже смерти. Сердца их исполнились уверенности, что могло произойти какое угодно событие, но они не перестанут любить и принадлежать друг другу. И поэтому души их были овеяны великим спокойствием. Виниций чувствовал, что эта любовь не только чистая и глубокая, но и совершенно новая, такая, какой не знали до сих пор люди и не могли знать. И в ней растворялось в его сердце все: и Лигия, и Христово учение, и свет луны, тихо спящий на кипарисах, и тихая ночь, так что все мироздание казалось ему наполненным ею одной. Он снова стал говорить тихим взволнованным голосом:

— Ты будешь душой моей души и будешь мне дороже всего в мире. Вместе будут стучать наши сердца, одна будет молитва и одна благодарность Христу. О дорогая! Жить вместе, вместе чтить сладостного Бога и знать, что после смерти глаза наши откроются вновь, как после долгого сна, чтобы смотреть на новый источник света, — что может быть

лучше этого? Я удивляюсь, почему раньше не понимал этого. И знаешь, что мне теперь кажется? Этому учению никто не сможет противиться. Через двести или триста лет его примет весь мир. Люди забудут Юпитера, не будет иных богов, кроме Христа, иных храмов, кроме христианских. Кто бы не захотел счастья? Ах, я слышал разговор Павла с Петронием, и знаешь, что Петроний сказал под конец? «Это не для меня», но больше он ничего возразить не сумел.

— Повтори мне слова Павла, — попросила Лигия.

— Беседа происходила у меня, вечером, Петроний стал шутить, как всегда. И тогда Павел сказал: «Как можешь ты, мудрый Петроний, отрицать, что Христос жил и воскрес, когда тебя не было тогда на свете, а Петр и Иоанн видели его, и я видел на пути в Дамаск? Пусть раньше мудрость твоя докажет, что мы лжецы, и тогда уж опровергай наше свидетельство». Петроний ответил, что он и не думает отрицать, так как знает, что в мире происходит много непонятных вещей, которые, однако, подтверждают достойные веры люди. Но, говорил он, открыть какого-нибудь иноземного бога — одно, а принять его учение — другое. «Не хочу ни о чем знать, что могло бы испортить мне жизнь и уничтожить ее красоту. Неважно, истинны ли наши боги, но они прекрасны, нам весело с ними, мы можем жить без забот». Тогда Павел ответил ему: «Отвергаешь учение любви, справедливости, милосердия из страха перед заботами жизни, но подумай, Петроний, действительно ли жизнь ваша свободна от забот? И ты, господин, и никто из самых богатых и вельможных не знает, засыпая вечером, не проснется ли приговоренным к смерти? Скажи: если бы цезарь исповедовал это учение, повелевающее любить и быть справедливым, неужели твое благополучие не было бы более надежным? Ты боишься за свои радости, но разве жизнь не была бы тогда более веселой? А что касается красоты, если вы настроили столько прекрасных храмов, украшенных статуями богов злых, мстительных, развратных и лживых, то какого великолепия достигли бы вы, почитая единого Бога любви и правды? Ты доволен своей судьбой, потому что богат и живешь в роскоши, но ведь ты мог быть и бедняком, хотя и принадлежишь к знатному роду, и тогда тебе воистину было бы лучше, если бы люди исповедовали Христа. В вашем городе даже богатые люди, не желая заниматься воспитанием детей, часто не держат их дома, и такие дети называются алунами.<sup>[51]</sup> И ты, господин, мог быть таким алуном. Но если бы твои родители жили согласно нашему учению, этого не могло бы случиться с тобой. Если бы ты, возросши, вздумал жениться на возлюбленной своей, ты хотел бы, чтобы она осталась верной тебе до

смерти. Между тем, посмотри, что происходит у вас: сколько срама, позора, нарушений супружеской верности! Ведь вы сами удивляетесь, если встретите женщину, которую называете *univira*.<sup>[52]</sup> Но я говорю тебе, что те женщины, которые в сердце будут носить Христа, не нарушат верности, равно и мужья-христиане сохранят ее. А вы не уверены ни в ваших владыках, ни в отцах, ни в женах, ни в детях, ни в слугах. Перед вами трепещет мир, а вы дрожите перед своими рабами, так как знаете, что каждую минуту они могут восстать против вашей жестокости, что они и делали не раз. Ты богат, но не уверен, что завтра тебя не заставят отказаться от своего богатства; ты молод, но завтра, может быть, тебе придется умереть. Ты любишь, но тебе готовится измена. Ценишь скульптуру, но завтра тебя могут выслать в далекую провинцию; у тебя тысяча слуг, но завтра эти слуги могут выпустить из тебя кровь. Если это все так, то разве можешь ты быть спокоен, весел, счастлив? Но я провозглашаю любовь и проповедую учение, которое правителям повелевает любить своих подданных, господам — рабов, рабам служить с любовью; требует справедливости и милосердия, а в конце обещает безбрежное, как море, счастье без предела. Как же ты можешь говорить, Петроний, что это учение портит жизнь, коль скоро оно совершенствует ее. Да и ты был бы в сто крат счастливее и чувствовал себя более уверенно, если бы оно охватило весь мир так, как охватило его ваше римское владычество». Так говорил Павел. Тогда Петроний сказал: «Это — не для меня», — и, притворяясь сонным, поспешно вышел и лишь в дверях добавил: «Я предпочитаю свою Евнику твоему учению, иудей, но я не хотел бы соперничать с тобой на кафедре». Но я слушал Павла всей душой, а когда он говорил о наших женщинах, всем сердцем преклонился перед учением, в котором ты выросла, как вырастают лилии весной на хорошей почве. И я думал: вот Поппея, бросившая двух мужей для Нерона, вот Кальвия Криспинилла, вот Нигидия, вот почти все, которых я знаю, кроме одной Помпони, торговали верностью и клятвами, и лишь одна моя любимая не нарушит обещания, не обманет, не погасит очага, хотя бы меня обмануло все, во что я решил верить. Поэтому я сказал себе в душе: чем я отплачу ей, как не любовью и благоговением? Слышала ли ты, что там в Анциуме я говорил с тобой все время, не переставая, словно ты была около меня? Во сто крат больше люблю тебя за то, что ты убежала от меня из дома цезаря. Не хочу его уже и я. Не хочу роскоши и музыки, хочу лишь тебя одну. Скажи одно слово — и мы покинем Рим, чтобы поселиться где-нибудь далеко отсюда.

Она, не отнимая головы от его плеча, подняла задумчивые глаза на посеребренную луной вершину кипариса и ответила:

— Хорошо, Марк. Ты писал мне о Сицилии — там и Авлы хотят поселиться на старости...

Виниций радостно прервал ее:

— Да, моя дорогая! Наши имения находятся в близком соседстве. Чудесный берег, где климат мягче, а ночи теплее, чем в Риме, благоуханные, светлые... Жизнь и счастье там значат одно и то же.

И он стал мечтать о будущем:

— Там можно забыть об огорчениях. В лесах, среди олив, мы будем гулять и отдыхать в тени. О Лигия! Что за радость жить вместе, любить друг друга, смотреть на море, на небо, вместе молиться сладостному Богу, творить добро и быть справедливыми.

Они замолчали, думая о будущем; он прижимал ее все сильнее к себе, и на руке его поблескивал золотой патрицианский перстень. В этой части города, населенной рабочими и бедняками, все спали, и ни малейший шум не нарушал тишины.

— Позволишь мне видаться с Помпонией? — спросила Лигия.

— Да, моя дорогая, мы будем приглашать Авлов к себе и сами ездить к ним. Хочешь, возьмем с собой апостола Петра? Согбенный годами и трудом, он нуждается в отдыхе. Павел также будет навещать нас, обратит Авла Плавтия, и как солдаты основывают колонии в далеких краях, так мы оснуем там христианскую колонию.

Лигия взяла руку Виниция и хотела поцеловать ее, но он сказал ей шепотом, словно боясь спугнуть счастье:

— Нет, Лигия, нет! Я должен почитать тебя и преклоняться пред тобой. Дай ты мне свою руку!

— Я люблю тебя.

Он прижал губы к ее белым, как жасмин, рукам, и некоторое время они слышали лишь биение своих сердец. В воздухе не было ни малейшего ветра, и кипарисы стояли неподвижные, словно и у них в груди замерло дыхание...

Вдруг тишину прервал какой-то страшный рев, глухой и словно выходящий из-под земли. Дрожь пробежала по телу Лигии. Виниций сказал:

— Это львы рычат в зверинце...

Они стали прислушиваться. На этот рев последовал ответ с другой стороны, с третьей, из всех частей города. В Риме бывало иногда по несколько тысяч львов, размещенных по разным аренам, и часто ночью, подойдя к решетке и упираясь в нее головой, они таким ревом выражали свою тоску по свободе в пустынях. Так они тосковали и сейчас, подавая

друг другу голос в ночной тишине, наполнили грозным ревом весь город. В этом было что-то до того грозное и мрачное, что Лигия, у которой грезы о светлом будущем были прерваны, прислушивалась теперь к реву с сердцем, полным странной тревоги и печали.

Виниций обнял ее и сказал:

— Не бойся, дорогая, скоро будут игры, поэтому все зверинцы переполнены.

И они вошли в домик Лина, провожаемые все возраставшим ревом тоскующих львов.



## XVIII

В Анциуме Петроний каждый день одерживал победы над августианцами, соперничавшими с ним при дворе цезаря. Влияние Тигеллина упало совершенно. В Риме, когда нужно было устранить людей, казавшихся опасными, отнять их богатство, улаживать политические дела, устраивать празднества, поражавшие роскошью и дурным вкусом, и, наконец, удовлетворять чудовищные капризы цезаря, ловкий и готовый на все Тигеллин оказывался незаменимым. Но в Анциуме, среди глядящихся в лазурь моря дворцов, цезарь жил эллинской жизнью. С утра до вечера читались стихи, спорили об их форме и совершенствах, восторгались удачными выражениями, занимались музыкой, театром — словом, исключительно тем, что изобрел и чем украсил жизнь греческий гений. В таких условиях, несравненно более образованный, чем Тигеллин и другие августианцы, остроумный, красноречивый, тонко чувствующий и обладающий изысканным вкусом, Петроний должен был занять первенствующее положение. Цезарь искал его общества, интересовался его мнениями, советовался с ним, когда сам творил, и оказывал ему свое благоволение, большее, чем когда-либо раньше. Окружавшим казалось, что влияние Петрония одержало решительную победу, что дружба его с цезарем окрепла окончательно и продолжится много лет. И даже те, кто раньше недоброжелательно относился к изысканному эпикурейцу, теперь заискивали перед ним и старались добиться его дружбы. Многие даже искренне радовались в душе, что победил человек, который хотя и знал подноготную каждого из них и со скептической улыбкой выслушивал льстивые уверения в приязни вчерашних врагов, но благодаря ли лени, или из великодушия не был мстителен и не пользовался своим влиянием, чтобы губить врагов или вредить им. Бывали случаи, когда Петроний мог погубить даже Тигеллина, но он предпочитал вышучивать его и обнаруживать его невежество и пошлость. Сенат в Риме облегченно вздохнул, когда в течение полутора месяцев не было вынесено ни одного смертного приговора. И в Анциуме и в Риме рассказывали чудеса об утонченности, до какой дошел разврат цезаря и его любимца, но все предпочитали иметь над собой изысканного цезаря, а не озверевшего под влиянием Тигеллина. Тигеллин терял голову и не знал, что ему делать, потому что цезарь много раз заявлял во всеуслышание, что во всем Риме и при дворе есть только две души, способные понять одна другую, и два

подлинных эллина: он и Петроний.

Поразительная ловкость последнего убеждала людей, что влияние его будет продолжительным. Не представляли себе, как бы цезарь мог обойтись без него, с кем разговаривал бы о поэзии, музыке и езде на колеснице, в чьи глаза смотрел бы, желая увериться в совершенстве своих художественных произведений. Петроний, казалось, не придавал ни малейшего значения своему высокому положению. Как всегда, он был небрежен, ленив, остроумен и скептичен. Часто производил впечатление человека, который смеется над всеми, над собой, над цезарем, над миром. Иногда он дерзал в глаза осуждать цезаря, и когда думали, что он зашел слишком далеко и готовит себе гибель, он ловко оборачивал свое осуждение таким образом, что оно становилось высшей похвалой, и присутствующие изумлялись и думали, что нет того положения, из которого Петроний не вышел бы с триумфом.

Однажды, приблизительно через неделю после возвращения Виниция из Рима, цезарь читал в небольшом кружке друзей отрывок из своей поэмы «Троя». Когда он кончил и когда отзвучали восторженные аплодисменты, Петроний, которого цезарь вопрошал глазами о мнении, сказал:

— Никуда не годные стихи, их стоит бросить в огонь.

Присутствующие замерли от ужаса, потому что Нерон никогда в жизни ни от кого не слышал о себе такого сурового суждения; и лишь на лице одного Тигеллина отразилась радость. Виниций побледнел, он думал, что никогда не напивавшийся Петроний на этот раз был пьян.

Глубоко раненый этой оценкой, самолюбивый Нерон спросил ласковым голосом, в котором таилась ярость:

— Что же ты находишь в них плохого?

Тогда Петроний обрушился на него.

— Не верь им, — сказал он, показывая рукой на окружающих, — они ничего не понимают. Ты спрашиваешь, чем плохи твои стихи? Если хочешь услышать правду, то я скажу: они хороши для Вергилия, хороши для Овидия, хороши даже для Гомера, но не для тебя. Тебе нельзя писать таких. Пожар, который ты изображаешь, недостаточно пылает, твой огонь недостаточно жжет. Не слушай лести Лукана. Его за такие точно стихи я назвал бы гением, но не тебя. И знаешь почему? Потому что ты больше всех их. Кому боги дали столько, сколько тебе, с того и больше можно требовать. Но ты ленишься. Ты предпочитаешь спать после завтрака, а не работать. А ведь ты мог бы создать произведение, какого до сих пор не слышал мир, — поэтому в глаза говорю тебе: пиши лучше!

Говорил он это небрежно, словно с насмешкой, и вместе с тем с

упреком, но глаза цезаря затуманились неизъяснимым удовлетворением, и он сказал:

— Боги дали мне небольшой талант, но кроме этого дали и нечто большее, а именно — подлинного знатока и друга, который один умеет сказать правду в глаза.

И он протянул свою жирную, покрытую рыжими волосами руку к золотому светильнику, украденному в Дельфах, чтобы сжечь рукопись.

Но Петроний отнял стихи, прежде чем пламя коснулось пергамента.

— Нет, нет! Даже такие плохие — они принадлежат человечеству. Оставь их мне.

— Позволь в таком случае прислать их тебе в ларце, какой я выберу для тебя, — ответил, обнимая Петрония, цезарь. Потом он сказал: — Да, ты прав. Мой пожар Трои недостаточно яростен, мой огонь, действительно, не жжет. Я думал, что достаточно быть равным Гомеру. Застенчивость и скромность всегда мешали моему творчеству. Ты открыл мне глаза. Но знаешь, почему это так? Когда скульптор хочет созидать бога, он ищет себе модель, а у меня не было модели. Я никогда не видел горящего города, и потому в моем описании недостает правдивости.

— Чтобы понять это, нужно быть великим художником, и ты понял это.

Нерон задумался и потом сказал:

— Ответь мне, Петроний, на один вопрос: жалеешь ли ты, что Троя сгорела.

— Жалею ли я?.. Клянусь хромоногим супругом Венеры, несколько! И вот почему. Троя не сгорела бы, если бы Прометей не подарил людям огня и если бы греки не объявили Приаму войны; а если бы не было огня, Эсхилл не написал бы своего «Прометей», равно как без войны Гомер не создал бы «Илиады»... И я предпочитаю, чтобы существовали «Прометей» и «Илиада», чем какой-то городок, наверное грязный и тесный, в котором теперь сидел бы захудалый римский прокуратор, скучал бы и ссорился с местным ареопагом.

— Вот разумные слова! — воскликнул цезарь. — Для поэзии и искусства следует все посвящать, всем жертвовать. Счастливы ахейцы, давшие Гомеру материал для «Илиады», и счастлив Приам, который смотрел на гибель отчизны. А я? Я даже не видел горящего города!

Наступило молчание, которое прервал наконец Тигеллин:

— Я говорил тебе, цезарь, и теперь повторяю: скажи слово, и я сожгу Анциум. Или вот что: если жаль тебе этих дворцов и вилл, вели сжечь корабли в Остии; я могу также на одном из Альбанских холмов выстроить

деревянный город, который ты сам подожжешь. Хочешь?

Нерон бросил на него презрительный взгляд.

— Я буду смотреть на пылающие деревянные лачуги? Твоя изобретательность иссякла, Тигеллин! Притом я вижу, что ты не очень ценишь мой талант и мою «Трою», думая, что всякая другая жертва была бы слишком велика.

Тигеллин смутился, а Нерон, словно желая переменить разговор, сказал:

— Лето наступает... О, как Рим теперь, должно быть, зловонен!.. Однако нужно вернуться туда на летние игры.

Вдруг Тигеллин заявил:

— Когда отпустишь августианцев, позволь, цезарь, остаться мне с тобой.

Час спустя Виниций, возвращаясь с Петронием из дворца, говорил:

— Я очень волновался за тебя. Я думал, что ты был пьян и погубил себя окончательно. Помни, что ты играешь с смертью.

— Это моя арена, — небрежно бросил Петроний, — и мне приятно сознавать, что на ней я — один из лучших гладиаторов. И чем все кончилось? Мое влияние возросло непомерно. Он пришлет мне стихи в ларце, который (хочешь, поспорим?) будет поразительно безвкусен и необыкновенно дорог. Я велю своему лекарю держать в нем слабительное... Я сделал это также для того, чтобы Тигеллин, увидев, как удаются подобные вещи, захотел подражать мне. И я воображаю, что будет, если он попытается быть остроумным. Словно пиренейский медведь, пытающийся ходить по канату! Я буду смеяться, как Демокрит. Если бы я захотел, то мог бы погубить Тигеллина и занять вместо него пост префекта преторианцев. Тогда и сам Меднобородый был бы в моих руках. Но мне лень. И я предпочитаю жить так, как живу, и даже мирюсь со стихами цезаря.

— Что за ловкость: из осуждения сделать высшую похвалу! Но действительно ли стихи эти так плохи? Я в этом ничего не понимаю.

— Не хуже других. В одном пальце Лукана больше таланта, но и у Меднобородого есть кое-что. Прежде всего — безмерная любовь к поэзии и музыке. Через два дня мы будем слушать музыку к гимну в честь Афродиты, который он кончит сегодня или завтра. Приглашены немногие: я, ты, Туллий Сенеций и молодой Нерва. Относительно стихов я как-то говорил, что употребляю их после пира, как Вителлий — перья фламинго... Это неправда, иногда бывают и хорошие. Слова Гекубы трогательны... Она говорит о муках рожденья, и Нерон сумел найти счастливые выражения,

может быть, потому, что сам в муках родит каждый стих... Иногда мне жаль его. Клянусь Поллуксом! Что за странная смесь! Калигула был сумасшедший и однако не был таким причудником!

— Кто может угадать, до чего дойдет безумие цезаря? — сказал Виниций.

— Никто. Могут произойти вещи, от которых у людей спустя много веков будут шевелиться волосы на голове от ужаса. Но это именно и интересно, занимательно... Я часто скучаю, как Юпитер-Аммон в пустыне, но думаю, что при другом цезаре скучал бы в сто раз сильнее. Твой еврей Павел красноречив — я готов признать это, — и если такие люди будут проповедовать христианское учение, наши боги должны опасаться не на шутку. Правда, если бы цезарь был христианином, то все мы чувствовали бы себя в большей безопасности. Но твой пророк из Тарса, приводя мне эти доводы, не подумал, что именно такая неопределенность и делает для меня жизнь привлекательной. Кто не играет в кости, тот и не проиграет своего богатства, однако люди любят игру. Есть в этом наслаждение и возможность забыться. Я знал сыновей сенаторов, которые по своей воле стали гладиаторами. Ты говоришь, что я играю жизнью, это верно; но я поступаю так потому, что меня это забавляет, тогда как ваши христианские добродетели наскучили бы, подобно разглагольствованию Сенеки, в один день. Потому и красноречие Павла оказалось напрасным. Он должен понять, что такие люди, как я, никогда не примут вашего учения. Ты — другое дело! С твоим настроением ты мог или ненавидеть самое имя христиан, или сам стать христианином. Я признаю, что они правы, и зеваю при этом. Безумствуем, идем к бездне, что-то неведомое грозит нам в будущем, какой-то меч занесен над нами, что-то отмирает в нас — все это верно! Но умереть мы сумеем, а пока не хотим отягчать жизни преждевременно и служить смерти, прежде чем она не возьмет нас. Жизнь существует ради себя самой, а не ради смерти.

— А мне жаль тебя, Петроний!

— Не жалею меня больше, чем я жалею себя сам. Прежде в нашей среде ты чувствовал себя неплохо и даже скучал по Риму, когда приходилось воевать в Армении.

— Я и теперь скучаю по Риму.

— Да, потому что полюбил христианскую весталку, живущую за Тибром. Я не удивляюсь этому и не осуждаю тебя. Я больше удивляюсь тому, что, несмотря на учение, которое, по твоим словам, является морем счастья, несмотря на любовь, которая должна быть скоро увенчана, печаль не сходит с твоего лица. Помпония Грецина всегда печальна, ты с того

времени, как сделался христианином, перестал улыбаться. Так не старайся уверить меня, что это веселое учение! Из Рима ты вернулся еще печальнее. Если вы по-христиански столь печально любите, клянусь кудрями Вакха, я не последую за вами!

— Это совсем другое дело, — ответил Виниций. — Я клянусь тебе не кудрями Вакха, а душой моего отца, что никогда прежде не испытывал даже намека на то счастье, каким живу сейчас. Но я очень скучаю, и что особенно странно, когда я далеко от Лигии, мне все время кажется, что ей грозит какая-то опасность. Не знаю какая, но предчувствую ее так, как предчувствуют грозу.

— Через два дня я берусь выхлопотать тебе разрешение покидать Анциум, когда угодно и на сколько угодно. Поппея стала словно спокойнее, и насколько мне известно, теперь ничего не грозит ни тебе, ни Лигии.

— Сегодня она спрашивала меня, что я делал в Риме, хотя поездка моя была тайной.

— Возможно, что она велела следить за тобой. Но теперь и она должна будет считаться со мной.

Виниций подумал и сказал:

— Павел говорит, что Бог иногда предостерегает, но не следует верить в предчувствия, поэтому я борюсь с этим, хотя и не могу пересилить себя. Я скажу, что случилось, чтобы снять тяжесть со своего сердца. Мы сидели с Лигией рядом в столь же прекрасную ночь, как сегодня, и строили планы будущего. Я не смогу передать, как мы были счастливы и спокойны. И вдруг стали рычать львы. Вещь в Риме обыкновенная, однако я до сих пор не могу успокоиться. Мне кажется, что в этом была какая-то угроза, какое-то предвестие несчастья... Ты знаешь, что я нелегко поддаюсь страху, но в ту минуту со мной произошло что-то такое, что наполнило страхом весь сумрак той ночи. Все это произошло так неожиданно и странно, что и до сих пор я слышу этот жуткий рев и чувствую постоянную тревогу в душе, словно Лигия нуждается в защите от чего-то страшного... от этих хотя бы львов, что ли. И я страдаю. Добейся для меня разрешения уехать, иначе я уеду самовольно. Не могу я сидеть здесь, не могу!

Петроний стал смеяться.

— Еще дело не настолько плохо, чтобы римским патрициям или их женам грозила смерть на арене... Вас может настигнуть какая угодно смерть, но не такая. Впрочем, кто знает, львы ли это были, или германские туры и зубры, которые режут не хуже львов. Что касается меня, то я смеюсь над предчувствиями и судьбой. Вчера была теплая ночь, и я видел звездный дождь. Многие смущаются при виде падающих звезд, а я подумал: если

среди них есть и моя звезда, то мне по крайней мере не будет скучно!..

Он помолчал немного и потом прибавил:

— Впрочем, если ваш Христос воскрес, то он может и вас защитить от смерти.

— Может, — ответил Вениций, глядя на усеянное звездами небо.

Нерон играл и пел гимн в честь «владычицы Кипра», и стихи и музыка были его сочинения. В этот день он был в голосе и чувствовал, что его музыка действительно захватывает слушателей; это придавало особую силу звукам его голоса и так взволновало его душу, что он казался действительно вдохновленным. Под конец он даже побледнел от волнения. И, вероятно, в первый раз в жизни ему не хотелось слышать похвал и одобрений. Некоторое время он сидел, положив руки на кифару и опустив голову, потом вдруг встал и сказал:

— Я устал и хочу подышать свежим воздухом. Настройте пока кифары.

И он закутал горло шелковым платком.

— Вы пойдете со мной, — обратился он к Петронию и Виницию, сидевшим в углу зала. — Ты, Виниций, дай мне руку, потому что я ослаб, а Петроний будет говорить о музыке.

Они вышли на посыпанную шафраном алебастровую террасу дворца.

— Здесь легче дышать, — сказал Нерон. — Моя душа растрогана и печальна, хотя и вижу, что с моим пением, какое вы только что слышали, я мог бы выступить публично и что это был бы триумф, какого не получил еще ни один римлянин.

— Ты можешь выступить здесь, в Риме, и в Ахайе. Я преклонялся перед твоим искусством и сердцем и умом, божественный! — ответил Петроний.

— Знаю. Ты слишком ленив, чтобы заставлять себя произносить вслух похвалы. Ты искренин, как Туллий Сенеций, но ты больше понимаешь. Скажи, что думаешь о музыке?

— Когда я слушаю стихи, когда смотрю на квадригу, которой ты правишь в цирке, на прекрасную статую, на прекрасный храм, я чувствую, что моя душа охватывает то, что перед моими глазами, и что в моем восхищении уместается все, что могут дать эти вещи. Но когда я слушаю музыку, в особенности твою, передо мной открываются новые красоты и наслаждения. Я стремлюсь постигнуть их, схватить, но, прежде чем успеваю сделать это, наплывают еще новые и новые, как волны моря, идущие из бесконечности. И я скажу тебе: эта музыка подобна морю. Мы стоим на берегу, видим даль, но увидеть другой берег не можем.

— О, какой ты глубокий знаток! — сказал Нерон.



Они гуляли некоторое время молча, и шафран тихо шелестел под их ногами.

— Ты высказал мою мысль, — сказал наконец Нерон, — и потому-то я всегда говорю, что ты один в Риме можешь понять меня. Да. И я то же думаю о музыке. Когда играю и пою, я вижу такие вещи, о существовании которых не подозревал даже. Я — цезарь, мир принадлежит мне, я все могу. Однако музыка открывает передо мной новые царства, новые горы, моря, новые наслаждения, которых я не знал раньше. Часто я не умею назвать их, понять даже, я их только чувствую. Чувствую богов, вижу Олимп. Какой-то внемирный ветер овеивает меня, я вижу сквозь туман какие-то неизмеримые громады, спокойные и светлые, как восход солнца... Сферы поют вокруг меня, и я признаюсь тебе... (голос Нерона взволнованно задрожал), что я, цезарь и бог, чувствую себя маленьким, чувствую себя прахом. Поверишь этому?

— Да. Только великие художники могут чувствовать себя маленькими перед лицом искусства.

— Сегодня ночь признаний, открою тебе душу, как другу, и скажу еще больше... Неужели ты считаешь меня слепым или лишенным разума? Неужели ты думаешь, что я не знаю, как в Риме на стенах пишут обо мне оскорбительные вещи, зовут меня матереубийцей и женоубийцей... что считают меня чудовищем и жестоким, потому что Тигеллин добился у меня нескольких смертных приговоров для моих врагов?.. Да, мой дорогой, меня считают чудовищем, и я знаю это... О моей жестокости говорят так много, что я сам порой задумываюсь, не жесток ли я в самом деле... Но они не понимают того, что дела могут быть жестоки, когда сам человек несколько не жесток. Никто не поверит, и даже ты, мой дорогой, может быть, не поверишь, что иногда под влиянием музыки, когда растрогана моя душа, я чувствую себя таким добрым, как дитя в колыбели. Клянусь тебе звездами, которые горят над нами, что говорю тебе искреннюю правду: люди не знают, сколько хорошего лежит в этом сердце и какие сам я вижу в нем сокровища, когда музыка раскрывает мою душу.

Петроний, который несколько не сомневался, что Нерон говорит в эту минуту искренне и что музыка действительно способна вызвать самые благородные склонности его души, заваленные горами эгоизма, разврата и преступлений, сказал:

— Тебя нужно знать близко, как знаю я. Рим никогда не мог оценить твоей души.

Цезарь сильнее оперся на плечо Виниция, словно склонился под тяжестью несправедливости, и ответил:

— Тигеллин мне передавал, что в сенате шепчутся, будто Диадор и Терпнос лучше меня играют на кифаре. Мне отказывают даже в этом! Но ты, который всегда говоришь правду, скажи искренне: играют ли они лучше, или так же хорошо, как я.

— Нисколько. У тебя нежнее удар, и в то же время больше в нем силы. В тебе виден художник, а они искусные ремесленники. Наоборот, слушая их игру, начинаешь лучше понимать тебя.

— Если так, то пусть они живут. Они никогда не будут знать, чем обязаны тебе в настоящую минуту. Впрочем, если бы я казнил их, пришлось бы приглашать на их место новых.

— И люди говорили бы, что из любви к музыке ты истребляешь в государстве музыкантов. Никогда не убивай музыки ради музыки, божественный!

— Как ты непохож на Тигеллина, — сказал Нерон. — Но я художник во всем, и так как музыка открывает передо мной новый мир, о существовании которого я не знал, царства, которыми я не владею, наслаждение и счастье, которых я не ведал, то я и не могу жить как обыкновенный смертный. Музыка говорит мне о существовании сверхъестественного, и поэтому я всеми силами, какие дали мне боги, ищу власти над ним. Иногда мне кажется, что нужно совершить для того, чтобы проникнуть в этот олимпийский мир, нечто такое, чего до сих пор не совершил ни один человек, — нужно стать выше людей в добром или в злом. Знаю, что люди считают меня безумцем. Но я не безумен, я лишь ищу! А если безумствую, то лишь от скуки и нетерпения, что не могу найти. Я ищу, понимаешь меня? И потому я хочу быть большим, чем обыкновенный человек, потому что лишь таким образом могу быть великим художником.

Он понизил голос, чтобы Виниций не мог его слышать, и, наклонившись к уху Петрония, стал шептать:

— Знаешь, я потому именно и казнил жену и мать. У врат неведомого мира я хотел принести величайшую жертву, какую может принести человек. Я думал, что потом произойдет нечто, откроются какие-то двери, за которыми я увижу неведомое. Пусть это будет чудеснее или ужаснее обычного, лишь бы это было необыкновенным и великим... Но этой жертвы оказалось недостаточно. Для того чтобы отверзлись двери эмпирея, нужно, очевидно, большее, и пусть произойдет то, чего хочет рок.

— Что ты намерен сделать?

— Увидишь, увидишь скорее, чем думаешь. Пока же знай, что есть два Нерона: один такой, каким знают его люди, другой — художник, которого

знаешь один лишь ты и который, если и губит, как смерть, безумствует, как Вакх, то делает это потому, что душит его пошлость и обыденность жизни и он хотел бы уничтожить ее огнем и железом... О, как ничтожен будет мир, когда меня не станет!.. Никто и не подозревает, даже ты, мой дорогой, какой я великий художник! Но именно потому я терплю и говорю тебе искренне, что душа во мне бывает часто такой печальной, как эти кипарисы, которые чернеют перед нами. Тяжело нести на плечах в одно время тяжесть высочайшей власти и величайшего таланта...

— Я сочувствую тебе, цезарь, от всей души, а вместе со мной и земля и море, не говоря уж о Виниции, который обожествляет тебя.

— Он мне всегда был приятен, хотя служит Марсу, а не музам.

— Прежде всего он служит Афродите, — ответил Петроний.

И он решил сразу устроить дело племянника и в то же время устранить все опасности, которые могли угрожать ему.

— Он влюблен, как Троил в Крессиду, — сказал Петроний. — Позволь ему, государь, уехать в Рим, потому что он сохнет от любви. Та лигийская заложница, которую ты подарил ему, была наконец найдена, и, уезжая в Анциум, Виниций оставил ее на попечении некоего Лина. Я не сказал тебе об этом, потому что ты слагал гимн, а это важнее всяких других дел. Виниций хотел сделать ее своей любовницей, но так как она оказалась добродетельной, как Лукреция, то он влюбился в ее добродетель и хочет взять ее себе в жены. Она царская дочь, поэтому его достоинство не страдает, но он, как истинный солдат, вздыхает, сохнет, стонет, но ждет разрешения от своего императора.

— Император не выбирает жен своим солдатам. Зачем ему мое разрешение?

— Я говорил, что он тебя обоготворяет.

— Тем более может быть уверен в разрешении. Это красивая девушка, но узка в бедрах. Августа Поппея жаловалась, что она сглазила наше дитя в Палатинских садах...

— Но ведь я доказал Тигеллину, что божество нельзя сглазить. Помнишь, божественный, как он смутился? И ты сам воскликнул: «Habet!» «Теперь ему конец!»

— Помню.

Нерон обратился к Виницию:

— Ты любишь ее так, как говорит Петроний?

— Да, государь! — ответил тот.

— Повелеваю тебе завтра утром ехать в Рим, жениться на ней и не показываться мне на глаза без обручального кольца.

— Благодарю тебя, государь, от всего сердца, от всей души.

— Какая радость делать людей счастливыми, — сказал цезарь. — Я хотел бы всю жизнь делать это.

— Тогда окажи нам еще одну милость, божественный, — сказал Петроний. — Объяви о своей монаршей воле в присутствии Августы Поппеи. Виниций никогда не решится взять в жены женщину, к которой Августа питает неприязнь, но ты, государь, успокоишь одним словом ее предубеждение, заявив, что брак заключается по твоему повелению.

— Хорошо, — сказал цезарь, — тебе и Виницию я ни в чем не могу отказать.

И он повернул к двору, они же шли следом с сердцами, полными радости. Виниций с трудом удержался, чтобы не броситься на шею Петронию, потому что теперь, казалось, все препятствия и опасности были устранены.

В атриуме молодой Нерва и Туллий Сенеций развлекали Августу беседой, Терпнос и Диодор строили кифары. Нерон сел в инкрустированное кресло и шепнул что-то мальчику-греку.

Мальчик тотчас вернулся с золотым небольшим ларцом. Нерон открыл его, выбрал ожерелье из крупных опалов и сказал:

— Вот сокровища, достойные сегодняшнего вечера.

— В них играет заря, — ответила Поппея, уверенная, что ожерелье предназначается ей.

Цезарь то поднимал, то опускал розоватые камни, любуясь их игрой. Потом он сказал:

— Виниций, подари от меня это ожерелье молодой лигийской царевне, которую я повелеваю тебе взять в жены.

Гневный и изумленный взор Поппеи перебежал с цезаря на Виниция и наконец устремился на Петрония, но тот, небрежно развалившись в кресле, водил рукой по грифу арфы, словно хотел хорошо запомнить его форму.

Виниций, горячо поблагодарив цезаря за подарок, подошел к Петронию и сказал:

— Чем я тебя отблагодарю за все, что ты сегодня для меня сделал?

— Принеси Евтерпе в жертву двух людей, — ответил Петроний, — хвали песни цезаря и смейся над предчувствиями. Надеюсь, что теперь рычание львов не будет мешать вам спать — тебе и твоей лигийской лилии?

— Нет, теперь я совсем спокоен.

— Пусть Фортуна будет милостива к вам. Но теперь слушай, потому что цезарь вновь берет кифару. Затаи дыхание, слушай и роняй слезы.

Цезарь действительно взял в руки кифару и поднял глаза к небу.

Разговоры прекратились, все приготовились слушать. Только Герпнос и Диодор, которые должны были вторить цезарю, поглядывали, качая головами, то друг на друга, то на Нерона, ожидая первых тактов песни.

Вдруг в сенях раздался шум и крик, потом завеса раздвинулась, и из-за нее показался Фаон, вольноотпущенник цезаря, а с ним консул Леканий.

Нерон нахмурил брови.

— Прости, божественный император, — воскликнул запыхавшийся Фаон, — в Риме пожар! Большая часть города в огне!..

При этом известии все вскочили со своих мест; цезарь положил кифару и сказал:

— Боги!.. Я увижу пылающий город и кончу свою «Трою»!

И он обратился к консулу:

— Выехав немедленно, успею ли я увидеть пожар?

— Государь! — ответил бледный как мел консул, — над городом море пламени; граждане задыхаются от дыма, люди впадают в безумие от ужаса и бросаются в огонь... Рим гибнет, государь!

Наступило молчание, которое было вдруг прервано воплем Виниция:

— Горе мне, несчастному! Горе!

И молодой трибун, сбросив тогу, в одной тунике выбежал из дворца.

Нерон поднял руки к небу и воскликнул:

— Горе тебе, священный город Приама!..

Виниций едва успел крикнуть нескольким рабам, чтобы они следовали за ним, вскочил на коня и помчался по пустым улицам Анциума по направлению к Лавренту. Под впечатлением страшной вести он совершенно обезумел, не отдавал себе отчета в происходящем, и у него было такое чувство, словно у него за плечами на седле сидит несчастье, кричит ему на ухо: «Рим горит!» — и гонит его и коня в огонь.

Положив голову на шею коня, он скакал в одной тунике, не глядя вперед и не обращая внимания на препятствия, о которые мог разбить себе голову. В тишине, глубокой ночью, спокойной и звездной, наездник и конь, облитые лунным светом, производили впечатление призраков. Идумейский жеребец, прижав уши и вытянув шею, летел как стрела, минуя неподвижные кипарисы и окруженные ими белые виллы. Топот копыт о каменистую дорогу будил собак, которые лаем провожали стремительный призрак, а потом начинали выть, поднимая морды к луне. Рабы, следовавшие за Виницием на худших лошадях, скоро принуждены были отстать. Он, промчавшись как вихрь через спящий Лаврент, повернул к Ардее, где, как в Ариции и других городах, держал наготове лошадей, чтобы, в случае возможности вырваться в Рим, совершить поездку возможно быстрее. И он, помня об этом, немилосердно гнал коня.

За Ардеей ему показалось, что небо в северо-восточной стороне принимает розоватый оттенок. Это могла быть и утренняя заря, потому что час был поздний, а день в июле начинался рано. Но Виниций не мог сдержать вопля отчаяния и гнева, потому что ему показалось это заревом пожара. Вспомнил слова Лекания: «Город в море пламени», — и почувствовал, что ему действительно грозит безумие, потому что он потерял вдруг надежду спасти Лигию и достигнуть города раньше, чем он обратится в кучу пепла. Мысли его мчались теперь с необычайной быстротой, быстрее коня, и неслись перед ним — отчаянные и ужасные. Он не знал, какая часть города загорелась раньше, но вероятнее всего это были кварталы за Тибром, где скучены были дома, склады дерева, деревянные амбары, в которых продавались рабы, — там прежде всего мог начаться пожар. В Риме пожары случались довольно часто, а во время них обыкновенно происходили погромы и грабежи, особенно в кварталах, где ютились бедняки и варвары, поэтому страшно было подумать о том, что могло произойти в части города за Тибром, в которой гнездилась нищета со

всех частей государства.

Виниций вдруг вспомнил Урса с его сверхчеловеческой силой, но что мог сделать даже этот титан против стихийной силы огня?

Страх возмущения рабов был также кошмаром Рима уже много лет. Говорили, что сотни тысяч этих людей мечтают о временах Спартака и только ждут удобного случая, чтобы взяться за оружие и восстать против угнетателей и города. И вот такой случай настал! Возможно, что теперь в городе одновременно с пожаром идет резня и погром. Может быть, даже по приказанию цезаря преторианцы бросились на город и убивают граждан. Волосы встали дыбом на голове Виниция. Он вспомнил все рассказы о пожарах в городах, — за последнее время при дворе цезаря об этом почему-то говорили так много; он вспомнил жалобы Нерона, что должен описывать пылающий город, а он никогда не видел настоящего пожара; его презрительный ответ Тигеллину, который предлагал сжечь Анциум или искусственный деревянный город, наконец, его недовольство Римом и зловонными переулками Субурры. Да! Это цезарь велел поджечь город! Один он мог решиться на это, один Тигеллин мог взяться за выполнение подобного приказа. А если Рим горит по его воле, то почему не предположить, что и жители истребляются преторианцами? Чудовище способно и на это! Итак, пожар, резня и бунт рабов! Какой ужасный хаос! Какое бешенство разнузданных стихий и безумие людей! И среди всего этого — Лигия! Стоны Виниция смешивались с храпом коня, который мчался в гору, выбиваясь из последних сил. Кто вырвет ее из пылающего города, кто сможет спасти ее? Тут Виниций припал к шее коня, впился пальцами в гриву, готовый кусать шею лошади. Но в это мгновение ему навстречу пролетел такой же обезумевший всадник, мчавшийся из города. Он бросил лишь: «Рим гибнет...» — и поскакал дальше. До слуха Виниция долетело еще слово: «Боги!» — больше он ничего не успел разобрать. Но это слово отрезвило его. Боги!.. Виниций поднял голову и, протянув руки к небу, усеянному звездами, стал молиться: «Не вас призываю я, чьи храмы сейчас в огне, а тебя!.. Ты сам страдал! Ты один — милосерд! Ты один понимаешь людскую боль! Ты пришел в мир, чтобы научить людей любви, так покажи ее теперь. Если ты таков, как говорят о тебе Петр и Павел, то спаси мне Лигию. Возьми ее на руки и вынеси из огня. Ты можешь это! Отдай мне ее, а я отдам тебе свою кровь! Если не хочешь сделать для меня, сделай это для нее! Она тебя любит и верит тебе. Ты обещаешь жизнь после смерти и счастье, но счастье после смерти не минует ее, а между тем она еще не хочет умирать. Дай ей возможность жить. Возьми ее на руки и вынеси из Рима. Ты можешь, и неужели ты не захочешь...»

Он почувствовал, что дальнейшая молитва может превратиться в угрозу, и он убоился оскорбить Бога в ту минуту, когда наиболее нуждался в его помощи и сострадании. Он испугался одной мысли об этом и, чтобы не допустить в своих мыслях и тени угрозы, снова стал стегать коня, тем более что белые стены Ариции, лежавшей на половине дороги к Риму, светились перед ним в лунном блеске. Он пронесся мимо храма Меркурия, стоявшего в рощице под самым городом. Здесь уже знали, по-видимому, о несчастье, потому что у храма было необыкновенное оживление. Виниций увидел на ступенях и между колоннами множество людей, которые прибежали молить бога о помощи. Дорога теперь не была пустынной и безлюдной. Хотя жители пробирались к храму боковыми дорожками, но и на главной дороге толпился народ, расступавшийся перед стремительно мчавшимся наездником. Со стороны города доносился также шум голосов. Виниций как вихрь въехал в него, раздавив по дороге несколько человек. Вокруг раздавались крики: «Рим в огне!», «Боги, спасите Рим!»

Конь споткнулся и осел на задние ноги, остановленный сильной рукой перед постоянным двором, где Виниций держал лошадей для перемены. Рабы, ожидавшие приезда господина, стояли перед зданием и стремительно бросились по его приказанию за новой лошастью. Увидев отряд конных преторианцев, состоявший из десяти человек, которые скакали, по-видимому, из Рима в Анциум, он подбежал к ним и стал спрашивать:

- Какая часть города в огне?
- Кто ты? — спросил преторианец.
- Виниций, военный трибун и августианец. Отвечай скорее!
- Пожар начался в лавочках около цирка. Когда мы выехали, середина города была в огне.
- А за Тибром?
- Там еще не горело, но пожар с невероятной силой охватывает все новые и новые кварталы. Люди гибнут от дыма, никакое спасение невозможно.

Виницию подвели нового коня. Молодой трибун вскочил на него и помчался. Он ехал теперь к Альбануму, оставляя вправо Альбалонгу с ее прекрасным озером. Дорога в Арицию шла под гору и закрывала собой горизонт и лежавший по другую сторону Альбанум. Виниций знал, что за Арицией он увидит не только Бовилу и Устринум, где у него были приготовлены лошади, но и Рим, — за Альбанумом по сторонам Аппиевой дороги лежала низменная Кампанья, по которой бежали к городу лишь аркады водопровода, и ничто больше не закрывало горизонта.

- Сверху я увижу пламя! — шептал он. И снова стал стегать коня.



Но прежде чем доехал до перевала, в лицо его повеял ветер, и он почувствовал запах дыма.

Вершина холма перед ним казалась золотой.

«Зарево!» — подумал Виниций.

Ночь подходила к концу, начинало светать, на ближайших холмах также золотились и розовели вершины, которые одинаково могли казаться такими и от пожара и от зари. Виниций доскакал до вершины, и страшный вид поразил его.

Вся равнина была покрыта клубами дыма, которые составляли как бы одно гигантское, лежавшее на земле облако, под которым исчезали города, водопровод, виллы, деревья; а в конце этого серого, ужасного облака пылал на холмах Рим.

Пожар не имел вида огненного столпа, как бывает, когда горит одно какое-нибудь строение. Это скорее была широкая и длинная лента.

Над этой лентой извивался исполинский жгут дыма, в некоторых местах совершенно черный, в других переливчатый — розовый и багровый, туго скрученный, извивающийся как змея. И этот чудовищный жгут иногда, казалось, прикрывал даже огненную ленту, которая превращалась тогда в узкую полоску пламени, вспыхивающую под ним, но потом она снова ширилась, заливала его багровым заревом до самого верха, так что нижняя его часть казалась огромными языками пламени. И это протянулось во всю ширину горизонта. Сабинских гор совсем не было видно. В первое мгновение Виницию показалось, что горит не город, а весь мир, и что никакое живое существо не может спастись из этого океана пламени и дыма.

Усиливавшийся со стороны пожара ветер нес с собой запах гари и пепел, который долетал даже сюда.

Наступил день. Солнце осветило вершины окружавших озеро Альбанских гор. Но светло-золотые лучи утра сквозь дым казались рыжими и болезненными. Спускаясь к Альбануму, Виниций все более погружался в густой дым. Весь городок был окутан дымом. Встревоженные жители высыпали на улицу.

Было страшно подумать, что происходило сейчас в Риме, если уже здесь было трудно дышать.

Отчаяние охватило Виниция, и от ужаса у него шевелились волосы на голове. Но он крепился, делая последние усилия. «Невозможно, чтобы весь город вспыхнул сразу, — думал он. — Ветер с севера и гонит дым лишь в эту сторону. С той стороны дыма нет. За Тибром благодаря реке город может уцелеть. Во всяком случае, достаточно Урсу проникнуть вместе с

Лигией к Яникульским воротам, и они спасены. Невозможно представить себе, чтобы погибло все население города, который правит миром, и чтобы Рим был совершенно стерт с лица земли вместе со всеми своими гражданами. Даже при взятии городов, когда резня и пожар помогают друг другу, некоторое число людей всегда остается в живых, почему же непременно должна погибнуть Лигия? Ведь ее хранит Бог, который сам победил смерть!»

И он снова начал молиться; по обычаю, к которому привык, он давал обеты Христу и сулил всякие жертвы и дары. Проехав Альбанум, жители которого сидели на крышах и деревьях, чтобы смотреть на пожар Рима, он немного успокоился. Он думал, что о Лигии заботятся не только Урс и Лин, но и апостол Петр. От одной мысли об этом в сердце его вернулась надежда. Петр был для него всегда существом непонятным, почти сверхчеловеком. С ночи, когда он слышал Петра в Остриануме, у него осталось странное впечатление, о котором он писал Лигии из Анциума: каждое слово старика — истина или должно стать истиной. Ближайшее знакомство с апостолом во время болезни еще более усилило это впечатление, перешедшее постепенно в чувство непоколебимой веры. Если Петр благословил его любовь и обещал ему Лигию, то Лигия не могла, следовательно, погибнуть в огне. Город может сгореть дотла, но ни одна искра не падет на ее одежду. Под впечатлением бессонной ночи, бешеной скачки и волнений Виницием овладела странная экзальтация, и ему показалось вполне возможным, что Петр благословит огонь, и перед ними тотчас откроется огненная аллея, по которой они свободно пройдут. Кроме того, Петр знал будущее, поэтому он, конечно, знал и о пожаре, а в таком случае неужели он не предупредил и не вывел из города христиан, а вместе с ними и Лигию, которую любил, как родную дочь? Надежда возвращалась в сердце Виниция. Он подумал: если они ушли из города, то, может быть, он встретит их по дороге. Может быть, сейчас любимое лицо покажется среди этого густого дыма, который заволакивает всю Кампанию.

Ему показалось это тем более правдоподобным, что по дороге с каждой минутой все больше и больше попадалось навстречу бежавших из города людей, стремившихся к Альбанским горам. Не доезжая Устринума, он принужден был сдерживать коня на переполненной людьми дороге. Наряду с пешеходами с котомками на плечах он встречал навьюченных лошадей, мулов, колесницы, нагруженные имуществом, и даже лектики, на которых рабы несли более состоятельных жителей. Здесь было так много беглецов из Рима, что Виниций с трудом мог проехать по дороге. Они были повсюду — и на рынке, и у храмов под колоннами, и просто на улицах; в

некоторых местах уже были раскинута шатры, под которыми находили убежище целые семьи. Другие располагались под открытым небом, с криком и проклятиями, призывая богов. В общем шуме трудно было понять что-нибудь. Люди, к которым обращался Виниций, или не отвечали ему совсем, или поднимали на него полусумасшедшие глаза и говорили, что вместе с городом погиб мир. С каждой минутой прибывали новые толпы, состоявшие из мужчин, женщин и детей, которые увеличивали общее замешательство и смятение. Некоторые, затерявшись в тесноте, с криком отчаяния искали своих. Другие препирались из-за места. Толпы полудиких пастухов из Кампаньи пришли в городок, чтобы узнать новости и поживиться на чужой счет в общей суматохе. В некоторых местах разноплеменная толпа, состоявшая из рабов и гладиаторов, стала грабить дома и виллы и драться с солдатами, которые пытались защищать жителей.

Сенатор Юний, окруженный толпой батавских рабов, которого Виниций встретил на постоялом дворе, первый дал ему более достоверные сведения о пожаре. Вспыхнуло действительно близ Большого цирка, в том месте, где Палатин примыкает к холму Целия, — пожар распространился с непонятной быстротой, и скоро весь центр города был охвачен огнем. Никогда еще город не постигало столь огромное бедствие. «Цирк сгорел дотла, а также все лавки и дома вокруг, — рассказывал Юний, — Авентин и Целий в огне. Пожар проник и на Карины...»

Юний, имевший на Каринах великолепный дом, наполненный произведениями искусства, которое он очень любил, схватил горсть грязной придорожной пыли, посыпал ею голову и, полный отчаяния, стал плакать.

Виниций коснулся его рукой.

— И у меня дом на Каринах, но, если гибнет все, пусть и он погибнет.

Вспомнив, что Лигия по его совету могла перебраться в дом Авлов, Виниций спросил:

— А улица Патрициев?

— В огне! — ответил Юний.

— А за Тибром?

Юний удивленно посмотрел на него.

— Ах, что бы там ни происходило, разве это важно! — ответил он, сжимая руками голову.

— Для меня это важнее, чем судьба всего Рима! — взволнованно воскликнул Виниций.

— Туда можно пробраться разве по Портовой дороге, потому что у Авентина ты задохнешься от дыма... Не знаю, что происходит за Тибром...

Туда пожар не мог еще дойти, но что там сейчас — одним богам известно...

Юний колебался одну минуту, а потом тихо сказал:

— Знаю, что ты не выдашь меня, поэтому скажу тебе: это необыкновенный пожар... Я сам видел, как не давали тушить огонь у цирка... Когда вокруг загорелись дома и лавки, я сам слышал чьи-то голоса, вопившие: «Смерть тем, кто будет тушить!» Какие-то люди бегают по городу с факелами и поджигают дома... Народ возмущен, все уверяют, что город пылает по чьему-то приказу. Больше я ничего не скажу. Горе Риму, горе нам всем и мне! Что там происходит, этого не в силах передать человеческий язык. Люди гибнут в огне или истребляют друг друга в драке... Это — конец Рима!

И он снова стал причитать:

— Горе Риму, горе нам всем!

Виниций вскочил на коня и поскакал по Аппиевой дороге.

Но было очень трудно пробираться между обозами и толпами людей, убежавших из Рима.

Рим лежал перед Виницием как на ладони, объятый чудовищным пожаром. От пламени и дыма чувствовался ужасный жар, а крики и рев толпы не могли заглушить шипения и гула огня.

По мере того как Виниций приближался к городским стенам, все труднее становилось проехать по дороге. Дома, поля, кладбища, сады и храмы, лежавшие по обеим сторонам, превратились в многолюдные лагеря. В храме Марса, стоявшем у самых городских ворот, толпа сломала двери, чтобы найти в нем убежище на ночь. На кладбищах дрались из-за обладания могильными склепами, и драки часто кончались кровопролитием. Суматоха в городках, мимо которых проехал Виниций, не давала ни малейшего представления об ужасе, царившем под стенами Рима. Исчезло всякое уважение к праву, властям, семейным узам, разнице положений и состояний. Рабы колотили палками римских граждан. Напившиеся гладиаторы, разбив склады вина в Эмпориуме, соединились в отряды и с дикими криками пробегали по окрестным дорогам, грабя и убивая людей. Множество варваров, выставленных на продажу в городе, бежало. Пожар и гибель города были для них концом рабства и часом мести. И когда граждане, терявшие в огне все свое имущество, с отчаянием протягивали руки богам, моля о помощи, эти варвары с диким воем нападали на толпу, срывали с людей одежды, грабили, убивали, насиловали молодых женщин. К ним присоединялись рабы, давно жившие в Риме. Бедняки, не имевшие на себе ничего, кроме шерстяного пояса на бедрах, страшные люди из закоулков Рима, которых нельзя было встретить днем на улицах и о существовании которых в Риме мало кто догадывался. Чернь, состоявшая из азиатов, африканцев, греков, фракийцев, германцев и бриттов, кричавшая на всех наречиях мира, дикая и разнузданная, безумствовала, полагая, что настал час мести за многолетние страдания и нужду. Среди этой разноплеменной неистовой толпы виднелись шлемы преторианцев, которые при свете дня и зареве пожара сопровождали знатных людей и не раз принуждены были пускать в ход оружие против озверевших насильников. Виниций видел взятие городов, но никогда ему не случалось наблюдать зрелище, в котором отчаяние, слезы, боль, стоны, дикая радость, безумие, бешенство и разнузданность смешались бы вместе в столь ужасный хаос. И над этой обезумевшей взволнованной толпой гудел чудовищный пожар, погибал в пламени многохолмный, величайший в мире город, посылая на нее свое знойное дыхание и окутывая дымом, сквозь который не видно было небесной лазури.

Молодой трибун с большим трудом добрался до городских ворот и

только здесь понял, что с этой стороны не сможет проникнуть в город не только из-за тесноты, но и потому, что воздух был раскален от близости огня. Чтобы проникнуть за Тибр, нужно было ехать мимо Авентина, который представлял собой море огня. Это было совершенно невыносимо. Виниций понял, что ему нужно вернуться, свернуть с Аппиевой дороги, переплыть Тибр и оттуда проехать на Портовую дорогу, которая вела прямо в затибрскую часть города. Это нелегко было сделать из-за тесноты и суматохи, царившей на Аппиевой дороге. Путь приходилось прокладывать мечом, а у Виниция не было оружия, потому что он поскакал в Рим прямо из дворца цезаря. У источника Меркурия он увидел знакомого центуриона, который во главе отряда преторианцев защищал от толпы вход в храм. Виниций приказал ему следовать за собой, и тот, узнав трибуна и августианца, не смел уклониться от исполнения приказа.

Виниций принял на себя начальство над всем отрядом и, забыв в эту минуту слова Павла о любви к ближнему, поспешно двигался вперед, давя теснившуюся толпу. Вдогонку им раздавались проклятия и сыпался град камней, но он не обращал внимания на это, желая скорее выбраться на свободную дорогу. Но двигаться приходилось все-таки очень медленно. Расположившиеся лагерем люди не хотели уступать дороги солдатам, проклиная цезаря и преторианцев. В некоторых местах толпа пыталась даже оказать сопротивление. До слуха Виниция доносились голоса, обвинявшие Нерона в поджоге. Грозилы смертью ему и Поппее. Крики: «шут», «актер», «матереубийца» — раздавались вокруг. Иные вопили, что цезаря нужно утопить в Тибре, другие — что мера терпения исчерпана. Было очевидно, что угрозы готовы смениться открытым бунтом, который мог вспыхнуть немедленно, если бы нашелся вождь. Пока отчаяние и бешенство толпы обрушивались на преторианцев, которым трудно было проложить себе дорогу еще и потому, что ее заграждали горы вынесенного из огня и сваленного повсюду имущества граждан; всюду лежали ящики, бочки со съестными припасами, постели, детские колыбели, повозки и узлы.

На каждом шагу происходили столкновения, но преторианцы быстро справлялись с безоружной толпой. С трудом пробираясь мимо вилл, кладбищ, храмов, пересекая множество дорог, ведущих в Рим, Виниций с отрядом добрался наконец до Тибра и переправился через реку. Стало легче ехать, и меньше было дыма. От беглецов, которых и здесь было много, Виниций узнал, что пока огонь перекинулся лишь на некоторые переулки затибрской части города, но, вероятно, и здесь все будет уничтожено огнем, потому что какие-то люди запрещают гасить огонь и поджигают дома; они

кричат, что делают это по приказу. Трибун больше не сомневался, что именно цезарь приказал сжечь город, и месть, к которой взывала толпа, показалась ему справедливой и заслуженной. Что худшего мог придумать Митридат или другой какой-нибудь заклятый враг Рима? Мера была превзойдена, безумие стало слишком чудовищным, жизнь человеческая сделалась невозможной. Виниций подумал, что час Нерона пробил, что развалины, в которые превратился Рим, должны раздавить чудовище и шута вместе со всеми его преступлениями. Если бы нашелся достаточно смелый человек, который встал бы во главе полной отчаяния толпы, Нерон погиб бы через несколько часов. Мятежные мстительные мысли возникли в голове Виниция. А что, если бы он сделал это? Род Виниция, в котором много было консулов, известен всему Риму. Толпе нужно имя. Ведь недавно по поводу смертного приговора четверемстам рабам префекта Педания Секунда едва не произошло возмущение. Что могло бы произойти сейчас, при катастрофе, какой не видел Рим в течение восьми веков?

«Кто призовет к оружию квиритов, — думал Виниций, — тот, несомненно, свергнет Нерона и сам облечется в пурпур». Почему не сделать этого? Он был сильнее, деятельнее, смелее других августианцев... Нерон имел в своем распоряжении тридцать легионов, стоявших на границах огромной империи, но разве легионы и их вожди не возмутятся при вести о сожжении Рима и его храмов?.. И тогда он, Виниций, мог бы сделаться цезарем. Ведь августианцы шептались между собой, что какой-то гадалец предсказал пурпур Оттону. Чем он хуже Оттона? Может быть, Христос помог бы ему, может быть, это он посылает такие мысли Виницию? «О, если бы это было так!» — восклицал в душе трибун. Он отомстил бы Нерону за Лигию и за свой страх относительно девушки; он установил бы в государстве справедливость и правду, распространил бы Христово учение от Евфрата до туманных берегов Британии — и вместе со всем этим одел бы Лигию в багряницу и сделал бы ее владычицей мира.

Но эти мысли, подобные снопу искр, вырвавшемуся из горящего дома, и угасли, как искры. Прежде всего нужно было спасти Лигию. Он смотрел теперь на катастрофу с близкого расстояния, поэтому страх вернулся к нему. Среди моря огня и дыма, столкнувшись с ужасной действительностью, вера в то, что апостол Петр спасет Лигию, замерла в его сердце. Отчаяние снова охватило его. В необыкновенном волнении он достиг ворот города, где ему снова повторили, что эта часть города пока еще не горит, кроме некоторых мест, где огонь успел перекинуться через реку.

Но и здесь было много дыма, повсюду бежали толпы испуганных

людей, среди которых было еще труднее пробраться, потому что, имея больше времени, все старались спасти что-нибудь из своего имущества. Главная улица кишела людьми и по большей части была завалена вещами погорельцев. Более узкие переулки были совсем непроходимы из-за дыма. Жители бежали из них толпами. Виниций был свидетелем потрясающих сцен. Не раз два человеческих потока, столкнувшись на тесном перекрестке, вступали в драку.

Люди давили друг друга и убивали. Матери, смешавшись с толпой, теряли своих детей, которых окликали голосами, полными отчаяния. Виниций с ужасом думал о том, что должно происходить на месте пожара. Среди шума и криков трудно было добиться толку и расспросить кого-нибудь. Из-за реки, с другого берега, ветер приносил клубы дыма, тяжелые и черные, которые ползли по земле, обволакивая дома и людей. Потом ветер развеивал дым, и тогда Виниций мог снова двигаться в направлении переулка, где стоял дом Лина. Зной июльского дня, увеличенный жаром огня, становился непереносимым. Дым ел глаза, груди нечем было дышать. Даже и те из жителей, которые надеялись, что огонь не перебросится через реку, и остались в своих домах, стали теперь покидать их, и суматоха увеличивалась с каждой минутой. Преторианцы, сопровождавшие Виниция, отстали. В тесноте кто-то ударил молотом его коня, и тот взвился на дыбы, тряся окровавленной мордой и отказываясь повиноваться седоку. По богатой тунике толпа узнала августианца, и тотчас вокруг раздались голоса: «Смерть Нерону и поджигателям!» Сотни рук тянулись к Виницию с угрозами, и положение было крайне опасным, если бы конь не вынес его из толпы, давя людей, и новые клубы черного дыма не заволокли улицу. Понимая, что проехать невозможно, Виниций соскочил с коня и побежал вдоль стен, иногда пережидая, чтобы мимо него схлынула толпа. В душе он думал, что все его усилия напрасны. Лигия могла уже давно выбраться из города, и легче было найти иголку на прибрежном песке, чем ее в этом хаосе. Но он хотел ценой жизни добраться до дома Лина. Иногда останавливался и тер глаза. Оторвав край туники, он повязал лоскутом рот и нос и бежал дальше. По мере того как он приближался к реке, зной становился нестерпимее. Последний, кого видел Виниций — хромой старик, — пробегая мимо, крикнул ему: «Не подходи близко к мосту, весь остров в огне!» Дальше Виниций не мог обманывать себя. За углом Еврейской улицы, где стоял дом Лина, Виниций увидел не только дым, но и пламя; не только остров, но и затибрская часть города были в огне; горело в конце улочки, на которой жила Лигия.

Виниций вспомнил, что домик Лина окружен садом, а сзади



простирались незастроенный пустырь. Он ободрился. Огонь мог остановиться у пустыря. И он бежал дальше, хотя каждый порыв ветра приносил с собой не только дым, но и тысячи искр, которые могли зажечь переулочек с другого конца и отрезать обратный путь.

Наконец сквозь дымную завесу он увидел кипарисы в садике Лина. Дома за пустырем уже пылали, как груды щепок, но владение Лина пока оставалось нетронутым. Виниций бросил на небо благодарный взор и вбежал в сад, так как его обжигал уже раскаленный воздух. Двери были прикрыты, но он толкнул их и проник внутрь.

Ни в саду, ни в домике никого не было.

«Может быть, они задохнулись от дыма?» — подумал Виниций.

И стал кричать:

— Лигия! Лигия!

Все кругом молчало. Лишь издали доносился гул и треск пожара.

— Лигия!

И вдруг он услышал тот мрачный рев, который слышал однажды здесь же в садике. На близлежащем острове, по-видимому, загорелся зверинец, помещавшийся близ храма Эскулапа, — и разные звери, в том числе и львы, подняли рев, полный ужаса. Дрожь пробежала по телу Виниция. Второй раз, когда все его мысли были сосредоточены на Лигии, эти страшные голоса звучали предвестием несчастья, странным обещанием враждебного будущего.

Но это было краткое, почти мгновенное впечатление, потому что более страшный, чем рев зверей, гул и треск пожара заставлял подумать о другом. Лигия не ответила на зов, но, может быть, она здесь, в домике, задыхается от дыма или лежит в обмороке. Виниций обежал весь дом. В маленьком атриуме было пусто и темно от дыма. Он заметил в глубине мигающий огонек лампы, подбежал и увидел место для лар, где их, однако, не было, а стоял небольшой крест. Перед ним и горела лампа. Новообращенный тотчас решил, что это Христос посылает ему свет, при помощи которого он сможет найти свою Лигию, — и Виниций схватил лампу и направился к темным спальням. Отдернув завесу, он вошел в одну из них, но там никого не оказалось.

Виниций был, однако, уверен, что он попал в опочивальню Лигии, — по стенам висели ее платья, а на кровати он нашел капитий, — нечто вроде узкой рубашки, какую римлянки обычно надевали прямо на тело. Виниций схватил ее, прижал к губам и, перекинув через плечо, побежал дальше. Дом был небольшой, и он быстро осмотрел все комнаты и даже подвал. Нигде никого не оказалось. Очевидно, Лигия, Лин и Урс вместе с остальными

жителями переулка искали спасения в бегстве. «Их нужно искать в толпе за городскими воротами», — подумал Виниций.

Он не удивился, что не встретил их по дороге, потому что они могли избрать другой путь, в направлении к Ватиканскому холму. Во всяком случае, они уцелели, по крайней мере, от огня. Виниций облегченно вздохнул. Он видел, с какой громадной опасностью сопряжено было бегство, но мысль о сверхчеловеческой силе Урса ободрила его. «Теперь мне нужно бежать отсюда, — думал Виниций. — Через сады Домиция я проникну в сады Агриппины. Там я найду их. Дыма там нет, потому что ветер дует с Сабинских гор».

Пришло время, когда ему нужно было подумать о собственном спасении, потому что море огня приближалось, и почти весь переулок был окутан густым дымом. Лампада в его руках погасла от первого порыва ветра. Виниций побежал по улице в ту сторону, откуда пришел, и пожар, казалось, настигал его своим знойным дыханием, то окутывая его дымом, то осыпая искрами, которые падали на волосы, шею, одежду Виниция. Туника на нем тлела в нескольких местах, но он не обращал на это внимания и бежал дальше, опасаясь, что дым может задушить его. На языке он чувствовал вкус гари и сажи, в горле першило. Кровь прилила к голове, мгновениями он видел все в багровом свете и даже самый дым казался ему красным. Тогда он говорил себе: «Не лучше ли мне броситься на землю и умереть?» Он изнемогал, бежать становилось не под силу. Голова, плечи, руки покрылись испариной, и эта испарина обжигала его. Если бы не имя Лигии, которое он повторял мысленно, и не ее одежда, которой он закрыл лицо, он непременно упал бы. Но через несколько минут он перестал узнавать переулок, по которому бежал. Сознание постепенно покидало его, он помнил одно лишь, что должен бежать, потому что за воротами его ждет Лигия, обещанная ему апостолом Петром. Его охватила странная, почти лихорадочная уверенность, похожая на предсмертный бред, что он должен увидеть ее, обручиться с ней и потом немедленно умереть.

Он продолжал бежать, как пьяный, шатаясь из стороны в сторону. И вдруг что-то изменилось в чудовищном пожаре, охватившем исполинский город. Все, что до сих пор тлело, вырвалось, очевидно, в безумном взрыве огня, потому что ветер перестал гнать клубы дыма, а тот дым, который скопился в узких переулках, был развеян бешеным дыханием раскаленного воздуха. И это дыхание сеяло теперь миллионы искр, так что Виниций бежал словно в огненном облаке. Теперь он лучше разбирал дорогу, и в то мгновение, когда готов был упасть от изнеможения, он увидел конец переулка. Это дало ему новые силы. Завернув за угол, он очутился на

улице, которая вела к Портовой дороге и Кодетанскому полю. Искры перестали жечь его. Он понял, что, добежав до Портовой дороги, будет спасен, хотя бы на ней и лишился чувств.

В конце улицы он снова увидел подобие облака, закрывавшего путь. «Если это дым, то я уж не пройду», — подумал он. Он, напрягая последние силы, сбросив с себя тлевшую тунику, которая жгла его тело, бежал голый, лишь голова и лицо были окутаны легкой одеждой Лигии. Подбежав ближе, он увидел, что то, что принимал за дым, оказалось клубами пыли, за которой слышались голоса и крики людей.

«Чернь грабит дома», — подумал он.

И он бежал по направлению голосов. Все-таки там были люди, которые могли оказать ему помощь.

И он стал издали взывать о помощи, напрягая все усилия. Этот его крик был последней вспышкой: глаза залил багровый свет, в груди не хватило дыхания, и он бессильно рухнул на землю.

Но его услышали, вернее увидели, и два человека подбежали к нему на помощь с кувшинами воды. Упавший Виниций не потерял, однако, сознания — обеими руками он схватил сосуд и выпил почти половину.

— Благодарю, — сказал он, — поднимите меня, дальше я пойду один.

Другой человек вылил из кувшина воду на голову Виниция. Потом оба подняли его и, взяв на руки, понесли к другим людям; те окружили его, заботливо расспрашивая, не ушибся ли он и не обгорел ли. Эта заботливость удивила Виниция.

— Кто вы? — спросил он.

— Мы ломаем дома, чтобы огонь не дошел до Портовой дороги, — ответил один из них, по виду — рабочий.

— Вы помогли мне, когда я совсем изнемог. Благодарю!

— Нам нельзя не помочь человеку, — ответило несколько голосов.

Тогда Виниций, с утра видевший лишь разнузданные толпы озверевших людей, драки и грабеж, внимательно всмотрелся в лица окружавших его людей и сказал:

— Пусть вас вознаградит за это... Христос.

— Слава имени его, — ответили все они.

— Лин...

Дальше он не мог говорить — от волнения и пережитых мук потерял сознание.

Он пришел в себя лишь на Кодетанском поле, в саду, окруженный несколькими женщинами и мужчинами. Первые слова, вырвавшиеся у него, были:

— Где Лин?

Некоторое время ответа не было, потом какой-то знакомый Вининию голос вдруг сказал:

— За Номентанскими воротами; он ушел в Острианум... два дня тому назад... Мир тебе, царь персидский!

Виниций приподнялся и сел. Перед собой он неожиданно увидел Хилона. Грек продолжал:

— Твой дом, наверное, сгорел, господин, потому что Карины в огне. Но ты всегда будешь богат, как Мидас. Какое несчастье! Христиане, о сын Сераписа, давно предсказывали, что огонь уничтожит этот город... Лин вместе с дочерью Юпитера находится в Остриануме... О! Какое несчастье постигло город!..

Виниций снова ослаб.

— Ты видел их?

— Видел, господин!.. Благодарю Христа и всех богов, что я смог отплатить тебе доброю вестью за все твои благодеяния. Но я тебе и еще отплачу, о сын Озириса, — клянусь в том вот этим пылающим Римом.

Близился вечер, но в саду было светло как днем, потому что пожар усилился. Теперь, казалось, пылали не отдельные части города, а весь Рим — от края до края. Небо было багровое, и на мир спускалась багровая ночь.

## **Часть третья**

Зарево над горевшим городом залило небо, насколько мог его охватить взор. Из-за холмов поднялась полная луна цвета расплавленной меди и, казалось, с изумлением взирала на гибнущий город — владыку мира. В обогранных безднах ночного неба пылали багровые звезды; в эту необычную ночь земля была светлее неба. Рим, как гигантский костер, освещал всю равнину Кампаньи. В багровом зареве виднелись дальше холмы, города, виллы, храмы, могильные памятники и водопроводы, сбегавшиеся со всех окрестных гор к городу; на водопроводах виднелись люди, которые взбирались на его аркады ради безопасности или чтобы лучше видеть пожар.

Страшная стихия овладевала все новыми частями города. Не было ни малейшего сомнения, что чьи-то преступные руки поджигают город, потому что все время вспыхивали новые пожары в самых отдаленных от середины города кварталах. С холмов, на которых был расположен Рим, огонь подобно морским волнам сплывал в долины, где были скучены многоэтажные дома, лавки, деревянные передвижные амфитеатры, предназначенные для различных зрелищ, наконец, склады дерева, масла, хлеба, орехов, шишек пиний, зернами которых питалась городская беднота, склады одежды, которую иногда из милости цезари раздавали черни, гнездившейся в тесных переулках. Там пожар находил множество легковоспламеняемого материала; происходили страшные взрывы, и мгновенно пламя охватывало целые улицы. Расположившиеся лагерем за городскими стенами жители, а также любопытные, забравшиеся на водопровод, по цвету и характеру пламени угадывали, что горит. Бешеный ток раскаленного воздуха вдруг метал из огненной пропасти миллионы тлевших орехов и миндаля, которые взлетали вверх, подобно тучам огненных пчел, и они лопались с треском в воздухе или, подхваченные ветром, неслись в не занятые пожаром части города или на поля, окружавшие город. Всякая мысль о спасении города казалась безумной; замешательство увеличивалось с каждой минутой, потому что горожане старались вырваться из горящего Рима через ворота за стены, а пожар привлекал к Риму тысячи людей из окрестностей — жителей городков, земледельцев и диких пастухов Кампаньи, которых гнала сюда надежда на легкую добычу.

Вопль «Рим гибнет!» все время раздавался в толпе, а гибель города в

те времена была в понятии народа гибелью государственной власти и распадом всех связей, которые соединяли в одно целое народ. Чернь, состоявшая по большей части из рабов и нищих чужестранцев, нисколько не дорожила величием и властью Рима, — и переворот лишь освобождал ее от уз рабства и подчинения; поэтому она стала сразу грозной силой. Вокруг царило насилие и грабеж.

Казалось, вид гибнущего города привлекает внимание людей и удерживает пока толпу от резни, которая начнется тотчас, как только Рим обратится в груды обгорелых развалин. Сотни тысяч рабов, забыв, что Рим кроме своих храмов и стен обладает еще несколькими десятками легионов во всех странах мира, — казалось, ждали призыва и вождя.

Вспоминали Спартака, но Спартака пока не было. Граждане стали собираться вместе и вооружаться, чем кто мог. Самые чудовищные слухи распространялись около городских ворот. Некоторые утверждали, что Вулкан по приказанию Юпитера предал город уничтожению при помощи огня, вырвавшегося из-под земли; другие говорили, что это месть богини Весты за весталку Рубрию. Веря этому, люди не хотели спасать город и имущество и, окружив храмы, молили богов о пощаде.

Но большинство говорило о том, что цезарь велел сжечь Рим, чтобы устранить раздражающие запахи Субурры и чтобы выстроить новый город под именем Неронии. При мысли о подобной вещи людьми овладевало бешенство, и если бы, как думал Виниций, нашелся вождь, который захотел бы воспользоваться этим взрывом возмущения, то час Нерона пробил бы на много лет раньше.

Говорили также, что цезарь сошел с ума, что он велел преторианцам и гладиаторам нападать на народ и устроить общую резню. Некоторые уверяли клятвенно, что по распоряжению Меднобородого из всех зверинцев были выпущены львы и тигры. На улицах видели львов с пылающими гривами, взбесившихся слонов, которые при виде пожара сломали клетки, разорвали цепи и, вырвавшись на свободу, в ужасе бросились в разные стороны, уничтожая все на своем пути. Погибших насчитывали несколько десятков тысяч. Действительно, в огне погибло множество народа. Были такие, которые, потеряв все свое имущество и близких, в отчаянии бросались сами в огонь. Иные задохнулись от дыма. В центре города, между Капитолием, с одной стороны, и Квириналом, Виминалом и Эсквилином — с другой, равно как и между Палатином и Целием, где были расположены наиболее густо населенные улицы, пожар начался в разных частях в одно время, так что толпы людей, убегая от пожара, неожиданно натыкались на новую стену огня и гибли ужасной

смертью среди пламенной стихии.

В страхе, общем замешательстве и безумии люди не знали, куда бежать. Улицы были завалены вещами, во многих местах они были совершенно непроходимы. Те, кто успел проскользнуть на рынок и площади, туда, где впоследствии был построен амфитеатр Флавия, близ храма Земли, около портика Ливии, и дальше — у храмов Юноны и Люцины, а также около старых Эсквилинских ворот, — были окружены морем огня и погibli. Даже в местах, куда пожар не дошел, потом находили сотни обуглившихся тел; в некоторых местах эти несчастные вырывали из земли каменные плиты и под ними пытались найти убежище от губительного жара и дыма. Ни одна из семей, живших в центре города, не спаслась целиком, поэтому вдоль стен, у городских ворот и по всем дорогам слышались отчаянные вопли женщин, выкликавших дорогие им имена погибших в огне родных.

И в то время, когда одни молили у богов милосердия, другие кощунствовали и бранили тех же богов за столь жестокое испытание. Видели стариков, которые протягивали руки по направлению храма Юпитера и взывали: «Ты — спаситель, так спаси свой алтарь и город!»

Отчаяние и ярость толпы особенно были обращены против старых римских богов, которые должны были, по представлениям граждан, заботливее других богов относиться к Риму. Но боги оказались бессильны, поэтому люди бранили их.

Когда на одной из дорог появилась толпа египетских жрецов, сопровождавших статую Изиды, которую успели вынести из храма вблизи Целимонтанских ворот, толпа присоединилась к шествию, впряглась в колесницу, дотащила ее до Аппиевой дороги, где и поместила египетскую богиню в храме Марса, поколотив при этом жрецов этого храма, пытавшихся оказать сопротивление. В других местах призывали Сераписа, Ваала и Иегову, причем люди, исповедующие этих богов, высыпав из переулков Субурры и из-за Тибра, наполняли своими криками и призывами поля, лежащие подле стен. В их криках чувствовалось торжество, в то время как одни из жителей присоединялись к хору, славившему «Владыку мира», другие, возмущенные этим торжественным пением, пытались силою заставить их молчать.

В некоторых местах мужчины, женщины, старцы и дети пели какие-то странные и торжественные гимны, значение которых было непонятно другим и в которых часто повторялись слова: «Грядет Судия в день гнева и несчастья».

Пылающий город был окружен бесчисленными толпами людей,



которые переливались и металась у стен, подобно морским волнам.

Но ничто не могло помочь: ни отчаяние, ни кощунство, ни гимны. Катастрофа была очевидной и неотвратимой, как предопределение. Близ амфитеатра Помпея вспыхнули склады веревок, большое количество которых требовалось для цирков, арен и всякого рода машин, употребляемых при играх; огонь перекинулся на соседние амбары, где хранились бочки с смолой, которой пропитывались веревки. В течение нескольких часов вся эта часть города сияла от ярко-желтого пламени, и обезумевшим от ужаса зрителям некоторое время казалось, что при всеобщей гибели погиб также и порядок в смене дня и ночи и что они видят глубокой ночью солнечный свет. Но скоро багровое зарево подавило это светло-желтое пламя. Из моря огня к опаленному небу рвались огненные стрелы и перья, ветер подхватывал их и уносил над Кампаньей к Альбанским горам, рассыпая по дороге миллионами искр. Ночь была совершенно светлая; казалось, воздух был пропитан не только светом, но и пламенем. Тибр похож был на огненную реку. Несчастный город превратился в подлинный ад. Пожар охватывал все новые пространства, брал приступом холмы, разбегался по равнинам, заливал долины, безумствовал, гудел, гремел...

## II

Ткач Макрин, в дом которого принесли Виниция, обмыл его, одел и накормил; молодой трибун, к которому вернулись силы, заявил, что этой же ночью он снова примется разыскивать Лина. Макрин подтвердил слова Хилона о том, что Лин вместе с старшим жрецом Климентом отправился в Острианум, где Петр должен был окрестить большое число новообращенных. Христиане, жившие в этой части города, сказали, что Лин поручил смотреть за своим домом в течение этих двух дней какому-то Каю. Для Виниция это служило подтверждением, что ни Лигия, ни Урс не остались дома и что они также ушли в Острианум.

Эта мысль ободрила его. Лин был человек старый, ему трудно ходить ежедневно на далекое кладбище, поэтому вероятнее всего, что он поселился на несколько дней у одного из своих единоверцев за городскими стенами, а вместе с ним — Лигия и Урс. Таким образом, они избежали опасности. Виниций видел во всем этом помощь Христа; он почувствовал на себе его заботу и сердцем, больше чем когда-либо прежде наполненным любовью, поклялся ему в душе всей своей жизнью отплатить за столь явное благоволение.

Но теперь он тем более должен был поспешить в Острианум. Отыщет Лигию, Лина, Петра и увезет их подальше отсюда, хотя бы в Сицилию. Рим горит, через несколько дней от него останется груда обгорелых развалин, зачем оставаться им здесь, среди готовой к мятежу толпы! Там их будет охранять большое число покорных рабов, окружит их тишина деревни — и они станут жить спокойно и тихо, под крылом Христа, благословленные Петром.

Лишь бы найти их теперь!

Но это было нелегко сделать. Виниций помнил, с каким трудом он выбрался с Аппиевой дороги, как долго пришлось ему кружить, чтобы попасть на Портовую дорогу, — поэтому теперь он решил обойти город с другой стороны. По Триумфальной дороге можно было, идя вдоль реки, добраться до моста Эмилия, оттуда, минуя Пинций, вдоль Марсова поля, около садов Помпея, Лукулла и Салюстия, пробраться на Номентанскую дорогу. Это был наиболее короткий путь, но и Макрин и Хилон не советовали идти таким образом. Огонь пока еще не дошел туда, но все площади и улицы могли быть загромождены вынесенным имуществом и заполнены погорельцами. Хилон советовал пройти Ватиканским полем к

Фламинским воротам, там переправиться через реку и пробираться дальше вдоль стен к Саларийским воротам. После недолгого колебания Виниций принял этот совет.

Макрин должен был остаться дома. Но он раздобыл двух мулов, которые могли также пригодиться и для дальнейшего путешествия с Лигией. Он хотел дать и раба, но Виниций отказался, полагая, что первый встречный отряд преторианцев, как это и раньше случилось, выполнит все, что ему прикажет военный трибун.

Виниций и Хилон направились к Триумфальной дороге. И здесь на открытых местах расположились беглецы и погорельцы, но пробираться приходилось с меньшим трудом, потому что большая часть жителей бежала к морю по Портовой дороге. За Сентимиевыми воротами они ехали вдоль реки мимо великолепных садов Дамиция, кипарисы которых были красными от зарева, словно во время заката. Дорога была свободная, и только раз им пришлось столкнуться с толпой подходивших к городу жителей окрестных деревень. Виниций все время погонял мула, а Хилон, ехавший сзади, всю дорогу беседовал с самим собой.

— Вот пожар остался сзади и греет теперь нам спины. Никогда еще ночью не было так хорошо видно на этой дороге. О Зевс! Если ты не зальешь дождем этого пожара, то, видно, не любишь Рима. Силы людей не хватит, чтобы погасить пожар. И это город, которому покорилась Греция и весь мир! А теперь любой грек может испечь бобы в его золе! Кто мог ждать этого?.. И не будет уже ни Рима, ни римлян... И если кто захочет гулять на развалинах, когда они остынут, и свистать, тот будет свистать в полной безопасности. О боги! Свистать над таким мировым городом! Кто из греков или даже варваров мог подумать о чем-либо подобном?.. И все же свистать можно сколько угодно, потому что куча пепла — останется ли она после костра пастухов, или от сожженного города, — есть лишь куча пепла: раньше или позже ее развеет ветер!..

Разговаривая так, он поворачивался иногда в сторону пожара и смотрел на море огня с лицом злым и радостным.

— Гибнет! Гибнет! Больше его не будет на земле. Куда же мир будет посылать хлеб, масло, деньги? Куда будут девать выжатое золото и слезы? Мрамор не горит, но рассыпается от огня. Развалится Капитолий, развалится Палатин! О Зевс! Рим был пастухом, а другие народы — овцами. Когда пастух чувствовал голод, он резал овечку, съедал мясо, а тебе, отец богов, приносил в жертву кожу. Кто, о Громовержец, будет теперь резать и в чьи руки ты передашь пастушеский посох? Потому что Рим горит так хорошо, словно ты сам зажег его своей молнией.

— Торопись! — крикнул Виниций. — Что ты делаешь?

— Плачу над Римом, господин, — ответил Хилон. — Ведь это город Юпитера!

Некоторое время ехали молча, прислушиваясь к треску пожара и шуму всполощенных птиц. Голуби, в большом числе гнездившиеся около вилл и в городках Кампаньи, а также разные птицы с морского берега и окрестных гор, принимая, по-видимому, зарево пожара за солнечный восход, летели стаями прямо на огонь.

Виниций первый прервал молчание:

— Где ты был, когда начался пожар?

— Я шел к своему приятелю Еврикию, который имел лавочку у Большого цирка, и размышлял о христианском учении, когда вдруг раздались крики: «Пожар! Пожар!» Люди толпились вокруг, но, когда пламя охватило весь цирк и стало показываться также и в других местах, пришлось подумать о спасении.

— Ты видел людей, поджигавших факелами дома?

— Чего только я не видел, о внук Энея! Я видел людей, прокладывавших себе дорогу в толпе мечами, я видел стычки и раздавленных на мостовой людей... Ах, господин! Если бы ты увидел все это, ты подумал бы, что варвары овладели городом и устроили резню. Вокруг раздавались крики, что наступил конец мира. Некоторые совсем потеряли голову и не пытались искать спасения: они бессмысленно ждали, когда огонь дойдет до них и сожжет. Другие сходили с ума, выли, рвали в отчаянии волосы; но я видел и таких, которые выли от радости, потому что много есть на свете, господин, злых людей, которые не умеют оценить вашей мудрой власти и справедливых законов, в силу которых вы отнимаете у других все, чем они владеют, и присваиваете себе. Люди не хотят примириться с волей богов!

Виниций слишком занят был своими мыслями, чтобы заметить иронию, сквозившую в словах Хилона. Ужас охватывал его при одной мысли, что Лигия могла очутиться в этой суматохе, на этих страшных улицах, где людей давили и резали. Поэтому он в десятый раз стал спрашивать Хилона:

— Ты видел их своими глазами в Остриануме?

— Да, сын Венеры! Видел девушку, доброго лигийца, святого Лина и апостола Петра.

— До пожара?

— До пожара, о Митра!

Но у Виниция в душе явилось подозрение, не лжет ли Хилон. Поэтому

он остановил мула и, грозно взглянув на грека, спросил:

— Что ты делал там?

Хилон смутился. Хотя ему, как и многим людям, казалось, что вместе с гибелью Рима пробил час и римского владычества, но сейчас он был наедине с Виницием и хорошо запомнил, как тот запретил ему под страшной угрозой следить за христианами, а в особенности за Лином и Лигией.

— Господин, — сказал он, — почему ты не веришь, что я люблю их? Да! Я был в Остриануме, потому что я уже наполовину христианин. Пиррон научил меня ценить добродетель больше философии, поэтому я все больше и больше льну к добродетельным людям. Кроме того, господин, я нищий, и в то время как ты отдыхал в Анциуме, я часто умирал с голоду над книгами... Поэтому, о Зевс, я ходил к Остриануму, ибо христиане, хотя и сами нищие, больше раздают милостыни, чем все другие вместе взятые жители Рима.

Повод казался Виницию достаточным, поэтому он спросил более спокойным голосом:

— Знаешь, где на это время поселился Лин?

— Ты ужасно наказал меня однажды за любопытство, господин, — ответил грек.

Виниций замолчал, и они поехали дальше.

— Господин, — сказал Хилон, — ты не нашел бы девушку, если бы не я, и если мы отыщем ее, то не забудь о нищем мудреце!

— Ты получишь дом с виноградником около Америолы, — ответил Виниций.

— Спасибо тебе, Геркулес! С виноградником?.. Благодарю! Да, да! С виноградником!

Они проезжали теперь мимо Ватиканского холма, который казался багровым от зарева пожара; потом свернули направо, чтобы пройти поле и, переправившись через реку, добраться до Фламминских ворот.

Вдруг Хилон остановил мула и сказал:

— Господин, мне пришла в голову хорошая мысль.

— Говори!

— Между Яникульским холмом и Ватиканом, за садами Агриппины, существуют подземелья, откуда раньше брали песок и камни для постройки цирка Нерона. Послушай, господин! В последнее время евреи, которых, как тебе известно, много живет в Риме, стали ужасно преследовать христиан. Помнишь, как при божественном Клавдии они своими спорами и сварами принудили цезаря выгнать их из Рима? Теперь они вернулись и под

покровительством Августы чувствуют себя в безопасности и еще больше прежнего обижают христиан. Я знаю это! Сам видел! Против христиан не было издано ни одного эдикта, но евреи приносят жалобы префекту, обвиняя их в том, что будто бы они убивают детей, поклоняются ослиной голове и провозглашают учение, не признанное сенатом. Они нападают на христиан в домах молитвы, поэтому тем приходится прятаться от них.

— Что же ты хочешь сказать?

— То, господин, что синагоги открыто существуют в Риме, а христиане, желая избежать преследований, принуждены молиться в укромных местах и собираться в покинутых домах за городом или в аренариях — местах, откуда берут песок. Живущие за Тибром ходят в подземелья, откуда брали песок для цирка и домов по набережной. Теперь, когда город гибнет, они, наверное, молятся. Поэтому я советую тебе, господин, зайти по дороге туда, где их теперь великое множество.

— Но ты говорил, что Лин отправился в Острианум! — раздраженно воскликнул Виниций.

— Но ведь ты обещал мне дом с виноградником, — ответил Хилон, — поэтому я хочу искать девушку всюду, где надеюсь ее найти. Когда начался пожар, они могли вернуться домой... Они могли так же, как и мы, обойти город кругом. У Лина — дом, может быть, он хотел быть поближе к нему, посмотреть, не переходит ли огонь и в эту часть города. Если они вернулись, то, клянусь Персефой, мы, господин, найдем их на молитве в подземельях или по крайней мере узнаем, где они.

— Ты прав! Веди меня туда! — сказал трибун.

Хилон тотчас свернул налево, к холму, который в эту минуту закрывал от них пожар таким образом, что, хотя вершина его и была освещена заревом, они ехали в тени. Миновав цирк, они свернули еще раз налево и очутились в овраге, в котором было совершенно темно. Но Виниций тотчас увидел в темноте множество огоньков.

— Это они! — сказал Хилон. — Сегодня их будет больше обыкновенного, потому что другие дома молитвы сгорели или окутаны дымом.

— Да, я слышу пение, — сказал Виниций.

Из темного отверстия в горе доносились голоса, фонарики исчезали в нем один за другим. Но из боковых оврагов появлялись все новые и новые люди, так что вскоре Виниций и Хилон очутились в большой толпе.

Хилон сошел с мула и, подозвав мальчика, шедшего рядом, сказал:

— Я священник Христов и епископ. Подержи наших мулов, ты получишь мое благословение и прощение грехов.

И, не ожидая ответа, он сунул ему в руку поводья, а сам вместе с Виницием присоединился к толпе.

Они вступили в подземелье и при слабом свете фонарей прошли длинный коридор, потом очутились в обширной пещере, из которой, по-видимому, брали камень, потому что на стенах были видны следы именно этой работы.

Там было светлее, чем в коридоре, потому что кроме фонарей там пылали факелы.

При их свете Виниций увидел коленапреклоненную толпу, которая протягивала руки кверху. Лигии, Петра, Лина он не видел здесь; вокруг были взволнованные и торжественные лица. По-видимому, кого-то ждали, боялись, надеялись. Свет отражался в глазах, пот выступал на бледных лицах; некоторые пели гимны, другие лихорадочно повторяли имя Иисуса, иные ударяли себя в грудь. Было совершенно очевидно, что сейчас должно произойти нечто необыкновенное.

Но вот гимны смолкли, и над толпой в нише, образовавшейся от того, что в этом месте был вырублен огромный камень, появился знакомый Виницию Крисп. Лицо его было почти безумно, бледное и суровое лицо фанатика. Глаза всех устремились на него, как будто просили слов помощи и надежды, а он, благословив собравшихся, стал говорить быстро, почти выкрикивая слова:

— Покайтесь в грехах ваших, ибо час пробил. На город разврата и преступлений, на новый Вавилон Господь наслал губительное пламя. Пробил час суда, гнева, гибели... Господь обещал прийти, и сейчас вы увидите его! Но он грядет не как Агнец, который пролил кровь за грехи ваши, а как грозный Судия, который свергнет в бездну грешных и маловерных... Горе миру и горе грешникам, ибо не будет для них милосердия!.. Вижу тебя, Христос! Звездный дождь падает на землю! Солнце затмилось, земля разверзлась, и мертвые восстанут из гробов... И ты грядешь, Господи, окруженный небесным воинством, среди грома и молний. Вижу и слышу тебя, Христос!

Он замолчал и, подняв лицо, казалось, смотрел на что-то далекое и страшное. И вдруг в глубине подземелья раздался глухой удар, затем другой, третий. Это в городе целые улицы сгоревших домов рушились с грохотом. Но большинство христиан приняли это за видимый знак, что настал час гнева и суда. Вера в скорый приход Христа и конец мира была очень распространена среди них, а теперь она усилилась еще больше после пожара. Ужас овладел собравшимися. Многие голоса повторяли: «День суда! Вот он грядет к нам!» Некоторые закрывали руками лицо, думая, что

сейчас земля разверзнет свои недра и выйдут среди пламени дьяволы, чтобы броситься на грешников. Раздавались крики: «Христос, помилуй нас! Спаситель, будь милосерд к нам!» Некоторые вслух исповедовались в своих грехах, некоторые обнимались, чтобы в последнюю минуту быть не одному, а вместе с любимым человеком.

Но были и такие люди, чьи вдохновенные лица, озаренные неземной улыбкой, не выражали страха. В некоторых местах раздались странные крики: в религиозном возбуждении люди выкрикивали непонятные слова на непонятном языке. Кто-то из темного угла пещеры возопил: «Проснись, спящий!» Но весь шум покрывал возглас Криспа:

— Покайтесь! Покайтесь!

Иногда наступало молчание, словно все, задерживая в груди дыхание, ждали того, что должно произойти. И тогда слышался далекий грохот рушившихся домов, после чего снова раздавались вопли и стоны: «Спаситель, помилуй нас!..» Иногда Крисп снова начинал говорить: «Откажитесь от благ земных, ибо вскоре не будет земли под вашими ногами! Откажитесь от земной любви, ибо Господь погубит тех, которые любили жен и детей своих больше, чем его! Горе тому, кто возлюбил тварь больше Творца! Горе богатым! Горе развратным! Горе мужу, жене и ребенку!..»

Вдруг более сильный удар раздался в каменоломне. Все упали на землю, простирая крестом руки, чтобы этим знаменем защитить себя от злых духов. В наступившей тишине слышно было учащенное дыхание и полный ужаса шепот: «Иисусе Христе! Иисусе Христе!» Дети плакали.

И над этой смятенной толпой раздался чей-то спокойный голос:

— Мир вам!

Это был апостол Петр, который только что вошел в пещеру. При звуке его голоса страх тотчас прошел. Словно это было встревоженное стадо, к которому вернулся пастырь. Люди поднялись с земли, ближайšie старались коснуться его одежд, словно искали защиты у него, а он, протянув над ними благословляющие руки, говорил:

— Зачем тревожитесь в сердце своем? Кто из вас угадает, что его ждет, прежде чем пробил его час? Господь погубил огнем Вавилон, но к вам, которых омыло святое крещение и грехи которых искуплены кровью Агнца, он будет милостив, и вы умрете с его именем на устах. Мир вам!

После грозных и жестоких слов Криспа слова Петра были бальзамом для измученных сердец. Вместо страха Божьего людьми овладела Божья любовь. Люди нашли того Христа, которого они полюбили в рассказах апостолов, не жестокого судью, а сладостного и милостивого Агнца,



милосердие которого во сто крат превышает человеческую злобу. Чувство облегчения охватило толпу, и надежда, соединенная с благодарностью к апостолу, наполнила сердца.

Со всех сторон раздавались голоса:

— Мы овцы твои, паси нас!

— Не покидай нас в день горя!

Люди склонялись к его ногам, и Вениций, увидев это, приблизился, схватил край плаща апостола и, склонив голову, сказал:

— Господин, спаси меня! Я искал ее в дыме пожара и в толпе и нигде не мог найти. Но я верю, что ты можешь вернуть мне ее.

Петр положил руку на его голову.

— Верь, — сказал он, — и следуй за мной.

### III

Пожар продолжался. Большой цирк обратился в развалины, постепенно обращались в развалины и те переулки и улицы, где начался пожар. Огненный столб вставал на минуту над тем местом, где рушились дома. Ветер переменялся и дул теперь с большой силой со стороны моря, неся на Целий, Эсквилин и Виминал огонь, горящие головни и искры. Теперь стали думать о прекращении пожара. По приказанию прибывшего из Анциума Тигеллина стали ломать дома на Эсквилине, чтобы огонь, дойдя до пустырей, прекратился наконец. Это была ничтожная попытка сохранить остатки города, потому что не было ни малейшей надежды спасти захваченные огнем части города. Надлежало также подумать и о последствиях катастрофы. Вместе с Римом гибли огромные богатства, гибло все имущество его граждан, — так что вокруг стен города теперь кочевали сотни тысяч нищих. На второй день пожара голод дал себя почувствовать этой толпе разоренных римлян, потому что огромные запасы хлеба, собранные в городе, гибли вместе с ним. В общем замешательстве и безвластии никто не позаботился о доставке новых запасов. И только после приезда Тигеллина даны были соответствующие приказы в Остии, между тем как недовольство народа становилось все более грозным.

Дом, в котором поселился Тигеллин, все время был окружен толпою, которая с утра до ночи кричала: «Хлеба и пристанища!» Напрасно вызванные из лагеря преторианцы пытались сдержать натиск толпы. Во многих местах доходило до открытых столкновений; иногда безоружная толпа, показывая на пожар, кричала: «Убейте нас!» Проклинали цезаря, августианцев, преторианцев. Возмущение росло с каждым часом, и Тигеллин, смотря ночью на тысячи костров, горевших вокруг города, говорил себе, что это костры врагов, обложивших Рим. По его приказу кроме муки привезено также большое количество выпеченного хлеба не только из Остии, но и из всех окрестных городков и деревень, но, когда ночью прибыли первые обозы в Эмпориум, толпа сломала главные ворота складов со стороны Авентина и мгновенно расхитила все, вызывая всеобщее замешательство. При свете луны дрались из-за хлебов, большое количество которых было растоптано дерущимися. Рассыпанная мука покрыла словно снегом большое пространство, от амбаров до арок Друза и Германика, и смятение продолжалось до тех пор, пока солдаты не заняли складов и не стали отгонять толпы с помощью стрел и копий.

Никогда еще со времени нашествия галлов под начальством Бренна не постигала Рим такая катастрофа. В отчаянии сравнивали два этих пожара. Но ведь тогда остался по крайней мере Капитолий. А теперь и Капитолий был окружен морем огня. Мрамор не горел, но ночью, когда ветер отгонял дым, видны были колонны храма Юпитера, раскаленные докрасна, подобно угольям. Кроме того, во время нашествия галлов в Риме было спокойное население, привязанное к городу и алтарям, а теперь вокруг стен пылавшего города волновалась многоязычная разноплеменная толпа, состоящая по большей части из рабов и вольноотпущенников, разнузданная, мятежная и готовая под натиском голода и нужды поднять восстание против властей и города.

Но величие пожара наполнило сердца людей трепетом и до некоторой степени утомило чернь. После пожара должны были наступить бедствия — голод и болезни, так как в довершение несчастья наступила невероятная июльская жара. Невозможно было дышать воздухом, который был раскален огнем и солнцем; и даже ночь не приносила облегчения. Вид города был ужасен. На холмах — Рим, похожий на огнедышащий вулкан, а вокруг до самых Альбанских гор — обширный лагерь, состоящий из палаток, шалашей, колесниц, лавочек, костров — и все это затянуто дымом, пылью, пронзено рыжими от пожара лучами солнца; толпа мечется, кричит, грозит, исполненная ненависти и страха... Среди родовитых римлян греки, голубоглазые северяне, африканцы и азиаты; граждане вместе с рабами, вольноотпущеники, гладиаторы, купцы, ремесленники, пастухи и солдаты — человеческое море, омывающее остров огня.

Различные слухи волновали это море, пробегая по нему наподобие волн. Были слухи радостные и горестные. Говорили о большом количестве хлеба и одежды, которые должны прибыть в Эмпориум для бесплатной раздачи народу. Говорили также и о том, что цезарь повелел ограбить провинции Азии и Африки, и деньги, полученные таким образом, раздать жителям Рима, чтобы каждый мог себе выстроить новый собственный дом. Но ходили также и такие слухи, что вода в водопроводах отравлена, что Нерон хочет уничтожить город и всех его жителей, чтобы переехать в Грецию или Египет и оттуда править миром. Слухи распространялись с быстротой молнии, и каждый находил веру среди толпы, вызывая взрыв надежды, гнева, страха или бешенства. Лихорадка овладела тысячами бездомных. Вера христиан в то, что близок конец мира, распространялась и среди людей других исповеданий. Люди впадали в безумие. Среди облаков, багровых от пожара, видели богов, взиравших на гибель земли. К ним молитвенно протягивались руки, у них просили пощады или проклинали

их.

Тем временем солдаты и часть жителей разрушали дома на Эсквiline, на Целии и за Тибром — и потому эти части города уцелели. Зато в центре горели богатства, накопленные в течение веков, лучшие памятники римской старины и римской славы. От всего города остались лишь некоторые окраины, и сотни тысяч жителей оказались без крова. Но некоторые уверяли, что солдаты разрушают дома не для того, чтобы остановить стихию огня, а чтобы окончательно уничтожить город. Тигеллин умолял в письмах к цезарю, чтобы Нерон приехал и лично успокоил народ, впавший в отчаяние. Но цезарь тронулся с места, лишь когда пожар достиг наибольшей силы.

## IV

Огонь достиг Номентанской дороги и с переменной ветра опять вернулся к Тибру, окружил Капитолий и, уничтожая по дороге все, что уцелело раньше, снова подошел к Палатину. Тигеллин, сосредоточив в одном месте все силы преторианцев, слал гонца за гонцом к приближавшемуся цезарю, заверяя, что тот ничего не потеряет из величия картины, какую представляет пожар, усилившийся к этому времени.

Но цезарь хотел приехать непременно ночью, чтобы лучше насытиться картиной гибнущего города. Поэтому он остановился в окрестностях Аква Альбана и, призвав в свой шатер трагика Алитура, разучивал с его помощью жесты, позу, выражение лица, какое он должен принять, увидев пылающий Рим. Они долго спорили о том, следует ли при словах: «О святой город, который казался долговечнее Иды!» — протянуть обе руки вперед, или в одной руке держать кифару и опустить ее вниз вдоль тела, а другую поднять вверх.

Этот вопрос казался ему в настоящее время самым важным.

Собираясь выступить в поход с наступлением сумерек, он советовался также с Петронием, не включить ли в стихотворение, посвященное катаетрофе, нескольких великолепных кощунств по адресу богов, и не будут ли они вполне естественны и художественно правдивы в устах человека, который очутился в подобном положении и теряет родину.

Около полуночи вместе со всем своим пышным двором, состоявшим из множества патрициев, сенаторов, военачальников, вольноотпущенников, рабов, женщин и детей, Нерон приблизился к стенам города. Шестнадцать тысяч преторианцев в боевом порядке выстроились вдоль пути и наблюдали за тишиной и порядком во время проезда цезаря, причем возмущенный народ был оттеснен на значительное расстояние. Чернь ругалась, проклинала, свистела и кричала при виде цезаря, но не решалась напасть на него. Во многих местах ему даже рукоплескала чернь, которая, ничем не обладая, ничего не потеряла во время пожара и теперь надеялась на более щедрые, чем обычно, подачки: надеялись получить много хлеба, масла, одежды и денег. Но проклятия, свист и рукоплескания по распоряжению Тигеллина были заглушены ревом военных рожков.

Подъехав к Остийским воротам, Нерон остановился на минуту и сказал:

— Бездомный владыка бездомного народа, где я склоню на нынешнюю

ночь свою несчастную голову?

Затем он взошел по устроенной ради этого лестнице на Аппиев акведук. За ним следовали августианцы и хор певцов, несущих кифары, лютни и другие музыкальные инструменты.

Все затаили дыхание, ожидая, что цезарь произнесет какие-нибудь великие слова, которые ради безопасности следовало хорошо запомнить. Но он стоял торжественный и немой, в пурпуровом плаще с золотым лавровым венком на голове, и смотрел на бесновавшуюся огненную стихию. Когда Терпнос подал ему золотую кифару, он поднял глаза к небу, словно ожидая вдохновения.

Народ издали смотрел на цезаря, облитого багровым заревом. Перед ним извивались змеи огня и пылали римские святыни. Храм Геркулеса, построенный Эвандром, храм Юпитера Статора, храм Луны, возведенный еще при Сервии Туллии, и дом Нумы Помпилия, и капище Весты с пенатами<sup>[53]</sup> римского народа; в языках пламени виден был Капитолий, пылало прошлое и душа Рима, — а он, цезарь, стоял с лирой в руке, с лицом трагического актера и с мыслью не о гибнущей отчизне, а о своей позе и патетических выражениях, при помощи которых он мог бы лучше передать величие несчастья, вызвать наибольшее удивление и получить горячие рукоплескания.

Он ненавидел этот город, ненавидел его граждан, любил лишь свои песни и стихи, поэтому он рад был в душе, что наконец увидел воочию трагедию, похожую на ту, описанием которой он был занят. Стихотворец чувствовал себя счастливым, декламатор — вдохновленным, искатель впечатлений упивался ужасным зрелищем, и он с радостью думал, что даже гибель Трои была ничем в сравнении с гибелью этого огромного города. Чего еще желать? Вот он Рим, владыка мира, пылает, а цезарь стоит с золотой лирой в руках, озаренный багровым пожаром, вызывающий изумление, поэтичный! Где-то внизу, во мраке, мятется и ропщет народ. Пусть ропщет! Пройдут века, пройдут тысячелетия, а люди будут помнить и славить поэта, который в памятную ночь пел гибель и пожар Трои. Что в сравнении с ним Гомер, даже сам Аполлон с его разбитой кифарой?

Он поднял руку, ударил по струнам и запел. Это были слова Приама:

Гнездо отцов моих, родная колыбель!

Его голос на открытом воздухе, при гуле пожара и при далеком ропоте возмущенной толпы казался жалким, слабым, дрожащим, а звук

аккомпанемента похож был на жужжание мухи. Но сенаторы и августианцы, находившиеся на акведуке вместе с цезарем, склонили головы, внимая в безмолвном восторге. Он долго пел, настраивая себя на жалобный тон. Когда он останавливался, чтобы передохнуть, хор певцов повторял последний стих. Потом Нерон заученным под руководством Алитура жестом сбрасывал с плеча мантию трагического актера и продолжал петь. Окончив приготовленную заранее песнь, он стал импровизировать, подбирая изысканные сравнения, чтобы передать трагизм развернувшейся перед ним картины. Лицо его изменилось. Правда, его не взволновала гибель родного города, но он наслаждался и растрогался собственным пафосом до такой степени, что, выронив вдруг золотую лиру, завернулся в плащ и застыл в позе одного из сыновей Ниобеи, которые украшали двор на Палатине.

После недолгого молчания раздался взрыв рукоплесканий. Но издали был слышен рев возмущенной толпы. Теперь никто больше не сомневался, что именно цезарь велел сжечь город, чтобы устроить для себя интересное зрелище и петь свои песни. Нерон, услышав вой многотысячной толпы, обратился к августианцам с печальной улыбкой человека, которого незаслуженно обидели, и сказал:

— Вот как квириты ценят меня и поэзию!

— Негодяи! — воскликнул Ватиний. — Прикажи, государь, и преторианцы ударят по ним.

Нерон обратился к Тигеллину:

— Могу ли я рассчитывать на верность солдат?

— Да, божественный! — ответил префект.

Но Петроний пожал плечами.

— Можно рассчитывать на верность, а не на их число, — сказал он. — Остайся пока здесь, потому что на этом месте тебе не грозит опасность, а народ нужно успокоить.

Того же мнения были Сенека и консул Лициний. Возмущение и гнев народа усиливались. Люди хватались за камни, вырывали кольца от шатров, ломали колесницы и вооружались кусками железа. Скоро явилось несколько начальников когорт с заявлением, что преторианцы, теснимые толпой, с величайшим трудом выдерживают натиск и, не имея приказа ударить по толпе, не знают, что делать.

— Боги! — воскликнул Нерон. — Какая ночь! С одной стороны пожар, с другой — бушующее море людей!

И он стал подыскивать выражения, которые красочнее представили бы опасность минуты, но, увидев вокруг бледные лица и тревожные взгляды,

заволновался сам.

— Дайте мне темный плащ с капюшоном! — воскликнул он. — Неужели дело может дойти до столкновения?

— Государь! — ответил беспокойным голосом Тигеллин. — Я сделал все, что мог, но опасность действительно велика... Скажи, государь, несколько слов народу и пообещай ему что-нибудь.

— Цезарь будет говорить с чернью? Пусть это сделает кто-нибудь от моего имени. Кто возьмет на себя это?

— Я! — спокойно ответил Петроний.

— Иди, мой друг! Ты всегда верен мне в любой беде... Иди и не жалея обещаний.

Петроний повернулся к свите с небрежным и насмешливым лицом.

— Присутствующие здесь сенаторы, — сказал он, — а также Пизон, Нерва и Сенеций поедут со мной.

Он спокойно сошел вниз, а те, кого он позвал с собой, следовали за ним не без колебания, но несколько ободренные его спокойствием. Петроний, остановившись у лестницы, велел подать себе белого коня и, сев на него, поехал в сопровождении сенаторов сквозь ряды преторианских войск к черной, воющей толпе, безоружный, с тонкой тростью из слоновой кости в руке, на которую он обыкновенно опирался.

Он направил коня прямо на толпу. Вокруг при свете пожара видны были угрожающе протянутые руки, вооруженные чем попало, горящие глаза, потные лица и рычащие, покрытые пеной бешенства рты. Бешеные волны окружали Петрония и его спутников, а дальше виднелось поистине море голов — переливающееся, кипящее, страшное.

Крики усилились и перешли в свержчеловеческий рев; колья, вилы, даже мечи мелькали вокруг Петрония, хищные руки протягивались к нему и к узде его коня, но он въезжал все глубже в толпу, холодный, равнодушный, презрительный. Иногда он ударял своей тростью наиболее наглых по голове, словно прокладывая себе дорогу в обыкновенной толпе, и эта его уверенность, это спокойствие изумляли разнузданную чернь. Наконец его узнали, и многочисленные голоса стали окликать его:

— Петроний! *Arbiter elegantiarum!* Петроний!

— Петроний! — загудело со всех сторон.

По мере того как повторялось это имя, лица становились менее грозными, крики менее бешеными, потому что этот изысканный патриций, хотя он никогда не добивался расположения толпы, был ее любимцем. Петрония считали великодушным и щедрым; его популярность особенно возросла со времени громкого дела Педания Секунда, в котором он



высказался за смягчение жестокого приговора, обрекавшего на смерть всех рабов убитого префекта. Особенно рабы обожали его за это той преданной любовью, какой угнетенные и несчастные люди обыкновенно любят тех, кто проявит к ним хоть немного сочувствия. К этому в настоящую минуту прибавилось также и любопытство, что скажет посол цезаря? Никто не сомневался, что цезарь нарочно послал именно Петрония.

Сбросив с плеч белую, обрамленную красной полосой тогу, он поднял ее вверх и стал махать над головой, давая тем знак, что хочет говорить.

— Тише! Тише! — кричали со всех сторон.

Через некоторое время действительно наступила тишина. Тогда он привстал на седле и стал говорить громким и спокойным голосом:

— Граждане! Пусть те, кто меня услышит, передаст мои слова стоящим дальше, и пусть все сохраняют тишину как люди, а не как звери на арене.

— Слушаем! Слушаем.

— Так слушайте. Город будет отстроен вновь. Сады Лукулла, Мецената, Цезаря и Агриппины будут открыты для вас! С завтрашнего дня начнут раздавать хлеб, вино и масло, так чтобы каждый мог набить брюхо сколько влезет! Потом цезарь устроит для вас игры, каких мир до сих пор не видывал, после которых вас ждут пиры и подарки. Вы будете после пожара более богаты, чем до него!

Ответом на это был глухой говор, разбегавшийся от центра во все стороны, подобно кругам на воде от брошенного камня: ближайšie передавали дальше его слова. То здесь, то там раздавались крики, гневные или успокоительные, которые слились наконец в один мощный и властный гул.

— Panem et circenses! — Хлеба и зрелищ!

Петроний завернулся в тогу и некоторое время оставался неподвижным, в своей белой одежде похожий на статую. Крик усиливался, заглушал треск пожара, доносился со всех сторон, из самых отдаленных углов поля, но посол цезаря, по-видимому, имел намерение сказать еще что-то, потому что не трогался с места.

Когда по его знаку снова восстановилось молчание, он сказал:

— Обещаю вам игры и зрелища, а теперь приветствуйте криком цезаря, который вас кормит и одевает, а потом идите спать, потому что скоро уже будет рассветать.

Сказав это, он повернул коня и, слегка ударя тростью по головам тех, кто стоял на дороге, медленно отъехал к рядам преторианских войск.

Скоро он был под аркадой акведука. Наверху было немалое смятение.

Там не поняли крика толпы и думали, что это новый взрыв бешенства. Не ждали, что Петроний уйдет целым и невредимым, поэтому Нерон, увидев его, подбежал к лестнице, по которой тот поднимался, и стал расспрашивать с бледным от волнения лицом:

— Ну что? Что там происходит? Неужели они теснят преторианцев?

Петроний глубоко вздохнул и ответил:

— Клянусь Поллуксом, они страшно потные и скверно пахнут! Я едва не упал в обморок от их вони!

Потом он обратился к цезарю:

— Я обещал им хлеба, масла, вина, свободный доступ в сады и игры. Они снова обожествляют тебя и засохшими губами выкрикивают с благодарностью твое имя. О боги, как неприятно пахнет простой народ!

— Преторианцы были готовы, — воскликнул Тигеллин, — и если бы ты не успокоил их, крикуны быстро успокоились бы навеки. Жаль, о цезарь, что ты не позволил мне употребить силу.

Петроний посмотрел на говорившего, пожал плечами и сказал:

— Это еще не упущено. Может быть, ее придется тебе употребить завтра.

— Нет, нет! — воскликнул цезарь. — Я велю открыть для них сады и раздать им хлеб. Благодарю, Петроний! Игры им устрою, а ту песнь, которую я пел сегодня при вас, спою публично.

Сказав это, он положил руку на плечо Петрония, минуту молчал, а потом, успокоившись, спросил:

— Скажи искренне, как я понравился тебе, когда пел?

— Ты был достоин картины, равно как и картина была достойна тебя, — ответил Петроний.

Потом цезарь повернулся в сторону пожара.

— Посмотрим еще немного, — сказал он, — и простимся со старым Римом.

Слова апостола исполнили надеждой души христиан. Конец мира им всегда казался близким, но теперь они поверили, что день страшного суда еще не наступил и что раньше они увидят конец царства Нерона, которое они считали царством Антихриста, и кару Господню за его вопиющие к небу преступления. Ободренные и успокоенные, они стали расходиться после окончания молитвы в подземельях и вернулись в свои временные убежища и даже за Тибр, когда стало известно, что огонь при перемене ветра обратился снова к реке и, уничтожив то, что случайно уцелело раньше, перестал распространяться.

Апостол в сопровождении Виниция и следовавшего за ними Хилона покинул подземелье. Трибун не решался прервать молитву старца, поэтому шел некоторое время молча, и лишь глаза его с мольбою обращены были на Петра, и весь он дрожал от волнения. Но еще много людей подходили к апостолу, чтобы поцеловать благословляющую руку и край одежды; матери протягивали к нему детей, некоторые опускались на колени в длинном темном коридоре и, подняв кверху светильники, просили благословить их; иные шли рядом и пели, так что не представилось удобной минуты спросить старика и получить от него ответ. То же было и в овраге. И только когда они вышли на поле, откуда виден был горевший город, апостол трижды благословил Рим и, обратившись к Виницию, сказал:

— Не беспокойся. Отсюда недалеко есть хижина могильщика, там найдем мы Лигию, Лина и ее верного слугу. Христос, предназначивший ее тебе, сохранил ее невредимой.

Виниций зашатался и едва устоял на ногах. Дорога из Анциума, поиски Лигии среди пламени и дыма, бессонная ночь и страх за девушку — все это измучило Виниция. Он окончательно ослабел при известии, что самое дорогое в мире существо находится здесь поблизости и что он скоро увидит ее. Силы оставили его, он склонился к ногам апостола и, обняв его колени, остался в таком положении, не в силах произнести ни слова.

Апостол, поднимая его и уклоняясь от таких выражений благодарности и почитания, сказал:

— Не меня, не меня, благодари Христа.

— Что это за могучее божество! — раздался сзади голос Хилона. — Но я не знаю, что мне делать с мулами, которые ждут нас здесь.

— Встань и следуй за мной, — сказал Петр, беря за руку молодого

человека.

Виниций поднялся. При свете зари видны были слезы, катившиеся по его бледному взволнованному лицу. Губы его дрожали, словно он шептал молитву.

— Я иду, — сказал он.

Но Хилон снова повторил свой вопрос:

— Господин, что же мне делать с мулами, которые ждут? Может быть, этот достойный пророк предпочтет ехать, чем идти пешком?

Виниций не знал, что ответить, но, услышав от Петра, что хижина могильщика находится очень близко, ответил:

— Отведи мулов к Макрину.

— Прости, господин, что я напомню тебе о доме в Америоле. При столь громадном пожаре легко забыть о такой маленькой вещи.

— Ты получишь его.

— О, внук Нумы Помпилия, я всегда был уверен в твоей щедрости, а теперь, когда обещание твое слышал и этот великодушный апостол, я не стану напоминать, что ты пообещал также и виноградник. Мир вам! Я отыщу тебя, господин. Мир вам.

Они ответили:

— И тебе мир.

Потом оба свернули направо к холмам. По дороге Виниций сказал:

— Господин! Омой меня водой крещения, чтобы я мог назваться истинным последователем Христа, которого люблю всеми силами своей души. Крести меня скорее, потому что в душе я готов к этому. Все, что он велит делать, я сделаю, ты же скажи, что я мог бы сделать сверх этого.

— Люби людей как своих братьев, — ответил апостол, — потому что одной лишь любовью ты сможешь служить ему.

— Да. Я это понял и почувствовал. Ребенком я верил в римских богов, но не любил их, а этого единственного люблю так, что с радостью отдал бы за него свою жизнь.

Он поднял глаза к небу и продолжал восторженно говорить:

— Потому что он воистину един! Он один добр и милосерд! Поэтому пусть гибнет не только этот город, но и весь мир, ему одному я буду свидетельствовать свою любовь, в него одного верить!..

— А он благословит тебя и дом твой, — закончил апостол.

Они свернули в другой овраг, в конце которого виднелся тусклый огонек. Петр указал на него и сказал:

— Вот хижина могильщика, который приютил нас, когда мы, вернувшись с больным Лином из Острианума, не смогли проникнуть за

Тибр.

Они подошли к хижине, которая скорее походила на пещеру, выдолбленную в горе, снаружи эта пещера была заделана стеной из глины и камыша. Дверь была заперта, а через отверстие, заменявшее окно, видна была внутренность хижины, освещенной огнем очага.

Чья-то большая темная тень поднялась навстречу гостям и спросила:

— Кто вы?

— Слуги Христовы, — ответил Петр. — Мир тебе, Урс.

Урс склонился к ногам апостола, а потом, узнав Виниция, схватил руку молодого человека и прижал ее к своим губам.

— И ты, господин, пришел? Да будет благословенно имя Агнца за ту радость, которую ты доставишь Каллине.

Сказав это, он отворил дверь, и они вошли. Больной Лин лежал на соломе с похudevшим лицом и желтым, как слоновая кость, высоким лбом. У очага сидела Лигия; она держала в руках связку маленьких рыб, нанизанных на веревочку и, по-видимому, предназначавшихся для ужина.

Занятая сниманием рыбок с веревочки и думая, что Урс вошел один, она не подняла даже глаз. Виниций подошел к ней и назвал ее по имени, протягивая руки. Она вскочила: изумление и радость осветили ее лицо, и безмолвно, как дитя, после дней тревоги и страха отыскавшее отца или мать, она бросилась в его раскрытые объятия.

Он обнял ее и прижал к своей груди с подобным же чувством, словно она погибала и спаслась лишь чудом. Потом он взял руками ее голову, целовал лоб, глаза и снова обнимал ее, повторял ее имя, склонился к ее ногам, целовал руки, ласкал ее, радостно и благоговейно приветствовал. Счастье его было безграничным, как и любовь.

Потом он рассказал, как прискакал из Анциума, как искал ее среди горевших улиц, в доме Лина, как он настрадался и наволновался, пока апостол не привел ее к ней.

— Теперь, — говорил он, — я не покину тебя среди пожара и разнузданной толпы. Люди убивают друг друга у городских стен, грабят, обижают женщин, и один лишь Бог знает какие еще несчастья постигнут Рим. Но я спасу тебя и всех вас. О, моя дорогая!.. Поедемте все вместе в Анциум. Там сядем на корабль и поплывем в Сицилию. Моя земля будет вашей, мои дома — вашими. Послушай меня! В Сицилии мы отыщем Авлов, я верну тебя Помпонию и потом возьму к себе с ее и твоего согласия. Ведь ты, моя милая, не боишься меня больше? Меня не обмыло еще крещение, но спроси Петра, не сказал ли я ему по дороге к тебе, что хочу быть истинным последователем Христа, и не просил ли я его крестить

меня хоть здесь, в этой хижине. Поверь мне, и вы все поверьте мне.

Со светлым лицом слушала Лигия эти слова. Все они, сначала из-за преследования евреев, а теперь из-за пожара и смуты, жили в постоянном страхе и тревоге. Отъезд в спокойную Сицилию действительно положил бы конец всем волнениям и вместе с тем открыл бы новую эру в их жизни. Если бы Виниций предложил ехать с ним одной Лигии, она, конечно, воспротивилась бы искушению, не желая покидать апостола и Лина. Но Виниций сказал ведь им: «Поезжайте со мной! Моя земля будет вашей землей, мои дома — вашими домами!»

Поэтому, склонившись к его руке, чтобы поцеловать ее в знак покорности, она прошептала.

— Твой очаг будет моим очагом.

Застыдившись, что произнесла слова, которые по-римскому обычаю говорили невесты при совершении брачного обряда, она раздумянулась и стояла, освещенная пламенем очага, с опущенной головой, боясь, что ее осудят за них.

Но в глазах Виниция светилась бесконечная любовь. Потом он обратился к Петру и заговорил снова:

— Рим пылает по желанию цезаря. Он в Анциуме жаловался, что до сих пор не видел большого пожара. И если он не остановился перед таким преступлением, то подумайте, что может случиться в будущем. Кто знает, не стянет ли он сюда войска и не истребит ли граждан. Кто знает, какие могут быть объявлены проскрипции<sup>[54]</sup> и не вспыхнет ли после пожара гражданская война с убийствами, насилиями и голодом? Спасайтесь и давайте спасем Лигию. Там вы переждете бурю, а когда она уляжется, снова вернетесь сеять зерна вашего учения.

Словно в подтверждение слов Виниция со стороны Ватиканского поля послышались отдаленные крики и вопли, полные бешенства и ужаса. В хижину вошел ее хозяин и, спешно закрыв за собой дверь, сказал:

— Идет резня у цирка Нерона. Рабы и гладиаторы напали на граждан.

— Слышите? — сказал Виниций.

— Исполнилась мера, — произнес Петр, — и несчастья будут неисчерпаемы, как море.

Потом он обратился к Виницию и, указывая на Лигию, сказал:

— Возьми девушку, которую тебе предназначил Бог, и спаси ее. Больной Лин и Урс пусть едут с вами.

Но Виниций, полюбивший от всей души апостола, воскликнул:

— Клянусь, учитель, что я не оставлю тебя здесь на гибель!

— Бог благословит тебя за твое желание, — ответил апостол, — но

разве ты не слышал, что Христос трижды сказал мне над озером: «Паси овец моих!»

Виниций замолчал.

— Поэтому, если ты, которому никто не поручал заботиться обо мне, говоришь, что не оставишь меня здесь на гибель, — как можешь ты хотеть, чтобы я покинул свое стадо в годину бедствий? Когда была буря на озере и мы убоялись в сердцах наших, он не покинул нас, — как же могу я, слуга Господень, не пойти по его следам?

Вдруг Лин поднял свое бледное лицо и спросил:

— А как я, о наместник Господень, не пойду по следам твоим?

Виниций водил рукой по лбу, словно боролся с собой и со своими мыслями, потом, взяв за руку Лигию, сказал голосом, в котором звучала решительность римского воина:

— Послушайте меня, Петр, Лин и ты, Лигия! Я говорил то, что советовал мне мой человеческий разум, но у вас есть иной, который думает не о собственной безопасности, а о заветах Спасителя. Да! Я не понял этого и ошибся, потому что с глаз моих не снято еще бельмо и старая природа моя отзывается во мне. Но я люблю Христа и хочу быть его слугой, поэтому, хотя в данном случае дело идет о чем-то большем для меня, чем собственная жизнь, склоняюсь перед вами и клянусь, что и я исполню завет любви и не покину братьев моих в дни несчастья.

Сказав это, он опустился на колени, восторженно простер руки и, подняв глаза, воскликнул:

— Понял ли я тебя, о Христос? Достоин ли я тебя?

Руки его дрожали, глаза блестели от слез, по телу пробежала дрожь веры и любви, а апостол Петр, взяв глиняную амфору с водой и подойдя к нему, торжественно сказал:

— Крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Духа. Аминь.

Тогда восторг овладел всеми. Им казалось, что хижина наполнилась каким-то неземным сиянием, что они слышат небесную музыку, что свод пещеры разверзся над ними и с неба сходят к ним светлые ангелы, а там, в вышине, виднеется крест и пронзенные благословляющие руки.

А снаружи раздавались крики истребляющих друг друга людей и гул огня над пылающим городом.

## VI

Погорельцы расположились в великолепных садах цезаря, Домиция и Агриппины, на Марсовом поле, в садах Помпея, Саллюстия и Мецената. Заняты были все портики, здания для игры в мяч, роскошные дачи и сараи для зверей и птиц. Павлины, лебеди, страусы, газели и антилопы из Африки, олени и серны, служившие для украшения садов, были отданы черни на съедение. Съестные припасы доставлялись из Остии в таком изобилии, что по баржам и разным судам можно было переходить с одного берега Тибра на другой, словно по мосту. Хлеб раздавали по необыкновенно низкой цене, а наиболее бедным — бесплатно. Привезено было много вина, масла, каштанов; ежедневно с гор пригонялись стада быков и баранов. Нищие, которые раньше гнездились в переулках Субурры и в обычное время умирали с голоду, теперь, после пожара, жили лучше, чем прежде. Призрак голода был отогнан; гораздо труднее было бороться с разбоями, грабежом и убийством. Кочевой образ жизни обеспечивал безнаказанность негодяям, тем более что они выдавали себя за почитателей цезаря и не жалели рукоплесканий, когда он показывался где-нибудь. Так как государственные учреждения поневоле были закрыты, кроме того, чувствовался недостаток в вооруженной силе, которая могла бы установить твердый порядок в городе, населенном подонками всего тогдашнего мира, то трудно себе представить, что творилось в Риме. Каждую ночь происходила резня, столкновения, убийства, насилия над женщинами и детьми. Около места, куда пригоняли из Кампаньи стада, дело доходило до битв, в которых гибли сотни людей. Каждое утро Тибр выбрасывал множество трупов, которых никто не хоронил и которые разлагались от зноя, усиленного пожаром, и наполняли воздух заразой и смрадом. Среди погорельцев было много больных, и все боялись большой эпидемии.

Город продолжал гореть. Лишь на шестой день, когда огонь дошел до пустырей Эсквелина, на котором ради этого было разрушено множество домов, пожар стал утихать. Но горы тлеющего пепла и углей светились настолько сильно, что люди не хотели верить в конец катастрофы. На седьмую ночь пожар вспыхнул с новой силой в домах Тигеллина, но продолжался недолго. В разных местах рушились обгоревшие дома, выбрасывая вверх столп огня и дыма. Постепенно еще тлевшие внутри пепелища стали покрываться золой. Небо после солнечного заката перестало быть багровым, и лишь в ночной темноте на опустошенных



руинах изредка показывались голубые языки пламени, пробежавшие по углям.

Из четырнадцати частей города осталось всего четыре, считая и кварталы за Тибром. Все остальное уничтожил огонь. Когда наконец угли совершенно покрылись золой, можно было видеть огромные пространства города, серые, печальные, мертвые; повсюду торчали ряды дымовых труб, которые походили на кладбищенские памятники. Между этими черными колоннами днем бродили печальные люди, отыскивая в пепле дорогие вещи или кости своих близких. По ночам на пепелищах выли собаки.

Вся щедрость и помощь цезаря, которую он оказал народу, не могла удержать людей от проклятий и возмущения. Довольны были лишь негодяи, воры и бездомные нищие, которые теперь могли вдоволь наедаться, напиваться и грабить. Но людей, потерявших имущество и своих близких, не удалось подкупить ни свободным доступом в сады, ни бесплатной раздачей хлеба, ни обещаниями игр и подарков. Катастрофа была слишком значительной и неслыханной. Людей, в которых жила любовь к родному городу — к отчизне, приводили в отчаяние слухи о том, что само имя «Рим» будет уничтожено и забыто и что цезарь намерен возвести на пепелище новый город под названием Нерополис. Волна недовольства усиливалась и росла с каждым днем, и, несмотря на лесть августианцев, ложь Тигеллина, впечатлительный Нерон, гораздо больше своих предшественников считавшийся с настроениями толпы, со страхом думал, что в глухой борьбе не на живот, а на смерть с патрициями и сенатом ему может не хватить сил и поддержки со стороны народа. Августианцы не менее цезаря боялись событий, которые могли им каждый день принести гибель. Тигеллин думал о том, что следует выписать из Малой Азии несколько легионов. Ватиний, который хохотал даже тогда, когда его били по щекам, потерял голову; Вителий потерял аппетит.

Некоторые из них деятельно совещались друг с другом, что предпринять против грозившей им опасности, так как ни для кого не было тайной, что в случае падения цезаря никто из августианцев, за исключением одного Петрония, не ушел бы целым. Их влиянию приписывались все безумства цезаря, их нашептыванию — все его преступления. Ненависть против них была едва ли не сильнее, чем против самого цезаря.

Поэтому все они ломали голову, как бы отвести от себя обвинение в поджоге города. Но для этого необходимо было снять подозрение также и с цезаря, потому что никто не поверил бы, что не они были виновниками пожара. Тигеллин совещался по этому вопросу с Домицием Афром и даже с

Сенекой, которого ненавидел. Поппея, которая поняла, что гибель Нерона будет в то же время и приговором для нее, обратилась к своим советникам — еврейским священникам, — все знали, что в последние годы она исповедовала религию Иеговы. Нерон со своей стороны действовал тоже, но его планы были или чудовищными, или шутовскими, и он или дрожал от страха, или забавлялся, как неразумное дитя.

Однажды в уцелевшем от пожара доме Тиберия шло долгое и безрезультатное совещание. Петроний был того мнения, что следовало бросить все и ехать в Грецию, а потом в Египет и Малую Азию. Путешествие предполагалось совершить еще раньше — зачем же теперь откладывать его, когда в Риме печально и небезопасно.

Цезарь с восторгом принял предложение, но Сенека, немного подумав, сказал:

— Уехать легко, гораздо труднее будет потом вернуться обратно.

— Клянусь Геркулесом! — воскликнул Петроний. — Вернуться можно во главе азиатских легионов.

— Я так и сделаю! — сказал Нерон.

Но Тигеллин воспротивился. Он не мог ничего придумать сам, и если бы мысль Петрония пришла ему в голову, он предложил бы, несомненно, ее как единственное средство спасения. Но ему было важно, чтобы Петроний вторично не оказался человеком, который один в тяжелую минуту может спасти все и всех.

— Послушай меня, божественный! — сказал он. — Этот план ведет к гибели! Прежде чем ты доедешь до Остии, вспыхнет гражданская война. И кто знает, не провозгласит ли себя цезарем один из побочных потомков божественного Августа, а что мы будем делать в случае, если легионы перейдут на его сторону?

— Мы сделаем прежде всего то, чтобы потомков у Августа не оказалось, — ответил Нерон. — Их так немного, что избавиться от них не представляет труда.

— Это можно сделать, но в них ли одних дело? Мои люди не далее как вчера слышали в толпе, что цезарем должен быть такой человек, как Трасей.

Нерон прикусил губы. Потом он поднял глаза к небу и сказал:

— Ненасытные и неблагодарные. У них достаточно муки и угольев, чтобы печь на них лепешки, чего хотят они еще?

На это Тигеллин ответил:

— Мести.

Наступило молчание. Вдруг цезарь встал, поднял руки вверх и начал

декламировать:

Мести жаждут сердца, и месть требует жертвы!

Забыв обо всем, он воскликнул с сияющим лицом:

— Подайте мне таблички и стиль, чтобы я мог записать этот стих. Лукан никогда не сочинял ничего подобного. Заметили ли вы, что я сложил его в одно мгновение?

— О несравненный! — воскликнуло несколько голосов.

Нерон записал стих и сказал:

— Да! Мечь требует жертвы!

Потом он обвел присутствующих взором:

— А что, если пустить слух, что Ватиний велел поджечь город, и принести таким образом Ватиния в жертву народного гнева?

— О божественный! Разве я значу что-нибудь? — воскликнул Ватиний.

— Ты прав! Нужно найти кого-нибудь побольше... Может быть, Вителий?..

Вителий побледнел, но стал хохотать:

— Мой жир мог бы, чего доброго, заставить пожар вспыхнуть снова!..

Но у Нерона было другое на уме: он искал жертвы, которая действительно могла бы успокоить гнев народа. И наконец, он нашел жертву.

— Тигеллин! — воскликнул он. — Это ты сжег Рим!

Собравшиеся вздрогнули. Поняли, что цезарь перестал шутить и что наступил час, чреватый последствиями.

Лицо Тигеллина исказилось, как морда собаки, готовой укусить.

— Я сжег Рим по твоему приказу.

Они смотрели друг другу в глаза, как два демона. Наступила тишина, слышалось лишь жужжанье мух, летавших по атриуму.

— Тигеллин, любишь ли ты меня?

— Ты знаешь, государь.

— Пожертвуй собой ради меня!

— Божественный цезарь, зачем ты подносишь к моим губам сладостный напиток, которого мне нельзя выпить? Народ волнуется и бунтует, неужели ты хочешь, чтобы взбунтовались и преторианцы?

Тигеллин был префектом претории, и слова его имели характер явной угрозы. Нерон понял это, и лицо его покрылось бледностью.

В эту минуту вошел Эпафродит, вольноотпущенник цезаря, и заявил, что божественная Августа желает видеть у себя Тигеллина, потому что у нее сейчас находятся люди, которых он должен выслушать.

Тигеллин поклонился цезарю и вышел с лицом спокойным и презрительным. Когда его хотели ударить, он сумел показать зубы. Он дал понять, кто он, и, зная трусость Нерона, был уверен, что владыка мира не дерзнет поднять на него своей мощной руки.

Нерон сидел некоторое время молча. Понимая, что присутствующие ждут от него какого-нибудь слова, он наконец сказал:

— Я отогрел на своей груди змею.

Петроний пожал плечами, словно хотел сказать, что такой змее нетрудно оторвать голову.

— Что ты скажешь? Говори! Дай совет! — воскликнул Нерон, заметив его движение. — Тебе одному я верю, потому что у тебя больше ума, чем у всех других, и ты любишь меня!

У Петрония был готов ответ: «Назначь меня префектом претории, и я выдам народу Тигеллина и в один день успокою Рим». Но врожденная лень взяла верх. Быть префектом — значило, собственно, взвалить на свою шею особу цезаря и тысячи государственных дел. Зачем ему это бремя? Разве не лучше читать в своей роскошной библиотеке стихи, любоваться вазами и статуями или держать в объятиях божественное тело Евники, перебирать пальцами ее золотые волосы и прижимать губы к ее коралловым губам. Поэтому он сказал:

— Я советую ехать в Ахайю.

— Ах, я ждал от тебя чего-то большего. Сенат ненавидит меня. Если я уеду, кто поручится, что они не восстанут и не провозгласят кого-нибудь цезарем? Народ прежде был верен мне, но теперь он пойдет за ними. Клянусь Аидом! О, если бы этот сенат и этот народ имели одну голову!..

— Позволь тебе напомнить, божественный, что, желая сохранить Рим, нужно сохранить хоть несколько римлян, — с улыбкой сказал Петроний.

Но Нерон стал упрекать:

— Что мне до Рима и римлян! Меня слушали бы и в Ахайе. Здесь меня окружает измена. Все покинули меня! И вы готовы изменить мне! Знаю, знаю это!.. Вы не подумали о том, что скажут наши потомки, если вы покинете такого художника, как я.

Он хлопнул себя по лбу и воскликнул:

— Я сам забываю, среди этих забот и тревог, кто я!

Он обратился к Петронию с просиявшим лицом.

— Петроний, народ ропщет, но если бы я взял лиру и вышел на

Марсово поле, если бы я пропел ту песнь, которую пел вам во время пожара, — неужели ты думаешь, что я не тронул бы его своим пением, как некогда Орфей, растрогавший и покоривший диких зверей?

Туллию Сенецию, скучавшему по своим рабыням, привезенным из Анциума, давно хотелось уйти домой.

— Несомненно, о цезарь, — сказал он, — если бы они дали тебе начать твою песнь.

— Едем в Грецию! — воскликнул огорченный Нерон.

В эту минуту вошла Поппея, а за ней — Тигеллин. Взоры присутствующих невольно обратились на него, потому что ни один триумфатор не въезжал с такой гордостью на Капитолий, с какой он вошел сейчас к цезарю.

Он заговорил медленно и отчетливо, в голосе его был слышен металл:

— Выслушай, цезарь, я могу сказать тебе: нашел! Народу нужна месть и жертва, но не одна, а сотни и тысячи. Слышал ли ты, государь, о Христе, которого распял на кресте Понтий Пилат? Знаешь ли, кто христиане? Разве я не говорил тебе о их преступлениях и бесстыдных обрядах, о их пророчестве, что огонь уничтожит мир? Народ ненавидит их и подозревает. Никто не видел их в наших храмах, потому что богов они считают злыми духами; не бывают они и в цирке, потому что презирают состязания. Никогда ни один христианин не встретил тебя рукоплесканием. Ни один не признает в тебе бога. Они — враги рода человеческого, враги Рима и твои враги. Народ ропщет против тебя, но не ты велел сжечь Рим и не я его сжег... Народ требует мести, так пусть же он мстит: он подозревает тебя, пусть его подозрения обратятся в другую сторону.

Сначала Нерон слушал с изумлением. Но по мере того как Тигеллин говорил, его актерское лицо постепенно изменялось и принимало выражение то гнева, то сочувствия и жалости, то возмущения. Вдруг он встал, сбросил с себя тогу, которая плавно упала к его ногам, простер руки к небу и застыл так на мгновение.

Наконец он сказал трагическим голосом:

— О, Зевс, Аполлон, Гера, Афина, Персефона и вы все, бессмертные боги! Почему же вы не пришли нам на помощь? Что наш несчастный город сделал этим жестоким людям, что они столь безжалостно сожгли его?

— Они — враги рода человеческого и твои враги, — сказала Поппея.

Окружающие воскликнули:

— Пусть свершится правосудие! Накажи поджигателей. Боги требуют мести!

Нерон сел, опустил голову на грудь и молчал, словно новость,

услышанная им только что, поразила его. Но тотчас взмахнул руками и воскликнул:

— Какую кару, какие мучения можно воздать за подобное преступление?.. Но боги вдохновят меня, и с помощью Тартара и его подземных сил я дам моему бедному народу такое зрелище, что он будет с благодарностью вспоминать меня в течение веков.

Петроний нахмурился. Он подумал об опасности, грозившей Лигии, Виницию, которого он любил, и людям, учение которых он отвергал, но в полную невиновность которых верил. Он представил себе ту кровавую оргию, которая должна произойти, и это было невыносимо для его эстетического чувства. Но прежде всего он сказал себе: «Я должен спасти Вининия, который сойдет с ума, если погибнет девушка». Эта мысль пересилила все остальные, хотя Петроний прекрасно понимал, что он начинает такую опасную игру, какой никогда раньше не вел.

Тем не менее заговорил он свободно, небрежным тоном, как он обыкновенно говорил, издеваясь или критикуя неэстетичные планы цезаря и августианцев:

— Итак, вы нашли жертву! Прекрасно! Можете послать христиан на арены и одеть их в скорбные туники. Но послушайте: у вас есть власть, есть преторианцы, есть сила, поэтому будьте искренни по крайней мере тогда, когда вас никто не слышит. Обманывайте народ, а не самих себя. Отдайте народу христиан, обреките их на какие угодно муки, но имейте смелость сказать себе, что не они сожгли Рим!.. Фи!.. Вы называете меня ценителем и судьей изящного, поэтому я скажу вам, что не люблю скверных комедий. Это мне напоминает театральные балаганы возле Азинарийских ворот, в которых актеры развлекают чернь с окраин города, разыгрывая роли богов и царей, а после представления запивают лук кислым вином или получают удары. Будьте в самом деле богами и царями, потому что вы можете себе позволить это. Ты, цезарь, грозил нам судом потомства и веков, но подумай: ведь они произнесут приговор и над тобой. Клянусь божественной Клио! Нерон — владыка мира, Нерон — бог, он сжег Рим, потому что он могуч на земле, как Зевс на Олимпе. Нерон — поэт, он так возлюбил поэзию, что пожертвовал ради нее отчизной! С сотворения мира никто не совершал ничего подобного, никто не осмелился совершить подобное. Заклинаю тебя, цезарь, девятью музами, не отказывайся от своей славы, и песнь о тебе будет звучать века. Кем в сравнении с тобой будет Приам? Кем — Агамемнон, Ахилл, наконец, сами боги? Неважно, хорошо или дурно поступил ты, решившись сжечь Рим, — это великий и необыкновенный поступок! Притом я уверен, что народ не

поднимет на тебя руку! Это — неправда! Будь мужествен! Берегись поступков, недостойных тебя, потому что тебе грозит опасность: потомки могут сказать: «Нерон сжег Рим, но, будучи малодушным цезарем и малодушным поэтом, он не признался в этом и из страха свалил вину на невинных!»

Замечания Петрония обыкновенно производили сильное впечатление на Нерона, но теперь Петроний не обманывал себя: он понял, что пускает в ход последнее средство, которое действительно в счастливом случае может спасти христиан, но гораздо вероятнее — погубит его самого. Но он не колебался, дело касалось Вениция, которого он любил, и в этом был риск, который нравился ему. «Кости брошены, — подумал он, — посмотрим, насколько в этой обезьяне страх за собственную шкуру сильнее любви к славе».

И в душе он не сомневался, что страх победит.

После его слов наступило долгое молчание. Поппея и все присутствующие смотрели в глаза Нерону, а он шевелил губами, так что верхняя губа почти касалась носа; это он обыкновенно делал, когда не знал, что сказать.

Наконец на лице его определенно отразилось недовольство и растерянность.

— Государь! — воскликнул, увидев это, Тигеллин. — Позволь мне уйти, потому что хотят подвергнуть величайшей опасности твою особу, притом называют тебя малодушным цезарем, малодушным поэтом, поджигателем и комедиантом, — мой слух не в силах вынести этого.

«Проиграл!» — подумал Петроний.

Повернувшись к Тигеллину, он смерил его с ног до головы взором, полным презрения. Так смотрит знатный утонченный патриций на ничтожного раба. Потом он сказал:

— Тигеллин, это тебя я назвал комедиантом, потому что ты ломаешь комедию даже сейчас.

— Потому, что не хочу слышать твоих оскорблений?

— Потому, что говоришь о своей безграничной любви к цезарю, между тем как только что ты грозил ему преторианцами, что поняли мы все и сам цезарь понял.

Тигеллин, не ждавший, что Петроний решится бросить на стол такие кости, побледнел, потерял голову и не мог ничего ответить. Но это была последняя победа Петрония, потому что Поппея сказала:

— Государь, как можешь ты позволить, чтобы подобная мысль пришла кому-нибудь в голову, и тем более когда ее решаются произнести вслух в

твоим присутствии!

— Накажи наглеца! — воскликнул Вителлий.

Нерон зашевелил губами и, обратив на Петрония свои близорукие глаза, сказал:

— Так ты платишь за дружбу, которую я питал к тебе?

— Если я ошибся, — ответил Петроний, — ты мне докажи это. Но знай, что все сказанное мною сказано из любви к тебе.

— Покарай наглеца! — кричал Вителлий.

— Покарай! — поддержало несколько голосов.

В атриуме поднялся шум и движение, присутствующие старались подальше держаться от Петрония. Отошли даже Туллий Сенеций, его постоянный товарищ при дворе, и молодой Нерва, до сих пор очень друживший с ним. Петроний остался один с левой стороны атриума и с улыбкой на лице, разглаживая складки своей тоги, ждал, что скажет и предпримет цезарь.

Цезарь сказал:

— Хотите, чтобы я наказал его, но ведь он мой друг и товарищ, поэтому, хотя он и ранил мне сердце, пусть знает, что это сердце несет для друзей... прощение.

«Проиграл и погиб», — подумал Петроний. Цезарь встал, совещание было окончено.



## VII

Петроний отправился домой. Нерон с Тигеллином перешли в атриум Поппеи, где их ждали люди, с которыми перед этим говорил префект.

Там было два «рабби» из-за Тибра, одетых в длинные торжественные одежды, с митрами на голове, с ними их молодой помощник и Хилон. Увидев цезаря, еврейские священники побледнели от волнения и, подняв руки, низко склонили головы.

— Привет тебе, владыка владык и царь царей, — сказал старший, — привет тебе, властитель мира, защитник избранного народа и цезарь, лев среди людей, которого царствование подобно солнечному сиянию и кедровому ливанскому, источнику, пальме и бальзаму иерихонскому!

— Вы не почитаете меня богом? — спросил цезарь.

Священники побледнели еще сильнее; заговорил снова старший:

— Слово твое, государь, сладостно, как плод фигового дерева и как гроздь винограда; ибо Иегова исполнит сердце твое добротой. Но предшественник твой, цезарь Кай, был жестоким владыкой, и все-таки представители наши не называли его богом, предпочитая смерть нарушению и оскорблению закона.

— И Калигула велел их бросить львам на растерзание?

— Нет, государь. Цезарь Кай убоился гнева Иеговы.

Они подняли головы — имя Бога придало им смелости. Веря в силу его, они прямо смотрели в глаза Нерону.

— Вы обвиняете христиан в сожжении Рима?

— Мы обвиняем их, государь, в том, что они враги Закона, враги рода человеческого, враги Рима и твои и что давно они грозят миру и городу огнем. Остальное скажет тебе вот этот человек, уста которого не осквернятся ложью, ибо в крови его матери текла кровь избранного народа.

Нерон обратился к Хилону:

— Кто ты?

— Твой почитатель, Озирис, и притом нищий стоик...

— Ненавижу стоиков, — сказал Нерон, — ненавижу Трасея, Музония и Корнута. Мне отвратительны их речи, их презрение к науке, их добровольная нищета и грязь.

— О, государь, твой учитель Сенека обладает громадным богатством, но стоит тебе захотеть, и я буду богаче во сто крат. Я — стоик по необходимости. Одень, о лучезарный, мой стоицизм в венок из роз и

поставь перед ним кувшин вина, и он будет петь Анакреона так, что заглушит всех эпикурейцев.

Нерон, которому пришлось по вкусу титул «лучезарный», улыбнулся и сказал:

— Ты мне нравишься!

— Этот человек стоит столько золота, сколько он весит сам! — воскликнул Тигеллин.

Хилон ответил:

— Дополни, господин, мой вес твоею щедростью, иначе ветер унесет плату.

— Действительно, ты не сравнишься по весу с Вителием, — заметил цезарь.

— О, сребролукий, мое остроумие не из олова.

— Вижу, что Закон не запрещает тебе называть меня богом.

— О бессмертный! Мой закон — в тебе: христиане оскорбили этот закон, и потому я возненавидел их.

— Что ты знаешь о христианах?

— Позволишь мне заплакать, божественный?

— Нет, — ответил Нерон, — это скучно.

— И ты трижды прав, потому что глаза, увидевшие тебя, должны навсегда лишиться возможности проливать слезы. О государь, защити меня от моих врагов.

— Говори о христианах, — сказала Поппея с оттенком нетерпения.

— Будет так, как ты велишь, о Изиде! — ответил Хилон. — В юности я посвятил себя философии и искал правды. Искал я ее у старых божественных мудрецов, в афинской академии, в Александрии. Услышав о христианах, я подумал, что это какая-то новая школа, в которой я смогу найти несколько зерен истины, и я познакомился с христианами, к своему великому горю! Первым христианином, с которым меня столкнула судьба, был некий Главк, лекарь из Неаполя. От него я узнал, что они поклоняются какому-то Христу, который обещал им истребить всех людей и уничтожить все города земли, оставив их невредимыми, если они помогут ему истребить сынов Девкалиона. Поэтому, государь, они ненавидят людей, отравляют колодцы, на своих собраниях проклинают Рим и все его храмы, в которых приносятся жертвы нашим богам. Христос был распят на кресте, но он обещал им, что придет еще раз на землю, когда будет сожжен Рим, и отдаст им власть над миром.

— Теперь народ поймет, почему был сожжен Рим, — прервал Тигеллин.

— Многие, господин, уже поняли это, — продолжал Хилон, — потому что я хожу по садам и по Марсову полю, вразумляю и учу. Но если вы захотите выслушать меня до конца, то поймете, почему у меня есть причины мстить им. Главк-лекарь вначале скрывал от меня, что их учение требует ненавидеть людей. Наоборот, говорил он, Христос — добрый бог, и основа его учения — любовь. Мое чувствительное сердце не могло противиться такой истине, поэтому я полюбил Главка и доверился ему. Я делился с ним каждым куском хлеба, последним оболком — и знаешь, государь, чем он отплатил мне? По дороге из Неаполя в Рим он ткнул меня ножом, а жену мою, прекрасную и молодую Беренику продал работоторговцам... Если бы Софокл знал о моих бедствиях... Но зачем я говорю это: ведь меня слушает некто больший, чем Софокл!

— Несчастный человек! — сказала Поппея.

— Кто узрел лицо Афродиты, того нельзя считать несчастным, государыня, а я вижу богиню сейчас. Но тогда я искал утешения в философии. Прибыв в Рим, я старался отыскать старейшин христиан, чтобы найти у них суд на Главка. Я думал, что они заставят его вернуть мне жену... Я познакомился с их первосвященником, видел другого также, по имени Павел, который был посажен здесь в тюрьму, но потом освобожден; сблизился с сыном Заведеевым, с Лином, с Клитом и со многими другими. Знаю, где они жили до пожара, знаю, где сходятся, могу указать подземелье у Ватиканского холма и кладбище за Номентанским воротами, где они совершают свои отвратительные богослужения. Я видел там апостола Петра, видел Главка, который убивал детей, чтобы апостол мог невинной кровью кропить головы присутствующих; видел я там Лигию, воспитанницу Помпонии Грецины, которая хвалилась, что хотя и не смогла принести крови ребенка, приносит, однако, детскую смерть, потому что сглазила маленькую Августу, твою дочь, о Озирис, и твою, о Изиде!

— Слышишь, цезарь! — воскликнула Поппея.

— Может ли это быть?

— Я мог простить им личные обиды, — продолжал Хилон, — но, услышав о вашей обиде, я хотел ткнуть ее ножом. Увы, мне помешал это сделать благородный Виниций, который любит ее.

— Виниций? Но ведь она бежала от него?

— Да, но он отыскал ее, потому что не мог без нее жить. За ничтожную плату я помогал ему в поисках и указал ему дом за Тибром, в котором она жила. Мы пошли туда вместе, и с нами был твой борец Кротон, которого Виниций пригласил ради безопасности. Но Урс, раб Лигии, задушил Кротона. Это человек невероятной силы. Он, государь,

может легко свернуть голову быку, словно маковую головку. Авл и Помпония любили его за это.

— Клянусь Геркулесом! — воскликнул Нерон. — Смертный, задушивший Кротона, достоин памятника на Форуме. Но ты ошибаешься или врешь, старик, — Кротона убил ножом Виниций.

— Вот как люди лгут богам и обманывают их! Я видел собственными глазами, как ребра Кротона трещали в руках Урса, как потом он бросился на Виниция и повалил его. Он убил бы и его, если бы не Лигия, Виниций долго потом был болен, но они ухаживали за ним, надеясь сделать его христианином. И он сделался им в самом деле.

— Виниций?

— Да.

— А может быть, и Петроний? — жадно спросил Тигеллин.

Хилон завертелся, стал смущенно потирать руки и наконец сказал:

— Удивляюсь твоей пронизательности, господин! О!.. Очень возможно! Очень может быть!

— Теперь я понимаю, почему он так защищал христиан.

Но цезарь стал хохотать.

— Петроний — христианин!.. Петроний — враг жизни и людей! Не будьте глупцами и не старайтесь уверить меня в этом, а то я ни во что не поверю.

— Но ведь благородный Виниций действительно стал христианином. Я клянусь в этом, о государь, сиянием, которое исходит от тебя. Говорю правду, и ничто не возмущает меня так сильно, как ложь. Помпония — христианка, маленький Авл — христианин, Лигия и Виниций — тоже. Я верно служил ему, а он по требованию лекаря Главка жестоко избил меня в награду за службу, хотя я стар, болен и голоден. Я поклялся Аидом, что не забуду ему этого. О государь, отомсти им за мою обиду, а я выдам вам апостола Петра, Лина, Клита, Главка, Криспа — старейшин, Лигию и Урса, назову сотни, тысячи имен, укажу дома молитв, кладбища... Ваши тюрьмы не вместят их всех!.. Без меня вы не сможете найти их. До сих пор в своих несчастьях я искал утешения в одной философии, пусть теперь найду его в милостях, которыми буду награжден... Я стар, но я не вкусил жизни! Мне нужен отдых!..

— Ты хочешь быть стойком за полной чашей, — сказал Нерон.

— Кто оказывает услуги тебе, государь, тот сам ее наполняет.

— Ты не ошибся, философ.

Поппея думала о своих врагах. Ее увлечение Виницием было скорее преходящим капризом, возникшим под влиянием ревности, гнева и

оскорбленного самолюбия. Однако холодность молодого патриция глубоко задела ее и наполнила сердце злостью и желанием отомстить. Одно то, что он посмел предпочесть ей другую, казалось Поппее преступлением, вопиющим о мести. Лигию она возненавидела с первой встречи, ее встревожила красота этой лилии севера. Петроний, говоривший о слишком узких бедрах девушки, мог убедить в чем угодно цезаря, а не ее. Опытным взором Поппея с первого взгляда поняла, что во всем Риме одна Лигия может соперничать с ней и даже одержать верх. С той минуты она поклялась погубить ее.

— Государь, — сказала она, — отомсти за нашу дочь.

— Торопитесь! — воскликнул Хилон. — Торопитесь! Иначе Виниций спрячет ее. Я укажу дом, где они укрылись после пожара.

— Я дам тебе десять человек, и отправляйся с ними немедленно, — сказал Тигеллин.

— Господин, ты не видел Кротона в лапах Урса. Если ты дашь пятьдесят, то я лишь издали покажу дом. Но если вы не захватите также и Виниция, то я пропал.

Тигеллин посмотрел на Нерона.

— Не лучше ли, божественный, сразу покончить и с дядей, и с племянником?

Нерон подумал немного и сказал.

— Нет... не сейчас!.. Народ не поверит, что Петроний, Виниций или Помпония Грецина подожгли Рим: слишком красивые у них были дома... Сейчас нужны другие жертвы, за теми очередь в будущем.

— Дай мне, государь, в таком случае солдат, которые охраняли бы меня, — сказал Хилон.

— Тигеллин позаботится об этом.

— Пока ты поселишься у меня, — сказал префект.

Радость засияла на лице Хилона.

— Выдам всех! Но спешите! Не упустите времени! — восклицал он хриплым голосом.

## VIII

Петроний по выходе от цезаря велел отнести себя в свой дом на Каринах, который, будучи окружен с трех сторон садом, а с четвертой имея площадь Цецилиев, случайно уцелел во время пожара.

Поэтому другие августианцы, потерявшие свои дома, а в них множество сокровищ и произведений искусства, называли Петрония счастливым. О нем давно говорили, что он первородный сын Фортуны, а возраставшая дружба с цезарем за последнее время, казалось, подтверждала справедливость этих слов.

Но первенец Фортуны мог теперь размышлять разве об изменчивости этой матери или о сходстве ее с Хроносом, пожирающим собственных детей.

«Если бы дом мой сгорел, — говорил он себе мысленно, — а вместе с ним мои геммы, мои этрусские вазы, александрийское стекло и коринфская медь, то, может быть, Нерон забыл бы обиду. Клянусь Поллуксом! От меня всецело зависело быть сейчас префектом преторианцев. Я объявил бы Тигеллина поджигателем, которым он является в действительности, одел бы его в скорбную тунику, выдал бы народу, спас христиан и отстроил Рим. Кто знает, может быть, честным людям легче было бы жить. Я должен был бы сделать это хоть ради Виниция. Если бы оказалось слишком много работы, я отдал бы префектуру Виницию — Нерон и не подумал бы противиться... Пусть потом Виниций окрестил бы всех преторианцев и даже самого цезаря, — какое мне дело! Нерон благочестивый, Нерон добродетельный и милосердный — это было бы занятное зрелище!»

Его беззаботность была так велика, что он даже улыбался. Но тотчас мысли направились в другую сторону. Ему казалось, что он находится в Анциуме и Павел из Тарса говорит ему:

«Вы называете нас врагами жизни, но ответь мне, Петроний: если бы цезарь был христианином и поступал согласно нашему учению, разве жизнь ваша не была бы в большей безопасности?»

Вспомнив эти слова Павла, он стал рассуждать так: «Клянусь Поллуксом! Сколько христиан здесь убьют, столько Павел найдет новых, потому что если мир не может стоять на преступлении, то Павел прав... Но кто знает, значит, может, если стоит. Я сам, научившийся многому, не научился быть достаточно большим негодяем, и потому придется вскрыть себе вены... Так и должно было кончиться, а если бы кончилось не так, то

как-нибудь иначе; жаль мне Евники и моей мирренской вазы, но Евника свободна, а ваза пойдет со мной. Агенобарб не получит ее ни в каком случае! Жаль мне также и Виниция. Впрочем, хотя за последнее время я скучал и меньше, чем прежде, я готов. На свете есть прекрасные вещи, но люди по большей части ничтожны, поэтому жизни жалеть не приходится. Кто умел жить, тот должен уметь и умереть. Хотя я и принадлежал к числу августианцев, я был все же более свободным человеком, чем они там думают. — Петроний пожал плечами. — Они, может быть, полагают, что у меня сейчас дрожат колени и страх шевелит волосы на голове, а я, вернувшись домой, приму ванну, надушусь фиалками, потом моя златокудрая умастит меня, и после трапезы мы велим петь нам гимн Аполлону, который сочинил Антемий. Я когда-то сказал: о смерти не стоит думать, потому что она без нашей помощи о нас сама подумает. Но было бы удивительно, если бы в самом деле существовали какие-то Елисейские поля, а на них блуждающие тени... Евника со временем пришла бы ко мне, и мы вместе бродили бы по лугам, покрытым асфоделями. Я нашел бы там общество лучше, чем здесь... Что за шуты! Что за глупцы, что за грязная чернь без вкуса и лоска! Десять знатоков изящного не сумели бы сделать этих Тримальхионов приличными людьми. Клянусь Персефоной, с меня довольно их!»

Он с удивлением заметил, что от этих людей его уже отделило нечто. Он знал их хорошо и понимал, чего они стоят, теперь, однако, они стали ему более чуждыми и больше достойны презрения, чем раньше. В самом деле, с него было довольно их.

Потом он стал обдумывать свое положение. Благодаря своей пронизательности он понял, что гибель не грозит ему немедленно. Нерон воспользовался случаем сказать несколько красивых слов о дружбе и прощении и тем связал себя на некоторое время. Теперь ему нужно найти приличный повод, и прежде чем он найдет его, пройдет немало времени. «Прежде всего он устроит игры с христианами, — думал Петроний, — потом подумает обо мне, а в таком случае не стоит думать об этом и менять образ жизни. Большая опасность грозит Виницию!..»

И он стал думать исключительно о племяннике, которого решил спасти.

Рабы быстро несли лектику среди развалин и обгорелых домов, но он велел им бежать, чтобы скорее очутиться дома. Виниций, дом которого сгорел, жил у него и, к счастью, был дома.

— Ты видел сегодня Лигию? — спросил он Виниция тотчас же.

— Я только что вернулся от нее.

— Слушай, что я скажу тебе, и не теряй времени на расспросы. Сегодня у цезаря решено обвинить христиан в поджоге Рима. Им грозит гонение и муки. Преследование начнется немедленно. Бери с собой Лигию и бегите сейчас же, хотя бы за Альпы или в Африку. Спешите, потому что с Палатина ближе заречье, чем отсюда!

Виниций был слишком солдат, чтобы тратить время на лишние вопросы. Он слушал с нахмуренными бровями, с серьезным и суровым лицом, но без страха. По-видимому, первым чувством, какое возникало в его душе в минуту опасности, было желание бороться и защищаться.

— Иду, — сказал он.

— Еще несколько слов: возьми кошелек с золотом, оружие и своих рабов-христиан. В случае нужды — отбей!

Виниций был уже в дверях.

— Пошли мне известие с рабом, — крикнул ему вслед Петроний.

Оставшись один, он стал ходить вдоль колонн, украшавших атриум, раздумывая о том, что произойдет. Он знал, что Лин и Лигия вернулись в свой старый дом, который уцелел, и это было неблагоприятное обстоятельство: в толпе погорельцев их было бы труднее найти. Он надеялся все-таки, что на Палатине никто не знает, где они живут, и, следовательно, Виниций успеет прийти раньше преторианцев. Ему также пришло в голову, что Тигеллин, желая захватить сразу возможно большее число христиан, принужден будет разделить преторианцев на небольшие отряды. Если за ней пришлют человек десять, то лигийский великан сокрушит их кости, а кроме того, подоспеет с помощью Виниций. Петроний ободрился от этих мыслей. Правда, оказать вооруженное сопротивление преторианцам значило начать войну с цезарем. Петроний знал, что если Виницию удастся бежать от мести Нерона, то месть падет на него, но он мало боялся этого. Наоборот, мысль о том, как помешать планам цезаря и Тигеллина, развлекла его. Он решил не жалеть для этого ни денег, ни людей, а так как Павел в Анциуме обратил в свою веру большую часть его рабов, то в деле защиты христиан Петроний мог рассчитывать на их готовность и преданность.

Приход Евники прервал его размышления. Все заботы и тревога исчезли без следа. Он забыл о цезаре, о своей опале, о ничтожных августианцах, о преследовании христиан, о Виниций и Лигии. Он смотрел на гречанку глазами эстета, очарованного красотой форм, и любовника, для которого это тело дышало любовью. Евника, одетая в прозрачную фиолетовую одежду, сквозь которую виднелось ее розовое тело, была действительно прекрасна, как божество, чувствуя себя любимой и любя



всей душой сама, всегда жадная до ласк, она вспыхнула от радости, словно это была не наложница, а невинная девушка.

— Что скажешь, Харита? — спросил Петроний, протягивая ей руки.

Она, склоняясь к нему золотой головкой, ответила:

— Господин, там пришел Антемий с певцами и спрашивает, хочешь ли ты слушать его сегодня?

— Пусть подождет. Он будет петь нам во время обеда гимн Аполлону. Вокруг — развалины и пожарище, а мы будем слушать гимн Аполлону! Клянусь Пафийскими роццами! Когда я вижу тебя в этой прозрачной одежде, мне кажется, что Афродита прикрылась кусочком лазури и стоит предо мной.

— О господин!

— Подойди ко мне, Евника, обними меня, дай поцеловать тебя в губы... Любишь ли ты меня?

— Я не любила бы сильнее самого Зевса!

Сказав это, она прильнула губами к его губам, трепеща в его объятиях от счастья.

Петроний сказал:

— А если бы нам пришлось расстаться?

Евника со страхом посмотрела ему в глаза.

— Как, господин?..

— Не бойся!.. Видишь ли, возможно, что мне придется отправиться в далекое путешествие.

— Возьми и меня с собой...

Но Петроний вдруг переменял разговор и спросил:

— Скажи, на лужайке в саду есть асфодели?

— В саду кипарисы и вся зелень пожелтели от пожара, с мирт опали листья — весь сад кажется мертвым.

— Весь Рим кажется мертвым, а скоро и в самом деле обратится в кладбище. Появится эдикт против христиан, и начнется гонение, во время которого погибнут тысячи...

— За что их гонят, господин? Это хорошие и тихие люди.

— Именно за это.

— Тогда поедем к морю. Твои божественные глаза не любят смотреть на кровь.

— Хорошо. Но теперь я должен принять ванну. Приди потом умастить меня. Клянусь поясом Киприды, никогда еще ты не казалась мне столь прекрасной. Я велю сделать тебе ванну в форме раковины, ты будешь в ней похожа на дорогую жемчужину... Приходи, златоволосая!..

Он ушел. А через час они оба в венках из роз и с затуманенными глазами возлежали за столом, уставленном золотой посудой. Прислуживали им мальчики, похожие на амуров. Они пили вино и слушали гимн Аполлону, который пел под аккомпанемент арф Антемий. Какое им было дело до того, что вокруг дома чернело пожарище и что порывы ветра разносили пепел сожженного Рима. Они чувствовали себя счастливыми и думали о любви, которая сделала их жизнь похожей на божественный сон.

Но прежде чем был кончен гимн, вошел старший раб.

— Господин, — сказал он голосом, в котором слышалась тревога, — центурион с отрядом преторианцев стоит у ворот и по приказанию цезаря желает видеть тебя.

Песнь и арфы умолкли. Страх овладел всеми присутствующими, потому что цезарь в сношениях с друзьями не пользовался обычно преторианцами, и приход их в те времена не предвещал ничего доброго.

Один Петроний не выказал ни малейшего волнения и сказал тоном человека, которому вечно надоедают:

— Могли бы мне дать спокойно пообедать.

Потом обратился к рабу:

— Впусти.

Раб исчез за завесой; потом послышались тяжелые шаги, и в комнату вошел знакомый Петронию сотник Апер, вооруженный и в железном шлеме на голове.

— Благородный господин, — сказал он, — вот письмо от цезаря.

Петроний лениво протянул свою белую руку, взял таблички и, пробежав глазами, спокойно передал их Евнике.

— Завтра будет читать новую песнь из «Трои», — сказал он, — зовет меня присутствовать на чтении.

— Я получил приказ лишь вручить письмо, — отозвался центурион.

— Ответа не будет. Но, может быть, ты, сотник, отдохнешь немного с нами и выпьешь чашу вина?

— Благодарю, господин. Вино охотно выпью за твое здоровье, но отдыхать не могу, потому что я на службе.

— Почему письмо послано с тобою, а не раб принес его, как обычно?

— Не знаю, господин. Может быть, потому, что в эту сторону меня послали также по другому делу.

— Знаю, — сказал Петроний, — против христиан.

— Да, господин.

— Давно началось преследование?

— Некоторые части посланы за Тибр еще в полдень.

Сказав это, сотник плеснул несколько капель вина из чаши в честь Марса, потом выпил ее и сказал:

— Пусть боги дадут тебе, благородный господин, все, чего ты пожелаешь.

— Возьми и эту чашу, — сказал Петроний.

Потом он дал знак певцу, чтобы тот кончил гимн Аполлону.

«Меднобородый начинает играть со мной и с Виницием, — думал он, когда снова зазвучали арфы. — Угадываю цель! Он хотел поразить меня, присылая приглашение с центурионом. Вечером будут расспрашивать сотника, как я принял его. Нет, нет! Я не потешу тебя, злая и жестокая кукла! Знаю, что обиды не забудешь, знаю, что моя гибель неминуема, но если думаешь, что я с мольбой буду заглядывать тебе в глаза, что увидишь на моем лице страх и покорность, то ошибешься».

— Цезарь пишет: «Приходите, если есть охота», — сказала Евника. — Ты пойдешь, господин?

— Я в превосходном настроении и могу слушать даже его стихи, — ответил Петроний, — поэтому пойду, тем более что Виниций пойти не может.

После окончания обеда и обычной прогулки Петроний отдал себя в руки рабынь, завивших его волосы, одевших и красиво оправивших складки тоги. Через час, прекрасный, как божество, он велел нести себя на Палатин. Час был поздний, вечер тихий, полная луна освещала путь, так что факельщики, идущие перед лектикой, погасили огни. По улицам и среди развалин сновали пьяные толпы людей, украшенных плющом, несущих в руках ветки мирт и лавров из садов цезаря. Обилие хлеба и ожидание пышных игр наполнило радостью сердца. Пелись песни, восхваляющие божественную ночь и любовь; при свете луны в некоторых местах затевались пляски, несколько раз рабы принуждены были выкрикивать требование дать проход лектике «благородного Петрония», и тогда толпа расступалась, провожая возгласами своего любимца.

Петроний думал о Виниции и удивлялся, что не дождался от него известия. Он был эпикурейцем и эгоистом, но, общаясь то с Павлом, то с Виницием и каждый день слыша что-нибудь о христианах, несколько изменился, хотя сам не признавал этого. На него от них повеяло чем-то, что бросило в его душу неведомые зерна. Кроме собственной личности его стали занимать и другие люди; к Виницию он был привязан и раньше, потому что с детства любил его мать, свою сестру, теперь же, приняв участие в его делах, смотрел на эти дела с таким интересом, словно перед ним развертывалась трагедия.

Он не терял надежды, что Виниций предупредил преторианцев и бежал с Лигией или в крайнем случае отбил ее. Но ему хотелось знать наверное, так как он предвидел, что придется отвечать на разные вопросы, к которым полезнее быть готовым.

Остановившись у дома Тиберия, он сошел с лектики и прошел в атриум, Уже заполненный августианцами. Вчерашние друзья, хотя и удивлялись, что он был приглашен, держались в стороне, но он проходил среди них красивый, свободный, небрежный и уверенный в себе, словно сам мог оказывать людям милости. Некоторые при виде его встревожились — не было ли слишком рано выказывать к нему холодность.

Цезарь сделал вид, что не заметил его поклона, занятый беседой. Но Тигеллин тотчас подошел к нему и сказал:

— Добрый вечер, ценитель красоты. Неужели ты все еще утверждаешь, что не христиане сожгли Рим?

Петроний пожал плечами и, похлопав его по спине, как вольноотпущенника, сказал:

— Ты так же хорошо знаешь, что об этом думать, как и я.

— Я не смею равняться с тобою в мудрости.

— И ты отчасти прав; иначе, если цезарь прочтет нам новую песнь, ты, вместо того чтобы кричать, как павлин, должен был бы высказать какое-нибудь мнение, и не глупое конечно.

Тигеллин прикусил губы. Он не особенно был доволен, что цезарь сегодня читал стихи, потому что перед ним открывалось поле, на котором он не мог соперничать с Петронием.

Во время чтения Нерон по старой привычке невольно смотрел на Петронию, стараясь по выражению лица угадать, что тот думает. Теперь Петроний слушал, поднимая брови, качая сочувственно головой, иногда напрягая внимание, словно хотел убедиться, верно ли слышал. Потом он стал одно хвалить, другое порицать, требуя исправлений или отделки некоторых стихов. Нерон чувствовал, что другие в напыщенных похвалах больше думают о самих себе, один Петроний интересуется поэзией ради самой поэзии, один понимает ее и если что хвалит, то можно быть уверенным, что это достойно похвалы. Понемногу он втянулся в разговор, стал спорить, и когда Петроний усомнился в пригодности одного выражения, он сказал ему:

— Увидишь в последней песне, почему я употребил его.

«Ага, — подумал Петроний, — значит, я дождусь последней песни!»

Многие, слыша это, думали:

«Горе мне! Петроний, имея время, может вернуть себе расположение

цезаря и свалить даже Тигеллина».

К нему стали подходить. Но конец вечера был менее счастливым. В ту минуту, когда Петроний прощался с цезарем, Нерон вдруг спросил его, сощурив глаза, с злобным и в то же время радостным лицом:

— А Виниций почему не пришел?

Если бы Петроний был уверен, что Виниций с Лигией уже за стенами города, он ответил бы: «Виниций женился по твоему разрешению и уехал». Но, видя странную улыбку Нерона, ответил:

— Твое приглашение, божественный, не застало его дома.

— Скажи ему, что я рад буду видеть его, а также передай, чтобы он присутствовал на играх, когда будут выступать христиане.

Петрония обеспокоили эти слова, ему показалось, что они относятся прямо к Лигии. Сев в лектику, он велел нести себя домой еще поспешнее, чем утром. Но это было нелегко. Перед домом Тиберия стояла большая, шумная толпа, пьяная, как и раньше, но не пляшущая и поющая, а словно чем-то возбужденная. Доносились какие-то крики, которых Петроний не понимал; потом крики эти усилились и перешли в один бешеный вопль:

— Христиане для львов!

Изящные лектики придворных медленно подвигались в толпе. Из глубины сожженных улиц подходили новые толпы, которые, услышав крик, подхватывали его. Передавали слух, что христиан хватают с полудня, что схвачено большое количество поджигателей, и скоро по вновь намеченным и по старым улицам, по переулкам, заваленным руинами, вокруг Палатина, по всем холмам, по всему широкому Риму выла остервенелая чернь:

— Христиане для львов!

— Скоты! — с презрением прошептал Петроний. — Народ, достойный цезаря!

Он стал думать о том, что общество, основанное на насилии, жестокости, о которой не имели понятия даже варвары, на преступлениях и бешеном разврате, не может сохраниться. Рим был владыкой мира, но также и гнойником мира. От него веяло трупным запахом. На гнилую жизнь ложилась тень смерти. Об этом не раз говорилось даже среди августианцев, но Петронию никогда эта истина не была настолько очевидной. Увенчанная колесница, на которой в позе триумфатора стоит Рим, влача за собой поработанные народы, катится к бездне. Жизнь города — властелина мира — показалась ему шутовским хороводом и какой-то оргией, которая, однако, скоро должна кончиться.

Теперь он понимал, что одни лишь христиане имеют некие новые основы жизни; но он думал, что скоро от христиан не останется следа. И

тогда что же?

Шутовской хоровод будет продолжаться под водительством Нерона, а когда Нерон погибнет, то найдется другой, такой же или еще хуже, потому что нет оснований думать, что среди такого народа и таких патрициев найдется лучший. Будет новая оргия, еще более отвратительная и бесстыдная.

Оргия не может продолжаться вечно, после нее нужно идти спать, хотя бы потому, что силы исчерпаны.

Размышляя об этом, Петроний сам почувствовал большую усталость. Стоит ли жить, не будучи уверенным в завтрашнем дне, ради того чтобы смотреть на подобные нелепости жизни? Гений смерти не менее прекрасен, чем гений сна, и он такой же крылатый.

Лектика остановилась у дверей дома. Чуткий привратник тотчас открыл ее.

— Вернулся ли благородный Виниций? — спросил его Петроний.

— Только что, господин, — ответил раб. «Значит, не отбил ее!» — подумал Петроний.

Сбросив тогу, он вбежал в атриум. Виниций сидел на треножнике, склонив лицо почти до колен, обхватив руками голову. Услышав шаги, он поднял каменное лицо, на котором одни глаза лихорадочно горели.

— Ты пришел слишком поздно? — спросил Петроний.

— Да. Ее взяли в полдень.

Наступило молчание.

— Ты видел ее?

— Да.

— Где она?

— В Мамертинской тюрьме.

Петроний вздрогнул и стал вопросительно смотреть на Виниция. Тот понял.

— Нет, ее не бросили в подземелья, где умер Югурта. Она даже не в средней тюрьме. Я подкупил сторожа, и тот уступил ей свою комнату, Урс лег на пороге и сторожит ее.

— Почему Урс не защитил Лигию?

— За ней прислали пятьдесят преторианцев. Да и Лин запретил ему оказывать сопротивление.

— А что Лин?

— Он умирает. Поэтому его не взяли.

— Что ты намерен делать?

— Спасти ее или умереть с ней вместе. И я верую в Христа.

Виниций говорил, казалось, спокойно, но в голосе его слышалось что-то раздирающее сердце, так что Петроний содрогнулся от жалости.

— Я понимаю тебя, — сказал он, — но как ты думаешь спасти ее?

— Я подкупил стражу, чтобы они не позволили обесчестить ее, а потом чтобы не мешали ей бежать.

— Когда это должно произойти?

— Мне ответили, что не могут выпустить ее сейчас, потому что боятся ответственности. Когда тюрьмы наполнятся христианами и когда будет потерян счет узникам, тогда они отдадут ее мне. Но это — крайность! Раньше ты попытайся спасти ее и меня! Ты друг цезаря. Он сам отдал мне ее. Иди к нему и спаси меня!

Петроний вместо ответа позвал раба и, приказав подать два темных плаща и два меча, обратился к Виницию.

— По дороге я отвечу тебе, — сказал он. — Возьми плащ и оружие, пойдем к тюрьме. Там дай сторожам сто тысяч сестерций, дай в два, в пять раз больше, лишь бы они выпустили Лигию тотчас. В противном случае будет поздно.

— Идем, — сказал Виниций.

Когда они очутились на улице, Петроний сказал:

— Теперь слушай. Я не хотел терять времени. С сегодняшнего дня я в опале. Моя жизнь висит на волоске, и потому я ничего не могу добиться для тебя у цезаря. Я даже уверен, что он поступит как раз наоборот. Если бы не это, разве я посоветовал бы тебе бежать с Лигией или отбивать ее у преторианцев? Ведь если бы ты успел бежать, гнев цезаря обрушился бы на меня. Но он скорее исполнит твою просьбу, чем мою. Не рассчитывай, однако, на это. Выкупи ее у стражи и беги! Тебе больше ничего не остается. Если это не удастся, попытаемся предпринять еще что-нибудь. Знай, что Лигию схватили не только потому, что она христианка. Ее и тебя преследует гнев Поппеи. Помнишь, как ты оскорбил Августу, отвергнув ее любовь? Она знает, что ты отверг ее ради Лигии, которую она возненавидела при первой встрече. Она и прежде пыталась погубить ее, приписывая чарам смерть своей дочери. В том, что произошло, я вижу руку Поппеи! Чем объяснить, что Лигия была схвачена первой? Кто мог указать дом Лина? Я уверен, что за ней давно следили! Знаю, что надрываю тебе сердце и отнимаю последнюю надежду, но говорю так потому, что если ты не освободишь ее, прежде чем они догадаются, что ты делаешь попытки выручить ее, то погибнете оба.

— Да. Понимаю, — глухо ответил Виниций.

Улицы в этот поздний час были безлюдны, но дальнейший разговор

был прерван идущим навстречу пьяным гладиатором, который навалился вдруг на Петронию и, положив руку на его плечо,дохнул на него перегаром вина и завопил:

— Христиане для львов!

— Мирмилон, — спокойно сказал Петроний, — послушайся доброго совета и ступай своей дорогой.

Но пьяный схватил его и другой рукой за плечо.

— Кричи вместе со мной, иначе я сверну тебе шею: христиане для львов!

Но Петронию было довольно этих криков. С минуты выхода из Палатина они оглушали его, преследовали как бред; поэтому, когда он увидел поднятый на него кулак великана, его терпение было исчерпано.

— Приятель, — сказал он, — от тебя несет вином и ты мешаешь мне.

Говоря так, он вонзил в грудь гладиатора короткий меч, который захватил с собой из дома, после чего, взяв под руку Виниция, продолжал говорить, словно ничего не произошло:

— Цезарь сказал мне сегодня: «Скажи от моего имени Виницию, чтобы он присутствовал на играх, на которых выступают христиане». Понимаешь, что это означает? Они хотят сделать твою боль зрелищем для себя. Это решено. Может быть, потому до сих пор не схвачены ты и я. Если ты не сможешь спасти ее сейчас, тогда... я не знаю!.. Актея могла бы попросить за тебя, но разве это подействует?.. Твои земли в Сицилии могли бы соблазнить Тигеллина. Попробайся.

— Отдам ему все, что у меня есть, — ответил Виниций.

С Карин до Форума было недалеко, поэтому они дошли быстро. Ночь начала бледнеть, и стены тюрьмы ясно обозначились в сумраке.

Когда они подходили к воротам Мамертинской тюрьмы, Петроний вдруг остановился и прошептал:

— Преторианцы!.. Поздно!

Тюрьма была окружена двойной цепью солдат. Светились их железные шлемы и острия копий.

Лицо Виниция стало белым как мел.

— Пойдем, — сказал он.

Они подошли к преторианцам. Петроний, обладавший исключительной памятью, знал не только высших начальников, но и простых солдат претории; увидев знакомого начальника когорты, он подозвал его.

— Что это, Нигер? Вам велено окружить тюрьму?

— Да, благородный Петроний! Префект опасается попыток отбить



поджигателей.

— У вас есть приказ никого не впускать? — спросил Вениций.

— Нет, господин. Знакомые могут посещать узников — таким путем мы больше захватим христиан.

— Впусти меня, — сказал Вениций.

Пожав руку Петронию, он попросил:

— Повидайся с Актеей, а я приду узнать, что она сказала...

— Приходи, — ответил Петроний.

В это время за стенами и под землей раздалось пение. Гимн, сначала глухой и подавленный, звучал с каждой минутой сильнее. Голоса мужчин, женщин и детей сливались в один стройный хор. В тишине рассвета пела вся тюрьма, подобно гигантской арфе. И это не была песнь горя и отчаяния. Наоборот, звучала в ней радость и торжество.

Солдаты с удивлением переглянулись. На небе появились первые золотые и розовые пятна утренней зари.

## IX

Крик «Христиане для львов» раздавался во всех частях города. В первую минуту никто не подумал усомниться, что они действительно были виновниками пожара, вернее, никто не хотел сомневаться, потому что наказание их должно было доставить великолепное зрелище народу. Но распространилось также мнение, что несчастье не приняло бы столь огромных размеров, если бы не гнев богов, поэтому в храмах приносились очистительные жертвы. Согласно указаниям Сивиллиных книг сенат назначил торжества и общественные молебствия в честь Вулкана, Цереры и Прозерпины. Матроны приносили жертвы Юноне; торжественной процессией они отправились на берег моря, чтобы взять там воды и окропить статую богини. Женщины устраивали ночные пиры для богов и всенощные бдения. Весь Рим очищался от грехов, приносил жертвы и умиловлял бессмертных.

Среди развалин тем временем прокладывались новые улицы. Во многих местах были заложены фундаменты великолепных зданий, дворцов и храмов. Но прежде всего с невероятной быстротой строился огромный деревянный амфитеатр, в котором должны были погибнуть христиане. Тотчас после совещания во дворце Тиберия проконсулам были посланы приказы доставлять в Рим хищных зверей. Тигеллин опустошил зверинцы всех италийских городов, не исключая самых маленьких. В Африке, по его приказу, устраивалась огромная охота, в которой должны были принимать участие все туземцы. Были привезены слоны и тигры из Азии, крокодилы и гиппопотамы с Нила, львы с Атласа, волки и медведи с Пиренеев, злые псы из Гибернии, собаки из Эпира, буйволы и огромные злые дикие туры из Германии. По случаю большого числа обреченных игры должны были по величине превзойти все до сих пор виденное. Цезарь хотел утопить воспоминания о пожаре в крови и опьянить ею Рим, поэтому никогда еще кровавое половодье не казалось столь большим.

Разохоченная чернь помогала витязям и преторианцам хватать христиан. Это было нетрудно, потому что среди погорельцев, расположившихся лагерем в садах цезаря, они открыто исповедовали свое учение. Когда их окружали, они становились на колени и, распевая гимны, позволяли схватывать себя без сопротивления.

Их терпение лишь увеличивало гнев черни, которая не понимала этого и приписывала их поведение упорству и закоренелой преступности.

Случалось, что чернь отбивала христиан у преторианцев и учиняла жестокий самосуд над мужчинами; женщин за волосы тащили в тюрьму, детям разбивали головы о камни мостовой. Толпы народа с воем пробегали по улицам днем и ночью. Искали жертв среди развалин, в полуразрушенных домах и в подвалах. Перед тюрьмой при кострах вокруг бочек с вином устраивались вакханалии, пиры и пляски. По вечерам с наслаждением прислушивались к страшному реву зверей, который раздавался по всему городу. Тюрьмы были переполнены тысячами людей, но чернь и преторианцы ежедневно приводили новых жертв. Жалость исчезла. Казалось, люди разучились говорить и в диком безумии понимали один лишь вопль: «Христиане для львов!»

Наступили жаркие дни, а по ночам было так душно, как никогда раньше: самый воздух, казалось, был насыщен безумием, кровью и преступлением.

Этой безмерной жажде мучительства соответствовало не менее безмерное желание принять муку. Последователи Христа добровольно шли на смерть, они искали ее, пока наконец их не удержало строгое запрещение старших. По их приказанию теперь собирались лишь за городом в катакомбах при Аппиевой дороге и в пригородных виноградниках, принадлежавших патрициям-христианам, из которых пока не взяли в тюрьму никого. На Палатине прекрасно знали, что христианами были и Флавий, и Домитилла, и Помпония Грецина, и Корнелий Пуденс, и Виниций; но цезарь боялся, что чернь не поверит, будто такие люди могли сжечь Рим, а так как прежде всего было важно убедить в этом народ, то преследование знати решено было на время отложить. Некоторые думали, что этих патрициев спасло заступничество Актеи. Но это было неверно. Петроний, расставшись с Виницием, действительно отправился к Актее просить помощи для Лигии, но она могла лишь плакать, потому что жила забытой и если осталась пока целой, то лишь потому, что пряталась от цезаря и Поппеи.

Она навестила, однако, Лигию в тюрьме, принесла ей одежду и еду и, главное, обезопасила девушку от оскорблений со стороны уже раньше подкупленной тюремной стражи.

Петроний не мог забыть, что, если бы не он и не его мысль взять Лигию от Авлов, вероятнее всего, девушка не находилась бы сейчас в тюрьме; кроме того, ему хотелось выиграть свою игру с Тигеллином, поэтому он не жалел ни времени, ни усилий. В течение нескольких дней он виделся с Сенекой, с Домицием Афром, с Криспиниллой, через которую думал подействовать на Поппею, с Терпносом, Диодором, прекрасным

Пифагором, наконец, с Алитуром и Парисом, которым цезарь обыкновенно ни в чем не отказывал. С помощью Хризотемиды, которая теперь была любовницей Ватиния, он старался даже его привлечь на помощь, причем ему и другим не жалел обещаний и даже денег.

Но все его старания не привели ни к чему. Сенека, сам не уверенный в завтрашнем дне, стал доказывать Петронию, что, если даже христиане и не сожгли Рим, все же они должны быть уничтожены ради блага государства, — словом, оправдывал резню с точки зрения общественной пользы. Терпнос и Диодор взяли деньги и не сделали ничего. Ватиний сказал цезарю, что его пытаются подкупить. Один лишь Алитур, вначале враждебно настроенный к христианам, теперь жалел их; он осмелился напомнить цезарю о схваченной девушке и просить за нее, но получил в ответ следующую фразу:

— Неужели ты думаешь, что у меня душа меньше, чем у Брута, который ради блага Рима не пощадил собственных сыновей?

Когда Алитур передал ответ цезаря Петронию, тот сказал:

— Раз ему пришло в голову сравнение с Брутом, сделать ничего нельзя.

Но ему жаль было Виниция, он боялся даже, не покусится ли тот на свою жизнь. «Теперь его поддерживают хлопоты, — думал Петроний, — которые он предпринял ради спасения Лигии, ее вид и самое страдание, но когда все надежды обманут, когда угаснет последняя искра — клянусь Кастором! — он не переживет этого и бросится на меч». Петроний понимал, что так можно кончить, но не понимал, что можно так любить и так страдать.

В свою очередь и Виниций делал все, что подсказывал ему здравый смысл, ради спасения Лигии. Он навещал августианцев, и, такой гордый прежде, теперь он умолял их о помощи. Через Витилия он предложил Тигеллину свои сицилийские поместья и все, чего бы тот ни потребовал. Но Тигеллин, из страха перед Поппеей, отказался. Пойти к самому цезарю, упасть к его ногам и умолять — было напрасно. Но Виниций хотел и это сделать, если бы Петроний, узнав об этом плане, не спросил:

— А если он откажет, если ответит шуткой или издевательством, что ты сделаешь тогда?

Лицо Виниция исказилось от боли и бешенства, стиснутые зубы заскрежетали.

— Вот потому-то я и не советую этого делать. Этим ты отрежешь себе все пути к спасению Лигии.

Но Виниций овладел собой; проведя рукой по лбу, на котором

выступил холодный пот, он сказал:

— Нет, нет!.. Я ведь христианин!..

— Ты забудешь об этом, как забыл минуту назад. Можешь губить себя, но не ее. Вспомни, что пережила, прежде чем умереть, дочь Сеяна.

Говоря так, он был не совсем искренен, потому что больше думал о Виниций, чем о Лигии. Но он знал, что ничто так действительно не удержит Виниция от опрометчивого шага, как именно напоминание, что он может погубить без возврата Лигию. Впрочем, он был прав, потому что на Палатине ждали появления молодого трибуна и предприняли соответствующие меры предосторожности.

Страдания Виниция превосходили все, что могли выдержать человеческие силы. С той минуты как Лигия была схвачена и когда осенил ее луч близкого мученичества, он не только полюбил ее во сто крат сильнее, но просто стал в душе испытывать по отношению к ней религиозное благоговение, словно к неземному существу. При мысли, что эту любимую и святую девушку он может потерять и что кроме смерти на ее долю могут выпасть мучения более страшные, чем сама смерть, — кровь стыла в его жилах, душа становилась одной мучительной болью, мешался разум. Ему казалось, что череп его наполнен пламенем, который способен взорвать его. Он перестал понимать, что происходит вокруг, почему Христос, милосердный Господь, не приходит на помощь своим последователям, почему закопченные пожаром стены Палатина не проваливаются сквозь землю, а с ними вместе Нерон, августианцы, лагерь преторианцев и весь этот преступный город. Он полагал, что это должно непременно случиться, и все то, что он видит и от чего страдает его душа и обливается кровью сердце, есть лишь тягостный сон. Но рев диких зверей напоминал ему, что это действительность; стук топоров, под которыми вырастали новые арены, говорил, что это действительность; и ее подтверждали вой разнuzданной черни и переполненные христианами тюрьмы.

Тогда колебалась в нем вера в Христа, и это колебание было новой мукой, может быть, самой страшной из всех мук.

А Петроний говорил ему:

— Помни, что вынесла перед смертью дочь Сеяна!

Все было тщетно. Виниций дошел до того, что искал помощи и содействия у вольноотпущенников цезаря и Поппеи, дорого платил за их пустые обещания и старался щедрыми подарками склонить их на свою сторону. Он разыскал первого мужа Поппеи, Руфия Криспина, и получил от него письмо; подарил виллу в Анциуме ее сыну от первого брака, но этим лишь рассердил цезаря, который ненавидел пасынка. Послал с нарочным письмо второму мужу Поппеи, Оттону, в Испанию, раздал все свое состояние и наконец заметил, что был лишь игрушкой в руках людей и что если бы притворно показывал свое равнодушие к судьбе Лигии, то мог бы принести ей этим больше пользы.

Это же видел и Петроний. День проходил за днем. Амфитеатр был построен. Раздавались «тессеры» — знаки, по которым можно было входить на «утренние игры». Но на этот раз «утреннее» зрелище должно было растянуться на много дней, недель, даже месяцев, так велико было число обреченных на смерть. Не знали, куда размещать христиан. Тюрьмы были полны, и в них начались эпидемии. Путикулы — подвалы, где хоронили рабов, также были переполнены. Опасались, что зараза распространится по Риму, поэтому решили спешить.

Все эти новости доходили до Виниция и гасили в нем последнюю искру надежды. Пока было время, он мог обманываться, но теперь уж больше не на что надеяться. Зрелища должны были начаться. Каждый день Лигия могла очутиться в цирковом «куникулум» — отделении для осужденных, — откуда был один выход: на арену. Виниций не знал, куда бросит ее судьба и жестокое насилие, поэтому он обошел все цирки, подкупил сторожей и бестиариев, заведовавших зверями, добиваясь от них того, чего они не могли сделать. Он заметил, что хлопочет теперь лишь о том, чтобы смерть ее была не очень мучительной, и тогда он ясно ощущал, что вместо мозга в его черепе пылают горящие угли.

Он не думал пережить ее и решил погибнуть вместе с ней. Но он боялся, что боль выжжет в нем жизнь, прежде чем наступит ужасный срок. Его друзья, и Петроний также, боялись, что каждый день перед ним может открыться царство теней. Лицо Виниция почернело и стало похоже на одну из тех восковых масок, какие вешали среди домашних лар. На лице его застыло выражение изумления, словно он не понимал, что произошло и что может произойти. Когда к нему обращались с вопросом, он поднимал руки

к голове, сжимал виски и смотрел на вопрошавшего испуганным и недоумевающим взором. Ночи проводил с Урсом около каморки Лигии в тюрьме, а когда она отсылала его и хотела, чтобы он отдохнул, то Виниций шел к Петронию и ходил там до утра по атриуму. Рабы заставляли его часто на коленях, с протянутыми вверх руками, или простертым на земле. Он молился Христу — это была его последняя надежда. Все напрасно. Лигию могло спасти лишь чудо, поэтому Виниций бился головой о каменный пол и просил чуда.

Но у него было также глубокое убеждение, что молитва апостола Петра значит больше, чем его мольбы. Петр обещал ему Лигию, Петр крестил его, Петр совершал чудеса, пусть он поможет и спасет ее.

Однажды ночью он отправился на поиски. Христиане, которых мало осталось на свободе, теперь скрывались даже друг от друга, чтобы кто-нибудь малодушный вольно или невольно не выдал других. Среди общего замешательства занятый хлопотами, Виниций потерял из вида Петра, так что со дня своего крещения встретил его лишь один раз, еще до начала гонений. Отправившись к могильщику, в хижине которого был крещен, он узнал там, что в винограднике за Соларийскими воротами, принадлежащем Корнелию Пуденсу, должно состояться собрание верующих. Могильщик предложил Виницию проводить его, уверяя, что там он непременно найдет апостола. С наступлением вечера они вышли из хижины и, проникнув за городские стены, долго шли по оврагам, пока не достигли виноградника, лежавшего в пустынной местности. Собрание происходило в сарае, где обычно давили вино. До слуха Виниция донесся шепот молитв; когда он вошел, то при тусклом свете фонариков увидел несколько десятков людей, стоящих на коленях и погруженных в молитву. Они читали нечто вроде литании,<sup>[55]</sup> и хор мужских и женских голосов повторял каждую минуту: «Христе, помилуй нас!» И в голосе их слышалась глубокая, душу раздирающая печаль и боль.

Петр был здесь. Он стоял на коленях впереди, у деревянного креста, прибитого к стене, и молился. Виниций издали узнал его седые волосы и протянутые руки. Первою мыслью молодого патриция было пробраться сквозь толпу, броситься к ногам апостола и вопить: «Спаси!» Но торжественность молитвы или собственный упадок сил заставили его склонить колена у самого входа и со стоном и сжатыми руками повторять вместе с другими: «Христе, помилуй нас!» Если бы он мог сознавать, то понял бы, что не он один принес сюда свою боль, свое страдание и тревогу. Среди собравшихся не было никого, кто не потерял бы близких сердцу людей; лучшие и наиболее преданные учению люди были схвачены,

каждый день приносил новые вести об издевательствах и мучениях, которым они подвергались в тюрьмах; величина бедствия превзошла все, что могли себе представить люди; в этой горсти оставшихся на свободе не одно сердце колебалось в вере и, исполненное сомнения, вопрошало: «Где же Христос? Почему он допускает, чтобы зло было более могущественным, чем Бог?»

Но теперь они с отчаянием в душе молили о милосердии, потому что в каждом сердце оставалась еще искорка надежды, что Христос придет, уничтожит зло, свергнет в бездну Нерона и станет царем мира... Они смотрели на небо, прислушивались, трепетно молились...

По мере того как Виниций повторял за другими: «Христе, помилуй нас!» — его охватывал восторг, как тогда, в хижине могильщика. Его призывают сердца, исполненные боли, его призывает Петр, поэтому сейчас разверзнется небо, земля задрожит в своих основах, и грядет он в нестерпимом блеске, с созвездьями у ног, милосердный и грозный Судия. Он утешит своих последователей и ввергнет в пучину их гонителей.

Виниций закрыл лицо руками и припал к земле. Наступила тишина, словно страх сковал дальнейшие мольбы в устах присутствующих. Виницию казалось, что сейчас что-то должно непременно произойти, что настал час чуда. Он был уверен, что когда поднимется и откроет лицо, то увидит свет, от которого слепнут смертные глаза, и услышит голос, от которого замрет сердце.

Но тишина не прерывалась. Потом послышались глухие рыдания женщин.

Виниций поднялся и смотрел перед собой изумленными глазами.

В сарае, вместо царственного блеска, слабо светились тусклые огоньки фонарей, а свет луны, проникая через отверстие в крыше, наполнял помещение дрожащим серебристым сиянием. Склоненные рядом с Виницием люди молча поднимали залитые слезами глаза к кресту; слышались рыдания, а снаружи доносился тихий свист стоявших на страже.

Вдруг поднялся с колен Петр и, обратившись к собравшимся, сказал:

— Дети, откройте сердца Спасителю нашему и принесите ему в дар ваши слезы.

И замолчал.

Вдруг раздался голос женщины, полный жалобы и безграничной боли:

— Я вдова, имела одного сына, который кормил меня... Верни его мне! Снова наступила тишина.

Петр стоял над коленопреклоненной толпой — старый, огорченный, он



казался в эту минуту воплощением дряхлости и бессилия. Потом послышался еще голос:

— Палачи обесчестили мою дочь, и Христос допустил это!

И еще голос:

— Я осталась одна с детьми, а когда меня схватят, кто будет кормить их?

И еще:

— Лиана, которого было оставили, теперь взяли и обрекли на мучения.

И еще:

— Когда мы вернемся домой, нас схватят преторианцы. Где нам укрыться?

— Горе нам! Горе! Кто нас защитит?

Так в ночной тишине одна за другой раздавались жалобы.

Старый рыбак закрыл глаза, и его белая голова сочувственно тряслась над этим людским горем и страхом. Снова настало молчание, и только стража тихо посвистывала снаружи.

Виниций хотел было снова вскочить, пробраться сквозь толпу и, приблизившись к апостолу, просить у него помощи и спасения. Но вдруг он словно увидел перед собой бездну, и приросли к земле ноги его. Что будет, если апостол признается в своем бессилии, если он подтвердит, что римский цезарь сильнее Христа Назарянина? При этой мысли ужас поднял на его голове волосы, и он почувствовал, что в этой бездне погибнет не только его надежда, но и сам он, и Лигия, и его любовь к Христу, и его вера, и все, чем он жил, — останется лишь смерть и безбрежная, как море, ночь.

Между тем Петр начал говорить тихим голосом, так что его с трудом можно было услышать:

— Дети мои! Я видел на Голгофе, как Спасителя прибавали к кресту. Я слышал удары молотка и видел, как поднимали кверху крест, чтобы толпа увидела смерть Сына Человеческого...

...

«...И я видел, как пронзили его бок, и как он умер. Тогда, возвращаясь с места казни, я горестно восклицал, как восклицаете вы теперь: «Горе, горе! Господи! Ты — Бог! Почему же ты допустил это? Почему ты умер и опечалил сердца веривших, что придет царство твое?..»

«...А он, наш Господь и Бог наш, на третий день воскрес и был среди нас, пока в великой светлости не вступил в царство свое...

Мы, постигнув его малой верой нашей, укрепились в сердцах наших и с той поры сеем зерно его...»

...

Повернувшись в ту сторону, откуда послышалась первая жалоба, он стал говорить более сильным голосом:

— Зачем вы жалуетесь?.. Бог предал себя самого мукам и смерти, а вы хотите, чтобы Он вас защитил от этого! Маловеры! Так-то вы поняли его учение? Разве одну эту земную жизнь он обещал вам? Бог приходит к вам и говорит: «Идите путем моим», возносит вас до себя, а вы хватаетесь руками за землю и вопите: «Господи, спаси нас!» Я — прах пред лицом Бога, но для вас я апостол Божий и Наместник и говорю вам во имя Христа: не смерть пред вами, но жизнь, не муки, но величайшая радость, не слезы и стоны, а райские песни, не цепи, а царский венец! Я, апостол Божий, говорю тебе, вдова: сын твой не умрет, но родится во славе для новой жизни, и ты соединишься с ним! Тебе, отец, у которого палачи обидели невинных дочерей, я обещаю, что ты найдешь их более чистыми, чем лилии Геброна! Вам, матери, которых разлучат с детьми, вам, которые потеряете отцов, вам, которые жалуетесь, вам, которые будете смотреть на смерть близких людей, вам, печальные, несчастные, встревоженные, вам, обреченные на смерть, вам во имя Христа говорю я, что вы пробудитесь словно после тяжелого сна на радостное бодрствование и после ночи увидите свет Божий. Во имя Христа, пусть бельмо спадет с глаз ваших и пусть разгорятся сердца ваши!

Сказав это, он поднял руку, словно благословляя, и все почувствовали в жилах новую кровь и дрожь в теле, потому что стоял перед ними не дряхлый старик, а владыка, который взял их души, поднял их из праха и тревоги.

— Аминь! — воскликнуло несколько голосов.

А глаза старца светились сильнее, и весь он казался теперь мощным, величественным, святым. Головы склонялись перед ним, а он, когда смолкли крики: «Аминь!» — продолжал:

— Сейте в печали, чтобы снять жатву в радости. Зачем боитесь силы злого? Над землей, над Римом, над стенами городов есть Господь, который живет в вас. Камни отсыреют от слез, песок напитается кровью, могилы будут завалены телами вашими, а я вам говорю: вы победите! Господь идет против этого города преступлений и гордыни, и вы — легион его! И подобно тому, как сам он искупил своими мучениями и кровью грехи мира, так хочет он, чтобы и вы искупили мучениями и кровью своей это гнездо преступлений!.. Это я говорю вам, дабы вы слышали!

Он простер руки и глаза поднял кверху, а у присутствующих сердца замерли, потому что все чувствовали, что он видит нечто, чего не могут

увидеть их смертные глаза.

Лицо его изменилось и стало светлым, он молчал некоторое время, словно онемел от восторга, потом услышали его голос:

— Ты здесь, Господи, и ты указал мне пути свои!.. Как? Не в Иерусалиме, а в этом граде Сатаны ты хочешь основать столицу твою? Здесь, из этих слез и крови, ты хочешь воздвигнуть церковь свою? Там, где сегодня властвует Нерон, должно быть основано вечное царство твое? О Господи! Господи! И этим робким слугам твоим велишь из костей своих воздвигнуть основание Сиона, а духу моему велишь править ими и народами мира?.. И вот ты исполнил силой сердца слабых, чтобы стали они сильными, и здесь ты велишь мне пасти овец твоих до скончания веков... Будь благословен в приказаниях твоих! Ты, который велишь победить!.. Осанна! Осанна!..

Те, кто был в смятении и тревоге, встали, в тех, кто усомнился, влилась широкой струей вера. Одни голоса зывали: «Осанна!», другие: «За Христа!..» Потом все смолкли. Зарницы освещали внутренность сарая, лица были бледны от волнения.

Петр долго еще молился. Наконец он пришел в себя и, повернув к верным вдохновенную, светлую свою голову, сказал:

— Как Господь победил в вас сомнения, так и вы идите побеждать во имя его!

И хотя он знал, что они победят, хотя знал, что вырастет из их слез и крови, однако голос его дрогнул от волнения, когда он стал благословлять их знамением креста.

— А теперь благословляю вас, дети мои, на муку, на смерть, на вечность!

Христиане окружили его, говоря: «Мы готовы, но ты, святой отец, береги себя, ибо ты Наместник, который правит дело Христово!» Они касались его одежд, а он клал руки на головы их, прощался с каждым в отдельности, как отец с детьми, отправляющимися в далекий путь.

И тотчас народ стал расходиться, нужно было спешить домой, а оттуда... в тюрьмы и на арену. Их чувства оторвались от земли, души их вознеслись к вечности, и они шли как очарованные или во сне — противопоставить свою силу силе и жестокости «зверя».

Апостола взял с собой Нерей, слуга Корнелия, и повел тайной тропой через виноградник к своему дому. Но за ними следом шел Вениций, и когда наконец они подошли к дому, он бросился вдруг к ногам апостола. Тот, узнав его, спросил:

— Чего ты хочешь, сын мой?

Но Виниций, после всего, что слышал только что, не решался ни о чем просить его и, обняв крепко колени старика, прижимал к ним, рыдая, свою голову, без слов прося сжалиться над ним и помочь.

Апостол сказал:

— Знаю. Взяли девушку, которую ты возлюбил. Молись за нее.

— Отец! — стонал Виниций, сильнее прижимаясь к старику. — Отец, я мал и ничтожен, а ты знал Христа, ты моли его, чтобы он спас ее.

Он дрожал от боли, как лист, и колотился головой о землю, ибо, узнав силу апостола, верил, что один Петр может вернуть ему Лигию.

Петр тронут был его страданием. Вспомнил, как недавно Лигия, запуганная Криспом, так же лежала у его ног, прося снисхождения. Вспомнил, как поднял ее и утешил, поэтому и теперь он поднял Виниция.

— Милый сын, я буду молиться за нее, но ты помни, что я говорил сомневающимся: сам Бог прошел чрез крестную муку, и помни, что за этой жизнью начинается другая, вечная.

— Я знаю!.. Я слышал, — ответил Виниций, лоя бледными губами воздух, — но не могу, отец мой, не могу... Если нужна кровь, то проси Христа, чтобы взял мою... Я солдат. Пусть удвоят, утроят муку, предназначенную ей, я выдержу! Но пусть он сохранит ее! Она еще ребенок! А он могущественнее цезаря, я верю! Он сильный! Ты сам любил ее. Ты нас благословил. Она еще невинный ребенок!

Он снова склонился, прижал лицо к ногам Петра и повторял:

— Ты знал Христа, отец! Он выслушает тебя! Помолись за нее!

Петр закрыл глаза и горячо молился.

Зарницы освещали летнее небо. При их блеске Виниций смотрел на лицо апостола, ожидая приговора. Жизнь или смерть? В тишине слышался свист ночных птичек в винограднике и глухой далекий шум мельниц у Саларийской дороги.

— Виниций, — спросил наконец апостол, — веришь ли ты?

— Разве я пришел бы к тебе, отец, если бы не верил? — ответил Виниций.

— Так верь до конца, ибо вера двигает горами. Поэтому, если даже увидишь девушку под мечом палача или в пасти льва, верь, что Христос может спасти ее. Верь и молись ему, а я буду молиться вместе с тобой.

Потом, подняв лицо к небу, Петр громко заговорил:

— Милосердный Христос, взгляни на это больное сердце и утешь его! Милосердный Христос, ты просил отца, чтобы отвел горькую чашу от уст твоих, отведи ее теперь от уст слуги твоего! Аминь!

Виниций, протягивая руки к звездам, стонал:

— О Христос! Я весь твой! Возьми меня, но сохрани ее!  
Небо начало светлеть на востоке.

Виниций, покинув апостола, пошел в тюрьму с надеждой в утешенном сердце. Где-то в глубине души еще кричало отчаяние и ужас, но он подавил в себе эти крики. Ему казалось невероятным, чтобы предстательство Божьего Наместника и сила его молитвы не оказали своего действия. Он боялся не надеяться, боялся сомневаться. «Буду верить в его милосердие, — думал он, — хотя бы увидел ее в пасти льва!» И при мысли об этом, хотя весь дрожал и лоб покрывался холодным потом, он верил. Каждый удар его сердца был теперь молитвой. Он начал понимать, что вера двигает горами, потому что почувствовал в себе какую-то странную силу, какой не чувствовал раньше. Ему казалось, что он сможет с ее помощью совершить то, что вчера еще для него было совершенно невозможно. Иногда он испытывал такое чувство, словно бедствия окончились и опасность миновала. Когда отчаяние стонало еще в его душе, он вспоминал эту ночь и это святое мудрое лицо, молитвенно обращенное к небу. «Нет! Христос не откажет первому из учеников своих и пастырю стада! Христос не откажет ему, и я не усомнюсь». И он бежал к тюрьме, как вестник с благой вестью.

Но здесь ждала его печальная новость.

Преторианцы, сторожившие Мамертинскую тюрьму, знали его и обычно не мешали свободно проходить туда, но на этот раз цепь не поднялась, и подошедший сотник сказал ему:

— Прости, благородный трибун, но на сегодня мы получили приказ не пропускать никого.

— Приказ? — повторил, бледнея, Виниций.

Солдат сочувственно посмотрел на него и сказал:

— Да, господин. Приказ цезаря. В тюрьме много больных, и, может быть, поэтому опасаются, что навещающие заключенных разнесут заразу по городу.

— Но приказ лишь на сегодняшний день?

— В полдень сменяется стража.

Виниций замолчал и снял с головы шапку, которая показалась ему тяжелой, словно из олова.

Но солдат наклонился к нему и сказал тихим голосом:

— Успокойся, господин. Сторож и Урс берегут ее.

Сказав это, он быстро начертил на каменной плите мостовой своим

длинным галльским мечом рыбу. Виниций быстро взглянул на него.

— И ты остаешься преторианцем?

— Пока не буду там, — ответил солдат, указывая на тюрьму.

— И я почитаю Христа.

— Да прославится имя его! Я знаю об этом, господин. Не могу впустить тебя в тюрьму, но если напишешь письмо, то я передам его сторожам.

— Спасибо тебе, брат!..

И, пожав солдату руку, он отошел. Шапка перестала быть тяжелой. Утреннее солнце поднялось над тюрьмой, а с его светом вернулась снова в сердце Виниция бодрость. Этот солдат-христианин был для него новым свидетельством силы Христа. Он немного постоял, устремив взор на розовые облака над Капитолием и храмом Статора.

— Я не увиделся с ней сегодня, Господи, но я верю в твое милосердие!

Дома ждал его Петроний, который, как всегда, обращал ночь в день и недавно вернулся с пира. Он успел принять ванну и приготовиться ко сну.

— Есть для тебя новости, — сказал он. — Был я сегодня у Туллия Сенеция, где встретился с цезарем. Не знаю, откуда Поппее пришла в голову мысль привести с собой маленького Руфия... Может быть, затем, чтобы его красотой смягчить сердце цезаря. К несчастью, утомленный мальчик заснул во время чтения, как некогда Веспасиан; увидев это, Меднобородый бросил в него кубком и сильно поранил. Поппея упала в обморок, и все слышали, как цезарь сказал: «Мне надоел этот щенок!» — а это, ты ведь знаешь, равносильно смертному приговору.

— Поппее грозит Божий гнев, — сказал Виниций, — но зачем ты мне это рассказываешь?

— Рассказываю потому, что тебя и Лигию преследовал гнев Поппеи, а теперь она занята собственным горем, может быть, забудет о мести и легче будет смягчить ее. Сегодня вечером увижусь с ней и буду говорить.

— Спасибо. Это добрая весть для меня.

— А теперь прими ванну и отдохни. Лицо у тебя синее, и весь ты похож на тень.

Но Виниций спросил:

— Не говорили, когда будут первые игры?

— Дней через десять. Но раньше очистят другие тюрьмы. Чем больше у нас будет времени, тем лучше. Не все еще потеряно.

Петроний говорил то, во что сам не верил. Он прекрасно знал, что раз цезарь нашел красиво звучащий ответ на просьбу Алитура, в котором сравнивал себя с Брутом, то для Лигии не может быть спасения. Он из

жалости скрыл от Виниция то, что слышал у Сенеция: цезарь и Тигеллин решили выбрать для себя и для друзей самых красивых христианских девушек и обесчестить их перед играми; остальных предположено было отдать в день игр преторианцам и бестиариям.

Зная, что Виниций не переживет Лигию, он нарочно поддерживал надежду в его сердце, во-первых, из сочувствия к нему, а во-вторых, как эстету, ему было важно, чтобы Виниций умер красивым, а не исхудавшим, с лицом черным от боли и бессонницы.

— Сегодня я скажу Августе приблизительно следующее: спаси для Виниция Лигию, а я спасу тебе Руфия. Я действительно подумаю об этом. У Меднобородого одно вовремя сказанное слово может спасти или погубить. В худшем случае мы выиграем время.

— Спасибо тебе, — сказал Виниций.

— Ты лучше всего отблагодаришь меня, если подкрепишься и уснешь. Клянусь Афиной, Одиссей в величайших бедствиях не забывал о пище и сне. Всю ночь ты, вероятно, провел в тюрьме?

— Нет, я хотел сейчас пойти туда, но есть приказ никого не пропускать. Узнай, на сегодняшний ли день этот приказ, или до начала игр?

— Узнаю сегодня ночью и завтра утром скажу тебе, почему этот приказ дан и надолго ли. А теперь, пусть хоть Гелиос от печали сойдет в Киммерийские поля, я иду спать, а ты последуй моему примеру.

Они простились. Но Виниций прошел в библиотеку и стал писать письмо Лигии.

Когда он кончил его, то отнес сам и вручил солдату-христианину, который тотчас отправился с письмом в тюрьму. Он скоро вернулся с приветом от Лигии и обещанием сегодня же передать ответ.

Виницию не хотелось возвращаться домой, поэтому он сел на камень и стал ждать ответа от Лигии. Солнце поднялось высоко; к Форуму, как всегда, шли толпы людей. Торговцы выкрикивали названия товаров; гадатели предлагали прохожим свои услуги; граждане медленно шли к роstrам,<sup>[56]</sup> чтобы послушать ораторов и обменяться с друзьями новостями. По мере того как жара становилась сильнее, толпы бездельников прятались под тень колоннад, из-под которых с громким хлопаньем вылетали сотни голубей, сверкая белизной перьев в солнечном свете и лазури.

Ослепленный солнцем, оглушенный шумом, от жары и невероятной усталости, Виниций почувствовал, что его клонит ко сну. Монотонные крики мальчиков, играющих поблизости в свайку, мерные шаги проходивших солдат убаюкивали его. Он пытался поднять голову,



посмотрел еще раз на тюрьму, оглянулся вокруг и, прислонившись к стене и глубоко вздохнув, как ребенок, который засыпает после долгого плача, уснул наконец.

Его тотчас обступили видения. Ему казалось, что среди ночи он несет на руках Лигию по незнакомому винограднику, а впереди идет Помпония со светильником в руке и освещает дорогу. Чей-то голос, словно голос Петрония, зовет издали: «Вернись!» — но он не обращает внимания на зов и идет дальше, пока не подходит к хижине, на пороге которой стоит апостол Петр. Он показывает старцу Лигию и говорит: «Мы идем на арену, отец, но не можем разбудить ее, разбуди ты!» А Петр отвечает: «Христос сам придет разбудить ее».

Потом все смешалось. Он видел Нерона и Поппею, держащую на руках маленького Руфия с окровавленной головой, которую обмывал Петроний, и Тигеллина, посыпающего пеплом столы, уставленные дорогими кушаньями, Вителия, пожирающего эти блюда, и множество августианцев, принимающих участие в пире. Он сам возлежит рядом с Лигией, но между столами ходят львы и по их рыжим бородам стекает кровь. Лигия просит увести ее отсюда, а им овладело такое бессилие, что он не может пошевелиться. Потом все совершенно спуталось в какой-то хаос и погрузилось в глубокий мрак.

Его разбудил нестерпимый солнечный зной и крики поблизости от того места, где он сидел. Виниций протер глаза; улица кишела людьми, два скорохода в желтых туниках разгоняли палками толпу, с криком прокладывая дорогу пышной лектике, которую несли четыре рослых египтянина.

В лектике сидел человек, одетый в белую тогу, но лица его нельзя было разглядеть, потому что он держал у глаз свиток папируса, который, казалось, внимательно читал.

— Место для благородного августианца! — кричали скороходы.

На улице была, однако, такая теснота, что лектика принуждена была на минуту задержаться. Тогда августианец нетерпеливо опустил свиток и, высунув голову, крикнул:

— Разогнать этих бездельников! Скорей!

Но, увидев Виниция, тотчас спрятал голову и снова углубился в чтение.

Виниций провел рукой по лицу, думая, что все еще продолжает видеть сон.

В лектике сидел Хилон.

Дорога была очищена, египтяне хотели тронуться вперед, но вдруг

молодой трибун, в одно мгновение понявший многое, чего раньше не понимал, приблизился к лектике.

— Привет тебе, Хилон! — сказал он.

— Привет и тебе, юноша! — с чувством достоинства и гордостью ответил грек, стараясь придать лицу выражение спокойствия, которого не было в душе. — Но не задерживай меня, потому что я спешу к другу своему, благородному Тигеллину.

Виниций, схватившись за край лектики, нагнулся к нему и, глядя прямо в глаза, сказал тихим голосом:

— Ты выдал Лигию?..

— Колосс Мемнона! — со страхом воскликнул Хилон.

Но в очах Виниция не было угрозы, поэтому испуг грека быстро прошел. Он вспомнил, что находится под покровительством цезаря и Тигеллина, перед которыми все трепещет, что его окружают сильные рабы, а Виниций стоит перед ним безоружный, с исхудалым лицом, согнувшийся от боли.

К нему вернулась его наглость. Он уставился на Виниция своими покрасневшими глазами и шепнул в ответ:

— А ты, когда я умирал с голоду, велел отхлестать меня.

Наступило молчание. Потом Виниций глухо сказал:

— Я обидел тебя, Хилон!..

Тогда грек поднял голову и, щелкнув пальцами, что в Риме означало пренебрежение и презрение, ответил громко, так, чтобы все могли слышать:

— Если у тебя есть просьба, приятель, то приходи ко мне в дом, на Эсквиллине поутру, когда я после ванны принимаю гостей и клиентов.

Он сделал знак рукой, и рабы подняли лектику, а скороходы в желтых туниках стали выкликать, размахивая палками:

— Место для лектики благородного Хилона Хилонида! Дорогу! Дорогу!

## XII

В длинном, лихорадочно написанном письме Лигия прощалась навсегда с Виницием. Ей было известно, что в тюрьму больше нельзя проникнуть и что она увидит Виниция лишь с арены. Она просила его, чтобы он точно узнал, когда будет их очередь, и присутствовал на играх, потому что хотела еще раз в жизни увидеть его. В письме не было ни малейшего страха. Писала, что и она и другие жаждут арены, как освобождения из тюрьмы. Думая, что Помпония с Авлом вернулись в Рим, она умоляла позвать и их. В каждом слове чувствовался восторг и отрешенность от жизни, в которой жили все заключенные, и вместе с тем непоколебимая вера, что обещания должны исполниться после смерти. «Теперь ли Христос освободит меня, — писала она, — или после смерти, он обещал меня тебе через апостола, следовательно, я твоя». И она заклинала не оплакивать ее и не предаваться горю. Смерть не являлась для нее расторжением брака. С простотой ребенка она уверяла Виниция, что вслед за мучениями на арене она скажет Христу о том, что в Риме остался у нее жених, Марк, который любит ее всем сердцем. Она думала, что Христос отпустит на минуту ее душу к нему, чтобы сказать, что она жива, что мучения забыты и что она счастлива. Все письмо ее было исполнено счастья и надежды. Была в нем одна лишь просьба, связанная с землей: чтобы Виниций взял ее тело с арены и похоронил ее, как жену свою, в родовом склепе, в котором со временем сам будет погребен.

Виниций читал это письмо с растерзанным сердцем, и в то же время ему казалось невероятным, чтобы Лигия погибла от клыков хищных зверей и чтобы Христос не смилостивился над ней. В этом именно сосредоточилась его надежда и вера. Вернувшись домой, он написал ответ, что будет ежедневно приходить к стенам тюрьмы и ждать, пока Христос не сокрушит этих стен и не отдаст ему ее. Он заставил поверить ее, что Христос может спасти ее даже на арене, что великий апостол молит его об этом и что час освобождения близок. Христианин-сотник должен был передать ей это письмо завтра утром.

Когда Виниций пришел утром следующего дня к тюрьме, сотник, покинув строй, подошел к нему первый и сказал:

— Послушай меня, господин. Христос, просветивший тебя, оказал тебе милость. Сегодня ночью пришли вольноотпущенники цезаря и префекта, чтобы выбрать для них христианских девушек на позор;

спрашивали и про возлюбленную твою, но Господь послал ей лихорадку, от которой умирают здесь заключенные, поэтому они не тронули ее. Вчера вечером она была уже без памяти, и да будет благословенно имя Христово, потому что болезнь, спасшая от бесчестья, может быть, спасет ее и от смерти.

Виниций оперся рукой на плечо солдата, чтобы не упасть, а тот продолжал:

— Благодарю Господа за милосердие. Лина схватили и предали мучениям, но, увидев, что он умирает, вернули его. Может быть, и тебе отдадут ее теперь, а Христос вернет ей здоровье.

Молодой трибун постоял некоторое время с опущенной головой, потом поднял ее и сказал тихо:

— Да, сотник. Христос, спасший ее от позора, спасет и от смерти.

И, просидев у стен тюрьмы до вечера, вернулся домой, чтобы послать своих людей к Лину и перенести его в одну из своих пригородных вилл.

Петроний, узнав обо всем происшедшем, решил действовать. Он был уже у Поппеи, теперь отправился к ней еще раз. Застал ее у ложа маленького Руфия. Ребенок с разбитой головой метался в лихорадке, мать с отчаянием старалась спасти его, думая, что если ей удастся спасти его теперь, то вскоре он может погибнуть еще более ужасной смертью.

Занятая только своей болью, она не хотела ничего слышать о Виниции и Лигии, но Петроний изумил ее. «Ты оскорбила, — сказал он, — новое неведомое божество; говорят, ты считаешь еврейского бога, но христиане утверждают, что Христос его сын, так подумай, не преследует ли тебя гнев отца. Кто знает, не месть ли с их стороны твое горе, и не зависит ли жизнь Руфия от того, как ты поступишь?..»

— Что следует мне сделать? — со страхом спросила Поппея.

— Умилостивить разгневанных богов.

— Каким образом?

— Лигия больна. Подействуй на цезаря или Тигеллина, чтобы ее выдали Виницию.

Она с отчаянием воскликнула:

— Ты думаешь, я могу это сделать?

— Тогда сделай вот что. Если Лигия выздоровеет, то должна идти на смерть. Сходи в храм Весты и попроси, чтобы старшая весталка была около тюрьмы, когда будут выводить заключенных. Она может приказать освободить эту девушку, и ее послушают. Великая весталка не откажет тебе в этом.

— А если Лигия умрет?

— Христиане уверяют, что Христос мстителен, но справедлив: может быть, ты смягчишь его сердце искренним желанием сделать это.

— Пусть он пошлет мне знамение, что Руфий уцелеет.

Петроний пожал плечами.

— Я не прихожу, божественная, в качестве его посла, и я говорю тебе: лучше быть в мире со всеми богами — римскими и чужими.

— Я пойду к весталке, — упавшим голосом сказала Поппея.

Петроний вздохнул с облегчением.

«Наконец-то я добился своего», — подумал он.

Вернувшись домой, он сказал Виницию:

— Проси своего бога, чтобы Лигия не умерла от болезни. Лигию освободит великая весталка. Поппея будет просить ее об этом.

Виниций посмотрел на него лихорадочными глазами и сказал:

— Ее освободит Христос.

Поппея, готовая ради спасения Руфия приносить гекатомбы<sup>[57]</sup> всем богам мира, в этот же вечер отправилась на Форум к весталкам, поручив больное дитя верной няньке Сильвии, которая вынянчила и Поппею.

Но ребенок был уже обречен. Как только лектика Августы исчезла за воротами Палатина, в комнату, где лежал больной мальчик, вошли два вольноотпущенника цезаря; один бросился на старую Сильвию и зажал ей рот, другой, схватив медное изображение сфинкса, одним ударом оглушил ее.

Потом они подошли к Руфию. Метавшийся в бреду мальчик, не понимая, что происходит вокруг него, улыбался им и шурил свои прекрасные глаза, словно силясь узнать их. Сняв с няньки пояс, они обернули им шею мальчика и стали душить. Ребенок, один лишь раз позвав мать, умер. Они завернули тело в простыню и, вскочив на приготовленных коней, поспешили в Остию, где бросили труп в море.

Поппея, не застав великой весталки, которая с подругами была на пиру у Ватиния, вскоре вернулась на Палатин.

Найдя пустое ложе и застывший труп няньки, она упала в обморок, а когда ее привели в чувство, долго кричала, и дикие ее вопли раздавались всю ночь и следующий день.

На третий день цезарь велел ей быть на пиру. Надев аметистовую тунику, она пришла с каменным лицом, златокудрая, молчаливая, прекрасная и зловещая, как ангел смерти.

## XIII

Пока Флавии не возвели каменный Колизей, римские амфитеатры строились из дерева, поэтому почти все они и сгорели во время пожара. Нерон, ради обещанных народу зрелищ, велел построить несколько амфитеатров, в том числе один огромный, для которого после пожара стали привозить в Рим по морю и по Тибру могучие стволы деревьев, срубленных на склонах Атласа. Так как игры своим великолепием и количеством жертв должны были превзойти все виденное до сих пор, то были выстроены также большие помещения для людей и зверей. Тысячи рабочих были заняты постройкой днем и ночью. Строили и украшали амфитеатр непрерывно. Народ рассказывал чудеса о колоннах, украшенных бронзой, янтарем, слоновой костью, перламутром и костью заморских черепах. По желобам вдоль сидений бежала холодная вода из горных источников, которая поддерживала приятную прохладу в театре даже во время самой большой летней жары. Огромный пурпурный веларий защищал от солнцепека. В проходах были поставлены курительницы с аравийскими благовониями; наверху были устроены приборы, с помощью которых зрителей обсыпали шафраном и вербеной. Знаменитые строители Север и Целер напрягли все свои способности, чтобы возвести ни с чем не сравнимый амфитеатр, который в то же время мог вместить такое число зрителей, как ни один из старых.

Поэтому в день, когда должны были начаться игры, толпы народа с ночи ждали открытия ворот, с удовольствием прислушиваясь к рыканию львов, хищному мяуканью пантер и вою собак. Зверям не давали есть в течение двух дней, их дразнили видом кровавых кусков мяса, чтобы сделать их более кровожадными и свирепыми. Иногда поднимался такой ужасный рев и вой, что окружавшие цирк люди не могли разговаривать, а более впечатлительные бледнели от страха. С восходом солнца из цирка стало доноситься торжественное спокойное пение, которое чернь слушала с изумлением, крича: «Христиане, христиане!» Множество христиан было приведено еще ночью, и не из одной только тюрьмы, как предполагалось раньше, а из всех понемногу. В толпе знали, что зрелища продолжатся несколько недель, а может быть, и месяцев; спорили, управятся ли до вечера с большим количеством христиан, предназначенных на этот день; голоса мужчин, женщин и детей, певших утренний гимн, были так многочисленны, и люди опытные утверждали, что если будут посылать на

смерть по сто или двести людей в день, то звери насытятся и к вечеру не смогут растерзать всех. Другие утверждали, что слишком большое число жертв, выступающих одновременно на арене, рассеивает внимание и не дает возможности как следует любоваться зрелищем. По мере того как приближалось время открытия ворот, толпа оживлялась и весело спорила относительно разных подробностей предстоящих игр. Стали образовываться партии: одни стояли за тигров, другие за львов. Некоторые беседовали о гладиаторах, которые должны были выступить раньше христиан на арене. Тут и там бились об заклад. Ранним утром отряды гладиаторов под начальством их учителей-ланистов стали приходить в цирк. Не желая утомлять себя раньше времени, они шли без оружия, иногда совершенно голые, с зелеными ветвями в руках, увенчанные цветами, молодые, прекрасные в это ясное утро, полное жизни. Их тела, блестящие от масла, сильные, словно высеченные из мрамора, приводили в восторг влюбленную в красивые формы толпу. Многих знали по именам, и повсюду слышались крики: «Здравствуй, Фурний! Здравствуй, Лев! А вот Максим! Вот Диомед!» Девушки смотрели на них влюбленными глазами, а те выбирали более красивых и бросали им веселые слова, как будто им ничто не угрожало; они восклицали: «Обними меня прежде, чем обоймет смерть!» И они исчезали в воротах, из которых немногим суждено было выйти. За гладиаторами прошли «мастигофоры», то есть люди, на обязанности которых было бичевать и раззадоривать борющихся. На повозках, запряженных мулами, провезли горы деревянных гробов. Толпа была в восторге от количества их, потому что это служило обещанием многочисленности жертв. Потом шли люди, которые должны были добивать побежденных, одетые в наряды Харона или Меркурия, за ними — наблюдающие за порядком в цирке, распределяющие места, рабы, которые должны были разносить угощение и прохладительные напитки, наконец преторианцы, которые всегда должны быть в цирке под рукой у цезаря.

Наконец раскрылись ворота — и народ хлынул в коридоры амфитеатра. Зрителей было так много, что они в течение нескольких часов наполняли места, и было удивительно, что цирк мог вместить столь огромное количество народа. Рев зверей, почувствовавших запах толпы, усилился. Народ гудел в цирке, как море во время прибою.

Появился городской префект в сопровождении вигилей, за ним непрерывной цепью потянулись лектики сенаторов, консулов, преторов, государственных и придворных чинов, начальников претории, патрициев и светских женщин. Впереди некоторых лектик шли ликторы<sup>[58]</sup> с топориками в пучке розог, некоторые были окружены толпой рабов. Под

солнцем сверкало золото лектик, белые и цветные одежды, перья, шлемы, драгоценные украшения, блеск оружия. Из цирка доносились крики, которыми народ приветствовал своих знатных любимцев. Время от времени проходили небольшие отряды преторианцев.

Жрецы пришли позднее, за ними появились лектики с весталками, впереди которых шли ликторы. Ждали цезаря, который не хотел раздражать народ долгим ожиданием и прибыл скоро в сопровождении Августы и своих приближенных.

Петроний прибыл с августианцами; в лектике вместе с ним сидел Виниций. Он знал, что Лигия больна и лежит без памяти, но так как за последние дни доступ в тюрьму был строжайше воспрещен и старых сторожей заменили новыми, которым нельзя было разговаривать с приходящими к тюрьме родственниками и друзьями заключенных, то он не был уверен, что Лигии нет среди жертв, предназначенных на первый день игр. Для львов могли бросить и больную. Так как христиан предполагалось зашить в шкуры и целыми толпами выгонять на арену, то никто из зрителей не смог бы установить, есть среди жертв близкий человек или нет; узнать было почти невозможно. Сторожа и служители амфитеатра были подкуплены, с бестиариями также состоялось соглашение, — Лигию должны были спрятать в каком-нибудь темном углу, а ночью выдать верному человеку Виниция, который и увез бы ее в Альбанские горы. Петроний, посвященный в тайну, посоветовал Виницию открыто, вместе с ним, войти в цирк и только потом, замешавшись в толпе, проникнуть в подземелье, чтобы там, во избежание ошибки, показать сторожам Лигию.

Сторожа пропустили его через маленькую дверцу, которой проходили сами. Один из них, по имени Сир, провел его тотчас в помещение, где находились христиане. По дороге он сказал:

— Не знаю, господин, найдешь ли ту, которую ищешь. Мы расспрашивали про девицу по имени Лигия, но никто нам не ответил: может быть, они не доверяют нам.

— Много их? — спросил Виниций.

— Многие, господин, останутся на завтрашние игры.

— Есть среди них больные?

— Таких, которые не могли бы стоять на ногах, нет.

Сказав это, Сир открыл дверь, и они вошли. Это было огромное помещение, темное и низкое, свет проникал лишь через решетчатые отверстия, отделявшие его от арены. В первую минуту Виниций не мог ничего разглядеть, он слышал лишь глухой говор здесь и крики толпы в цирке. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел причудливо наряженных



людей, похожих на волков и медведей. Это были христиане, зашитые в звериные шкуры. Одни стояли, другие молились, упав на колени. По длинным распущенным волосам можно было отличить женщин. Матери, похожие на волчиц, носили на руках также зашитых в шкуры детей. Но из-под меха виднелись светлые лица, сверкали радостной лихорадкой глаза. Было видно, что большей частью этих людей овладела какая-то одна мысль, чуждая земле и ее делам, которая еще при жизни сделала их нечувствительными ко всему, что их окружало и что ждало впереди. Одни, которых Вениций расспрашивал про Лигию, смотрели на него глазами внезапно разбуженных людей и не отвечали на вопрос; другие улыбались ему и клали палец на губы или указывали на железную решетку, сквозь которую врывались с арены снопы солнечного света. Кое-где плакали дети, напуганные рычанием хищников, воем псов, криками толпы и похожими на зверей фигурами своих родителей. Вениций шел рядом с Сиром и заглядывал в лица, расспрашивал, натянулся на упавших в обморок от духоты и жары, пробирался дальше, в темную глубину помещения, которое казалось очень большим.

Вдруг он остановился; ему послышалось, что около решетки прозвучал чей-то знакомый голос. Прислушавшись, он протолкался назад и встал поблизости. Сноп света падал на голову говорившего, и под волчьей шкурой Вениций узнал исхудавшее и неумолимое суровое лицо Криспа.

— Покайтесь в грехах ваших, — говорил Крисп, — потому что пришел час. Но кто думает, что смертью искупит вину свою, тот грешит снова и будет ввергнут в вечный огонь. Каждым грехом вашим, совершенным при жизни, вы возобновляли страдания Господа, поэтому как дерзаете вы думать, что ожидающее вас страдание может искупить его муку? Одинаковой смертью умрут сегодня праведники и грешники, но Господь отличит своих. Горе вам, ибо клыки львов растерзают сегодня тела ваши, но не растерзают ни грехов, ни ваших счетов с Богом! Господь оказал вам достаточно милосердия, когда дал себя распять на кресте, но теперь он будет лишь грозным Судией, который не оставит без кары ни одного греха. Поэтому тот, кто думает, что страданиями может искупить грехи свои, богохульствует против Господней справедливости и тем глубже будет низвергнут. Кончилось милосердие, настал час гнева Божьего. Вот скоро предстанете вы пред грозным Судией! Кайтесь в грехах ваших, ибо разверсты бездны ада, и горе вам, мужчины и женщины, родители и дети, горе вам!

Протянув исхудавшие руки, он потрясал ими над склонившимися людьми, неустрашимый, но в то же время и неумолимый даже в

присутствии смерти, на которую должны были сейчас пойти все осужденные. Послышались голоса: «Каемся в грехах наших!» — а потом наступило молчание и слышно было лишь, как плакали дети. У Виниция кровь стыла в жилах. Он, полагавший все свои надежды на милосердие Христа, услышал теперь, что пришел день гнева и что даже смерть на арене не может смягчить грозного Судию. Правда, у него мелькнула светлая мысль, быстрая как молния, что апостол Петр иное говорил бы этим обреченным на смерть людям, однако грозные, суровые слова Криспа и это мрачное помещение с решетками, за которыми виднелось поле страданий, наконец, толпа людей, которые должны скоро погибнуть ужасной смертью, — все это наполнило его сердце ужасом и тревогой. Все вместе взятое было гораздо страшнее самых жестоких и кровавых битв, в которых он принимал участие. От духоты и жары он начал задыхаться. Холодный пот выступил на лбу. Он испугался, что упадет в обморок, как те, о чьи тела он спотыкался, пробираясь в глубь помещения; ему пришло в голову, что сейчас могут открыть решетки, и он стал громко звать Лигию и Урса, в надежде, что если не они, то кто-нибудь знающий их откликнется на его зов.

Действительно, человек в медвежьей шкуре потянул его за тогу и сказал:

— Господин, они остались в тюрьме. Я выходил последний и видел ее больную на ложе.

— Кто ты? — спросил Виниций.

— Могильщик, у которого в хижине крестил тебя апостол. Три дня тому назад меня схватили, а сегодня я умру.

Виниций облегченно вздохнул. Входя сюда, он хотел найти здесь Лигию, теперь же готов был благодарить Христа, что ее нет, и в этом видел знак его милосердия.

Могильщик еще раз потянул его за тогу и сказал:

— Помнишь, господин, как я проводил тебя в виноградник Корнелия, где учил апостол Петр?

— Помню, — ответил Виниций.

— Я видел его после, накануне того дня, когда меня схватили. Он благословил меня и сказал, что придет в театр перекрестить умирающих. Я хотел бы посмотреть на него в минуту смерти и увидеть знамение креста, тогда мне легче будет умереть... Поэтому если ты знаешь, то скажи, где он?

Виниций понизил голос и ответил:

— Среди слуг Петрония, в одежде раба. Не знаю, куда их посадили, но вернусь в цирк и увижу. Ты смотри на меня, когда выйдешь на арену, а я

встану и повернусь в их сторону. И ты найдешь его там.

— Благодарю тебя, господин, и мир с тобою.

— Пусть Спаситель будет милостив к тебе.

— Аминь.

Виниций выбрался из помещения и прошел в амфитеатр, где у него было место рядом с Петронием, среди августианцев.

— Здесь? — спросил его Петроний.

— Нет. Осталась в тюрьме.

— Послушай, вот что пришло мне в голову, но пока я буду говорить, ты смотри на Нигидию, что ли, чтобы казалось, что мы беседуем о ее прическе... Тигеллин и Хилон смотрят на нас сейчас... Итак, слушай: пусть Лигию положат ночью в гроб и вынесут из тюрьмы, как умершую... остальное ясно...

— Да, — ответил Виниций.

Их разговор был прерван Туллием Сенецием, который наклонился к ним и сказал:

— Вы не знаете: дадут христианам оружие или нет?

— Не знаем, — ответил Петроний.

— Я предпочел бы, чтобы им дали его, — говорил Туллий, — иначе арена скоро станет похожа на бойню. Но как великолепен амфитеатр!

Действительно, вид был превосходный. Нижние ряды, занятые людьми в тогах, белели как снег. В позолоченной ложе сидел цезарь с алмазным ожерельем на шее, в золотом венке; рядом с ним сидела прекрасная и мрачная Августа, а рядом с ними весталки, высшие чины, сенаторы, военачальники в сверкающих латах — словом, все, что в Риме было блестящего, богатого, знатного. Дальше сидели патриции, а выше чернело море голов, над которым между столбами свешивались гирлянды, свитые из лилий, роз, плюща и винограда.

Зрители громко разговаривали, перекликались, пели, иногда хохотали над чьей-нибудь удачной остротой, которая потом передавалась дальше по рядам, иногда начинали вдруг топтать от нетерпения, требуя начала.

Наконец хохот стал похож на раскаты непрекращающегося грома. Тогда городской префект, который перед этим в сопровождении пышной свиты уже объехал вокруг арены, дал знак платком, и весь амфитеатр ответил дружным криком одобрения.

Обычно игры начинались охотой на дикого зверя, в которой принимали участие варвары с Севера и Юга. Но на этот раз зверей было с избытком, поэтому начали с андабатов, то есть людей, на головах которых были надеты шлемы без прорези для глаз, поэтому им приходилось

сражаться вслепую. Несколько пар их вышло на арену; они тотчас стали размахивать мечами, а мастигифоры<sup>[59]</sup> с помощью длинных вил подталкивали их друг к другу, чтобы они могли завязать борьбу. Более избалованные зрители смотрели равнодушно и с пренебрежением на это зрелище, но простой народ потешался над неловкими движениями соперников, и когда случалось, что они сталкивались друг с другом спиной, раздавался взрыв смеха и крики: «Направо!», «Налево!», «Прямо!», причем часто нарочно путали противников. Несколько пар встретилось наконец вплотную, и борьба становилась кровавой. Наиболее яростные бросали в сторону щиты, подавали друг другу левую руку, чтобы не разъединиться больше, а правой начинали борьбу насмерть. Упавший поднимал кверху руку, умоляя о пощаде, но в начале игр народ обыкновенно требовал смерти для раненых, особенно во время состязаний в закрывавших лицо шлемах, потому что имена гладиаторов не были известны толпе. Мало-помалу число сражавшихся уменьшалось, пока наконец их не осталось двое; их столкнули так, что они упали на песок и пронзили друг друга. Тогда служители уволокли трупы, а мальчишки замели на арене кровавые следы и посыпали ее шафраном.

Теперь должна была наступить более серьезная борьба, возбуждавшая любопытство не только у черни, но и у людей, привычных к зрелищам; молодые патриции в таких случаях не раз ставили большие заклады и часто проигрывали все свое состояние. Тотчас стали передавать друг другу таблички с именами любимцев и суммой сестерций, которую каждый ставил на своего. Гладиаторы, уже выступавшие в цирке и побеждавшие, пользовались наибольшим успехом, но среди игроков были и такие, которые ставили значительные суммы на новичков, совсем неизвестных, в надежде, что в случае удачи получат большой выигрыш. Ставил даже цезарь, весталки, жрецы и сенаторы. Люди из народа, если у них не было денег, часто ставили на кон свою свободу. С большим волнением и тревогой следили за каждым движением борцов и даже произносили вслух мольбы богам, чтобы вымолить у них помощь своим любимцам.

Когда раздались пронзительные звуки труб, в амфитеатре наступила тишина напряженного ожидания. Тысячи глаз были направлены на человека, переодетого Хароном, который подошел среди всеобщего молчания к огромным воротам и постучал в них три раза молотком, словно вызывая на смерть тех, которые были скрыты за ними. Медленно раскрылись ворота, обнажая черную бездну, из которой стали выходить на ярко освещенную арену гладиаторы. Шли они отрядами по двадцать пять человек, отдельно фракийцы, мирмилоны, самниты, галлы, все тяжело

вооруженные, наконец, ретиарии, которые в одной руке держали сеть, в другой трезубец. При виде их на скамьях послышались рукоплескания, которые вскоре перешли в бурю и грохот. Повсюду видны были взволнованные, разгоряченные лица, слышались крики. А те обошли арену мерным шагом, сверкая оружием и богатыми доспехами, потом остановились перед ложей цезаря, гордые, спокойные и торжественные. Пронзительный рев трубы заставил народ замолчать, и тогда гладиаторы подняли правые руки и, повернув головы к цезарю, стали кричать, вернее, петь протяжными голосами:

Ave, caesar imperator!  
Morituri te salutant!<sup>[60]</sup>

Потом они быстро разбежались в разные стороны, занимая места вокруг арены. Они должны были ударить друг на друга отрядами, но раньше лучшим гладиаторам позволено было помериться друг с другом силами в отдельных встречах, чтобы лучше могли быть показаны сила, ловкость и храбрость противников. Из среды галлов тотчас выдвинулся один, известный публике под кличкой Ланий, победитель на многих состязаниях. В большом шлеме на голове и в панцире, обхватывающем его могучую грудь, на желтой арене он был похож на блестящего жука. Не менее известный гладиатор с сетью Календий выступил против него.

Послышались крики:

- Пятьсот сестерций за галла!
- Пятьсот за Календия!
- Тысяча!
- Две тысячи!

Галл, дойдя до середины арены, стал отступать, держа наготове меч и нагнув голову; он внимательно следил за противником. А тот, ловкий, стройный, с прекрасной фигурой, как у ожившей статуи, обнаженный, с одним узким поясом на бедрах, носился вокруг тяжело вооруженного врага, красиво размахивая сетью и трезубцем и напевая обычную песенку:

Non te peto, piscem peto,  
Quid me fugis, Galle.<sup>[61]</sup>

Но галл не бежал. Он тотчас остановился и лишь медленно

поворачивался еле заметным движением, чтобы всегда иметь противника прямо перед собой. В его фигуре и чудовищно большой голове было теперь что-то страшное. Зрители прекрасно понимали, что это тяжелое, закованное в медь тело готовится к внезапному прыжку, который может решить исход борьбы. Календий то подбегал к нему, то отскакивал, делая столь быстрые движения своим трезубцем, что зрители с трудом могли следить за ними. Звон зубцов о щит слышался несколько раз, но галл не пошелохнулся, что служило свидетельством его колоссальной силы. Все его внимание было сосредоточено не на трезубце, а на постоянно мелькавшей над его головой сети, похожей на хищную птицу. Зрители затаив дыхание следили за искусной борьбой гладиаторов. Наконец Ланий улучил мгновение и ринулся на врага, а тот не менее быстро проскочил под направленным на него мечом и, выпрямившись, метнул сеть.

Галл, повернувшись, отбил ее щитом, и они разошлись. В амфитеатре закричали, затопали, послышались рукоплескания — и снова стали делаться ставки. Цезарь, в начале разговаривавший с весталкой Рубрией и не очень интересовавшийся зрелищем, теперь повернул голову к арене.

Они снова начали борьбу, причем движения их были столь отчетливы и размеренны, словно здесь дело шло не о жизни и смерти, а о том, чтобы показать искусство и ловкость. Ланий, дважды увернувшись от сети, снова стал отступать. Тогда ставившие против него, не желая, чтобы он отдыхал, стали вопить: «Нападай!» Галл послушал и напал. На руке врага выступила кровь, и сеть беспомощно повисла. Ланий сжался и прыгнул, чтобы нанести последний роковой удар. Но в это мгновение Календий, лишь сделавший вид, что не в силах владеть сетью, отскочив в сторону, избег удара и, просунув трезубец между ног Галла, свалил его на землю.

Тот пытался вскочить, но в одно мгновение его опутали роковые петли, и от каждого движения его руки и ноги затягивались сетью все сильнее и сильнее. А трезубец своими ударами держал его все время на земле и не давал возможности подняться. Он делал последние усилия, наполовину поднялся, но тщетно! Поднял к голове онемевшую руку, в которой уже не мог держать меча, и упал навзничь. Календий прижал зубцами его шею к земле и, опираясь обеими руками на трезубец, повернулся к ложе цезаря.

Цирк дрожал от рукоплесканий и рева. Для тех, кто ставил на Календия, он в эту минуту был выше цезаря, но потому именно у них не было злобы против поверженного Лания, который ценой своей крови наполнил их кошельки. Другие, наоборот, настойчиво требовали смерти. На скамьях голоса разделились — одна половина стояла за смерть, другая — требовала пощады. Но гладиатор смотрел лишь на цезаря и весталок,

ожидая их знака.

К несчастью, Нерон не любил Лания, потому что на последних играх до пожара он ставил против Лания и проиграл значительную сумму Лицинию. Поэтому он протянул руку, обратив большой палец вниз.

Весталки сделали то же. Тогда Календий прижал грудь Лания коленом, достал короткий нож из-за пояса и, раздвинув панцирь около шеи врага, вонзил ему в горло трехгранное острие по самую рукоятку.

Ланий судорожно забился, копая ногами песок, потом вытянулся и стал неподвижен.

Меркурию не нужно было пробовать раскаленным железом, жив ли он. Тело тотчас убрали. Выступили другие пары, а потом началась борьба целыми отрядами. Народ принимал во всем живейшее участие: выл, рычал, свистал, рукоплескал, хохотал, ободрял сражавшихся, безумствовал. Разделившиеся на две партии гладиаторы боролись с яростью диких зверей: тела сталкивались грудь с грудью, сплетались в смертельных объятиях, могучие члены трещали в суставах, мечи пронзали грудь или живот, кровь широкими струями лилась на песок из побледневших губ.

Некоторыми новичками под конец овладел ужас, и они, вырвавшись из свалки, пытались бежать, но мастигифоры тотчас загнали их в середину бичами. На песке видны были темные пятна; множество голых и облаченных в латы тел лежало на земле, как снопы; живые наступали на мертвых, ранили ноги о сломанное оружие, падали и гибли.

Народ блаженствовал, упивался смертью, вдыхал ее, насыщал глаза ее видом и с упоением следил за борьбой.

Побежденные почти все полегли. Лишь несколько раненых встали на колени среди арены и, протягивая руки к зрителям, молили о пощаде. Победителям розданы были награды, венки, оливковые ветви. Наступил перерыв, который по приказу могущественного цезаря превратился в пиршество. Закурили благовония; народ осыпали дождем фиалок и шафрана. Рабы стали разносить жареное мясо, сладости, прохладительные напитки, вино, фрукты. Народ насыщался, беседовал, громко хвалил цезаря, чтобы побудить его к еще большей щедрости. Когда народ насытился, появились сотни рабов с корзинами, полными подарков; мальчики, похожие на амуров, стали вынимать разные вещи и бросать их зрителям. Во время раздачи лотерейных билетов произошла драка: люди давили друг друга, вопили, кричали, прыгали по скамьям, задыхались в свалке. Получивший счастливый билет мог выиграть дом с садом, раба, прекрасную одежду или дикого зверя, которого потом мог продать в цирк. Произошла такая суматоха, что преторианцы принуждены были силой

восстановить порядок. После каждой раздачи со скамей уносили людей с поломанными руками или насмерть задавленных в свалке.

Богачи не принимали участия в борьбе за билеты. Августинцы потешались видом Хилона и шутками над его тщетными усилиями показать, что он может, как и другие, смотреть спокойно на борьбу гладиаторов и проливаемую кровь. Напрасно несчастный грек хмурил брови, кусал губы и сжимал кулаки так, что ногти впивались в тело. Его душа грека и личная трусливость не переносили подобных зрелищ. Лицо побледнело, на лбу выступили капли пота, губы посинели, глаза впали, он щелкал зубами и весь трясся, как в лихорадке. Во время перерыва он несколько пришел в себя, но его стали донимать насмешками; тогда он внезапно рассердился и стал отчаянно огрызаться на насмешников.

— Что, грек, тебе не очень приятен вид растерзанного человеческого тела? — спрашивал Хилона, дергая его за бороду, Ватиний.

Хилон оскалил на него два своих последних желтых зуба и ответил:

— Мой отец не был сапожником, поэтому я не умею класть на него заплат.

— Ловко! Победил! — крикнуло несколько голосов.

Но шутки продолжались.

— Не его вина, что вместо сердца в его груди кусок сыра! — воскликнул Сенеций.

— Не твоя вина, что вместо головы у тебя пузырь, — огрызнулся Хилон.

— Может быть, ты хочешь сделаться гладиатором? Ты был бы прекрасен с сетью на арене.

— Если бы я поймал ею тебя, то мой улов имел бы скверный запах.

— А как быть с христианами? — спросил Фест из Лигурии. — Не захотел ли бы ты стать псом, чтобы кусать их?

— Мне не хотелось бы иметь тебя своим братом.

— Ах ты, трутень меосский!

— А ты Лигурийский мул!

— У тебя, видно, чешется шкура, но не советую тебе просить меня, чтобы я почесал ее.

— Почешись сам. Если скovyрнешь все свои прыщи, то уничтожишь все, что есть в тебе лучшего.

Так они издевались над ним, а он ядовито огрызнулся при всеобщем смехе. Цезарь рукоплескал и подзадоривал их. Но вот подошел Петроний и, дотронувшись до плеча грека своей тростью из слоновой кости, холодно сказал:



— Прекрасно, философ, но в одном ты ошибся: боги создали тебя плутом, а ты захотел быть демоном, поэтому не выдержишь!

Старик посмотрел на него своими покрасневшими глазами и на этот раз не нашел, что ответить. Помолчав, он с усилием сказал:

— Выдержу!..

В эту минуту затрубили трубы, давая знать, что перерыв кончился. Зрители стали покидать проходы, где они собирались, чтобы размяться и побеседовать. Поднялся шум и споры из-за мест. Сенаторы и патриции тоже спешили на свои места. Понемногу шум стихал, и порядок в амфитеатре установился. На арене появилась толпа людей, чтобы выровнять слипшийся от крови в некоторых местах песок.

Пришла очередь христиан. Это было новое зрелище для народа, никто не знал, как они будут держаться, поэтому все ждали их появления с любопытством. Настроены были внимательно, потому что ждали необыкновенной картины, но в общем враждебно. Ведь люди, которые должны были появиться сейчас, сожгли Рим и его вечные сокровища. Ведь они питались кровью младенцев, отравляли воду, проклинали весь человеческий род и совершали необыкновенные преступления. Возбужденной ненависти недостаточно было жестокого наказания, и если закрадывалось в сердце сожаление, то лишь о том, что мучения не будут достаточно жестоки за преступление этих врагов порядка.

Солнце было высоко, и его лучи, проникавшие сквозь пурпурный велариум, протянутый сверху, наполнили арену багровым светом. Песок казался огненным, и было что-то страшное в этом освещении, в этих напряженных лицах, в этой пустой арене, которая через минуту должна наполниться человеческим страданием и бешенством зверей. Казалось, в воздухе носились ужас и смерть. Обычно веселая толпа теперь под влиянием ненависти мрачно и зловеще молчала.

Но вот префект подал знак, и снова появился старик, представлявший Харона, вызывавшего на смерть обреченных; среди глухой тишины он медленно прошел через всю арену и снова трижды постучал молотком в широкие ворота.

По амфитеатру пронесся шепот:

— Христиане! Христиане!..

Заскрежетали железные решетки; в темных отверстиях послышался обычный крик мастигофоров: «На арену!» — и в одну минуту арена заполнилась толпами людей, одетых в звериные шкуры. Они быстро и лихорадочно выбегали на середину круга, опускались друг подле друга на колени и поднимали вверх руки. Толпа думала, что это мольба о пощаде, и,

взбешенная, стала топтать, свистеть, швырять в них пустыми сосудами из-под вина, обглоданными костями и реветь: «Зверей! Зверей!..» Но вдруг произошло нечто неожиданное: христиане запели гимн, впервые прозвучавший в римском цирке:

Христос наш царь!..

..

Тогда зрителями овладело изумление. Христиане пели, подняв глаза к небу. Виднелись бледные лица, казавшиеся вдохновенными. Все поняли, что эти люди не просят пощады и что они не видят ни цирка, ни народа, ни сенаторов, ни самого цезаря. Гимн звучал все громче, а на скамьях среди зрителей не один задавал себе вопрос: что это за Христос, который царствует над людьми, обреченными на смерть?

Но вот открылась вторая решетка, и на арену с диким лаем выскочила свора собак. Здесь были огромные псы с Пелопоннеса, с Пиренеев, похожие на волков иберийские<sup>[62]</sup> собаки, — их нарочно морили голодом, они исхудали и глаза их злоежде горели. Вой и рычанье наполнили цирк. Христиане, кончив петь, оставались неподвижными, словно окаменели, повторяя хором, похожим на стон: «За Христа! За Христа!» Собаки, почуяв людей под звериными шкурами и удивленные их бездействием, не решались сразу броситься на них. Часть из них царапала барьер, словно хотела добраться до зрителей, другие бегали вокруг и лаяли, словно гнались за невидимым зверем. Народ сердился. Раздались крики, и некоторые из зрителей стали подражать реву зверей, другие лаяли, как собаки, или натравливали их на всех языках мира. Цирк дрожал от крика. Раздраженные собаки стали нападать на коленопреклоненных людей, но в страхе отбегали прочь, пока наконец одна из более крупных собак не вцепилась зубами в плечо женщины и не потащила ее за собой.

Тогда десяток других бросились на толпу, словно сквозь брешь. Зрители перестали рычать и следили с напряженным вниманием. Среди воя и ворчания слышались еще слабые голоса мужчин и женщин: «За Христа! За Христа!» Но вот на арене все смешалось в кучу людских и собачьих тел. Кровь лилась ручьями из терзаемых людей. Собаки рвали друг у друга раздираемую жертву. Запах крови заглушил благовонные курения и наполнил весь цирк. Под конец лишь изредка можно было увидеть стоящего на коленях человека, на которого тотчас налетала свора псов.

Виниций, который в минуту появления христиан, согласно уговору,

встал и повернулся в ту сторону, где находились люди Петрония, чтобы показать могильщику апостола, опустился на свое место и сидел, глядя стеклянными глазами на ужасное зрелище. Сначала его охватил было страх при мысли, что могильщик мог ошибиться и Лигия — среди жертв, но когда он услышал слова «За Христа!», когда увидел муку этих людей, свидетельствующих своего Бога и свою правду, им овладело другое чувство, причинявшее ему нестерпимую боль, но которому он не мог противиться: он понял, что, если Христос умер в мучениях, а теперь мучатся и проливают за него свою кровь тысячи людей, — лишняя капля крови ничего не значит, и даже грех в таком случае просить у Бога милосердия. Эта мысль пришла к нему с арены, достигла его души вместе со стонами умирающих, с запахом их крови. Однако он продолжал молиться, повторяя иссохшими губами: «Христос! Христос!.. И твой апостол молится за нее!» Потом он перестал понимать окружающее, и ему казалось, что кровь залила арену, цирк и течет теперь по Риму. Он ничего не слышал — ни воя собак, ни криков народа, ни голосов августианцев, которые вдруг закричали:

— Хилон упал в обморок!..

— Хилон упал в обморок, — повторил Петроний, поворачиваясь в ту сторону, где было место грека.

Хилон сидел белый как мел, с головой, запрокинутой назад, с широко открытым ртом, как у мертвеца.

Но в это время стали выталкивать на арену новые жертвы.

Они тотчас становились на колени, как их предшественники, но уставшие собаки не хотели их трогать. Лишь некоторые набросились на ближайших, остальные легли в стороне, подняв вверх окровавленные морды, поводили боками и тяжело дышали.

Тогда обеспокоившийся в душе, но опьяненный кровью и обезумевший народ стал пронзительно кричать:

— Львов! Львов!

Львов берегли на следующий день игр, но в цирке народ навязывал свою волю всем, даже цезарю. Один лишь Калигула, ничего не боявшийся и переменчивый в своих решениях, осмеливался сопротивляться, и случалось, что он приказывал бить толпу палками, — но и Калигула часто принужден был уступить. Нерон, больше всего в мире дороживший рукоплесканиями, всегда потакал народу, а тем более сейчас, когда нужно было успокоить нервную после пожара толпу и свалить на христиан всю вину.

Он дал знак, чтобы решетки снова были подняты; увидевший это

народ тотчас успокоился. Послышался скрежет решеток, за которыми были львы. При виде львов собаки сбились в одну кучу в отдаленном углу арены и жалобно скулили. Один за другим вылетали на арену звери, огромные, страшные, с косматыми головами. Даже цезарь повернул к ним сучающее лицо и приложил изумруд к глазу, чтобы лучше видеть. Августинцы приветствовали зверей рукоплесканиями; толпа жадно следила за их прыжками и за тем, какое впечатление произвело их появление на христиан, продолжавших стоять на коленях и повторять непонятные для многих и потому раздражающие слова: «За Христа! За Христа!»...

Но львы, хотя и были голодны, не спешили к жертвам. Багровый свет на арене тревожил их, они щурились, словно ослепленные; некоторые ложились, вытягивая на песке свои золотые тела; некоторые раскрывали пасти, зевая, словно хотели показать зрителям свои страшные клыки. Но потом запах крови и вид истерзанных тел на арене стал действовать на них. Скоро движения их стали беспокойны, гривы поднялись, ноздри жадно втягивали воздух. Один припал вдруг к телу растерзанной женщины с окровавленным лицом и, положив передние лапы ей на грудь, стал лизать своим длинным языком засохшую кровь; другой приблизился к человеку, который держал на руках зашитого в шкуру ребенка.

Дитя кричало и плакало, хватаясь за шею отца, а тот, желая хоть на несколько минут продлить ему жизнь, старался оторвать ручки, чтобы передать дитя в середину. Но крик и движение раздражили льва. Он издал короткий рев, сбил ребенка ударом лапы и, схватив в пасть голову отца, размозжил ее в одно мгновение.

Видя это, и все другие львы набросились на христиан. Некоторые женщины не могли удержаться от крика ужаса, но народ заглушил их громом рукоплесканий, которые, впрочем, тотчас прекратились, потому что желание следить за происходящим превозмогло. Тогда увидели страшные вещи: головы жертв исчезали в пасть зверей, грудь пробивалась насквозь одним ударом лапы; вырывались сердца; слышен был треск костей на зубах. Некоторые львы, схватив жертву за бок или за спину, бешено носились по арене, словно искали скрытого места, где могли бы спокойно терзать тело; иные бросались друг на друга, становились на задние лапы, обхватывая один другого, как борцы, и наполняли цирк ревом. Зрители вскакивали с мест, спускались ниже, в проходы, чтобы лучше видеть; происходила невероятная давка; казалось, разъяренная толпа бросится на арену, чтобы вместе с львами терзать христиан. Слышались страшные крики, иногда рукоплескания, иногда рев, рычание, щелканье зубов, вой собак и редко — стон...

Цезарь держал изумруд у глаза и внимательно смотрел. Лицо Петрония выражало презрение и брезгливость. Хилона уже вынесли из цирка.

На арене появлялись все новые жертвы.

С самого верхнего ряда амфитеатра смотрел на них апостол Петр. Никто не обращал внимания на старца, все были увлечены происходившим на арене, поэтому он встал и как несколько дней назад в винограднике, благословлял на смерть и вечность тех, кого должны были схватить, так теперь осенял знамением креста погибавших, их кровь, их муку, тела, превращенные в бесформенные куски мяса, и души, отлетавшие к иной жизни. Некоторые поднимали на него глаза и радостно улыбались, видя над собой в вышине знак креста. А у Петра надрывалось сердце, и он шептал: «О Господи, да будет воля твоя! Во славу твою и свидетельствуя истину, гибнут овцы мои! Ты велел мне пасти их, поэтому передаю их тебе, а ты, Господи, сочти их, залечи раны, облегчи страдания и дай им больше счастья на небе, чем претерпели они мук на земле!»

И он благословлял одного за другим, толпу за толпой, с такой великой любовью, словно это были его дети, которых он передавал прямо на руки Христу. Вдруг цезарь, по рассеянности или желая, чтобы зрелище превзошло все доселе виденное в Риме, шепнул несколько слов городскому префекту, и тот, покинув ложу, тотчас скрылся во внутренних помещениях. И даже народ пришел в изумление, когда через минуту снова заскрежетали решетки. Теперь выпускали всяких зверей: тигров с Евфрата, нумидийских пантер, медведей, волков, гиен и шакалов. Вся арена покрылась волнующимися телами зверей, желтых, черных, коричневых, пестрых. Наступило замешательство, ничего нельзя было разглядеть в этом хаосе кувывкавшихся звериных тел. Зрелище перестало быть похожим на действительность и превратилось в какой-то кошмар, оргию крови, какую-то страшную грезу обезумевшей души. Мера была превзойдена. Среди рева и воя слышались с разных сторон амфитеатра истерические крики и смех женщин, не выдержавших напряжения. Людям стало страшно. Лица исказились. Слышались отчаянные крики: «Довольно! Довольно!»

Но зверей легче было выпустить, чем загнать обратно. Но цезарь нашел способ очистить от них арену, доставив новое развлечение народу. Во всех проходах появились черные, украшенные перьями нумидийцы с луками. Зрители поняли, что им предстоит увидеть, и приветствовали их радостными криками; а те, подойдя к барьеру, стали осыпать зверей тучами стрел. Это действительно было ново — стройные черные тела откидывались назад, натягивали тугую тетиву и посылали стрелу за

стрелой. Певучий звук тетивы и свист пернатых стрел смешивался с ревом восхищенной толпы и воем раненых зверей. Волки, медведи, пантеры и оставшиеся в живых люди сбились в тесную кучу. Лев, почувствовав укол стрелы в бок, поднимал вдруг разъяренную морду, разевал пасть и пытался вырвать ужалившую стрелу. Мелкие звери, всполошившись, бегали по арене или теснились у решеток, а стрелы все время свистели и свистели, пока все живое не было истреблено.

Тогда на арену выбежали сотни цирковых рабов, вооруженных кирками, лопатами, метлами, тачками. Закипела работа. Арену быстро очистили от трупов, крови и кала, вскопали и выровняли землю, посыпали толстым слоем свежего песка. Потом выбежали амуры, разбрасывая лепестки роз, лилии и другие цветы. Снова стали жечь аравийские благовония. Веларий<sup>[63]</sup> Веларий — занавес, которым прикрывали амфитеатры. был сдернут, потому что солнце уже клонилось к закату.

Люди с удивлением переглядывались, недоумевая, какое еще зрелище может быть им показано сегодня.

Их ждало то, о чем никто не мог догадаться. Цезарь, покинувший перед этим свою ложу, появился вдруг на засыпанной цветами арене, одетый в пурпурный плащ и золотой венок. Двенадцать певцов с кифарами выступали за ним, а он с серебряной лирой в руках торжественно вышел на середину и, поклонившись зрителям, поднял глаза к небу и застыл так, словно ожидая вдохновенья.

Потом ударил по струнам и запел:

О, лучезарный сын Латоны, владыка Килии,  
Тенедоса и Хризы, мощный покровитель  
Илиона священного, — гневу ахейцев ты предал  
Город седого Приама, тебя почитавший от века,  
И алтари обрек на бесчестье и кровью троянцев,  
О Сребролукий, позволил обрызгать! К тебе простирали  
Старцы молитвенно руки, и слышал ты женские крики  
Матерей, умолявших тебя о пощаде напрасно!  
Камень услышал бы горькую жалобу, но ты, жестокий,  
Менее чутко, чем камень, внимал человеческой боли!..

Песнь переходила постепенно в печальную, полную боли элегию. Цирк взволнованно молчал. Сам цезарь растрогался и продолжал петь:

Лиры божественной звуком ты мог заглушить стенанья,  
Вопли, рыданья и крик людей, обреченных на гибель.  
Видишь, и ныне слеза набегаёт на чуткие очи,  
Как роса на цветок, внимая горестной песне,  
Воскресившей из праха и пепла пожарищ несчастье  
И роковую погибель... Где был ты в тот час, Сребролукий?

Голос Нерона задрожал, и его глаза стали влажными. На глазах весталок также показались слезы, а народ после долгого молчания разразился долго не смолкавшим громом рукоплесканий.

А в это время через раскрытые коридоры доносился скрип телег, на которые складывались кровавые останки христиан, мужчин, женщин и детей, чтобы вывезти их за город и бросить в ямы, которые назывались путикулы.

Апостол Петр схватился руками за свою белую дрожащую голову и восклицал в душе:

«Господи! Господи! Кому ты отдал власть над миром? И почему ты хочешь основать свою столицу в этом городе?»

## XIV

Солнце склонилось к горизонту и, казалось, таяло в вечерней заре. Игры были кончены. Народ покидал амфитеатр и выходил из цирка, толпами рассеиваясь по городу. Августинцы пережидали, пока схлынет толпа. Все они собрались у ложи цезаря, куда тот вернулся, чтобы выслушивать льстивые похвалы. Хотя слушатели и не жалели рук, хлопая ему после окончания песни, для него этого было мало, потому что он ждал восторгов, переходивших в безумие. Напрасно теперь все рассыпались в льстивых восклицаниях, напрасно весталки целовали «божественные» пальцы, а Рубрия наклонилась к нему так близко, что золотистая голова ее касалась его груди, — Нерон был недоволен и не мог этого скрыть. Его удивляло и тревожило, что Петроний молчит. Какое-нибудь одно слово его, оттеняющее достоинства стиха, какая-нибудь похвала из уст знатока была бы ему в эту минуту великим утешением. Не в состоянии более выдержать, он сделал Петронию знак и, когда тот подошел к ложе, спросил:

— Скажи...

Петроний холодно ответил:

— Молчу, потому что ты превзошел себя. И я не нахожу слов.

— И мне так казалось, однако народ...

— Как можешь ты требовать от черни, чтобы она ценила поэзию?

— Значит, и ты заметил, что меня благодарили не так, как это следовало бы?

— Потому что ты выбрал неудачную минуту.

— Почему?

— Мозги, напитавшиеся кровью, не могут внимательно слушать.

Нерон сжал кулаки и воскликнул:

— Ах, эти христиане! Сожгли Рим, а теперь обижают меня. Какие еще мученья придумать им?

Петроний понял, что он избрал неверную дорогу и что слова его вызывают действие обратное тому, чего он хотел добиться, поэтому, желая отвлечь мысли от христиан, он наклонился к цезарю и прошептал:

— Твоя песнь превосходна, но я сделаю одно лишь замечание: в четвертом стихе третьей строфы размер оставляет желать лучшего.

Нерон покраснел, словно его уличили в постыдном преступлении, посмотрел на него со страхом и ответил шепотом:

— Ты все заметишь!.. Знаю!.. Я переделаю!.. Но ведь больше никто не



заметил, не правда ли? Но ты, ради богов, не говори никому... если... тебе дорога жизнь...

Петроний нахмурил брови и ответил с выражением скуки на лице:

— Ты, божественный, можешь обречь меня на смерть, если я мешаю тебе, но не пугай меня ею, потому что боги прекрасно знают, боюсь ли я ее.

Сказав это, он посмотрел Нерону прямо в глаза, а тот, помолчав, сказал:

— Не сердись... Ты ведь знаешь, что я люблю тебя...

«Плохой признак», — подумал Петроний.

— Я хотел было позвать вас сегодня на пир, но теперь запрись и буду оттачивать этот проклятый четвертый стих. Кроме тебя, ошибку могли заметить Сенека и, может быть, Секунд Карин, но я тотчас отделаюсь от них.

Цезарь позвал Сенеку и заявил, что с Аркатом и Каринном он должен поехать по Италии и во все провинции за сбором денег, которые он повелевает ему брать с городов, деревень, с знаменитых храмов — словом, отовсюду, где они есть и откуда их можно выжать. Сенека, который понял, что ему навязывают роль грабителя, святотатца и разбойника, отказался наотрез.

— Я должен ехать в свое имение, государь, чтобы ждать там смерти... Я стар, и мои нервы больны...

Иберийские нервы Сенеки были, пожалуй, здоровее, чем нервы Хилона, но общее состояние вообще было худо, — он походил на тень и за последнее время совершенно поседел.

Нерон, посмотрев на него внимательно, подумал, что действительно он протянет недолго, и сказал:

— Не буду подвергать тебя трудностям путешествия, если ты болен, но из любви, какую питаю к тебе, хочу, чтобы ты всегда был у меня под рукой, поэтому вместо поездки в имение запрись в своем доме и сиди там безвыходно.

Он засмеялся и продолжал:

— Но если пошлю Арката и Карина одних, то будет похоже, что я послал волков за овцами. Кому отдать их под начало?

— Отдай мне! — сказал Домиций Афр.

— Нет! Я боюсь навлечь на Рим гнев Меркурия, которого ты превзошел бы воровством. Мне нужен стоик, как Сенека, или как мой новый друг — философ Хилон.

Сказав это, он оглянулся по сторонам и спросил:

— А что случилось с Хилоном?

Хилон, отдышавшийся на чистом воздухе, вернулся в цирк к пению цезаря, приблизился к Нерону и сказал:

— Я здесь, светлый плод солнца и луны. Я был мертв, но твоя песнь воскресила меня.

— Пошлю тебя в Ахайю, — сказал Нерон. — Ты должен знать до последнего гроша, сколько там хранится в каждом храме.

— Сделай это, о Зевс, а боги наградят тебя так, как до сих пор никого не награждали.

— Я сделал бы это, но не хочу лишать тебя зрелищ.

— О Ваал!.. — сказал Хилон.

Августинцы, довольные, что настроение цезаря улучшилось, стали со смехом восклицать:

— Нет, нет, государь! Не лишай этого мужественного грека зрелищ!

— Но лиши меня зрелища этих capitoлийских гусят, мозги которых, вместе взятые, не заполнят скорлупы желудя, — огрызнулся Хилон. — Я пишу по-гречески гимн в твою честь, о первородный сын Аполлона, поэтому позволь мне провести несколько дней в храме Муз, чтобы вымолить у них вдохновение.

— О нет! — воскликнул Нерон. — Ты хочешь отвертеться от следующих игр. Ничего не выйдет!

— Клянусь, государь, что я сочиняю гимн.

— Пиши его по ночам. Моли о вдохновении Диану, она ведь сестра Аполлона.

Хилон опустил голову, со злобой поглядывая на присутствующих, которые снова стали издеваться над ним.

Цезарь, обратившись к Сенецию и Нерулину, сказал:

— Представьте, из назначенных на сегодня христиан мы справились лишь с половиной!

На это старый Аквил Регул, великий знаток дел, касающихся цирка, подумал немного и сказал:

— Зрелища, в которых выступают люди без оружия и без искусства, тянутся так же долго, но менее занимательны.

— Я велю вооружить их, — сказал Нерон.

Суеверный Вестин, погруженный в задумчивость, вдруг пришел в себя и таинственно спросил:

— Заметили ли вы, что они видят нечто?.. Когда они умирают, то смотрят вверх... и умирают без страданий. Я уверен, что они видят что-то...

И он поднял глаза вверх. Ночь протянула над цирком усеянный

звездами веларий. Но ему ответили смехом и шутками над тем, что могли видеть христиане в минуту смерти. Цезарь сделал знак рабам, державшим светильники, и покинул цирк, а за ним стали выходить весталки, сенаторы и августианцы.

Ночь была ясная и теплая. Перед цирком стояла еще толпа, желавшая видеть отбытие цезаря, но все были молчаливы и мрачны. Раздалось несколько рукоплесканий и тотчас стихли. А из ворот скрипучие телеги все время вывозили останки христиан.

Петроний и Виниций молчали всю дорогу, и лишь около дома Петроний спросил:

— Подумал ли ты о том, что я говорил тебе?

— Да, — ответил Виниций.

— Верить ли ты, что и для меня теперь это дело стало очень важным. Я должен спасти ее вопреки воле цезаря и Тигеллина. Это — борьба, в которой я решил победить, игра, в которой я хочу выиграть, хотя бы ценой собственной жизни... А сегодняшний день еще больше укрепил меня в этом намерении.

— Пусть Христос наградит тебя.

— Увидим.

Они вышли из лектики. В эту минуту мелькнула чья-то черная тень, кто-то приблизился к ним и спросил:

— Не ты ли благородный Виниций?

— Да, — ответил трибун, — что тебе нужно?

— Я — Назарий, сын Мириам. Пришел из тюрьмы и принес тебе известие о Лигии.

Виниций положил руку ему на плечо и при свете факела стал смотреть в глаза Назария, не в силах вымолвить ни слова. Юноша угадал замерший на губах Виниция вопрос и ответил:

— Она жива еще. Урс послал меня к тебе, господин, чтобы сказать, что она в бреду молится и повторяет твое имя.

Виниций сказал:

— Слава Христу, который может вернуть ее мне.

Потом, взяв Назария за руку, он повел его в библиотеку. Тотчас туда пришел и Петроний, чтобы послушать их разговор.

— Болезнь спасла ее от насилия, потому что палачи боятся заразы, — говорил юноша. — Урс и Главк сидят около нее день и ночь.

— Сторожей там не переменили?

— Нет, господин. И они в их комнате. Те узники, которые сидели в нижней тюрьме, умерли все от лихорадки и задохнулись без воздуха и

света.

— Кто ты? — спросил Петроний.

— Благородный Вениций знает меня. Я сын вдовы, у которой жила Лигия.

— Ты христианин?

Юноша вопросительно посмотрел на Вениция, но, увидев, что тот в эту минуту молился, поднял голову и сказал:

— Да.

— Каким образом ты свободно проходишь в тюрьму?

— Я нанялся там выносить мертвых и сделал это нарочно, чтобы помогать братьям и приносить им вести из города.

Петроний стал внимательно смотреть на красивое лицо мальчика, на его голубые глаза и черные волнистые волосы.

— Откуда ты родом, мальчик?

— Я из Галилеи, господин.

— Ты хочешь, чтобы Лигия была на свободе?

Мальчик поднял глаза к небу:

— Я готов был бы ради этого отдать свою жизнь.

Вениций кончил молиться и обратился к Назарию:

— Скажи сторожам, чтобы они положили ее в гроб как мертвую. Возьми себе помощников, которые вынесут ее с тобою ночью из тюрьмы. Поблизости ты найдешь лектику с людьми, которые будут ждать вас. Им отдайте гроб. Сторожа обещай столько золота, сколько каждый сможет унести в своем плаще.

Пока он говорил, лицо его потеряло мертвенное выражение, в нем проснулся солдат, которому надежда вернула прежнюю энергию. Назарий вспыхнул от радости и, подняв руки, воскликнул:

— Пусть Христос исцелит ее, потому что она будет на свободе!

— Думаешь, сторожа согласятся? — спросил Петроний.

— Они, господин? Конечно, лишь были бы уверены, что их не встретит жестокая кара и мучения!

— Да! — сказал Вениций. — Сторожа готовы были согласиться на ее бегство, тем более они позволят вынести ее как мертвую.

— Правда, есть там человек, — сказал Назарий, — который каленым железом пробует тела, действительно ли это мертвецы. Но он берет несколько сестерций за то, чтобы не касаться лица, и, наверное, возьмет золотой, чтобы коснуться гроба, а не тела.

— Скажи ему, что он получит полный кошелек золотых, — сказал Петроний. — Но сможешь ли набрать верных товарищей?

— Сумею найти таких, которые за деньги готовы продать жен и детей.  
— Где ты возьмешь их?  
— В самой тюрьме или в городе. Сторожа, если им заплатить, впустят кого угодно.

— В таком случае ты проведешь в качестве наемника меня, — сказал Виниций.

Но Петроний стал решительно советовать, чтобы он не делал этого. Преторианцы могли узнать его даже переодетого, и тогда все пропало бы.

— Ни в самой тюрьме, ни около, — говорил он. — Нужно, чтобы и цезарь, и Тигеллин были убеждены, что она действительно умерла, иначе тотчас снаряжены будут поиски. Подозрения можно усыпить лишь тем, что, когда ее вывезут в Альбанские горы или в Сицилию, мы останемся в Риме. Через неделю или две ты заболеешь, позовешь врача, который лечит Нерона и который велит тебе ехать в горы. Тогда вы соединитесь, а потом...

Он задумался и, махнув рукой, кончил:

— Потом, может быть, настанут другие времена.

— Пусть Христос сжалится над ней! — сказал Виниций. — Ты говоришь о Сицилии, а ведь Лигия больна и может умереть...

— Мы поместим ее пока ближе. Ее вылечит воздух, только бы ее вырвать из тюрьмы. Неужели нет у тебя в горах арендатора, на которого ты мог бы вполне положиться?

— Есть! Конечно есть! — воскликнул Виниций. — Около Кориоли в горах живет верный человек, который носил меня на руках, когда я был ребенком, и который любит меня до сих пор.

Петроний подал ему таблички.

— Напиши ему, чтобы он приехал завтра в город. Нарочного pošлю сегодня же.

Он позвал старшего раба и сделал нужные распоряжения. Через несколько минут раб скакал на коне по направлению к горам.

— Мне хотелось бы, чтобы Урс сопровождал ее в пути. Я был бы спокойнее.

— Господин, ведь Урс человек необыкновенной силы, он выломает решетку и пойдет за Лигией. Есть в тюрьме одно окно, очень высокое, под которым не стоит стража. Я принесу Урсу веревку, остальное он сделает сам.

— Клянусь Геркулесом! — воскликнул Петроний. — Пусть он бежит, как ему угодно, но не вместе с ней и не через день или два после, потому что по его следам найдут и ее. Неужели вы хотите погубить себя и ее? Я вам запрещаю говорить ему что-нибудь о Кориоле, иначе умываю руки.

Оба признали справедливость его слов и замолчали. Потом Назарий стал прощаться, обещая прийти на другой день утром.

Со сторожами он надеялся договориться этой же ночью, но раньше хотел зайти к матери, которая в это страшное и беспокойное время очень боялась за сына. Подумав, он решил не искать в городе помощника, а найти и подкупить одного из тех, которые выносили мертвецов из тюрьмы. Перед уходом он задержался и, отведя в сторону Виниция, сказал ему шепотом:

— Господин, я не скажу о нашем плане никому, даже матери, но апостол Петр обещал прийти к нам из цирка, и ему я расскажу все.

— В этом доме можешь говорить свободно, — сказал Виниций. — Апостол был в цирке с людьми Петрония. Впрочем, я сам пойду с тобой.

Он велел подать себе темный плащ, и они вышли.

Петроний глубоко вздохнул.

«Я хотел, — говорил он себе, — чтобы она умерла, потому что для Виниция это был бы меньший ужас. Но теперь я готов пожертвовать золотой треножник в храм Эскулапа за ее выздоровление... Ах, Меднобородый, ты хочешь устроить себе зрелище из страданий влюбленного! И ты, Августа, раньше завидовала красоте девушки, а теперь готова жестоко мучить ее за то, что погиб твой сын... Ты, Тигеллин, хочешь погубить ее на зло мне!.. Посмотрим! Я говорю вам, что не увидите вы ее на арене, потому что или она умрет своей смертью, или я вырву ее у вас, как вырывают кость у собаки... И я вырву ее так, что вы не заметите этого, а потом всякий раз, как взгляну на вас, подумаю: вот глупцы, которых провел Петроний!..

И, довольный собой, он перешел в триклиний, где вместе с Евникой стал ужинать. Лектор читал им во время трапезы идиллии Феокрита.

Ветер гнал тучи со стороны Соракта, и внезапная буря возмутила покой тихой летней ночи. Время от времени гроыхал гром и эхо проносилось по семи холмам Рима. Петроний и Евника слушали прекрасные стихи, которые на напевном дорическом наречье прославляли любовь пастухов. Потом, успокоенные, они стали готовиться к сладостному отдыху.

Но раньше пришел Виниций. Петроний, узнав о его возвращении, вышел к нему.

— Ну что, — спросил он, — не придумали ли вы чего-нибудь нового?.. Пошел ли Назарий в тюрьму?

— Да, — ответил молодой трибун, расчесывая мокрые от дождя волосы. — Назарий пошел договариваться со сторожами, а я виделся с Петром, который велел мне молиться и верить.

— Прекрасно. Если все пойдет хорошо, то на следующую ночь можно будет ее вынести из тюрьмы...

— Арендатор с людьми должны явиться рано утром.

— Это недалеко. Теперь ты должен отдохнуть.

Но Виниций, войдя в свою спальню, опустился на колени и стал молиться.

На заре прибыл из Кориолы арендатор Нигер, он привел с собой мулов и четырех верных рабов, которых из предосторожности оставил в Субурре.

Виниций, не спавший всю ночь, вышел встретить его. Тот при виде своего господина растрогался и стал целовать его руки и глаза, говоря:

— Мой дорогой, ты болен или горе выпило кровь из твоего лица, потому что я едва узнал тебя.

Виниций увел его во внутренний портик и там посвятил в свою тайну. Нигер слушал с напряженным вниманием, и на его суровом, загорелом лице видно было большое волнение, которого он не старался даже побороть.

— Значит, она христианка? — воскликнул он.

И он пытливо стал всматриваться в лицо Виниция, а тот, угадав, по-видимому, о чем его вопрошает глазами Нигер, ответил:

— И я христианин...

Глаза Нигера наполнились слезами; он с минуту молчал, потом, подняв руки кверху, сказал:

— Благодарю тебя, Христос, что снял ты бремя с самых дорогих для меня глаз.

Он обнял голову Виниция и, плача от счастья, стал целовать его в лоб. Скоро пришел к ним Петроний, а с ним — Назарий.

— Добрые вести! — крикнул он издали.

Действительно, вести были хорошие. Лекарь Главк ручался, что Лигия выздоровеет, хотя у нее и была та же болезнь, от которой умирало ежедневно множество заключенных христиан. Что касается сторожей и человека, прижигавшего мертвецов каленым железом, с ними долго разговаривать не пришлось. Будущий помощник Назария, Аттис, также был найден без труда.

— Мы сделали отверстия в гробу, чтобы больной было чем дышать, — говорил Назарий. — Вся опасность лишь в том, чтобы она не застонала в ту минуту, когда мы будем проходить мимо преторианцев. Но она очень слаба и с утра лежит с закрытыми глазами. Впрочем, Главк даст ей усыпляющее питье, которое сделает из снадобий, добытых мною в городе. Крышка гроба не будет прибита. Вы легко снимете ее и возьмете больную в лектику, а мы

вложим в гроб длинный мешок с песком, который вы приготовьте заранее.

Виниций был бледен как полотно, но слушал с напряженным вниманием, словно старался заранее угадать, что скажет Назарий.

— Не будет ли еще мертвых тел, которые будут вынесены из тюрьмы в это же время? — спросил Петроний.

— Нынешней ночью умерло человек двадцать, а к вечеру умрет еще с десяток. Нам придется идти вместе с другими, но будем стараться остаться в хвосте. На первом повороте мой товарищ притворно захромает. Таким образом мы значительно отстанем. Вы ждите нас около храма Либитины. Дал бы Господь ночь потемнее!

— Господь даст, — вмешался Нигер. — Вчера был ясный вечер, а потом вдруг грянула буря. Сегодня небо чистое, но с утра душно. Теперь каждую ночь будут дожди и бури.

— Вы идете без факелов? — спросил Виниций.

— Только впереди несут факел. На всякий случай вы будьте у храма Либитины, как только стемнеет, хотя обычно мы выходим из тюрьмы около полуночи.

Они замолчали, слышалось лишь частое дыхание Виниция. Петроний обратился к нему:

— Вчера я говорил, что нам обоим лучше всего остаться дома. Но теперь я вижу, что и мне вряд ли усидеть... Если бы это было бегство, пришлось бы принять больше мер предосторожности, но теперь, когда ее вынесут как умершую, мне кажется, ни у кого не может явиться ни малейшего подозрения.

— Да, да! — подтвердил Виниций. — Я непременно должен быть там. И я сам выну ее из гроба...

— Как только она будет в моем доме в Кориоле, я готов поручиться за ее безопасность, — сказал Нигер.

На этом разговор был кончен. Нигер отправился в Субурру к своим людям. Назарий, взяв кошелек с золотом, ушел в тюрьму. Для Виниция начался день, полный ожидания, тревоги, волнений и страха.

— Дело должно закончиться удачей, потому что оно хорошо обдуманно, — говорил ему Петроний. — Лучше ничего нельзя было предпринять. Ты должен иметь печальный вид и ходить в траурной тоге. В цирк ходи. Пусть тебя видят... Все задумано прекрасно, и удача обеспечена. Но... уверен ли ты в Нигере?

— Он христианин, — ответил Виниций.

Петроний посмотрел на него с изумлением, потом пожал плечами и стал говорить:



— Клянусь Поллуксом, это учение поразительно распространено! И как оно овладевает душой человека!.. При таких гонениях люди в один миг отказались бы от всех богов — римских, греческих и египетских. Странно, очень странно... Клянусь Кастором!.. Если бы я верил, что хоть что-нибудь зависит от наших богов, я каждому обещал бы по шесть белых быков, а Капитолийскому Юпитеру двенадцать... Но и ты не жалея обещаний своему Христу...

— Я отдал ему свою душу, — ответил Виниций.

Они разошлись. Петроний вернулся в спальню. Виниций побывал около тюрьмы, а потом отправился к подошве Ватиканского холма, в хижину, где был крещен апостолом Петром. Ему казалось, что там Христос скорее услышит его, чем в другом месте. Отыскав ее, он бросился на землю и наперебой все силы своей изболевшейся души в молитве о милосердии и так погрузился в нее, что скоро забыл, где он.

Лишь когда миновал полдень, его вернул к действительности звук труб, доносившийся со стороны цирка Нерона. Тогда он вышел из хижины и стал смотреть на мир, словно только что проснулся. Было жарко и тихо, и лишь в траве неустанно трещали кузнечики. Воздух был влажен, парило; небо над городом было голубое, но в стороне Сабинских гор низко над горизонтом собирались темные тучи.

Виниций вернулся домой. В атриуме его ждал Петроний.

— Я был на Палатине, — сказал он. — Нарочно показался туда и даже сел играть в кости. У Апиция сегодня ночной пир; я обещал, что мы придем, но лишь после полуночи, потому что раньше мне необходимо выспаться. Я буду, но будет хорошо, если и ты пойдешь.

— Не было ли известий от Нигера или от Назария? — спросил Виниций.

— Нет. Мы увидимся с ними в полночь. Ты заметил, что надвигается гроза?

— Да.

— Завтра будет зрелище с распятыми христианами, но, может быть, дождь помешает.

Он подошел к Виницию, положил ему руку на плечо и сказал:

— Но ее ты не увидишь на кресте, будешь смотреть на нее сколько захочешь в Кориоле. Клянусь Кастором, я не отдал бы минуты, когда мы освободим ее, за все геммы в Риме... Близок вечер...

Действительно, наступали сумерки, стемнело раньше, чем в обычное время, — тучи заволокли все небо. Прошел сильный дождь, и вода, испаряясь на раскаленных за день камнях, наполнила воздух туманом.

Потом он шел с небольшими промежутками.

— Поспешим, — сказал Виниций, — по случаю грозы могут раньше начать выносить гробы из тюрьмы.

— Пора! — подтвердил Петроний.

Накинув галльские плащи с капюшонами, они вышли через калитку в саду на улицу. Петроний вооружился коротким римским ножом, который всегда брал с собой во время ночных походов.

Улицы по случаю грозы были пустынно. Время от времени молния разрывала тучи, освещая ярким блеском белые стены вновь возведенных или строящихся домов и мокрые плиты мостовой. При таком освещении они увидели наконец маленький храм Либитины, около которого стояло несколько людей, мулы и лошади.

— Нигер! — окликнул Виниций.

— Я, господин! — ответил голос.

— Все ли готово?

— Да, мой дорогой. Как только стемнело, мы были на месте. Но спрячьтесь под портик, а не то промокнете до нитки. Какая гроза! Думаю, что будет град.

Предсказание Нигера тотчас сбылось: посыпался град, вначале мелкий, потом более крупный и частый. Воздух сразу стал холодным.

Они прижались к стене храма, закрытые от ветра и острых градин, и тихо разговаривали.

— Если нас и увидит кто-нибудь, — говорил Нигер, — то мы не возбудим ни малейших подозрений, потому что мы похожи на людей, переживающих грозу. Но я боюсь, не будет ли отложено погребение умерших на завтра.

— Град не будет продолжительным, — сказал Петроний. — Мы будем ждать до рассвета.

Они ждали, чутко прислушиваясь к малейшему шороху. Град действительно перестал, но тотчас зашумел дождь. Иногда поднимался ветер и доносил с поля, на котором погребали мертвецов, ужасный запах разложения.

Вдруг Нигер сказал:

— Я вижу сквозь туман огонек... один, другой, третий... Это — факелы! Он обернулся к своим людям.

— Смотрите, чтобы мулы не фыркали!..

— Идут! — прошептал Петроний.

Огни становились явственнее. Скоро можно было различить колеблемое ветром пламя факелов.

Нигер перекрестился и стал молиться. Мрачное шествие приблизилось и, наконец поравнявшись с храмом Либитины, остановилось. Петроний, Виниций и Нигер молча прижались к стене, не понимая, в чем дело. Но те остановились лишь для того, чтобы обвязать себе лица и рты тряпками, чтобы не страдать от невыносимого смрада. Потом они подняли гробы и пошли дальше.

Один лишь гроб остался против храма Либитины.

Виниций поспешил к нему, а за ним — Петроний, Нигер и два раба-британца с лектикой.

Но прежде чем они приблизились, из мрака послышался полный отчаяния голос Назария:

— Господин! Ее вместе с Урсом перевели в Эсквилинскую тюрьму... Мы несем мертвеца! Ее схватили перед полуночью!..

Петроний, вернувшись домой, был мрачен как ночь и даже не пробовал утешать Виниция. Он понимал, что нечего и думать о спасении ее из эсквилинских подземелий. Он догадывался, что затем ее и перевели в Эсквилин, чтобы она не умерла и таким образом не избежала бы предполагавшегося участия ее в зрелищах. Это служило признаком, что за ней зорко следили и бережнее охраняли, чем других. Петронию было жаль до глубины души и ее и Виниция, но кроме того его мучила мысль, что впервые в жизни что-то ему не удалось, что впервые он побежден в борьбе.

— Фортуна, кажется, покидает меня, — говорил он себе, — но боги ошибаются, если думают, что я соглашусь на такую жизнь, какую ведет он.

Петроний взглянул на Виниция, который также смотрел на него широко раскрытыми глазами.

— Что с тобой? У тебя лихорадка? — спросил Петроний.

А тот ответил странным голосом больного ребенка:

— Я верю, что он может вернуть мне ее.

Над городом грохотали последние раскаты грозы.

Трехдневный дождь — явление исключительное в Риме летом, а град, падающий вопреки обычному порядку, не только днем и вечером, но даже ночью — все это вызвало перерыв в играх. Народ стал беспокоиться. Предсказывали неурожай винограда, а когда однажды в полдень молния расплавила бронзовую статую Цереры, были назначены жертвоприношения в храме Юпитера Сальватора. Жрецы Цереры распустили слух, что гнев богов обрушился на город за слишком вялое гонение христиан, поэтому чернь стала требовать продолжения игр. Радость охватила Рим, когда наконец стало известно, что после трех дней перерыва зрелища возобновляются.

Вернулась прекрасная погода. Амфитеатр с утра до поздней ночи наполнялся многотысячной толпой. Цезарь с весталками и двором являлся в цирк утром. Зрелище должно было начаться борьбой христиан друг с другом, для чего они были одеты гладиаторами и вооружены тем оружием, каким обычно пользовались на цирковых состязаниях. Но случилось непредвиденное обстоятельство. Христиане побросали на песок свои трезубцы, сети, мечи и копья, стали обниматься друг с другом и ободрять себя перед мучениями и смертью. Народ был глубоко возмущен. Одни обвиняли христиан в малодушии и трусости, другие утверждали, что они нарочно не хотят сражаться из ненависти к народу и чтобы лишить его радости, которую он испытывает при виде мужественной борьбы. Наконец по приказанию цезаря на них были выпущены настоящие гладиаторы, которые в одну минуту перебили безоружных христиан.

Когда трупы были убраны, зрелище продолжалось, но это была не борьба, а ряд мифологических картин, поставленных по замыслу цезаря.

Был показан Геркулес, охваченный пламенем на вершине Эты. Вينيций затрепетал при мысли, что роль Геркулеса отдана Урсу, но, по видимому, до того еще не дошла очередь, и на костре погиб незнакомый Виницию христианин. Зато в следующей картине Хилон, которого цезарь не хотел освободить от обязанности присутствовать на играх, увидел знакомых людей.

Картина представляла смерть Дедала и Икара. В роли Дедала выступал Еврикий, тот старец, который в свое время объяснил Хилону знак рыбы, а в роли Икара — его сын, Кварт. Обоих подняли с помощью особых машин на значительную высоту, а потом вдруг сбросили на арену, причем молодой

Кварт Упал так близко от ложи цезаря, что обрызгал кровью отделку ее и даже пурпур, которым был покрыт барьер. Хилон не видел падения — он закрыл глаза и лишь слышал глухой стук упавшего тела. Но когда он увидел кровь так близко от места, на котором сидел, то едва не упал снова в обморок.

Но картины быстро сменяли одна другую. Позорная гибель девушек, которых настигали одетые в козлиные шкуры гладиаторы, потешала толпу. Были показаны жрицы Кибелы и Цереры, были показаны Данаиды, Дирцея и Пасифая, и девушки, которых разрывали дикие лошади. Народ рукоплескал выдумке цезаря, который был доволен и счастлив и не отнимал от глаз изумруда, с наслаждением взирая на белые тела и на предсмертные судороги своих жертв. Потом были показаны картины из прошлого: Муций Сцевола, рука которого, прикрепленная к треножнику, на котором пылал огонь, наполнила запахом горящего тела амфитеатр. Но христианин, как подлинный Сцевола, стоял без стога, с глазами, поднятыми к небу, и шептал почерневшими губами молитву. Когда его добились и тело уволокли с арены, наступил обычный полуденный перерыв. Цезарь с весталками и августианцами покинул ложу и перешел в великолепный красный шатер, где был приготовлен для него и для гостей изысканный завтрак. Толпа последовала его примеру и живописными группами расположилась вокруг шатра, чтобы расправить усталые от долгого сидения члены и подкрепиться угощением, которое щедрый цезарь велел дать народу. Более любопытные сошли во время перерыва на арену и, ступая по мокрому от крови песку, толковали о виденном только что и о том, что предстояло увидеть. Скоро и они ушли, чтобы не опоздать к угощению; остались те, которых привлекало сюда не любопытство, а сочувствие к новым жертвам.

Они теснились в проходах или на местах, близких к арене, на которой теперь стали рыть ямы полукругом через всю арену, так что крайняя яма была всего в нескольких шагах от ложи цезаря. Снаружи цирка долетал сюда шум, говор, рукоплескания, а здесь поспешно готовили какие-то новые мучения.

Но вот раскрылись ворота, и на арену стали выгонять толпу голых христиан, которые тащили на себе деревянные кресты. Скоро они заполнили всю арену. Здесь были старики, согбенные под тяжелой ношей, а рядом с ними молодые люди, женщины с распущенными волосами, которыми они старались прикрыть свою наготу, юноши, девушки и совсем малые дети. Кресты, как и жертвы, по большей части были увенчаны цветами. Стегая несчастных плетями, их заставили класть кресты около

приготовленных ям и встать около них. Так должны были погибнуть те, кто уцелел в первый день игр и кого не успели вывести на растерзание диким зверям. Теперь их хватали черные рабы и клали навзничь на бревна, а потом быстро стали прибивать их руки гвоздями к перекладинам. Народ, вернувшись в цирк после завтрака, должен был увидеть уже поставленные кресты. По амфитеатру теперь раздавался стук молотков. Этот стук долетал даже до шатра, в котором цезарь угощал весталок и своих друзей. Там пили вино, шутили над Хилоном и шептали бесстыдные слова жрицам Весты, а на арене кипела работа: гвозди пробивали руки и ноги христиан, стучали лопаты, засыпавшие ямы с поставленными в них крестами.

Среди этих жертв был и Крисп. Львы не успели растерзать его, поэтому ему была назначена крестная мука. И он, готовый к смерти, радовался тому, что настала и его очередь. Сегодня у него был другой вид — обнаженное худое тело его было прикрыто узким поясом из плюща у бедер, а на голове — венок из роз. Но в глазах его горел тот же огонь, и то же лицо, суровое и фанатичное, белело под красным венцом. Не смягчилось и сердце его. Как раньше он грозил Божьим гневом своим товарищам, зашитым в звериные шкуры, так и теперь он громил их, вместо того чтобы утешить.

— Благодарите Спасителя, — говорил он, — что он позволил вам умереть той же смертью, какой умер сам. Может быть, часть ваших грехов вам и будет прощена за это, но трепещите, ибо правосудие должно быть удовлетворено и невозможна одинаковая награда для добрых и злых.

Его словам вторил стук молотков, которыми прибивали руки и ноги обреченных. Все больше и больше возвышалось крестов на арене, и Крисп, обращаясь к тем, которые ждали своей очереди, говорил так:

— Я вижу разверстое небо, но вижу и разверстый ад... И я не знаю, как отвечу Господу моему, хотя всю жизнь верил и ненавидел зло, — и не смерти боюсь я, а воскресения, не муки, а суда, ибо пришел день гнева...

Из ближайших рядов амфитеатра раздался чей-то спокойный и торжественный голос:

— Не день гнева, а день милости, день спасения и радости, и я говорю вам, что Христос приветит вас, утешит и посадит одесную себя. Верьте, ибо небо разверзлось над вами.

Глаза христиан обратились на говорящего; даже распятые на крестах подняли бледные и измученные лица и стали смотреть в сторону утешителя.

А он подошел к самому краю арены и стал благословлять их знаменем креста.

Крисп простер к этому человеку руки, словно хотел обрушить на него свой гнев, но, всмотревшись в лицо его, опустил их тотчас, склонился на колени, а губы шептали:

— Апостол Павел!..

К великому удивлению палачей, на колени опустились все христиане, которых еще не успели распять, а Павел, обращаясь к Криспу, проговорил:

— Крисп, не грози им, ибо сегодня же вместе с тобою будут в раю. Ты думаешь, что они могут быть осуждены? Но кто же осудит их? Неужели сделает это Бог, отдавший за них Сына своего? Неужели Христос, который умер, чтобы спасти их, как и они умирают ради славы его? И как может осуждать тот, который возлюбил? И кто будет обвинять избранников Божьих? Кто скажет крови этой: «Проклята!»?

— О господин, я ненавижу зло! — воскликнул старый священник.

— Христос заповедал прежде всего любить людей, ибо завет его — любовь, а не ненависть...

— Я согрешил в час смерти, — горестно проговорил Крисп. И стал бить себя в грудь.

Распорядитель амфитеатра подошел к апостолу и спросил:

— Кто ты, беседующий с осужденными?

— Римский гражданин, — спокойно ответил Павел. И, обратившись к Криспу, сказал:

— Верь, что это день милости, и умри спокойно, слуга Божий!

Два негра подошли в эту минуту к Криспу, чтобы положить его на крест, а он посмотрел вокруг и воскликнул:

— Братья мои, молитесь за меня!

И на лице его исчезла обычная суровость; жесткие черты приняли выражение примиренности и нежности. Он сам положил руки свои на перекладину креста, чтобы облегчить работу палачей, и, глядя на небо, стал жарко молиться. Казалось, он перестал чувствовать боль, потому что, когда гвозди проникли в тело, он не дрогнул и на лице его не легла складка боли. Он молился, когда ему прибивали ноги, молился, когда поднимали крест, засыпали и утаптывали землю.

Когда толпа со смехом и криками стала наполнять амфитеатр, брови старца нахмурились, он сердился, что язычники мешают ему тихо и сладостно умереть.

Кресты были поставлены так, что на арене вырос словно лес с висящими на деревьях людьми; на перекладины крестов и на головы мучеников падал солнечный свет, а на арену ложились тени, покрывшие ее черной решеткой на ярко-желтом песке. В этом зрелище народу дана была

возможность любоваться медленной агонией. Никогда до сих пор еще не было такого множества крестов. Арена была густо покрыта ими, и людям с трудом удавалось пробираться между столбами. По краям висели преимущественно женщины, а Криспа, как старшего, распяли на большом кресте перед ложей цезаря. Пока никто еще не умер, но те, которых распяли раньше, были в забытьи. Никто не стонал и не молил о пощаде. Некоторые свесили головы на плечо или опустили на грудь, словно засыпали; иные думали о чем-то, иные, подняв глаза к небу, тихо шевелили губами. Но в этом лесе страшных крестов, в этих распятых телах, в этом безмолвии мучеников было что-то враждебное и злое. Народ, веселый и сытый, с криками входил в цирк; но, когда все заняли свои места, наступило молчание, — не знали, на ком сосредоточить внимание, о чем думать. Обнаженные женщины перестали волновать зрителей. Не делались обычные ставки, кто раньше умрет, как бывало всегда при небольшом числе жертв на арене. Казалось, что и цезарь скучает: он отвернулся и с ленивым и сонным выражением на лице поправлял ожерелье на шее.

Вдруг висевший против цезаря Крисп, глаза которого были только что закрыты и который, казалось, был в забытьи и умирал, стал теперь пристально смотреть на Нерона.

Лицо его снова стало суровым, а глаза горели таким страшным огнем, что августианцы стали шептаться, показывая на него пальцами, пока сам цезарь не обратил внимания на старца и не приложил к глазам своего изумруда.

Наступила полная тишина. Глаза зрителей были обращены на Криспа, который шевелил правой рукой, словно хотел оторвать ее от креста.

Грудь его высоко поднялась, ребра ясно обозначились, и он воскликнул:

— Матереубийца!.. Горе тебе!..

Августианцы, услышав страшное оскорбление, брошенное владыке мира перед многотысячной толпой, затаили дыхание. Хилон замер. Цезарь вздрогнул и уронил изумруд.

Народ безмолвствовал. Голос Криспа явственно был слышен во всем амфитеатре:

— Горе тебе, убийца жены и брата, горе тебе, антихрист! Бездна разверзлась пред тобою, смерть протягивает к тебе руки, и гроб ждет тебя! Горе тебе, живой труп, ибо умрешь ты в ужасе и будешь осужден навеки!..

Не в силах оторвать руки своей от перекладины, распятый, страшный, худой, как скелет, неумолимый, как сама судьба, он потрясал седой бородой своей над ложей цезаря, сбрасывая листья и розы с увенчанной своей



головы.

— Горе тебе, убийца! Переполнилась мера преступлений твоих, и близок твой час!..

Он напрягся еще раз: казалось, он оторвет сейчас свою руку и грозно протянет ее к цезарю. Но вдруг худые руки его стали еще более худыми, тело свесилось вниз, голова упала на грудь, и он испустил дух.

В этом страшном лесу крестов более слабые люди стали также засыпать вечным сном...

## XVI

— Государь! — говорил Хилон. — Море теперь как оливковое масло, и волны кажутся уснувшими... Поедем в Ахайю. Там ждет тебя слава Аполлона, там встретят тебя венцами, триумфами, там народ провозгласит тебя богом, а боги примут как равного в свою среду, и ты, государь...

Он замолчал, потому что нижняя челюсть его сильно дрожала и он не мог говорить от волнения.

— Мы отправимся после окончания игр, — ответил Нерон. — Знаю, что и так уж некоторые называют христиан невинными жертвами. Если бы я уехал, это стали бы говорить все. Чего ты боишься, старая кляча?

Цезарь нахмурился и стал пытливо смотреть на Хилона, ожидая объяснений. Его хладнокровие было притворным. На последнем зрелище его расстроили слова Криспа, и, вернувшись во дворец, он не мог заснуть от стыда и бешенства, а вместе с тем и от какого-то страха.

Суеверный Вестин, молча прислушивающийся к их разговору, поглядел по сторонам и таинственно зашептал:

— Послушай, государь, старика, потому что в этих христианах есть что-то странное... Их божество дает им легкую смерть, но оно может оказаться мстительным...

Нерон быстро ответил:

— Не я устроил игры, а Тигеллин.

— Да, это я! — вмешался Тигеллин, услышав слова цезаря. — И я смеюсь над всеми христианскими богами. Вестин — пузырь, наполненный всякими суевериями, а этот воинственный грек готов умереть от страха при виде наездки, которая распушила перья, защищая цыплят!

— Все это хорошо, — сказал Нерон. — Но вели отныне отрезывать им языки или затыкать рты.

— Им заткнет рты огонь, о божественный!

— Горе мне! — застонал Хилон.

Цезарь, которого ободрила наглая самоуверенность Тигеллина, стал смеяться и сказал, указывая на грека:

— Смотрите, на кого похож потомок Ахилла!

Действительно, вид Хилона был ужасен. Остатки волос на голове стали совершенно седыми, на лице написано было выражение невероятного ужаса и страшной подавленности. Иногда казалось, что он теряет сознание и впадает в забытие. Он часто не отвечал на вопросы,

потом вдруг приходил в ярость и становился таким наглым, что августианцы предпочитали оставлять его в покое и не дразнить.

В таком состоянии он был и сейчас.

— Делайте со мной, что хотите, но на игры я больше не пойду! — в отчаянии завопил он вдруг.

Нерон пристально посмотрел на него и, повернувшись к Тигеллину, сказал:

— Позаботься, чтобы этот стоик был поближе ко мне в садах. Я хочу увидеть, какое впечатление произведут на него наши факелы.

Хилон испугался гнева, который слышался в голосе цезаря.

— Государь, я ведь ничего не увижу, мои глаза совсем не видят ночью.

Цезарь ответил со страшной улыбкой:

— Ночь будет светла, как день.

Потом он обратился к другим августианцам и стал разговаривать о конских состязаниях, которые намеревался устроить под конец игр. К Хилону подошел Петроний и, тронув его за плечо, сказал:

— Разве я не говорил, что ты не выдержишь?

— Я хочу напиться... — отвечал тот и протянул руку за чашей с вином, но не в силах был донести ее до рта; это увидел Вестин, взял у него чашу и, пододвинувшись ближе, с выражением любопытства на лице спросил Хилона:

— Тебя преследуют фурии? Не правда ли?..

Старик тупо смотрел на него, раскрыв рот, будто не понимая вопроса, и моргал глазами. Вестин повторил:

— Преследуют тебя фурии?

— Нет, — ответил Хилон, — но передо мной ночь.

— Как ночь?.. Да помилуют тебя боги!.. Какая ночь?

— Ночь ужасная и непроглядная, и что-то шевелится в ней и приближается ко мне. Но я не знаю — что именно, и боюсь.

— Я всегда был уверен, что они чародеи. Не видишь ли ты страшных снов?

— Нет, потому что я совсем не сплю... Я не думал, что их так накажут.

— Ты жалеешь их?

— Зачем вы проливаете столько крови? Ты слышал, что говорил человек с креста? Горе нам!

— Да, слышал. Но ведь они поджигатели.

— Неправда!

— Враги человеческого рода.

— Неправда!

— Отравители источников.

— Неправда!

— Убийцы детей.

— Неправда!..

— Как же так? — спросил изумленный Вестин. — Ведь ты же сам утверждал это и выдал их Тигеллину!

— Потому-то меня окружила ночь и смерть приближается ко мне... Иногда мне кажется, что я уже умер, и вы также...

— Нет! Это они умерли, а мы живем. Но скажи: что они видят, когда умирают?

— Христа...

— Это их бог? И это могущественный бог?

Но Хилон ответил вопросом:

— Что это за факелы должны гореть в садах? Ты слышал, о чем говорил цезарь?

— Слышал и знаю... Христиан оденут в скорбные туники, пропитанные смолой, привяжут к столбам и подожгут... Но пусть их бог не насылает за это на город великого бедствия!.. Такая казнь ужасна...

— Я предпочитаю это, потому что не будет крови, — сказал Хилон. — Вели рабу поднести чашу к моим губам. Хочу напиться — и расплескиваю вино, потому что руки мои дрожат от старости...

Августинцы в это время также беседовали о христианах. Старый Домиций Афр издевался над ними.

— Их так много, что нам грозила гражданская война, и помните, все боялись, что они будут защищаться. А они умирают, как бараны.

— Пусть бы они попробовали оказать сопротивление! — воскликнул Тигеллин.

В разговор вмешался Петроний:

— Ошибаетесь. Они защищаются.

— Каким образом? Чем?

— Терпением.

— Это новый способ.

— Конечно. Но разве вы можете утверждать, что они умирают, как обыкновенные преступники? Нет! Они умирают так, что преступниками кажутся те, которые обрекли их на смерть, то есть мы и весь римский народ.

— Что за бред! — воскликнул Тигеллин.

— Ты глуп, — бросил Петроний.

Окружающие, пораженные верностью его замечания, стали с

изумлением переглядываться и говорить:

— Да, да! Есть что-то необыкновенное и странное в их смерти.

— Я говорю вам, что они видят своего бога! — воскликнул Вестин.

Тогда некоторые обратились с вопросом к Хилону:

— Послушай, старик! Ты знаешь их хорошо. Скажи нам, что они видят?

Грек залил вином свою тунуку и ответил:

— Воскресение из мертвых!..

И так затрясся весь от волнения, что присутствующие громко захохотали.

## XVII

Несколько ночей Виниций провел вне дома. Петроний думал, что он затеял какой-нибудь новый план освобождения Лигии из Эсквилинской тюрьмы и занят этим, но не хотел спрашивать, чтобы не принести этим несчастья. Этот изысканный скептик стал в некоторых отношениях суеверным, особенно с того времени, когда не удалось освободить девушку из Мамертинской тюрьмы. Он перестал верить в свою счастливую звезду.

Он теперь не рассчитывал на удачу хлопот Виниция. Эсквилинская тюрьма, устроенная наскоро в погребах домов, разрушенных во время пожара, не была такой ужасной, как старая Мамертинская, но охранялась она гораздо тщательнее. Петроний прекрасно понимал, что Лигию перевели туда лишь затем, чтобы она не умерла и выступила в цирке, и легко догадаться, что именно потому ее особенно зорко стерегут.

«По-видимому, — говорил себе Петроний, — цезарь вместе с Тигеллином придумали какое-то страшное зрелище при ее участии. И Виниций скорее погибнет сам, чем сможет освободить ее».

Виниций тоже пал духом. Теперь ему мог помочь один лишь Христос. Молодой трибун добивался возможности проникнуть к Лигии в тюрьму, чтобы повидаться с ней.

Некоторое время его волновала мысль о том, что Назарий сумел-таки попасть на службу в Мамертинскую тюрьму, почему бы и Виницию не попробовать сделать то же.

Подкупленный большой суммой, заведующий так называемыми Смрадными ямами принял его в число людей, которых он посылал за трупами в тюрьмы. Опасение, что Виниция могут узнать, не было основательным. Приходить в тюрьму было нужно ночью, в одежде раба, освещение в тюрьмах было плохое. Да и кому могло прийти в голову, что патриций, внук и сын консулов, мог очутиться среди гробовщиков и могильщиков, рискуя задохнуться у «Смрадных ям»; за такую работу могли браться люди или несвободные, или совершенные бедняки.

Когда наступил желанный вечер, он с радостью обмотал голову тряпкой, пропитанной скипидаром, и с бьющимся сердцем отправился с толпой могильщиков на Эсквилин.

Преторианцы легко пропустили его, потому что они больше были заняты рассмотрением пропусков, чем самими людьми. Огромная железная дверь открылась перед ними, и они вошли. Виниций очутился в огромном

сводчатом подвале, за которым следовал ряд других подвалов. Тусклые лампы освещали помещение, наполненное людьми. Некоторые лежали у стен, и было непонятно, спали они или умерли. Другие собрались вокруг большого сосуда с водой, стоящего посередине, из которого жадно пили, как пьют люди, которых мучит лихорадка; иные сидели на земле, облокотившись на колени и подпирая голову ладонями; дети спали, прижавшись к матерям. Вокруг слышались стоны и тяжелое дыхание больных, плач, молитвенный шепот, гимны, которые пелись вполголоса, брань сторожей. Чувствовался трупный запах и духота. В глубине, во мраке, копошились темные фигуры, а ближе к тусклым лампам видны были бледные лица, искаженные, худые и голодные, с глазами угасшими или светящимися лихорадочным блеском, бледными губами, каплями пота на лбу и мокрыми слипшимися волосами. В углах бредили больные, впавшие в забытие, некоторые умоляли дать им пить, другие просили скорее вести их на казнь. И эта тюрьма все же была менее ужасна, чем Мамертинская. У Виниция подкосились ноги при виде всего этого и перехватило дыхание. При мысли, что Лигия живет среди этого ужаса и бреда, волосы встали на его голове и в груди замер крик отчаяния. Амфитеатр, клыки диких зверей, кресты — все было лучше этих страшных, полных трупного запаха подземелий, в которых изо всех углов доносились умоляющие голоса:

— Ведите нас скорее на смерть!

Виниций до боли стиснул зубы, он почувствовал, что теряет силы и готов лишиться сознания. Все, что он пережил до сих пор, его любовь и страдания, все сменилось теперь одним желанием — умереть.

Он услышал поблизости голос зрителя «Смрадных ям»:

— А сколько у вас сегодня трупов?

— Теперь с десятков, — ответил тюремный сторож, — но к утру будет больше, потому что некоторые уже хрипят около стен.

Он стал бранить женщин, что они прячут мертвых детей, чтобы дольше быть с ними и, пока возможно, не отдавать могильщикам. Приходится разыскивать трупы по запаху, отчего воздух портится здесь еще больше.

— Я предпочел бы жить рабом на каторжной работе, — говорил он, — чем караулить этих гниющих при жизни собак.

Зритель утешал его, говоря, что его работа не легче.

Виниций пришел в себя и стал рассматривать узников, среди которых напрасно искал Лигию. Он подумал, что, пожалуй, не увидит ее в этой гуще, пока она будет жива. Подвалов было более десяти, они соединялись недавно прорытыми коридорами. Могильщики входили только в те

отделения, откуда нужно было выносить трупы. Его охватил страх, что все его усилия ни к чему не приведут.

К счастью, ему помог смотритель.

— Мертвых нужно вынести немедленно, потому что заразу распространяют главным образом трупы. Иначе вы все здесь перемерете — и узники и вы.

— На все отделения нас только десять человек, а ведь нам нужно и спать, — ответил стражник.

— Тогда я оставлю вам четырех моих людей, они ночью обойдут все отделения и посмотрят, нет ли еще мертвых.

— Каждый труп они должны будут отнести на проверку, — получен приказ прокалывать мертвым шею, — а потом прямо к «Смрадным ямам».

Смотритель отделил четырех людей, среди которых был и Вениций, а с остальными стал класть трупы на носилки.

Вениций облегченно вздохнул. Он надеялся теперь отыскать Лигию.

Он внимательно осмотрел первые подземелья. Заглянул во все углы, куда почти не доходил свет, осмотрел спящих вдоль стен, наиболее тяжело больных, которых оттащили в один угол, — Лигии не было там. Во втором и третьем подвале его поиски были также бесплодны.

Час был поздний. Трупы уже были унесены. Сторожа улеглись в коридорах, соединяющих подземелья, и заснули; дети, наплакавшись, притихли, в подвалах слышалось тяжкое дыхание и кое-где шепот молитв.

Вениций вошел с лампой в четвертое по очереди подземелье и, подняв фонарь кверху, стал смотреть по сторонам.

Вдруг он вздрогнул. Ему показалось, что перед решетчатым отверстием в стене он видит исполина, похожего на Урса.

Погасив лампу, он направился к нему и спросил:

— Урс, ты ли это?

Великан повернул голову:

— А ты кто?

— Не узнаешь меня? — спросил Вениций.

— Ты погасил лампу, как же я могу узнать?

Но в это мгновение Вениций увидел Лигию, которая лежала на плаще у стены. Не говоря ни слова, он опустился перед ней на колени. Урс узнал его и сказал:

— Слава Христу! Но не буди ее, господин.

Вениций, стоя на коленях, смотрел сквозь слезы на Лигию. Несмотря на темноту, он различал ее лицо, которое казалось ему бледным как мрамор, и худые плечи. Глядя на нее, он почувствовал прилив любви,



похожей на терзающую боль и потрясающей душу до самых глубин ее и вместе с тем исполненной нежности, благоговения и святости. Он склонился лицом к земле и прижимался губами к краю плаща, на котором покоилось это самое дорогое для него в мире существо.

Урс долго смотрел на Виниция молча, потом потянул его за тунику.

— Господин, — спросил он, — как ты проник сюда и не пришел ли ты спасти ее?

Виниций приподнялся и некоторое время боролся с волнением.

— Скажи, как сделать это? — спросил он наконец.

— Я думал, что ты знаешь, господин. Мне одно лишь приходило в голову...

Он повернулся к решетчатому отверстию, потом, словно отвечая самому себе, сказал:

— Да!.. Но там солдаты...

— Сотня преторианцев, — сказал Виниций.

— Значит, нельзя пройти?

— Нельзя!

Лигиец потер лоб и снова спросил:

— Как ты проник сюда?

— У меня пропуск смотрителя «Смрадных ям»...

Он умолк, какая-то мысль мелькнула в его мозгу.

— Клянусь страданиями Спасителя! — воскликнул он и стал быстро говорить: — Я останусь здесь, пусть она возьмет мой пропуск, завернет голову тряпкой, наденет плащ и выйдет. Среди людей смотрителя есть несколько мальчиков, преторианцы не заметят, и если она доберется до дома Петрония, то будет спасена!

Лигиец опустил голову.

— Она не согласится на это, потому что любит тебя; кроме того, она больна и не сможет идти без посторонней помощи. — И он прибавил: — Если ты, господин, и благородный Петроний не смогли освободить ее из тюрьмы, то кто же спасет ее?

— Один Христос!..

Оба замолчали. Лигиец в простоте своей думал: «Христос мог бы всех спасти, и раз не спасает, значит, пришел час мучений и смерти». И он соглашался принять ее сам, но жаль ему было до глубины души этого ребенка, который вырос на его руках и которого он любил больше жизни.

Виниций снова опустился на колени возле Лигии. Сквозь решетку проникал в подземелье лунный свет и освещал лучше, чем один тусклый фонарь, который мигал у входа.

Вдруг Лигия открыла глаза и, положив свою горячую ладонь на руку Виниция, сказала:

— Вижу тебя, и я знала, что ты придешь.

Он склонился к ее рукам и стал прижимать их к своему лицу и сердцу, потом приподнял немного Лигию и прижал ее голову к своей груди.

— Да, я пришел, дорогая. Пусть Христос хранит тебя и спасет, возлюбленная Лигия!..

Он не мог говорить, сердце сжалось в груди от любви и боли, а в боли своей он не хотел признаться Лигии.

— Я больна, Марк. На арене или здесь я все равно должна умереть... Но я молилась, чтобы увидеть тебя перед смертью, и ты пришел: Христос услышал меня!

Он не мог еще говорить и лишь молча прижимал ее к сердцу, она же продолжала:

— Я видела тебя через окно в Мамертинской тюрьме, и я знала, что ты хотел прийти. Теперь Спаситель дал мне силы, чтобы я могла проститься с тобой. Я иду к нему, Марк, но люблю тебя и всегда буду любить.

Виниций поборол себя, задушил боль и заговорил спокойным голосом:

— Нет, дорогая! Ты не умрешь. Апостол приказал верить и обещал молиться за тебя, — а ведь он знал Христа, Христос любил его и ни в чем ему не откажет... Если бы тебе суждено было умереть, Петр не велел бы мне надеяться, а он сказал: «Надейся!» Нет, Лигия! Христос сжалится надо мной!.. Он не захочет твоей смерти, не допустит ее... Клянусь именем Спасителя, что Петр молится за тебя!

Наступила тишина. Лампа у входа погасла, зато лунный свет усилился. В дальнем углу заплакал ребенок, но скоро утих. Снаружи долетали голоса преторианцев, которые играли в кости.

— О Марк! Христос сам молил Отца: «Да минует меня чаша сия», — однако умер на кресте, а теперь за него умирают тысячи людей, почему же меня одну он должен щадить? Кто я? Петр говорил при мне, что и он умрет в муках, а кто я в сравнении с ним? Когда пришли преторианцы, я боялась смерти и мучений, но теперь не боюсь. Посмотри, как ужасна эта тюрьма, но я иду на небо. Подумай, здесь цезарь, а там — Спаситель, благой и милостивый. И нет смерти. Ты любишь меня — подумай, как счастлива я там буду! Дорогой мой Марк, подумай, ведь и ты придешь туда ко мне!

Лигия замолчала, чтобы перевести дыхание. Потом она прижала его руку к своим губам.

— Марк...

— Что, дорогая?

— Не плачь обо мне и помни, что ты придешь туда ко мне. Я недолго жила, но Бог дал мне твою душу. Поэтому хочу сказать Христу, что хотя я и умерла, хотя ты и видел смерть мою и остался в печали, но ты не богохульствовал и не роптал против его воли и любишь его. Ведь ты будешь любить его и терпеливо перенесешь мою смерть?.. Потому что тогда он соединит нас, а я люблю тебя и хочу быть с тобою...

Ей снова не хватило дыхания, и едва слышным голосом она сказала:

— Обещай мне это, Марк!..

Виниций обнял ее дрожащими руками и ответил:

— Клянусь твоей священной головой! Обещаю!..

Тогда в печальном лунном сиянии просветлело ее лицо. Она еще раз прижала его руку к губам и прошептала:

— Я жена твоя!..

За стеной игравшие в кости преторианцы подняли громкий спор. Но Виниций и Лигия забыли о тюрьме, о страже, о всей земле и, чувствуя друг в друге души ангелов, стали молиться.

## XVIII

В течение трех дней, вернее трех ночей, ничто не возмущало их покоя. Когда кончалась обычная тюремная работа, состоящая в отделении живых от мертвых и тяжело больных от здоровых, и когда утомленные сторожа ложились спать в коридорах, Вениций входил в подземелье, где была Лигия, и оставался там до тех пор, пока свет утренней зари не проникал сквозь решетку. Она клала голову ему на грудь, и они тихо разговаривали о любви и смерти. Оба они невольно в мыслях и беседах, даже в желаниях и надеждах отходили все дальше от действительной жизни и теряли отчетливое представление о ней. Оба они были как люди, отплывшие на корабле в море, потерявшие из вида берег и погружавшиеся в бесконечность. Оба стали печальными, влюбленными друг в друга и в Христа и готовыми отлететь из жизни. Иногда в его сердце просыпалась боль, порывистая как вихрь; иногда вспыхивала надежда, блещущая как молния, надежда, рожденная любовью и верой в милосердие распятого Бога, — но и он с каждым днем все больше и больше отрывался от земли и предавал себя смерти. Утром, когда Вениций уходил из тюрьмы, он смотрел на мир, на город, на друзей и на жизнь как сквозь сон. Все казалось ему чужим, далеким, напрасным и пустым. Его перестал пугать ужас казней, которые он видел, — через них можно пройти, словно в глубоком размышлении, с глазами, устремленными на что-то другое. Им обоим казалось, что их уже осенила вечность. Разговаривали о любви, о том, как будут любить друг друга и жить вместе, — но все это по ту сторону смерти, и если иногда сознание их возвращалось к земным делам, то мысли эти были похожи на мысли людей, которые, собираясь в дальний путь, говорят об этих сборах. Их окружала такая тишина, какая окружает две колонны, стоящие где-то в пустынном месте и забытые людьми. Их главной мыслью теперь было, что Христос не разлучит их; каждое мгновение укрепляло уверенность в этом, поэтому они возлюбили Христа, как очаг, который должен соединить их, как бесконечное счастье и бесконечный мир. Еще на земле они расставались с прахом земли. Души их стали прозрачны, как слеза. Под угрозой смерти, среди нужды и страданий, в гнилой тюрьме они чувствовали себя на небесах: Лигия брала его за руку и вела, словно она была уже спасенной и святой, к вечному источнику жизни.

Петроний недоумевал, видя на лице Вениция спокойствие и какое-то

сияние, какого раньше не видел. Иногда ему приходило в голову, что Виниций нашел средство спасения, и Петронию было больно, что тот не посвящает его в свои надежды.

Наконец, не будучи в состоянии выдержать дольше, он спросил:

— Теперь у тебя хороший вид, поэтому не делай от меня тайн, потому что я хочу и могу быть полезен: скажи, ты придумал что-нибудь?

— Придумал, — ответил Виниций, — но ты не можешь больше помочь мне. После ее смерти объявлю, что я христианин, и пойду за ней.

— Значит, у тебя нет надежды?

— Есть. Христос отдаст мне ее, и я не разлучусь с ней больше никогда.

Петроний стал ходить по атриуму с разочарованным и нетерпеливым лицом. Наконец он сказал:

— Для этого не нужен ваш Христос, то же облегчение может дать тебе наш Танатос. [\[64\]](#)

Виниций печально улыбнулся и сказал:

— Нет, дорогой. Но ты не хочешь понять этого.

— Не хочу и не могу, — ответил Петроний. — Не время сейчас спорить, но помнишь, что ты говорил, когда нам не удалась попытка унести ее из тюрьмы? Я потерял всякую надежду, а ты сказал, когда мы вернулись домой: «Я верю, что Христос может вернуть ее мне». Пусть он вернет теперь. Когда я брошу драгоценную чашу в море, мне не сможет ее вернуть ни один из наших богов, но если и ваш бог не лучше, то я не знаю, почему мне почитать его больше, чем старых богов.

— Он отдаст ее мне.

Петроний пожал плечами.

— Ты знаешь, что христианами завтра будут освещать сады цезаря?

— Завтра? — переспросил Виниций.

Перед такой близкой и ужасной действительностью сердце его сжалось от боли и страха. Он подумал, что сегодня, может быть, последняя ночь, которую он сможет провести с Лигией. Простившись с Петронием, он поспешил к смотрителю «ям» за пропуском.

Но здесь его ожидало большое огорчение. Смотритель отказался дать пропуск.

— Прости, господин. Я сделал для тебя все, что мог, но я не могу подвергать опасности свою жизнь. Сегодня ночью будут отправлять христиан в сады цезаря. Тюрьма наполнится солдатами и чиновниками. Если тебя узнают, погибну я и мои дети.

Виниций понял, что настаивать было бы напрасно. У него блеснула надежда, что солдаты, видевшие его прежде, может быть, не потребуют у

него пропуска. С наступлением ночи, надев обычную тунику раба и обвязав тряпкой голову, он пошел к воротам тюрьмы.

Но на этот раз пропуска проверялись особенно тщательно, и, что хуже всего, сотник Сцевин, суровый и преданный душой и телом цезарю солдат, узнал Виниция.

Но, по-видимому, и в закованной в железо груди таилась искорка сочувствия человеческому горю, потому что вместо того, чтобы ударить копьем по щиту в знак тревоги, он отвел Виниция в сторону и сказал:

— Господин, вернись домой. Я тебя узнал, но буду молчать, не желая губить тебя. Пропустить не могу, поэтому уходи, и пусть боги пошлют тебе утешение.

— Ты не можешь пропустить меня, так позволь остаться здесь и увидеть тех, кого будут выводить из тюрьмы.

— Приказа, запрещающего мне это, нет, — ответил Сцевин.

Виниций встал у ворот и ждал, когда начнут выводить осужденных. Наконец около полуночи широко раскрылись ворота тюрьмы и показалась толпа узников — мужчин, женщин и детей, окруженная преторианцами. Ночь была светлая, наступило полнолуние, — Виниций ясно видел не только фигуры несчастных, но и лица их. Они пошли парами, длинной, зловещей вереницей, среди тишины, нарушаемой бряцанием оружия. Их было столько, что, по-видимому, подземелья остались пустыми.

В хвосте шествия Виниций ясно увидел лекаря Главка. Ни Лигии, ни Урса не было среди осужденных.

## XIX

С наступлением вечера волны народа стали заливать сады цезаря. Празднично одетая, увенчанная, поющая, веселая и уже пьяная толпа шла смотреть на новое, великолепное зрелище. Крики «Semaxii! Sarmetitii!» (так называлась казнь через сожжение) разносились по всему Риму. В городе и раньше видели людей, которых сжигали на столбах, но никогда еще не было столь большого количества осужденных. Цезарь и Тигеллин хотели покончить с христианами и вместе с тем уничтожить заразу, которая из тюрем распространялась по городу. Велено было очистить все подземелья, оставили всего лишь несколько десятков, предназначенных для конца игр.

Поэтому толпа, вливавшаяся в сады цезаря, была изумлена. Все главные аллеи и боковые, пролегавшие в глубине, вокруг лужаек и прудов, были уставлены столбами, к которым привязывали христиан. С более возвышенных мест, где вида не заслоняли деревья, можно было видеть длинные ряды столбов с привязанными к ним людьми, украшенные цветами и вьющимися растениями; столбы разбегались во все стороны и ближайšie казались мачтами кораблей, а дальние похожи были на увитые зеленью тирсы, <sup>[65]</sup> воткнутые в землю. Количество жертв превзошло все ожидания народа. Можно было подумать, что целое племя привязали к столбам для забавы цезаря и Рима. Толпы останавливались перед отдельными осужденными, если их интересовал вид, возраст или пол жертвы, рассматривали лицо, цветы, гирлянды плюща и трогались дальше, невольно задавая себе вопрос: «Неужели обнаружено столь большое число поджигателей и как могли сжечь Рим дети?» И недоумение постепенно переходило в тревогу.

Наступала ночь, на небе блеснули первые звезды. Тогда у каждого столба встал раб с пылающим факелом в руке, и когда звук трубы прокатился по садам, возвещающая начало зрелища, они коснулись факелами столбов.

Скрытая под цветами солома, обильно политая смолой, мгновенно вспыхнула ярким пламенем, которое усиливалось с каждой минутой и поднималось кверху, охватывая ноги осужденных.

Народ молчал. Сады наполнились стоном и криками боли. Некоторые, подняв головы к небу, запели гимн в честь Христа. Народ слушал. Но даже самые жесткие сердца были поражены, когда с меньших столбов

послышались раздирающие крики: «Мама! мама!» Дрожь пробежала по телу даже наиболее пьяных зрителей при виде невинных детей, плачущих от боли и страха, задыхающихся в дыму, который начал душить жертвы. Пламя ползло кверху, охватывая цветочные гирлянды и тела. Осветились главные и боковые аллеи, осветились чаша, лужайки и цветочные клумбы, заблестела вода в прудах и бассейнах, деревья стали розовыми, было светло как днем. Запах горелого мяса наполнил сады, но рабы тотчас стали сыпать в приготовленные заранее кадиламицы мирру и алоэ. В толпе слышались крики, но трудно решить — сочувственные к христианам или восторженные и прославлявшие цезаря. И эти крики усиливались по мере того, как огонь охватывал столбы, лизал грудь осужденных, сжигал знойным дыханием своим волосы на голове, бросал искры в лицо, пока, наконец, не вырывался вверх, словно и он прославлял победу и торжество той силы, которая создала его...

В самом начале зрелища появился цезарь на великолепной цирковой квадриге, запряженной четырьмя белыми конями; на нем была одежда наездника цветов партии Зеленых, к которой принадлежал он и его двор. За ним двигались колесницы, наполненные придворными, жрецами; пьяные вакханки в венках и с кувшинами вина в руках издавали дикие вопли... Музыканты, переодетые фавнами и сатирами, играли на кифарах, флейтах и рожках. На некоторых колесницах ехали знатные римлянки, матроны и девушки, также пьяные и полуголые; около квадриг бежали мужчины, потрясая тирсами; некоторые били в тимпаны и бросали цветы. Вся эта пышная процессия медленно двигалась вперед, издавая вакхический крик: «Эвое!», по главной аллее среди дыма и человеческих светочей. Цезаря сопровождали Тигеллин и Хилон, страх которого забавлял Нерона; он лично правил квадригой и, проезжая, смотрел на горящие тела и прислушивался к крикам народа. Стоя на высокой золоченой колеснице, окруженный морем голов, которые склонялись перед ним; в отблесках огня, в золотом венке циркового наездника он возносился над толпой и казался исполином. Ужасные руки его, простертые вперед и держащие вожжи, казалось, благословляли народ. На лице и в прищуренных глазах дрожала улыбка, и он сиял, как солнце, как божество, страшное, но прекрасное и могучее.

Иногда он останавливался, чтобы лучше рассмотреть какую-нибудь девушку, тело которой лизал огонь, или ребенка, корчившегося в предсмертной агонии, — и снова двигался вперед, ведя за собой обезумевшую, разнузданную толпу.

Он кланялся народу или, откинувшись назад и натягивая золотые



вожжи, разговаривал с Тигеллином. Доехав до большого водомета на перекрестке двух широких аллей, он сошел с колесницы и, подав знак друзьям, замешался в толпе.

Его встретили криком и рукоплесканиями. Вакханки, нимфы, сенаторы, жрецы, фавны, сатиры и солдаты окружили его безумным хороводом, а он, имея по одну сторону Тигеллина, а по другую — Хилона, обошел фонтан, вокруг которого возвышалось несколько светочей, останавливался перед каждой жертвой, делал замечания или шутил над стариком-греком, на лице которого было написано безбрежное отчаяние.

Они остановились перед высоким столбом, украшенным зеленью мирт и цветочными гирляндами. Языки красного пламени доходили до колен жертвы, но лица разглядеть нельзя было, потому что его окутывал дым. Но через минуту легкий ночной ветер прогнал дым, и все увидели голову старца с седой и длинной бородой.

Увидев его, Хилон весь сжался в комок, извиваясь как раненая змея; из груди его вырвался крик, более похожий на шипение гада, чем на голос человека:

— Главк! Главк!..

Действительно, с пылавшего столба на него взирал лекарь Главк.

Он был еще жив. Лицо, искаженное от боли, наклонилось вперед, словно он хотел лучше рассмотреть своего палача, который предал его, лишил жены и детей, отдал в руки убийц и когда все это было ему прощено во имя Христа, еще раз предал его в руки мучителей. Никогда человек не причинял другому человеку более страшных и кровавых обид. И вот теперь жертва пылала на смоляном столбе, а палач стоял внизу и смотрел на ее мучения. Взор Главка не отрывался от лица грека. Иногда дым заслонял его, но ветер отгонял его, и Хилон снова чувствовал на себе пристальный взгляд. Он вскочил, хотел бежать — и не мог. Вдруг почувствовал, что ноги его налиты оловом, что чья-то невидимая рука держит его с сверхчеловеческой силой перед этим столбом. Он замер. Чувствовал, что надорвалось в нем что-то, что достаточно ему крови и мучений, что приходит конец жизни. И все вокруг исчезло: и цезарь и толпа — его окружает бездонная, страшная и черная пустота, из которой устремлены на него глаза мученика, призывающие на суд. А Главк, все ниже склоняя голову, продолжал смотреть на Хилона. Присутствующие угадали, что между этими людьми что-то происходит, но смех замер на их губах, потому что на лице грека был написан подлинный ужас, оно было искажено такой болью, словно языки пламени лизали не жертву, а палача.

Хилон зашатался и, протянув вверх руки, завопил страшным,

раздирающим душу голосом:

— Главк! Во имя Христа, прости!

Наступила гробовая тишина; дрожь пробежала по телу присутствующих, и глаза всех невольно обратились на Главка.

Голова мученика слабо пошевелилась, и послышался сверху слабый голос, похожий на стон:

— Прощаю...

Хилон бросился лицом на землю, воя как зверь, и, захватив руками горсть песка, посыпал себе голову. Глаза его вспыхнули необыкновенным огнем, на сморщенном лбу был написан восторг; нескладный минуту тому назад грек стал вдруг похожим на священника, восхищенного божеством, который хочет открыть народу сокровенные тайны.

— Что с ним? Он сошел с ума! — раздались голоса.

А Хилон, повернувшись к толпе и протянув вверх правую руку, стал громко кричать, так что не только августианпы, но и окружавшая их огромная толпа ясно услышала его слова:

— Народ римский! Клянусь тебе смертью моей, что здесь погибают невинные, а поджигатель — вот кто!

И он указал на Нерона.

Наступило молчание. Придворные замерли. Хилон стоял с протянутой дрожащей рукой и продолжал указывать на цезаря. Вдруг произошло замешательство. Народ неудержимой волной хлынул к старику, желая лучше рассмотреть его. Раздались крики: «Держи его!» Другие вопили: «Горе нам!..» В толпе пронесся свист, и повсюду закричали: «Меднобородый! Матерубийца! Поджигатель!» Волнение росло. Вакханки с диким криком прыгали на колесницы. Несколько перегоревших столбов внезапно рухнуло, рассыпая вокруг искры и увеличивая замешательство. Слепая, неудержимая толпа оттеснила Хилона и увлекла его в глубь сада.

И в других местах стали падать подгоревшие столбы, наполняя аллеи дымом, искрами, запахом горелого дерева и трупным смрадом. Факелы гасли. В садах стало темно. Встревоженная толпа, мрачная и молчаливая, теснилась к воротам. Весть о случившемся, переходя из уст в уста, выросла в нечто маловероятное. Одни рассказывали, что цезарь упал в обморок, другие — что он сам признался, что велел поджечь Рим; иные утверждали, что он тяжело заболел, иные — что его увезли мертвого на колеснице. Раздавались голоса, сочувствующие христианам: «Не они сожгли Рим, зачем же столько крови, мук и несправедливости? Разве боги не отомстят за невинных и какие жертвы смогут их теперь умиловить?» Слова «невинные жертвы» повторялись все чаще и чаще. Женщины жалели детей,

которых бросали на съедение диким зверям, распинали на крестах или сжигали в этих проклятых садах! Жалость к христианам сменилась проклятиями, которые посылались цезарю и Тигеллину. Но были и такие, которые вдруг задавали вопрос: «Что же это за божество, которое дает силы переносить такие страдания и смерть?» Они возвращались домой, размышляя об этом...

Хилон долго блуждал по садам, не зная, куда идти и что делать. Теперь он снова почувствовал себя бессильным, несчастным и больным стариком. Он наткнулся на полуобгорелые трупы, наступал на головни, которые посылали ему вслед рой искр; иногда он садился, беспомощно оглядываясь по сторонам. Сады погрузились во мрак; между деревьями скользило слабое лунное сияние, бросая неверный свет на аллеи, лежавшие поперек почерневшие столбы и бесформенные остатки обуглившихся тел. Но старому греку казалось, что в лунном сиянии он все еще видит перед собой лицо Главка и что глаза лекаря устремлены на него, поэтому Хилон старался спрятаться в тени. Потом он невольно побрел, гонимый неведомой силой, к фонтану, при котором испустил дух старый Главк.

Вдруг чья-то рука легла на его плечо.

Старик обернулся и, видя перед собой незнакомого человека, воскликнул в страхе:

— Кто это? Что ты за человек?

— Апостол, Павел из Тарса.

— Я проклят!.. Что тебе нужно?

Апостол ответил:

— Хочу спасти тебя.

Хилон прислонился к дереву.

Ноги его подкашивались, и руки повисли вдоль тела.

— Для меня нет спасения! — глухо сказал он.

— Разве ты не слышал, что Господь простил раскаявшемуся разбойнику на кресте? — спросил Павел.

— Знаешь ли ты, что я совершил?

— Я видел твое страдание и слышал, как ты свидетельствовал истину.

— О господин!..

— И если слуга Христов простил тебя в час муки и смерти, как же может не простить тебя сам Христос?

Хилон в отчаянии схватился за голову.

— Простить? Меня простить?

— Наш Бог — Бог милосердия, — ответил Павел.

— Милосердие?.. Для меня?..

И Хилон застонал, как человек, не имеющий сил подавить боль и страдание. Павел сказал ему:

— Обопрись на меня, и пойдём.

И они пошли по аллее, направляясь к водомету, который, казалось, плакал в ночной тишине над останками мучеников.

— Бог наш — Бог милосердия, — повторил апостол. — Если бы ты встал у моря и стал бросать в него камни, разве мог бы ты заполнить ими глубину морскую? И я говорю тебе, что милосердие Христа подобно морю — и грехи и вины людей тонут в нём, как брошенные в бездну камни; оно как небо, покрывающее горы, земли и моря, потому что оно всюду и нет ему ни границы, ни конца. Ты страдал у столба Главка, и Христос видел твоё страдание. Ты не боялся того, что встретит тебя завтра, и сказал: «Вот поджигатель!» Христос запомнил слова твои. Миновали злоба и ложь, и в сердце твоём невыразимое горе... Пойди со мной и послушай, что я скажу тебе: и я так же ненавидел его и преследовал его учеников... Я не хотел его и не верил в него, пока он сам не явился мне и не позвал меня. И с тех пор он стал моей любовью. Теперь он посетил тебя горем, страхом и болью, чтобы позвать к себе. Ты ненавидел его, а он любил тебя. Ты предал на муку его последователей, а он хочет простить тебя и спасти.

Грудь бедняги сотрясалась от рыданий, душа его разрывалась на части, а Павел обнимал его, поддерживая, ободрял и вел, как солдат ведёт пленника. Апостол продолжал говорить:

— Пойдём, и я приведу тебя к нему. Зачем я разговариваю с тобой? Затем, что он повелел мне собирать души людей во имя любви, и я исполняю завет его. Думаешь, что ты проклят, а я говорю тебе: уверуй в него, и тебя ждёт спасение. Думаешь, что тебя ненавидят, а я повторяю, что он любит тебя. Посмотри на меня! Когда он не был во мне, жила в моём сердце одна лишь злоба, а теперь его любовь заменяет мне отца и мать, богатство и власть. Он один — наше прибежище, он один примет твою скорбь, воззрит на горе твою, утешит тебя и вознесет к себе.

Говоря так, он привел его к фонтану, серебряные струи которого светились в лунном сиянии. Вокруг — тишина и безлюдье; в этом месте рабы успели очистить площадку от полуобгорелых столбов и обуглившихся трупов. Хилон со стоном упал на колени и, закрыв лицо руками, застыл в таком положении, а Павел поднял лицо к небу и стал молиться:

— Господи, воззри на этого страдальца, на сокрушение его, на слезы и страдание! Боже милосердный, проливший кровь за грехи наши, ради муки твоей, ради смерти и воскресения, прости его!

Он замолчал, но долго ещё смотрел на небо и молился. Но вот у ног

его раздался стон:

— Христос!.. Христос!.. Помилуй меня!

Тогда Павел подошел к фонтану и, зачерпнув рукой воду, вернулся к склоненному грешнику:

— Хилон! Крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Аминь!

Хилон поднял голову, отнял руки от лица и остался неподвижным. Луна освещала ярким светом его поседевшую голову и бледное, застывшее, словно высеченное из камня лицо. Из птичников в садах Домиции донеслось пение петухов, а он все еще стоял на коленях, похожий на надгробный памятник. Наконец пришел в себя, встал и, обратившись к апостолу, спросил:

— Что должен я сделать перед смертью?

Павел, погруженный в размышление о той неизмеримой силе, которой не могут противиться даже такие души, как у этого грека, вернулся к действительности и ответил:

— Верь и свидетельствуй истину!

Потом они вместе вышли. У ворот сада апостол еще раз благословил старца, и они расстались. Этого потребовал Хилон, предвидевший, что после происшедшего цезарь и Тигеллин будут преследовать его.

Он не ошибся. Вернувшись в свой дом, он нашел там преторианцев, которые тотчас схватили его, и сотник Сцевин отвел грека на Палатин.

Цезарь уже отправился спать, но Тигеллин ждал и, увидев несчастного Хилона, встретил его спокойно и холодно.

— Ты совершил преступление, и кара за оскорбление величества не минует тебя. Но если завтра заявишь в амфитеатре, что ты был пьян и безумен и что виновниками пожара являются христиане, то наказание ограничится тем, что ты будешь высечен и изгнан.

— Не могу, господин, — тихо ответил Хилон.

Тигеллин медленно подошел к нему и тихим, но страшным голосом спросил:

— Как не можешь, греческая собака? Разве ты не был пьян и разве не понимаешь, что тебя ждет? Посмотри туда!

Он указал на угол атриума, где подле длинной деревянной скамьи неподвижно стояли четыре раба-фракийца с веревками и орудиями пытки в руках. Хилон повторил:

— Не могу, господин!

Тигеллина охватило бешенство, но он сдержал себя.

— Ты видел, как умирают христиане? Хочешь так умереть?

Старец поднял бледное лицо, губы его что-то шептали, потом он

сказал:

— И я верую в Христа!..

Тигеллин с изумлением смотрел на него.

— Собака, ты действительно сошел с ума!

И сдерживаемая в груди его ярость вдруг вся вырвалась наружу. Он в бешенстве схватил Хилона за бороду, повалил его на землю и стал топтать ногами, повторяя:

— Ты откажешься от своих слов! Ты откажешься! Откажешься!

— Не могу! — простонал старец.

— Взять его и пытать!

Услышав приказание, фракийцы схватили Хилона, бросили на скамью и, привязав его к ней веревками, стали железными щипцами сжимать его худые члены. Но он, когда они еще привязывали его, покорно целовал их руки, а потом закрыл глаза и лежал тихо, как мертвый.

Но он был жив, потому что, когда Тигеллин склонился над ним и еще раз спросил: «Откажешься?» — бледные губы его слабо пошевелились, и послышался еле слышный шепот:

— Не... могу...

Тигеллин дал знак прекратить пытку и стал ходить по атриуму с лицом, искаженным от бешенства, но в то же время и растерянным. Наконец ему пришла в голову новая мысль, он повернулся к фракийцам и бросил:

— Вырвать ему язык!

Драма «Augeolus» шла обычно в амфитеатрах так, что строились две отдельные сцены. Но после зрелищ в садах цезаря ее решили поставить на одной сцене, чтобы зрители могли всецело сосредоточить свое внимание на смерти распятого на кресте раба, которого по ходу действия должен растерзать медведь. В театрах роль медведя играл актер, зашитый в звериную шкуру, на этот раз решили выпустить настоящего медведя. Это была мысль Тигеллина.

Цезарь сначала заявил, что не будет присутствовать на представлении, но уговоры любимца подействовали на Нерона, и он переменял намерение. Тигеллин объяснил ему, что после того, что случилось в садах, он тем более должен показаться народу; кроме того, Тигеллин ручался, что распятый раб не оскорбит его, как это сделал Крисп. Народ пресытился и устал от пролития крови, поэтому обещана была новая раздача выигранных билетов и подарков и, кроме того, ночной пир, потому что зрелище должно было совершиться вечером, в ярко освещенном амфитеатре.

С наступлением сумерек цирк был уже переполнен; августианы с Тигеллином во главе прибыли все без исключения, не столько ради представления, сколько для того, чтобы засвидетельствовать после случая с Хилоном свою верность цезарю, а также чтобы посплетничать о греке, который был предметом разговора во всем Риме.

Передавали на ухо, что цезарь вернулся из садов взбешенный и не мог уснуть, его преследовали страшные видения, почему он и объявил на другой день о своем отъезде в Ахайю. Другие решительно опровергали это, утверждая, что именно теперь он проявит наибольшую жестокость к христианам. Много было трусов, которые боялись, что обвинение, которое Хилон бросил в лицо цезаря в присутствии многотысячной толпы, может иметь самые худые последствия. Наконец были и такие, которые из человеколюбия просили Тигеллина бросить дальнейшие преследования христиан.

— Подумайте, куда вы идете, — говорил Барк Соран. — Вы хотели дать пищу для мести и утвердить народ в убеждении, что виновных постигла заслуженная кара, а следствия получились совсем обратные.

— Правда! — прибавил Антистий Вер. — Все теперь шепчут, что они не виновны. Если это считать умной мерой, то Хилон был прав, говоря, что ваши мозги не наполнили бы скорлупы желудя.

Тигеллин обратился к ним и сказал:

— Люди шепчут также о том, что твоя дочь Сервилия, Барк Соран, и твоя жена, Антистий, прятали у себя рабов-христиан и скрыли их от гнева цезаря.

— Это ложь! — воскликнул встревоженный Барк.

— Мою жену хотят погубить ваши разведенные женщины, которые завидуют ее добродетели! — сказал с не меньшей тревогой Антистий Вер.

Другие разговаривали о Хилоне.

— Что с ним случилось? — спрашивал Эприй Марцелл. — Сам предал их в руки Тигеллина; из нищего превратился в богача, мог спокойно кончить жизнь, устроить себе пышные похороны и надгробие... но нет! Предпочел потерять все и погибнуть. Воистину он сошел с ума!

— Он сделался христианином, — сказал Тигеллин.

— Не может быть! — воскликнул Вителий.

— Разве я не говорил? — вмешался Вестин. — Убивайте христиан, но знайте, что вы боретесь с их божеством. С ним шутки плохи!.. Я не поджигал Рима, но если бы мне цезарь позволил, я тотчас принес бы гекатомбу в жертву их божеству. И все вы должны сделать это же. Повторяю: с ним не стоит шутить! Помните, что я говорил вам это раньше!

— А я говорил нечто иное, — сказал Петроний. — Тигеллин смеялся, когда я утверждал, что они защищаются, а теперь я скажу больше: они побеждают!

— Как? Как? — воскликнули некоторые.

— Клянусь Поллуксом!.. Если такой человек, как Хилон, не смог устоять, то кто устоит? Если вы думаете, что после каждого зрелища не увеличивается число их последователей, то вашим знанием Рима вы не можете похвастать. Советую вам стать брадобрелями, и тогда вы лучше будете знать, что думает народ и что происходит в городе.

— Он говорит правду, клянусь священной одеждой Дианы! — воскликнул Вестин.

Барк обратился к Петронию и спросил:

— К чему ты клонишь?

— Скажу то, с чего вы начали: довольно крови!

Тигеллин злобно посмотрел на него и сказал:

— Эх! Еще немного!

— Если у тебя нет головы, то ты можешь взять себе шарик моей трости! — ответил Петроний.

Дальнейший разговор был прерван прибытием цезаря, который занял свое место и посадил возле себя Пифагора.



Началось представление. Но игра актеров не привлекала внимания, все думали и разговаривали о Хилоне. Народ также скучал, слышалось шиканье, раздавались враждебные цезарю крики, требовали скорее показать сцену с медведем, которая одна лишь и вызывала интерес. Если бы не надежда увидеть осужденного старца и не обещание подарков, само зрелище не удержало бы зрителей в амфитеатре.

Наконец настала долгожданная минута. Сначала был вынесен деревянный крест, достаточно низкий, чтобы медведь, встав на задние лапы, мог достать грудь распятого, а потом два раба ввели, вернее, втащили Хилона, потому что сам он не мог идти на поломанных пыткой ногах. Его положили и прибили к кресту так быстро, что любопытные августианцы не успели даже рассмотреть его лица, и только после того, как крест был поднят и укреплен в заранее подготовленной яме, глаза всех зрителей обратились на него.

Но мало кто узнал в этом нагом старце прежнего Хилона. После пыток, которым он был подвергнут по приказанию Тигеллина, в лице его не осталось ни кровинки, и лишь на белой бороде его виден был след крови от вырванного языка. Сквозь прозрачную кожу можно было рассмотреть все его кости. Он казался теперь гораздо более старым, почти дряхлым. Но, если прежде глаза его всегда бросали беспокойные и злые взгляды по сторонам, а на нервном лице его всегда было запечатлено выражение тревоги и неуверенности, теперь же лицо его было страдальческим, но тихим и сладостным, какое бывает у спящих людей или у мертвых. Может быть, ему придало силы воспоминание о распятом разбойнике, который был прощен, а может быть, он говорил в душе милосердному Богу: «Господи, я жалил, как ядовитое насекомое, но всю жизнь я был нищим, умирал от голода, люди топтали меня, били, издевались надо мной. Я был, о Господи, беден и очень несчастен, а теперь я обречен на страдание и распят, поэтому, милосердный, ты не оттолкнешь меня в час смерти!» И мир сошел в его сокрушенное сердце. Никто не смеялся; в этом распятом мученике было что-то тихое, он казался таким старым, беспомощным, слабым, покорным и достойным жалости, что невольно каждый задавал вопрос: как можно истязать и распинать людей, которые и так умирают? Толпа безмолвствовала. Вестин наклонялся направо и налево и смущенно шептал: «Смотрите, как они умирают!» Другие ждали медведя, желая в душе, чтобы зрелище скорее было окончено.

Наконец медведь был выпущен на арену. Он выбежал с низко опущенной мордой, исподлобья оглядываясь по сторонам, словно раздумывал над чем-то или чего-то искал. Увидев крест, а на нем

обнаженное тело, он приблизился к нему, встал было на задние лапы и тотчас же снова опустился на передние; сев под крестом, он стал ворчать, словно и его звериное сердце почувствовало жалость к этому слабому человеку.

Цирковые служители стали дразнить его криками, но народ молчал.

Хилон медленно поднял голову и некоторое время искал глазами кого-то в амфитеатре. Наконец взор его остановился где-то высоко, в самых последних рядах, грудь стала вздыматься быстрее, и произошло то, что привело в изумление и очень удивило зрителей. Лицо его осветилось радостной улыбкой. Вокруг головы появилось словно сияние, глаза поднялись к небу, и две крупных слезы медленно скатились по лицу. И он умер.

Чей-то сильный мужской голос воскликнул откуда-то сверху, из последних рядов:

— Мир мученикам!

В амфитеатре царило глухое молчание...

После зрелищ в садах цезаря с живыми светочами тюрьмы почти опустели. До сих пор продолжали хватать и заключать туда людей, которых подозревали в исповедании восточного суеверия, но облавы обнаруживали их в небольшом числе, едва достаточном для завершения игр. Народ, пресыщенный кровью, был утомлен и взволнован необыкновенно странным поведением осужденных. Страхи суеверного Вестина охватили тысячи душ. Рассказывали удивительные вещи о мстительности христианского божества. Тюремная лихорадка проникла в город и увеличила эти страхи. Видели частые похороны и шептали друг другу на ухо, что нужны новые очистительные жертвы, чтобы умиловать неведомого бога. В храмах приносились жертвы Юпитеру и Либитине. Наконец, несмотря на все усилия Тигеллина, все более распространялось мнение, что Рим был сожжен по приказанию цезаря и что христиане страдают напрасно.

Но именно потому Нерон и Тигеллин не прекращали гонения. Чтобы успокоить народ, был издан приказ о новой раздаче хлеба, масла и вина; было издано распоряжение, облегчающее постройку домов, полное льгот для граждан, а также было установлено, какой ширины должны быть улицы и из каких материалов следует возводить постройки, чтобы избежать в будущем опасности от пожара. Цезарь лично являлся в сенат и обсуждал вместе с «отцами» меры к улучшению быта римлян, — но на христиан не пало ни одного луча милости, владыке мира прежде всего было важно внедрить в сознание народа, что столь жестокая кара ни в коем случае не может пасть на невиновных. И в сенате не раздалось ни одного голоса в защиту христиан — никто не хотел раздражать цезаря. Кроме того, люди, способные заглянуть в будущее, уверяли, что при широком распространении новой веры римское государство не могло бы уцелеть.

Людей умирающих и мертвых отдавали родным, потому что римское право не мстило мертвецам. Для Виниция служила большим облегчением мысль, что если Лигия умрет, то он похоронит ее в родовом склепе и велит похоронить себя рядом с ней. Теперь у него не было ни малейшей надежды на спасение ее от смерти, и сам он, наполовину ушедший от жизни, был погружен всецело в Христово учение и не мечтал о каком-нибудь ином союзе с ней, кроме вечного и неземного. Вера его стала бездонной, и вечность казалась ему чем-то гораздо более подлинным и действительным,

чем преходящее существование, каким он жил до сих пор. Сердце его наполнилось глубоким восторгом. При жизни он стал почти бестелесным существом, которое тосковало о полном отрешении от земного и желало того же другой возлюбленной душе. Ему казалось, что тогда они вдвоем с Лигией, взявшись за руки, отойдут в небо, где Христос благословит их и позволит жить в покойном и огромном сиянии, подобном заре. Он умолял Христа лишь об одном, чтобы Лигия не подвергалась мучениям в цирке и тихо умерла в тюрьме; и он совершенно уверен был, что сам умрет вместе с ней. Он думал, что среди этого моря пролитой крови он даже не вправе надеяться, чтобы она одна уцелела. Он слышал и от Петра и от Павла, что и они также должны умереть, как мученики. Вид Хилона на кресте убедил его, что смерть, даже мученическая, может быть сладостной, поэтому он хотел ее, хотел для них обоих, как желанную замену злой, печальной и тяжелой жизни — иной, лучшей.

Иногда он чувствовал в себе предвкушение этой загробной жизни. Та печаль, которая веяла над их душами, теряла прежнюю жгучую горечь и становилась какой-то неземной, спокойной отдачей себя воле Божьей. Прежде Виниций с великими усилиями плыл против течения, боролся и мучился — теперь он отдал себя волне, веря, что она вынесет его на вечно спокойный и тихий берег. Он знал, что и Лигия готовится к смерти, что, несмотря на разделяющие их тюремные стены, они идут вместе, и радовался этой мысли, как высшему счастью.

И действительно, они шли так согласно, словно виделись каждый день и подолгу беседовали. У Лигии также не было никаких желаний, никакой надежды, кроме надежды на загробную жизнь. Смерть представлялась ей не только освобождением из стен страшной тюрьмы, из рук цезаря и Тигеллина, не только как спасение, но и как час брака с Виницием. При непоколебимой вере в это и все другое теряло для нее значение. После смерти для нее начиналось счастье даже и земное, поэтому она ждала смерти, как невеста ждет свадьбы.

Эта могучая сила веры, которая отрывала от жизни и вела на смерть тысячи первых исповедников, овладела также и Урсом. И он долго не хотел примириться со смертью Лигии, но после того, как ежедневно в тюрьму приходили вести, что происходит в цирке и садах, когда смерть казалась всеобщей, неизбежной для всех христиан и вместе с тем — их благом, превышавшим все земные представления о счастье, лигиец не смел больше молиться Христу, чтобы он лишил этого счастья Лигию или отложил его на долгие годы. В его простой душе варвара складывалось представление, что дочери лигийского царя больше принадлежит и по праву больше

достанется этих небесных радостей, чем толпе простых людей, к которым принадлежал и он сам, — и что в славе вечной она сядет ближе к Агнцу, чем другие. Правда, он слышал, что для Бога все люди равны, но в глубине души он был убежден, что дочь вождя, царя всех лигийцев, все-таки не то, что первая попавшаяся рабыня. Он надеялся, что Христос позволит ему служить Лигии и впредь. Что касается его самого, то в нем было одно лишь тайное желание — умереть так же, как умер Агнец, на кресте. Но это казалось ему столь большим счастьем, что он не решался даже просить об этом, хотя и знал, что в Риме распинают преступников. Вероятно, ему суждено погибнуть от зубов хищных зверей, и это очень волновало его. С детских лет он жил в девственных лесах, охотился и благодаря своей исключительной силе, еще будучи ребенком, прославился среди лигийцев как первый охотник и зверолов. Охота была его любимым занятием, и после, когда очутился в Риме и должен был отказаться от нее, он ходил в зверинцы и в амфитеатр, чтобы хоть посмотреть на знакомых и незнакомых зверей. Один вид их будил в его сердце неодолимое желание борьбы и убийства, и теперь он опасался в душе, что, когда придется встретиться на арене, ему придут в голову мысли, недостойные христианина, который должен умереть тихо и терпеливо. Но и в этом он поручал себя Христу, утешая себя другими, более сладостными мыслями. Он слышал, что Агнец объявил войну силам ада и злым духам, к которым христианская вера причисляла всех языческих богов, и думал, что в этой войне он может пригодиться Агнцу и сумеет помочь ему лучше других, — его мысль не могла вместить того, что его душа может быть менее сильной, чем души других мучеников. Кроме того, он молился по целым дням, оказывал услуги узникам, помогал сторожам и утешал свою царевну. Сторожа, которых даже в тюрьме пугала сверхчеловеческая сила этого исполина, потому что не могло быть для нее достаточно крепких цепей и решеток, под конец полюбили Урса за его кротость. Не раз, изумленные его спокойствием, они расспрашивали о его причинах, и Урс рассказывал им с непоколебимой уверенностью о том, какая жизнь ждет его после смерти. Они слушали его с удивлением и поражались, что даже в подземелье, куда не проникает солнце, может проникнуть счастье. И когда он убеждал их уверовать в Агнца, многим приходило в голову, что их служба — служба раба, а жизнь — исполнена нищеты, и не один задумывался над своей жизнью, концом которой была лишь смерть.

Но смерть приносила с собой новый страх, и они ничего не ждали после нее, тогда как этот великан-лигиец и эта девушка, похожая на цветок, брошенный на тюремную солому, шли навстречу смерти с радостью, как к

вратам счастья.

Однажды вечером Петрония навестил сенатор Сцевин и повел с ним длинный разговор о тяжелых временах, при которых приходится жить, и о цезаре. Говорил он так откровенно, что Петроний, хотя и дружил с ним, стал держаться осторожнее. Он жаловался, что жизнь идет неправильно и нелепо, что все вместе взятое может кончиться катастрофой, более страшной, чем пожар Рима. Говорил, что даже августианцы недовольны, что Фений Руфф, второй префект претории, с величайшим трудом переносит постыдное правление Тигеллина и что весь род Сенеки доведен до крайности отношением цезаря как к своему старому учителю, так и к Лукану. Под конец он стал говорить о недовольстве народа и даже преторианцев, значительную часть которых сумел перетянуть на свою сторону Руфф.

— Почему ты говоришь все это? — спросил его Петроний.

— Говорю, желая добра цезарю, — ответил Сцевин. — Есть у меня дальний родственник-преторианец, по имени, как и я, Сцевин, и через него я знаю, что делается в лагере... Недовольство растет и там... Калигула был безумен, и помнишь, чем это кончилось! Нашелся Кассий Херей... Страшное он совершил дело, и, наверное, среди нас не найдется никого, кто бы похвалил его, но все же Кассий избавил мир от чудовища.

— Но ты ведь говоришь так: «Я Кассия не одобряю, но это был прекрасный человек, и пошли нам боги побольше таких!»

Сцевин переменял разговор и неожиданно стал восторгаться Пизоном. Он прославлял его род, его честность, его любовь к жене, его ум, наконец, спокойствие, удивительный дар привлекать к себе людей.

— Цезарь бездетен, и все видят наследника в Пизоне. Без сомнения, каждый помог бы ему от всей души получить власть. Его любит Фений Руфф, род Аннеев предан ему. Плавтий Латеран и Туллий Сенеций готовы пойти за него в огонь. То же можно сказать про Наталия, Субрия Флавия, Сульпиция Аспера, Атрания Квинтиана и даже Вестина.

— От последнего мало пользы Пизону, — сказал Петроний. — Вестин боится собственной тени.

— Вестин боится снов и духов, но он дельный человек, которого не напрасно хотят назначить консулом. Он в душе является противником преследования христиан, но не ставь ему этого в вину, потому что ведь и тебе важно, чтобы это безумие прекратилось.

— Не мне, а Виницию, — сказал Петроний. — Ради Виниция я хотел бы спасти одну девушку, но не могу, потому что теперь я впал в немилость у Меднобородого.

— Как? Разве ты не видишь, что цезарь снова благоволит к тебе и начинает разговаривать с тобой? И я скажу тебе почему. Он снова собирается в Ахайю, где хочет выступить с греческими стихами своего сочинения. Ему очень хочется поехать, но он дрожит при мысли о смешливом настроении греков. Он думает, что его может встретить или величайший триумф, или величайший провал. Поэтому ему нужен добрый совет, а он знает, что, кроме тебя, никто этого сделать не может. Вот причина, почему твоя опала кончается.

— Лукан мог бы заменить меня.

— Меднобородый ненавидит его и в душе обречен на смерть. Он лишь ищет предлога, ведь он всегда ищет предлогов. Лукан понимает, что нужно спешить.

— Клянусь Кастором! Может быть, все это и так. Но у меня есть еще один путь вернуть себе милость цезаря.

— Какой?

— Повторить Меднобородому все, что ты мне сейчас говорил.

— Я ничего не сказал! — поспешно воскликнул Сцевин.

Петроний положил ему руку на плечо.

— Ты назвал цезаря безумцем, ты говорил о правах Пизона, и ты сказал: «Лукан понимает, что нужно спешить». С чем вы хотите спешить, милейший?

Сцевин побледнел, и некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза.

— Ты не повторишь этого цезарю!

— Клянусь бедрами Киприды, ты мало меня знаешь. Нет! Не повторю. Я ничего не слышал, но я и слышать не хочу... Понимаешь? Жизнь слишком коротка, чтобы затевать что-нибудь. Но я прошу об одном: навести сегодня же Тигеллина и поговори с ним так же долго, как со мной, о чем хочешь!

— Зачем?

— Затем, чтобы в случае, если когда-нибудь Тигеллин скажет: «Сцевин был у тебя», я мог бы ответить ему: «В тот же день он был и у тебя».

Сцевин, услышав это, сломал трость из слоновой кости, которую держал в руке, и сказал:

— Пусть возможное несчастье кончится на этой палке. Сегодня буду у Тигеллина, а потом на пиру у Нервы. Ведь и ты будешь? Во всяком случае,



мы увидимся послезавтра в амфитеатре, где выступят остатки христиан!.. До свидания!..

— Послезавтра! — повторил, оставшись один, Петроний. — Времени терять нельзя. Агенобарб действительно нуждается во мне для поездки в Ахайю, поэтому, может быть, станет считаться со мной.

Он решил испробовать последнее средство.

На пиру у Нервы цезарь потребовал, чтобы Петроний расположился против него, он хотел разговаривать с ним об Ахайе и о городах, в которых можно было выступить, рассчитывая на наибольший успех. Больше всего его занимали афиняне, которых он боялся. Другие августианцы слушали разговор с большим вниманием, чтобы запомнить кое-что из слов Петрония и после выдать это за собственное мнение.

— Мне кажется, что до сих пор я не жил, — сказал Нерон, — и я явлюсь на свет лишь в Греции.

— Ты родишься там для новой славы и бессмертия, — ответил Петроний.

— Верю, что так будет и что Аполлон не окажется завистливым. Если я вернусь с триумфом, то принесу ему гекатомбу, какой не получал до сих пор ни один бог.

Сцевин стал декламировать стихи Горация:

Пусть тебя поведет богиня Киприда,  
Братья Елены, светлые звезды  
И ветров победитель отец...

— Корабль стоит в Неаполе, — сказал цезарь. — Я готов уехать хоть завтра.

Петроний приподнялся и, глядя прямо в глаза Нерону, сказал:

— Но позволь мне, божественный, раньше отпраздновать свадебный пир, на который тебя приглашаю — прежде всего тебя.

— Свадебный пир? Чей? — спросил Нерон.

— Виниция с дочерью лигийского царя и твоей заложницей. Правда, она сейчас находится в тюрьме, но, во-первых, ее как заложницу нельзя держать в тюрьме, а во-вторых, ты сам разрешил Виницию взять ее в жены, и твоя воля, как воля Зевса, не может быть нарушена, — поэтому ты велишь ее выпустить из темницы, а я передам ее жениху.

Хладнокровие и уверенность, с которой говорил Петроний, смутили Нерона, который терялся, когда с ним говорили столь решительно.

— Знаю, — сказал он, опустив глаза. — Я думал о ней и о том великане, который задушил Кротона.

— В таком случае они оба спасены, — спокойно заметил Петроний.

Но Тигеллин пришел на помощь своему господину.

— Она в тюрьме по воле цезаря, а ведь ты сам сказал, Петроний, что воля его не может быть нарушена.

Присутствующие, зная историю Виниция и Лигии, прекрасно понимали, в чем здесь дело, поэтому замолчали и слушали, чем кончится разговор.

— Она в тюрьме по твоей ошибке и по твоему незнакомству с международным правом, вопреки воле цезаря, — ответил с ударением Петроний. — Ты, Тигеллин, наивный человек, но ведь и ты не станешь утверждать, что она подожгла Рим. Впрочем, если бы ты и говорил это, то цезарь не поверил бы тебе.

Нерон овладел собой и стал зло щурить свои близорукие глаза.

— Петроний прав, — сказал он, помолчав.

Тигеллин с удивлением посмотрел на него.

— Петроний прав, — повторил Нерон. — Завтра откроются для нее ворота тюрьмы, а о свадебном пире мы поговорим послезавтра, в амфитеатре.

«Снова проиграл», — подумал Петроний.

Вернувшись домой, он был так уверен в том, что конец Лигии неизбежен, что утром послал в амфитеатр верного вольноотпущенника, чтобы договориться относительно выдачи ее тела, которое он хотел отдать Виницию.

## XXIII

Во времена Нерона вышло в обычай показывать редкие прежде и очень старые представления вечером в цирках и амфитеатрах. Августинцы любили их, потому что после зрелищ бывали пиры и попойки, продолжавшиеся до утра. Хотя народ уже пресытился кровью, однако, когда распространилось известие, что наступает конец зрелищ и что последние христиане умрут на вечернем представлении, огромные толпы потянулись к амфитеатру. Августинцы явились все, они догадывались, что это будет незаурядное зрелище и что цезарь решил устроить представление из страданий Виниция. Тигеллин держал в тайне то, каким мукам будет подвергнута невеста молодого трибуна, но это лишь увеличивало общее любопытство. Те, кто видел раньше Лигию у Плавтиев, рассказывали теперь чудеса о ее красоте; других занимал прежде всего вопрос, действительно ли они увидят Лигию сегодня на арене, потому что многие, слышавшие ответ цезаря Петронию на пиру у Нервы, объясняли его двояко. Некоторые допускали даже, что Нерон отдаст или отдал уже девушку Виницию; вспоминали, что она была заложницей, которая вправе была чтить таких богов, какие ей нравятся, и которую нельзя было казнить по праву народов.

Неуверенность, ожидание и любопытство овладело всеми зрителями. Цезарь прибыл раньше, чем всегда, и с его появлением снова стали шептаться, что должно, по-видимому, произойти что-то необыкновенное, потому что кроме Тигеллина и Ватиния цезаря сопровождал также центурион Кассий. Это был преторианец гигантского роста и необыкновенной силы. Цезарь брал его с собой, когда нужно было иметь около себя надежного защитника, например, во время ночных походов на Субурру, где Нерон с друзьями устраивал себе забаву, подбрасывая вверх на солдатском плаще встречных девушек. Было замечено, что и в амфитеатре были приняты некоторые меры предосторожности. Количество преторианцев было увеличено, во главе их стоял не центурион, а трибун, Субрий Флавий, известный своей слепой преданностью Нерону. Все поняли, что цезарь хочет обезопасить себя от Виниция на случай взрыва его отчаяния. И любопытство возросло еще больше.

Взоры всех были обращены туда, где сидел несчастный жених. А он, бледный, с лицом, покрытым каплями пота, ничего не знал наверняка, как и другие зрители, но был взволнован до глубины души. Петроний также не

знал, что, собственно, будет, не сказал ему ничего и лишь спросил, вернувшись от Нервы, готов ли он на все и будет ли он в амфитеатре. На оба вопроса Виниций ответил: «Да!», но при этом дрожь пробежала по его телу, он догадался, что Петроний спрашивает не без причины. Сам он последнее время жил как бы половиной жизни, примирился с тем, что Лигия умрет, а потом и он, — смерть для них обоих была освобождением и браком. Но теперь он узнал, что одно дело думать о последнем часе, как о спокойном засыпании, и другое — идти смотреть мучения существа, которое дороже жизни. Вся ранее пережитая боль отозвалась в нем с новой силой. Утихшее отчаяние снова надрывало его душу; его охватило прежнее желание спасти Лигию какой угодно ценой. Утром он попытался проникнуть в помещение амфитеатра, где содержались христиане, чтобы узнать, там ли Лигия, но преторианцы заняли все входы; приказы были отданы столь суровые, что солдаты, даже знакомые, не дали уговорить себя ни просьбой, ни золотом. Виницию казалось, что неопределенность убьет его раньше, чем он увидит самое зрелище. Где-то на дне души трепетала еще смутная надежда, что, может быть, Лигии нет в амфитеатре и что все его страхи напрасны. И он хватался за эту надежду изо всех сил. Он говорил себе, что ведь Христос мог взять ее из тюрьмы, что он не допустит ее мучений в цирке. Недавно еще он во всем полагался на волю Христа; теперь, когда ему не удалось проникнуть в помещение осужденных, он вернулся на свое место в амфитеатре и по обращенным на него любопытным взглядам понял, что самые страшные предположения могут оправдаться, — и он стал умолять Христа о спасении со страстностью, похожей на угрозу. «Ты можешь! — повторял он, судорожно сжимая руки. — Ты можешь».

Раньше он не думал, что действительность будет столь ужасна. Теперь, не отдавая отчета, что в нем происходит, он чувствовал, что, увидев мучения Лигии, он сменит любовь к Христу ненавистью, а веру — отчаянием. Он приходил в ужас от этого чувства, боялся оскорбить Христа, которого снова молил о милости и чуде. Он не просил жизни для Лигии, он лишь хотел, чтобы она умерла прежде, чем ее выведут на арену. Из неизмеримых глубин своего отчаяния он повторял: «Хоть в этом не откажи мне, и я возлюблю тебя больше, чем любил до сих пор». Под конец мысли его разбушевались, как волны, которые взметает вихрь. Просыпалась в нем жажда мести и крови. Охватывало безумное желание броситься на Нерона и задушить его на глазах у всех зрителей, — и в то же время он чувствовал, что таким желанием снова оскорбляет Христа и нарушает его завет. Как молния вспыхивала в его душе надежда, что все, перед чем содрогалось сердце, отведет всемогущая и милосердная рука, но тотчас же гасла:

Виниций чувствовал страшную боль при мысли, что тот, кто мог одним словом разрушить этот цирк и спасти Лигию, покинул ее, хотя она верила в него и возлюбила его всеми силами своего чистого сердца. Он представлял себе, как она лежит сейчас в темном помещении осужденных, слабая, беззащитная, покинутая, отданная на милость или немилость озверевшей стражи, может быть, готовая испустить дух, — а он должен сложа руки сидеть в этом ужасном амфитеатре и ждать, не зная, какие мучения уготовлены ей и что он увидит через минуту. Наконец, подобно человеку, падающему в бездну, который хватается за все, что растет на ее краю, он жадно схватился за мысль, что все-таки верой можно спасти ее. Ведь одно это осталось! Ведь Петр говорил, что верой можно поколебать землю до основания.

Он сосредоточился, подавил в себе все сомнения, всем существом своим устремился к одному слову: верю, и ждал чуда.

Но как слишком сильно натянутая струна должна лопнуть, так и его надорвало это напряжение. Мертвенная бледность покрыла его лицо, лоб покрылся каплями пота. Тогда он подумал, что мольба его была услышана, потому что вот он умирает. Ему казалось, что Лигия также должна умереть и что Христос берет их вместе к себе. Арена, белые тоги зрителей, тысячи светильников и факелов — все исчезло из его глаз.

Но этот обморок продолжался недолго. Он скоро пришел в себя, вернее, его заставил поднять голову топот и стук зрителей, которые выражали нетерпение.

— Ты болен, — сказал Петроний, — вели отнести себя домой!

И, не считаясь с тем, что подумает цезарь, он встал, чтобы поддержать Виниция и выйти вместе с ним. Сердце его исполнилось жалости, притом особенно раздражало его, что цезарь смотрел через изумруд на Виниция, изучая с наслаждением его боль, может быть, для того, чтобы потом описать ее в патетических строфах и сорвать рукоплескания слушателей. Виниций покачал головой. Он мог умереть в этом амфитеатре, но не мог уйти. Ведь представление должно было сейчас начаться.

Действительно, в эту минуту городской префект махнул красным платком, и заскрипели железные двери против ложи цезаря. Из темной пасти вышел на ярко освещенную арену Урс.

Великан щурился, ослепленный ярким светом, и продвинулся к середине, оглядываясь по сторонам, словно хотел увидеть, с чем ему придется встретиться. Августиянцам и большинству зрителей было известно, что этот человек задушил Кротона, поэтому при его выходе шум пронесся по всем скамьям. В Риме не было недостатка в гладиаторах,

намного превосходивших по силе обыкновенных смертных, но ничего подобного не видели до сих пор римляне. Кассий, стоявший в ложе за цезарем, в сравнении с лигийцем казался тщедушным человеком. Сенаторы, весталки, цезарь, августианцы и народ смотрели с восхищением знатоков и любителей на могучие, как стволы деревьев, ноги великана, на грудь, похожую на два соединенных щита, и на атлетические руки. Шум нарастал с каждой минутой. Для этой толпы не было большего наслаждения, как видеть подобные мускулы в игре, в напряжении, в борьбе. Раздались крики и вопросы, где живет племя, в котором родятся подобные богатыри.

А он стоял нагой посередине арены, более похожий на мраморного колосса, чем на человека, с серьезным и печальным лицом варвара. Видя пустую арену, он удивленно озирался вокруг своими голубыми детскими глазами, смотрел то на цезаря, то на решетки, откуда ожидал выхода палачей.

В ту минуту, когда он выходил на арену, простое сердце его в последний раз забило надеждой, что, может быть, его ждет крест; но, когда не нашел ни креста, ни приготовленной ямы, он подумал, что не достоин этой милости и что придется умереть иначе и, наверное, принять смерть от хищных зверей. Он был безоружен и решил погибнуть, как подобает последователю Агнца: спокойно и терпеливо. Пока он хотел еще раз помолиться Спасителю, поэтому, опустившись на колени, сложил руки и поднял глаза к звездам, которые горели над цирком.

Это не понравилось толпе. Достаточно было христиан, умирающих как бараны. Если великан не захочет бороться, то зрелище провалится. Раздалось с разных сторон шиканье. Некоторые стали звать мастигаторов, которые должны подстегивать гладиаторов, не желающих бороться. Но скоро толпа успокоилась, потому что никто не знал, что ждет великана и не захочет ли он бороться, встретившись с глазу на глаз со смертью.

Ждать пришлось недолго. Раздался пронзительный рев медных труб. По этому знаку заскрипела решетка против ложи цезаря, и на арену вырвался при криках bestiариев чудовищный германский тур, неся на голове нагое женское тело.

— Лигия! Лигия! — крикнул Виниций.

Он схватился руками за голову, согнулся в дугу, как человек, почувствовавший в своем теле острие копья, и хриплым нечеловеческим голосом стал повторять:

— Верую! Верую!.. Христос! Соверши чудо!..

Он не почувствовал даже, что в эту минуту Петроний покрыл его

голову тогой. Ему показалось, что это смерть или боль погрузила его в мрак. Не смотрел, не видел. Его охватило чувство страшной пустоты. В голове не осталось ни одной мысли, и лишь губы шептали:

— Верую! Верую! Верую!..

Амфитеатр замер. Августинцы поднялись со своих мест как один человек, потому что на арене происходило нечто необыкновенное. Покорный и готовый умереть лигиец, увидев свою царевну на рогах дикого зверя, вскочил и, согнув спину, побежал наперерез обезумевшему от ярости быку.

Из всех грудей вырвался короткий крик изумления, после которого наступила гробовая тишина. Лигиец тем временем догнал быка и в одно мгновение схватил его за рога.

— Смотри! — воскликнул Петроний, срывая тогу с головы Виниция. Тот приподнялся, откинул назад свое бледное как мел лицо и стал смотреть на арену стеклянным непонимающим взором.

Дыхание замерло в груди зрителей. В амфитеатре можно было услышать малейший шорох. Люди не верили собственным глазам. От основания Рима не случалось ничего подобного.

Лигиец держал дикого тура за рога — ноги его зарылись по щиколотки в песок, спина выгнулась, как натянутый лук, голова ушла в плечи, мускулы напряглись так, что, казалось, кожа готова была лопнуть, — но удержал его на месте. И человек и зверь застыли так, что зрителям казалось, будто они видят картину, на которой изображен подвиг Геркулеса или Тезея или группу, высеченную из камня.

Но в этой кажущейся неподвижности чувствовалось страшное напряжение двух борющихся сил. Тур зарылся, как и человек, ногами в землю, а темное косматое тело его сжалось так, что он казался похожим на огромный черный шар. Кто раньше обессилеет, кто первый падет — вот был вопрос, который для влюбленных в борьбу зрителей теперь был важнее, чем собственная их судьба, чем весь Рим и его мировое владычество. Этот лигиец был для них богом, достойным поклонения. Даже цезарь встал. Они с Тигеллином, зная о силе этого человека, нарочно устроили это зрелище и, издеваясь, говорили: «Пусть убийца Кротона справится с туром, которого мы выберем ему». Теперь с изумлением они смотрели на арену и словно не верили, что это действительность.

В амфитеатре можно было видеть людей, которые, подняв руку, так и остались в таком положении. У некоторых пот выступил на лбу, как будто и они состязались с туром. Слышался треск угольков, падавших с факелов, и легкое шипение светильников. Голос замер у зрителей в груди, и только

сердца бились, готовые разорваться. Всем казалось, что борьба продолжается целую вечность.

А человек и зверь продолжали стоять в страшном напряжении, словно врытые в землю.

Вдруг на арене раздался похожий на стон глухой рев, после которого из всех грудей вырвался крик, и снова наступила тишина. Людям казалось, что они грезят: чудовищная голова тура стала поворачиваться в железных руках варвара.

Лицо лигийца, шея и руки побагровели, как пурпур, спина выгнулась еще больше. Видно было, что он напрягает последние свои сверхчеловеческие силы и что ему их уже ненадолго хватит.

Глухой, хрипящий и все более болезненный рев тура смешивался с свистящим дыханием великана. Голова зверя поворачивалась все больше, из пасти высунулся длинный, покрытый пеной язык.

Через несколько мгновений до слуха близко сидящих долетел звук ломаемых позвонков, после чего зверь рухнул на землю со свернутой шеей.

Тогда великан быстро сорвал веревки с его рогов и, взяв девушку на руки, перевел дыхание.

Лицо его побледнело, волосы слиплись от пота, шея и руки казались облитыми водой. Он словно потерял сознание, но скоро поднял глаза и стал смотреть на зрителей.

Амфитеатр обезумел.

Стены здания задрожали от крика нескольких десятков тысяч зрителей. С начала возникновения зрелищ не было подобного восторга. Сидевшие на дальних скамьях спустились ниже и теснились в проходах, чтобы лучше рассмотреть силача. Отовсюду неслись крики о милости — страстные, настойчивые, они скоро перешли в единодушное требование. Великан сделался дорог влюбленному в физическую силу народу и стал первым человеком в Риме.

Урс понял, что толпа требует, чтобы ему была дарована жизнь и возвращена свобода, но, по-видимому, он думал не о себе одном. Он некоторое время смотрел по сторонам, потом направился к ложе цезаря и, поднимая тело девушки на протянутых вперед руках, стал умоляюще смотреть, словно говорил: «Ее пощадите! Ее спасите! Я ради нее это сделал!»

Зрители прекрасно поняли, чего он требовал. При виде лишившейся чувств девушки, которая в сравнении с гигантским телом лигийца казалась малым ребенком, чувство жалости охватило толпу народа и патрициев. Ее маленькая фигурка, белая, словно вырезанная из алебаstra, ее обморок,



страшная опасность, от которой спас ее великан, наконец, ее красота и его преданность потрясли сердца. Некоторые думали, что это отец молит о пощаде для своего ребенка. Жалость вспыхнула, как пламя. Довольно было крови, довольно смерти, довольно мучений. Люди со слезами в голосе требовали милости для обоих.

Урс медленно обходил арену, держа на вытянутых руках девушку, и жестом и глазами умолял подарить ей жизнь.

Вдруг Виниций сорвался со своего места, перескочил высокую ограду, отделявшую первые места от арены, и, подбежав к Лигии, прикрыл своей тогой ее обнаженное тело.

Потом он разорвал тунику на груди, обнажил рубцы, оставшиеся после ран, полученных на войне в Армении, и простер руки к народу.

Тогда волнение и восторг толпы перешли всякую меру. Чернь стала топтать и выть; голоса, просившие милости, стали грозными; народ принял сторону не только великана, он стал на защиту девушки, воина и их любви. Тысячи зрителей обратились к цезарю с гневно сверкавшими глазами и крепко сжатыми кулаками.

Цезарь медлил и колебался. Не было у него особенной ненависти к Виницию, и смерть Лигии ему не была нужна, но он предпочел бы увидеть тело девушки разорванным рогами быка и растерзанным зубами диких зверей.

Его жестокость, как и его порочное воображение и извращенные наклонности, находили особую прелесть в подобном зрелище. Народ хотел лишиться теперь его этого наслаждения. При мысли об этом гнев отразился на его заплывшем лице. Самолюбие также мешало ему подчиниться воле народа, и в то же время из природной трусости он не смел противиться ей.

Тогда он стал смотреть, нет ли обращенных вниз пальцев — знака смерти — на местах августианцев. Но Петроний держал высоко поднятой вверх руку, глядя при этом почти вызывающе ему в глаза. Суеверный, но склонный к великодушию Вестин, боявшийся духов, не боялся людей и требовал милости. Того же требовал сенатор Сцевин, Нерва, Туллий Сенеций, знаменитый вождь Осторий Скапула, Антистий, и Пизон, и Ветус, и Криспин, и Минуций Терм, и Понтий Телесин, и мудрый и любимый народом Тразей. Увидев это, цезарь опустил изумруд с выражением презрения и гнева, и в это время Тигеллин, которому прежде всего хотелось поступить назло Петронию, наклонился к нему и прошептал:

— Не уступай, божественный: у нас есть преторианцы.

Тогда Нерон повернулся в ту сторону, где стоял принявший начальство

над ними суровый и преданный цезарю душой и телом Субрий Флавий, и увидел необыкновенную вещь. Лицо старого трибуна было грозным и по нему текли слезы, а рука была поднята вверх в знак милости.

Толпой начинало овладевать бешенство. Пыль поднималась от топающих ног. Среди криков слышались и такие: «Меднобородый! Матереубийца! Поджигатель!»

Нерон испугался. Народ был всевластным господином в цирке. Предыдущие цезари, в особенности Калигула, иногда решались идти против воли народа, что всегда вызывало волнения, доходившие до кровопролитий. Но положение Нерона было особенное. Прежде всего, как актер и певец, он нуждался в любви народа, затем народ нужен был ему в борьбе с сенатом и патрициями; наконец, после пожара Рима он старался всеми силами привлечь его на свою сторону и обратить его гнев против христиан.

Он понял, что сопротивляться дольше было бы опасно. Мятеж, начатый в цирке, мог охватить весь город и иметь роковые последствия.

Он посмотрел еще раз на Субрия Флавия, на центуриона Сцевина, родственника сенатора, на солдат и, увидев повсюду нахмуренные брови, растроганные лица и обращенные на себя взоры, дал знак милости.

Гром рукоплесканий прокатился сверху донизу. Народ был спокоен за жизнь осужденных, с этой минуты они находились под его покровительством, и даже цезарь не осмелился бы дольше преследовать их своей мезтью.

Четыре раба бережно несли Лигию в дом Петрония, а Виниций и Урс шли рядом. Они спешили, чтобы скорей передать ее в руки врача-грека. Шли молча, после всего пережитого в этот день они не могли разговаривать. Виниций до сих пор не пришел еще в себя, повторял, что Лигия спасена, что ей больше не угрожает ни тюрьма, ни смерть на арене, что несчастья кончились раз навсегда, что он берет ее к себе в дом, чтобы не разлучаться с ней больше никогда. Ему казалось, что это начало какой-то новой жизни, а не действительность. Время от времени он наклонялся и заглядывал в лектику, чтобы посмотреть на любимое лицо, которое в лунном свете казалось спящим. Он мысленно повторял: «Это она! Христос спас ее!» Еще в цирке к Виницию подошел незнакомый врач, видевший Лигию, и уверил его, что девушка жива и будет жить. При мысли об этом радость распирала его грудь, он опирался на руку Урса, не будучи в силах идти. Урс смотрел на усеянное звездами небо и молился.

Они быстро шли по улицам, на которых новые дома были ярко освещены луной. Иногда им попадались группы людей, увенчанных плющом, которые пели и плясали у портиков под звуки флейты, пользуясь чудесной ночью и праздниками.

Когда они были недалеко от дома, Урс перестал молиться и тихо проговорил, словно боясь разбудить Лигию:

— Господин, ведь это Христос спас ее от смерти. Когда я увидел ее на рогах тура, мне послышался голос: «Защити ее!» И это, конечно, был голос Агнца. Тюрьма высосала мои силы, но он вернул мне их в эту минуту, и он же вдохновил этот жестокий народ вступить за нее. Да будет воля его!

Виниций ответил:

— Да будет прославлено имя его!

Он не мог продолжать, почувствовав, что грудь его сжалась и он готов разрыдаться. Ему неудержимо хотелось броситься на землю и благодарить Спасителя за чудо и милосердие.

Они подошли к дому. Слуги, предупрежденные посланным вперед рабом, вышли им навстречу. Апостол Павел еще в Анциуме обратил большую часть этих людей. Они прекрасно знали о горестях Виниция, поэтому радость их при виде жертв, вырванных у Нерона, была велика. Она увеличилась еще больше, когда врач Теокл, осмотрев Лигию, заявил, что она не получила серьезных повреждений и когда минует слабость —

следствие тюремной лихорадки, — здоровье вернется к ней.

Лигия пришла в себя ночью. Проснувшись в великолепной спальне, освещенной коринфскими лампами, чувствуя запах фиалок, она не понимала, где она и что с ней. В ее памяти запечатлелась минута, когда ее привязывали к рогам закованного в цепи тура. Теперь, увидев над собой склоненное лицо Виниция, она думала, что, должно быть, это уже не земля. Мысли путались в ее голове; ей казалось естественным, что по дороге на небо они остановились где-то по случаю ее болезни и усталости. Не чувствуя боли, она улыбнулась Виницию и хотела спросить его, где они; но с губ ее слетел лишь слабый шепот, в котором Виниций с трудом разобрал свое имя.

Он опустился перед ней на колени и, легко коснувшись рукой ее лба, сказал:

— Христос тебя спас и вернул мне!

Губы снова зашевелились, потом глаза ее закрылись, легкий вздох вырвался из груди, и она погрузилась в глубокий сон, которого ждал врач Теокл и после которого должно было вернуться здоровье.

Виниций остался около нее на коленях, погруженный в молитву. Душа его исполнилась столь великой любовью, что он отрешился от всего. Теокл несколько раз входил в спальню, из-за занавеса несколько раз показывалась золотистая головка Евники, наконец журавли, которых держали в саду, возвестили утро, а Виниций все еще обнимал в душе стопы Христа, не видя и не слыша происходившего вокруг, с сердцем, пылавшим, как жертвенное пламя, объятый восторгом, при жизни почти вознесшийся на небо.

Петроний после освобождения Лигии, не желая дразнить цезаря, отправился вместе с ним и другими августианцами на Палатин. Он хотел послушать, о чем там будут говорить, и убедиться, не замышляет ли Тигеллин чего-нибудь нового, чтобы погубить девушку. Правда, и она и Урс находились теперь как бы под покровительством народа и под угрозой всеобщего возмущения — никто не дерзнет теперь поднять на них руку, однако Петроний, зная о ненависти, которой горел к нему всемогущий префект претории, вполне допускал, что тот, не будучи в состоянии открыто вредить, прибегнет к тайным уловкам, чтобы выместить злобу на его племяннике.

Нерон был зол и раздражен, потому что зрелище закончилось не так, как он надеялся. На Петрония вначале он не хотел и смотреть, но тот, не теряя обычного хладнокровия, подошел к нему со всей обаятельностью изысканного знатока красоты и сказал:

— Знаешь, божественный, что мне приходит в голову? Напиши поэму о девушке, которую воля владыки мира освобождает от рогов дикого тура и отдает возлюбленному. У греков чувствительные сердца, и я уверен, что их очарует такая поэма.

Нерону, несмотря на раздражение, мысль эта пришлась по вкусу по двум причинам: во-первых, как тема для поэмы, во-вторых, он мог прославить в ней себя как великодушного государя. Он внимательно посмотрел на Петрония и сказал:

— Да! Ты прав. Но удобно ли мне воспевать собственную доброту?

— Ты можешь не называть себя. В Риме каждый узнает и так, в чем здесь дело, а из Рима вести расходятся по всему миру.

— А ты уверен, что это понравится в Ахайе?

— Клянусь Поллуксом! — воскликнул Петроний.

Он отошел, довольный. Теперь Петроний был уверен, что Нерон, жизнь которого была сплошным приспособлением действительности к литературным замыслам, не захочет портить темы и этим свяжет руки и Тигеллину. Но это не изменило его намерения отправить Виниция из Рима, как только здоровье Литии не будет служить препятствием к этому.

Встретившись с Виницием на другой день, он сказал ему:

— Увези ее в Сицилию. Положение таково, что со стороны цезаря вам пока ничего не грозит, но Тигеллин готов пустить в ход даже яд, из

ненависти если не к вам, то ко мне.

Виниций улыбнулся и ответил:

— Она была на рогах дикого тура, но ведь Христос спас ее.

— Почти его гекатомбой, — ответил с оттенком нетерпения Петроний, — но не заставляй его спасать Лигию во второй раз... Помнишь, как Эол принял Одиссея, который пришел к нему просить во второй раз о попутном ветре? Боги не любят повторений.

— Когда здоровье вернется к ней, я отвезу ее к Помпонию Грецине.

— Это тем лучше сделать, потому что Помпония лежит больная. Мне сказал об этом родственник Авлов Антистий. Здесь тем временем произойдут такие события, что люди забудут о вас, а в наши дни наиболее счастливы те, о которых забыли. Пусть Фортуна будет вам солнцем зимою и тенью — летом!

Сказав это, он покинул Виниция с его счастьем и пошел расспросить Теокла о состоянии больной.

Ей не грозила опасность. В подземельях после истощения от тюремной лихорадки ее убил бы гнилой воздух и невзгоды, но теперь ее окружало заботливое попечение и не только достаток, но даже изобилие благ. По совету Теокла через два дня ее стали выносить в сад, окружающий дом Петрония, где она проводила долгие часы. Виниций украшал ее лектику анемонами и ирисами, чтобы напомнить ей атриум в доме Авла. Укрытые в тени деревьев, они подолгу разговаривали, взяв друг друга за руки, о прошлых муках и тревогах.

Лигия говорила, что Христос нарочно заставил его страдать, чтобы обновить душу и поднять его к себе; Виниций чувствовал, что это правда и что не осталось в нем ничего от прежнего патриция, который не признавал иных прав, кроме своей страсти. Но в этих воспоминаниях не было горечи. Обоим казалось, что годы пронесли над их головами и что страшное прошлое далеко позади. А теперь в их души снизошел мир, какого они не испытывали до сих пор. Новая жизнь, полная тишины и счастья, открывалась перед ними и принимала их. В Риме мог безумствовать и приводить в изумление весь мир цезарь, — они, чувствуя на себе попечение в сто крат более могучей силы, не страшились больше ни его злобы, ни безумия, словно он перестал быть владыкой их жизни и смерти.

Однажды при закате солнца они услышали доносившийся из отдаленных зверинцев рев диких зверей и львов. Когда-то эти звуки наполнили страхом душу Виниция, как дурное предзнаменование. Теперь они с улыбкой посмотрели друг на друга и стали смотреть на закат...

Лигия была очень слаба и без посторонней помощи не могла еще

ходить; часто она засыпала в тишине сада, а он сидел подле и, всматриваясь в ее лицо, невольно думал, что это не прежняя Лигия, которую он увидел впервые у Авлов. Тюрьма и болезнь сильно изменили ее. Когда он встретился с ней и потом, когда он пришел похитить ее из дома Мириам, она была прекрасна как статуя и вместе с тем как цветок; теперь лицо ее стало почти прозрачным, руки стали тонкими, тело очень похудело от болезни, губы побледнели, и даже глаза стали менее голубыми, чем прежде.

Златокудрая Евника, приносящая ей цветы и дорогие ткани, чтобы прикрыть ей ноги, казалась при ней богиней Кипридой. Любитель красоты Петроний напрасно старался найти в ней прежнюю обаятельность и, пожимая плечами, думал, что эта тень с Елисейских полей не стоила стольких трудов, страданий и мук, которые истощили Виниция.

Но Виниций, любивший Лигию от всей души, любил ее теперь еще сильнее, и, сидя около спящей и оберегая ее сон, он, казалось, оберегал весь мир.

Весть о чудесном спасении Лигии быстро распространилась среди уцелевших от погрома христиан. Они приходили, чтобы посмотреть ту, на которой явно проявилась благодать Христа.

Раньше других пришел молодой Назарий с матерью своей, Мириам, у которых до сих пор тайно проживал апостол Петр, а за ними стали приходиться и другие. Все вместе, Виниций, Лигия, гости и христиане-рабы Петрония внимательно слушали рассказ Урса о голосе, который прозвучал в его душе и повелел бороться с диким туром; христиане уходили с верой и надеждой, что Христос не позволит истребить на земле оставшихся верных, пока не придет сам на Страшный суд. Надежда эта поддерживала их, потому что гонение не прекращалось до сих пор. Человека, которого признали христианином, тотчас хватили вигили и бросали в тюрьму. Жертв теперь было, конечно, меньше, потому что огромное большинство было замучено; уцелевшие или ушли из Рима, чтобы переждать бурю в отдаленных провинциях, или старательно скрывались, решаясь собираться на общие молитвы лишь в аренах, далеко лежащих за городом. За ними следили, хотя игры и были закончены, — их берегли для следующих игр или судили немедленно. Хотя римский народ не верил, что христиане были виновниками пожара, все-таки их объявили врагами человечества и государства, и эдикт против них сохранял еще свою силу.

Апостол Петр долго не решался показываться в доме Петрония, наконец однажды вечером Назарий возвестил о его приходе. Лигия, ходившая теперь без посторонней помощи, и Виниций выбежали ему навстречу. Они радостно припали к его ногам, а он приветствовал их с большим волнением, потому что немного осталось овец в том стаде, которое было поручено ему Христом и над судьбой которого плакало его великое сердце.

Когда Виниций сказал ему: «Отец, по твоим молитвам Спаситель вернул мне ее!» — старец ответил: «Он вернул тебе по вере твоей и для того, чтобы не замолкли все уста, которые исповедывали имя его!» Повидимому, он думал в это время о многих тысячах своих детей, растерзанных дикими зверями, о крестах, которыми покрыты были арены, и о живых свечках в садах Зверя, потому что в словах его чувствовалась великая печаль. Виниций и Лигия заметили, что волосы его стали совсем белыми, весь он согнулся, а в лице было столько печали и страдания,



словно он пережил все мучения и пытки, перенесенные жертвами бешенства и безумия Нерона. Но оба также понимали, что если Христос принял мучения и смерть, то никто не может уклониться от этого. Их сердца разрывались при виде апостола, согбенного под бременем лет, страданий и боли. Виниций, который хотел через несколько дней отвезти Лигию в Неаполь, где они должны были встретиться с Помпонией и ехать дальше в Сицилию, стал умолять Петра, чтобы он вместе с ними покинул Рим. Апостол положил руку на голову Виницию и сказал:

— Я слышу в душе слова Господа, который сказал мне у Тивериадского озера: «Когда ты был молод, то препоясывался и шел, куда хотел, но когда состаришься, то протянешь руки твои и другой препояшет тебя и поведет, куда ты не хочешь». Поэтому я должен идти за паствой своей.

Они не понимали, что он сказал, поэтому он прибавил:

— Подходит к концу путь мой, но гостеприимство и отдых я найду только в доме Господа моего.

И он обратился к ним, говоря:

— Помните обо мне, потому что я возлюбил вас, как отец любит детей своих, а что будете творить в жизни своей, творите во славу Господа.

Он простер над ними дрожащие руки и благословил их, а они чувствовали с глубоким волнением, что, может быть, это последнее благословение, полученное из его рук.

Но им суждено было увидеть его еще раз.

Несколько дней спустя Петроний принес с Палатина грозные вести. Было обнаружено, что один из вольноотпущенников цезаря — христианин; у него нашли письма апостолов Петра и Павла, а также письма Иакова, Иуды и Иоанна. О пребывании в Риме Петра Тигеллину было известно и раньше, но он думал, что старик погиб вместе с тысячами других христиан. Теперь обнаружилось, что два зачинателя новой религии до сих пор живы и находятся в столице. Поэтому решено было найти их и схватить чего бы это ни стоило; надеялись, что с их смертью последние корни ненавистной секты будут окончательно вырваны. Петроний слышал от Вестина, что цезарь отдал приказание, чтобы через три дня Петр и Павел были в Мамертинской тюрьме, и что значительные отряды преторианцев посланы для производства повального обыска во всех домах за Тибром.

Узнав об этом, Виниций решил пойти предупредить апостола. Вечером они вдвоем с Урсом, надев галльские плащи и закрыв лица, пошли к Мириам, у которой жил Петр. По пути они видели дома, окруженные преторианцами, которых привели какие-то неизвестные люди. Жители

были обеспокоены, в некоторых местах собирались толпы любопытных. Центурионы допрашивали схваченных о Петре Симоне и о Павле из Тарса.

Урс и Виниций, опередив солдат, счастливо добрались до жилища Мириам, где застали Петра, окруженного небольшим числом верных. Тимофей, помощник Павла, и Лин также находились около Петра.

При известии о близкой опасности Назарий вывел всех тайным ходом до садовой калитки, а потом в покинутые каменоломни, которые находились недалеко от Яникульских ворот. Урс при этом нес на руках Лина, кости которого, сломанные при пытках, не срослись до сих пор. Когда все они очутились в подземелье, то почувствовали себя в безопасности и при свете фонаря, который зажег Назарий, стали совещаться, как им спасти дорогу для них жизнь апостола.

— Отец, — обратился к нему Виниций, — пусть завтра на рассвете Назарий проводит тебя из города к Альбанским горам. Там мы отыщем тебя и возьмем в Анциум, где ждет корабль, на котором мы должны ехать в Неаполь и Сицилию. Счастливым для меня будет тот день и час, когда ты войдешь в дом мой и благословишь мой очаг.

Остальные выслушали это с одобрением и уговаривали апостола согласиться:

— Уходи, дорогой пастырь наш, потому что тебе невозможно оставаться в Риме. Сохрани живую правду, чтобы не исчезла она вместе с нами и тобой. Послушай нас, которые умоляем тебя, как отца.

— Сделай это во имя Христа! — восклицали некоторые, касаясь одежд его.

А он ответил:

— Дети мои, кто может знать, когда ему Господь назначил предел жизни?

Но он не сказал, что останется в Риме, и колебался, не зная, что делать, потому что давно уже вошла в душу его неуверенность и даже тревога. Паства его была рассеяна, дело разрушено, церковь, которая расцвела как пышное дерево, после пожара была обращена в прах Зверем. Не осталось ничего, кроме слез, ничего, кроме воспоминаний о муках и смерти. Посев дал обильные всходы, но дьявол втоптал их в землю. Воинство ангельское не пришло на помощь погибающим, и вот Нерон в славе возвышается над миром, страшный, более могучий, чем прежде, владыка суши и моря. Не раз Божий рыбак протягивал в одиночестве к небу руки свои и спрашивал: «Господи, что должен я делать? Как мне устоять? И как я, старый, буду бороться с этой страшной силой злого духа, которому ты позволил владычествовать и побеждать?»

И он восклицал из глубины своей неизмеримой боли, повторяя в душе: «Нет больше овечек, которых ты повелел мне пасти, нет твоей церкви, опустение и печаль в столице твоей, — что же велишь мне делать теперь? Остаться ли мне здесь, или увести остаток паствы, чтобы мы где-нибудь за морем втайне славили имя твое?»

Он смущался. Верил, что живая правда не исчезнет и должна победить, но, может быть, думал он, не пришло ее время, и придет оно лишь тогда, когда Господь сойдет на землю в день суда в славе и силе, более могущественной, чем сила Нерона.

Часто ему казалось, что если он сам покинет Рим, то верные пойдут за ним, и он приведет их туда, далеко, в тенистые леса Галилеи, к тихому Тивериадскому озеру, к пастухам, спокойным, как голуби или как овцы, которые пасутся там на изумрудной траве. И все большее желание тишины и отдыха, все большая тоска по родной Галилее охватывала сердце рыбака, все чаще слезы набегали на глаза старца.

И когда он останавливался на том или другом решении, тотчас охватывали его страх и тревога. Как покинуть ему город, в котором земля напитана кровью мучеников, где столько умирающих громко свидетельствовали истину? Может ли он один уклониться от этого? И что скажет он Господу, когда услышит слова: «Вот, умерли они за веру свою, а ты убежал?»

Дни и ночи проходили у него в печали. Те, кого растерзали звери, кого распяли на кресте, кого сожгли в садах цезаря, успокоились в Господе после часа страданий, а он не мог спать и чувствовал более жестокую пытку, чем могли придумать палачи, и часто рассвет заставал его в тоске, и он из глубины наболевшего сердца восклицал:

— Господи, зачем ты велел мне прийти сюда и в этом логовище Зверя основать столицу твою?

В течение тридцати четырех лет после смерти Господа своего он не знал покоя. С посохом в руке он обходил землю и проповедовал «добрую весть». Силы его истощились в трудах и странствиях, пока он не утвердил наконец в этом мировом городе дело Учителя, — и вот теперь огненное дыхание зла уничтожило все, и старик видел, что борьбу нужно начинать сначала. И какую борьбу! С одной стороны, цезарь, сенат, народ, легионы, охватившие железным обручем весь мир, бесчисленные города и земли, могущество, которого не постичь умом человеческим, а с другой — он, согбенный летами и трудом, с усилием поднимающий дрожащими руками свой посох.

Поэтому он говорил себе, что не ему мериться силами с цезарем Рима

и что дело это может совершить лишь Христос.

Все эти мысли пронеслись в его усталой голове, пока он слушал мольбы последней горсточки верных, они же, все теснее окружая его, повторяли:

— Спасайся, учитель, и нас уведи и спаси от ярости Зверя!

Наконец и старый Лин склонил перед ним свою голову мученика.

— Отец, — сказал он, — тебе Спаситель велел пасти овец своих, так иди туда, где можешь найти их еще. Живет слово Божье в Иерусалиме, Антиохии, Эфесе и в других городах. Чего ты достигнешь, оставаясь в Риме? Если пойдешь на муку, то увеличишь тем торжество Зверя. Иоанну Господь не сказал о смерти... Павла, римского гражданина, не казнят без суда... Но если над тобой, учитель, разразится адская ярость, тогда те, у кого смутилось сердце, спросят: кто же выше Нерона? Ты камень, на котором построена Церковь Божья. Дай умереть нам, но не позволяй антихристу победить наместника Христова — и не возвращайся сюда до тех пор, пока Господь не сокрушит пролившего невинную кровь.

— Взгляни на слезы наши! — просили другие.

Слезы текли и по лицу Петра. Он поднялся и простер над склоненными руки, говоря:

— Пусть прославлено будет имя Господне и да свершится воля его!

## XXVII

На рассвете следующего дня две темные тени двигались по Аппиевой дороге к Альбанским горам.

Это были Назарий и апостол Петр, который покидал Рим и своих гонимых единоверцев.

Небо на востоке принимало зеленоватый оттенок, который постепенно переходил у горизонта в шафранный. Серебристая листва деревьев, белый мрамор вилл и арки водопровода, бегущие по равнине к городу, отчетливее выступали из мрака. Постепенно светлело небо, насыщаясь золотом; розовый восход солнца расцвел Альбанские горы, которые казались теперь прекрасными, лиловыми и воздушными.

Солнце сверкало в капельках росы, скопившейся на листве деревьев. Туман редел, открывая все более широкий вид на равнину, на разбросанные по ней дома, кладбища, селения и рощи, среди которых белели колонны храмов.

Дорога была безлюдна. Пригородные жители, подвозившие к городу зелень, не успели еще, по-видимому, запрячь своих телег. По каменным плитам, которыми выложена была дорога до самых гор, раздавался в тишине стук деревянных сандалий путников.

Солнце поднялось в разрезе гор, и странный вид поразил апостола. Ему показалось, что золотой круг вместо того, чтобы подниматься выше и выше по небу, скатился с гор и движется к ним навстречу по дороге.

Петр остановился и сказал:

— Видишь сияние, приближающееся к нам?

— Не вижу ничего, — ответил Назарий.

Но Петр, подняв руку к глазам, сказал через некоторое время:

— Какой-то человек идет к нам в солнечном сиянии.

Но до них не доносился шум чьих-либо шагов. Вокруг была абсолютная тишина. Назарий видел лишь, как вдали трепещет листва деревьев, словно их раскачивает кто-то, да сияние все шире разливалось по равнине.

С удивлением он стал смотреть на апостола.

— Учитель, что с тобой? — спросил он с тревогой.

Дорожный посох выскользнул из рук Петра и упал на землю, глаза неподвижно устремлены были вперед, рот полуоткрыт, на лице отражалось изумление, радость и восторг.

Он бросился вдруг на колени с протянутыми вперед руками, из груди его вырвался крик:

— Христос! Христос!..

И он склонился низко к земле, словно целуя чьи-то стопы. Долгое продолжалось молчание, потом в тишине раздался прерываемый рыданием голос старца:

— Куда идешь, Господи?..

Ответа не услышал Назарий, но до слуха Петра долетел голос печальный и сладостный:

— Ты хочешь покинуть народ мой, поэтому иду в Рим, чтобы распяли меня там во второй раз!

Апостол лежал на земле ниц, неподвижный и безмолвный. Назарию казалось, что он лишился чувств или умер, но старец встал наконец, дрожащими руками поднял страннический посох и, ничего не сказав, обернулся к семи холмам города.

Мальчик, видя это, повторил как эхо:

— Куда идешь, господин...

— В Рим, — тихо ответил апостол.

И вернулся.

Павел, Иоанн, Лин и другие верные встретили Петра с изумлением и тем большей тревогой, что при восходе солнца, вскоре после его ухода, преторианцы окружили дом Мириам и искали в нем апостола. Он же на все вопросы отвечал радостно и спокойно:

— Я Господа видел!..

И в вечер того же дня он отправился на острианское кладбище, чтобы проповедывать там и крестить желавших омыться водой жизни.

Он бывал там ежедневно, и туда стало приходиться большое число верных, возраставшее с каждым днем. Казалось, из каждой слезы мученика рождаются новые последователи, каждый стон на арене отражается эхом в тысяче грудей. Цезарь захлебывался в крови, Рим и весь языческий мир безумствовали. Но те, кто не хотел безумия и преступлений, те, кого притесняли, чья жизнь была жизнью горестной и бедной, все униженные, все печальные, все несчастные приходили слушать рассказ о Боге, который из любви к людям дал распять себя и этим искупил их грехи.

Находя Бога, которого могли любить, они находили и то, чего не мог им дать языческий мир, — счастья любви.

Петр понял, что ни цезарь, ни его легионы не могут подавить живой истины, что ее не зальют ни слезы, ни кровь и что теперь лишь начинается

ее победа. Он понял также, почему Господь вернул его с дороги: город преступлений, гордыни, разврата и насилия становился теперь его городом и двойной столицей, откуда шла в мир власть и над телом и над душой человечества.

## XXVIII

Наконец пришло время и для обоих апостолов. Но для завершения службы дано было Божьему рыбаку уловить две души даже в темнице. Солдаты Процесс и Мартиниан приняли крещение. Потом наступил час мучений. Нерона не было в это время в Риме. Приговор произнесли Гелий и Пилитет, два вольноотпущенника, которым цезарь доверил на время своего отсутствия правление. Старого апостола раньше подвергли установленным по закону пыткам, а на следующий день вывели за городские стены к Ватиканскому холму, где он должен был подвергнуться назначенной для него казни — распятию на кресте. Солдат удивила толпа, собравшаяся перед тюрьмой, потому что, по их понятиям, смерть простого человека, и к тому же чужеземца, не должна была привлекать к себе столько внимания. Они не поняли, что это были не любопытные, а последователи, желавшие проводить на место казни великого апостола. Наконец открылись ворота тюрьмы и показался Петр, окруженный преторианцами. Солнце склонялось к закату, день был тихий и погожий. Петра не заставили нести крест из снисхождения к его старости, да и не смог бы он поднять его. Его не заковали, чтобы дать возможность двигаться. Он шел свободный, и верные хорошо могли видеть его. В ту минуту, когда среди железных солдатских шлемов показалась седая его голова, послышались рыдания в толпе, но тотчас прекратились, потому что спокойствие и светлая радость были на лице старца, и все поняли, что это не жертва идет на гибель, а победитель совершает торжественный въезд.

Старец, обычно покорный и согбенный, шел теперь выпрямившись, казался более высоким, чем рослые солдаты, и был исполнен достоинства. Никогда еще в нем не видели такого величия. Казалось, это шествовал царь, окруженный народом и войском. Со всех сторон доносился шепот:

— Вот Петр отходит к Господу!

Все словно забыли, что его ждет мученическая смерть. Шли в торжественном молчании, но спокойно, чувствуя, что после события на Голгофе не было ничего столь великого и что если та смерть искупила грехи целого мира, то эта искупит грехи города.

Встречные с удивлением останавливались при виде этого старца, а христиане говорили им спокойно:

— Смотрите, вот идет умирать праведник, который знал Христа и проповедовал любовь.



А те удивлялись и уходили, думая про себя: «Воистину не мог этот человек быть неправедным!»

Стихали крики и шум на улицах. Шествие проходило мимо вновь отстроенных домов, мимо белых колоннад храмов, над фронтонами которых синело небо, глубокое и спокойное. Шли молча; иногда лишь слышалось бряцание оружия или шепот молитв. Петр слышал их, и лицо его светилось великой радостью; он с трудом мог охватить взором огромную толпу последователей Христа. Он чувствовал, что сделал свое дело, и знал, что истина, которую он проповедовал, зальет мир, как могучая волна, против которой не устоит ничто.

Размышляя об этом, он поднимал глаза к небу и молился: «Господи, ты велел мне покорить этот город, который владеет миром, и вот я покорил его. Ты велел мне основать здесь столицу твою, и я основал ее. Это твой город теперь, Господи, и я отхожу к тебе, потому что много уж потрудился».

Проходя мимо храмов, он говорил: «Вы будете храмами Христа!»

Глядя на толпы людей, заполнявшие площади и улицы, он говорил им в душе: «Ваши дети будут слугами Христа!»

И он шел, чувствуя, что победил, зная подвиг свой, зная силу свою, спокойный, великий. Солдаты повели его через Триумфальный мост, словно невольно свидетельствуя его триумф, к Наумахии и к цирку. Живущие за Тибром христиане присоединились здесь к шествию, толпа стала столь многочисленной, что центурион, догадавшись наконец, что ведет какого-то высшего священника, которого окружают верующие, стал беспокоиться за малочисленность своего отряда. Но ни одного крика возмущения или враждебности не раздалось из толпы. На лицах отражалась значительность минуты, все были торжественны и чего-то ждали, потому что некоторые вспоминали, что при смерти Господа земля разверзлась от ужаса и мертвые встали из гробов. Думали, что и теперь, может быть, даны будут явные знамения, после которых навеки останется в памяти людей смерть апостола. Иные даже говорили: «А что, если Господь изберет час муки Петра, чтобы сойти с неба по обещанию и судить мир?» И при мысли об этом поручали себя милосердию Бога.

Но вокруг все было спокойно. Холмы, казалось, грелись и отдыхали на солнце. Наконец шествие остановилось за цирком, у Ватиканского холма. Солдаты стали рыть яму, другие положили на землю крест, молоток и гвозди, ожидая, пока будут кончены приготовления, толпа, все время тихая и спокойная, опустилась на колени.

Апостол, голова которого светилась в золотых лучах, в последний раз

взглянул на город. Далеко внизу струился Тибр; за ним — Марсово поле, выше — мавзолей Августа, ниже — огромные термы, возводимые в это время Нероном, еще ниже — театр Помпея, а за ними, частью полузакрытые кровлями домов, портики, храмы, колонны, высокие дома и, наконец, совсем далеко, холмы, облепленные домами, — город, окраины которого терялись в голубой дали, гнездо преступлений и могущества, безумий и порядка, город, ставший владыкой мира, его поработителем, но вместе с тем источник мира и права, город могучий, непобедимый, вечный.

Окруженный солдатами, Петр смотрел на город так, словно царь и владыка смотрит на свое наследие. И говорил ему: «Ты искуплен мною, и ты мой город!» И никто из солдат, роющих яму, в которую должны были поставить крест, никто даже из среды верующих не понял, что действительно среди них стоит сейчас подлинный владыка этого города и что минуют цезари, проплывут волны варваров, минуют века, а этот старец будет властвовать постоянно.

Солнце склонилось еще ниже и стало большим и красным. Вся западная часть неба пылала закатным огнем. Солдаты подошли к Петру, чтобы раздеть его.

Но он, кончив молиться, вдруг выпрямился и простер высоко вперед правую руку. Палачи остановились, смущенные величием старца; верующие затаили дыхание, думая, что он будет говорить. Наступила глубокая тишина.

Он, стоя на возвышении, сотворил правой рукой знамение креста, в час смерти посылая благословение.

— *Urbi et orbi!* — Городу и миру!

В этот же чудесный вечер другой отряд преторианцев вел по Остийской дороге Павла из Тарса к местности, которая называлась Источник Сальвиа. За ним также следовала толпа верных, которых он обратил; апостол узнавал близких знакомых, останавливался и разговаривал с ними, — к нему как к римскому гражданину стража относилась более почтительно. За Тергиминскими воротами его встретила Плавтилла, дочь префекта Флавия Сабина; увидев молодое лицо ее, залитое слезами, он сказал:

— Плавтилла, дочь вечного Спасения, мир тебе. Дай мне твое покрывало, которым завяжут глаза мои, когда я буду отходить к Господу.

И, взяв покрывало, он шел дальше, с лицом радостным, как у работника, который возвращается домой после трудового дня. Глаза его задумчиво озирали равнину, простиравшуюся перед ним, и Альбанские

горы, легкие и воздушные. Он вспоминал о своих странствиях, о трудах и работе, о борьбе, в которой победил, о церквях, которые основал во всех странах и за всеми морями, — и он думал, что заслужил свой отдых. И он также свершил дело свое. Он чувствовал, что семя его не развеет вихрь злобы. Он уходил с уверенностью, что в борьбе, которую вела его истина с миром, она победит. И тихая радость сходила в душу его.

Путь к месту казни был далекий; наступал вечер. Горы стали пурпурными, подошвы их погружались в мрак. Стада возвращались домой. Проходили толпы рабов с сельскими орудиями на плечах. На дороге перед домами играли дети, с любопытством глядя на проходивших солдат. В этом вечере, в этом прозрачном золотом воздухе было не только спокойствие и тишина, но и некая гармония, которая, казалось, возносилась от земли к небу. Павел слышал ее, и сердце его переполнилось радостью при мысли, что к этой мировой музыке он добавил еще один звук, которого до сих пор не было и без которого жизнь была бы «как медь бряцающая и как кимвал звенящий».

Он вспоминал, как учил людей любви, как говорил им, что, если даже они раздадут все имение свое бедным, если возобладают всеми языками, всеми тайнами и всеми науками, а любви не будут иметь, — они будут ничем. Ибо любовь, нежная и терпеливая, зла не творит, славы не ищет, все переносит, всему верит, во всем тверда и постоянна.

Его жизнь прошла в том, что он учил людей этой правде. И теперь он говорил себе: какая сила победит ее и что ее может уничтожить? Как сможет задавить ее цезарь, хотя бы у него было еще столько же легионов, еще столько же городов, морей, земель и народов?

И он шел за наградой, как победитель.

Они свернули наконец с большой дороги и пошли на восток узкой тропой к Сальвийским водам. Около источника центурион остановил солдат. Час казни настал.

Павел, перекинув через плечо покрывало Плавтиллы, чтобы завязать им глаза свои, поднял в последний раз взор, исполненный величайшего спокойствия, к небу, к вечным отблескам вечерней зари, и молился. Да! Час настал, но он видел перед собой великий звездный путь, ведущий на небо, и в душе своей он произнес те слова, которые раньше написал об исполненной работе своей и в предчувствии близкого конца: «Подвигом добрым я подвизался, веру сохранил, обещанное исполнил, и теперь готовится мне венец правды».

Рим безумствовал по-прежнему. Казалось, что этот город, покоривший весь мир, не имея властных правителей, стал разрушать самого себя. Еще при жизни апостолов был открыт заговор Пизона, и в Риме началась такая жестокая жатва знатнейших и родовитейших голов, что даже те, которым Нерон казался божественным, стали считать его божеством смерти. Печаль повила город, страх поселился в домах и в сердцах, но портики по-прежнему украшались плющом и цветами, ибо запрещено было печалиться о казненных. Просыпаясь утром, люди спрашивали себя, не их ли очередь сегодня. Вереница теней, шествующих за цезарем, увеличивалась с каждым днем.

Пизон поплатился головой за заговор, а за ним пошли Сенека и Лукан, Фений Руфф, Плавтий Латеран, Флавий Сцевин, Афраний Квинициан и развратный товарищ цезаря Туллий Сенеций, и Прокул, и Арарик, и Тугурин, и Грат, и Силан, и Проксим, и Субрий Флавий, прежде всей душой преданный цезарю, и Сульпиций Аспер.

Одних погубила собственная ничтожность, других трусость, иных богатство, иных смелость. Цезарь, пораженный огромным числом заговорщиков, окружил город преторианцами и держал Рим словно в осаде, ежедневно посылая центурионов с смертными приговорами в подозрительные дома. Осужденные раболепствовали в письмах, благодарили цезаря за милостивый приговор и завещали ему часть своего имущества, чтобы остальное сохранить своим детям. Казалось, что Нерон нарочно хочет перейти все границы, чтобы убедиться, до какой степени измелъчали люди и долго ли выдержат его кровавое правление. За заговорщиками истреблены были их родственники, друзья и даже простые знакомые. Владельцы прекрасных, отстроенных после пожара домов, выходя на улицу, заранее знали, что встретят несколько похоронных шествий.

Помпей, Корнелий Марциал, Флавий Непот, Стаций Домиий были казнены за то, что мало любили цезаря; Новий Приск — в качестве друга Сенеки; Руффия Криспа лишили права огня и воды за то, что был когда-то мужем Поппеи. Великого Трасея погубила добродетель, многие поплатились за благородное происхождение, и даже Поппея стала жертвой случайного гнева Нерона.

Сенат унижался перед страшным цезарем, возводил в его честь храмы,

приносил жертвы за его голос, венчал его статуи и назначал ему жрецов, как богу. Сенаторы с трепетом в душе шли на Палатин, чтобы слушать его пение и безумствовать вместе с ним на оргии среди нагих тел, вина и цветов.

Тем временем внизу, на пашне, пропитанной кровью и слезами, тихо прорастали и поднимались всходы, посеянные рукой Петра.

Виниций Петронию:

«Мы знаем, что происходит сейчас в Риме, а чего не знаем, дополнят нам твои письма, дорогой. Когда бросишь в воду камень, то круги волнами расходятся далеко вокруг, — такая волна бешенства, безумия и злобы дошла и до нас от Палатина. По пути в Грецию был прислан сюда цезарем Карин, который ограбил города и храмы, чтобы пополнить опустевшую казну. Теперь ценой пота и слез строится в Риме «Золотой дом». Может быть, мир доныне не видел подобного здания, но он не видел и таких обид. Ты ведь хорошо знаешь Карина, Хилон похож был на него, пока смертью не искупил своей жизни. Но до наших сел и городков не дошли еще его люди, может быть, потому, что здесь нет храмов и богатств. Спрашиваешь, чувствуем ли мы себя в безопасности? Отвечу, что мы забыты, и пусть этого будет с тебя довольно.

Сейчас из портика, в тени которого я пишу это письмо, виден наш спокойный залив, а в нем Урса на воде, закидывающего сети в прозрачные воды. Моя жена прядет красную шерсть рядом со мной, а под сенью миндальных деревьев в саду поют наши рабы. Какое спокойствие, какое забвение прежних страданий и тревоги! Не Парки, как ты пишешь, прядут нить нашей жизни, — нас благословил Христос, возлюбленный Бог наш и Спаситель. Мы знаем горе и слезы, потому что наше учение велит нам оплакивать чужие несчастья, но даже и в таких слезах таится непонятное нам утешение и надежда, что, когда окончится жизнь наша, мы встретимся с милыми нашему сердцу, которые погибли и погибнут еще за божественное наше учение. Для нас Петр и Павел не умерли, но родились в славе. Души наши видят их, и если глаза плачут, то сердца радуются их радостью. О да, мой милый, мы счастливы счастьем, которого ничто не возмутит, потому что смерть, являющаяся для вас концом всего, для нас будет лишь переходом к большей тишине, большей любви, большей радости.

Так текут дни и месяцы в нежности наших сердец. Слуги и

рабы верят также в Христа, а так как он заповедал любовь, то мы все любим друг друга. Не раз, когда закатывается солнце или луна блестит на воде, мы разговариваем с Лигией о прежних временах, которые теперь нам кажутся сном. И когда я подумаю, как эта нежная женщина, которую я взял себе в жены, едва не погибла мученической смертью, вся душа моя хвалит Господа, потому что один он мог вырвать ее из рук цезаря, спасти на арене и вернуть мне навсегда. О Петроний, ты видел, как много дает это учение сил, крепости в несчастьях, утешения, сколько терпения и бесстрашия перед лицом смерти, — так приди и посмотри, сколько счастья оно приносит в обычной, повседневной жизни. Люди до сих пор не знали Бога, которого можно было бы любить, поэтому они не любили и друг друга; вот причина их несчастья, ибо как свет исходит от солнца, так и счастье излучается из любви. Не научили этой любви ни законодатели, ни философы, не было ее ни в Греции, ни в Риме. А ведь когда я говорю: ни в Риме, то ведь это значит, что и во всем мире ее не было. Сухое и черствое учение стоиков, к которому влекутся добродетельные люди, закаляет сердца, как мечи, но скорее делает их равнодушными, чем совершенствует их. Да и зачем я говорю об этом тебе, который много учился и больше моего знает. Ведь и ты был знаком с Павлом из Тарса, беседовал с ним, и ты прекрасно знаешь, что в сравнении с учением, которое проповедовал он, все системы ваших философов и риторов — пустые фразы и набор слов без значения. Помнишь вопрос, который он задал тебе: «Если бы цезарь был христианином, неужели вы не чувствовали бы себя в большей безопасности?» Но ты говорил мне, что наше учение — враг жизни, а я отвечаю тебе, что если бы в письме своем я бесконечное число раз повторил слова: «Я счастлив», то все же не мог бы передать всей полноты своего счастья. Ты мне скажешь на это, что мое счастье в Лигии! Да, милый! Потому что я люблю ее бессмертную душу, и мы оба любим друг друга во Христе, а в такой любви нет разлуки, нет измены, нет старости, нет смерти. Потому что когда пройдет красота и молодость, когда увянут наши тела и придет смерть, любовь останется, как останутся наши души. Пока глаза мои не увидели света, я готов был для Лигии поджечь собственный дом, а теперь я говорю тебе: я не любил ее, потому что любить научил меня только Христос. В нем — источник счастья и покоя. Это не я говорю, а сама

действительность. Сравни ваши наслаждения, за которыми кроется страх, ваши не уверенные в завтрашнем дне радости, ваши оргии, похожие на похороны, сравни все это с жизнью христиан, и ты найдешь готовый ответ. Но чтобы еще лучше сравнить, приди в наши горы, в наши тенистые оливковые рощи, к нашим тихим зеленым берегам. Тебя ждет здесь мир, какого ты давно не испытывал, и сердца, которые искренне любят. Ты с своей благородной и доброй душой должен быть счастлив. Твой быстрый ум сумеет постичь истину. Когда же ты постигнешь, то полюбишь ее, потому что можно быть ее врагом, как цезарь и Тигеллин, но остаться равнодушным к ней никто не сможет. О мой Петроний, и я и Лигия — мы оба тешим себя надеждой, что скоро увидимся с тобой. Будь здоров, счастлив и приезжай!»

Петроний получил письмо Виниция в Кумах, куда выехал вместе с другими августианцами вслед за цезарем. Многолетняя борьба его с Тигеллином близилась к концу. Петроний знал, что должен погибнуть, и понимал причины этого. По мере того как цезарь с каждым днем опускался ниже и ниже, до роли комедианта, шута и наездника, по мере того как он погрязал в болезненном, грязном и грубом разврате, изысканный «ценитель красоты» становился ему в тягость. Даже когда Петроний молчал, Нерон видел в его молчании осуждение; когда хвалил, Нерон подозревал насмешку. Знатный патриций будил в нем зависть, дразнил самолюбие. Его богатство и великолепное собрание произведений искусства стали предметом вожделений и цезаря и всесильного префекта. Его щадили пока, ради поездки в Ахайю, где могли пригодиться его вкус и знакомство с греческим искусством. Но понемногу Тигеллин стал убеждать цезаря, что Карин превышает вкусом и ученостью Петрония, что лучше его сумеет устроить игры, встречи и триумф в Ахайе. С этой минуты Петроний обречен был. Но ему не решились послать приговор в Риме. Цезарь и Тигеллин помнили, что этот изнеженный эстет, «делающий из ночи день», занятый искусством и пирами, когда был проконсулом в одной из провинций, а потом консулом в столице, выказал удивительную энергию и трудоспособность. Он считался человеком талантливым, было известно, что в Риме его любит не только простой народ, но и преторианцы. Никто из друзей цезаря не мог сказать, что Петроний предпримет, поэтому казалось более удобным выманить его из города и привести в



исполнение план вне Рима. Поэтому он получил приглашение вместе с другими августианцами приехать немедленно в Кумы. Хотя он и почувствовал, в чем здесь дело, но поехал, чтобы не выказывать явного неповиновения и чтобы еще раз показать цезарю и его друзьям веселое, беззаботное лицо и тем одержать последнюю предсмертную победу над Тигеллином.

Тем временем всесильный префект обвинил Петрония в дружбе с сенатором Сцевином, который был душой заговора Пизона. Оставшихся в Риме рабов Петрония схватили и посадили в тюрьму, в дом ввели преторианцев. Узнав об этом, Петроний не выказал тревоги и с улыбкой сказал августианцам, которых принимал в собственной вилле в Кумах:

— Агенобарб не любит прямых вопросов, поэтому вы увидите, как он будет смущен, когда я спрошу, не он ли повелел взять под стражу моих людей в Риме.

И он пригласил их на пир «перед дальним путешествием». Он как раз был занят приготовлениями к этому пиру, когда получил письмо Виниция.

По прочтении письма Петроний задумался. Но тотчас лицо его просветлело, как всегда, и вечером в тот же день он ответил Виницию следующее:

«Радуюсь вашему счастью и удивляюсь вашим сердцам, мой дорогой, ибо не думал, что двое влюбленных могут помнить о ком-то третьем, да еще таком далеком. А вы не только не забыли меня, но даже пытаетесь звать в Сицилию, чтобы поделиться со мной вашим хлебом и вашим Христом, который, по твоим словам, щедро наделил тебя счастьем.

Если это правда, то чтите его. Я думаю, дорогой, что Лигию вернул тебе также немного и Урс, а немного и римский народ. Если бы цезарь был иной человек, то я подумал бы даже, что дальнейшие преследования были прекращены потому также, что ты немного родственник Нерону, — ведь Тиберий отдал свою внучку во время оно одному из Винициев. Но если ты думаешь, что это все Христос, то не буду спорить. Да! Не жалейте ему приношений и жертв! Прометей также много сделал добра для людей, но — увы! — Прометей лишь вымысел поэтов, между тем люди, достойные доверия, утверждали, что видели Христа собственными глазами. Я вместе с вами думаю, что он самый честный из богов.

Вопрос Павла помню и соглашаюсь, что если бы Меднобородый жил согласно учению Христа, то, может быть, я успел бы еще съездить к вам в Сицилию. Тогда под сенью деревьев у источника мы вели бы долгие беседы о всех богах и о всех истинах, как беседовали некогда греческие философы. Но сегодня я принужден ответить тебе кратко.

Я признаю лишь двух философов: одного зовут Пиррон, а другого Анакреон. Остальных могу тебе дешево продать вместе со всей школой греческих и наших стоиков. Истина живет где-то так высоко, что даже сами боги не могут рассмотреть ее с вершины Олимпа. Тебе, мой дорогой, кажется, что ваш Олимп выше, и, стоя на нем, ты восклицаешь: «Войди сюда и увидишь такие виды, каких не видывал раньше!» Может быть. Но я отвечаю: «Мой друг! У меня ног нет!» И когда ты дочитаешь до конца, думаю, что сочтешь меня правым.

О счастливый супруг царевны-зорьки! Ваше учение — не для меня. Я должен любить рабов, которые носят мне лектику, египтян, которые топят у меня бани, Меднобородого и Тигеллина? Клянусь белыми ножками Харит, что если бы я и захотел этого, то не смогу. В Риме много тысяч людей имеют торчащие лопатки, или толстые ноги, или глаза навывкате, или слишком большие головы. Неужели и этих уродов ты велишь мне любить также? Где мне найти такую любовь, если нет ее в моем сердце? Ваш бог хочет, чтобы я любил их всех, но почему в своем всемогуществе он не дал им форм хотя бы детей Ниобеи, которых ты видел на Палатине? Кто любит красоту, тот не может любить безобразия. В наших богов можно не верить, но любить можно, как любили их Фидий, Пракситель, Мирон, Скопас, Лисипп.

Если бы я захотел идти за тобой, то не смог бы. А я и не хочу — следовательно, дважды не могу. Ты веришь, как Павел из Тарса, что когда-то на другом берегу Стикса, на каких-то Елисейских полях вы будете видеть вашего Христа. Прекрасно! Пусть он сам тебе скажет тогда, принял ли бы он меня с моими геммами, с моей любимой вазой, с моими книгами, с моей златокудрой Евниккой. При мысли об этом мне хочется смеяться, потому что мне Павел говорил, что для Христа надо отказаться от венков из роз, пиров и роскоши. Правда, он обещал мне иное счастье, но я ответил ему, что для него я состарился и что розы всегда будут радовать мой глаз, а запах фиалок всегда будет мне

приятнее, чем запах грязного ближнего с Субурры.

Вот причины, по которым ваше счастье не для меня. Но есть и еще одна, которую я приберегу к концу. Причина эта: меня зовет к себе смерть. Для вас настало утро жизни, а для меня уже зашло солнце, и сумерки спустились на мою голову. Другими словами, я должен умереть, *carissime!*

Не стоит об этом долго говорить. Так должно было кончиться. Ты, который знаешь Агенобарба, легко поймешь это, Тигеллин победил, или, вернее, мои победы закончились. Я жил, как хотел, и умру, как мне понравится.

Не принимайте этого близко к сердцу. Ни один бог не обещал мне бессмертия, поэтому для меня это не является неожиданностью. Притом ты ошибаешься, Виниций, утверждая, что только ваше божество учит умирать спокойно. Нет. Наш мир знал раньше вашего, что, когда выпита последняя чаша, нужно уйти, отдохнуть, и мы умеем еще делать это красиво. Платон говорит, что добродетель — музыка, а жизнь мудреца — гармония. Если так, то я умру, как и жил, добродетельно.

Мне хотелось бы проститься с твоей божественной супругой словами, которыми приветствовал ее когда-то в доме Авла:

Много я видел народов, впервые такую встречаю...

Если душа нечто большее, чем думает Пиррон, то моя прилетит к вам по дороге на край океана и сядет у вашего дома в виде мотылька или, по верованию египтян, ястреба.

Иначе я прибыть не могу.

А теперь пусть вам Сицилия будет садом Гесперид, пусть полевые, лесные и водные богини сыплют вам под ноги цветы, а во всех акантах<sup>[66]</sup> на колоннах вашего дома пусть гнездятся белые голуби».

Петроний не ошибся. Два дня спустя молодой Нерва, всегда любивший Петронию, прислал в Кумы своего вольноотпущенника с известием о том, что происходит при дворе цезаря.

Гибель Петрония была решена. Завтра вечером к нему пошлют центуриона с приказом остаться в Кумах и ждать дальнейших распоряжений. Следующий центурион через несколько дней должен был привезти ему смертный приговор.

Петроний выслушал посланного совершенно спокойно и сказал:

— Передай своему господину одну из моих ваз, которую я вручу тебе перед отъездом. Скажи ему также, что я благодарю его от всей души, потому что смогу опередить приговор.

И он вдруг стал смеяться, как человек, которому пришла в голову счастливая мысль.

В тот же вечер его рабы спешно обежали всех живших в Кумах августианцев и августианок, приглашая их на пир, который давал в своей великолепной вилле «ценитель красоты».

Петроний писал что-то у себя в библиотеке, потом принял ванну, оделся и, красивый, стройный, похожий на бога, пошел в триклиний, чтобы посмотреть, все ли там приготовлено для пира, а потом — в сад, где молодые гречанки и мальчишки делали венки из роз для гостей.

На лице его не было ни малейшей тревоги. Его слуги догадались, что пир будет не совсем обыкновенный, лишь потому, что он приказал выдать большие награды тем, чья работа пришлась ему по вкусу, и назначил слишком слабые наказания тем, кто работал плохо или раньше заслужил кару. Кифаредам и певцам он щедро заплатил вперед.

Сев в саду под буком, сквозь листья которого проникали солнечные лучи, пестрившие землю светлыми пятнами, он велел позвать Евнику.

Она пришла, одетая во все белое, с миртовой веточкой в волосах, прекрасная, как Харита. Он посадил ее рядом с собой и, легко коснувшись пальцами ее висков, стал с любовью и восхищением рассматривать ее; так знаток смотрит на головку богини, только что вышедшую из-под резца художника.

— Евника, — сказал он, — знаешь ли о том, что ты давно уже перестала быть рабыней?

— Я всегда твоя раба, господин.

— Но, может быть, ты не знаешь, что эта вилла, и эти рабы, которые делают венки, и все, что есть в моем доме, и поля, и стада — все принадлежит тебе с сегодняшнего дня.

Евника, услышав это, отодвинулась вдруг от него и голосом, в котором звучала тревога, спросила:

— Зачем ты говоришь это, господин?

Она наклонилась к нему и стала пристально смотреть на него широко открытыми глазами. Лицо ее побледнело вдруг как мел, а он все время улыбался и наконец сказал одно лишь слово:

— Да!

Наступило молчание, и только ветер легко играл листьями.

Петроний вправе был думать, что перед ним прекрасная статуя, высеченная из белого мрамора.

— Евника, — сказал он, — я хочу умереть радостно и спокойно.

Девушка посмотрела на него и с искаженной улыбкой прошептала:

— Я повинуюсь, господин.

Вечером стали сходиться гости, которые не раз бывали на пирах Петрония и знали, что в сравнении с ними даже пиры цезаря кажутся скучными и варварскими. Никому из них не пришло в голову, что это будет последний «симпозион». Многие слышали, что над Петронием нависли тучи, что цезарь недоволен им, но это случалось так часто и столько раз Петроний умел разогнать эти тучи одним удачным словом или смелым поступком, что никто не думал о серьезной опасности, грозившей «ценителю красоты».

Его веселое лицо и обычная беззаботная улыбка утвердили всех в этом. Прекрасная Евника, которой он сказал, что хочет умереть красиво, и для которой каждое его слово было законом, была совершенно спокойна, и в божественных чертах ее и глазах светился странный блеск, который можно было принять за радость. При входе в триклиний мальчики с волосами в золотых сетках надевали на головы гостей венки из роз, предупреждая их при этом, согласно обычаю, чтобы переступали порог правой ногой. В доме носился сладостный запах фиалок, горели разноцветные светильники из александрийского стекла. У скамей стояли молоденькие гречанки, которые должны были благовониями умастить ноги гостей. У стен кифареды и афинские певцы ждали знака, чтобы начать.

Был накрыт роскошный стол, но в роскоши не было избытка, она никого не тяготила, и все казалось естественным. Веселье и свобода благоухали вместе с фиалками. Входя сюда, гости знали, что им не грозит ни насилие, ни гнев, как это бывало у цезаря, где за недостаточно

восторженную или даже не совсем удачную похвалу можно было поплатиться жизнью. В этом ярком освещении, при виде ваз с винами, увитых плющом и стынущих на снегу, при виде изысканных кушаний пирующие чувствовали себя прекрасно. Разговоры звучали весело и непринужденно, так шумит рой пчел вокруг цветущей яблони. Иногда раздавался взрыв счастливого смеха, иногда проносился шепот одобрения, порой слышался звонкий поцелуй.

Гости проливали несколько капель из полной чаши в честь богов, чтобы снискать их благоволение и покровительство для хозяина. Ничего, что многие не верили в богов. Так велел старый обычай.

Петроний возлежал рядом с Евникой и беседовал о римских новостях, о последних разводах, о любви, о скачках, о Спикуле, прославившемся за последнее время на арене, и о книжных новинках, появившихся у Атрактуса и Созиев. Проливая вино, он говорил, что совершает возлияния лишь в честь Киприды, самой большой и древней из богов, единственно бессмертной, постоянной и властной.

Его разговор подобен был игре солнечного луча, который освещает самые разнообразные предметы, или дыханию летнего ветерка, который шевелит цветы в саду. Наконец он дал знак — и тихо зазвучали струны, а свежие молодые голоса начали петь. Потом явились плясуньи-гречанки, соплеменницы Евники, и долго сверкали их розовые тела из-за прозрачных одежд. Под конец египетский гадатель стал предсказывать будущее по движению радужных рыбок в хрустальном сосуде.

Когда гости пресытились всеми этими развлечениями, Петроний слегка приподнялся с сирийской подушки и сказал, извиняясь:

— Друзья! Не посетуйте, что на пиру обращаюсь к вам с просьбой... Я прошу каждого из вас принять в дар ту чашу, из которой он выплеснул немного вина в честь богов и за мое благоденствие.

Чаши Петрония сверкали золотом, драгоценными камнями и художественной резьбой, поэтому, хотя подарки и были в обычае у римлян, радость наполнила сердца гостей. Одни благодарили и прославляли его; другие говорили, что сам Юпитер не угощал так богов на Олимпе; были и такие, которые колебались принять дар — настолько он превосходил их ожидания. Петроний поднял мурренскую чашу, которой особенно гордился и дорожил, отливающую радужными цветами и просто не имеющую цены, так была она великолепна.

— А вот та чаша, из которой я плеснул в честь Кипрской владычицы. Пусть ничьи уста не прикоснутся к ней больше и пусть ничьи руки не совершат из нее возлияния в честь другой богини.

И он бросил драгоценный сосуд на усыпанный шафраном мраморный пол. Чаша раскололась на мелкие части, а он, увидев изумленные взгляды гостей, сказал:

— Дорогие друзья, веселитесь, вместо того чтобы изумляться. Старость и бессилие — печальные товарищи последних лет жизни. Но я вам дам добрый пример и добрый совет: их можно не дожидаться и, прежде чем они придут, уйти добровольно, как ухожу я.

— Что ты хочешь сделать? — спросило с тревогой несколько голосов.

— Хочу веселиться, пить вино, слушать музыку, смотреть на эти божественные формы, которые вы видите рядом со мной, — а потом уснуть с увенчанной главой. Я уже простился с цезарем... Хотите послушать, что я пишу ему на прощанье?

Говоря это, он вынул письмо из-под пурпурной подушки и стал читать:

«Знаю, о цезарь, что с нетерпением ждешь моего приезда и что твое верное сердце друга тоскует по мне и днем и ночью. Знаю, что ты засыпал бы меня подарками, доверил бы мне префектуру претории, а Тигеллину повелел бы стать тем, для чего предназначили его боги, — погонщиком мулов в тех твоих землях, которые ты получил в наследство после отравления Домиции. Но прости меня. Клянусь Аидом, а в нем тенями твоей матери, жены, брата и Сенеки, — приехать не могу. Жизнь, мой дорогой, есть великое сокровище, а я умел из этого сокровища выбирать лучшие жемчужины, но в жизни есть и такие вещи, которых я дольше сносить не сумею. Не подумай, прошу тебя, что меня ужасает то, что ты убил мать, жену, брата, что ты сжег Рим и выслал в Эреб всех честных людей твоего государства. Нет, правнук Хроноса! Смерть — удел человечества, а от тебя и нельзя было ждать иного поведения. Но терзать себе уши еще в течение нескольких лет твоим пением, видеть твои домициевские тонкие ноги, дергающиеся в пиррической пляске, слушать твою игру, твою декламацию и твои стихи, бедняга-поэт из предместья, — вот что исчерпало твои силы и вызвало желание умереть. Рим затыкает уши, слушая тебя, мир смеется над тобой, я дольше не хочу краснеть за тебя и не могу. Вой Цербера, мой дорогой, будь он даже похож на твое пение, менее расстроит меня, потому что я никогда не был его другом и за его голос мне нет нужды краснеть. Будь здоров, но не пой, убивай, но не пиши стихов, отравляй, но не пляши, поджигай, но не играй на кифаре, — вот чего желает и этот последний дружеский совет посылает тебе ценитель красоты».

Пирующие были поражены. Они знали, что, если бы Нерон потерял государство, удар был бы для него менее ужасен. Они понимали, что

человек, написавший такое письмо, должен умереть, кроме того, они сами побледили от страха, что прослушали это послание.

Но Петроний смеялся таким веселым и искренним смехом, словно дело касалось невиннейшей шутки, потом обвел взором своих гостей и сказал:

— Веселитесь и отгоните страх. Никто не обязан хвалиться, что слышал чтение этого письма, а я похваюсь им разве Харону в час переправы.

Он подал знак греку-врачу и протянул ему руку. Ловкий грек быстро перетянул ее золотой ниткой и открыл вену на сгибе руки. Кровь брызнула на изголовье и облила Евнику. Она поддержала голову Петрония, наклонилась к нему и сказала:

— Неужели ты думаешь, господин, что я покину тебя? Если бы боги захотели дать мне бессмертие, а цезарь — власть над миром, я все-таки пошла бы за тобой.

Петроний улыбнулся, слегка приподнялся, коснулся губами ее губ и сказал:

— Иди со мной. — И потом прибавил: — Ты действительно любила меня, моя божественная!..

Она протянула врачу свою розовую руку, и через мгновение полилась кровь, смешиваясь с кровью Петрония.

Он подал знак музыкантам, и снова зазвучала музыка и хор. Сначала пели «Гармония», которого сменила песенка Анакреона. В ней поэт жалуется, что однажды нашел у своих дверей озябшее и заплаканное дитя Афродиты; он взял его к себе, согрел, высушил крылья, а оно, неблагодарное, пронзило в награду печень поэта стрелой, и с тех пор он не знает покоя...

Они же, обнявшись, прекрасные, как два божества, слушали и улыбались, бледнея. После окончания песни Петроний велел обносить гостей вином и стал разговаривать с ближайшими соседями о милых пустяках, о которых обычно беседуют на пирах. Потом он позвал грека и велел перевязать на минуту вену, потому что его клонит ко сну и он хотел бы еще раз отдать дань Гипносу, прежде чем Танатос усыпит его навсегда.

Он действительно уснул. А когда проснулся, на груди его лежала голова девушки, похожей на белоснежный цветок. Тогда он переложил ее голову на подушку, чтобы еще раз посмотреть на нее. Затем ему снова открыли вены.

Певцы по его знаку запели новую песенку Анакреона, кифары тихо им вторили, чтобы не заглушать слов. Петроний бледнел все сильнее, а когда



сморгли последние звуки песни, он еще раз обратился к пирующим и сказал:

— Друзья, признайте, что вместе с нами гибнет...

Он не смог закончить; он обнял последним усилием Евнику, голова упала на подушку, и он умер.

Пирующие, глядя на эти два белых тела, похожие на прекрасную скульптуру, поняли, что вместе с ними гибнет то, что оставалось еще в их мире, — его поэзия и красота.

## ЭПИЛОГ

Сначала возмущение легионов в Галлии под начальством Виндекса не казалось очень страшным. Цезарю шел всего лишь тридцать первый год, и никто не смел надеяться, что мир тотчас освободится от душившего его гнета. Вспоминали, что среди легионов не раз происходили возмущения при прежних цезарях, но они кончались и не влекли за собой смены цезаря. Так при Тиберии Друз усмирил бунт поннонских легионов, а Германик — рейнских. «Да и кто же мог наследовать Нерону, — говорили римляне, — если почти все потомки божественного Августа погибли в его правление?» Другие, глядя на изображение Нерона в виде Геркулеса, невольно думали, что никакая сила не сломит этой мощи. Были и такие, которые сучали без него, потому что Гелий и Политет, которым он поручил правление Римом и Италией, правили более жестоко, чем он.

Никто не был уверен в своей жизни. Право перестало защищать. Исчезло человеческое достоинство и добродетель, ослабли семейные узы, а в ничтожные сердца не могла проникнуть даже надежда. Из Греции приходили известия о необыкновенных триумфах цезаря, о тысячах венков, которые он получил, о тысячах соперников, которых он победил. Мир казался оргией, шутовской и кровавой, но вместе с тем утвердилось мнение, что пришел конец добродетели и вещам серьезным, что наступила эпоха плясок, музыки, разврата и крови и что теперь лишь так может идти жизнь. Сам цезарь, которому возмущение легионов открывало дорогу для нового грабежа, мало думал о возмущенной Галлии и о Виндексе и даже часто высказывал радость по поводу этого. Он не хотел уезжать из Ахайи и, лишь когда Гелий известил его, что дальнейшее промедление может иметь последствием утрату государства, Нерон тронулся в Неаполь.

Там он снова играл и пел, пропуская мимо ушей известия о грозных событиях. Напрасно Тигеллин объяснял ему, что прежние возмущения в легионах не имели вождей, а теперь во главе стоит муж, происходящий из рода аквитанских царей, и притом опытный и знаменитый военачальник. «Здесь меня слушают греки, — отвечал Нерон, — которые одни умеют слушать и одни достойны моих песен». Он говорил, что его первый долг — искусство и слава. Но когда наконец пришло известие, что Виндекс назвал его плохим актером, он снялся с места и поехал в Рим. Раны, нанесенные ему Петронием, которые он залечил в Греции, открылись снова в его сердце, и он хотел искать в сенате защиты от столь неслыханной обиды.

По дороге, увидев отлитую из бронзы группу, представлявшую воина-галла, опрокинутого римским всадником, он счел это за счастливое предзнаменование и если и вспоминал возмущившиеся легионы, то лишь чтобы насмеяться над ними. Его приезд в Рим превзошел все, что бывало раньше. Он въехал на той колеснице, на которой некогда Август совершил свой триумф. Был проломлен один пролет в цирке, чтобы могло пройти шествие. Сенат, патриции и бесчисленные толпы народа вышли ему навстречу. Стены дрожали от криков: «Привет тебе, Август! Привет, Геркулес! Божественный! Единственный! Олимпиец! Бессмертный!» За ним несли полученные венки, названия городов, где он имел успех, и написанные на таблицах имена побежденных соперников. Нерон был упоен и спрашивал приближенных: чем был триумф Юлия Цезаря в сравнении с его триумфом? Мысль, что кто-нибудь из смертных осмелится поднять руку на такого художника-полубога, не помещалась в его голове. Он действительно считал себя олимпийцем и потому неуязвимым. Восторг и энтузиазм толпы усилил его безумие. В дни этого триумфа можно было подумать, что не только цезарь и Рим, но и весь мир сошел с ума.

Под цветами и грудями венков никто не рассмотрел бездны. Однако в тот же вечер колонны и стены храмов были покрыты надписями, в которых перечислялись преступления цезаря, грозили ему мезтью и смеялись над ним как художником. Из уст в уста передавалась такая острота: «Пел до тех пор, пока галлов (петухов) не разбудил!» Тревожные вести стали кружиться по городу и расти до чудовищных размеров. Тревога охватила августианцев. Не уверенные в завтрашнем дне, они не смели высказать мнения, не решались чувствовать и мыслить.

А Нерон жил лишь театром и музыкой. Его занимали изобретенные только что новые музыкальные инструменты, особенно водяной орган, который испытывали во дворце. В детской, неспособной к действию душе он воображал, что планы его будущих выступлений и успехов могут отдалить опасность. Приближенные, видя, как вместо того, чтобы искать денег и войско, он подбирает слова, передающие грозу и опасность, стали терять голову. Другие думали, что он заглушает себя и других цитатами, а в душе его — страх и тревога. Действия его стали лихорадочными. Ежедневно тысячи новых планов возникали в его голове. Иногда он вдруг заставлял прятать свои кифары и лиры, вооружать молодых рабынь, как амазонок, и вызывать с Востока легионы. То вдруг он решал, что не оружием, а песнью усмирит бунт галльских легионов. Он приходил в восторг от воображаемой картины, как солдаты будут покорены песнью. Вот легионеры окружают его со слезами на глазах, а он сплет им поэму,

после чего начнется золотая эпоха для него и для Рима. Иногда он вопил о крови; иногда заявлял, что удовольствуется Египтом; вспоминал гадателей, которые предсказали ему, что он будет царствовать в Иерусалиме; плакал от трогательной мысли, что в качестве бродячего певца будет добывать себе кусок хлеба, а города и земли почтят его не как владыку мира и цезаря, а как поэта и певца, которым может гордиться человечество.

Так бросался он из стороны в сторону, сходил с ума, играл, пел, менял цитаты, менял намерения, превратил свою жизнь и жизнь государства в какой-то бред, нелепый сон, фантастический и страшный, в шумной фаре, состоявшей из напыщенных фраз, скверных стихов, стонов, слез и крови. Тем временем туча на Западе росла и делалась более грозной с каждым днем. Мера была перейдена, шутовская комедия, по-видимому, приближалась к развязке.

Когда весть о Гальбе и присоединении Испании к мятежу дошла до него, он впал в бешенство и безумие. Перебил чаши, перевернул стол во время пира, дал приказы, которых ни Гелий, ни Тигеллин не посмели исполнить. Перебить галлов, живших в Риме, потом еще раз поджечь город, выпустить зверей из зверинцев, перенести столицу в Александрию — все это казалось ему великолепным, поразительным, исполнимым. Но дни его всемогущества миновали, и даже соучастники преступлений стали смотреть на него как на безумца.

Смерть Виндекса и раздор среди возмущившихся легионов, казалось, снова склонили чашу весов на его сторону. Новые пиры, триумфы, новые приговоры готовились Риму, когда однажды ночью прискакал из лагеря гонец на взмыленном коне с донесением, что в самом городе солдаты подняли знамя мятежа и провозгласили Гальбу цезарем.

Нерон спал, когда прибыл гонец, но, проснувшись, он напрасно звал к себе стражу, охранявшую покои цезаря. Во дворце было пусто. Рабы грабили в отдаленных покоях то, что можно было взять на скорую руку. Появление Нерона пугало их и обращало в бегство, а он блуждал одинокий по дворцу, наполняя его криками страха и отчаяния.

Наконец вольноотпущенники его Фаон, Спир и Эпафродит прибежали на помощь. Они советовали бежать, говорили, что времени терять нельзя, но он еще обманывал себя надеждой. А что, если, надев траурные одежды, он скажет речь в сенате, неужели сенат устоит перед его слезами и красноречием? Если он пустит в ход все свои таланты оратора и актера, неужели кто-нибудь сможет не растрогаться этим? Неужели ему даже не дадут префектуры в Египте?

Они, привыкшие к лести, не смели спорить, но предупредили, что

прежде чем он успеет дойти до Форума, народ растерзает его, и пригрозили покинуть его, если он не сядет немедленно на коня.

Фаон предложил ему спрятаться на его вилле за Номентанскими воротами. Они сели на коней и, прикрыв лица плащами, поскакали. Ночь подходила к концу. На улицах, однако, былолюдно, чувствовалось тревожное настроение. Солдаты в одиночку и толпами рассыпались по городу. Конь Нерона шарахнулся в сторону, увидев труп. Плащ распахнулся, и солдат, проходивший в эту минуту мимо, увидев и узнав цезаря, смущенный неожиданной встречей, отдал ему военное приветствие. Проезжая мимо лагеря преторианцев, они слышали громовые крики в честь Гальбы. Нерон понял наконец, что пришел час смерти. Его охватил ужас и стали мучить укоры совести. Он говорил, что видит перед собой черную тучу, а из этой тучи смотрят на него лица, в которых он узнает мать, жену и брата. Зубы стучали от страха, и его душа комедианта наслаждалась красотой грозной минуты. Быть всемогущим владыкой земли и потерять все — это казалось ему вершиной трагедии. И, верный себе, он до конца играл в ней первую роль. На него нашла страсть цитировать и страстное желание, чтобы присутствующие запомнили это для потомства. Он говорил, что хочет умереть, и звал Спикула, который лучше других гладиаторов умел убивать. Декламировал стихи:

О мать и жена — отец меня к смерти взывает.

Проблески надежды детской и пустой просыпались в нем на минуту, он знал, что идет к нему смерть, но не верил.

Номентанские ворота были открыты. Они проскакали мимо Острианума, где учил и крестил Петр. На рассвете они были на вилле Фаона.

Там вольноотпущенники не скрывали от него больше, что он должен умереть. Он велел рыть себе могилу и лег на землю, чтобы они могли получить точную мерку. Но при виде разрытой земли его охватил страх. Жирное лицо его побледнело, на лбу выступили капли пота. Он попытался оттянуть время. Дрожащим и вместе с тем актерским голосом он заявлял, что час не пробил, потом снова принялся цитировать. Под конец стал просить, чтобы его сожгли.

— Какой художник погибает! — повторял он с изумлением.

Прискакал раб Фаона с известием, что сенат произнес приговор и что «матереубийца» должен быть казнен по старому обычаю.

— Что это за обычай? — спросил побелевшими губами Нерон.

— Шею зажмут вилами, будут бить палками, пока не умрешь, тело бросят в Тибр! — злобно ответил Эпафродит.

Нерон распахнул плащ на груди.

— Час настал! — произнес он, глядя на небо.

И еще раз повторил:

— Какой художник погибает!

В эту минуту послышался топот людей. Центурион во главе отряда ехал за головой Агенобарба.

— Торопись! — воскликнули вольноотпущенники.

Нерон приставил нож к горлу, но колот трусливо, и видно было, что он не сможет вонзить клинок. Тогда Эпафродит толкнул его под руку, и нож вошел по рукоятку. Глаза Нерона выкатились из орбит, страшные, огромные, изумленные.

— Приношу тебе жизнь! — воскликнул входивший центурион.

— Поздно, — прохрипел Нерон. И добавил: — Вот она, преданность...

Кровь черным потоком хлынула на цветы в саду. Ноги делали судорожные движения. Он умер.

Верная Актея завернула его на другой день в дорогие ткани и сожгла на благовонном костре.

Так ушел в прошлое Нерон — как минуют вихрь, буря, пожар, война или моровая язва, а базилика Петра до сих пор с ватиканских высот царит над миром и городом.

Возле старых Капенских ворот стоит маленькая часовня с истертой от времени надписью «Quo vadis, Domine?» (Камо грядеши, Господи?).



<p>All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.</p> <p><b>«Strelbytsky Multimedia Publishing»</b></p> <p>Saksaganskogo str., 58, office 8 Kiev, Ukraine, 01033</p> <p>tel. +38044 331-06-20 e-mail: dmytro.strelb@gmail.com</p>	<p>Все права защищены. Эта книга или любая ее часть не может быть воспроизведена или использована любым другим способом без письменного разрешения издателя исключая использование цитат из книг или иного способа предусмотренного законодательством.</p> <p><b>«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»</b></p> <p>ул. Саксаганского, 58, оф.8 Киев, Украина, 01033</p> <p>тел. +38044 331-06-20 e-mail: dmytro.strelb@gmail.com</p>
--	---

**Електронна книга издана  
«Мультимедийным издательством Стрельбицкого»**

С нашими изданиями электронных книг и аудиокниг вы можете познакомиться на сайтах:  
**www.strelbooks.com** **www.audio-book.com.ua**

Желаем приятного чтения!  
Свои замечания и предложения направляйте на e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Эта книга охраняется авторским правом  
Copyright © 2016  
«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»**

---

**notes**

## **Примечания**



**1**

Арбитр изящества (лат.).

2

Тепидарий — теплая (прохладная) баня.

Инкубация — обычай проводить ночь в храме с целью увидеть вещий сон.

4

Фригидариум — прохладная комната в бане.

Меднобородый (лат. *Ahenoburbus*) — родовое прозвище фамилии Домициев, к которой принадлежал Нерон.

Унктуарий — комната в бане.

Свевы — собирательное название ряда германских племен.

Германдуры — германское племя, обитавшее на территории современной Баварии и Тюрингии.



Язиги — сарматское племя, обитавшее между Дунаем и Тиссой.

Котты — германское племя, обитавшее в верхнем течении р. Везер.

**11**

Т.е. в царстве мертвых.

**12**

Помещение, в котором находится обеденный стол с ложами.

Лары — боги — хранители домашнего очага.

**14**

Бесстыдное животное (лат.).

Атриум — главное помещение с верхним светом.

Манипул — боевое подразделение римской армии.



Булла — шейный амулет в виде шарика или кружка.

Архипелаг — Эгейское море.

Юпитеру Наилучшему Величайшему (лат.).

Квирит — полноправный римский гражданин.

Серикум — Китай.

Перистиль — колоннада, портик, галерея, окружающие площадь, двор, сад.

Здравствуй! (лат.).

Таблинум — галерея, крытая терраса.



Госпожа (лат.).

Либи́тина — римская богиня мертвых, смерти и погребения.

Домашнее святилище, где помещались изображения ларов.

Пеплум — женская верхняя одежда из легкой ткани без рукавов.

Лупанарий — публичный дом.

Мина — греческая денежная единица.

Лектика — носилки.

Получил (по заслугам) (лат.).



Наблиум — разновидность арфы.

Жрецы фригийской богини Кибелы, сопровождавшие служение ей танцами и пением.

Римский мир, римскую империю (лат.).

Вигили — ночная стража.

Мир с вами! Мир!.. Мир!.. Мир!.. (лат.).

дражайший! (лат.).

Пусть сапожник судит не выше сапога (лат.).

Аренарии — здание муниципалитета свободной коммуны.



Гипогей (греч.) — подземное сооружение, выдолбленное в скале, для коллективных погребений.

Мир с тобой! (лат.).

Семноны — ветвь германского племени свевов.

Маркоманы, вандалы, квады — германские племена.

Бестиарий — цирковой боец, выступавший против животных.

Замужняя родственница невесты, сопровождающая ее в дом жениха и разъясняющая ей обязанности супруги.

«Эклоги», или «Буколики» — поэтический сборник выдающегося поэта Публия Вергилия Марона (70–19 до н. э.).

Лета (греч.) — в древнегреческой мифологии река забвения в подземном царстве.



**49**

Отлично! (лат.).

Суженая моя! (лат.).

Алумны — питомцы.

Одномужница (лат.).

Пенаты — боги — хранители домашнего очага.

Письменное обнародование, оглашение списка лиц, объявленных вне закона.

Литания — молебен.

Ростр — ораторская трибуна на Форуме.



Гекатомбы — большое жертвоприношение.

Ликторы — почетная стража высших магистратов.

Мастигоры — стражи, вооруженные плетками.

Привет тебе, цезарь и император; // Обреченные на смерть  
приветствуют тебя!

Не тебя, мне рыбу нужно, — // Почему же, галл, бежишь?

Иберия — Испания.



Танатос — в греческой мифологии олицетворение смерти.



Тирс — жезл Диониса (Вакха), обвитый плющом.

Акант — украшение в форме стилизованных листьев и стеблей.